Валерий Шубинский

Даниил Хармс

Жизнь человека на ветру

CORPVS

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920-х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский. Среди более чем двух сотен иллюстраций – воспроизведение рисунков, фотографий Хармса и его современников. Многие уникальные документы Валерий Шубинский опубликовал впервые.

- Валерий Шубинский
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○ Предисловие
  - ○ Глава первая
  - ○ Глава вторая
  - ○ Глава третья
  - ○ Глава четвертая
  - ○ Глава пятая
  - ○ Глава шестая
  - ○ Глава седьмая
  - ○ Глава восьмая
  - ○ Заключение
  - ○ Библиография
  - ○ Вкладка
  - ○ К иллюстрациям
  - ○ Об авторе этой книги
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93

- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137

- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181

- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225

- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269

- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313

- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357

- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401

Валерий Шубинский
Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

На фронтисписе – фотография Даниила Хармса, 1925 г.

© В. Шубинский, 2008, 2015
© А. Бондаренко, художественное оформление, 2015
© ООО “Издательство АСТ”, 2015
Издательство CORPUS ®

* * *

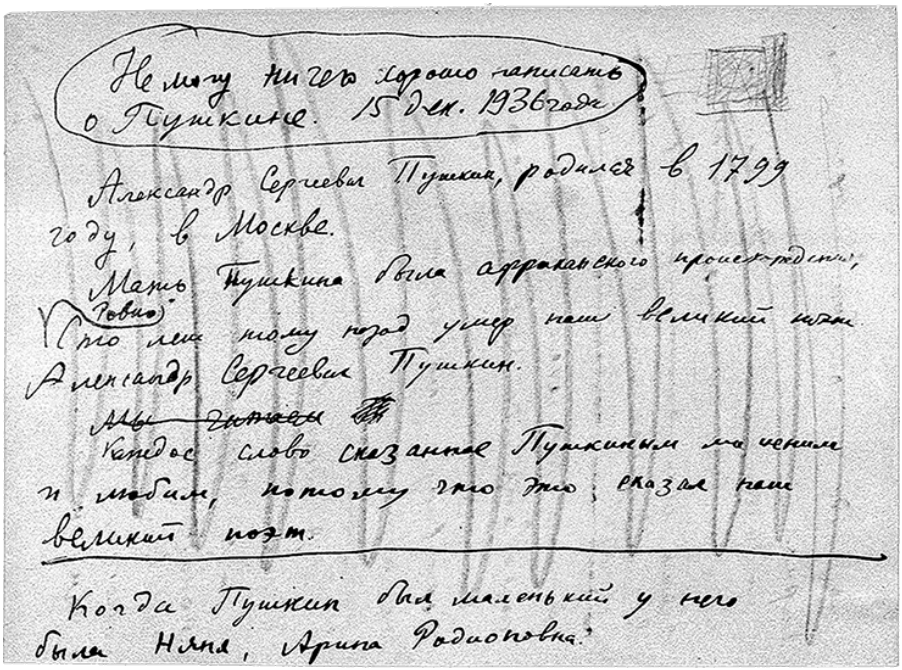
Светлой памяти Н. В. Г.-Д.

Предисловие

В конце 1936 – начале 1937 года Хармс начал писать для журнала “Чиж” очерк о Пушкине к столетию его смерти. Это была обычная “халтурка” для заработка. Вероятно, писатель взялся за нее без отвращения: творчество, личность, судьба Пушкина всегда были ему близки. Рассказ строился в форме разговора с маленьким племянником Кириллом.

Дядя рассказывает мальчику, что “сначала Пушкин был маленьким, как и все люди, а потом вырос и стал большим”, что “маленький Пушкин говорил по-французски так же хорошо, как по-русски, прочитал много французских книг и начал сам писать французские стихи”, что учился он в лучшей тогдашней школе – в Лицее… Шла речь и о том, как Пушкин писал: “…Иногда стихи ему не удавались. Тогда он кусал от досады карандаш, зачеркивал слова и надписывал их вновь, исправлял стихи и переписывал их несколько раз. Но когда стихи были готовы, они получались такие легкие и свободные, что казалось, будто Пушкин написал их безо всякого труда”[1].

Во всех этих общеизвестных фактах Хармс, без сомнения, чувствовал родственное себе. И все же что-то мешало ему. Он несколько раз переписывал начало и не был им доволен. В конце концов он едва добрался до державинского “благословления” и, скомкав финал, наскоро завершил очерк. “Чиж”, как видно, забраковал работу. Там был напечатан другой очерк, должно быть, результат коллективного труда, в котором были использованы отдельные фразы из текста Хармса.



Не могу ничего хорошо написать о Пушкине. 15 дек. 1936 года

Александр Сергеевич Пушкин, родился в 1799 году, в Москве.

Мать Пушкина была африканского происхождения, (Ровно) Что лет тому назад умер наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.

~~Мы читаем~~

Каждое слово сказанное Пушкиным мы ценим и любим, потому что это сказал наш великий поэт.

Когда Пушкин был маленький у него была Няня, Арина Родионовна.

Очерк Даниила Хармса о Пушкине. Первая страница чернового автографа, 15 декабря 1936 г.

А с его пера стали вдруг сходить совсем, совсем другие “рассказы о Пушкине” – смешные и абсурдные, сегодня общеизвестные.

Что же случилось? Почему у первоклассного писателя не получился легкий халтурный текст на, казалось бы, близкую ему тему?

В тридцатые годы жанр биографии был модным, ему отдали дань многие писатели, знакомые с Хармсом, – Каверин, Шкловский, не говоря уж о Тынянове. Они писали о людях давно ушедшего времени, чья жизнь зачастую была трудной и драматичной. Однако трагические события жизни Пушкина и его друзей, к примеру, Кюхельбекера, были результатом их поступков, следствием их характеров. Люди, жившие в России после 1917 года, с каждым годом все больше зависели от внешних обстоятельств. Те, кто был старше, еще помнили другие дни. Кто-то из них “топорщился”, пытаясь спорить с эпохой, как Мандельштам. Кто-то пытался договориться с ней на равных, как Пастернак. Кто-то шел к ней на службу, до конца жизни сохраняя иллюзию, что действует по личному выбору, как Маяковский или Мейерхольд.

Но никаких иллюзий не могло быть у человека поколения и склада Хармса. Не считая, может быть, очень короткого периода в

юности (между 1926 и 1930 годами, в дни “Радикса” и ОБЭРИУ), он не вел сколько-нибудь активной публичной жизни, не совершал значимых для окружающих поступков и не пытался их совершить: с ним, как и с другими, происходили те или иные события, а сам он был лишь “игралищем неведомой игры”. Трудно, к примеру, представить себе Хармса, пытающегося поговорить с Отцом Народов “о жизни и смерти”, подписывающего (или отказывающегося подписать) коллективные письма общественного содержания. И вовсе не из-за патологической интравертивности: в иных ситуациях Даниил Иванович был человеком достаточно общительным, порою даже стремился играть роль организатора. В более благоприятные времена эти попытки были бы, возможно, удачны. Но Хармсу довелось жить в эпоху, которой он был чужд по духу, и с годами это отчуждение все возрастало. Единственное, что он мог себе позволить (и позволял), – это театрализовать свою пассивность, превратить свое аутсайдерство в форму высокой клоунады.

При этом он продолжал иногда говорить с друзьями о том, что было для него по-настоящему важно, а главное, продолжал писать “в стол” – что и было единственно возможным поступком. В сущности, биография зрелого Хармса сводится к описанию его творчества, его мыслей и разговоров – и того причудливого зрелища, в которое он старался превратить свое каждодневное существование.

Поэтому ему было трудно писать про людей, у которых была биография в старом понимании. И поэтому так трудно сегодня писать о нем…

Работа над этой книгой – еще одно звено в череде множества исследований и публикаций, посвященных Хармсу. Имена некоторых из многочисленных историков литературы, заложивших основы хармсоведения, и их еще более многочисленных последователей и продолжателей, упомянуты в заключительной главе. Без их трудов создание биографии Хармса было бы, разумеется, невозможно. Большую и ценную помощь в работе над книгой оказали Н.М. Кавин, Е.Н. Строганова, К.В. Грицын, Н.К. Бойко, М.К. Махортова, предоставившие автору ценные неопубликованные материалы. Отдельная благодарность редакторам первого издания книги, А.Л. Дмитренко и В.И. Эрлю.

Первое издание книги было посвящено Н. В. Г.-Д. К сожалению, формулировку этого посвящения приходится изменить.

Даниил Ювачев. Фотоателье А.И. Деньера (Невский пр., 19), ок. 1912 г.

Глава первая
Я родился дважды

1

Сто лет назад участок Петербурга между Конной площадью (иначе Казачий плац) и рекой Монастыркой был застроен домами лимонного цвета с треугольными фронтонами, в духе николаевского казарменного ампира, и темно-красными зданиями из необлицованного кирпича – образчиками казенной архитектуры более позднего времени. (Ни площади, ни идущей вдоль нее Константиноградской улицы, ни перпендикулярной к ней Глинской улицы сейчас нет на карте города, но на территории занявшего их место Котлотурбинного института сохранились некоторые из этих невеселого вида построек.)

Окна многих из них были затянуты решетками. Здесь были Арестный дом, пересыльная тюрьма, тюремная больница… Одно из этих тюремных зданий, волей судьбы оставшееся по ту сторону институтской стены (в тупичке, которым заканчивается сейчас Миргородская улица), и по сей день используется по назначению. А прямо напротив, за стеной, виден верхний, третий, этаж длинного дома в “кирпичном стиле”. Об этом доме – когда-то № 1 по Глинской улице – и пойдет сейчас речь.

Дело в том, что кроме тюрем, кроме Атаманского казачьего полка (по которому плац получил свое название) в этом забытом Богом уголке столицы, куда редко ступала нога случайного пешехода, располагались еще и благотворительные учреждения, имевшие отношение к тюремному ведомству. В их числе были Приют для арестантских детей и Убежище для женщин, вышедших из тюрем Санкт-Петербурга.

Оно и находилось в доме номер 1 по Глинской улице; в ведении Убежища было еще два дома, до нас не дошедших. Приют носил имя известного благотворителя принца Петра Георгиевича Ольденбургского, сына великой княгини Екатерины Павловны; убежище (как и другие учреждения Дамского благотворительного тюремного комитета) состояло под покровительством его невестки, принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской (1845–1928), урожденной герцогини Лейхтенбергской. Евгения Максимилиановна была дочерью великой княгини Марии Николаевны и ее супруга, герцога Максимилиана Лейхтенбергского. (Если имя матери

сохранилось в названии Мариинского дворца и Мариинского театра, то памятником рано умершему отцу стала Максимилиановская больница, основанная, как и целый ряд других богоугодных заведений и школ, рачением дочери-филантропки.)

Когда в 1872 году Убежище на Глинской было учреждено, цели его формулировались так:

> Немало женщин, содержащихся в местах заключения, подверглись наказанию за преступления, совершенные ими вследствие недостатка средств к существованию и бедственного положения. Труднее еще становится положение выходящих из тюрьмы, без всяких средств существования, без приюта, встречающих в обществе не только равнодушие и недоверие, но и презрительный отказ от предложения услуг и работы. Такая отверженная, не имея возможности приобрести кусок хлеба честным путем… вновь впадает в преступление или становится на путь разврата. В эту минуту помощь, как нравственная, так и материальная, становится для нее совершенно необходимой[2].

В 1898 году в Убежище содержалось единовременно до восьмидесяти женщин. За год через Убежище прошло сто двадцать человек[3]. Вместе с некоторыми из женщин в Убежище содержались их маленькие дети. Годовой бюджет составлял 25 866 рублей, которые лишь частично погашались из средств благотворителей. Женщины сами зарабатывали себе на жизнь – занимались шитьем, стирали белье на заказ в устроенной при Убежище паровой прачечной. Половина заработка шла на общие нужды Убежища, остальное откладывалось на личный счет каждой из его обитательниц. Два часа в день занимали школьные занятия (Закон Божий, чтение, письмо, арифметика, “важнейшие сведения из истории России”). В течение полугода администрация Убежища подыскивала каждой из “несчастных” службу. Та вольна была принять предложение или отвергнуть его, но Убежище в любом случае покидала.

Трудно сказать, насколько эффективно работала эта система, успешно ли адаптировались недавние заключенные в вольной жизни. Но принцесса и ее помощницы, непосредственно организовывавшие Убежище, в любом случае делали дело полезное и важное. Весь район Конной площади напоминал царство мертвых. Ведь арест, осуждение – это и гражданская смерть. За рекой Монастыркой видны были клюквенно-красные, украшенные узорчатой барочной лепниной и окруженные

зелеными садами корпуса Александро-Невской лавры. Монах тоже, как считается, умирает для мирской жизни. Но это другая смерть, добровольная и, по идее, радостная. Река как будто разделяла два загробных мира – райский сад и неказистый ад, пропахший городской пылью и навозом казачьих лошадей. Но именно отсюда дамы-благотворительницы пытались открыть женщинам, попавшим в тюрьму за мелкую кражу или за убийство незаконного ребенка (вряд ли среди них были матерые рецидивистки), дорогу обратно в мир живых – к новому, скромному, может быть, даже убогому, но все же нормальному, сколько-нибудь человеческому существованию.

Здание бывшего Убежища для женщин, вышедших из мест заключения, которым в 1900–1918 гг. заведовала Надежда Ювачева. Ныне – территория Котлотурбинного института им. И.И. Ползунова. Вид со стороны бывшей Глинской улицы. Фотография М. Захаренковой, 18 апреля 2008 г.

В первые годы XX века Убежище возглавила Надежда Ивановна Колюбакина.

Дворянский род Колюбакиных, согласно родословной (выдуманной, скорее всего), происходил от некоего Францбека, сына властителя Флоренции. Точные сведения начинаются с

Петровской эпохи. В 1722 году, во время Персидского похода, первый император роздал земли в Хвалынском уезде Саратовской губернии многочисленным служилым людям, среди которых были и Колюбакины. В конце XVIII века одна из деревень под Саратовом называлась Колюбаковка. Впоследствии эта деревня и несколько соседних слились в большое село Дворянская Терешка (ныне рабочий поселок Радищево). Именно там 29 сентября 1869 года Надежда Ивановна появилась на свет в семье Ивана Никитича Колюбакина, помещика, губернского секретаря, служащего в Хвалынской земской управе, и Варвары Сергеевны Богданович (по матери Рознатовской). В Дворянской Терешке сохранился дом Колюбакиных, на кладбище – семейный склеп.

В 13-летнем возрасте Надежда Ивановна по протекции статс-дамы Елизаветы Алексеевны Нарышкиной была определена в Екатерининский институт благородных девиц, курс которого закончила в 1887 году. С 1890-го она служила в Убежище, сперва – в качестве заведующей паровой прачечной. Служба эта давала ей не только моральное удовлетворение, не только чувство собственной полезности, но и какой-никакой заработок: семья Колюбакиных была небогатой, и в ней не только братьям, но и сестрам приходилось своим трудом добывать средства к существованию. Так, старшая сестра Надежды Ивановны, Наталья Ивановна, преподавала в гимназии в Царском Селе; среди ее учениц была Аня Горенко. Ну а в случае Нади Колюбакиной были особые причины, заставлявшие ее искать материальной независимости от отцовской семьи. О них – ниже.

Шестнадцатого апреля 1903 года 33-летняя Надежда Колюбакина вышла замуж за 43-летнего Ивана Павловича Ювачева, служащего Управления государственными сберегательными кассами, члена-корреспондента Главной физической обсерватории Академии наук и литератора. Знакомство их состоялось в доме княжны Марии Михайловны (см. ниже) Дондуковой-Корсаковой (1827–1909), дочери адресата беспардонной пушкинской эпиграммы, чистой душой 75-летней энтузиастки, много сделавшей для моральной и физической поддержки политических узников. Ювачев, член Благотворительного тюремного комитета, а в прошлом – сам заключенный и каторжанин, относился к ней с благоговением. К Надежде Ивановне старая княжна испытывала, судя по всему, почти материнские чувства. На Пасху 1902 года будущие супруги Ювачевы похристосовались. С этого пасхального поцелуя и началось их общение.

Скорее можно говорить о влюбленности или увлечении со стороны Надежды Ивановны: она искала встреч с Иваном

Павловичем, настойчиво приглашала его в гости в Убежище, покупала билеты в Мариинский театр и звала Ювачева с собой, посещала домашние салоны и Религиозно-философские собрания, завсегдатаем которых был он (да, те самые собрания, инициаторами которых были Мережковский, Гиппиус, Розанов, а гостями – самые разные люди, вплоть до еще безвестного Георгия Гапона, с которым Ивану Ювачеву приходилось сталкиваться и в других местах).

Мария Михайловна Дондукова-Корсакова была среди тех, кому Надежда Ивановна поверила свою невеселую женскую тайну. О тайне этой, о драме, пережитой будущей госпожой Ювачевой в молодости, мы знаем из письма, написанного ей будущим мужем 8 января 1903 года – в ответ на ее не дошедшее до нас письмо с признаниями.

> Дорогая Надежда Ивановна!
>
> Никакая фантазия до этого, что я узнал, не может додуматься…
>
> Прямо страшный факт!
>
> Из письма, положим, не знаешь подробно картины… Вообще не ясно. И даже сомневаешься в своей догадке: да так ли? Вот почему хотелось бы спросить Вас о некоторых подробностях (сколько Вам было лет тогда, под каким влиянием это было сделано, как Вы отнеслись к нему, какие результаты). Что делать, к сожалению, я узнал об этом. И, конечно, лучше знать всю правду, чем давать волю фантазии и подозрениям.
>
> Но позвольте Вам заметить: зачем Вы говорили об этом Владыке[4], Мар<ии> Михайловне и другим! Эту тайну Вы одни должны были знать и схоронить в себе. Раз знают об этом 5 человек, то трудно ручаться, что не будут ее знать 10–20 и больше. Как-никак, а этот факт – пятно на Вашем отце. И выставлять напоказ это пятно не следует. Власть отца над дочерьми громадна. Его судить мы не смеем. Вино чего не сделает! Вы помните библейский пример с Лотом… Но ведь моаветянка Руфь была прабабушкою возлюбленного Давида и праматерью Иисуса Христа. Так что благословение Господне от Вас не отнимется. Напротив, если Вы со смирением перенесете обиду, то Господь воздаст Вам сторицею.
>
> Итак, насколько это Вам возможно, свяжите обетом молчания всех лиц, кому это известно, и больше об этом никому ни слова. На отца не обижайтесь. Какой бы ни был отец – все-таки он отец. И судить человеческие

слабости нам нельзя. Разве Вы осуждаете Адама? А ведь он виновник всех наших бед… Да будет во всем воля Божия. Ему Одному ведомы неисповедимые пути, которыми Он нас ведет к спасению.

Что касается моего отношения к Вам, то это сообщение только заставляет еще более сочувствовать Вам, сострадать, соболезновать. Стряхните с себя всякую мысль об этом прошлом и не думайте никогда впредь.

Действительно, Вам нечего краснеть перед обществом. Итак, забудьте всё, выкиньте всё вон из головы. И да хранит Вас Матерь Божия под кровом Своим в мире и любви.

Сердечно преданный Иван Ювачев[5].

Надежда Ивановна Ювачева, 1910-е годы.

По осторожным обинякам Ювачева можно догадаться о том, чему в юности подверглась будущая мать Хармса. Вероятно, именно из-за инцестуального эпизода тринадцатилетнюю девочку решили удалить из родительского дома в закрытое заведение. До

смерти отца она больше не появлялась в Дворянской Терешке.

Впрочем, эта драма не сыграла роковой роли в женской судьбе Надежды Ивановны: нрав ее был горячим, но без всяких странностей и патологии, брак – поздним, но, сколько можно судить, во всех отношениях полноценным и даже относительно многодетным.

Госпожа Ювачева рожала пять раз. Первый сын, Павел, родившийся в 1904 году, прожил всего несколько месяцев (Надежда Ивановна не могла простить себе, что не уберегла ребенка). Но 17 (30) декабря 1905 года в служебной квартире на Глинской улице родился еще один мальчик, которого назвали Даниилом.

2

Даниил Хармс описывал свое появление на свет так:

> …Я родился дважды. Произошло это вот так.
>
> Мой папа женился на моей маме в 1902 году, но меня мои родители произвели на свет только в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Папа рассчитал, что зачатие должно произойти 1-го апреля, и только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка.
>
> Первый раз папа подъехал к моей маме 1 апреля 1903 года. Мама давно ждала этого момента и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень шутливом настроении и не удержался и сказал маме: “С первым апрелем!”
>
> Мама страшно обиделась и в этот день не подпустила папу к себе. Пришлось ждать до следующего года.
>
> В 1904 году, 1-го апреля, папа начал опять подъезжать к маме с тем же предложением. Но мама, помня прошлогодний случай, сказала, что теперь она уже больше не желает оставаться в глупом положении, и опять не подпустила к себе папу. Сколько папа ни бушевал, ничего не помогло.
>
> И только год спустя удалось моему папе уломать мою маму и зачать меня.
>
> Итак, мое зачатие произошло 1 апреля 19<0>5 года.
>
> Однако все папины расчеты рухнули, потому что я

оказался недоноском и родился на четыре месяца раньше срока.

Папа так разбушевался, что акушерка, принявшая меня, растерялась и начала запихивать меня обратно, откуда я только что вылез.

Присутствовавший при этом один наш знакомый студент Военно-медицинской академии заявил, что запихать меня обратно не удастся. Однако, несмотря на слова студента, меня все же запихали, но, правда, как потом выяснилось, запихать-то запихали, да второпях не туда.

Тут началась страшная суматоха.

Родительница кричит: “Подавайте мне моего ребенка!” А ей отвечают: “Ваш, – говорят, – ребенок находится внутри вас”. “Как! – кричит родительница. – Как ребенок внутри меня, когда я его только что родила!”

“Но, – говорят родительнице, – может быть, вы ошибаетесь?” “Как, – кричит родительница – ошибаюсь! Разве я могу ошибаться! Я сама видела, что ребенок только что вот тут лежал на простыне!” “Это верно, – говорят родительнице, – но, может быть, он куда-нибудь заполз”. Одним словом, и сами не знают, что сказать родительнице.

А родительница шумит и требует своего ребенка.

Пришлось звать опытного доктора. Опытный доктор осмотрел родительницу и руками развел, однако все же сообразил и дал родительнице хорошую порцию английской соли. Родительницу пронесло, и таким образом я вторично вышел на свет.

Тут опять папа разбушевался, дескать, это, мол, еще нельзя назвать рождением, что это, мол, еще не человек, а скорее наполовину зародыш, и что его следует либо опять обратно запихать, либо посадить в инкубатор.

И вот посадили меня в инкубатор

<…>

Через четыре месяца меня вынули из инкубатора. Это сделали как раз 1-го января 1906 года. Таким образом, я как бы родился в третий раз. Днем моего рождения стали считать именно 1 января.

Этот текст (датированный 1935 годом) – литературное произведение, никак не соотносящееся с реальностью: даже год свадьбы родителей другой. Да и дату своего рождения Хармс

называет неточно. Однако эта неточность была уже не литературной, а бытовой: почему-то Хармс предпочитал отмечать свой день рождения 1 января, после Нового года, хотя в паспорте его значилась верная дата. А вся история отдает бурлеском в духе Рабле, вообще-то Хармсом не очень любимого. Своим друзьям, Леониду и Тамаре Липавским, двумя годами раньше Даниил Иванович сообщил другую, еще более эксцентрическую, версию своего рождения:

> Я сам родился из икры. Тут даже чуть не вышло печального недоразумения. Зашел поздравить дядя, это было сразу после нереста, и мама лежала еще больная. Вот он и видит: люлька, полная икры. А дядя любил поесть. Он намазал меня на бутерброд и уже налил стопку водки. К счастью, вовремя успели остановить его, потом меня долго собирали… Родители долго избегали ставить меня в угол, так как я прилипал к стене.

В виде икры, “в бессознательном состоянии”, Даниил Иванович, по собственным словам, пробыл “до окончания гимназии”.

Можно искать в этих историях какое-то иносказание, намек на какие-то реальные обстоятельства (например, на умершего в младенчестве брата, на литературную инициацию, наступившую в поздние школьные годы), но, наверное, с учетом поэтики Хармса, правильнее воспринимать их как “вещь в себе”. Речь в них идет о том и только о том, какое это странное и смешное существо – человек, и как относительны привычные взгляды на его рождение, тело, сознание. Но почему именно о своем младенчестве и детстве любил Даниил Иванович рассказывать подобное?

Вероятно, подлинная история семьи Ювачевых больше заинтересовала бы его собеседников. Потому что на самом-то деле это была довольно необычная семья.

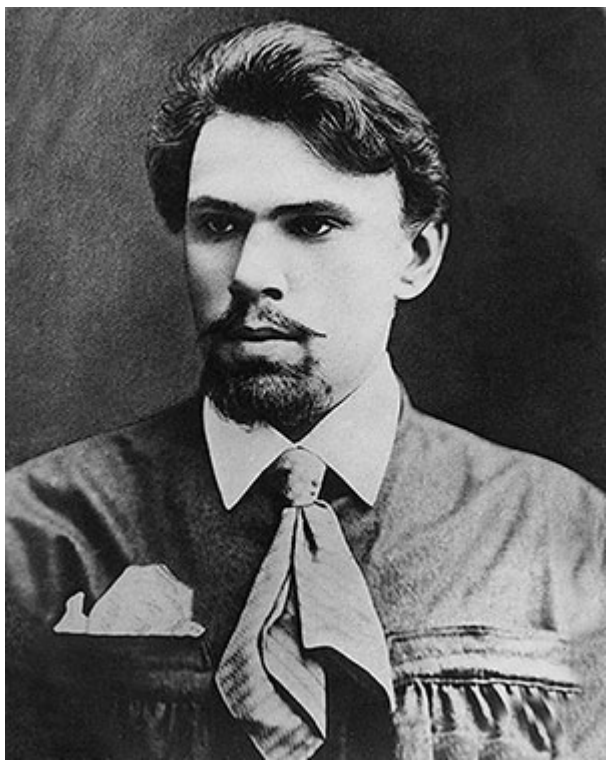
Не совсем обычна была служба матери и связанное с ней окружение. Но уж совсем необычной была личность и судьба отца.

Иван Павлович Ювачев родился 23 февраля 1860 года в семье придворного служителя.

Петербургский исследователь Николай Матвеевич Кавин восстановил историю рода Ювачевых в нескольких поколениях.

Иван Андреевич и Акилина Борисовна Ювачевы, прадед и прабабка Хармса, были крестьянами Санкт-Петербургской губернии. Один из их трех сыновей (и шести детей), Павел Иванович Ювачев, 1820 года рождения, не позднее 1840 года стал придворным полотером. В 1866 году он, уже по возрасту для

полотерского дела негодный, получил новое назначение: капельдинером царской ложи в Мариинском театре. Там он служил до отставки, после которой продолжал жить в казенной квартире напротив Аничкова дворца. Родственники бабки Хармса, урожденной Дарьи Харламовой, также, по-видимому, были дворцовыми служителями. Павел Ювачев дожил до старости, умер 24 июля 1903 года и был похоронен рядом с родителями на кладбище в селе Никольском. Могилы Ювачевых сохранились, Кавин нашел их. (Я хорошо помню это кладбище – на холме, над округлыми перелесками, над буроватыми водами Тосны: в 1990-е годы я в течение нескольких лет подолгу жил в ближайшем к нему доме – не догадываясь, что это место как-то связано с судьбой Хармса.)



Иван Павлович Ювачев, не позднее 1883 г.

Детей в семье было шестеро: дочь Анна (по мужу Чернышева) и пять сыновей. Виктор Иванович стал врачом-венерологом, а Андрей, Михаил и Петр, продолжая семейную традицию, служили в разных чинах по дворцовому ведомству. Андрей и Михаил умерли в 1900-е годы, а Петр Павлович – в блокаду, в один месяц со своим племянником Даниилом.

Лишь одному из сыновей Павла Ивановича выпала необычная

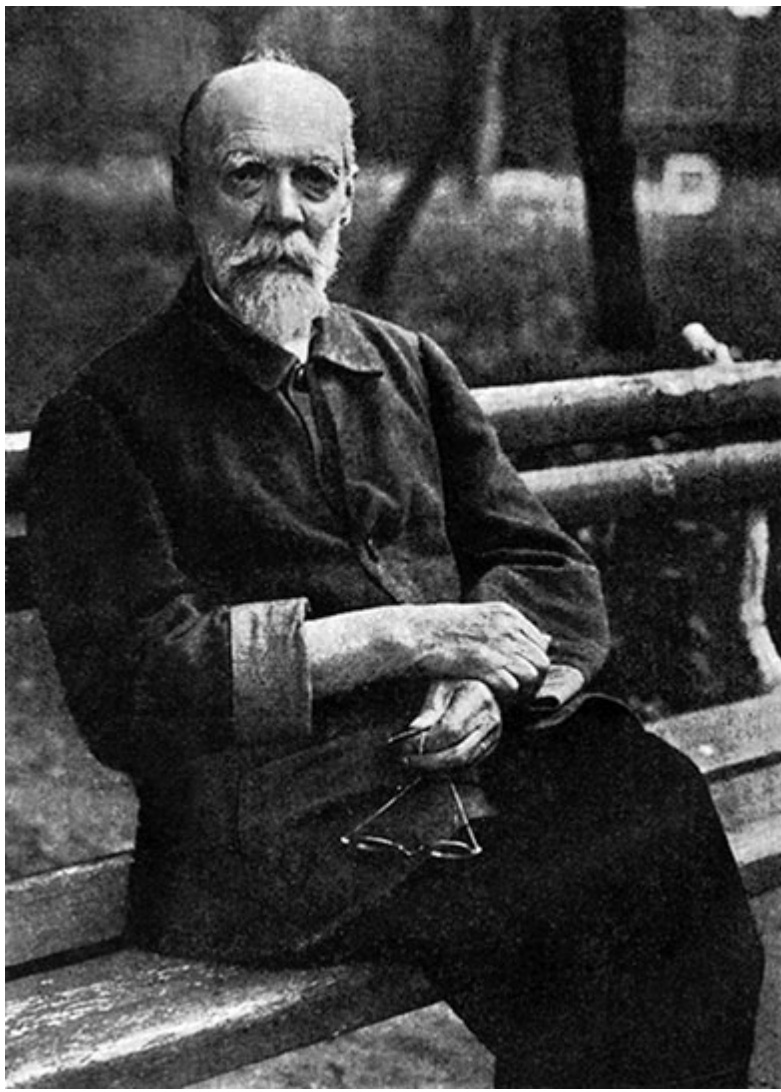
жизнь. Может быть, даже не одна – несколько жизней.

Придворные слуги имели возможность дать своим детям очень недурное образование – для своего сословия, разумеется. Иван Ювачев сперва хотел стать лесничим, но страсть к морским путешествиям, обычная для подростка, пересилила. Четырнадцати лет от роду, после окончания Владимирского уездного училища, он поступил в Техническое училище морского ведомства по штурманскому отделению. Среди товарищей, с которыми Ювачев сблизился в училище, был, между прочим, М.О. Меньшиков, впоследствии известный публицист. По иронии судьбы, именно Меньшиков, в зрелые годы – консерватор черносотенного склада, впервые познакомил Ювачева с нелегальной литературой.

По окончании училища Ювачеву было предложено участие в кругосветном плавании, но он подал прошение о назначении в Черноморский флот, надеясь принять участие в войне с турками. Вместе с тремя товарищами был отправлен в Николаев; в настоящих военных действиях участвовать ему не пришлось, но несколько месяцев спустя 18-летний Ювачев совершил морской рейд на шхуне “Казбек”, которой доверили “занятие” отошедшего к России по Сан-Стефанскому договору Батума. Этой акции начальство придавало важное значение “в виду возможности сопротивления местных горцев, фанатичных мусульман”[6].

Ювачев окончил училище с чином кондуктора, а затем был произведен в прапорщики флота[7]. Этот чин получали лишь “белопогонники”, офицеры инженерной службы. Между ними и “желтопогонниками”, собственно морскими офицерами, существовал жесткий антагонизм. “Желтопогонники”, высокородные питомцы Морского корпуса, третировали выпускников технических училищ, в которые принимали выходцев из низших сословий. Их медленнее производили в следующий чин, они не становились автоматически членами морского клуба. Однако с заменой парусного флота паровым значение “белопогонников” на флоте все возрастало, и, естественно, они были раздражены своим неполноправным положением. Неудивительно, что многие из них увлекались левыми идеями. Молодые офицеры, ощущавшие себя наследниками декабристов, вели далекоидущие политические разговоры. Но у первых русских революционеров были и другие наследники, свирепые и решительные. Недавно прозвучал взрыв на Екатерининском канале… Методы “Народной воли” не вызывали отторжения у военной молодежи. По воспоминаниям Ювачева,

пропаганда либеральных идей велась довольно свободно. Никакой осторожности. Все знали, что такой-то сочувствует социалистам. Я сам позволял себе, например, такие вещи. Попала в мои руки фотография Софьи Перовской. Иду в первую попавшуюся фотографию к незнакомому человеку и прошу его сделать дюжину снимков, с наклейкою их на чистый картон без указания фирмы фотографии (потому что это изображение известной преступницы). Или, бывало, иду к незнакомому переплетчику и даю ему переплести книгу с предупреждением, чтобы он шил ее сам, а не давал бы своим подмастерьям, потому что эта книга запрещенная. И все сходило благополучно[8].



Михаил Ашенбреннер, 1920-е.

Радикальные воззрения прапорщика Ювачева не остались без внимания начальства, и вскоре он был списан на берег – помощником начальника метеорологической станции в Николаеве (знал бы он, как позднее пригодится ему этот опыт). Но это не уберегло молодого офицера от крамолы: напротив, именно в Николаеве он познакомился с полковником Михаилом Юльевичем Ашенбреннером, лидером подпольной военной организации, входившей, говоря языком нашего времени, в “террористическую сеть”[9]. По предложению Ашенбреннера, кроме основного кружка, было создано еще несколько; Ювачев возглавил кружок военных моряков. Никаких насильственных действий офицеры не предпринимали. По воспоминаниям Ивана Павловича, у общества

> не было определенной программы: цели, казалось, были еще так отдалены и расплывчаты, что говорить тогда о чем-либо строго определенном нельзя было. Одно ясно: Правительство опирается на штыки, следовательно, надо постараться повернуть эти штыки против него самого. Поэтому пока остается одно: среди войск вести антиправительственную пропаганду[10].

Для наполовину разгромленной после 1 марта революционной партии военные кружки были полезным приобретением. Ценным приобретением был и сам Ювачев – ведь окна квартиры, в которой жили его родители, были расположены так, что из них легко можно было сбросить бомбу на выезжавшую из ворот карету царя. С кем-то из товарищей по подполью Иван Павлович успел поделиться этим наблюдением – и потом горько переживал из-за этого.

Лично Ювачев встретился лишь с одним из вождей “Народной воли”. Это произошло в Одессе в 1882 году; петербуржца звали Сергей Петрович Дегаев. Он предложил членам военной организации отказаться от пропаганды и перейти к террору. Безразлично, удастся или нет теракт, – важно показать обществу, что организация жива. Эти предложения были военными отклонены; более того, они вызвали у них подозрения. Как оказалось, справедливые… Дегаев был провокатором – и в том специфическом значении, которое имело это слово в российской революционной среде (то есть осведомителем полиции), и в прямом, словарном (то есть человеком, с задней мыслью подбивающим других на заведомо вредные и опасные для них поступки).

Завербовал его сам глава сыскного ведомства Георгий Судейкин (отец художника-мирискусника). По показаниям Сергея Петровича были арестованы руководители организации, в том числе Вера Фигнер (с которой Ювачев – и это было роковым для его последующей судьбы – успел вступить в переписку) и ряд руководителей рангом поменьше. У руля “Народной воли” встал сам Дегаев. По мнению большинства историков, ликвидировать революционную партию до конца Судейкин пока не собирался: террористы нужны были ему для устранения конкурентов по службе. Считается, что у полковника был детально разработанный план: с помощью направляемых терактов он собирался добраться до вершин власти[11]. План этот не удался – народовольцы “разоблачили” Дегаева, но разрешили ему отправляться на все четыре стороны, если он убьет Судейкина. Что и было исполнено… Но “Народной воле” был нанесен тяжкий удар, физический и моральный, и к 1884 году она была разгромлена окончательно.

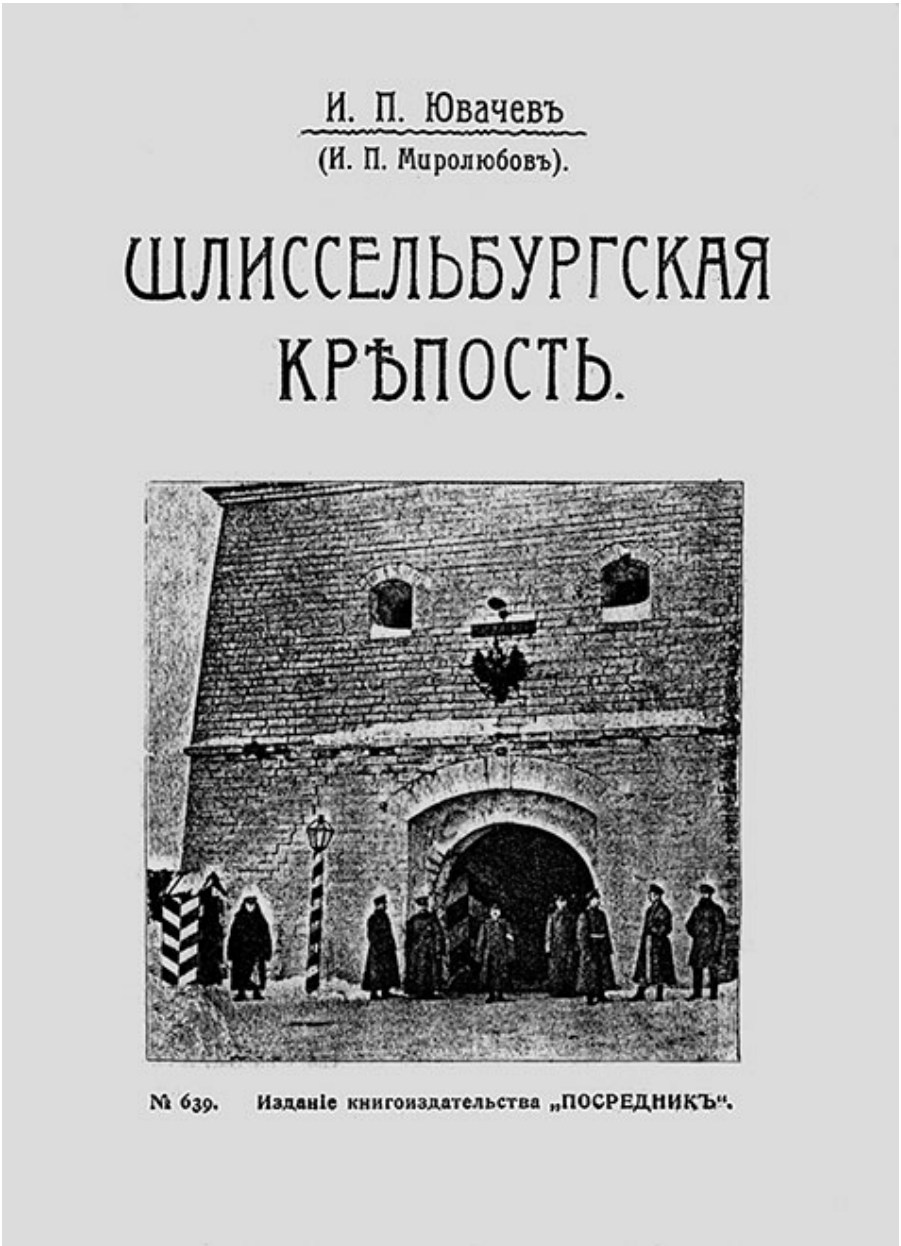
Ветераны-политкаторжане Михаил Фроленко (слева) и Иван Ювачев у стен Шлиссельбургской крепости, 19 июня 1929 г.

В числе жертв Дегаева и Судейкина оказался Иван Ювачев, в конце 1882 года откомандированный в Петербург, в Морскую академию. Он был арестован 13 августа 1883 года, судим на так называемом “процессе 14” и 28 сентября 1884 года приговорен к

смертной казни “за сношения с государственными преступниками бывшим лейтенантом флота Бунцевичем и Верою Филипповой-Фигнер”. Тщетно Иван Павлович доказывал, что “ни Бунцевича, ни Фигнер никогда не видел даже на фотографии”[12]. 6 октября смертная казнь была заменена бессрочной каторгой. Что, впрочем, все равно совершенно не соответствовало тяжести преступления, тем более что участники ювачевского кружка отделались административной ссылкой или просто увольнением с флота.

На настоящие каторжные работы революционеров при Александре III отправляли редко, предпочитая держать их в одиночном заключении в Шлиссельбурге. Ювачев провел там год и десять месяцев, всего же его тюремное заключение длилось почти четыре года. Именно в эти годы с ним произошло религиозное обращение. Поначалу единственной доступной ему книгой была Библия. Несколько позже заключенным революционерам разрешено было читать без ограничений книги из тюремной библиотеки и заниматься собственными литературными трудами. Получив возможность пользоваться словарями, Ювачев задумал заново перевести с греческого языка Евангелие. Язык Эллады Иван Павлович к тому времени освоил самостоятельно: в Морском техническом училище его, конечно, не преподавали. Позднее он так же самостоятельно, по пособиям, изучал древнееврейский.

Узнав о благочестивых настроениях раскаявшегося арестанта (которые товарищами были восприняты как “помешательство на религиозной почве”), шеф жандармов Оржевский предложил ему вместо пожизненного заключения монашество. Ювачев отказался. Наконец, 24 мая 1887 года, был отправлен в одну из самых отдаленных точек империи – на остров Сахалин, который в то время использовался почти исключительно в качестве места ссылки. Путь (через Одессу, Суэцкий канал, Индийский и Тихий океаны) занял больше двух месяцев.

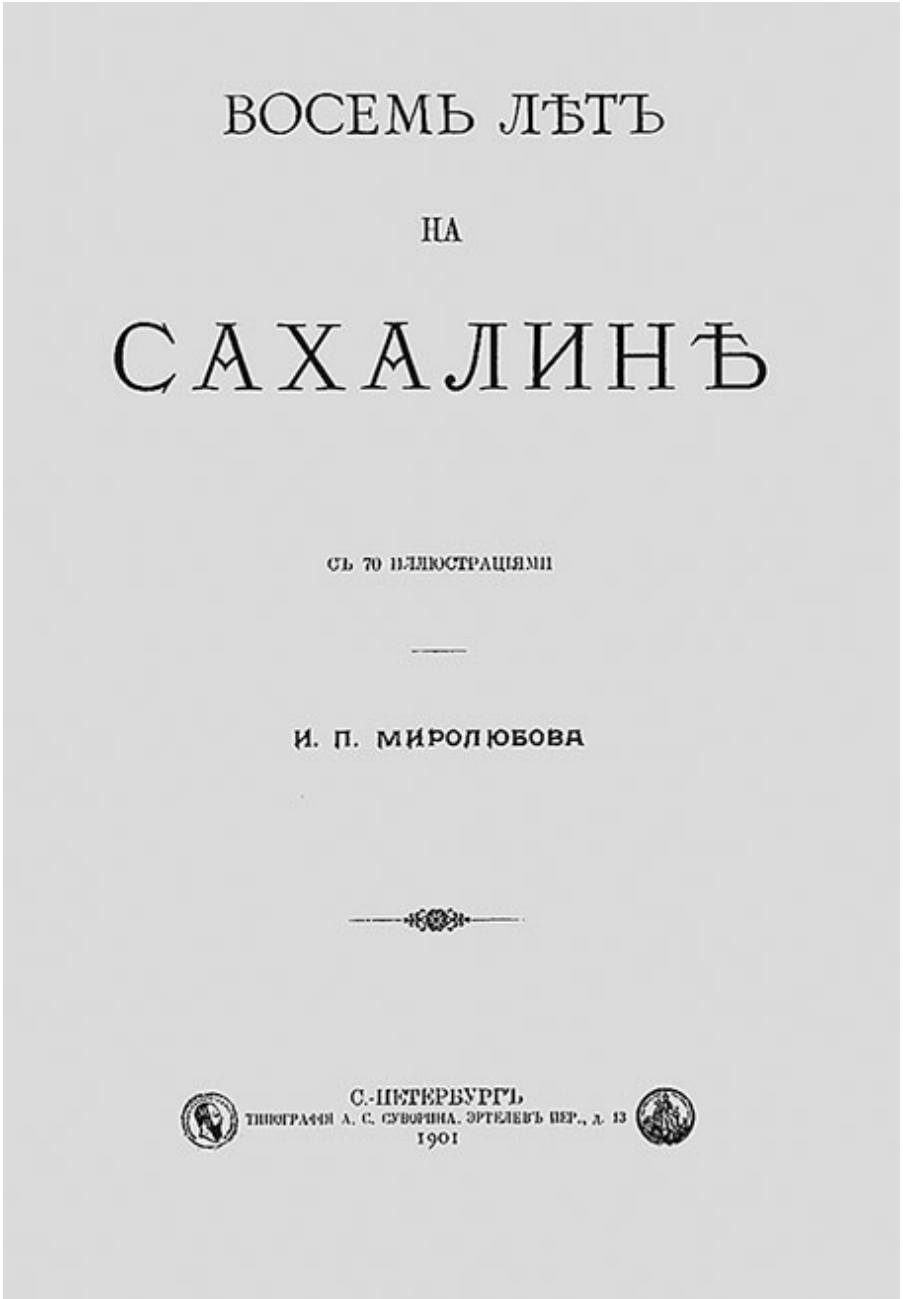


Книга И.П. Ювачева (И.П. Миролюбова) “Шлиссельбургская крепость” (М., 1907). Обложка.

При отправке Ювачеву не разрешили взять с собой в дорогу Библию. После его жалобы решение было изменено, но слишком поздно. Однако бюрократическая машина не дала сбоя: Библия была отправлена отдельной посылкой вслед за своим владельцем, проделала путь через Суэцкий канал, Индийский океан, Китай, Владивосток и через полгода прибыла на Сахалин.

Перед недавним шлиссельбургским узником, еще недавно похороненным заживо, открылась некая перспектива. Сопроводительное письмо, посланное вместе с заключенными, гласило:

> При назначении этих ссыльных на остров Сахалин принято было во внимание, в виду чистосердечного раскаяния их, поставить их вне того растлевающего влияния, которое могли бы оказать на них другие государственные преступники. Все эти 5 арестантов представляются людьми крайне молодого возраста и, при условии подчинения их целесообразной карательной обстановке, могут подавать надежду на обращение к полезным занятиям в пределах избранного для них острова Сахалина… Если они своим поведением докажут, что они действительно раскаялись в своих преступлениях и оставили свои ложные убеждения, они могут быть приурочены к таким занятиям, которые соответствовали бы их физическим силам, уровню способностей и образования каждого… В частности, по отношению к ссыльно-каторжному Ивану Ювачеву Управление считает не лишним пояснить, что он в случае доказанного одобрительного его поведения как бывший штурманский офицер мог бы оказать на Сахалине весьма существенную пользу исполнением различных работ по геодезическим измерениям, нивелировке местностей и составлению расчетов по землемерной части[13].


ВОСЕМЬ ЛѢТЪ

НА

САХАЛИНѢ

СЪ 70 ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ

И. П. МИРОЛЮБОВА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ТИПОГРАФІЯ А. С. СУВОРИНА. ЭРТЕЛЕВЪ ПЕР., Д. 13
1901

Книга И.П. Ювачева “Восемь лет на Сахалине” (СПб., 1901), изданная под псевдонимом И.П. Миролюбов. Титульный лист.

Ювачеву на словах было обещано, что вскоре он будет переведен на положение ссыльного, потом – в государственные крестьяне, а там уж и до полного восстановления в правах недолго. Все это осталось пустыми посулами, но заниматься

физическим трудом (плотничеством на строительстве храма) Ивану Павловичу и в самом деле пришлось недолго. Через пять месяцев по прибытии на Сахалин он был определен в помощь Марии Антоновне Кржижевской, фельдшерице и заведующей метеорологической станцией. Кржижевская была из породы героических альтруисток, воспитанных литературой того времени. Пережив какие-то личные разочарования, она отправилась на Сахалин, чтобы посвятить себя служению “несчастным” и среди них провести остаток жизни. С этой женщиной, которая была старше его на шесть лет, бывшего моряка связала трогательная дружба с оттенком платонической влюбленности. Опубликована переписка, которую они вели между собой (служебные дела заставляли Ивана Павловича разъезжать по острову)[14]. Во сне Иван Павлович объяснялся Марии Антоновне (которая при том была моложе и красивее, чем в жизни) в любви – почему-то в присутствии собственной матери. В жизни до таких объяснений дело, видимо, не доходило. Но смерть Кржижевской (от туберкулеза, в 1892 году) стала для него потрясением, от которого он оправился не сразу. Все же оправился – и сам, находясь еще формально на положении каторжанина, возглавил метеостанцию. Результаты его наблюдений позднее дважды (в 1894 и 1896 годах) выходили отдельными брошюрами.

Годом раньше ему пришлось проявить себя в своей первоначальной, морской, профессии: ему было поручено испытать первый сахалинский катер “Князь Николай Шаховской”. На борту этого катера он пересек Татарский пролив и обошел западные берега острова. Одновременно он истово исполнял обязанности старосты церкви, в строительстве которой когда-то участвовал. Начальство ценило образованного и исполнительного каторжанина. Появились у него и друзья. Кроме Кржижевской, это был, в частности, Лев Яковлевич Штернберг, тоже народоволец, впоследствии, как многие бывшие “политические” ссыльные, ставший крупным ученым-этнографом, заместителем директора Кунсткамеры. Переписка, которую вели между собой Ювачев и Штернберг в разъездах по Сахалину, затрагивала и духовные вопросы[15].

Мария Кржижевская, 1880-е. Из книги И.П. Ювачева “Восемь лет на Сахалине”.

Ювачев оказался на Сахалине в то же время, когда его посещал Чехов (август 1890-го). К общению с политическими ссыльными писатель допущен не был, но с Иваном Павловичем ему встретиться довелось. В “Острове Сахалине” мимоходом упоминается неофициальный заведующий обсерваторией в Рыкове, “привилегированный ссыльный, бывший мичман, человек замечательно трудолюбивый и добрый”[16]. Некоторые исследователи видят в Ювачеве прототип героя чеховского “Рассказа неизвестного человека”. Спустя несколько лет Ювачев послал Чехову одну из своих метеорологических брошюр, исправляя климатологические рассуждения в “Острове Сахалине”. Вообще же отношение “бывшего мичмана” (чин,

правда, указан не совсем точно) к чеховской книге было неоднозначным. В частных разговорах (с Толстым в том числе) он упрекал Антона Павловича в тенденциозности, в сгущении мрачных красок при описании сахалинского быта[17], хотя и его собственные мемуары[18] светлого впечатления не оставляют. Тем не менее лично он адаптировался на острове, смог проявить свои знания и способности.

Однако долгожданных перемен к лучшему в его положении все не происходило. 21 января 1892 года Ювачев со свойственной ему пунктуальностью записывает свой очередной сон, приснившийся “ровно через три дня после новолуния”:

> …Видел Государя и наследника. Государь был не похож на Александра II. Симпатичный, строгий, с ясными глазами. Наследник высокий юноша[19]. Я вошел в комнату, нет никого. Входит Государь. Увидев меня, он подумал, что я проситель. – Спрашивай, чего надо, только говори всю правду. Разговорились. Он как-то вспомнил, что я штурман-офицер Ювачев. Все-таки я старался объяснить свое преступление, говорил, что я фактически ничего не сделал, просил ради стариков отпустить меня. Говоря о социалистах, Государь заметил, что они занимаются пролитием крови и спиритуализмом. Потом я вышел, стал читать <письма? > стариков из деревни, как приходит ко мне наследник. Очень дружелюбно стали мы разговаривать, ходя по комнате из угла в угол обнявшись. Он приглашал гулять на реку. Я отговаривался и пригласил его к себе в гости. Он пошел. Когда я открыл калитку, проснулся[20].

Запись сна (как, впрочем, любые записи любых снов) несколько напоминает грядущую прозу Ювачева-сына. Но в каком-то отношении сон оказался в руку: изменения в положении узника пришли именно в год воцарения Николая II. 18 января Иван Павлович был официально переведен на положение ссыльнопоселенца (без права покидать Сахалин). 11 марта 1894 года государь (еще Александр III)

> всемилостивейше повелеть изволил: перевести Ювачева в разряд сосланных на житье в Сибирь, с тем, чтобы ему было предоставлено, по прошествии тринадцати лет со дня вступления приговора по его делу в законную силу, права свободного избрания жительства в Европейской и Азиатской России, кроме столицы и столичных губерний, но без восстановления его в

правах[21].

В 1895 году, уже в новое царствование, Ювачев сдал дела на метеостанции и уехал во Владивосток. Там он устроился на службу в управление строящейся Уссурийской железной дороги – сперва чертежником, а с апреля 1896-го – вновь по морской части: он был назначен капитаном принадлежавшего железной дороге двухколесного речного парохода “Инженер”. Согласно выданной при отбытии с Дальнего Востока аттестации, Ювачев,

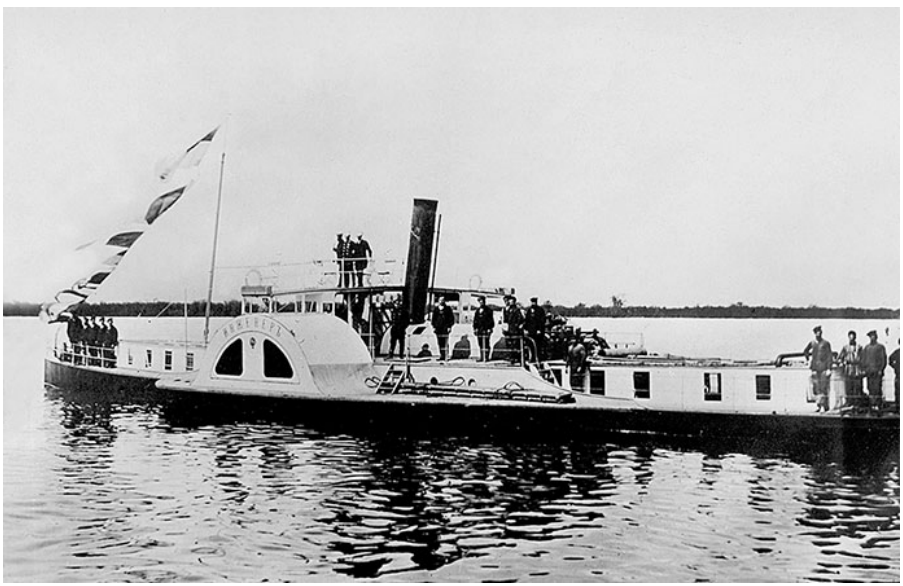
> спустив новый пароход, в две недели приготовился к плаванию, обучил команду на пароходе и восьми баржах и организовал непрерывную перевозку срочных грузов… изучил фарватер рек Имана и Уссури и буксировал по четыре баржи без лоцмана[22].

В 1897 году, согласно царскому указу, Ювачев мог вернуться в Европейскую Россию. Но на практике ему пришлось приложить некоторые хлопоты, чтобы получить разрешение на такое возвращение. 1 марта последовало наконец долгожданное распоряжение приморского губернатора. Ювачев отправился в путь. Маршрут его пролегал, согласно дорожному дневнику, через “Великий океан, Иокогаму, Токио, Гонолулу, Сандвичевы острова, Сан-Франциско, Чикаго, Буффало, Нью-Йорк, Атлантический океан, Ливерпуль, Лондон, Квинсборо, Флисенген, Берлин, Вержболов, Вильно, Гатчина, Тосно, Любань”[23].

Город Любань Новгородской губернии был ближайшим к столице местом, где Ювачеву разрешено было проживать. Отсюда он регулярно приезжал на короткое время в Петербург, где жили его родители и братья (Михаил, Андрей, Петр). Теперь он хлопотал о дозволении жительства в столице и возвращении прав состояния. Из-за поражения в правах пришлось отклонить лестное и выгодное предложение службы в Русском обществе пароходства и торговли. Наконец, в 1899 году, Ювачеву было разрешено повсеместное жительство в империи и возвращен чин прапорщика флота (соответствовавший поручику армии). Отныне он считался не “бывшим”, а отставным офицером.

Первая половина жизни Ювачева-отца могла бы стать сюжетом для авантюрного романа. Вторая половина обещала быть победнее событиями, но и она начиналась нескучно. Странствия продолжались: в первые годы после возвращения в столицу Ювачев (некоторое время прослужив в скромной должности десятника на железнодорожном строительстве) совершил паломничество в Палестину, побывал в Египте, Греции, Сирии, участвовал в географической экспедиции по

исследованию устья Сырдарьи (вместе с молодым Максимилианом Волошиным, между прочим). В марте 1903 года, готовясь к женитьбе, он устроился на службу в Управление сберегательных касс – сперва на скромную должность помощника делопроизводителя в чине губернского секретаря (последнее вызвало неудовольствие Ювачева: в многочисленных рапортах он доказывал, что чину прапорщика флота соответствует более высокий ранг на гражданской службе). За двенадцать лет он вырос до ревизора первого ранга, надворного советника[24], был награжден орденом Святой Анны третьей степени. Новая служба тоже была сопряжена с дальними поездками: инспектируя сберегательные кассы, Ювачев объездил чуть ли не всю Россию, от Минска до Вилюйска.



Речной пароход “Инженер”. На капитанском мостике – Иван Ювачев, 1896–1897 гг.

Но главным в эти годы стало литературное творчество. Еще в крепости Ювачев начал писать стихи религиозного содержания, хотя прежде, по собственному признанию, поэзией особенно не интересовался. Стихотворчеством коротали бесконечные тюремные дни и его подельники – например, знаменитый своими энциклопедическими научными интересами Николай Морозов, с которым Иван Павлович подружился на прогулках. Поэтические опыты продолжались и на Сахалине. Ювачев пытался слагать религиозные гимны и кондаки, порой сам подбирая к своим стихам напев, перелагал псалмы, отзывался с христианской точки зрения на те или иные случаи тюремной и каторжной жизни.

Особой литературной ценности его стихи не представляют, но вполне соответствуют общему, весьма невысокому уровню профессионального стихотворчества 1880–1890-х годов. Вот, к примеру, “Надпись на Библию”:

> В этой книге вся жизнь отразилась,
> В ней, как в зеркале, видим весь свет,
> Тайна Божиих дел нам открылась,
> Здесь на все есть готовый ответ.
> Что уж было, что есть и что будет,
> Чрез пророков Господь показал.
> Милый друг! и тебя не забудет:
> “Только верь и люби”, – Он сказал…[25]

Автор, посылая это стихотворение в одном из писем Кржижевской, отмечал ритмическое влияние Некрасова, самого читаемого в ту пору из русских поэтов. В других его стихотворениях слышатся явственные нотки Никитина и Кольцова, чьи “народные” стихи входили в школьную программу. Но вообще на Сахалине круг чтения Ювачева, по собственному признанию, изменился. Гюго сменил Толстой, Писарева – духовная и агиографическая литература. Среди книг, упоминаемых в переписке с Кржижевской, есть сочинения о Серафиме Саровском и “О подражании Христу” Фомы Кемпийского.

Именно в качестве духовного писателя Иван Ювачев (псевдоним – Миролюбов) и состоялся в зрелые годы. Уже вскоре после переезда в Любань он, в одном из прошений, мотивирует необходимость переезда в Петербург в том числе своим намерением зарабатывать на жизнь сотрудничеством в религиозных журналах. С 1900 по 1917 год он, не считая мемуаров и путевых очерков, опубликовал свыше 25 книг и брошюр. Одна из его книг – сборник рассказов “Между миром и монастырем” – была переиздана в 1998 году. Местами в этой книге мелькает нечто “хармсовское”. Ну, вот такой сюжет, к примеру: старец приказывает своему послушнику посадить на грядке капусту листьями вниз. Послушник, решив, что старец ошибся по слабости глаз, капусту сажает, но более традиционным способом. Увидев работу юноши,

> старец повернулся к послушнику и стал смотреть на него с улыбкой своими светлыми глазами.
>
> Послушник смутился от его долгого взгляда, почувствовал в нем безмолвный укор и покраснел.

– Родной мой, – проникновенно сказал старец. – Нам не капуста дорога, а дорого нам послушание.

– Ведь так же не вырастет, – пробовал оправдаться послушник.

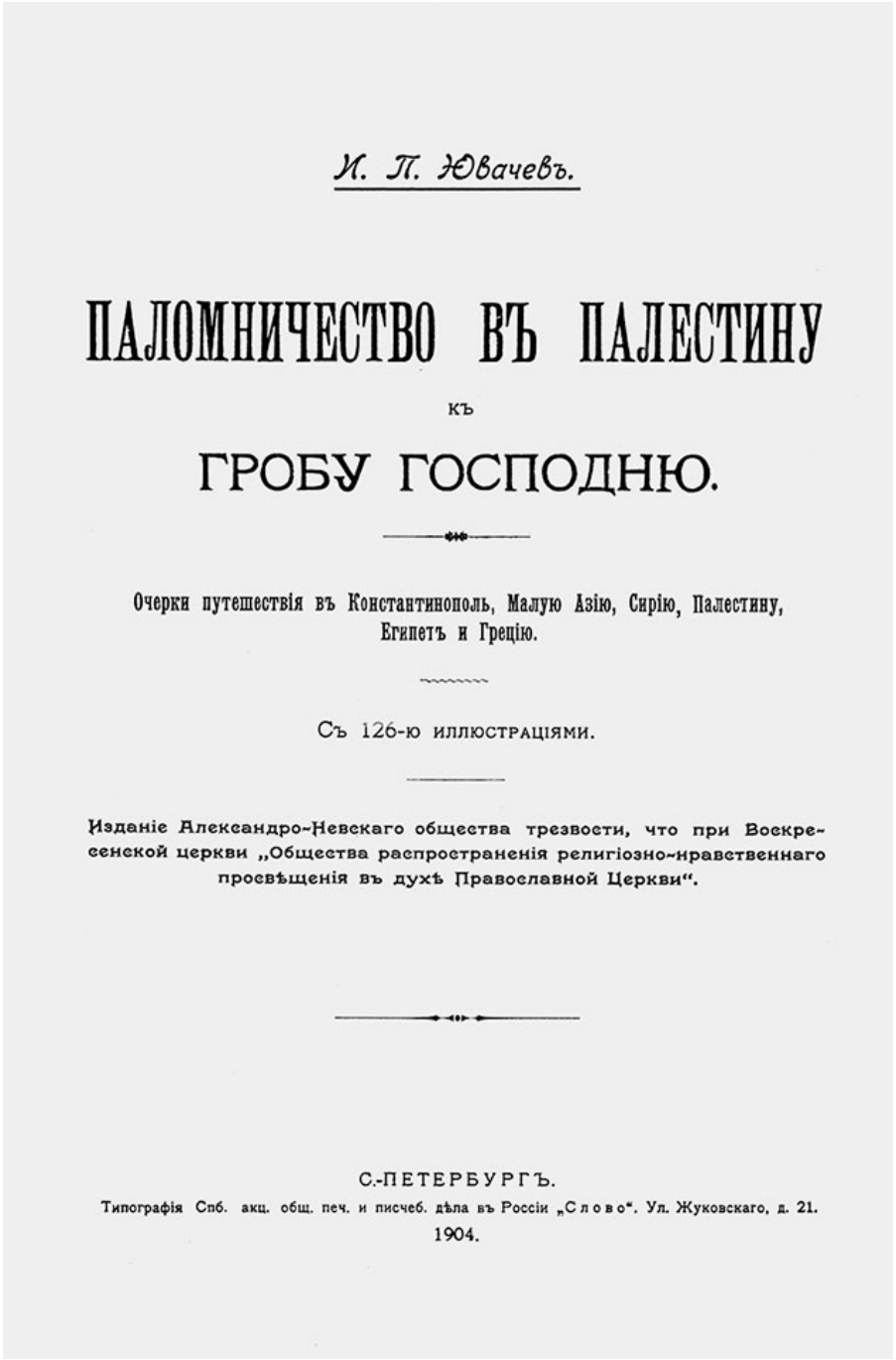
– У нас, милый, молитвами святых отцов все вырастет![26]

Впрочем, такого рода сюжеты, пронизанные вызывающим, на грани пародии, абсурдом, вообще характерны для агиографии, и не только христианской. К тому же сюжетные тексты Ювачева-отца часто выглядят несколько комично из-за недостаточного авторского мастерства. Способностей беллетриста он явно был лишен. Художественный вымысел в тех случаях, когда Ювачев к нему прибегает, убог и откровенно служит дидактическим целям.

В своих опубликованных сочинениях Иван Павлович никогда не отступал от церковной ортодоксии и выказывал почтение к православным иерархам. Это не мешало ему быть желанным гостем в Ясной Поляне. Толстому он объяснял свои воззрения так:

…После Христа было две церкви – христианская и иудейская. Иудейская разрушилась, когда Богу было угодно, когда был разрушен храм в 70 г. Теперь есть православная церковь и церковь свободных христиан… Православная церковь разрушится, когда Богу будет угодно; нападать на нее не надо[27].

Эти мысли не были случайными: Ювачев, судя по собственным дневниковым записям, возвращался к ним в разговорах с разными собеседниками и три года спустя, поминая именно свою беседу с Толстым[28]. Двойственность, чтобы не сказать больше, позиции Ивана Павловича была слишком очевидна: он публично защищал то, что считал обреченным, и, будучи верным, по видимости, сыном церкви, дружил с людьми, которых церковь числила во врагах. Впрочем, он, решительно предпочитая спиритуализм пролитию крови, продолжал дружески общаться и со своими старыми товарищами-революционерами, вышедшими на свободу из заточения накануне и во время революции 1905 года. В отличие от другого религиозного писателя из старых народовольцев, знаменитого Льва Тихомирова, он не только никого не предал, но и ни от кого не отрекся.



И. П. Ювачевъ.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ВЪ ПАЛЕСТИНУ

КЪ

ГРОБУ ГОСПОДНЮ.

Очерки путешествія въ Константинополь, Малую Азію, Сирію, Палестину, Египетъ и Грецію.

Съ 126-ю иллюстраціями.

Изданіе Александро-Невскаго общества трезвости, что при Воскресенской церкви „Общества распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви".

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

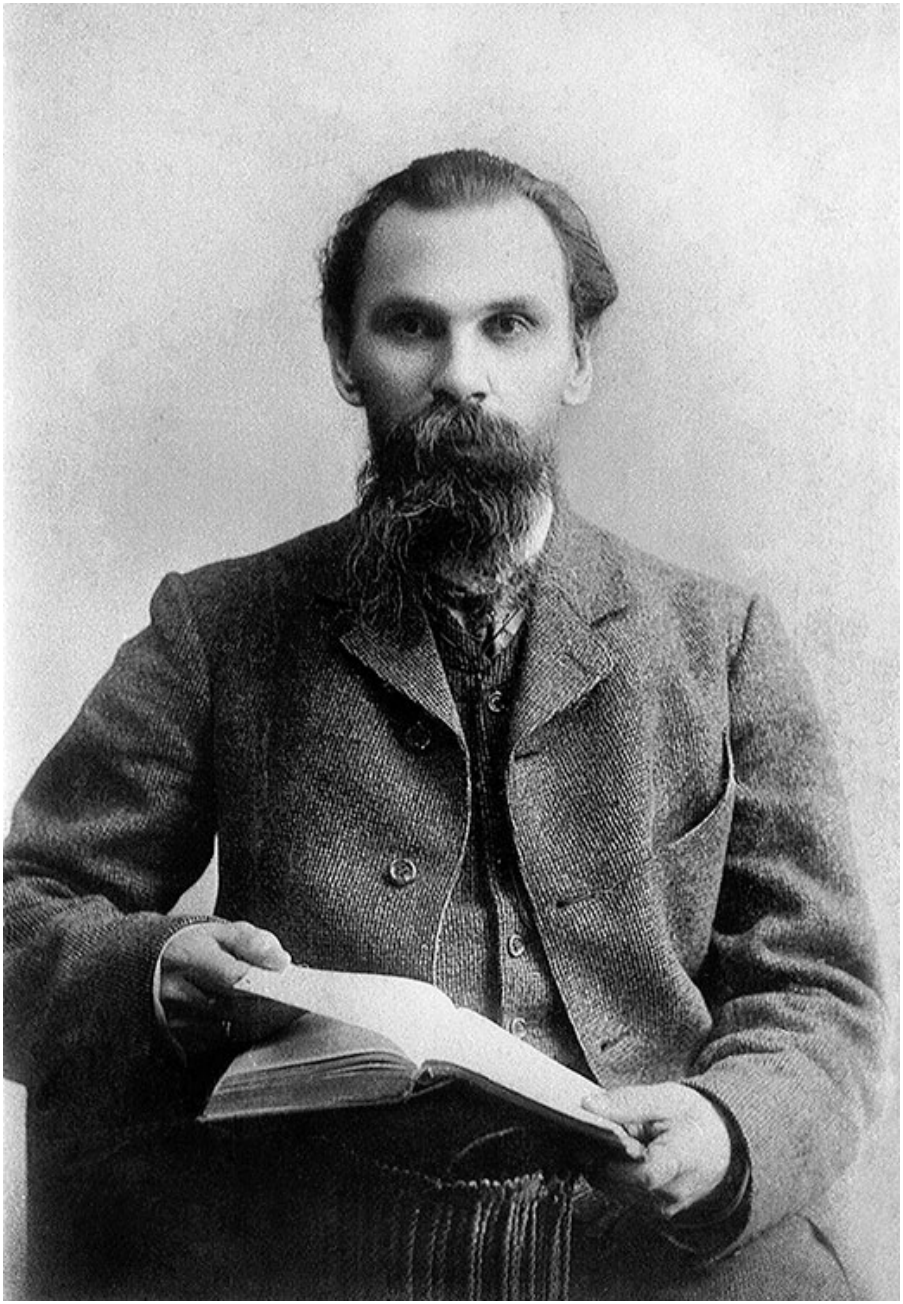
Типографія Спб. акц. общ. печ. и писчеб. дѣла въ Россіи „С л о в о". Ул. Жуковскаго, д. 21.

1904.

Книга И.П. Ювачева “Паломничество в Палестину к Гробу Господню” (СПб., 1904). Титульный лист.

Идеи “свободного христианства”, новой Церкви должны были, казалось бы, сблизить Ювачева не только с Толстым, но и с

теми, кто собирался в салоне Мережковских и на Башне Вячеслава Иванова. Тем более, что рассуждения Ювачева местами удивительно близки, скажем, к Владимиру Соловьеву. Например, диалог о совместимости христианства и военной службы в ювачевской “Шестой печати” (1905) очень напоминает аналогичное место в “Трех разговорах”. Да и апокалиптические настроения, предчувствие, что “теперь гудит шестая труба… Когда Христос свивает шестую печать – небо свивается в свиток и звезды падают…” – все это, казалось бы, совпадало с настроениями мистиков символистского круга. А настойчивое стремление связать “трансцендентные науки” с математическими выкладками, увлечение магией чисел сближает Ювачева-отца с Велимиром Хлебниковым, которого Хармс и его друзья будут со временем числить одним из своих главных учителей. Позднее Иван Павлович подарит на тридцатилетие своему “чокнутому сыну Даниилу – книгу чокнутого поэта Велимира”. Но самого старшего Ювачева “чокнутый поэт” и его “Доски Судьбы” не заинтересовали – ни до революции, ни в тридцатые годы. Видимо, эстетика модернистов была Ивану Павловичу слишком чуждой, язык, на котором они говорили, – невнятным. Воспитанный на Писареве, он навсегда остался наивным позитивистом, не по убеждениям, а по психологии. Мистические откровения у него сразу же переходили в бытовую дидактику, а то и в несколько гротескные рассуждения о том, грешно или нет посылать почтовые открытки и слушать граммофон (Ювачев приходит к выводу, что не грешно).



Иван Павлович Ювачев. Фотоателье А.А. Оцупа, 1900-е.

Но 1905 год давал религиозному публицисту Ювачеву и более интересные темы для размышлений… Осенью и в начале зимы события сменяли друг друга. Всеобщая политическая стачка, создание Петербургского совета рабочих депутатов, манифест 17 октября, назначение премьером либерала Витте,

учредительные съезды трех враждебных партий (Союза русского народа, Союза 17 октября и конституционных демократов), манифестации, погромы в Западном крае и Закавказье, поджоги помещичьих усадеб, экспроприации, теракты, первый закон о выборах в Государственную думу, наконец, десятидневное вооруженное восстание в Москве.

В разгар этих событий, 27 ноября, бывший революционер Ювачев, гостя в Ясной Поляне у Толстого, так описывал происходящее в столице: “Социал-демократы хотят ввести диктатуру пролетариата… Шайки вооруженных людей врываются в дома. Охрана удвоена… Барышням опасно ходить по улице”[29]. Все эти непорядки не радовали Ивана Павловича – особенно в дни, когда супруга была вновь на сносях. Но, несомненно, он не считал лучшим методом борьбы с революционным насилием военно-полевые суды и “столыпинские галстуки”. В начале 1906 года отдельной брошюрой был издан очередной его нравоучительный рассказ, “Революция”, в котором некоему агитатору на митинге без труда удается переубедить толпу возбужденных рабочих – вот такими речами:

> Я тоже за революцию… Нужно изменить свою жизнь, нужно непременно сделать революцию, обратиться к тому образу жизни, который проповедовал Сам Христос и Его апостолы… Я за свободу. Давно пора освободиться от сетей дьявола[30].

Вероятно, сам автор брошюры все же был настроен не так простодушно-оптимистично. Едва ли он в самом деле верил, что стихию можно победить сладкой проповедью. Происходящее казалось ему началом событий грозных, великих и роковых, событий, которые должны закончиться преображением мира: “Разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды”. Но прежде “наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди”.

Так сказано в книге пророка Даниила, самом раннем из библейских сочинений, содержащем апокалиптические пророчества. (Сам пророк жил в VII веке до н. э., в юности он попал в вавилонский плен, но книга написана, скорее всего, уже в дни Хасмонеев, после 165 года до н. э.)

Тридцатого декабря 1905 года Иван Павлович записывает в дневнике:

> Пришел батюшка и стали решать, как назвать сына. Сообща решили назвать Даниилом. Во 1) сегодня память Даниила, 2) 12 дней тому назад видел во сне его, 3) по

имени его “Суд Божий” можно назвать и свои личные страдания 14 <лет>[31] и “революцию России” 4) самый дорогой пророк для меня, из которого я строю свою философию[32].

Мальчик был крещен три недели спустя, 5 (18) января 1906 года в домовой церкви Убежища. Восприемниками от купели были тетка по матери Наталья Ивановна и дядя по отцу Петр Павлович. Таким образом, дядя рядом с колыбелью все же появляется – но неизвестно, был ли он гурманом.

3

В первые месяцы после рождения ребенка Надежда Ивановна не могла всецело посвятить себя долгожданному сыну (впрочем, у того была очень заботливая и исполнительная “мамка” – Настя). Из-за смутного времени благотворительные учреждения оказались в тяжелом положении: государственные и частные субсидии почти прекратились. 20 марта 1906 года Ювачева пишет мужу:

> Я всячески стараюсь успокоить себя относительно дел Убежища, но трудно мне это дается. Я вижу, что перемены неоткуда ждать, а самим нам не выработать столько, чтобы покрыть такую сумму долгу 23 тысячи. Ты пишешь: предоставь это директорам, ведь я знаю, голубчик, что они ничего не сделают, им все равно, а мне жаль Убежища, жаль дела, в котором я вижу действительную пользу для наших женщин[33].

Но вскоре, видимо, дела пошли на лад. И в письмах Ювачевой все меньше места занимают служебные огорчения, все больше – обычные чувства и заботы счастливой молодой матери:

> Данилушка так всегда радуется, когда я приезжаю, так и бросается ко мне. Он сегодня поставил себе синяк на щеке, бегал и задел за стул, хорошо еще что не висок, а за щечкой. Ты пишешь, чтобы не показывать виду, что боишься, когда гремит гром, да я ведь грозы не боюсь, а люблю ее и всегда даже выхожу на улицу, он испугался потому, что очень уж сильный был гром (14.06.1907)[34].

Надежда Ивановна была страстным, эмоциональным человеком, и свою пылкость, свою накопившуюся за годы трудной

и одинокой молодости способность любить и желание любви она вносила и в отношения с мужем (особенно на первых порах), и в дела Убежища, и в воспитание детей. Не всегда эта горячность проявлялась разумно и шла на пользу. В феврале 1911 года Ювачев строго писал жене:

> Ты осуждала сестру мою Анну за крик на ребят, но ты сама стала второй Анной. Ты на Даню целый день кричишь. Хорошо, что он привык к твоим крикам и они его не трогают. Но худо и то, что он перестает слушаться. <…>
>
> На мой взгляд, у тебя, Надя, делаются неприятности с людьми. Ты до того привыкла браниться, что не замечаешь ни своих криков, ни своей брани[35].

Но Ивану Павловичу легко было писать. Он жил своими духовными интересами, литературными и служебными делами, да и частые командировки позволяли ему держаться чуть в стороне от текущих семейных дел. На плечах Надежды Ивановны было трое детей – Даня и его младшие сестры Елизавета и Наталья (родившиеся, соответственно, в 1909 и 1912 годах)[36], было Убежище с его немудреным, но требовавшим забот хозяйством. При этом она еще выполняла различные поручения мужа, связанные с изданием его трудов. Вся ее жизнь проходила в суете, в хлопотах; неудивительно, что порою она становилась раздражительной.

Даниил Ювачев. Фотоателье С.Л. Левицкого, ок. 1906 г.

Тем более что и материальное положение семьи оставляло желать лучшего. У Ювачевых не было сбережений, и хотя оба супруга получали жалованье, а казенная квартира в Убежище предоставлялась начальнице бесплатно (правда, квартира была тесной, Иван Павлович снимал еще отдельную комнату для работы) – им приходилось прилагать известные усилия, чтобы жить, как полагалось тогдашней петербургской семье из “среднего класса”. 18 мая 1911 года Надежда Ивановна писала мужу:

> Вот тебе наш расход будущий; 30 р. англичанке, 10 руб. Дуне, 8 руб. Насте, 12 руб. дворнику, 20 руб. комната, итого 80 руб. Мы получаем 113 твоих и 50 моих – 163 руб.[37], остается 83 руб., каждый день стоит обед и ужин 3 руб. – 90 руб., я не считаю чаю, сахару, кофе, булок и конечно того, что надо Дане сапоги, то Лизе, то

мне…[38]

Приход еле сходился с расходом, покупка зимнего пальто для ребенка была серьезной тратой, требовавшей долгих обсуждений, но на книги и на гувернанток, немку Лину и англичанку хватало: на этом не экономили. Воспитывать детей помогала младшая сестра Надежды Ивановны Мария Ивановна – Маша или Маня.

Иван Павлович с высоты своего непростого опыта считал, что воспитывать мальчика следует по-спартански, закалять его: “Чем проще, суровее, естественнее – тем лучше”. Но воспитывал он сына в те годы большей частью по переписке… И все же Даня с первых месяцев жизни полюбил отца. То, что видеться они могли лишь урывками, только усиливало любовь. “Данилушка прекрасно выговаривает теперь “папа” и все время смотрит на твой портрет” (11 сентября 1906 года). “Даня все целует твой портрет и другим дает” (20 января 1907 года). “Сегодня получили 3 твоих письма, от 10 и 11, и открытку для Дани. Данюк в восторге, все время носит это письмо и читает, но никто ничего не понимает” (13 декабря 1907 года). Годам к четырем-пяти образ отца стал обрастать в сознании мальчика фантастическими подробностями. “Даня всем рассказывает, что Папа у него студент и учит гимнастики, откуда он это взял, неизвестно, вообще врет много”. Почти 50-летний религиозный писатель Ювачев, видимо, в самом деле не чуждался гимнастических упражнений: Даня мечтал “лазить на трапецию”[39] с отцом. Почву для фантазий давали и отцовские странствия. Когда пятилетнего Данилу (Даня, Данила, Данюк, Данилка – все эти ласковые имена в письмах матери чередуются) начали учить географии, он просил показать на карте города, в которые уехал Папа[40] (самому ему во взрослой жизни путешествовать совсем почти не придется).

Все было “как положено” – и желание походить на отца, и ревность к нему. Пятилетний Даня заявлял, что у него начинает, как у папы, расти борода, а семи лет от роду он до драки спорил с сестренкой, “кого папа больше любит”. Подражая отцу, мальчик усердно молился, причем старался делать это в той же, что и отец, позе. С миром матери, с ее несчастными подведомственными он тоже соприкасался – но это происходило забавно и невинно. Так, в один из сентябрьских дней 1910 года без малого пятилетний Даня “отправился в гладилку, где девушки пели, и говорит им: а я лучше вас петь умею, да как начал орать, ах дербень дербень Калуга, Машенька, которая была с ним, говорит, что даже покраснела, так ей стыдно стало…”.[41] Но в самом маленьком Дане было гораздо меньше исключительного или своеобразного, чем в прошлом и настоящем

его родителей. Он играл в трамвайного кондуктора и “всем продавал билеты”, с удовольствием слушал граммофон (в чем, как установил Иван Павлович, греха нет), учился играть на фисгармонии (это умение, как мы увидим, не забудется), интересовался всякими механизмами (“все думали, что он пойдет по этой части”, вспоминала сестра[42]), лечил раненого вороненка, катался верхом на собачке Мушке, обожал страшные истории, пару раз ездил к бабушке в Дворянскую Терешку, на Волгу, и с нетерпением ждал, когда Папа расскажет ему про кислород и водород. У него было разночинное детство, но он был окружен такой же любовью и заботой, как аристократ Набоков, и жил в том же предгрозовом, обреченном на скорую гибель мире. И при этом, став взрослым, он ни разу – ни устно, ни письменно – не поминал настоящие подробности своих детских лет. Он предпочитал тешить собеседников байкой о своей жизни в бытность икринкой. Даже в качестве детского писателя он не счел нужным воспользоваться в творческих целях чем-то из собственных ранних впечатлений. Почему?

Даниил Ювачев с кормилицей, ок. 1906 г.

Возможен, думается, такой ответ. Даня Ювачев не был необычным ребенком; необычно лишь то, что очень многие психологические особенности, увлечения, вкусы Ювачева-дошкольника в почти неизменном виде перешли во взрослую

жизнь Даниила Хармса. Он отдалился от родителей, лишился эмоциональной связи с ними, но во многих отношениях сохранил склад психики, свойственный раннему детству. (“Дербень дербень Калуга” – ведь это удивительно напоминает тексты Хармса-заумника.) Но для ребенка (и для инфантильного взрослого человека) нет прошлого; воспоминания, ностальгия – все это ему чуждо.

Самые ранние известные нам автографы Даниила Ювачева – письма к отцу. Уже 13 декабря Надежда Ивановна пишет мужу от имени сына, “имитируя детские каракули”: “Милый папа! Приезжай к нам скорее. Я хочу тебя видеть. Целую тебя за письмо. Любящий тебя сын Даня”[43]. Ответ отца адресован “Даниилу Ивановичу Ювачеву”: “Милый Даня! Твой Папа скоро вернется домой. Да хранит вас Бог мира и любви. Сердечно целую. Ив. Ювачев”[44]. В сентябре 1910 года мальчик уже в состоянии что-то написать сам, правда, с помощью мамы (“подпись сам написал, а то я водила его рукой и то с трудом”). Вот это письмо:

> Милый Папа! Крепко тебя целую и благодарю за карточку. Даня[45].

Несколько месяцев спустя Даня своей рукой переписывал письма, написанные мамой или теткой. Чтению его начали учить лишь на седьмом году жизни. В июне 1914 года восьмилетний Даниил уже пишет отцу более или менее подробные и осмысленные письма вроде такого:

> Дорогой папа! У нас хорошо на даче, мы здоровы, бегаем, играем, катаемся на осле, нам очень весело. Утром я учусь с Машей. Оля кланяется тебе, она живет у нас второй месяц. Бабушка кланяется тебе. Настя благодарит тебя за кофту. Все мы тебя целуем. Приезжай к нам скорей[46].

Даниил Ювачев, ок. 1910 г.

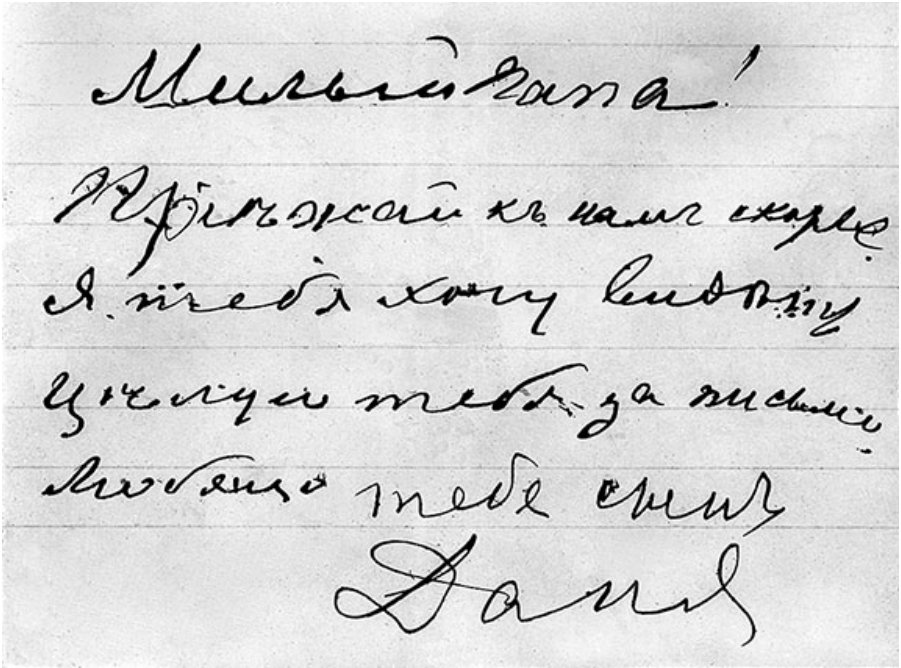
Даниил Ювачев, ок. 1913 г.

Даниил Ювачев, ок. 1913 г.

Бабушка – по материнской линии, Варвара Сергеевна Колюбакина, Оля – какая-то родственница, упоминавшаяся в письмах, а Настя – нянька Дани (кофточку ей Надежда Ивановна купила сама, но сказала, что Иван Павлович прислал из Москвы). Что касается осла, то на этом “хорошем, смирном” животном катали всех детей на даче в Тарховке, но Даня поначалу побаивался ездить на нем (физическая храбрость никогда не будет в числе добродетелей Хармса) – не в пример своей младшей сестренке.

Переписка с отцом интересна еще и вот почему. “Открытые письма”, новый и чрезвычайно модный тогда жанр почты, естественно, оформлялись художниками. Самым известным мастером, работавшим в этом жанре, была Елизавета Бём (1843–1914), чьи незамысловатые творения, в основном акварельные изображения детей в русских костюмах, являются таким же ярким

фактом массовой художественной культуры той поры, как и, скажем, пейзажи Юлия Клевера. Елизавета Меркурьевна Бём (урожд. Эндаурова) оформила более 300 рождественских и новогодних открыток. Не менее знаменита она была и как мастер силуэта (известны, например, ее “силуэтные” иллюстрации к “Запискам охотника” Тургенева и басням Крылова), и как один из первых в России профессиональных художников, много и успешно работавших в области рекламы. Открытки по рисункам Елизаветы Бём выпускались благотворительным Обществом святой Евгении, основанным под патронажем принцессы Ольденбургской и входившим в единую сеть опекаемых ею благотворительных заведений. Средства от продажи этих открыток шли и на содержание Убежища, которое возглавляла Надежда Ивановна Ювачева. Все эти подробности важны по одной-единственной причине: в 1927 году молодой еще писатель Даниил Хармс написал пьесу “Елизавета Бам”, ставшую этапным событием не только в отечественной, но и в мировой литературе. О том, что название пьесы и имя ее главной героини – напоминание о художнице, к 1920-м годам прочно забытой, комментаторы Хармса догадались давно. Впрочем, Елизавета Бём могла ассоциироваться и не с открытками, а, скажем, с оформленной и составленной ею “Азбукой” – прообразом многочисленных “энциклопедий для самых маленьких”, распространенных и в наши дни. Не по ней ли учили грамоте Даню Ювачева? В любом случае “Елизавета Бём” – один из символов прочного, добротного, небогатого, но устойчивого быта образованных и хозяйственных петербуржцев, которому оставалось существовать считанные годы. “Невиданные перемены, неслыханные мятежи” предсказывали многие, но тот же Иван Павлович, можно сказать, профессиональный апокалиптик, планировал семейный бюджет или воспитывал детей без всяких оглядок на неотвратимо приближающиеся последние времена. (А детям в дни их зрелости мир родителей покажется немыслимо далеким: этот абсурдный и смешной в своем детском самодовольстве, в своих притязаниях на логичность мир, где прячется от своих обвинителей какая-то фантасмагорическая Елизавета Таракановна Бам и какие-то Ивановы старательно празднуют свою елку…)



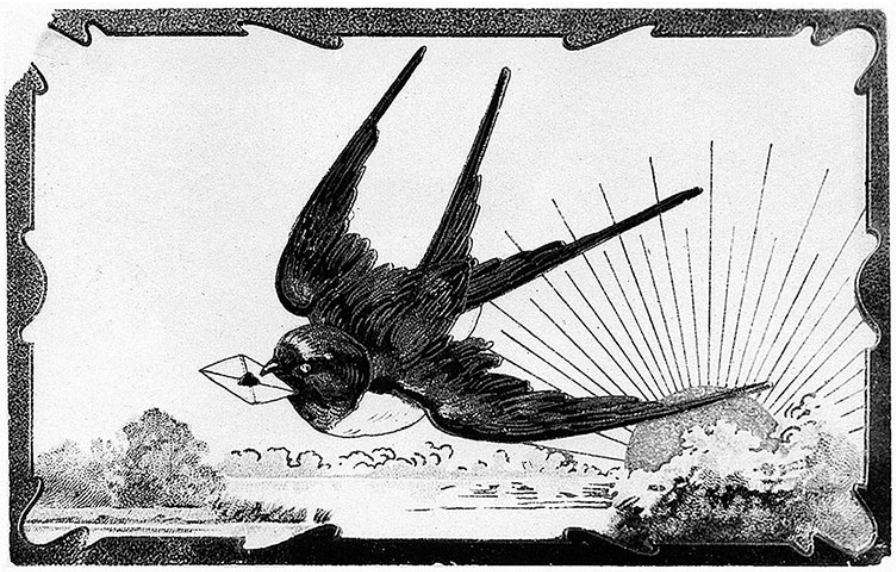
Письмо, написанное Надеждой Ивановной Ювачевой от имени сына, 13 декабря 1907 г.

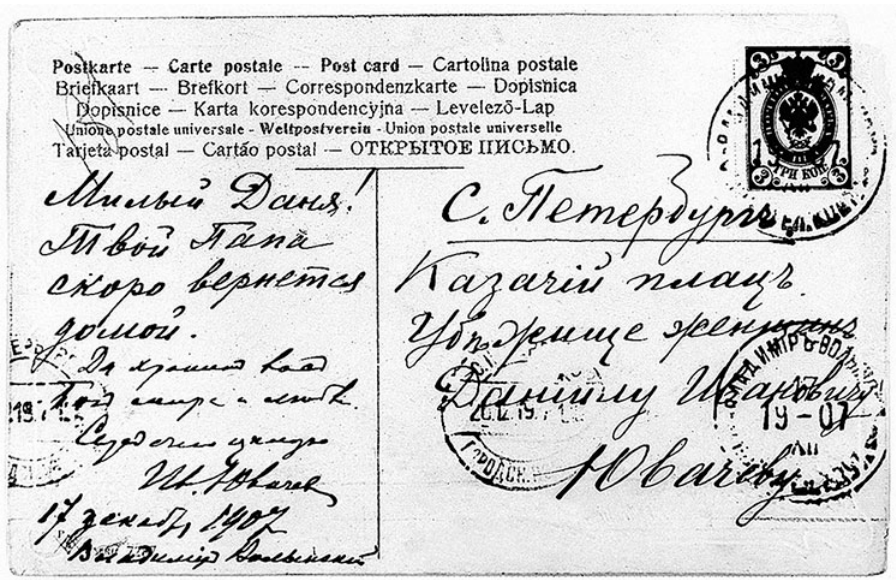
Поскольку Даниил Хармс – один из лучших детских писателей всех времен и народов, уместно задаться вопросом: на какой детской литературе рос он сам?

Сестра Хармса, Елизавета Грицына, упоминает две книги – “Алису в Стране чудес” и “Буша”. Обе они чрезвычайно важны для Хармса. Во многом именно из Кэрролла вышли обэриутский юмор и обэриутское мировосприятие, а Вильгельма Буша Хармс впоследствии сам перелагал на русский язык. “Алису” дети Ювачевых читать могли только в оригинале, а Буш был переведен (не бог весть как, правда) К. Льдовым. “Веселые рассказы про разные проказы” Буша-Льдова вышли первым изданием в 1890 году и неоднократно переиздавались. Именно эта книга, видимо, и была у детей Ювачевых.

Уровень детской литературы в России к началу 1910-х годов был довольно низок, в особенности – литературы для дошкольного и младшего школьного возраста. В прозе дидактические притчи Льва Толстого и Ушинского, “Аленушкины сказки” Мамина-Сибиряка, “Лягушка-путешественница” Гаршина или “Детство Темы” Гарина-Михайловского были, можно сказать, одинокими шедеврами на фоне всего прочего, существовавшего в обиходе, – не считая переводов, разумеется. Сказки Андерсена, Гофмана, Гауфа были переведены и доступны, но давние

жемчужины русских гофманианцев – “Черная курица” Антония Погорельского и “Городок в табакерке” Владимира Одоевского – прочно забылись. Что касается поэзии, то существовали, конечно, стихотворные сказки Пушкина и Жуковского, некрасовский “Дед Мазай”, “Конёк-горбунок” Ершова, несколько доступных и невзрослому читателю стихотворений Майкова (“Емшан”, “Кто он”) и Полонского (“Солнце и Месяц”), Фета, Никитина, Плещеева, прочно вошедшие в детское чтение басни “дедушки Крылова”… Но за полвека, с 1860-х годов, этот список практически ничем не пополнился.





Письмо Ивана Павловича Ювачева к сыну. Открытка, 13 декабря 1907 г.

При этом в России выходило множество детских журналов. Корней Чуковский в книге “Матерям о детских журналах” (1911) характеризовал их так:

> Дать детям “Задушевное слово” – это все равно что поручить воспитание детей коммивояжеру.
>
> Дать им “Труд и забаву” – это все равно что избрать наставником над ними кухонного мужика.
>
> Переходя к журналам “Родная речь”, “Родник”, “Семья и школа”, “Юный читатель”, попадаешь в другую атмосферу… Как-то решили эти четыре журнала, что ребенок – просто уменьшенный человек, со всеми запросами и настроениями взрослых – только поменьше…[47]

В “Роднике” и “Юном читателе” печатались статьи, посвященные, например, выборам в Государственную думу или проблемам железнодорожного строительства. Детям доступно раскрывались ценности и интересы взрослого либерального интеллигента, собственный же мир ребенка их издателей интересовал мало. Несколько особняком среди детских журналов стояла мистически ориентированная “Тропинка”, издававшаяся Поликсеной Сергеевной Соловьевой (*Allegro*). В “Тропинке” иногда сотрудничали маститые символисты – Блок, Сологуб, Вячеслав Иванов, но настоящего таланта детского поэта и склонности к этому роду литературы никто из них не обнаружил. Если на “Родник” и “Юный читатель” подписывали своих детей родители из либерально-интеллигентских кругов, то “Тропинка” имела успех в кругах еще более узких, связанных с “новым религиозным сознанием”. По популярности в “среднем” классе читателей ни один из таких передовых журналов соперничать с “Задушевным словом” не мог.

Неудивительно, что именно подшивку “Задушевного слова” на 1910 год подарила мать Дани Ювачева осваивавшему грамоту сыну. По словам Надежды Ивановны, мальчик с ней “не расставался”. И подшивка эта дает хорошее представление о той детской литературе, на которой росло хармсовское поколение. Среди авторов можно встретить и профессиональных детских писателей (знаменитая Лидия Чарская – с приключенческой повестью о девочке, попавшей к цыганам, или Александра Анненская – невестка поэта, жена его старшего брата, известного социолога), и профессиональных педагогов, не очень уверенно

владевших пером, и малозначительных “взрослых” литераторов. Последних особенно много было среди авторов стихотворного раздела – Г. Галина, Уманов-Каплуновский, Мазуркевич. Из сколько-нибудь заметных поэтов в “Задушевном слове” был представлен лишь один – Сергей Городецкий, который, как известно, на протяжении всей своей 60-летней литературной жизни не брезговал никаким литературным заработком. Вот образчик его детских стихов (он издал их даже отдельной книжкой):[48]

Ваня с Машей, брат с сестрой,
Жили дружно под горой.
На горе старик Федул
Днем и ночью ветер дул.

Маша в поле выходила,
Алый цветик посадила.
Налетел старик Федул,
Цветик аленький задул.

Ваня-воин рассердился
И на битву снарядился.
– Выходи скорей, Федул,
Иль никто тебя не дул?..

Даниил Ювачев, 1915 г.

Модернист Городецкий звонко и весело халтурил, поэты “старой школы” честно старались, но пользовались единственным языком, который у них был, – слащавым, состоящим из сплошных клише романсовым наречием надсоновско-ратгаузовской поры, которое в сочетании со специфическими дидактическими целями детской поэзии производило впечатление глубоко комическое. Вот, например, стихи Марии Пожаровой:

Надо мыться! Сверкают росинки! –
Шепчет утро в долину цветам.
И в ответ незабудки, кувшинки

Улыбнутся в ответ небесам.
Надо мыться! – поет им душистый
Белокрылый певун-ветерок,
И прилежно росой серебристой
Умывается каждый цветок.

При этом Пожарова и Городецкий были еще далеко не худшими детскими поэтами той поры – скорее, одними из лучших. Чуковский даже ставил Городецкого в пример прочим, отмечая его умение говорить языком ребенка, воспроизводить его психологию.

Елизавета Ювачева, 1915 г.

Лишь некоторые стихи из “Задушевного слова” пережили свое время. Так, в номере за 28 ноября 1910 года появилось бессмертное (и, увы, анонимное) стихотворение:

Жил-был у бабушки серенький козлик.
Вот как, вот как, серенький козлик!

Бабушка козлика очень любила.
Вот как, вот как, очень любила!..

Правда, историки литературы говорят, что это – не первая публикация кровавой баллады про козлика и волков; в песенниках она фигурирует начиная еще с 1850-х годов.

Из прозы в журнале интереснее всего вещи познавательного характера (“История шоколадной карамельки” – героиня рассказывает своим товарищам, яблочным леденцам, о своем детстве в далекой Латинской Америке в качестве плода какао). Отдал журнал дань памяти и умершему в 1910 году Льву Толстому (статья “Великий дедушка”).

Однако едва ли не больше всего впечатляют сегодня письма юных читателей и читательниц. “Я и брат учимся дома, говорим на двух языках. Я иногда играю на рояле…” “Я была в Милане, в Италии, и видела большую церковь с цветными стеклышками в окнах”[49]. Ничего особенного, казалось бы, но от этих писем исходит такое ощущение устойчивости и благополучия (благополучия, которое и супруги Ювачевы старались с огромными усилиями создать для своих детей)!

“Золотое детство”… Журнал с таким названием тоже, по свидетельству сестры Хармса, выписывали в семье. Это было то же “Задушевное слово”, только потусклее, победнее и с каким-то протестантски-нравоучительным оттенком. Видимо, в выборе этого издания сказался круг общения Ивана Павловича.

Кто же мог предвидеть, что детская литература в России достигнет невиданного расцвета в годы, когда само понятие “золотого детства” уйдет в прошлое, когда все семейные ценности предреволюционной поры обрушатся (казалось – навсегда) под ударом трагических событий истории – с одной стороны, радикальных антропологических идей послереволюционного десятилетия – с другой?

4

В биографиях Хармса утверждается, что осенью 1915 года он поступил в реальное училище в составе Училища святого Петра (Петершуле) – старейшей петербургской школы, существовавшей при лютеранской церкви на Невском проспекте. Однако документы опровергают это. В 1915–1916 и 1916–1917 годах Даниила Ювачева нет среди учеников ни реального училища, ни гимназии, ни элементарной школы, входивших в состав

Петершуле[50]. В это время он, несомненно, какое-то учебное заведение посещал, но, какое, неизвестно. Немецкие школы Петербурга переживали в дни Первой мировой не лучшие времена, и едва ли Иван Павлович, судя по его книгам[51], в полной мере разделявший ура-патриотические настроения первых военных лет, отдал бы сына в одну из них.

Но в феврале 1917 года, еще до начала революции, этим занятиям пришел конец. 8 февраля Надежда Ивановна пишет мужу:

> Мы сидим в страхе, что останемся без хлеба, все булочные закрываются, народ злится, собираются громить лавки, точно в этом будет какой толк… Школу Дани распустили, все равно из-за холода не было занятий… Теперь ежедневно учится с учительницами. 1 день француженка, другой Маргар. Александ., а Закон Божий уже я сама с ним занимаюсь[52].

К тому времени Даня очень изменился. Ему нравилось в отсутствие отца ощущать себя единственным мужчиной в семье – и письма он старается писать “взрослые”:

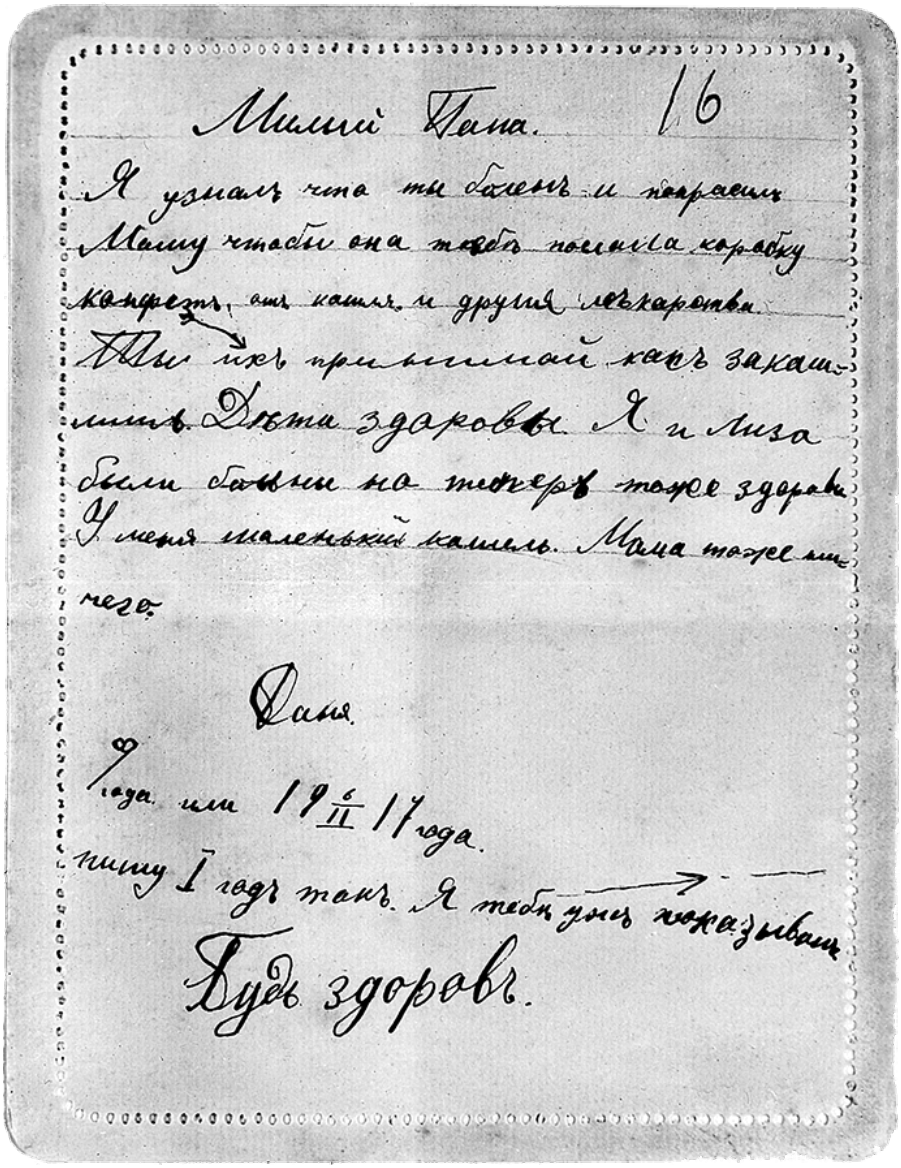
> …Я узнал что ты болен и попросил Маму чтобы она послала тебе коробку конфет от кашля и другие лекарства. Ты их принимай как закашлишь. Дети здоровы. Я и Лиза были больны но теперь здоровы[53].

Младших сестер мальчик именует “по-взрослому” – “дети”. В этом трогательном письме появляется некая уже вполне хармсовская деталь: дата (6 февраля 1917) обозначена особым зашифрованным значком, изобретенным самим Даней. При том нормами орфографии и пунктуации он владеет не слишком – как, впрочем, и его мать. К тому времени он уже пробовал что-то сочинять (сказку для младшей сестренки – см. письмо Н.И. Ювачевой к мужу от 3 марта 1916[54]), но едва ли следует придавать этим опытам сколько-нибудь серьезное значение.

В Петершуле, в третий класс реального училища, Даниила определяют лишь в сентябре 1917 года – в дни Керенского. В 1917/18 году он прозанимался три четверти и выбыл в четвертой[55].

Первое известие о школе, основанной при лютеранской церкви Святого Петра для детей моряков адмиралом Крюйсом, сподвижником Петра Великого, относится к 1709 году. Как и сама церковь, школа располагалась на углу Невской перспективы и Большой Конюшенной улицы, где для нее в 1735 году было

построено небольшое здание.



Милый Папа. 16

Я узналъ что ты боленъ и попросилъ
Маму чтобы она тебѣ послала коробку
конфетъ, отъ кашля и другія лѣкарства.
Ты ихъ принимай какъ закаш-
лишь. Дѣти здоровы. Я и Лиза
были больны но теперь тоже здоровы.
У меня маленькій кашель. Мама тоже ни-
чего.

Даня.

9 года или 19 6/II 17 года.
пишу I годъ такъ. Я тебѣ ужъ показывалъ

Будь здоровъ.

Новый этап истории школы начался в 1760 году, когда во главе ее стал Антон-Фридрих Бюшинг (1724–1793), выдающийся немецкий историк, географ и богослов. В Россию он приехал под влиянием видения, которое было у него во время тяжелой болезни. При церкви Святого Петра Бюшинг сумел развернуть образцовую “школу языков, художеств и наук”, состоявшую под личным покровительством императрицы. В 1783 году она, уже в качестве Главного немецкого училища, была включена в

создающуюся единую систему народного образования России. Для обновленной школы архитектором М.Л. Гофманом было построено новое здание, в котором она и по сей день находится. При Бюшинге среди преподавателей Петришуле (Petrischule – сочетание латинского и немецкого слов; форма “Петершуле” – более поздняя) были геттингенский профессор физики Иоганн Бекман, видный исследователь Сибири Эрих Лаксман. Позднее в школе преподавали многие видные деятели культуры и науки – как немцы, так и русские. Достойны упоминания, скажем, друзья-поэты Василий Попугаев и Иван Борн, ведущие члены Вольного общества любителей российской словесности, или Александр Иванович Галич, видный филолог (одновременно преподававший словесность в Царскосельском лицее Александру Пушкину и его товарищам, а в Петершуле – младшему Пушкину, Льву), или Генрих-Эмиль Ленц, один из первооткрывателей закона Джоуля – Ленца. Учениками школа также могла похвастать: среди них Мусоргский и Лесгафт, Карл Росси и Эдит Седегран, легендарный партизан Фигнер и деятель Великой Французской революции Георг Форстер, уже упоминавшийся брат Пушкина и поэт пушкинской плеяды Василий Туманский (не автор прославленной “Птички” Федор Туманский, а его более плодовитый, но не столь удачливый кузен), архитекторы Тон и Месмахер. Некоторые выпускники сами становились крупными педагогами, как, скажем, Карл Май, основатель гимназии Мая.

К концу XIX – началу XX века Петришуле (Петершуле) стала крупнейшей (по числу обучающихся) школой Петербурга и России. Это была в действительности целая система школ: мужская и женская гимназии, реальное училище, начальное городское училище. Всего накануне революции здесь училось свыше 2000 человек, в том числе в мужской гимназии – 290, а в реальном училище – 323 ученика[56]. Любопытны данные об их национальном и вероисповедном составе: в реальном училище числилось 173 лютеранина, 138 православных, по 8 католиков и иудеев, три магометанина и один армянин-грегорианец. В гимназии, как ни странно, было несколько больше учеников иудейского вероисповедания (26 человек, что явно превышало официальную процентную норму). По воспоминаниям выпускников, не только у лютеран и православных, но и у католиков и евреев были собственные законоучители (что практиковалось не во всех учебных заведениях). Среди учеников были выходцы из всех сословий. И в гимназии, и в реальном училище получали образование потомственные дворяне (соответственно 31 и 14 человек), личные дворяне и чиновники (83 и 22), почетные граждане и купцы (124 и 196), мещане и

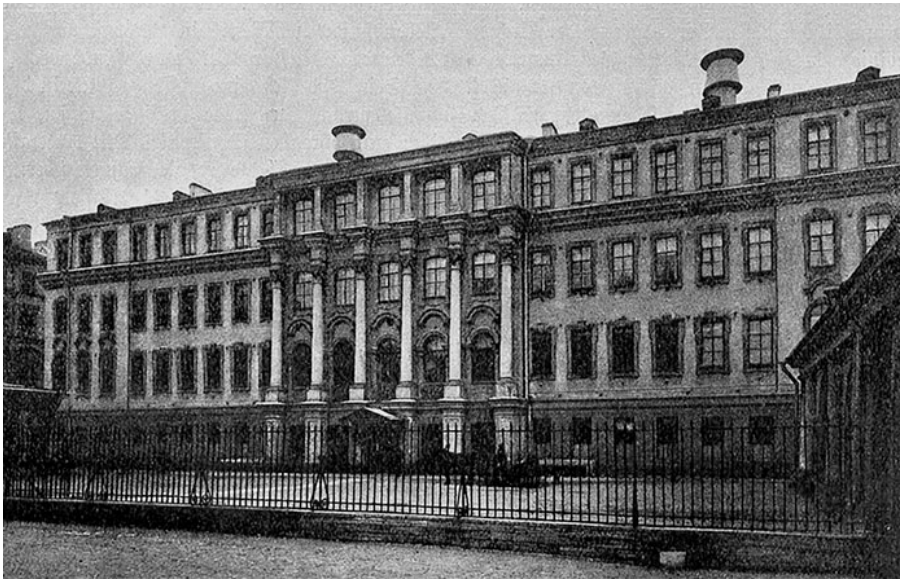
цеховые (24 и 67), выходцы из духовенства (17 и 2) и даже из крестьян (3 и 22). В числе гимназистов было несколько иностранных подданных и один потомственный казак.

Лютеранская церковь Святого Петра на Невском проспекте. За ней расположено здание Петришуле, начало XX в.

Реальные училища отличались от гимназий не столько по направленности, сколько по системе обучения. Если классическое гимназическое образование, открывавшее без специальных экзаменов дорогу в университеты, предусматривало многолетнее изучение двух древних языков[57], но всего одного нового, и серьезный курс математики, но весьма ограниченный – физики и химии, то программа реальных училищ была ближе к потребностям времени. Впрочем, и гимназии постепенно переходили на новые рельсы, отказываясь, по крайней мере, от греческого языка и вводя в программу (хотя бы факультативно) второй живой иностранный язык. Особенностью Петершуле было то, что здесь многие предметы преподавались на немецком языке. (С началом мировой войны это попытались в патриотическом порыве запретить.)

Именно в первый год обучения Дани Ювачева 23 января 1918 года в соответствии с декретом “Об отделении церкви от государства и школы от церкви” статус школы вновь изменился. “Бывшая школа св. Петра” больше не принадлежала общине. Однако 1917/18 учебный год разрешено было доучиться по старым планам, с изъятием только древних языков и Закона Божия. Со следующего года мужские и женские, гимназические и

“реальные” классы были объединены. Официальный указ о национализации здания школы последовал лишь в ноябре.



Здание Петришуле до перестройки. Фотография второй половины XIX в.

Так Петершуле превратилась в Единую советскую школу № 4. При этом она сохраняла немецкий уклон, вполне укладывавшийся в идеологию новой власти и соответствовавший ее внешнеполитическим целям. Впрочем, и преподавательские кадры оставались в основном прежние – включая руководителей школы: директора (с 1916 года) филолога Э.К. Клейненберга и инспектора (по современной терминологии – заведующего учебной частью) историка А.Г. Вульфиуса. Школа, считавшаяся образцовой, даже пользовалась покровительством Луначарского, который временами удостаивал ее посещением. Вспоминают, между прочим, о дискуссии “Был ли Христос”, где оппонентом наркома был Вульфиус. О Вульфиусе бывшая гимназистка Аликс Роде-Либенау, дочь редактора газеты *St-Petersburger Zeitung*, вспоминает так:

> У него мы поняли, что история не есть то, что было, а что она продолжается и сейчас, и что каждый несет свой крохотный кусочек ответственности, из суммы которых большие события поворачиваются в хорошую или плохую стороны[58].

Высоко оценивает мемуарист и других педагогов

(преподавателя русской истории Виноградова, “француза” Корню). Общий вывод таков:

> Наши учителя были людьми широкого кругозора и требовали того же от детей… Мы воспитывались в духе самостоятельного мышления, понимания духа эпохи, в уменье принимать в собственность то, что мы воспринимали, а не просто складывать в памяти все в одну кучу[59].

Здание Петришуле после перестройки. Фотография XX в.

Корнелиус Крюйс, основатель школы при церкви Святого Петра. Гравюра XVIII в.

Антон-Фридрих Бюшинг, первый директор Петришуле. Гравюра XVIII в.

Таким образом, Училище святого Петра было одной из лучших школ в городе – наравне с Тенишевским училищем, гимназией Лентовской (в которой учились будущие ближайшие друзья Хармса), гимназиями Гуревича и Мая. Однако успехи Дани Ювачева оказались довольно скромны. В 1917/18 году он отличается среди товарищей лишь отменным поведением (средние баллы по четвертям: 5, 4,9, 5). Прилежание похуже, но также более или менее сносное (средние баллы: 3,5, 3,9, 3,9). Увы! Прилежание оказывается тщетным: средний балл за учебу по всем предметам обескураживает (в первой четверти – 2,7, потом чуть лучше – 3,1 и 3,2). Твердым хорошистом Даня стал лишь по Закону Божию (здесь в третьей четверти он получил даже 5). Две четверки (во второй и третьей четверти) получил он по географии. По остальным предметам колеблется между двойкой и тройкой с плюсом. Неудовлетворительные отметки в четвертях были выставлены ему по письменному русскому и письменному немецкому (с рекомендацией обратить серьезное внимание на

орфографию и, если нужно, взять репетитора), по чистописанию (вторая четверть) и по истории (первая). Совсем плохо с французским языком. Английский, который Даня изучал дома, в Петершуле преподавался лишь факультативно, а трудной революционной зимой его преподавание, возможно, прекратилось[60].

Правда, по свидетельствам товарищей (в том числе Павла Вульфиуса, впоследствии известного музыковеда, сына А.Г. Вульфиуса), Даня Ювачев вовсе не был тем примерным, прилежным, но туповатым ребенком, каким предстает он в официальной учебной ведомости.

> То он приносил в класс валторну и ухитрялся играть на ней во время урока. То убеждал строгого учителя не ставить ему двойку – “не обижать сироту”. Под каменной лестницей дома, в котором жила семья Дани Ювачева, он поселил воображаемую любимую “муттерхен” и вел с ней долгие беседы в присутствии пораженных соседей или школьных приятелей, упрашивая милую “муттерхен” не беспокоиться за него[61].

Александр Вульфиус, инспектор Петришуле. Начало XX в.

Не очень понятно, о каком доме идет речь: Ювачевы жили в казенных квартирах, сперва в Убежище, потом по соседству, в Боткинской барачной больнице (Миргородская, д. 3/4), где нашла работу кастелянши Надежда Ивановна. Вульфиус учился с Даней Ювачевым в одном классе лишь в 1921/22 году, так что, возможно, воспоминания относятся уже к этому, более позднему времени. В самих же играх мальчика (уже вполне хармсовских по сути) можно увидеть отчуждение от любящих родителей: Даня беззастенчиво выдает себя за “сироту” и придумывает себе новую, фантастическую и таинственную “муттерхен”, не вылазящую из-под лестницы. Эта игра продолжалась и многие годы спустя. В тридцатые годы на Надеждинской улице Хармс, по свидетельству мемуаристов, проходя по двору, здоровался с воображаемой “муттерхен”. Надежды Ивановны Ювачевой к тому времени уже не было в живых – она умерла в 1929-м.

Весной – летом 1918-го в Петрограде начинаются явственные признаки голода. В августе от дизентерии, вызванной плохим

питанием, умирает шестилетняя Наташа Ювачева. Даня по каким-то причинам (по болезни?) пропускает четвертую четверть в Петришуле. Иван Павлович, судя по всему, с лета жил и служил в Москве (вероятно, в том же Управлении сберегательных касс).

Надежда Ивановна с оставшимися детьми в начале осени уехали в Саратов (казавшийся в тот момент местом более безопасным и сытым) и поселились там у племянника Надежды Ивановны Сергея Леонидовича Колюбакина, врача Саратовской Александровской больницы (дом в Дворянской Терешке уже был реквизирован). Петроград стремились покинуть многие: из 36 одноклассников Дани в Петершуле пять осенью 1918-го так и не приступили к занятиям, а еще трое покинули школу до окончания учебного года. Вероятно, в Саратове Даниил Ювачев продолжал учиться. Для совершенствования в немецком языке там были неплохие условия: близ города находились немецкие колонии, и, хотя такие же точно колонии на Украине были Николаем II с началом войны ликвидированы, а их обитатели высланы, очередь волжских колоний и их обитателей придет лишь в дни Второй мировой[62]. Иван Павлович бывал в Саратове наездами.

К весне 1919-го ветры Гражданской войны начинают дуть на Волге в полную мощь. Жизнь становится все труднее. В марте умирает бабушка, Варвара Сергеевна. В мае Даня переносит тяжелую дизентерию, болеет и его мать: у нее уже начался туберкулез, который в конце концов свел ее в могилу. Надежда Ивановна все больше рвется в Москву. Но у Ивана Павловича не было возможности устроиться там с семьей. В Москве уже со всей остротой стоял “квартирный вопрос”, в то время как барские апартаменты в центре брошенного властями и покидаемого жителями Петрограда пустовали.

Наконец 27 августа Надежда Ивановна с детьми приезжают в Москву – не в теплушке, как обычно путешествовали в тот год, а в купе *международного общества*. Оттуда они тоже с комфортом (“в бюанковском вагоне”) 14 сентября возвращаются в Петроград. (В Москве Ювачеву приходится снять у соседей комнату, чтобы на две недели разместить семью; Даня спал в комнате у отца.)

Герберт Уэллс, 1922 г.

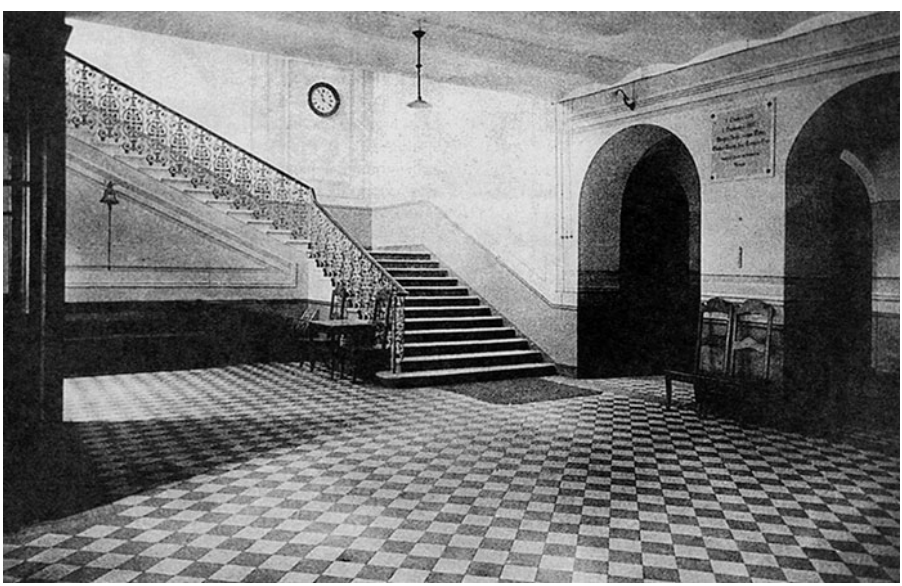
Даниил возобновляет занятия в Петершуле. К тому времени положение в уже бывшей столице было отчаянным. Начался настоящий голод (большая часть горожан питалась исключительно пшенной кашей на машинном масле, чечевицей и воблой), свирепствовал красный террор. Однако семья Ювачевых не оказалась в столь безысходной ситуации, как, скажем, родители Константина Вагинова, чей отец был жандармским офицером. Правда, учреждения, в которых служили оба супруга, из-за революционных событий закрылись. Но революционное прошлое Ивана Павловича служило своего рода охранной грамотой в глазах ЧК, а огромный и разнообразный практический опыт позволял ему выжить при любой власти. Ювачев-отец после возвращения из Москвы сперва устроился бухгалтером на электромельнице, а потом, с началом осуществления плана

ГОЭЛРО, на Волховстрое, где некоторое время возглавлял финансово-счетную часть. Надежда Ивановна нашла себе применение, как уже упоминалось, в Боткинской больнице.

Преподаватели школы № 4, в свою очередь, старались не отступать от прежних стандартов. С каждым учебным годом ведомости велись все небрежнее, зачастую отметки в табеле выставлялись химическим карандашом (в плохо отапливаемом помещении чернила замерзали), о писарском почерке никто уж и не думал, но качество образования оставалось высоким. Свидетельство тому – хотя бы в знаменитой книге Герберта Уэллса “Россия во мгле”:

> Как только я приехал в Петроград, я попросил показать мне школу, и это было сделано на следующий день; я уехал оттуда с самым неблагоприятным впечатлением. Школа была исключительно хорошо оборудована, гораздо лучше, чем рядовые английские начальные школы; дети казались смышлеными и хорошо развитыми. Но мы приехали после занятий и не смогли побывать на уроках; судя по поведению учеников, дисциплина в школе сильно хромала. Я решил, что мне показали специально подготовленную для моего посещения школу и что это все, чем может похвалиться Петроград. Человек, сопровождавший нас во время этого визита, начал спрашивать детей об английской литературе и их любимых писателях. Одно имя господствовало над всеми остальными. Мое собственное. Такие незначительные персоны, как Мильтон, Диккенс, Шекспир, копошились у ног этого литературного колосса. Опрос продолжался, и дети перечислили названия доброй дюжины моих книг. Тут я заявил, что абсолютно удовлетворен всем, что видел и слышал, и не желаю больше ничего осматривать, ибо, в самом деле, чего еще я мог желать? – и покинул школу с натянутой улыбкой, глубоко возмущенный организаторами этого посещения.
>
> Через три дня я внезапно отменил всю свою утреннюю программу и потребовал, чтобы мне немедленно показали другую школу, любую школу поблизости. Я был уверен, что первый раз меня вводили в заблуждение и теперь-то я попаду в поистине скверную школу. На самом деле все, что я увидел, было гораздо лучше – и здание, и оборудование, и дисциплина школьников. Побывав на уроках, я убедился в том, что

обучение поставлено превосходно. Большинство учителей – женщины средних лет; они производят впечатление опытных педагогов. Я выбрал урок геометрии, так как он излагается универсальным языком чертежей на доске. Мне показали также массу отличных чертежей и макетов, сделанных учениками. Школа располагает большим количеством наглядных пособий; из них мне особенно понравилась хорошо подобранная серия пейзажей для преподавания географии. Там есть также много химических и физических приборов, и они, несомненно, хорошо используются. Я видел, как готовили обед для детей, – в Советской России дети питаются в школе; он был вкусно сварен из продуктов гораздо лучшего качества, чем обед, который мы видели в районной кухне. Все в этой школе производило несравненно лучшее впечатление. Под конец мы решили проверить необычайную популярность Герберта Уэллса среди русских подростков. Никто из этих детей никогда не слыхал о нем. В школьной библиотеке не было ни одной его книги. Это окончательно убедило меня в том, что я нахожусь в совершенно нормальном учебном заведении[63].



Парадная трехмаршевая лестница и вестибюль Петришуле. Начало XX в.

Первой школой, которую посетил Уэллс, было (бывшее) Тенишевское училище, второй – Петершуле. На английского

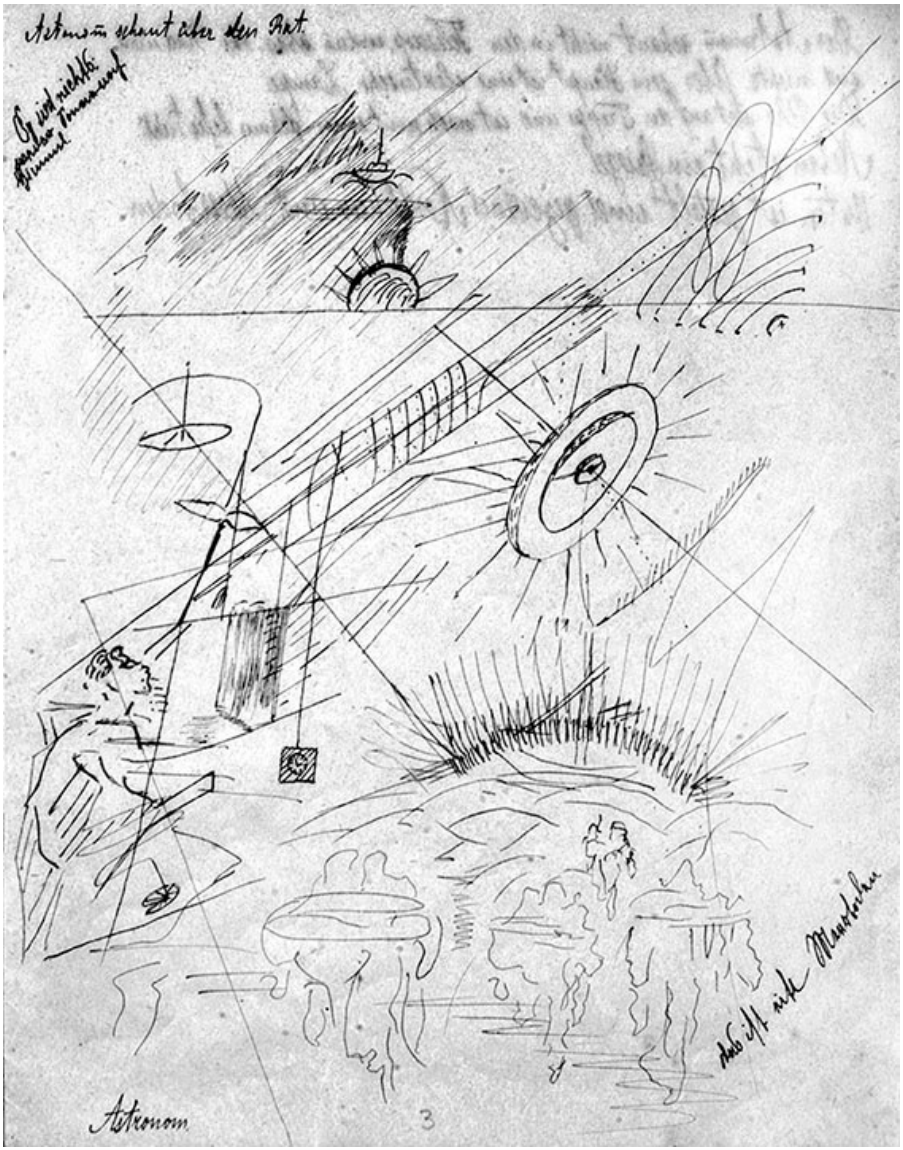
писателя произвело впечатление и щегольство, с которым был одет директор Клейненберг – “на нем был смокинг, из-под которого выглядывала синяя саржевая жилетка”[64]. В тогдашнем Петрограде, обносившемся до лохмотьев, подобный костюм был достаточно необычен.

Воспоминания учеников той поры подтверждают: впечатления Уэллса отражали реальное положение дел. Разумеется, едва ли можно говорить о “вкусно сваренном обеде” – однако об элементарном поддержании физических сил голодных учеников администрация не забывала. Игорь Эрихович Клейненберг, сын директора Петершуле и тоже позднее филолог-германист, вспоминал, что Вульфиус на втором уроке

> обходил классы в сопровождении двух учеников, несших бельевую корзину со стограммовыми ломтями хлеба, и раздавал этот паек присутствующим ученикам. Хлеб этот тут же, на уроке, съедали. Но апогеем школьного дня была большая перемена, когда в столовой нас угощали тарелкой горячего супа[65].

В школе, как и вообще в голодном городе, кипела общественная жизнь. Действовал драмкружок и кружок по изучению истории театра. Школьники постоянно (и, разумеется, бесплатно) посещали петроградские театры, “а один раз перед спектаклем нас приветствовал сам Луначарский”. С учетом будущих интересов Хармса трудно представить себе, что эти театральные увлечения не затронули его… Трудно, но можно. Вероятно, он уже в эти годы существенными сторонами своего сознания был “отключен” от окружающего мира, жил преимущественно внутри себя. Не этим ли объясняется его скверная успеваемость? Его собственный “театр для себя”, который он, может быть, уже начинал придумывать, имел мало общего с тем, что видел он и его соученики на подмостках Петрограда – будь то традиционные постановки или авангардные поиски. Характерно его письмо к Клавдии Пугачевой от 5 октября 1933 года, в котором он в высшей степени скептически отзывается и о “театральной науке, конструкциях и левизне”, и о Мейерхольде, воплощавшем все эти тенденции в 1910–1930-е годы.

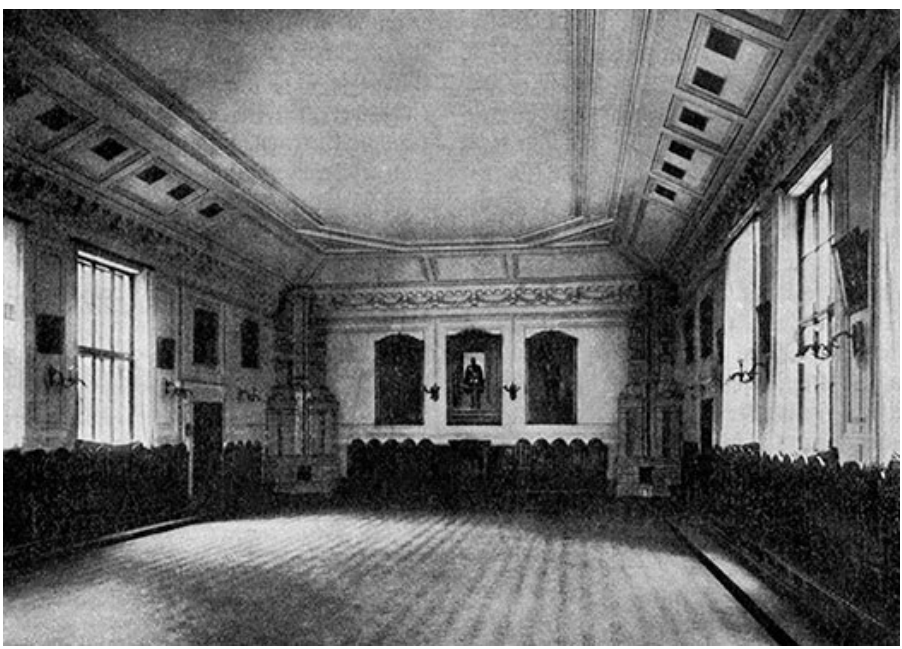
Das Wunder (Чудо). Из тетрадных рисунков Даниила Ювачева, 1919 г.



Astronom (Астроном). Из тетрадных рисунков Даниила Ювачева, 1919 г.

Точно не принимал Ювачев участия в самоуправлении, которое пытались создать в классах просоветски настроенные ученики. Каждый класс выбирал старосту, старосты собирались в особый совет – “старостат”, который возглавлял председатель. Позднее возник так называемый Школьный ученический совет (ШУС). Среди старост задавали тон старшеклассники, сочетавшие учебу со службой в разного рода военизированных государственных организациях – в “дноуглубительном караване” порта, в охране железных дорог. Старосты в условиях военного

коммунизма играли во многом полезную роль – они организовывали дежурства на кухне и доставку продуктов на тележках с базы. Более того, во время разгрома школы (которая уже носила номер 41) в 1926 году ШУС безуспешно пытался защитить руководство школы. Поводом к репрессиям послужило то, что несколько учеников-немцев прошли в еще действовавшей церкви Святого Петра обряд конфирмации. Узнав об этом, учительница-коммунистка Вайнцвейг, приехавшая из Германии, организовала в школе антирелигиозный митинг, который, в свою очередь, спровоцировал появление в “Смене” статьи братьев Тур “Внуки святого Петра”. Явившаяся в школу комиссия во главе с М. Елецким сняла с работы Клейненберга, Вульфиуса и других ведущих преподавателей (Г.А. Корн, Г.Г. и Е.Г. Гельд). Школу возглавили сам Елецкий и А.Л. Бронштейн (бывшая жена Троцкого; вскоре, в 1928 году, она была отстранена от работы и арестована). Качество преподавания, разумеется, снизилось. Вскоре, в дни первой пятилетки, школа была перепрофилирована и получила “полиграфический” уклон. Но и в эти дни среди ее выпускников были выдающиеся люди – скажем, Ю.М. Лотман.



Актовый зал в Петришуле. Начало XX в.

Но это все – после. Пока же Даня Ювачев проучился в бывшей Петершуле еще три года (1919–1922) и по-прежнему отнюдь не был отличником[66]. В 1919/20 году в классе D2[67] он учился так (стоит отметить, что обозначения успехов ученика отметками в

тот момент не были приняты – они описывались вербально, в школе № 41 – в основном по-немецки; при этом существовали устойчивые формулы, соответствующие прежним оценкам): арифметика – *in ganze gut* (в основном хорошо; прежде ему поставили бы 4–), география и история – *ungenügend* (неудовлетворительно, 2), естествознание – *gut* (т. е. твердая четверка). На уроках русского языка мальчик “устно отвечал удовлетворительно, но мешал своей болтовней и поведением”. Оценок за письменные работы по русскому языку в тот год не ставили. Нет и оценок по немецкому и другим иностранным языкам. Но в следующем году преподаватель (опять, как в 1917/18 году) обращает внимание на “слабые письменные работы” Ювачева. Его успехи в естествознании (*Naturalgeschichte*) оцениваются теперь как “хорошие”, а “неуд” он получает по двум предметам – географии и французскому. При этом в программе появляется английский, и Даня Ювачев показывает хорошее знание этого языка[68].

Однако в 1921/22 году Даня Ювачев, похоже, полностью теряет интерес к учебе – с соответствующими результатами[69]. Если прежде у него были проблемы с письменным русским, то теперь и “устных ответов – совсем нет”. Во второй трети (в двадцатые годы учебный год делился на “трети”) ученик “много пропустил”, в третьей учитель замечает: “ленив”, и как результат – “едва удовлетворительно”. Троечка с минусом. По немецкому он с *genügend* спускается к *ganz ungenügend*. По французскому тоже по-прежнему двойки. Даже с английским положение портится: если в первой трети успехи в разговорном языке оцениваются как *sehr gut*, очень хорошие, а в чтении как “kaum genügend” (в целом удовлетворительные), то затем он и тут начинает получать неуды[70]. На фоне провальных знаний по истории и географии поражают успехи в новой советской дисциплине – обществоведении. Учитель даже счел необходимым рядом со словесными выражениями одобрения поставить на полях ведомости пятерку. То же сделал учитель физики – предмета, которым Даня, видимо, увлекся. Твердой тройкой, по крайней мере, оценены знания Ювачева по математике. Но этого явно было мало – передовая школа не нуждалась в отстающем ученике. Нижняя часть ведомости исписана карандашными замечаниями по-немецки, неразборчивыми и полустершимися, но по меньшей мере словосочетание *nicht arbeiten* читается отчетливо. И в самом деле, работой школьник Ювачев себя, как видно, не изнурял. Подчеркнутую и тоже весьма неразборчивую надпись по диагонали листа, похоже, следует читать: *Muss der Schule verlassen* – должен оставить школу. Во всяком случае, тот факт, что

доучиваться Дане пришлось в другой школе, несомненно связан с его вполне плачевными успехами[71].

5

Шестнадцатилетнего Даниила отправили в Детское Село, к тетке. Во 2-й Детскосельской школе, директором которой она была, двоечник смог завершить среднее образование. Наташа, как все звали ее в семье, была дамой очень строгой и властной, но к племяннику у нее, судя по всему, была слабость. Даниил поступил в третий класс второй ступени, а 14 июля 1924 года закончил выпускной четвертый класс, “причем обнаружил достаточные познания и развитие по всем обязательным предметам”, как гласит выданное ему 17 июня того же года свидетельство[72]. Жил он в период обучения у тетки, в самом здании гимназии, на Леонтьевской, 2.

Царское Село, ставшее Детским, переживало, вероятно, худшие дни в своей истории. Оставленное своими прежними обитателями (придворными служителями и чиновниками-пенсионерами), оно на глазах дичало. Екатерининкий дворец был музеефицирован, но в других дворцовых постройках и особняках пытались разместить разного рода санатории, дома отдыха, приюты. Помещение бывшего Царскосельского лицея отдали Дому отдыха ЦЕКУБУ (Центральной комиссии по улучшению быта ученых), где чуть позже, в 1924–1925 годах, отдыхали Ахматова и Мандельштам с женой. Во дворце великого князя Владимира Александровича находилась станция случки скота. Бывшая женская гимназия сохраняла кое-какие традиции: литературу там преподавал (кроме самой Натальи Ивановны) еще некто Виктор Григорьевич Чернобаев, магистр по истории литературы, почтенный педагог дореволюционной формации (с Натальей Ивановной его связывала нежная дружба; когда в 1927 году Ювачева была уволена из школы и вынуждена была очистить казенную квартиру, Чернобаев приютил ее у себя). В гимназии устраивались вечера, посвященные современной литературе, в частности, творчеству Блока, да и общий уровень преподавания был, судя по всему, неплох.

Здание Мариинской женской гимназии в Царском Селе (после перестройки 1908 г.), между 1908 и 1917-м

И все-таки едва ли Даниил Ювачев мог впитать “царскосельский миф”, и едва ли он (если говорить о внешних впечатлениях) был многим обязан двум годам, проведенным в Детском Селе. Впрочем, эти годы не были для него тяжелыми. В школе, созданной на базе женской гимназии, мальчиков было мало (по нескольку человек на класс), и они были окружены девичьим вниманием. По воспоминаниям одноклассницы, впоследствии известного пушкиниста, первого директора музея Лицея М.П. Семеновой-Руденской:

> Когда Даня Ювачев в первый раз появился в нашем классе, даже классная комната сделалась словно меньше, таким большим показался он нам. Даня был совсем не похож на мальчиков, каких мы обычно привыкли видеть вокруг себя. Одетый, помнится, в коричневый с крапинкой костюм, в брюках до колен, в гольфах и огромных ботинках, он казался совсем взрослым молодым человеком.
>
> (Гольфы эти и во взрослые годы останутся характерной приметой внешности Даниила Ивановича. – *В. Ш.*).
>
> Пиджак его был расстегнут, виден жилет из той же ткани. Из маленького кармана жилета спускалась цепочка от часов, на которой, как мы потом узнали,

висел зуб акулы.

Три мальчика-одноклассника сразу признали первенство нового товарища.

Они почти с обожанием смотрели на Даниила и окружали его в перерыве между уроками. Мальчики заходили обычно за классную доску, где Даня напевал басом и отбивал чечетку. Из-за доски мы видели его ноги в гольфах и баретках и слышали слова тогда популярной песенки: “Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимни холода”, которую Даня пел по-немецки.

Но с девочками Даниил общался мало, да и обожавшие его мальчики-“пажи” были не слишком ему интересны. Он жил в своем мире, в нем шла какая-то внутренняя работа.

Мрачноватый, замкнутый, немногословный, он… часто, закурив трубку, распахнув пиджак и засунув руки в карманы, стоял так, оглядывая класс, как казалось, несколько свысока[73].

Наталья Ивановна Колюбакина среди выпускников 2-й Детскосельской единой советской трудовой школы (бывшей Мариинской гимназии). Выпуск 1920 г.

В числе немногих друзей-одноклассников, появившихся у Хармса в эти годы, были Ната (Наталья) Зегжда и Николай Ефимов. С ними он продолжал общаться и после окончания школы.

В Царское Село из Петрограда приехал рослый, щеголеватый, несколько эксцентричный, нерадивый в учебе подросток Ювачев, лишь с виду похожий на “совсем взрослого молодого человека”. В город (уже Ленинград) вернулся молодой писатель Даниил Хармс, которого лишь несколько лет отделяло от первых шедевров. Именно в эти два года и состоялось “второе рождение”.

Когда впервые прозвучало имя Хармс (или Чармс, или Шардам)? И каково происхождение псевдонима? Обычно его связывают с английским *charm* (и французским *charme*) – обаяние, и с английским же *harm* – вред, ущерб, или с немецким *Harm* – горе. Именно с этими словами связывал происхождение своего псевдонима сам писатель в разговоре с Алисой Порет в тридцатые годы. Впрочем, фантазия интерпретаторов иногда идет дальше: Е.А. Белодубровский, к примеру, упоминает некую Е. Хармсен[74], преподавательницу женской гимназии в составе Петершуле; В.Н. Сажин вспоминает буддийское понятие “дхарма”.

Впервые подпись-монограмма “DCh” появилась под текстом, который долгое время считался первым литературным произведением писателя:

В июле как-то в лето наше
Идя бредя в жару дневную
Шли два брата: Коля с Яшей
И встретили свинью большую.

“Смотри свинья какая в поле
Идет” заметил Коля Яше
“Она пожалуй будет Коля
На вид толстей чем наш папаша”.

Но Коля молвил: “Полно Яша,
К чему сболтнул ты эту фразу?
Таких свиней как наш папаша
Я еще не видывал ни разу”.

Под стихотворением стоит дата “1922”. Однако в статье А.Л. Дмитренко “Мнимый Хармс”[75] приводится источник текста – популярный сборник “Чтец-декламатор”, в который эти немудреные юмористические стишки включались начиная с 1903 года. Автором их был довольно известный в свое время стихотворец Алексей Федорович Иванов (псевдоним Классик; 1841–1894). О популярности стихотворений свидетельствует то, что они были перепечатаны в журнале “Кадетский досуг” (1907. № 12. С. 208). Правда, в “Чтеце-декламаторе” и в журнале стихи

звучат чуть более складно:

Из детских разговоров

В июле по деревне нашей,
Спеша домой в жару дневную
Брели два брата, Коля с Яшей,
И встретили свинью большую.

– Смотри, свинья какая с поля
Идет!.. – заметил Коле Яша. –
Она, пожалуй, будет, Коля,
Толстей на вид, чем наш папаша!

Но Коля молвил: – Полно, Яша,
К чему сболтнул ты эту фразу;
Таких свиней, как наш папаша,
Я не видал еще ни разу!

В стихотворении Иванова-Классика (возможно, воспроизведенном со слуха, а может, и сознательно искаженном) привлечь внимание будущего писателя могло лишь одно: тот особого рода туповатый, тяжеловесный юмор, когда в действительности смешна не острота, а сам нелепый и самодовольный остряк. На этом приеме основано воздействие, например, сочинений Козьмы Пруткова[76], которые, видимо, в эти годы стали одной из настольных книг Даниила Ювачева. Со стихотворением из “Чтеца-декламатора” Ювачев поступает почти как борхесовский Пьер Менар с Дон Кихотом: усыновляет его, причем не от своего имени, а от имени *DCh*, своего только что родившегося двойника. Фиктивное авторство и фиктивная дата по идее должны, изменив контекст, изменить смысл целого. Но в данном случае стихотворение изначально так бессмысленно и тупо, что контекстуальные манипуляции не могут ничего ни прибавить к нему, ни убавить. Остается странная шутка, и именно так – со странной шутки – и должен был начаться путь писателя Даниила Хармса… Впрочем, полная форма *Charms* появилась лишь в 1924 году: в дневнике, в подписях к рисункам, а по-русски имя Хармс впервые зафиксировано совсем уж в неожиданном источнике. Но об этом – чуть ниже.

По свидетельству одноклассников, Ювачев в детскосельский период “уже писал стихи и на вечере-встрече на след. год читал некоторые из них, напр., “Задам по задам за дам” и проч. в этом

роде к ужасу своей тети”[77]. Не исключено, что эти стихи – того же происхождения, что и “В июле как-то в лето наше”.

Видимо, стихи, которые *DCh*, к ужасу тетки, читал на школьных вечерах в качестве своих, – была маска, скрывавшая сложную внутреннюю жизнь. В эти годы Даниил, без сомнения, много читал, выбирая (как все очень молодые люди) прежде всего то, что непосредственно соотносилось с его внутренней жизнью. Наталья Ивановна была горячей поклонницей Толстого, Иван Павлович Ювачев – его добрым знакомым, но мало что в рациональном и тоталитарно устроенном мире “великого дедушки” могло стать близким юному Ювачеву. Гораздо ближе оказался ему Гоголь. А из модных в 1920-е годы в России и Европе писателей двое стали особенно дороги его сердцу.

Слава первого, Кнута Гамсуна, в большей мере относилась к эпохе накануне Первой мировой войны. В произведениях норвежского самородка, чья юность отчасти напоминала юность Горького (впрочем, и печальный финал биографии Гамсуна, сдуру на девятом десятке поддержавшего гитлеровскую оккупацию Норвегии, напоминает о бесславных последних годах Буревестника Революции), нашли воплощение идеалы ницшеанства. “Северный Глан” был для целого поколения русских и европейцев тем же, чем некогда для их дедушек и бабушек Чайльд-Гарольд и Манфред. Даниил никогда не интересовался Ницше. Его могли привлечь в норвежском писателе острота, точность, внутренний динамизм, интонация легкого удивления перед непостижимостью и странностью мира и, не в последнюю очередь, иррациональные, нелогичные поступки гамсуновских героев. В глазах большинства читателей старшего поколения подобное поведение (тот же Глан в “Пане” простреливает себе левую ногу, кидает в море туфлю возлюбленной, плюет в ухо сопернику) объяснялось противоречивостью мощных и самобытных натур, охваченных трагическими страстями. Но для Даниила Ювачева, а позднее для писателя Даниила Хармса эти поступки, по всей вероятности, были интересны сами по себе, в своей онтологической чистоте.

Двадцатые годы породили новых людей. Даже дети старых интеллигентов часто не походили на своих родителей. Их отрочество прошло в годы голода и войн, когда все красивые слова обесценились. Молодые люди двадцатых в значительной своей части не были циниками, напротив, они зачастую были идеалистами. Но всякий сентиментальный пафос раздражал их, всякий человек, слишком подробно и патетически повествующий о своих душевных переживаниях, был им смешон, как Ильфу и Петрову – Васисуалий Лоханкин. Вошедший было в моду

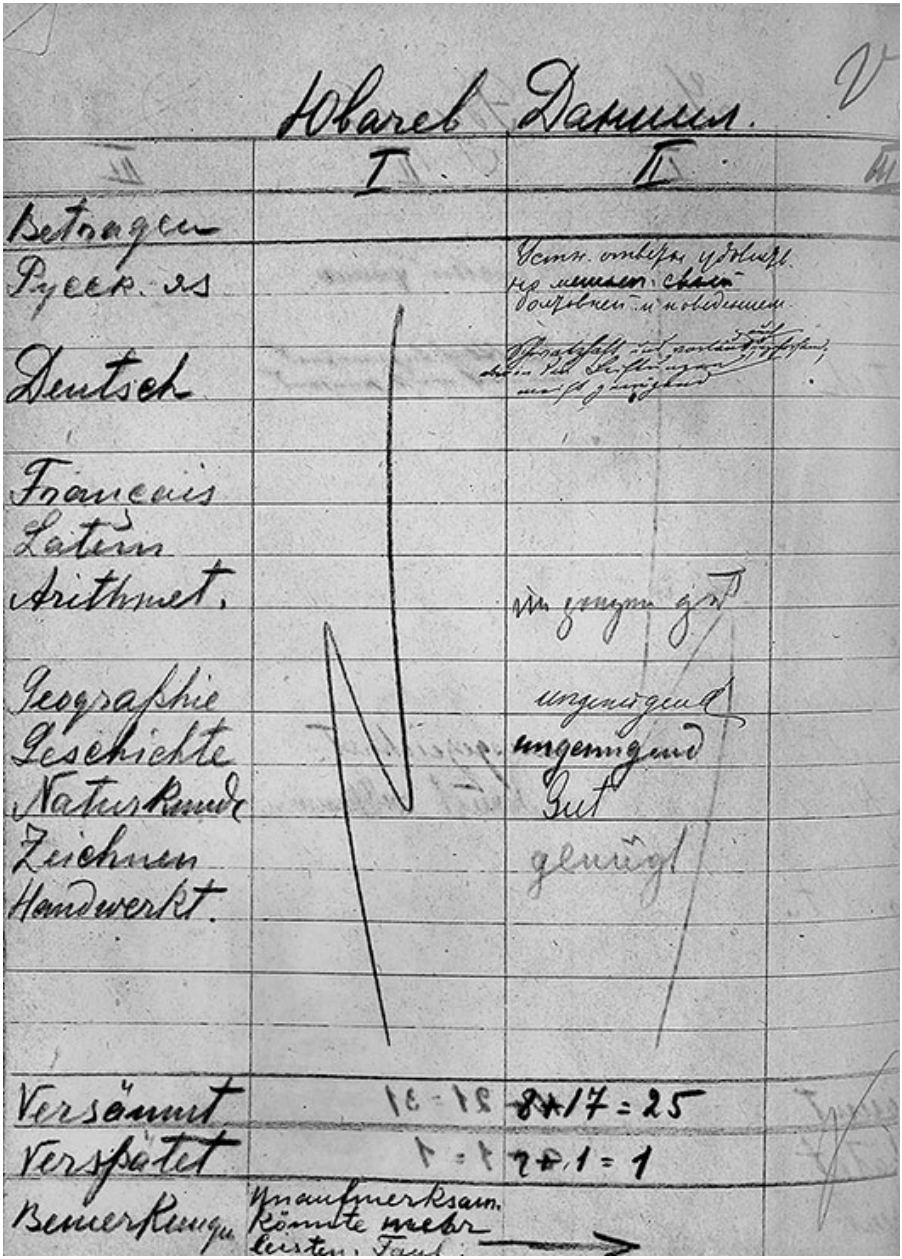
психоанализ уже потеснили биховиористские концепции. Проза двадцатых описывала в основном не переживания, а поведение героев. Хармс далеко не во всем был сыном своего поколения – он не разделял его социальных идеалов, и ему, несмотря на его любовь к технике, был чужд господствовавший в те дни инструментальный, технологический взгляд на культуру. Но Гамсуна он читал теми же глазами, какими могли читать его Лидия Гинзбург, Варлам Шаламов, Николай Заболоцкий.

Второй любимый писатель Хармса, Густав Мейринк (Майринк), вошел в моду именно в начале 1920-х годов. В эти годы несколько раз выходили его книги по-русски. “Голем” был издан дважды – в переводе М. Кадиша в Берлине в 1921-м и в переводе Д.И. Выгодского (переиздающемся поныне) в Петрограде годом позже. Это издание, вероятно, и было доступно Даниилу Ювачеву. В 1923 году вышли, кроме того, “Избранные рассказы” Мейринка в переводе Е. Бертельса, книга рассказов “Летучие мыши” в переводе Д. Крючкова и еще одна книга – “Лиловая смерть”. Но если Гамсуна Хармс прочитал, видимо, еще в Детском Селе, то знакомство с “Големом” произошло, судя по записным книжкам, уже после возвращения в Ленинград, в 1926 году.

Мейринк был оккультистом, и, как большинство европейских мистиков предвоенной поры, он интересовался индийскими вероучениями, йогой, но именно автору “Голема” принадлежит заслуга введения в массовое сознание некоторых элементов еврейской мистической традиции. Традицию эту Мейринк сам знал неважно, собственно говоря, он и соприкоснулся с ней только потому, что жил в многоплеменной и полной исторических воспоминаний Праге. Но роман у него получился в своем роде великий, и именно из этой книги юный Даниил Ювачев, с ранних лет обожавший тайнопись и монограммы[78], узнал, что буквы и знаки могут обладать бесконечной силой и что вещественный мир может стремительно и непредсказуемо меняться.

Интерес, пусть поверхностный, к Каббале и иудейской мистике сохранился у Хармса до конца жизни. Ему были известны имена (по крайней мере имена) не только прославленных адептов Каббалы, но и великих учителей хасидизма – Исроэля Бешта и его внука, цадика-сказочника Нахмана из Брацлава. Можно предположить, кстати, что мистически окрашенный иррационализм и парадоксальность хасидских притч могли быть близки Хармсу. Вопрос о том, откуда он мог знать об этой стороне еврейского наследия, остается открытым. Первые работы М. Бубера, посвященные хасидизму, уже были напечатаны в

двадцатые годы в Германии, но вряд ли были доступны в СССР[79].



Учебная ведомость Даниила Ювачева в школе № 4 (бывшей Петершуле), 1919/20 учебный год.

Даниил Хармс. Автопортрет, 12 марта 1924 г.

В Праге был в то время другой писатель, тоже немецкоязычный, несравнимо более близкий Хармсу и куда более значительный, чем Мейринк. Он умер в год, когда Даниил Ювачев окончил школу, – но имя Франца Кафки Хармс услышал лишь в самом конце жизни. Увы, те два рассказа Кафки, с которыми Даниилу Ивановичу довелось познакомиться, не понравились ему[80]. Вероятно, в то время Хармс уже был настроен на иную волну, нуждался в ином собеседнике. В молодости же возможности прочитать хоть какие-то произведения автора “Процесса” и “Превращения” ему не представилось: Кафка был безвестен вне узкого круга пражских модернистов.

Разумеется, в его круг чтения вошли и русские писатели начала века. Пятнадцатью – двадцатью годами раньше царскосельский бомонд, эстетически и политически консервативный, с насмешкой относился к “декадентам”. Гумилев и Ахматова в дни отрочества чувствовали себя в “городе муз” одиноко и затравленно. Но времена изменились, “декаданс” стал классикой, и в числе литературных вечеров, которые устраивала в гимназии Наталья Ивановна, был и вечер памяти Блока.

По окончании школы возник вопрос о дальнейшей жизни. Естественно, родители хотели, чтобы сын продолжил образование. Однако это было сопряжено с немалыми сложностями – и не из-за плохой успеваемости Даниила. Время, когда бесплатное образование мог получить каждый, закончилось. Любые учебные заведения профессиональной направленности, от университетов до бухгалтерских курсов, были априорно открыты лишь для рабочих или выходцев из рабочего класса и беднейшего крестьянства. Дети “лишенцев” – священнослужителей любой конфессии и любого ранга, кулаков, нэпманов – не могли учиться нигде, если не отрекались от родителей и не прекращали общение с ними. Сыновьям и дочерям служащих требовался, как правило, “пролетарский стаж” по меньшей мере в два-три года (формально это требование распространялось даже на детей высших государственных руководителей). У Даниила Ювачева какой-то стаж был: согласно документам, он год (с 13 августа 1920-го по 15 августа 1921-го) работал монтером в Боткинской больнице. Едва ли пятнадцатилетний мальчик в самом деле сочетал работу с учебой; должно быть, Надежда Ивановна, находившая общий язык с любым начальством, позаботилась о “липовой” справке для сына.

Но этого было мало. И теперь уже Иван Павлович 31 июля пишет письмо в рабочий комитет “Волховстроя”:

> Мой сын Даниил, 19 лет, окончив Советскую Школу II-й ступени, в настоящем году домогается поступления в один из Ленинградских Техникумов (Морской, Электрический и др.). Со своей стороны, прошу Рабочий комитет Волховстроя оказать возможное содействие моему сыну для поступления в Высшее Учебное Заведение[81].

К тому времени Иван Павлович с должности главбуха перешел (возможно, по возрасту) на менее хлопотную работу заведующего счетным отделением рабочего комитета. Естественно, его прошение не могло встретить отказа, и в тот же день рабком выдал соответствующее ходатайство, прося “Ленинградские техникумы” (без уточнения) принять на учебу сына старого политкаторжанина-народовольца[82].

Даниил подал документы в электротехникум и был 19 августа допущен к испытаниям, но не на бесплатное, как он просил, а на платное место. Испытания он прошел и 31 октября внес плату за первый семестр. В техникуме он числился до 13 февраля 1926 года, когда был отчислен.

Почему родители выбрали для Даниила техническое образование, понятно: все было за это – и склонности юноши, любившего технику и успевавшего по физике лучше, чем по другим предметам, и особенности эпохи, и житейский опыт Ивана Павловича. Но почему Ювачев-отец употребил выражение “высшее учебное заведение”, имея в виду техникум? Дело в том, что строгая и сложная иерархия типов и уровней образования, соблюдавшаяся в дореволюционной России, в первое советское десятилетие намеренно разрушалась. Слово “техникум” было новым в русском языке, в Европе оно изначально означало высшие учебные заведения. По этим образцам создавались техникумы/политехникумы и в СССР – скажем, Воронежский политехникум (ныне Воронежский политехнический институт), который закончил Андрей Платонов[83].

1-й Ленинградский электротехникум (ныне Санкт-Петербургский энергетический техникум) вырос из основанных в 1918 году частных электротехнических курсов, готовивших электриков для нужд трамвайных компаний города. В 1919 году курсы (к тому времени национализированные) были преобразованы в электротехническое училище с четырехлетним сроком обучения, а два года спустя – в электротехникум. В момент, когда в техникум поступил Даниил Ювачев, это учебное заведение находилось на Петроградской стороне, но вскоре (после знаменитого сентябрьского наводнения 1924 года) оно

переехало на Васильевский остров, на 10 линию, в дом номер 3, который до того времени занимал 2-й Политехнический институт[84]. Институт был ликвидирован, а его “материальная база” полностью досталась электротехникуму. Обучение же в техникуме осуществлялось по программе Практического института. Так что в каком-то смысле, с некоторой натяжкой, тогдашний электротехникум можно было назвать “высшим учебным заведением”…

Заявление Даниила о приеме в электротехникум было подписано двойной фамилией: Ювачев-Хармс. Это самый ранний документ, в котором мы видим это имя в такой форме: не стихотворение, не рассказ, даже не письмо – деловая бумага. Впрочем, это могло и не удивить никого особенно: в двадцатые годы многие меняли простые русские фамилии на “красивые”, необычные, иноземно звучащие[85].

Глава вторая
Чинарь-взиральник

1

В техникуме все у Даниила сразу же не заладилось. Уже в конце первого учебного года, в июне 1925-го, в его записной книжке появляется такая запись:

> На меня пали несколько обвинений, за что я должен оставить техникум. Насколько мне известно, обвинения эти такого рода:
>
> Слабая посещаемость.
>
> Неактивность в общественных работах.
>
> Я не подхожу классу физиологически.
>
> В ответ на эти обвинения могу сказать следующее. Техникум должен выработать электротехников. Уж, кажется, ясно. Для этого должны быть люди-слушатели – хорошие работники, чтобы не засорять путь другим.
>
> О работоспособности людей судят или непосредственно из их работы, или путем психологического анализа. Намекну вам на второе. Сомневаюсь.

Эта запись оборвана, многие фразы зачеркнуты. Явно Даниил готовился к защите на каком-то собрании. 9 июля – еще одна запись, по-немецки: Ювачев-Хармс молит Бога помочь ему “остаться в Техникуме”. В тот момент это удалось, но 13 февраля 1926 года он был окончательно отчислен.

Что это может означать: “не подхожу к классу физиологически”? Впрочем, в этой странной формулировке содержится и нечто символическое. Хармс в самом деле был, видимо, “физиологически” чужд духу эпохи, не вписывался в ее стилистику: иначе говорил, ходил, общался с людьми. Его шутки, его оригинальность, заинтриговывавшая хрупких детскосельских девочек, – все это было чуждо грубоватым, компанейским, напористым ребятам, цепко осваивавшим полезное электротехническое ремесло.

Но почему же он так стремился остаться в техникуме, где учили малоинтересным ему предметам, где его окружали чужие по духу люди? Был это страх огорчить родителей? Судя по всему,

нет: не настолько нежным сыном был Даниил, да и любой человек в девятнадцать – двадцать лет о подобном думает не в первую очередь. Скорее, дело в другом: Даниила Ювачева и в эти годы, и позже охватывала паника, как только приходилось что-то самому решать в своей жизни, как-то бороться за существование.

У него и без того было много дела. Он искал свой стиль поведения, свой круг общения, свое место в мире. И в этих поисках поначалу (правда, очень недолгое время) он был одинок. Окружение его в первые ленинградские месяцы составляли, видимо, по большей части случайные знакомые по Петершуле и по детскосельской школе.

В числе этих знакомых были Виктор Изигкейт, выпускник Петершуле, работавший булочником (возможно, зарабатывая “пролетарский” стаж), и его приятель Леонид Воронин. Судя по устным воспоминаниям сестры Изигкейта, Эммы Мельниковой (фамилия по мужу), у молодых людей

> разговоры всякие были… Очень интересовались книгами о путешествиях, об иностранных народах и странах… Морской тематикой очень интересовались. И, начитавшись книг, курили трубки, воображали себя “морскими волками”… Они много курили, и моя сестра Валя, Валентина, один раз рассердилась и выкинула Данину трубку за окно… Даня вообще был невозмутим, что бы ни делали. Спокойно спустился со второго этажа, взял трубку и вернулся. Но курить больше не стал[86].

Даниил нравился Эмме: высокий, учтивый, с правильными чертами лица. Но иногда он поражал и шокировал барышню.

> Однажды он пришел в новом костюме. И один лацкан в нем был длинный, до колен у него. Я сказала:
> – Почему так сшит костюм?
> А он сказал:
> – Я так велел портному, мне так понравилось.

Но в следующий раз Даниил появился у Изигкейтов без лацкана (“он мне надоел, и я отрезал его”).

Другой раз он задумал уже вполне хармсовскую по духу сценку, в которой должна была участвовать Эмма.

> Он предложил, чтобы я оделась няней – передничек, косынку, взяла его за руки и вела бы по Невскому, в то время как у него висела на шее соска. При нашей разнице в росте – я маленькая, годилась ему под мышки,

а он очень высокий – это выглядело бы комично[87].

Но Эмма отказалась.

Самое раннее известное стихотворение, действительно принадлежащее перу Хармса – “Медная…”, было записано 12 июня 1924 года[88] в альбом Эмме Изигкейт:

В медный таз ударю лапой,
Со стены две капли капнут,
Звонко звякнут
И иссякнут.

Тучи рыжих тараканов
Разбегутся от стаканов –
От пивных,
От пустых.

Ты посмотришь в тишину,
Улыбнешься на луну,
Углынешься на углу,
Покосишься на стену…

На щеке мелькнет румянец вышитый…
Догорает свечка бледная…
Тараканы рыжие,
Песня – красно-медная.

А.А. Александров, впервые опубликовавший это стихотворение[89], отмечает в нем “память о прочитанных стихах Анненского”. Это возможно (“Кипарисовый ларец”, разумеется, входил в круг чтения молодых поэтов – далеко не только в бывшем Царском Селе, откуда Даниил только что вернулся), но куда интереснее, пожалуй, другое. В стихотворении, написанном за четыре года до “Елизаветы Бам” и за восемь лет до знаменитого стихотворения Олейникова, появляются тараканы, к тому же рифмующиеся со стаканами. Конечно, источник очевиден: это стихи капитана Лебядкина из “Бесов”, но обэриуты, видимо, не знали или не помнили, что и у Достоевского был предшественник – светский острослов и виртуоз стихотворной шутки Иван Мятлев, чья “Фантастическая высказка” (1833) начинается так:

Таракан
Как в стакан

Попадет –
Пропадет…

Итак, мир чуждых и несоразмерных, а иногда и неприятных человеку маленьких существ привлекал Хармса уже в юности. Но Эмма была несколько шокирована и спросила: “А это прилично?”

(“Меня немного смутили “пивные стаканы и тараканы” – я с ним вообще не выпивала нигде”[90].)

Склонность к игре слов, словотворчеству (“углынешься на углу”) тоже не случайна. Начинающий поэт, конечно, уже успел заинтересоваться творчеством футуристов – ведь лишь немногие месяцы отделяют его от тех заумных, в радикально-футуристической традиции написанных стихотворений, с которых началась его серьезная литературная работа.

Встречался Даниил в эти месяцы время от времени и с товарищами по детскосельской школе; эти встречи тоже сопровождались разговорами о стихах, чтением стихов, стихотворными играми. Л.А. Баранова запомнила коллективное стихотворение, рожденное при его участии в ходе игры в “чепуху”[91]. Текст был из тех, которые советские люди обычно предпочитали не запоминать, – речь в нем шла о внутрипартийной борьбе двадцатых годов, а мало-мальски неортодоксальный взгляд на нее мог впоследствии стоить жизни.

Петр Великий на том свете
Зуб точит на Ильича
В светлом ангельском совете
Все кидает сгоряча.
Ильич бороться с ним не в силах,
Проклинает Ленинград.
Дрожат все ангелы на виллах,
С небес валит из тучи град.
Да, Петербург был город пышный,
Видал министров и царей,
Теперь же тихий стал, неслышный,
На улицах растет пырей.
Где ты, величие и слава?
Где ты, былой придворный шум?
Теперь вонючая канава
Иль политический самум.
Теперь Зиновьев лишь ярится
Или Сафаров яд свой шлет.
Измена первому все снится,
Второй же козни все плетет.

На Троцкого все зубы точат:
В Сухум-Кале его опять!
А Троцкий наш туда не хочет,
“Обтроцкил” всех и ну вонять.
Никак не хочет согласиться,
Что он не прав, а прав Ильич,
И он решил тогда взбеситься,
Решил, что надо бросить клич[92].

Как это всегда бывает при играх в “чепуху”, стихотворение ушло в сторону от первоначальной темы. Эта тема – унижение, заброшенность города Петра, переставшего быть столицей. В годы военного коммунизма многим казалось, что умирающий Петрополь, лишенный “торговой и административной суеты” (Вл. Ходасевич), расцвел особой, предсмертной красотой. Но конец света не наступил. С завершением Гражданской войны и началом нэпа жители стали возвращаться в города, а с ними – и жизнь. Жизнь новая, несколько провинциальная, мещанская – а уж в бывшей имперской столице, ставшей всего лишь столицей Северо-Западной коммуны, эта провинциальность воспринималась особенно остро. Некоторая обида за второстепенный статус, выпавший Петрограду-Ленинграду, была присуща часто и “красным” по убеждениям людям. Для них перенос столицы из города Октября был знамением отречения от революционных идеалов. Для других – для Вагинова, к примеру, – конец “петербургского периода истории” означал победу азиатской составляющей русской истории, воплощенной “Магометом-Ульяном”, скуластым волжанином. Спор “Ильича” и Петра был актуален и для Хармса, который два или три года спустя напишет “Комедию города Петербурга”. Строки, принадлежащие Даниилу Ювачеву, следует, видимо, искать в первой части стихотворения.

Но в компании выпускников 2-й Детскосельской трудовой школы были наряду с пассеистами и люди, тесно вовлеченные в актуальную политическую борьбу, которая в тот момент сводилась к борьбе фракций ВКП(б) и их вождей. Борьба эта началась весной 1923 года, когда стало ясно, что дни Ленина сочтены, а сам он (в прямом и переносном смысле слова) утратил голос в партийных дебатах. “Семерка” вождей (Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Куйбышев, Томский) объединилась против самого влиятельного члена Политбюро, второго человека в стране – Льва Троцкого. Стремясь ослабить влияние партийной бюрократии (подчинявшейся его главному сопернику Сталину),

Троцкий выступил в конце 1923 года с лозунгами свободы дискуссий, выборности снизу доверху, контроля избирателей над избранными, другими словами, демократии – разумеется, только внутри правящей и единственной партии. В ответ ему припомнили меньшевистское прошлое и позднее (летом 1917-го) вступление в партию большевиков. Трудно сказать, что больше пугало "семерку" – смелые антибюрократические предложения или сама харизматическая фигура председателя Реввоенсовета, для которого внутрипартийная демократия могла стать дорогой к диктаторскому креслу. В январе 1924 года Троцкому, отдыхавшему в Сухум-Кале, не дали своевременно знать о смерти Ленина, таким образом не позволив ему появиться на церемонии прощания с главным вождем. Это было его первое поражение. В течение года человек, еще недавно олицетворявший революцию, превратился если не во врага, то в сомнительную фигуру, создателя особого еретического учения – "троцкизма". В ходе XIII съезда, а затем так называемой "литературной дискуссии" эта ересь была строго осуждена. Главными ее обличителями стали Зиновьев и Каменев, которым года два спустя предстояло объединиться с Троцким против своих недавних союзников – Сталина и Бухарина (которые еще три-четыре года спустя в свою очередь стали оппонентами). В 1924 году трудно было предвидеть такой поворот событий, а тем более – что единственный победитель во внутрипартийной борьбе в конечном итоге просто физически ликвидирует остальных вождей Октября.

Товарищи Хармса по игре в "чепуху" явно были противниками Троцкого – и им успели настолько промыть мозги, что "Ильич" и его ближайший сподвижник виделись им антиподами и чуть ли не врагами. В то же время Зиновьев и его клеврет Григорий Иванович Сафаров (Вольдин), редактор "Ленинградской правды" и секретарь Смольнинского обкома, тоже не вызывали у них полного одобрения. Для Хармса эти склоки коммунистов были, вероятно, чем-то далеким и неинтересным – но этим склокам суждено было самым непосредственным образом повлиять на судьбы близких ему людей, да и на его собственную.

2

Записные книжки Хармса за 1924–1926 годы испещрены названиями книг, которые юноша читает или собирается прочесть. Наряду с художественной словесностью (Андрей Белый, Честертон, Уэллс, Томас Манн), современной философией

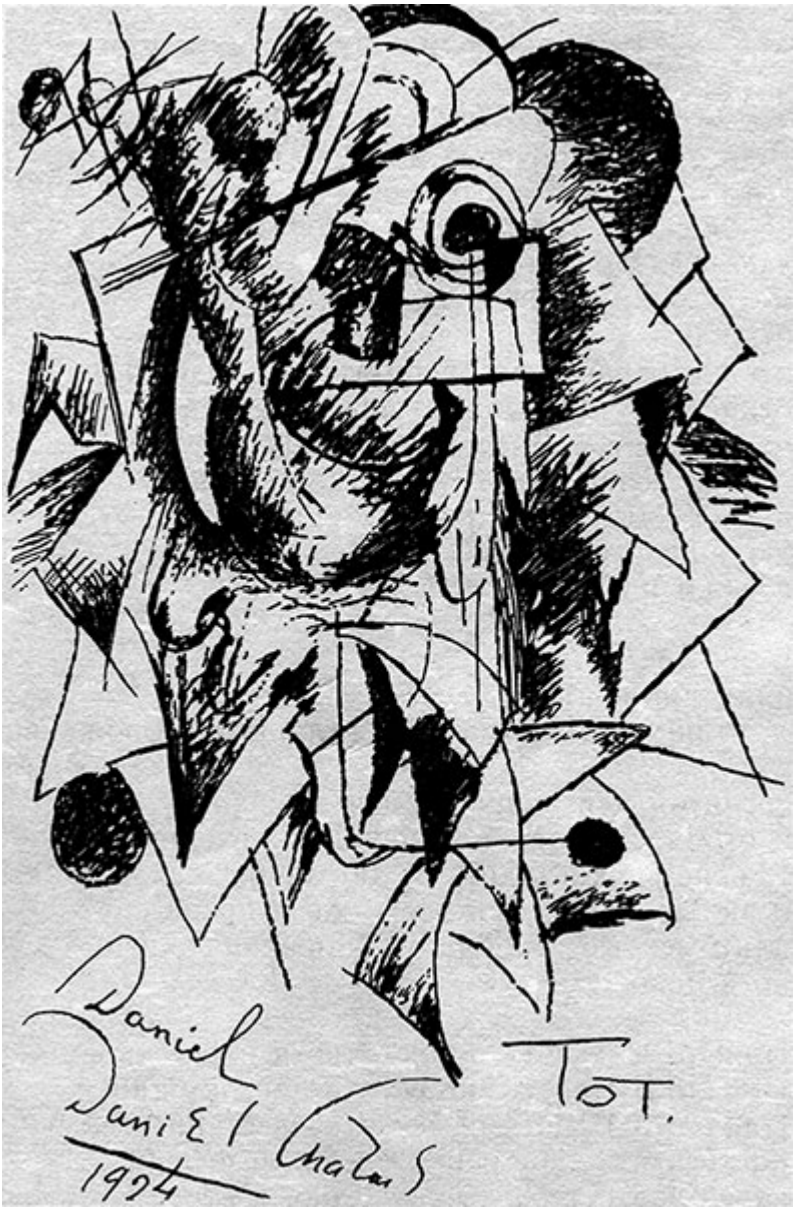
(Бергсон), литературоведческими трудами (в основном работами формалистов, переживавших свой звездный час, – Эйхенбаума, Шкловского, Тынянова) немалое место в этих списках занимают книги по психологии и по сексологии. Причем это не только серьезная литература (хотя в списке есть и Фрейд, и Бехтерев, и целых три произведения Вейнингера, в том числе, естественно, “Пол и характер”), а и общедоступные пособия, своего рода ширпотреб той эпохи.

Что искал Хармс в этих книгах? Еще понятен интерес к эзотерическим восточным духовным практикам – в поисках выхода за пределы обыденного Хармс в эти годы интересуется и оккультизмом, и даже “черной магией”, посещает спиритические сеансы… Но зачем, к примеру, ему понадобилась “Психотехника” Ф. Баумгартена – сборник тестов, определяющих психологическую пригодность к той или иной профессии? Не пытался ли он – уже чувствуя, что с техникумом дело обстоит плохо, – с помощью стандартной “психотехнической” методики (а в двадцатые годы таким методикам доверяли) найти для себя подходящее ремесло?

Рядом – “Мужчина и женщина” Г. Эллиса, “Половая жизнь нашего времени” Ивана Блоха – и еще множество книг и брошюр, посвященных “сексуальным проблемам”, “гигиене брака” и т. д. Двадцатые годы, как известно, отличались простотой нравов, которая получала отражение в беллетристике (такие произведения, как “Без черемухи” Пантелеймона Романова или “Луна с левой стороны” Сергея Малашкина), но осуждалась официальной моралью.

> В настоящее время половая жизнь, в частности у молодежи, приносит гораздо больше страданий, чем радостей. Слишком рано пробуждающееся, нетерпеливое и несдержанное влечение удовлетворяется как и где попало, и вся эта область полна вреда, нечистоты и уродства, –

сетовал Л.М. Василевский, чья брошюра “К здоровому половому быту” также есть в хармсовском списке. Осуждая распущенность молодого поколения, наркомздравовские агитаторы забавно соединяли остатки “викторианской” морали с позитивистским, примитивно-физиологическим взглядом на половую жизнь. Но такой взгляд был присущ и более серьезным авторам, например, И. Блоху. Так, все индивидуальные особенности сексуального поведения человека объяснялись биохимическими причинами.



Тот. Рисунок Д. Хармса, 1924 г.

Автопортрет за окном. Рисунок Д. Хармса, 20 мая 1933 г.

Хармсу в таких книгах совсем уж трудно было найти что-то полезное для себя. Он понимал, что во многих отношениях, в том числе и эротических, он своеобразен, отличен от других людей. Однако его своеобразие не укладывалось в готовые дефиниции, не описывалось стандартным языком. Да, у него были кое-какие склонности, которые тогдашний врач назвал бы извращенными (например, ему нравилось демонстрировать женщинам свое обнаженное тело – многочисленные признания на сей счет есть в

его записных книжках). Но прежде всего Даниил Иванович был сверх меры эмоционально уязвим. Он не мог и не хотел подпускать окружающих близко к себе, а потому нуждался в самозащите. В общении с посторонними людьми такой защитой служила, помимо отчужденности, и подчеркнутая “светскость”, с друзьями же – театрализация поведения. Самим собой (в житейском смысле) Хармс был только в своих дневниковых записях. В отличие, скажем, от Михаила Кузмина, он едва ли предполагал, что его записные книжки даже в отдаленном будущем станут достоянием печати, и сохранял их просто потому, что сохранял всё – вплоть до списка продуктов, которые надо купить в магазине. Обнаженность, “бесстыдство” записных книжек Хармса – совсем не литературный прием.

В конце 1924-го и начале 1925 года повышенный интерес 19-летнего Даниила Хармса к “полу” объясняется не только возрастом. Именно в этот период к нему пришла первая любовь – нежная, чувственная, напряженная, продолжавшаяся долгие годы и в конечном итоге оказавшаяся несчастливой…

В 1931 году Хармс писал Раисе Поляковской, женщине, которой он в то время был увлечен:

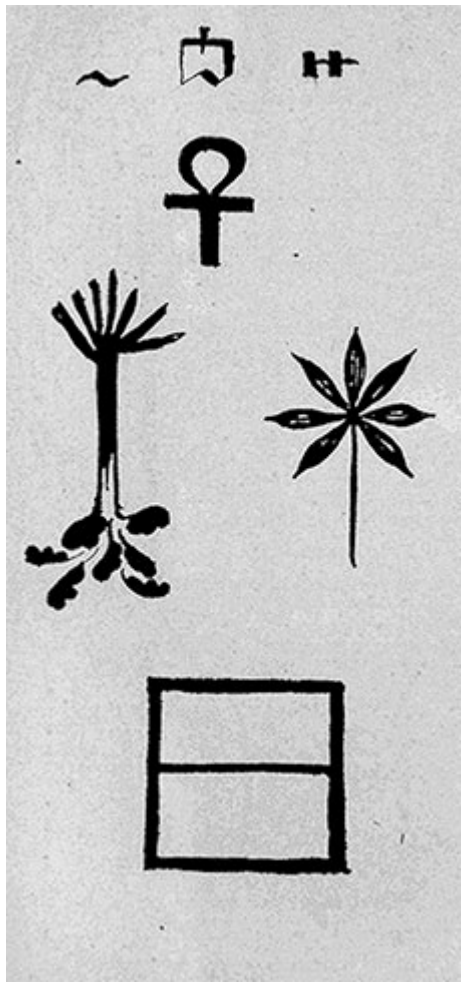
> …Можете считать это за шутку, но до Вас я любил по-настоящему один раз. Это была Эстер (в переводе на русский Звезда). <…> Она была для меня не только женщиной, которую я люблю, но и еще чем-то другим, что входило во все мои мысли и дела. Я называл ее окном, сквозь которое я смотрю на небо и вижу звезду. А звезду я называл раем, но очень далеким. Мы разговаривали с Эстер не по-русски, и ее имя я писал латинскими буквами – ESTHER. Потом я сделал из них монограмму, и получилось . И вот однажды я увидел, что есть изображение окна.

Как и любые тексты Хармса, обращенные “вовне”, это письмо – своего рода стилизация, в данном случае романтизирующая и приукрашивающая реальность. Поразительнее же всего то, что женщина, любовь к которой Хармс описывает элегически, в завершенном прошедшем времени, в тот момент еще была его законной женой, и близкие отношения с ней то прерывались, то начинались вновь – по меньшей мере до 1933 года.

Судя по письму к Поляковской, любовь к Эстер продолжалась

“семь лет”. Семь лет к 1931 году – получается, что встреча состоялась в 1924-м. Во всяком случае – не позже весны 1925-го. Хармсу было восемнадцать, Эстер Александровне Русаковой не было шестнадцати, но в ее жизни уже был некий “Михаил”, который считался ее “женихом” и которого в конце концов она бросила ради нового поклонника – мрачноватого высокого юноши в гетрах и с трубкой, начинающего поэта и будущего электротехника. Но это, судя по всему, произошло далеко не сразу[93].

Возможно, сначала состоялось знакомство не с Эстер, а с ее братом – погодком Полем Марселем (Полем-Марселем Александровичем Русаковым), юным (17-летним) композитором. В марте 1925-го в записной книжке значится: “В четверг, 19 марта, в 8 вечера быть у Марселя. Он сыграет танго Вампир”. Не в этот ли раз состоялась первая встреча с будущей женой?



Идеограммы. Рисунок Д. Хармса, 1930-е.

Заморские имена Эстер и ее брата были не случайны: они провели раннее детство во Франции. Их отец, Александр Иванович Русаков (настоящая фамилия – Иоселевич), родился в 1872 году и до тридцати с лишним лет жил в Таганроге. По профессии он был рабочим-красильщиком. Как писала в октябре 1929 года парижская газета “Последние новости”, “Иоселевич в 1905 году пошел с дубиной на черносотенцев, громивших еврейский квартал, затем бежал с семьей во Францию…”. Эта информация дается со ссылкой на франко-румынского писателя Панаита Истрати, сыгравшего в 1928 году важную (и благотворную) роль в судьбе Русаковых (об этом подробнее – в следующей главе). Но Истрати был романтиком – “дубину” спишем на его балканскую любовь к колоритной детали. В действительности речь идет, видимо, о еврейской самообороне. Отряды самообороны создавались повсеместно, когда стало понятно, что полиция не хочет или не может помешать погромам; на них жертвовались немалые деньги, в их организации участвовали все еврейские партии (от сионистов до Бунда), и вооружены они были уж точно не дубинами. В перерывах между погромами еврейские оборонцы активно пополняли ряды российского революционного движения. Так что неизвестно, что заставило Иоселевича покинуть Россию – страх за семью или неприятности с полицией. Сначала он отправился не во Францию, а в Аргентину, и лишь потом осел в Марселе. Неизвестно, когда и почему он сменил фамилию: это обстоятельство забавно объединяло его с Хармсом; причем если Даниил Иванович Ювачев, сын и потомок русских православных людей, выбрал загадочное “иностранное”, космополитическое имя – *Daniel Charms*, то еврей Сэндер Иоселевич, напротив, стал обладателем чисто русских имени, отчества и фамилии (даже в корне которой содержался этноним). Однако детей он назвал французскими именами, и по-русски они говорили скверно. Может быть, Русаков – его партийный псевдоним?

По свидетельству своей сестры, в детские годы

> Эстер была красивой непосредственной девочкой с хорошим характером… Во Франции семья жила в чрезвычайно стесненных условиях. Летом мать готовила еду во дворе, превращая комнаты и кухню в спальню с раскладушками. Но смех звенел в семье всегда. Мама часто вспоминала, как соседи говорили: “Опять эти русские веселятся”[94].

Во Франции Александр Иванович примкнул к анархо-коммунистам. В “Последних новостях” история его возвращения в Россию описана так:

> Как “нежелательный элемент” он в дни войны попал в концентрационный лагерь, в 1922 году был обменен вместе с другими заключенными на французских офицеров, задержанных в качестве заложников.

В действительности Русаков был выслан из Франции за участие в акциях в поддержку Советской России (он сорвал отправку из марсельского порта корабля с оружием для белых) и прибыл в Петроград еще в 1919 году. С началом нэпа он развернул бурную деятельность: “открыл усовершенствованную прачешную, основал два детских дома”. В то же время он работал по своей специальности красильщика на Самойловской фабрике.

В записной книжке Хармса появляется адрес Русаковых: ул. Желябова, 19/8 (обычно Хармс предпочитал называть ее Конюшенной), и телефонный номер: 213–58. В этом доме Хармс познакомился с человеком, чье имя осталось в политической истории России: Виктором Львовичем Кибальчичем, известным под псевдонимом Виктор Серж. Кибальчич был женат на старшей сестре Эстер, носившей русское имя – Любовь.

Поль Марсель, 1920-е.

Виктор-Наполеон (ибо именно такое имя значилось в его метрике) Кибальчич родился в 1890 году во Франции. Отец его (Леонид Иванович, впоследствии Серж-Лео) был троюродным братом знаменитого инженера-террориста и тоже оказался как-то причастен к деятельности “Народной воли”. Вероятно, именно это стало причиной его эмиграции. Кибальчич-сын в свою очередь увлекся революционными идеями, став активным анархистом (на этой почве, возможно, он и сблизился с Русаковым). В 1913 году он был осужден на пять лет тюрьмы за участие в “эксах”; отсидев четыре года, отпущен в Советскую Россию (в обмен на арестованного ЧК французского офицера). В Москве Виктор Серж стал членом ВКП(б), коминтерновцем и активным сторонником Троцкого, одно время – его личным секретарем. В партийных

схватках середины двадцатых он оказался в числе проигравших – но это было только начало; сам Виктор Серж (чудом спасшийся) позднее подведет такой исторический итог:

> То, на что надеялись, чего желали революционеры-марксисты большевистской школы, – это социалистическое преобразование Европы путем пробуждения трудящихся масс и разумной, справедливой реорганизации общества… Они ошиблись, ибо потерпели поражение. Изменение мира происходит не так, как они полагали, а в условиях ужасного смешения и искажения институтов, движений и мировоззрений, без желаемой ясности представлений, без чувства обновленного гуманизма и таким образом, что все человеческие ценности и надежды ставятся ныне под угрозу[95].

Эта мысль – лейтмотив нескольких политических романов, написанных Сержем в конце 1930-х годов, по возвращении во Францию. Но Виктор Кибальчич далеко не сразу осознал поражение. Хармс же с ранней юности принадлежал к тем, у кого деятельность Ленина и Троцкого совершенно не вызывала “чувства обновленного гуманизма”. Пока, впрочем, в условиях нэпа более или менее еще можно было существовать и таким людям, как Александр Русаков, и таким, как муж его старшей дочери, и таким, как возлюбленный (а позднее муж) младшей. Но Виктор Серж и его товарищи по “левой оппозиции” уже начинали отчаянную борьбу за ликвидацию этого мелкобуржуазного рая, не понимая, что роют могилу не в последнюю очередь себе самим.

Общение двух не похожих друг на друга литераторов интересно еще и потому, что именно Виктор Серж, автор книги “Современная французская литература” (1928), мог способствовать знакомству своего молодого родственника (не владевшего французским языком) с творчеством дадаистов и сюрреалистов. Большой блок материалов, посвященных эстетике и творческой практике дада (статья А. Эфроса, декларации Ф. Супо и Ф. Пикабиа, стихи Тристана Тцара, Поля Элюара, Пикабиа, Супо, Селина в переводах Валентина Парнаха, проза молодого Луи Арагона, пьеса Рибемона-Десселя “Немой чиж”), был опубликован в свое время в журнале “Современный Запад” (1923. № 3). По устному свидетельству И. Бахтерева (сообщено В. Эрлем), обэриуты не прошли мимо этой публикации. Но о сюрреализме в СССР писали значительно меньше, и здесь суждения и рассказы Сержа могли быть особенно важны и полезны для Хармса и его друзей.

1925 год в жизни Хармса прошел под знаком Эстер. Записные книжки этого времени изобилуют записями о ней – по-русски и по-немецки (именно на этом языке, известном бывшему ученику Петершуле лучше, чем Эстер русский, и проходило общение). Записи, полные страсти и тревоги, трогательные – иногда немного смешные в своей непосредственности:

> Sacher Mädchen, doch liebe dich noch, wen du wilst mit mir wieder sein so komm zu mir und wert dein Breutigam Siest… (нрзб) doch wer war recht, du oder ich? Ich sagte die, dass du wirst früher mich werfen, als ich dich. So ist es auch gescheen. Weren wier noch zusammen, so hätten wie so rein gewesen, noch so immer jung. Aber jetzt, weil du so sarkastisch bist mit mir, sprech ich mit dir nich, du bist jetzt grob geworden. Doch versuch (wenn du mich noch liebst) wieder mit mir zahrt sein und vieleich werden wir, wieder Freunde[96].

На 30 сентября 1925 года:

> Я задумал – если я в этот день поссорюсь с Esther, то нам суждено будет расстаться.
>
> Ужас – так и случилось.
>
> Поссорился – мы расстанемся.
>
> Это можно было ждать.
>
> Господи я хотел сегодня mnt, а тут смерть любви…
>
> …Она зовет меня но я знаю что это не на долго. Что ж поделаешь верно я сам таков. Она не причем женщина как женщина, а я так какой-то выродок.
>
> Господи твоя воля.
>
> Нет я хочу или mnt сегодня же или все кончено с *Esther*.

Эстер Русакова.

Она же (слева) с сестрой. 1920-е.

Маленький Даня Ювачев молился, подражая Папе. Юный Хармс то и дело просит о чем-то Бога – и о больших и высоких вещах, и о мелких, бытовых: от хорошей отметки на экзамене в техникуме до эротической прихоти (обозначенной прозрачной анаграммой *mnt*). Но чаще всего в 1925–1927 годах его мольбы связаны с Эстер. Иногда его записи грубы, полны ярости, мужской

обиды:

> Почему я должен страдать из-за этой девчонки?
>
> Я делаю много, чего бы не хотел делать, и не делаю многое, чего бы хотел делать, – только ради того, чтобы не оскорбить ее.
>
> Но кончилось мое терпение…
>
> Пошла вон, блядь и повелительница!

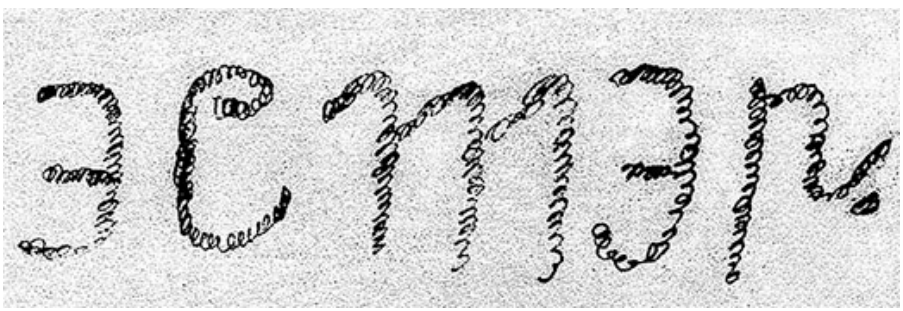
И буквально сразу же:

> Esther, почувствуй как я люблю тебя и какая тоска во мне…
>
> Господи мне ничего не надо теперь. Все термины как: “разбитая жизнь”, “ушедшая молодость” и т. д. годятся для обозначения моего настоящего состояния.
>
> Боже, не меня сохрани, а ее.

Это июль 1927 года.

А еще через пять лет, в ноябре 1932-го, то есть уже после письма к Поляковской, Хармс растерянно запишет:

> Непонятно, почему я так люблю Эстер. Все, что она говорит, неприятно, глупо и плохого тона, но ведь вот люблю ее несмотря ни на что!
>
> Сколько раз она изменяла мне и уходила от меня, а любовь моя к ней только окрепла от этого.



Шрифтовая композиция. Рисунок Д. Хармса в его записной книжке, июнь – ноябрь 1930 г.

Была всепоглощающая физическая страсть, была нежность, пронесенная через годы, заставлявшая “левого писателя” и насмешника всерьез относить к себе романсовые штампы. Не было духовной близости – даже намека на нее. Хармс пытался заинтересовать любимую тем, что занимало его (“спроси у Зинаиды Николаевны про теорию относительности”); он читал ей

стихи и просил, чтобы она перечитывала их – в том числе “Колыбельную” Федора Сологуба. У Сологуба есть несколько колыбельных. Может быть, речь идет о вот этой – “Лунной”:

Я не знаю много песен, знаю песенку одну,
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну.

Колыбельку я рукою осторожною качну,
Песенку спою младенцу, отходящему ко сну.

Тихий ангел встрепенется, улыбнется, погрозится шалуну,
И шалун ему ответит: ты не бойся, ты не дуйся, я засну.

Или о вот этой:

Просыпаюсь рано,
Чуть забрезжил свет,
Темно от тумана –
Встать мне или нет?
Нет, вернусь упрямо
В колыбель мою, –
Спой мне, спой мне, мама:
– Баюшки-баю!

Но Эстер и язык русский знала неважно, и литературой, по всем свидетельствам, особо не интересовалась. Она, скорее всего, любила “очаровательного” *Daniel’*а как мужчину, как человека (мучила, но и любила по-своему), она была для него “окном в рай” – но в том, что уже становилось главным в его жизни, она ничем не могла ему помочь.

Автопортрет с трубкой. Рисунок Д. Хармса, 1923 г.

3

Уже в первые месяцы в Петрограде Даниил Ювачев-Хармс начал выступать на поэтических вечерах – в электротехникуме, Госпароходстве, Тургеневской библиотеке – с чтением стихов, правда, по большей части чужих. К ремеслу чтеца-декламатора он относился в это время серьезно, выписывал и читал пособия по сценической речи. В его записной книжке перечисляются “стихотворения, наизустные мною”:

Каменский: Моейко сердко. Персия. Ю. Морская. Колыбайка. Жонглер. Прибой в Сухуме. Солнцень-Ярцень. Времена года. **9**

Северянин: Ингрид. Предсмерт. Красота. Поэза отказа. Промельк. Пятицвет II. Поэза о Харькове. Твое Утро. Кэнзели. Это было у моря. Весенний день. Лесофея. Виктория Регия. Хабанера. III. Шампанск. Полонез. Мои похоронные. Тринадцатая. Русская. **19**

А. Блок: Двенадцать. Незнакомка. Ты проходишь. Сусальный ангел. Потемнели, поблекли. В ресторане. В голубой далекой спаленке. **6**

Имбер (Имеется в виду Инбер. – *В. Ш.*): Сороконожки. Рома<н>с I **2**

Гумилев: Картон. мастер. Слоненок. Трамвай. Детская песенка. Странник. Три жены мандарина. **6**

Сологуб: Колыб<ельная> песня I. Колыб<ельная> песня II. Все было беспокойно и стр<ойно>. Простая песенка. **4**

Белый: Веселье на Руси. Поповна. **2**

Ахматова: Цветов и неживых вещей. Двадцать первое… **2**

Маяковский: Левый марш. Наш марш. Облако в штанах. Из улицы в улицу. Порт. В авто. Еще Петербург. Ничего не понимают. А вы могли бы. Старик с кошками. Военноморск. любовь. Уличное. О бабе <и> Врангеле. **14**

Асеев: Траурный марш. Собачий поезд. День. **3**

Есенин: Да, теперь решено. 1-ая ария Пугачева. **2**

Хлебников: Устуг Разина (отрыв.). Ор. 13 **2**

Туфанов: Весна. Нень. **2**

Вигилянский: Поэма о лошадях. В лунный полдень. Менуэт. Васильки. Заклятье. Танго. **6**

Март: Черный дом. Бал в черном доме. Белый Дьявол. 3 танки. **4**

Марков: Марш. Романс. **2**

Трудно сказать, в какой мере этот список характеризует личные вкусы Даниила (мы знаем лишь о его любви к одной из “Колыбельных” Сологуба – в списке представлены обе). Многое в его “репертуаре” – от стандартных пристрастий массового читателя той поры. Например, обилие Северянина. Правда, при желании здесь легко предположить интерес к тем возможностям, которые раскрывают перед художником пошлость, безвкусица, простодушная глуповатость, “галантерейный язык” (по

выражению Лидии Гинзбург), если они подверглись рефлексии и стали в своем роде приемом. У многих поэтов шедевры соседствуют в списке “наизустных стихотворений” со случайными вещицами: так, наряду с “Заблудившимся трамваем” и “Слоненком” Гумилева Хармс включил в свой репертуар не опубликованное при жизни автора альбомное стихотворение “Расскажи мне, картонажный мастер…” (из цикла “К Синей звезде”), а рядом с “Облаком в штанах” мы видим агитационные стихи Маяковского о “бабе и Врангеле”. Публичное чтение Хармсом стихов Гумилева вызвало даже (по свидетельству П. Марселя)[97] политически окрашенный скандал. Практика “запретов на имена”, типичная для советской эпохи, еще не сложилась, и читать с эстрады Гумилева первые годы после его гибели никто не запрещал; но Хармс предварил выступление фразой про поэта, “ни за что убитого чекистами”. Чекисты этого, разумеется, стерпеть не могли: Хармс был задержан, с ним провели “профилактическую беседу” – и отпустили. Все же середина двадцатых была временем, по советским меркам, либеральным.

В списке нет Мандельштама, Пастернака (как раз вошедшего в большую моду), Цветаевой, Ходасевича, Кузмина, зато есть Вера Инбер – одесская подражательница акмеистов, кузина Троцкого, в двадцатые годы примкнувшая к Левому центру конструктивистов (чтобы в конечном итоге занять свое место в рядах ортодоксальных соцреалистов). Внимание Хармса символично (с учетом его дальнейшего творческого пути) привлекли ее (в самом деле не лишенные достоинств) детские стихи – прежде всего “Сороконожки”. Это стихотворение – в числе тех, которые Хармс в эти годы переписал к себе в тетрадь наряду с произведениями Пушкина (строфы “Онегина”, “К Юрьеву”, “К вельможе”, “Царскосельская статуя”), Тютчева (“Весенняя гроза”, “Sillentium”), А.К. Толстого (“Мудрость жизни”, “Бунт в Ватикане”), Козьмы Пруткова и Беранже в переводах Курочкина. Скорее всего, и этот ряд случаен. Хотя, разумеется, можно найти некую логику… хотя бы в соседстве пушкинского стихотворения, где лирический герой, “потомок негров безобразный”, предстает в образе необузданного “фавна”, и шуточной баллады про взбунтовавшихся кастратов. Есть и тексты на двух известных Хармсу иностранных языках – немецком (Гёте) и английском (Блейк, баллады Льюиса Кэрролла из “Алисы”). Особенно много Киплинга – “бард империализма” вошел в моду в России в начале 1920-х годов, когда одна из студиек Дома искусств, Ада Оношкович-Яцына, начала переводить его, а другие, прежде всего Николай Тихонов (а позже Александр Прокофьев, Алексей

Сурков), в разной степени и разных формах ему подражать. Примечательно, что в Англии интерес к певцу обветшавшей викторианской романтики, “лауреату без лавров” (по определению Паунда), давно схлынул, и вернувшийся с Альбиона сменовеховец Святополк-Мирский недоумевал: что нашли читатели самой передовой в мире страны в этом реакционере? Хармсу столь чуждый ему автор был интересен, видимо, прежде всего в формально-стиховом отношении.

Среди “наизустных” стихотворений были и произведения людей малоизвестных, недавних литературных знакомых Хармса. С одним из них Даниил мог, впрочем, встретиться и в собственном доме прежде появления в литературных кругах: Венедикт Март (Венедикт Николаевич Матвеев), родившийся в 1896 году в семье Николая Павловича Матвеева-Амурского (1865–1940), приморского краеведа и стихотворца, автора первой “Истории Владивостока”, был крестником И.П. Ювачева. Несколько лет перед 1917 годом Венедикт Март жил в Петрограде, а затем вернулся в родные края. В 1918–1922 годах во Владивостоке и Харбине он выпустил не менее десятка книг и был замечен посещавшим Дальний Восток Давидом Бурлюком, который, правда, отметил в творчестве “дикого поэта” “черты грубого протеста во имя протеста” и даже “следы патологичности”[98]. В Петрограде Март появился в 1923 году. Он легко узнается в одном из эпизодических персонажей вагиновской “Козлиной песни” – поэте Сентябре:

> Неизвестный поэт отложил свою палку, украшенную епископским камнем, положил шляпу и с искренней симпатией посмотрел на Сентября. Он уж многое знал о нем. Знал, что тот семь лет тому назад провел два года в сумасшедшем доме, знал нервную и ужасную стихию, в которой живет Сентябрь. <…>
>
> – Зачем вы приехали сюда! – Помолчав, Неизвестный поэт посмотрел в окно. – Здесь смерть. Зачем бросили берег, где печатались, где вас жена уважала, так как у вас были деньги? Где вы писали то, что вы называете футуристическими стихами? Здесь вы не напишете ни одной строчки[99].

При всей симпатии к доброму знакомому Неизвестного поэта, оценка его поэзии – совершенно безнадежна:

> В общей ритмизированной болтовне изредка попадались нервные образы, но все в целом было слабо. <…>

Неизвестный поэт почти в отчаянии сидел на кровати.

“Вот человек, – думал он, – у которого было в руках безумие, и он не обуздал его, не понял его, не заставил служить человечеству”[100].

Одним из не слишком многочисленных в Петрограде-Ленинграде домов, где Венедикта Николаевича, как и его брата Георгия Николаевича, приехавшего в Ленинград 1924 году и работавшего каталем на заводе “Светлана”, тепло принимали, был дом Ювачевых. До известной степени интерес Хармса к “дикому поэту” объяснялся именно семейной дружбой.

Позднее, в 1928 году Венедикт Март был арестован за “пустяки” (в пьяном виде подрался в ресторане с неким сотрудником ГПУ, да еще и обозвал его “неудобным с точки зрения расовой политики словом”[101]) и сослан в Саратов. Психика неуравновешенного поэта с трудом, но выдержала это потрясение – рассудка лишилась жена его, которой кто-то ложно сообщил о смерти мужа. Позднее Март смог поселиться в Киеве и вернуться к литературной работе[102] – вплоть до 1937 года, когда жернова террора смололи и его в числе других. Там вырос его сын, Зайчик (Уолт-Зангвильд-Иоанн – такое имя значилось в его документах!), у Вагинова – “зайченыш Эдгар”[103], впоследствии – Иван Елагин, один из ведущих поэтов “второй эмиграции”, между прочим, автор своего рода стихотворных мемуаров, где идет речь и о Хармсе (у нас еще будет место и повод их процитировать).

Включенные в репертуар Дани Ювачева-Хармса стихи Марта взяты из сборников “Черный дом” и “Песенцы”, вышедших в 1918 году. Среди них танки – не очень ловкая попытка передать русским рифмованным стихом классическую японскую форму. Танки оригинальные и переводные; некоторые принадлежат перу Муцухито, великого императора-реформатора, японского Петра Великого:

Предо мной часы…
Время точно говорят,
Верен стрелки ход…

Так ли верен сердца взгляд,
Чувства правду ль говорят?!

С другими не самыми известными вне профессионального круга поэтами, чьи стихи удостоились чести быть заученными наизусть (Туфановым, Вигилянским, Марковым), Хармс

познакомился после того, как весной 1925 года начал посещать, сперва в качестве гостя, собрания Ленинградского отделения Всероссийского союза поэтов.

Попытки организовать Союз поэтов начались с первых же месяцев советской власти, когда стало понятно, что некооперированный индивидуальный труд в новых условиях не в почете и что литераторам (и поэтам в том числе) для социальной самозащиты недостаточно уже полвека существовавшего Литфонда. Сначала, в 1918 году, Всероссийский союз поэтов был создан в Москве (под председательством Брюсова), но просуществовал недолго; в 1920 году его пришлось воссоздавать заново. Московское правление возглавил футурист Василий Каменский. В качестве эмиссара из Москвы с целью организации петроградского отделения приехала Надежда Павлович. Первым председателем петроградского Союза был избран Блок (Павлович была его экзальтированной поклонницей). Деятельность Павлович и ее сторонников вызвала недовольство поэтов, группировавшихся вокруг Гумилева. В феврале 1921 года спор завершился смещением Блока с поста председателя Союза и избранием на этот пост вождя акмеистов. Вся эта история не раз описана в литературе. “Гумилята”, члены воссозданного в третий, и последний, раз Цеха поэтов, стремились войти в правление и провести своего мэтра в председатели в том числе и потому, что Николаю Оцупу, счастливо сочетавшему в себе таланты поэта и дельца-снабженца, нужна была печать Союза для “походов за провиантом” (как выражались флибустьеры XVII века) в глубину России; сам же Гумилев мечтал о близком времени, когда поэты, объединенные в священный орден, будут управлять государствами. Для Николая Степановича эти мечты закончились, как известно, в августе того же, 1921 года пулей где-то около Ковалева или Бернгардовки. (Все это время петроградское отделение считалось филиалом московского, но на практике существовало вполне автономно и даже с заметной оппозицией Москве.)

В октябре 1921 года над петроградским Союзом, председателем которого был в то время молодой Георгий Иванов, нависла опасность (из-за заказанной его членами панихиды по расстрелянному Гумилеву), и он был (по предложению Ходасевича) распущен. В Москве происходили свои пертурбации, на какое-то время деятельность тамошней организации тоже приостановилась.

В 1924 году Союз поэтов вторично восстал из пепла. На сей раз всероссийскую организацию возглавил Георгий Шенгели, утонченный неоклассик с эгофутуристическим прошлым,

уроженец Керчи, переводчик восточной поэзии, стиховед (“российских ямбов керченский смотритель”, по злому выражению Мандельштама) и пламенный ненавистник Маяковского. Главой ленинградской организации (воссозданной усилиями молодого поэта Григория Шмерельсона, футуриста, потом имажиниста) был избран уже немолодой, 60-летний Сологуб[104], которого сменил сперва Илья Садофьев (изначально пролетарский поэт и “космист”, в дни нэпа испытавший “декадентские” влияния, личность несколько гротескная), потом (в 1928-м) Николай Тихонов. Секретарями Союза в 1925 году были поэт Михаил Фроман, более известный как переводчик английской поэзии, и Павел Лукницкий, которого ныне помнят в основном как биографа Гумилева.

Устав возрожденного Союза 1924 года гласил:

> Приемочная комиссия рассматривает предоставляемый в Союз поэтов материал, руководствуясь следующими принципами:
>
> Так как Союз поэтов является организацией, занимающей по отношению к формальным группировкам нейтральное положение и преследующей главным образом цели профессионального объединения, приемочная комиссия прежде всего предъявляет к представляемому материалу требования определенной технической грамотности вне зависимости от того, к какому направлению в литературе автор себя причисляет. Минимум этой грамотности слагается из:
>
> а) знания элементарной грамматики современного поэтического языка;
>
> б) знакомства с основными задачами современной поэзии;
>
> в) способности к самостоятельному поэтическому пути.
>
> Вместе с тем комиссия считает одним из главнейших условий приема живую связь автора с вопросами революционной современности.
>
> Лица, удостоверяющие всем трем пунктам условий приема, зачисляются в действительные члены Л/о Всероссийского Союза поэтов.
>
> Лица, удовлетворяющие только по двум пунктам, хотя бы и не в полной мере, зачисляются в члены-соревнователи Л/о Всер. Союза поэтов. Лица, имеющие определенное литературное имя, представившие

печатные труды и доказавшие, что литература является их профессиональным занятием, принимаются простым решением общего собрания комиссии[105].

Устав этот, видимо, восходил к уставу прежнего, блоковско-гумилевского Союза (с добавлением ритуальной, но весьма обтекаемой фразы про “связь с вопросами революционной современности”). Последний пункт (про “лиц, имеющих литературное имя”) относился, положим, к А.Н. Толстому, который (на основании своей давней, в молодости вышедшей книги стихов) захотел почему-то вступить в Союз поэтов, или к Мандельштаму, написавшему заявление о вступлении в 1927 году. Стоит заметить, что жили в то время и Толстой, и Мандельштам в Москве и никакого участия в работе ленинградского Союза не принимали. Работа эта состояла из публичных вечеров (на различных площадках) и закрытых собраний с обсуждением произведений того или иного автора, проходивших по пятницам в Доме искусств, а позднее на набережной Фонтанки, 50, где находился Союз писателей. Зимой – весной 1925 года из известных поэтов в этих собраниях регулярно участвовали Тихонов, Константин Вагинов, Николай Клюев, Мария Шкапская, Всеволод Рождественский, Вольф Эрлих, Иннокентий Оксенов. 16 января “пятница” была посвящена поэзии Вагинова. Месяц спустя, 20 февраля, состоялось заседание “Мастерской по изучению поэтики”, посвященное другому поэту – Александру Туфанову. Туфанов – в числе тех, чьи стихи были “наизустными” для Хармса в 1925 году, и именно в эти годы ему суждено было сыграть короткую, но важную роль в творческой биографии Даниила Ивановича.

Существуют два колоритных описания Туфанова, принадлежащие перу одного человека – поэта Игоря Бахтерева, обэриута, младшего сподвижника Хармса и Введенского.

> В двадцатые годы в типографии ленинградского издательства “Прибой” работал нелепого вида корректор, именовавшийся Старшим, один из лучших корректоров города. Длинные, нерасчесанные пряди волос спускались на горбатую спину. Нестарое лицо украшали пушистые усы и старомодное пенсне в оправе на черной ленточке, которую он то и дело поправлял, как-то особенно похрюкивая.
>
> Особенно нелепый вид корректор приобретал за порогом типографии. Дома он сменял обычную для того времени толстовку на бархатный камзол, а скромный самовяз – на кремовое жабо. И тогда начинало казаться,

> что перед вами персонаж пьесы, действие которой происходит в XVIII веке. Его жена, Мария Валентиновна, ростом чуть повыше, соответствовала внешности мужа: распущенные волосы, сарафан, расшитый золотом кокошник. В таком обличии появлялись они и на эстраде, дуэтом читая стихи уже не корректора, а известного в Ленинграде поэта А.В. Туфанова.

Это из воспоминаний о Заболоцком, впервые напечатанных в 1977 году[106]. А вот текст более ранний – 1948 года, и скорее беллетристический: “В магазине старьевщика”. Здесь появляются гротескные призраки, остраненные недавней памятью тени поэтов, с которыми Бахтерев знался смолоду, и в их числе –

> совсем уж махонький, хотя и коренастый, в камзоле и кружевах, пронизанный комнатной пылью. Когда он оборачивался, обнаруживался немалый горб и длинные нечесаные кудри посадника Евграфа[107].

Туфанов утверждал в своей автобиографии, что родился “в эпоху расцвета Великого Новгорода в XV столетии, во время разбойных походов повольников на ушкуях”[108]. Это была, скажем так, – гипербола: поэт самоотождествлялся со своим полупридуманным двинским родом. Но для двадцатых с их культом молодости он был и впрямь староват. Двадцатилетние поэты входили в моду, тридцатилетние считались мэтрами, тридцатилетние комиссары управляли городами, сорокалетние – страной; сорокалетний человек “с прошлым” (небольшевистским) мог рассчитывать в лучшем случае на статус хорошо оплачиваемого, но ограниченного в правах “спеца”. Туфанову, родившемуся на самом деле в 1877 году, было под пятьдесят, и “прошлое” у него было и неполезное для успехов в СССР, и объективно не особо славное и почетное.

Раннее детство его прошло под Воронежем: отец арендовал сады у помещика Веневитинова. Помещик этот “имел сильное влияние на отца”[109] – давал ему почитать герценовский “Колокол” и подарил кинжал своего знаменитого, юношей умершего дядюшки-поэта. Молодой Туфанов, по собственному признанию, “побывал в пяти учебных заведениях, а курс закончил только в Учительском институте”. В промежутках между учением он (как же без этого) участвовал в революции 1905 года и немного посидел в тюрьме, потом служил газетным репортером и рецензентом, обучал глухонемых, а “в 1913 задумал опрокинуть весь школьный строй, дав людям школу Ферьера и аннулировав все учебники”. Взявшись за какое бы то ни было дело и еще не

достигнув сколько-нибудь заметного успеха, Туфанов сразу же замышлял глобальную революцию. Но революция в педагогике, как видно, не задалась – “а между тем Малларме, Эдгар По, Метерлинк, Бодлер и Маринетти все более овладевали мной”.

В 1917 году Туфанов выпустил книгу стихотворений “Эолова арфа”. В предисловии он дерзко изложил свое творческое *credo*:

> Во время освободительного движения теперь в зареве европейского пожара принцип “быть самим собой” доведен до исчерпывающей верности, за которой, с жестокой неизбежностью, следует антитеза – “не быть самим собой”; в силу закона триады над пепелищем рождается в человеке актер, с неудержимым стремлением уйти в свой мир, уйти по пути кривому, по пути придуманному, то есть творческому, с мрачным и убеждающим очарованием от всего того, чего нет вовне и что есть внутри, дома у себя, в театре-балагане: ничего нет вовне, что было, то отдано, но иногда, распыляясь, буду актером у них – вот кредо грядущего дня[110].

Путано несколько, но в 1907 году, в эпоху “мистического анархизма”, эта декларация, может быть, и имела бы некоторый резонанс. Однако прошло десять лет, и каких – все успело безнадежно устареть: и круг идей, обуревавших неудачливого педагога, и его вкусы (современную поэзию для Туфанова воплощала “бессмертная книга Бальмонта “Будем как солнце”»), и экзальтированный язык. Собственные же стихи его звучали еще безнадежней:

> В каждый миг я – весь новый, единственный,
> только тень… только тень мой двойник.
> Я рожден за чертою таинственной,
> Alter ego в бессильи поник.

Александр Туфанов, вторая половина 1910-х.

Уже названия стихотворений (“Трепет молчания”, “Под шум прибоя”, “Настурции”) говорили сами за себя. “Эолова арфа” была типичным образцом эстетской графомании, пышно расцветавшей по всем, даже самым медвежьим, углам империи в предреволюционные годы. Самое большее, чего могла удостоиться такая книжка – насмешливого двустрочного отзыва в библиографическом обзоре “Аполлона” (Гумилев, наездами с фронта, добросовестно читал и рецензировал все, присланное в журнал). “Эолова арфа” не удостоилась и этого. В большой культуре Серебряного века, какой сложилась она к 1917 году, Туфанову, каким был он сорока лет от роду, никакого места не было. И культура, и сам стихотворец должны были перемениться до неузнаваемости, чтобы место это появилось.

Внутренний переворот произошел в дни Гражданской войны. Как писал Туфанов позднее, “революция оскорбила во мне образ ушкуйника. “На Кострому нападали – думал я – и баб бухарским купцам продавали, но людей на кострах не жгли, старцев не задушали и в воду в мешках никого не бросали”. Говоря короче: я плюнул и произнес трехэтажное слово по адресу революции”[111]. В 1918 году Туфанов с младшим братом Николаем отправился на родину предков, на Север, в Архангельскую губернию, где под защитой интервентских войск правило одно из кратковременных бело-розовых краевых правительств, во главе с эсером Чайковским[112]. Младший Туфанов, студент-медик, участник Первой мировой, поступил в чине лейтенанта в местную армию – так называемый “Славяно-британский легион”; старший сперва занимался в основном литературой и изучением северных частушек. Именно в архангельский период он – с восьмилетним опозданием – заинтересовался русским футуризмом, даже выступал с докладами о нем (и о частушках) перед местной интеллигенцией. Сам он в те дни именовал себя “поэтом-бергсонианцем”. Первым толчком к изменению мировосприятия, наряду с интуитивизмом Бергсона, стало для него чтение работ молодых Шкловского, Брика и их товарищей, опубликованных в 1916–1917 годах в двух выпусках “Сборников по теории поэтического языка”. В своей работе про частушки он пытается следовать по стопам лишь начинающих свой путь формалистов. Немного по-дилетантски, конечно. Но разве сам Шкловский не был отчасти дилетантом, с точки зрения старой академической науки венгеровских времен?

В сущности, Туфанов был типичным русским чудаком-самоучкой, “естественным мыслителем”, по позднему определению Хармса. В девяноста девяти случаях из ста такие самоучки – изобретатели вечного двигателя. Но иногда подобный

человек может оказаться Циолковским. Революция, покачнувшая старую культурную иерархию, открыла перед такими людьми – и перед Туфановым в том числе – неожиданные возможности. Но сам он революцию отверг, особенно жестоко – после того, как в бою погиб его брат (22 февраля 1919 года). Для Туфанова это стало величайшим потрясением. Свою скорбь ему необходимо было выражать вовне, публично: три некролога, два газетных отчета о панихиде, множество стихотворений… Более того, обе книги Туфанова – “К зауми” и “Ушкуйники” – посвящены памяти брата. Но книги эти вышли годы спустя, а пока в архангельских газетах стали появляться прямолинейные политические вирши, подписанные его именем, причем временами такие кровожадные, какие даже и в дни Гражданской войны появлялись не часто:

Просил пощады при расстреле
Плененный коммунист,
А мы, стреляя, песни пели
Под пулеметный свист.

Не верь, солдат, моленьям лживым,
А помни: он вчера
Стрелял, сдаваясь в плен трусливо.
Стреляй в него – пора!

Но наряду с сочинением таких опусов именно в архангельский период Туфанов выступил с первыми “заумными” стихами. Именно исследования частушек убедили его, что чисто фонетическое воздействие на психику читателя и слушателя стихов порою сильнее смыслового. Потрясения, пережитые в дни Гражданской войны, сделали невозможным возвращение к аляповато-эпигонской поэтике “Эоловой арфы”. Теперь Туфанов писал по-другому.

Сиинь соон сиий селле соонг се
Сиинг сеельф сиик сигналь сеель синь

Лиий левши ляак ляйсшньмон
Ляай люлет ллан лилиин лед…

Это “Весна” – стихи из книги “К зауми” (1924), призванные иллюстрировать теоретические построения автора. Иначе написаны “Ушкуйники” (1927) – главная собственно поэтическая книга Туфанова.

На Оби дремой на стругу,
Дую я в домбру, посвистываю;
Ветер пусть один на лугу
Мою книгу перелистывает.
Ох, плыви, плыви, стружочек,
К семендухам в степь,
Плыйлилаунбавликочи
Сийленьлюльмасте.

Александр Туфанов. Фотография М. Наппельбаума (?), 1925 г.

“Ушкуйники” посвящены преданиям Русского Севера. Сочетание авангардных поисков с приверженностью к славянской архаике – вещь не новая: был Хлебников, был ранний Асеев.

Собственно зауми в этих стихах не так много, да и та часто оказывается мнимой: Туфанов широко пользуется архаизмами или редкими областными словами. Радикален он был скорее не как поэт, а как теоретик. В течение двадцатых годов им написано (и частично опубликовано) не менее десятка текстов, обосновывающих заумную поэтику, имевшую, как марксизм-ленинизм, три источника: физиологический – "периферическое зрение, наряду с центральным, условным", лингвистический – "телеологическая функция согласных фонем", и социальный – "самовщина" (индивидуализм). Представление о "телеологической функции согласных фонем" (которое Туфанов подробнее раскрывает в книге "К зауми", 1924) основывается, в частности, на теориях академика Марра. Яфетологи-марристы доказывали, что все языки (различающиеся не генетически, а стадиально) начинались с определенных сочетаний согласных звуков, общих для всего человечества. Вообще Туфанов поминает в своих работах самые разные имена (от Овсяннико-Куликовского до Эзры Паунда) и самые разные идеи. В сравнении с Крученых, чьи "Фактура слова" и "Сдвигология русского стиха" появились несколькими годами раньше, он больше заботился о философском, социальном и психологическом обосновании своих новаций. Валить в кучу самый разнообразный материал, обладающий общепринятым сертификатом "научности", для доказательства собственных умственных конструкций – характерное свойство всех "естественных мыслителей".

Так же характерно и стремление к четкой (с употреблением математических аналогий) классификации всех явлений бытия (в данном случае – поэзии). Но сама классификация Туфанова была довольно экзотической. Поэты размещались по кругу: с 1-го до 40-й градус – те, кто исправляет мир (символисты, ЛЕФ, РАПП), с 40-го по 89-й – те, кто его воспроизводит (реалисты, акмеисты), с 90-го по 179-й – те, кто его украшает (импрессионисты, футуристы, имажинисты). Дальше, со 180-го по 360-й градус, шла зона зауми. "Абстрактная", то есть чисто фонетическая, заумь составляла высший 360-й градус и смыкалась (как то и было в реальном литературном процессе) со своей противоположностью – с зоной "исправителей мира", с ЛЕФом.

Александр Туфанов не страдал заниженной самооценкой, считал себя ровней и преемником Хлебникова, титуловался Председателем Земного Шара Зауми, а к автору "Дыр бул щыл" относился дружелюбно, но несколько снисходительно. Старые питерские авангардисты (художник Матюшин, к примеру) приняли его в свою среду. Тем же, кто был не столь благожелателен, Туфанов, то ли по футуристической традиции,

то ли по неуравновешенности нрава, отвечал бранью. “Моя книга “К зауми” – камень, брошенный в Европу, а критики, зубоскалящие над моей книгой, – сволочь… Обо мне может писать пока один Эйхенбаум”[113]. Но Эйхенбаум писать о Председателе Земного Шара Зауми не торопился.

Туфанову не нравился окружающий мир, он чувствовал себя в этом мире неуютно. Страна Зауми была для него царством свободы, раем, утраченным человечеством при переходе “от уподобительных жестов к сравнению предметов (абстракции) с сопутствующим ему словом”. Это “страна с особой культурой, богатой миром ощущений при многообразных проявлениях формы… но без признаков ума, без развернутых при пространственном восприятии времени идей и эмоций… Если ошибки земного шара не повторили обитатели Марса, там должно быть такое царство”[114]. Параллель с Циолковским налицо.

4

В марте 1925 года Туфанов создал собственную литературную школу – Орден заумников *DSO*. Расшифровывалась аббревиатура так: “при ослаблении вещественных преград (*D*) лучевое устремление (*S*) в века при расширенном восприятии пространства и времени (*O*)”[115]. По словам Туфанова,

> мною была прочитана первая часть… поэмы “Домой в Заволочье” и из собравшихся выделилась группа пожелавших объединиться… В ядро группы входят трое: я, Хармс и Вигилянский – ученики, постоянно работающие в моей студии. Еще 6 человек, имеющих уклон к Зауми и занимающихся предварительной подготовкой. Затем в Ленинграде есть еще Терентьев, ученик Крученых… имеющий ученика Введенского (на стадии предварительной подготовки)[116].

В это время Даниил уже рискует публично читать не только чужие, но и собственные поэтические произведения. К весне этого года относится следующая запись (по-немецки): “Это вполне логично просить меня почитать стихи. Боже, сделай так, чтобы там были люди, которые любят литературу, чтобы им было интересно меня слушать. И пусть Наташа будет повежливее к моим стихам…”[117] Чтение, следовательно, устраивала “Наташа” – тетка, Наталья Ивановна Колюбакина. Едва ли в кругу ее знакомых первые стихи племянника, “футуристические” по

внешним признакам, могли снискать признание. Но уже довольно быстро молодой поэт начинает обретать свой круг…

Что мы знаем о товарищах Хармса по ордену *DSO*?

Евгений Иванович Вигилянский (1903–1942?), по-видимому, подписывал стихи псевдонимом Джемла. Те его вещи, что сохранились в архиве Хармса, более или менее традиционны. Может быть, они относятся к периоду до сближения с Туфановым или после распада Ордена Заумников. Исключение составляют “Решетчатые диалоги” – стихотворение по внешним признакам вполне футуристическое, но не “заумное”:

В листве старушка рой да рой,
в листве Румянцевского сада,
повернут маковкою сад,
ах, лихолетье, жди меня,
иду назад.

Рукой обернута перчатка,
смеешься, день? А я – мечты.
Я в этом саде полюбил
небрежность крохотной блондинки

Исакий лодкой, ты небес
превратный мир за облаками,
я пиль собачий на ветру,
тебя люблю, моя Фонтана,
невмерлый дом протянет грудь невдалеке.

Любовная томит походка,
подвязка в шелк окружена,
ах, ты ль вязала над землей
перчаткам этим кружева?

Ищи меня, сквозь желтый лист,
я тут, я там. Ищи меня.
Я в этом саде
свои желанья обрядил,
я встречу радостно Фонтану[118].

Евгений Вигилянский, 1923 г.

Позднее Вигилянский участвовал в деятельности ОБЭРИУ, но в качестве не поэта, а “администратора”. Членами Ордена были Игорь Марков, бывший “речевок”, бухгалтер по профессии, Борис Черный, Борис Соловьев, Георгий Матвеев. Большую часть этих людей у нас не будет повода еще раз упомянуть – они не оставили следа ни в биографии Хармса, ни в литературе. Известно еще несколько имен молодых поэтов, с которыми Даниил Иванович приятельствовал в середине двадцатых. Например, имажинист Семен Полоцкий[119], однофамилец одного из основоположников русского стихотворчества. Двадцатилетняя Лидия Ивановна Аверьянова, поэтесса, музыкантша и актриса, также была заинтересованной слушательницей обаятельного “безумника”; за это ее строго корили друзья – члены объединения “неоклассиков”.

Отдельного разговора заслуживает второй (наряду с Туфановым) мэтр заумников Ленинграда середины двадцатых –

Игорь Герасимович Терентьев (1892–1937). Как и Туфанов, до революции он (тогда студент-юрист Московского университета) эстетическим радикализмом не отличался. Но, не в пример “горбуну-корректору”, Терентьев был и в те годы связан с литературными кругами. Ему, в частности, покровительствовал Ходасевич.

В годы Гражданской войны Игорь Герасимович оказался в Тифлисе (Грузия, отделенная от горящей России стеной Кавказа, наслаждалась своей короткой сытой независимостью). Там он повстречал Крученых, подружился с ним и (вместе с братьями Ильей и Кириллом Зданевичами, поэтами и живописцами, в свое время “открывшими” Нико Пиросмани) основал группу, названную по широте Тифлиса, “41°”. Долгие годы спустя, вспоминая об этом времени, Крученых писал:

> Игорь, помнишь?
> Когда-то мы вместе
> озоровали в Тифлисе:
> кроили какально-анальный словарчик
> из Гумилева и Ахматовой –
> молитвенник для дам.
> Предсказывали литкончину
> блочистов и юродегенератов[120] –
> кузминских мальчиков и юркунов <…>
> …Изумительный,
> лаково-цепкий танцор,
> ты рядился тогда негром,
> косыми скулами
> обольщая балерин.
> Самый остроумный человек в Тифлисе,
> ты читал доклады
> о “грандиозаре”,
> ерундовых орудиях,
> “маршруте шаризны”
> и о стрельбе в обратную сторону,
> чтоб победить летаргию привычки.
> Лишь аннулировав все богатства,
> мы стали богатеть.
> В нашем разговоре
> мы начинали не ниже,
> чем с 41 градуса[121].

Крученых считал, что Терентьев – настоящий футурист, а Маяковского “еще надо футурнуть”. Однако некоторые (и,

пожалуй, лучшие) терентьевские стихи были совершенно чужды зауми (и вообще особого радикализма) – например:

Под барабан шарманка пела по-грузински
Яблоками на осликах пахло солнце
В тени Давида лежал Головинский
При свете холмов из бронзы
На голубей Кура в замостье шипела
Трамвай выбивался в Европу из Майдана
Пробегала девушка твердая как чурхчела
Наступал вечер во всех странах[122].

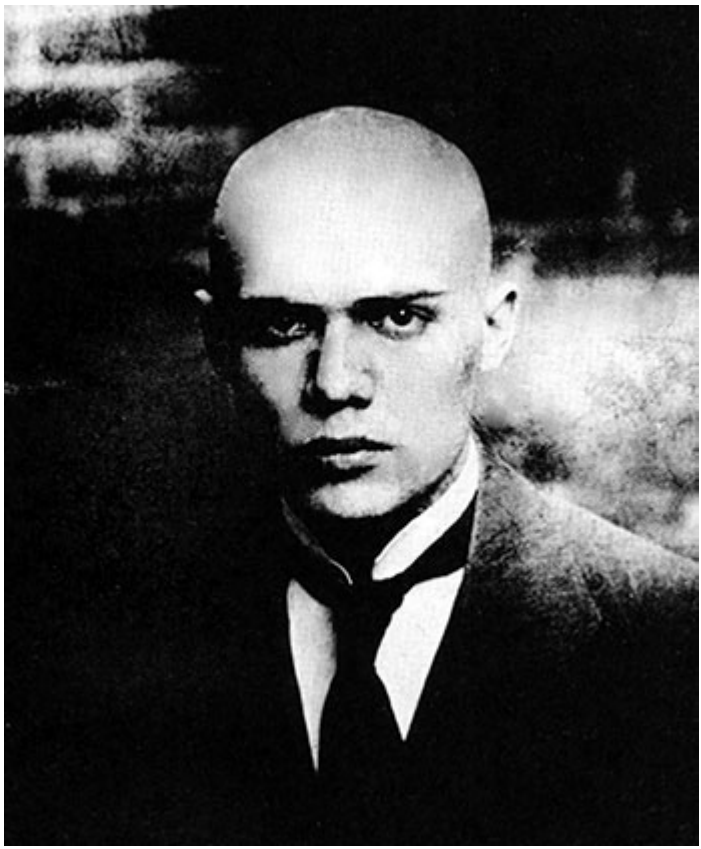
После отъезда Крученых из Тифлиса Терентьев, сблизившись с экономистом, психологом (одним из первых в России фрейдистов) и стихотворцем Г.А. Харазовым, пытался создать Академию стиха. (Как известно, общество с таким названием некогда собиралось на Башне у Вячеслава Иванова. Ирония судьбы в том, что Харазов, через некоторое время перебравшийся из Тифлиса в Баку, познакомился там с Вячеславом Великолепным и вскоре стал его непримиримым врагом[123].)

Стоило бы, наверное, попросить прощения за обилие этих излишних в контексте биографии Хармса деталей, но слишком уж бросается в глаза контраст между почти полной изолированностью Туфанова и широкими контактами Терентьева. И это было не единственное отличие. Терентьев был не эскапистом, а активным сторонником революции. Левые художники были людьми “красными” – за редчайшими исключениями. Туфанов, как позднее Хармс и Введенский, к таким исключениям принадлежал, Терентьев – нет.

В двадцатые годы главной сферой интересов Терентьева стал театр, потеснивший литературу. В первую очередь именно как режиссер оставил он след в отечественной культуре. По приезде в Петроград (1923) он начал ставить спектакли в рабочих и агитационных театрах, затем в “Агитстудии” Виктора Шимановского и наконец с января 1926 года – в театре Дома печати. Одновременно он некоторое время заведовал (“на общественных началах”) так называемой “фонологической лабораторией” в основанном Казимиром Малевичем Институте художественной культуры[124]. Проповедуя “смерть драматургии”, Терентьев, однако, выступал и в качестве драматурга. Его перу принадлежит антирелигиозная агитпьеса “Снегурочка” (переделка Островского), “Джон Рид” (не особенно удачная инсценировка “Десяти дней, которые потрясли мир” Джона Рида). Успех спектаклей Терентьева был немалым; авангардного

режиссера пригласили даже в бывшую Александринку (где он должен был поставить “Пугачевщину” Тренева), но с тамошней труппой он не сработался.

Вершиной режиссерской карьеры Терентьева была скандальная постановка “Ревизора” (1927), соперничавшая с мейерхольдовской.



Игорь Терентьев, 1917 г.

Современники красочно расписывают, например, костюмы к этому спектаклю (эскизы их, кажется, не сохранились): трактирный слуга носил на плече изображение рака, одежду одного жандарма украшали маргаритки, на одежде другого изображены были свинячьи морды, на плече Земляники красовались две земляничные ягоды, Ляпкин-Тяпкин носил на шее большущий ключ и т. д. Текст и сюжет тоже подверглись новаторскому препарированию. Чиновником, приехавшим из Петербурга, оказывался все тот же Хлестаков. “Настоящий ревизор, – объяснял свой замысел Терентьев, – сами ревизуемые, а ревизор со стороны – всегда Хлестаков, то есть порожденный

обывательской фантазией персонаж: бог, гений, деспот”[125]. Отсюда (как и от двухстраничной пьесы Терентьева “Іордано Бруно”, вложенной в письмо к Зданевичу) уже полшага оставалось до карнавального безумия и невербализуемого ужаса “Елизаветы Бам” и “Елки у Ивановых”. Человек именно того типа, который был востребован двадцатыми годами: яркий, разносторонне одаренный, склонный к радикальным экспериментам, фанатичный, – Игорь Терентьев шумно прокладывал дорогу для тихой эстетической революции.

Потом – работа в Москве и в Харькове, арест в 1931 году (одновременно с Хармсом и Введенским), Беломорканал. Арест стал, однако, для Терентьева началом еще одного грандиозного проекта. Основанная им агитбригада каналоармейцев прославилась на весь Советский Союз. Под руководством товарищей Ягоды и Фирина Терентьев, сначала заключенный, потом вольнонаемный специалист, наглядно демонстрировал роль искусства в деле перековки социально чуждого элемента, а когда пришло время товарищей еще более решительных, он конечно же разделил судьбу своих покровителей.

5

С единственным (если верить Туфанову) литературным учеником Терентьева, Александром Введенским, Хармс познакомился весной или летом 1925 года в квартире Вигилянского (6 линия Васильевского острова, дом 42). И этой встрече суждено было стать, быть может, главной в жизни Даниила Ивановича. Было общее чтение молодых поэтов. Введенский был со своим другом Яковом Друскиным. Стихи Хармса заинтересовали их – Введенского, вероятно, в первую очередь. Домой, по свидетельству Друскина, "возвращались уже втроем"[126].

Александр Введенский (*александрвведенский*, как подписывал он в это время свои стихи) был старше Хармса на один год один месяц и семь дней. Как и Даниил, он был высок ростом; лицо его было бы красивым, если бы не избороздившие его оспины. Введенский родился в Петербурге, и семья его, как и семья Ювачевых, была не вполне типичной. Мать Александра Ивановича, Евгения Ивановна, урожденная Поволоцкая, была известным в столице врачом-гинекологом, отец, Иван Викторович, – чиновником для особых поручений Мнистерства внутренних дел, а позднее – служащим Крестьянского поземельного банка. К 1917 году он дослужился до чина статского советника. К этому надо добавить, что смолоду Введенский-отец был офицером, а Евгения Ивановна родилась в генеральской семье. Женщина-врач – в начале XX века это уже было совсем не экзотично, но не в военной или чиновничьей среде, отличавшейся, само собой, консерватизмом. Противоречивость семейных корней сказалась и в выборе места учебы для сына: сперва – Николаевский кадетский корпус, а когда в 1917 году он закрылся – сверхлиберальная гимназия Лентовской. (Достаточно сказать, что основали эту гимназию преподаватели, изгнанные в 1905 году из казенных учебных заведений по политическим причинам.) Гимназия, добавим, была блестящей. По количеству выдающихся выпускников (список их начинается Н.П. Анциферовым) она могла бы сравниться разве что с Тенишевским училищем.

Александр Введенский, 1922 г.

В послереволюционные годы, когда гимназия Лентовской, слитая с женской гимназией Петровской, именовалась уже Единой трудовой школой № 190, здесь, как и в Петершуле, сохранялась особая атмосфера. По воспоминаниям Д.С. Лихачева, переведшегося туда в 1919 году,

> между учениками и преподавателями образовалась тесная связь, дружба, “общее дело”. Учителям не надо было наводить дисциплину строгими мерами. Учителя могли постыдить ученика, и этого было достаточно, чтобы общественное мнение класса было против провинившегося и озорство не повторялось. Нам разрешалось курить, но ни один из аборигенов школы

этим правом не пользовался…[127]

Ученический быт времен военного коммунизма включал и собственноручную пилку дров вместо уроков труда, и бесплатную пшеничную кашу с чаем – но также и литературное общество (во главе с Евгением Ивановым, другом Блока), любительские спектакли, а чуть позже, когда быт начал налаживаться, – экскурсии в Псков, к водопаду Кивач и даже на Кольский полуостров.

Среди здешних учителей были весьма примечательные люди (например, философ Сергей Алексеевич Алексеев (Аскольдов), преподававший с 1918 года психологию. Особенно тепло вспоминали ученики о Леониде Владимировиче Георге (1890–1927), молодом преподавателе литературы. Лихачев описывает его так:

> Георг принадлежал к тем старым “учителям словесности” в наших гимназиях и реальных училищах XIX и начала XX века, которые были подлинными “властителями дум” своих учеников и учениц, окружавших их то серьезной любовью, то девчоночьим обожанием… Он был высок ростом, лицо интеллигентное и чуть насмешливое, но при этом доброе и внимательное. Белокурый, со светлыми глазами, с правильными чертами лица (может быть, чуть коротковат был нос, хотя правильная его форма скрадывала этот недостаток), он сразу привлекал к себе внимание. На нем всегда хорошо сидел костюм, хотя я никогда не помню его в чем-либо новом: времена были тяжелые…[128]

Человек с широкими и вполне “актуальными” интересами (от Пушкина до Мопассана, от Станиславского до Уайльда, от Ницше до русских былин), Георг умел увлечь ими учеников. Коньком его были “заместительные уроки”, которые он давал вместо заболевших товарищей: на них он не был связан учебной программой.

Друскин описывает педагогическую систему Георга так:

> Появился он у нас в гимназии, когда я был, кажется, в пятом классе. Он поразил нас на первом же уроке. Задав тему для письменной работы в классе, Леонид Владимирович Георг вместо того, чтобы сесть за стол и молчать, не мешая нам писать заданное сочинение, весь урок ходил по классу и рассказывал самые

разнообразные и интересные истории, события и случаи из своей собственной жизни, например, как он, трехлетний мальчик, сидя у камина, свалился в него, а отец, быстро вытащив его, отшлепал. Хотя наш класс не отличался хорошей дисциплиной, но мы были очень обескуражены таким поведением учителя.

Я не помню, учил ли он нас грамматике, но помню, что он учил нас истории русского языка – учил, например, как произносились юс большой и юс малый, рассказывал, что в слове “волк” в древнерусском языке вместо буквы “о” писали твердый знак, а в болгарском – и сейчас так пишут. Он учил нас не только правильно писать, но и понимать, чувствовать и любить русский язык[129].

Как относился Георг к революции? В разговорах с учениками он высказывал взаимно противоречащие мысли, а когда его “уличали”, пожимал плечами: “Разве можно утром и вечером иметь одни и те же политические убеждения?” Это могло быть и внутренними метаниями, и уклончивостью, и легкомыслием. Во всяком случае, он был инициатором организации ученического самоуправления и поклонником бихевиористских психологических теорий Джемса. В культуре начинавшихся двадцатых годов были черты, которые могли оказаться близки его сердцу. Но для Георга эти годы были омрачены болезнями, и в 1927 году он скончался. В середине двадцатых он еще был жив, но ученики уже “вспоминали” о нем – в их сегодняшней жизни он не участвовал. Хармс, наслушавшись рассказов о любимом учителе, как-то обмолвился: “Я тоже ученик Георга”. Якову Друскину чуть ли не до конца его долгой жизни Леонид Георг являлся во сне.

Как пишет Лихачев,

в каждом из учеников он умел открыть интересные стороны – интересные и для самого ученика, и для окружающих. Он рассказывал об ученике в другом классе, и как было интересно узнать об этом от других! Он помогал каждому найти самого себя: в одном он открывал какую-то национальную черту (всегда хорошую), в другом нравственную (доброту или любовь “к маленьким”), в третьем – вкус, в четвертом – остроумие, но не просто остроумие, а умел охарактеризовать особенность его остроумия (“холодный остряк”, украинский юмор – и непременно с пояснением, в чем состоит этот украинский юмор), в пятом открывал

философа и т. д., и т. п.[130]

У Введенского Георгу нравились стихи, которые тот начал писать еще на школьной скамье, радовало хорошее знание предмета, но смущала “болтливость и поверхностность” суждений. Другие преподаватели были еще строже к способному, но легкомысленному и самонадеянному “верхогляду”. Может быть, не случайно в школьной постановке “Ревизора”, осуществленной Георгом, Введенскому досталась роль Хлестакова.

Любимцем учителя литературы был Леонид Липавский, сын Савелия Михайловича Липавского, врача-гинеколога (коллеги Евгении Ивановны Введенской). Леонид был девятью месяцами старше Введенского и на класс старше учился. Вот как характеризует его Георг:

> Мальчик-философ. Умница. Громадная духовная взрослость при маленьком теле и малых летах вызывает его большую нервность… При всей своей скромности, очень общителен, и, пожалуй, наша гимназия ему очень полезна именно с этой стороны: развеселит его и умерит его нервозность.

Леонид Липавский, 1910-е.

Леонид Георг, 1920 г.

Год спустя Георг аттестует своего юного тезку как “чрезвычайно интеллигентного мальчика”, “одаренного к поэзии”[131].

Любовь к стихам сблизила Введенского с Липавским и с его одноклассником Владимиром Алексеевым, сыном Аскольдова. Вместе они посылали в 1920 году свои стихи Блоку, но не получили ответа. Позднее Алексеев успел познакомиться с Гумилевым, а “Диалогическая поэма” Липавского была напечатана в третьем альманахе Цеха поэтов (1922).

Впрочем, вскоре Липавский оставил стихотворчество ради философии.

Товарищем его по этому увлечению стал Яков Друскин. В школе № 190 учились два брата Друскиных: Михаил – в одном классе (и даже за одной партой) с Введенским, Яков – на класс старше Липавского. Как и Липавские, Друскины принадлежали к еврейским интеллигентным семьям, вырвавшимся из черты оседлости и поселившимся в столице еще в предреволюционные

годы. Отец братьев Друскиных был, как и отец Липавского, врачом. Но людьми Леонид Савельевич Липавский и Яков Семенович Друскин были разными, очень разными – и тогда, и позднее. Разным был не только склад характера (общительный, живой Липавский и замкнутый, высокомерный, “пасмурно-самолюбивый”, по определению Георга, Друскин), но и круг интересов. Философия – это было общим, все остальное разнилось. Погруженный в мир математики и музыки, увлеченный социологией и экономическими науками, Яков Друскин был в школьные годы очень далек от литературы и не интересовался ею. Поначалу он был “убежденным марксистом”[132], но, поступив в 1919 году в университет, впитал идеалистические идеи своего учителя Н.О. Лосского. Для эпохи была скорее характерна обратная эволюция. (Друскин позднее признавался, что к Марксу его привело “стремление к полной непротиворечивой системе”, но затем он увидел, что “марксизм очень примитивно удовлетворяет это стремление”[133].) Учеником Лосского был и Липавский, ставший студентом на год позже. В 1922-м Друскин получил диплом, и в том же году Лосский был выслан из СССР и отправлен в Германию знаменитым “философским пароходом”. Легенда гласит, что Друскину и Липавскому предлагали остаться “при университете” (то есть в аспирантуре) – ценою отречения от учителя. Оба отказались. Липавский посвятил себя литературной работе, став в конечном итоге детским писателем Леонидом Савельевым. Друскин преподавал в школах русский язык и литературу, потом – математику (он закончил и математический факультет университета), для себя продолжая заниматься философией. В 1929 году он сдал экзамены за курс консерватории по фортепьянному отделению (зачем был нужен Друскину третий диплом, не понимал даже брат-музыковед), но никогда публично в качестве музыканта не выступал. Однако поскольку из всего, написанного им, опубликовать при жизни удалось лишь специальную работу о Бахе (причем по-украински), а также перевод книги А. Швейцера об этом композиторе – можно сказать, что и консерваторское образование не пропало даром.

Друскину суждено было сыграть уникальную роль. Именно ему мы обязаны тем, что большинство произведений Хармса и Введенского вообще до нас дошли. Для целого поколения литературоведов он был проводником в тот особый мир, который он и его ушедшие друзья сообща создали и в котором они мыслили и творили. В очень юном возрасте эти исследователи, энтузиасты середины 1960-х, столкнулись с уже пожилым человеком, чья духовная жизнь не могла не поразить их своим

богатством и сложностью. В результате интерпретации и оценки, восходящие к Друскину, часто становились каноническими, а его фактические свидетельства безоговорочно принимались на веру даже в тех случаях, когда другие источники противоречат им. Однако с годами становится все яснее: Яков Семенович Друскин был глубоким, искренним, истовым и добросовестным хранителем памяти о “сборище друзей, оставленных судьбою”, но у него был свой, если можно так выразиться, угол обзора, предопределенный и свойствами его личности, и характером общения с Хармсом и Введенским. И то, и другое было весьма своеобычным[134].

Петроградская 10-я трудовая школа им. Л.Д. Лентовской. Выпуск 1921 г., 20-я группа (воспитатель А. Якубовский).

1-й ряд М. (?) Шайкевич, А. Введенский, неуст. лица (4), З. Тереховко;

2-й ряд: О. Григоров, П. Андреев (рисование, лепка), неуст. лицо, Т. Мейер, В. Иванов (директор), А. Голубев (история), Н. Золотарев (психология, логика), неуст. лицо;

3-й ряд: А. Краминская, А. Корженевская, Л. Георг (русский язык), Л. Раевская (французский язык), Т. Иванова (география), неуст. лица (3), Л. Александрова; 4-й ряд: Г. Неменова, П. Германович (математика), С. Левина, Э. Бульванкер, Е. Аладжалова, А. Иванова, Е. Штейндинг, М. Друскин.

Яков Друскин, 1920-е.

Леонид Липавский, 1920-е.

Друскин сблизился с Введенским в 1922 году. Сам он так вспоминал об этой встрече: “Возвращаясь с похорон ученицы нашей школы, мы начали разговор, тему которого определить трудно. Я бы назвал это разговором об ощущении и восприятии жизни: не своей или чужой, а ощущении и восприятии жизни вообще. В этих вопросах мы сразу же нашли общий язык”[135].

С Хармсом Друскин сошелся впоследствии даже ближе, чем с Введенским и Липавским; по собственному признанию, только с Даниилом Ивановичем у него и была настоящая дружба. В самом главном, в ощущении своего места в мире, Друскин был Хармсу близок и мог его понять. Оба они были хрупкими людьми, внутренне одинокими, с трудом ориентировавшимися в окружающей реальности, склонными к мистической созерцательности и ощущавшими растерянность, когда требовалось какое-то практическое действие. Оба отличались повышенной чувствительностью и уязвимостью, душевной и физической (Друскин даже носил сорочки и брюки большего, чем нужно, размера, чтобы избежать телесного соприкосновения с

чуждой материей). Оба были духовно чужды своему поколению. Но способы защиты от мира у них были разные. У Друскина смолоду сложилась, по воспоминаниям его брата, система странных бытовых ритуалов (“например, если что-либо забыл взять с собой, не возвращаться домой, сакральные числа”[136]), позднее он защищался своего рода метафизическим доктринерством. Самозащитой Хармса стала театрализация собственной жизни. Этой важнейшей стороны личности своего друга серьезный Яков Семенович до конца понять не мог. Кроме того, он единственный из четверки не был литератором – ни по статусу, ни по складу. Сугубо профессиональным интересам своих друзей он оставался чужд.

Наивно думать, что Хармса связывали с его новыми товарищами только творческие труды и духовные материи. В дневниках его в те годы можно встретить и такие записи:

> 23 нояб. 1926, Вторник. Я, Даниил Хармс, обязуюсь предоставить себя до субботы в смысле выпивок и ночей Александру Ивановичу Введенскому. Прим<ечание>. Если выпивки не будет, которую Введенский признает достаточной, то срок переносится… Клянусь в исполнение этого самым святым для меня на свете.

Были и эксперименты с эфиром, принесшие лишь разочарование[137], и вечеринки с девицами. Двадцатилетние Хармс и Введенский, видимо, еще не пили всерьез (позднее, в тоскливые и страшные тридцатые, встречи бывших обэриутов и их друзей часто сопровождались обильными возлияниями), да и их зафиксированное мемуаристами более позднего времени “донжуанство” еще не успело проявиться (у обоих были любимые девушки, к которым они были очень привязаны: у Хармса – Эстер, у Введенского – Тамара Мейер, подруга по школе Лентовской). Но они были молоды. По-видимому, именно Введенский был поводырем Даниила в мир “взрослых” удовольствий. Он вообще никогда не был инфантилен, как Хармс. В своей недолгой жизни ему приходилось играть разные роли – “проклятого” поэта и делового, быстрого на руку литератора-профессионала, светского хлыща и нежного отца семейства, – и каждой из них он отдавался истово, со знанием дела. С ранней юности он приобрел мрачный, спокойно-безнадежный взгляд на мир, но в этом мертвом и страшном мире он был – у себя дома. И он был гениален. О чем, разумеется, в середине двадцатых годов мало кто догадывался.

В дружеских кутежах участвовал и Липавский, и даже аскетичный во всех прочих отношениях Друскин (Михаил Семенович позднее осуждал Хармса и Введенского, втянувших его

старшего брата в богемную жизнь); да и 48-летний хилый мэтр Туфанов с удовольствием бражничал со своими юными учениками. Но в творческой сфере дороги Хармса и Введенского вели прочь из страны Зауми. В конце 1925 года они перестают именоваться “заумниками”. Появляется новое слово, которому суждено было войти в историю литературы, – “чинари”.

6

Родовая черта авангарда – прямота и несворачиваемость пути, поступательное развитие радикализма. Каждый следующий шаг должен был порывать с прошлым решительнее, чем предыдущий. Малевич, вернувшись к фигуративной живописи, ставил на картинах фиктивные даты: вещи, которые он создавал в конце двадцатых, должны были предшествовать супрематизму, а не следовать за ним. Но путь Хармса и Введенского был прямо противоположен по направленности: они начали с крайнего радикализма, с зауми – и шли к поэтике, интегрированной (но индивидуальным и неожиданным способом) в большую литературную традицию. “Михаилы” и “Парша на отмели” – куда более авангардные вещи, чем “Старуха” или “Элегия”. И куда более слабые…

Александр Введенский, Тамара Мейер. Фотомонтаж из альбома Т. Мейер, 1920-е.

У Хармса, быть может, самые бескомпромиссные “заумные” стихи 1925 года связаны с Эстер, и это не случайно. Как отметил В.Н. Сажин, в дневниковых записях Хармса страстные эротические монологи часто переходят в бессмысленный набор звуков, в “заумное” бормотание. Таким образом изживались любовные психические травмы, которых было слишком много.

бабаля мальчик
трестень губка
рукой саратовской в мыло уйду
сырым седеньем
щениша вальги
кудрявый носик
платком обут –

так начинается стихотворение “От бабушки до *Esther*”. Но даже здесь сквозь птичье щебетание все-таки проскальзывают какие-то реальные детали – тот же Саратов, где Даня Ювачев провел несколько месяцев во время Гражданской войны. Да и сама заумь редко носит чисто фонетический характер. От “360-го градуса” молодой Хармс довольно далек. Эффект алогизма уже в его первых стихах достигается столкновением, а не игнорированием смыслов. Но из этой бессмыслицы, как из пены, рождаются смыслы новые, появляются образы, некоторые из которых пройдут через всю жизнь писателя, постепенно проясняясь и делаясь все страшней:

вздымается на костыли
резиновая старуха
а может быть павлин

Лишь в самом конце стихотворения освобожденные звуки одерживают победу – и измученный, влюбленный молодой поэт успокаивается:

вихрь табань
альдера шишечка
ми́ндера буль
у́лька и фа́нька
и ситец и я

В других вещах этого времени яснее слышен индивидуальный голос Хармса, которому (в отличие от Введенского) уже в это время сюжет (нарочито странный, алогичный, смешной) был интереснее варева разъятых языковых конструкций:

как-то жил один столяр
только жилистый столяр
мазал клейстером столяр

делал стулья и столы
делал молотом столы
из орешника столы

было звать его иван
и отца его иван
так и звать его иван

у него была жена
не мамаша, а жена
НЕ МАМАША А ЖЕНА

И Хармс, и Введенский, и их будущие товарищи по ОБЭРИУ в самой ранней юности зачитывались символистами: это был общий вкус эпохи. Но символизм умер – его последней, несколько гротескной страницей в России было, пожалуй, творчество пролеткультовцев-космистов, простодушных учеников Андрея Белого и подражателей Брюсова. Символистский готический собор уже давно, с конца 1900-х годов, оседал. Акмеисты пытались перестраивать его на ходу, утяжеляя конструкции. Футуристы – разбирали по кирпичику, чтобы строить из них новое знание. Но они-то понимали, что именно они разбирают и какая у каждого кирпичика функция, а из их последователей в двадцатые годы, пожалуй, только у обэриутов и было такое понимание. Не случайно их общим кумиром был Хлебников – самый спиритуальный, если можно так выразиться, футурист. Отношение к другим гилейцам было сложным. Маяковский не был любим никем. Крученых (учителя своего учителя) чтил Введенский. Встретившись с ним в 1934 году (уже зрелым человеком, в расцвете творчества!), он благоговейно, как младший старшему, читал мэтру свои стихи и смиренно согласился с кисловатой их оценкой. Но едва ли Крученых так же много значил для Хармса.

Впрочем, в 1925 году взгляды молодого поэта на цели собственного творчества еще были довольно наивны и путаны. Свидетельство тому – набросок, относящийся к августу этого года:

> Несколько лет, заполненных войной и революцией, заставили все население СССР думать лишь о том, чтобы остаться живым и сытым… С окончанием войны и революции это обжорное напряжение стало ослабевать, но ему взамен наступил материализм в самой резкой форме, как следствие революции. Он постепенно спускался все в более низкие классы, одновременно с этим искажаясь и прикрывая собой романтическую сторону жизни… В СССР завал вульгарным материализмом, стремящимся сковать вольные движения человека осмыслицы и лишить его отдыха. Мы, истинные художники, доктора общественного желудка, дадим вам слабительную жидицу в виде хляпа крышки романтизма…

В этом юношеском тексте интересен аналогизм “осмыслица” – антоним высокой поэтической “бессмыслицы”.

Девятого октября Хармс подал заявление о вступлении в Ленинградское отделение Союза поэтов, приложив тетрадь стихотворений. Как и всем вступающим в Союз, ему была предложена анкета. Ответы на нее демонстрируют не столько сознательную эксцентричность, сколько молодое легкомыслие и оторванность от социальной жизни того времени. Вопросы, которые структурировали реальность, были настолько от Хармса далеки, что он даже не считал нужным над ними задуматься.

Итак:

> Фамилия, имя, отчество *Данил Иванович Ювачев-Хармс*
>
> Литературный псевдоним *Нет, пишу Хармс*

Все правильно. Хармс – не псевдоним, а новая фамилия, принятая не только для литературы, но и для жизни. Так Андрей Платонович Климентов категорически не согласился бы с теми, кто назвал бы фамилию Платонов псевдонимом.

> Число, год и месяц рождения 1905 30 *декабря*
>
> Национальность *Русский*

На эти два вопроса Хармс ответить смог, но следующий, столь же тривиальный для советских анкет (и в то время – несравнимо более важный), поставил его в тупик.

> Социальное происхождение *незнаю* (так. – *В. Ш.*)

Довольно легкомысленная для двадцатых годов фраза: впрочем, приемную комиссию Союза поэтов социальное происхождение его членов интересовало, видимо, не так уж сильно.

Дальше:

> Образование (домашнее, низшее, среднее, высшее, специальное, знание иностранных языков):
>
> *скоро будет высшее. Знаю немецкий и английский*

Хармс еще верил, что закончит техникум, и полагал, что тот дает высшее образование. Но на дальнейшие вопросы он отвечает, как сомнамбула или как полуграмотный дошкольник.

> В каком возрасте начали писать *незнаю*

В самом деле, разве упомнишь?

> Где и когда напечатано ваше первое литературное произведение?

Нигде и никогда пока что, но юный Хармс отвечает тем же сакраментальным: “незнаю”. Дальше идут вопросы библиографического характера: что, где когда напечатано, до 1914-го, с 1914-го по 1917-й, начиная с 1918-го, имеются ли отдельные издания… Девятнадцатилетний поэт по-прежнему “незнает”. И лишь на одиннадцатый вопрос: “Имеются ли у Вас законченные, но ненапечатанные рукописи?” – он твердо отвечает: “есть”.

Собственно, это все, что реально есть пока что у молодого автора. Приободренный мыслью об этом своем достоянии, он честно отвечает на вопросы о переводах своих произведений на иностранные языки и о постановке их на русских и иностранных сценах: “Нет таких”.

Потом снова появляется “незнаю”: Хармс не может точно сказать, есть ли критические отзывы о его сочинениях, не может определить свою литературную специальность (“поэзия, беллетристика, критика, переводы, драматургия, редактирование”) и, наконец, не в состоянии ответить на второй (наряду с соцпроисхождением) главный вопрос эпохи: о партийной принадлежности. В графах об “общественной и политической деятельности” и о “семейном положении” – просто прочерки. Простое и твердое “нет” появляется лишь один раз – в ответе на восемнадцатый вопрос, о членстве в профсоюзе. И наконец:

> Ваше отношение к воинской повинности? *Молод еще.*

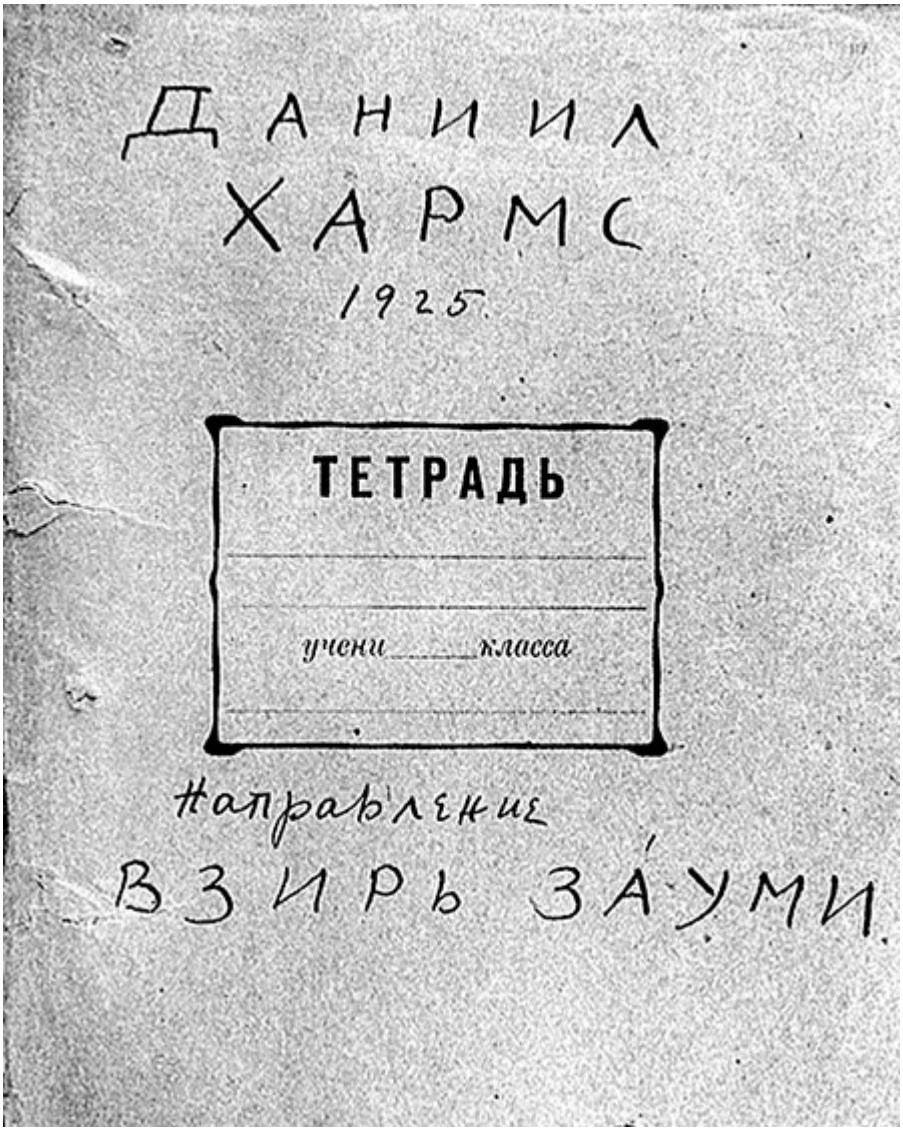
Тема воинской обязанности и освобождения от нее властно всплывает в последние годы жизни Хармса… В анкете указан и домашний адрес (Миргородская, 3/4, кв. 25)[138].

Пожалуй, из всех ответов, данных Хармсом, по-настоящему информативен лишь один:

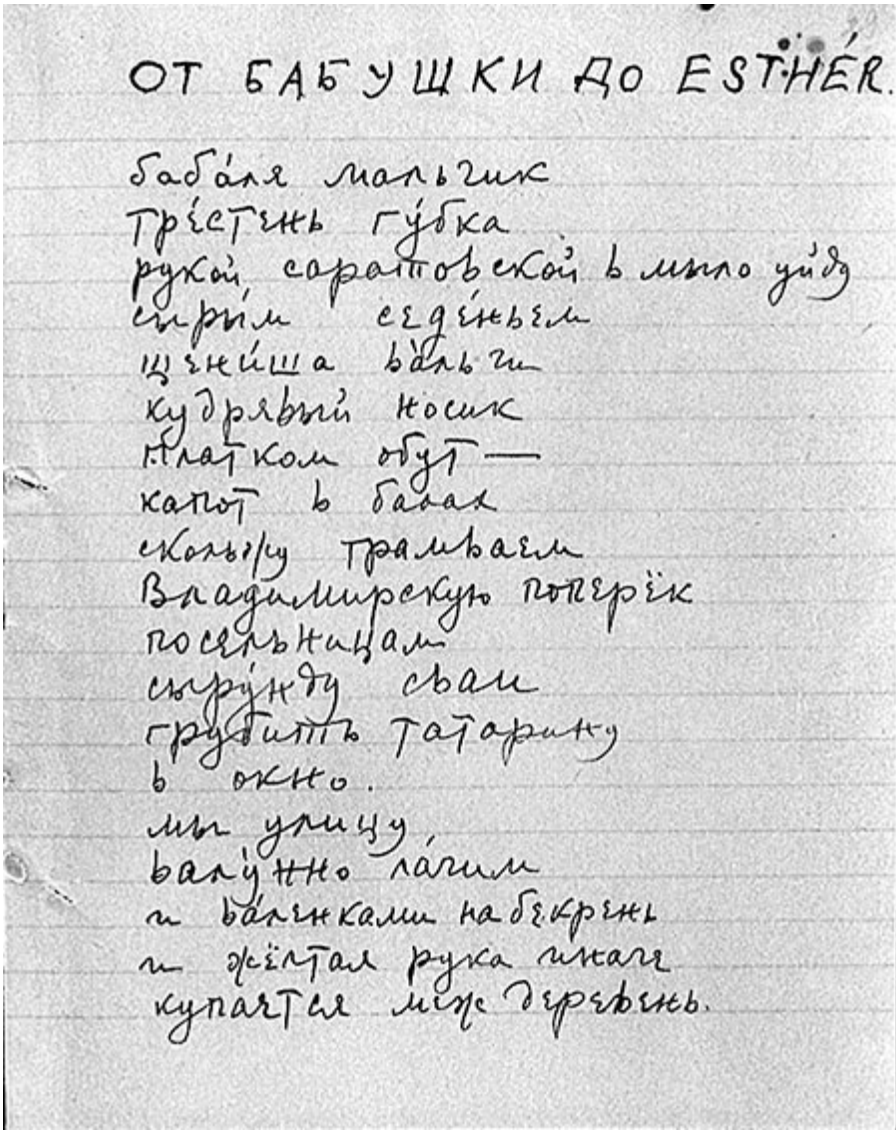
> Членом каких литературных организаций Вы состояли или состоите? *Председател Взирь Зауми* (так. – *В. Ш.*)

Хармс уже не чувствует себя “учеником” – Туфанова и чьим бы то ни было. Он и сам “председател”, глава школы, впрочем, из него одного и состоящей.

Заявление Хармса было пока, видимо, отложено до окончательного рассмотрения, а через восемь дней, 17 октября, состоялся вечер Ордена Заумников (с участием и Введенского) в Союзе поэтов. К концу года происходит оформление особой группы внутри Союза (хотя Хармс еще формально не был принят в его члены; Введенский состоял в Союзе с мая 1924 года; поразительно, между прочим, сравнение его анкеты – формальной, рутинно-деловой[139] – с сомнамбулическим документом, вышедшим из-под руки Хармса). В этот момент молодые поэты впервые противопоставляют себя Туфанову: отказавшись от слова “заумь”, они настаивают на названии “Левый фланг”, довольно широком и даже расплывчатом по смыслу.



Обложка тетради, представленной Даниилом Хармсом в Ленинградское отделение Союза поэтов, 1925 г.



Автограф стихотворения “От бабушки до Esther” из тетради, представленной Д. Хармсом в Ленинградское отделение Союза поэтов, 1925 г.

Примерно в это же время – в начале 1926 года – Хармс и Введенский и начинают именовать себя “чинарями”. Это слово используется (до 1928 года) при публичных выступлениях. Хармс выступает как “чинарь-взиральник”, Введенский – как “чинарь авто-ритет бессмыслицы”. Как следует из дневниковых записей Хармса, на роль теоретика “чинарства” намечался Липавский – он должен был выступить (но так и не выступил) с докладом, обосновывающим творческую практику своих друзей.

Что же такое “чинари”? Ответ на этот вопрос в свое время дал Друскин, и большинство исследователей воспроизводит его версию. По этой версии, в течение многих лет существовало “неофициальное сообщество”, включавшее пять человек – Хармса, Введенского, Друскина, Липавского и Николая Олейникова. Именно встречи в этом эзотерическом литературно-философском кружке были главными в жизни Хармса или Введенского, все же другие союзы (включая ОБЭРИУ) – кратковременными и внешними. Нехотя Друскин признает, что к “пятерке” примыкал еще один человек, и человек очень знаменитый, – Николай Заболоцкий. Но “чинарем” он ни в коем случае не был – “связи с ним у “чинарей” были, во-первых, чисто дружескими и, во-вторых, деловыми – имею в виду здесь совместные выступления обэриутов”[140]. Однако тут же следует примечательное пояснение: “Чинарями” мы называли себя редко, да и то только два-три года (1925–1927), когда так подписывали свои произведения Введенский и Хармс”. Между тем несколькими абзацами раньше сказано: “В конце двадцатых годов, когда я прочел Введенскому одну несохранившуюся свою вещь, скорее литературного, нежели философского характера, он причислил или “посвятил” и меня в “чинари”». Можно ли считать 1925–1927 годы “концом двадцатых”?

А вот как все выглядело с точки зрения другого пережившего своих друзей свидетеля, Игоря Бахтерева, – обратимся к уже цитировавшемуся рассказу “В магазине старьевщика”:

> Все-таки я вспомнил одну его (Введенского. – *В. Ш.*) неповадную историю с награждениями. Назвался чинарем и, чтобы было перед кем шуметь пятками, расплодил столько ему подобных, сколько сумел. Сначала наградил тем веселым именем знакомую привратницу, потом управдома с Коломенской, не говоря про долговязого (Хармса. – *В. Ш.*). В общем, чинарей подобрался целый взвод, не меньше[141].

Чем же было “чинарство” – эзотерическим кружком, формой обозначения собственной творческой практики, которую использовали короткое время Хармс и Введенский, или литературной игрой последнего, наподобие ремизовской Обезьяньей Великой и Вольной палаты? Думается, отчасти вторым, отчасти третьим, но уж никак не первым. Кружок существовал, конечно, но это была дружеская компания интеллектуалов, связанных общими интересами, без фиксированного членства и уж конечно без какой бы то ни было эзотерики. Был период – уже в начале тридцатых годов, – когда

общение в этом кругу, собиравшемся в основном у Липавского, было важной и даже важнейшей частью жизни Хармса и Введенского. Однако связь между этим кругом и словом “чинари” – искусственный конструкт Друскина, что тот отчасти и признает. Возможно, впрочем, что Яков Семенович слишком всерьез воспринял состоявшееся в конце двадцатых годов “посвящение”: “сухая соль литературной шутки” была ему чужда и малопонятна. А может быть, им двигало подсознательное желание исключить из священного для него круга лично ему неприятного Заболоцкого.

О том, что значит сам термин “чинари”, есть разные суждения. Друскин связывает его со словом “чин” – “имеется в виду, конечно, не официальный чин, а духовный ранг”[142]. Но есть и другие понимания: например, А. Стоун-Нахимовски связывает его со славянским словом “чинить” (“творить”)[143]. В любом случае, каким бы зыбким и намеренно многосмысленным, наполовину “заумным” ни было слово, некий оттенок в нем существовал. Объявив себя “чинарями”, юные Хармс и Введенский совершили поворот от разложения реальности (которое было осуществлено до них и без них) к ее собиранию, от анализа к синтезу, от разложения смыслов к их обретению. Но в “чинарский” период они сделали на этом пути лишь первые шаги. При этом их роли разделились: “авто-ритетом бессмыслицы”, организатором и управителем творческого Хаоса был Введенский, Хармс же пока избрал роль созерцателя, “взиральника”. Вскоре, однако, роли поменялись.

В то же примерно время Хармс и Введенский встретили двух людей, которые стали их союзниками в этом труде обретения новых смыслов. Их имена мы только что назвали – Николай Олейников и Николай Заболоцкий.

Олейников был старше Хармса семью годами – и что это были за семь лет! Даниил подростком застал крушение мира и его странное, уродливое, на прежний взгляд, воссоздание. Николай Макарович принимал в этих событиях самое живое участие. Донской казак, он воевал в Гражданскую войну в Красной Армии. Когда война закончилась, он несколько лет обретался на юге России – на незаметной газетной службе (между прочим, вступил в партию – тогда, видимо, по душевному влечению), а в 1925 году приехал в Ленинград. Позднее его дружбу с Хармсом и Введенским поддерживала не только духовная общность, но и совместная профессиональная работа: Олейников был одним из столпов Детиздата, основателем и редактором журналов “Ёж” и “Чиж”. Самые ранние известные нам стихи Олейникова относятся к 1926–1927 годам, а расцвет его

творчества пришелся уже на тридцатые годы. Закончивший лишь четырехклассное уездное училище, он был неожиданно эрудирован и внутренне утончен, и при том странно и гротескно остроумен – свойство, так неповторимо окрасившее его поэзию. Лидия Гинзбург, дружившая с ним, писала в своем дневнике:

> Олейников один из самых умных людей, каких мне случалось видеть. Точность вкуса, изощренное понимание всего, но при этом ум и поведение его как-то иначе устроены, чем у большинства из нас; нет у него староинтеллигентского наследия[144].

Николай Олейников, декабрь 1928 г.

Олейников был из тех талантливых, интеллектуально цепких, несколько схематично (революционная волна смыла тонкости и нюансы), но часто ярко и неожиданно мыслящих провинциалов-самоучек, которые хлынули в столицы в двадцатые годы. Таким же был и Николай Заболоцкий, хотя по человеческому складу он очень от Олейникова отличался. В Николае Макаровиче была южная страстность.

> Со страстью любил он дело, друзей, женщин, и – по роковой сущности страсти – так же сильно трезвел и ненавидел, как только что любил… И в состоянии трезвости находился он много дольше, чем в состоянии восторга[145].

Николай Алексеевич был (или старался быть) по-северному сдержанным и рассудительным. Но в социологическом и культурологическом плане они были ближе друг к другу, чем к Хармсу и Введенскому.

Николай Заболоцкий, 1929 г.

Встреча с Заболоцким, сыном землемера из Уржумского уезда

Вятской губернии, изучавшим русскую литературу сперва в Московском, а затем в Петроградском (Ленинградском) педагогическом институте, произошла в Союзе поэтов. Согласно воспоминаниям Бахтерева[146] (который в данном случае писал с чужих слов), встреча выглядела так:

> – Приняли интересного человека. Советую обратить внимание, – шепнул Хармсу бессменный секретарь Союза поэт Фроман.
>
> Мало кому известного Заболоцкого объявили последним. К столу подошел человек, аккуратно одетый, юношески розовощекий.
>
> – А похож на мелкого служащего, любопытно. Внешность бывает обманчива. – Введенский говорил с видом снисходительного мэтра.
>
> Читал Заболоцкий “Белую ночь”, кажется, в более раннем варианте, чем тот, который помещен в “Столбцах”. Триумфа не было – настороженное внимание, сдержанные аплодисменты. “Чинари” переглянулись. Не сговариваясь встали и пошли навстречу поэту. Назвав свои фамилии, жали ему руку, поздравляли. Хармс громогласно объявил: он потрясен, такого с ним не бывало. Введенский: ему давно не доводилось слушать “стоящие стихи”, наконец повезло – дождался[147].

“Белая ночь” – в том варианте, который вошел в “Столбцы”, а есть и еще более поздний, 1958 года, – стала одним из признанных шедевров отечественной поэзии XX века.

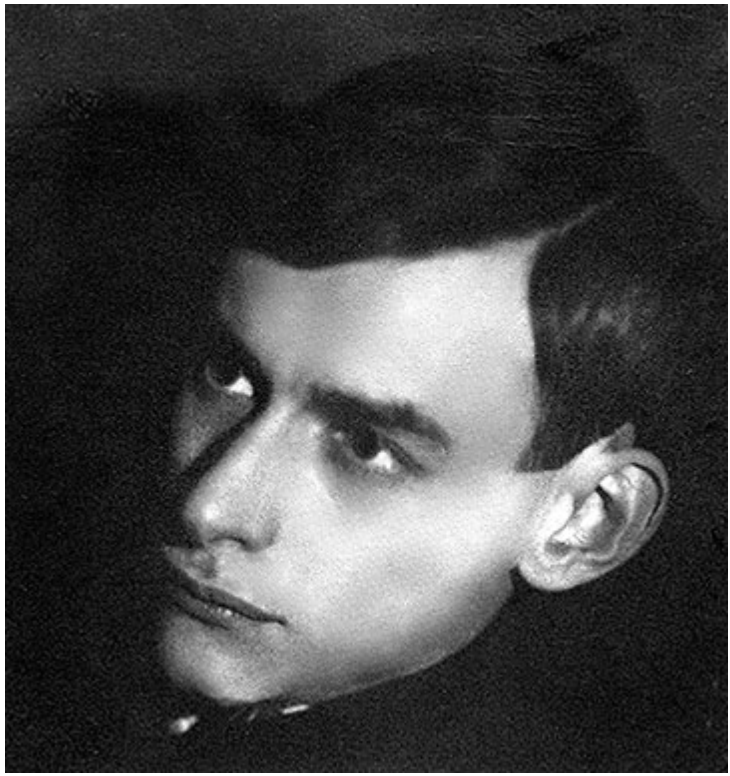
> Гляди: не бал, не маскарад,
> здесь ночи ходят невпопад,
> здесь от вина неузнаваем,
> летает хохот попугаем.
> Раздвинулись мосты и кручи,
> бегут любовники толпой,
> один горяч, другой измучен,
> а третий книзу головой.
> Любовь стенает под листами,
> она меняется местами,
> то подойдет, то отойдет…
> А музы любят круглый год.

Ни Хармсу, ни Введенскому такое мастерство пока что и не

снилось. Неизвестно, с чего начинал уржумский самородок, как он созревал (до нас дошло лишь два-три его юношеских текста, и они ничем не примечательны), но он почти сразу начал писать зрелые и мощные стихи. Не заумные, но полные высокого безумия, которое так плохо вязалось с невыразительной внешностью “мелкого служащего”.

Заболоцкий был одним из ближайших друзей и важнейших собеседников Хармса и Введенского в конце 1920-х – начале 1930-х годов. В какой-то момент они составляли почти неразлучную “тройку”. Между тем трудно представить себе трех настолько разных людей – даже внешне. В цитированном уже тексте Бахтерева “В магазине старьевщика” они ранжированы по росту. Выше всех – Хармс, потом – “главный из чинарного рода”, следом за ним – “крепко сколоченный, еще недавно, лет сорок назад, розовощекий, о чем нетрудно было судить по румянцу, который сохранился на его правом ухе”. Он “внимательно разглядывал на стволах немолодых дерев разные паутины, всевозможных букашек”[148]. На фоне Хармса и Введенского белокурый и розовощекий провинциал на первый взгляд казался воплощением физического и душевного здоровья. Основное направление эстетических поисков трех молодых поэтов в 1926–1928 годах более или менее совпадало (в следующей главе мы коснемся этого подробнее). Но натурфилософские интересы Заболоцкого, его социально-утопические идеи, его влюбленность в русский XVIII век, его увлечение мало ценимым “чинарями” Мандельштамом, его твердые (до нетерпимости) житейские правила, наконец, его изначально “красная” (пусть со своеобразным уклоном и своеобразной мотивацией) политическая позиция – все это, казалось бы, не было близко его новым друзьям. И все же без диалога, а иногда и спора с ним они бы, возможно, не стали такими, какими мы видим их в пору зрелости.

Николай Тихонов. Фотография М. Наппельбаума, начало 1920-х.



Константин Вагинов. Фотография студии М. Наппельбаума, 1920-е. Фрагмент группового снимка.

Когда же произошла встреча, описанная Бахтеревым? По утверждению Друскина – “в середине или в конце 1925 года”. Ту же дату называет и сын Заболоцкого Никита. Да и по Бахтереву выходит, что к моменту знакомства с ним (осень 1926-го) Хармс, Введенский и Заболоцкий уже год были знакомы и дружны. Но в Союз поэтов Заболоцкий был принят в мае 1926-го, а “Белая ночь” датируется июлем этого года. К тому же Бахтерев утверждает, что после чтений в Союзе три молодых поэта отправились “к Хармсу на Надеждинскую”. А на эту квартиру семья Ювачевых переехала лишь в декабре 1925 года. Сам Хармс стал полноправным членом Союза в конце февраля – начале марта. На его второй тетради (на титульном листе стихотворения “Ваньки-встаньки”) значатся резолюции членов приемной комиссии.

> Поставить на совещание. Н. Т.
>
> Не следует ставить на совещание, лишняя проволочка. У Хармса есть настойчивость поэтическая. Если это пока не стихи, то все же в них имеются элементы настоящие. Кроме того, Хармс около года читает на открытых собраниях Союза. Принять. К. В.

Строгий Н. Т. и снисходительный К. В. – это Николай Тихонов и Константин Вагинов. Пятью с половиной годами раньше Тихонов, бывший гусар, а потом командир Красной Армии, прислал свои стихи на строгий суд приемной комиссии новосозданного Союза, состоявшей тогда из Блока, Гумилева, Кузмина и Лозинского. Всем четверым мэтрам его стихи понравились, а Гумилева (чье творческое влияние Тихонов явно испытал) они просто привели в восторг. Благодаря ходатайству председателя Союза Гумилева краском Тихонов был оставлен в Петрограде, вскоре выпустил сборники “Орда” и “Брага” и к середине двадцатых считался одним из виднейших современных поэтов. Он как будто занял структурное место Гумилева (в “красном” варианте), но, увы, был лишен лучших качеств своего учителя: критического чутья, лирического тайновидения, широкого кругозора, бескорыстного интереса к чужому творчеству. Поэтическим талантом природа его не обделила, но талант этот достался человеку неглубокому, довольно одномерному и (как позднее оказалось) склонному к конформизму.

Тихонову исполнилось тридцать лет. Константин Вагинов, его товарищ по группе “Островитяне”, был на три года моложе, но успел и повоевать в Красной Армии (правда, не совсем добровольно), и поучиться у Гумилева. Славы большой у него не было, но Мандельштам, презиравший тихоновский “здравия желаю-акмеизм”, молодого Вагинова включил в число “поэтов не на вчера, не на сегодня, а навсегда”[149]. Невысокий, худощавый, неразговорчивый, скромный с виду, Вагинов внимательно изучал литературных знакомых: их шаржированным двойникам предстояло ожить на страницах его романов. Он коллекционировал людей так же, как редкие книги и антикварные вещи (на которые тратил все свои скудные доходы). Несмотря на это, его любили, щедро прощая ему и двусмысленную политическую позицию[150], и нетипичные для советской литературы стилистические поиски, и, главное, глубинную антропологическую чуждость эпохе. Его стихи и проза издавались даже в годы, когда для другого автора такого склада все пути были бы закрыты. Выход “Опытов соединения слов посредством ритма” в 1931 году можно счесть только чудом. Он казался счастливчиком, пока не умер от туберкулеза в тридцать пять лет. Но и смерть в своей постели оказалась удачей: Вагинов успел уйти на пороге самых страшных времен, и даже ордер на его арест как будто был уже выписан. Естественно, что стихи Хармса понравились ему больше, чем рационалисту Тихонову: они корреспондировали с его собственной зыбкой и остраняющей

поэтикой. Не случайно судьба и его позднее на короткое время привела в ОБЭРИУ.

7

К тому времени в жизни Хармса многое изменилось.

Двадцать четвертого декабря 1925 года Ювачевы переехали в новую квартиру – на Надеждинской улице, в доме 11. Номер квартиры менялся: сперва 9, потом 8; ныне она частично входит в соседнюю по площадке квартиру 58. В этой квартире Даниил Иванович прожил, по существу, всю остальную жизнь, и комната, которую он здесь занимал, стала важнейшей частью “хармсовского мифа”. Квартира была пятикомнатной и формально – всегда коммунальной, но вместе с Ювачевыми жили не чужие им люди. Еще в 1925 году с ними на Надеждинской поселилась Лидия Алексеевна Смирницкая, бывшая конторщица Убежища для женщин, отбывших наказание в санкт-петербургских местах заключения. У Ювачевых (а потом у Грицыных – у Лизы и ее мужа) она была, по существу, членом семьи, после смерти Надежды Ивановны вела хозяйство. В 1930-м в одной из комнат поселилась Наталья Николаевна Дрызлова, счетовод, воспитанница Натальи Ивановны Колюбакиной, вместе со своей старухой матерью Екатериной Васильевной, прибывшей из села Должина Новгородской губернии. Судя по всему, Иван Павлович предусмотрительно прописал и поселил Смирницкую и позднее Дрызлову в квартире на Надеждинской, чтобы избежать “уплотнения” случайными соседями. В квартире Ювачевых был телефон (по тем временам – предмет роскоши, номер 9024).

Это был совсем иной, чем Конная площадь и Миргородская улица, район города – не убогие задворки, а пусть не парадная, но полноценная, даже уютная по-своему часть старого Петербурга. На Надеждинской улице когда-то жил с Бриками Маяковский. В 1936 году улицу переименовали в честь поэта. На Ковенском переулке, пересекавшем Надеждинскую, высился костел Лурдской Богоматери, построенный в 1909 году для французского посольства Леонтием Бенуа и Марьяном Перетятковичем. Его башня была видна из окон комнаты Хармса, выходивших во двор.

В 1926 году Иван Павлович вышел на пенсию и посвятил остаток жизни изучению иконографии Богородицы. Иван Елагин, видевший старшего Ювачева в 1934 году, так описывал его занятия в поэме “Память” (1979):

…Был он молчалив, высок и сух,
Эдак лет семидесяти двух.
Кропотливо трудится старик,
Медленно с иконы сводит лик
Он на кальку. И таких икон
Тысячи для будущих времен
Он готовит…[151]

Эти кальки Ювачева частично сохранились, как и его записные книжки, охватывающие огромный период, почти полвека. В них есть немало сведений, важных и для биографии сына. В двадцатые годы Даниил, судя по всему, не так уж часто беседовал с отцом, но с годами у них все больше обнаруживалось общих интеллектуальных интересов.

За 1925 и первые месяцы 1926 года Хармс и Введенский успели завязать немало литературных знакомств. Недалеко от нового жилья Ювачевых на Надеждинской, на улице Рылеева (бывшей Спасской), в доме 17, жили Михаил Кузмин и Юрий Юркун. По свидетельству искусствоведа В.Н. Петрова, это была “захламленная и тесная коммунальная квартира”.

> Кроме Кузмина и его близких, в ней жило огромное многолюдное и многодетное семейство, члены которого носили две разные фамилии: одни были Шпитальники, другие – Черномордики… Также жил там косноязычный толстый человек по фамилии Пипкин… Кузмин вместе с Юрием Ивановичем Юркуном занимал две комнаты с окнами во двор. Одна была проходной – та самая, где работал Михаил Алексеевич и где главным образом шла жизнь. Хозяева там писали, рисовали, музицировали. Во второй комнате скрывалась Вероника Карловна, мать Юркуна. Гости туда не допускались[152].

Кузмин стоически переносил тесноту и безденежье. Литературной поденщиной он содержал не только себя, но и своего многолетнего друга жизни Юркуна, его мать, а отчасти – и его жену (впрочем, официально их брак не был оформлен) Ольгу Арбенину-Гильдебрандт, время от времени появлявшуюся на Спасской. Общество двух “чинарей”, а потом и Заболоцкого нравилось Кузмину. В это время он писал “Форель разбивает лед”, и поиски молодых поэтов в чем-то совпадали с его исканиями. Да и не был он в те годы избалован почтительным вниманием литературной молодежи. Эпоха, когда вокруг “Калиостро” стайкой вились лощеные юные стихотворцы,

состоящие в двусмысленных отношениях с мэтром, давно прошла. Тем не менее на Спасской можно было столкнуться с самыми разными гостями. От Сергея Радлова, влиятельнейшего в тогдашнем Ленинграде театрального режиссера, и его жены Анны, поэтессы и переводчицы Шекспира, преданной ученицы и поклонницы Кузмина, до наезжавшего из Москвы Эдуарда Багрицкого, чья парадоксальная дружба со старым петербургским эстетом основывалась на взаимной высокой творческой оценке… От филолога-античника Андрея Егунова (он же – прекрасный, безвестный при жизни поэт Андрей Николев) до того же Садофьева, которого Михаил Алексеевич привечал, возможно, из свойственной ему любви ко всему странному и нелепому.

Николай Клюев, живший на улице Герцена (Большой Морской), в доме 45, во дворовом флигеле бывшего особняка Огинского (рядом с набоковским домом), тоже стал знакомым Хармса. Введенский, правда, бывал у него чаще. Тем не менее в записных книжках Хармса свидетельств общения с вождем “новокрестьянских” поэтов немало, и по меньшей мере один факт доказывает, что общение это было достаточно близким. В марте – апреле 1925 года Хармс завел “альбом”[153], в который его знакомые в последующие месяцы делали записи самого различного содержания. По большей части эти записи малопримечательны (“Данька-сволоч” (*sic!*) или “На плечах твоих, увы, тыква вместо головы”, а подписи их авторов не поддаются расшифровке. (Может быть, какие-нибудь знакомые по техникуму?) Но в “альбоме” отметились и Эстер (“Даниил я люблю тебя”), и отец (“Люби ближнего как самого себя”), и Введенский, и “председатель земного шара Зауми Ал. Туфанов”. Есть здесь и краткая запись Николая Клюева: “Верю, люблю, мужествую”.

Николай Николаевич Матвеев (брат Венедикта и Георгия, отец поэтессы Новеллы Матвеевой) встречал Клюева в доме у Ювачевых, беседующим с Надеждой Ивановной. “Клюев вел себя с ней скромником, говорил на божественные темы, держался благочестиво, но тут же, зайдя в комнату Дани, мог запустить таким матерком…”[154]

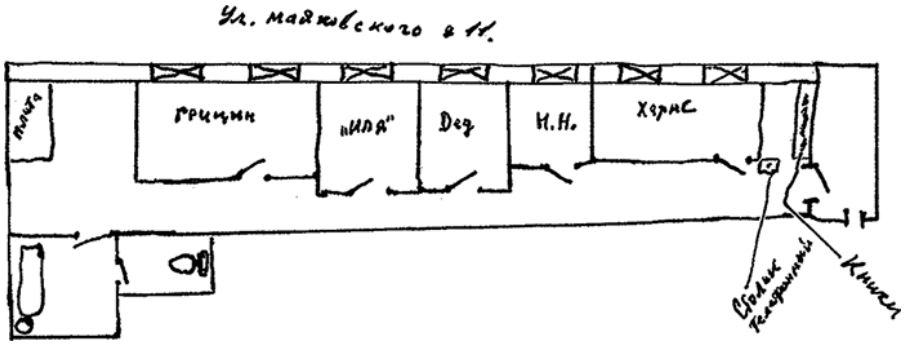


Схема квартиры Ювачевых (Надеждинская ул., д. 11, кв. 8). Справа налево от входа: комнаты Д. Хармса, Е. и Н. Дрызловых, И. Ювачева, бывшей экономки Ювачевых Л. Смирницкой, Грицыных. Схема составлена Кириллом Грицыным 28 февраля 2007 г.

Общение с Клюевым совпало по времени со знаменитым трагическим событием, произошедшим в декабре 1925 года в гостинице “Англетер”. Как член Союза поэтов, Хармс, должно быть, слышал много рассказов и суждений о гибели Есенина. Речь шла, однако, лишь о мотивах и обстоятельствах самоубийства: в том, что уход поэта из жизни был добровольным, не сомневался никто, в том числе встречавшийся с ним за день до смерти Клюев. (Версия убийства возникла лишь в 1980-е годы в “патриотических” литературных кругах.) Руководителям и членам Союза приходилось участвовать во всех бюрократических и погребальных церемониях. Они даже фотографировались “для истории” рядом с гробом поэта-самоубийцы. Стихотворных откликов, само собой, было более чем достаточно – некоторые из них (“Плач по Сергею Есенину” Клюева, “Сергею Есенину” Маяковского) общеизвестны. Отозвались и близкие Есенину люди (как Вольф Эрлих), и совсем далекие. Даже Ахматова, “есенинщину” презиравшая, да и самого поэта ценившая невысоко, написала восемь строк (“Как было б просто жизнь покинуть эту…”). В числе этих откликов было и стихотворение Хармса “Вьюшка смерть” (почему “вьюшка”? Вьюга, пурга? Или это сложная ассоциация с трубой парового отопления, на которой Есенин повесился?):

ах вы сени мои сени
я ли гуслями вяжу
приходил ко мне Есенин
и четыре мужика

и с чего бы радоваться
ложкой стучать

пошевеливая пальцами
грусть да печаль

Дом № 11 по улице Маяковского, где семья Ювачевых жила в 1925–1941 гг. Фотография Р. Слащинина, май 2008 г.

Чуть дальше в этом стихотворении возникает имя Клюева, от которого Хармс наверняка слышал немало о его непутевом, рано прославившемся и рано погибшем друге. Впрочем, о Есенине и его смерти мог ему рассказать и другой общий знакомый – Павел Мансуров, художник круга и школы Малевича (по некоторым предположениям, и представивший Хармса Клюеву). Тема была горячая, говорили о ней все и помногу. Бахтерев вспоминает (в “Когда мы были молодыми”) о том, как Хармс и Введенский (году в 1928-м, видимо) привели к Клюеву всю обэриутскую компанию. Надо отдавать себе отчет, что воспоминания Бахтерева беллетризированы не меньше, чем “Петербургские зимы” Георгия Иванова, и, видимо, не более достоверны в деталях. Да и сам образ Клюева как будто списан с ивановских страниц.

> Входим и оказываемся не в комнате, не в кабинете широко известного горожанина, а в деревенской избе кулака-мироеда с дубовыми скамьями, коваными сундуками, киотами с теплящимися лампадами, замысловатыми райскими птицами и петухами, вышитыми на занавесях, скатертях, полотенцах.
>
> Навстречу к нам шел степенный, благостный

бородач в посконной рубахе, молитвенно сложив руки.

<…>

– Я про тебя понаслышан, Миколушка, – обратился он к Заболоцкому, – ясен свет каков, розовенький да в теле. До чего хорош, Миколушка! – И уже хотел обнять Заболоцкого, но тот сладкоголосого хозяина отстранил.

– Простите, Николай Алексеевич, – сказал Заболоцкий, – вы мой тезка, и скажу напрямик.

– Сказывай, Миколка, от тебя и терновый венец приму.

– Венца с собой не захватил, а что думаю, скажу, уговор – не сердитесь. На кой вам черт весь этот маскарад? Я ведь к поэту пришел, к своему коллеге, а попал не знаю куда, к балаганному деду. Вы же университет кончили[155], языки знаете, зачем же дурака валять…

Введенский и Хармс переглянулись.

– Прощай, чаек, – шепнул мне Даниил.

Действительно, с хозяином произошло необыкновенное. Семидесятилетний дед превратился в средних лет человека (ему и было менее сорока)[156] с колючим, холодным взглядом.

– Вы кого ко мне привели, Даниил Иваныч и Александр Иваныч? Дома я или в гостях? Волен я себя вести, как мне заблагорассудится?

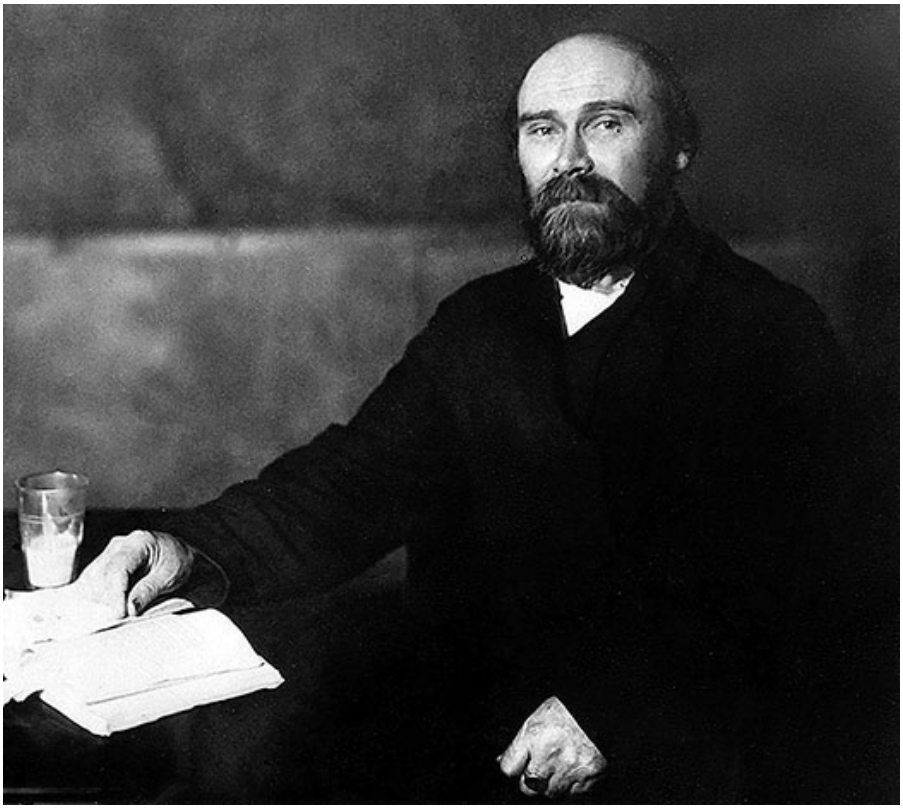
От оканья и благости и следа не осталось.

– Хочу – псалом спою, а захочу – французскую шансонетку. – И, сказав, продемонстрировал знание канкана.

Мы не дослушали, ближе-ближе к двери – и в коридор…[157]

Михаил Кузмин и Юрий Юркун в своей квартире на улице Рылеева (бывшей Спасской), 1935–1936 гг.

У гроба С. Есенина в Ленинградском отделении Всероссийского союза писателей. На переднем плане слева направо: Николай Клюев, Василий Наседкин, Илья Садофьев, Николай Браун, Софья Толстая, Николай Никитин, Вольф Эрлих, Михаил Борисоглебский, 29 декабря 1925 г.



Николай Клюев, 1920-е.

На этом общение с Клюевым приостановилось, но все же не совсем прервалось. По крайней мере, Введенский бывал у него в начале тридцатых со своей второй женой Анной Ивантер. Юную и наивную Анну Семеновну шокировал не “маскарад”, а то, что гостеприимный хозяин во время беседы, не обращая внимания на ее прелести, норовил погладить ее мужа по коленке[158].

В целом надо признать, что ленинградский литературный мир – и “старорежимные” писатели, и “попутчики”, и даже то, что на тот момент можно было считать официозом, – принял молодых авангардистов более чем доброжелательно. Однако те – как во все времена молодые поэты – были недовольны своим положением. Им казалось, что их недооценивают; они еще не знали, что такое настоящая затравленность и бесславье.

Попытки же расширить свои публикационные возможности были по-юношески наивны. Так, 3 апреля 1926 года два “чинаря” отправляют следующее письмо Б.Л. Пастернаку:

> Уважаемый Борис Леонтьевич (так! – *В. Ш.*),
> мы слышали от М.А. Кузмина о существовании в

Москве издательства “Узел”.

Мы оба являемся единственными левыми поэтами Петрограда (город уже два года называется иначе! – *В. Ш.*), причем не имеем возможности здесь печататься.

Прилагаем к письму стихи как образцы нашего творчества и просим Вас сообщить нам о возможности напечатания наших вещей в альманахе Узла или же отдельной книжкой. В последнем случае можем выслать дополнительный материал (стихи и проза).

Даниил Хармс

александрвведенский

3 апр 1926.

Петербург

Альманах издательства “Узел”, который имеется в виду, так и не вышел. Да к тому же Пастернак имел мало касательства к этому издательству – просто выпустил там одну книгу. Во главе кооперативного издательства (зарегистрированного, собственно, как “промысловая артель”, очень небольшого и недолго просуществовавшего) стояли Софья Парнок, Абрам Эфрос и Михаил Зенкевич. Двое первых (замечательный поэт Парнок и посредственный стихотворец, но крупный искусствовед Эфрос) в двадцатые годы считались “неоклассиками”, третий начинал как акмеист, а в двадцатые годы тяготел к умеренно-левой, конструктивистской поэтике. Худшего места для предложения заумных стихов придумать было невозможно. Да и автор “Сестры моей жизни”, прочитав тексты двух самоуверенных молодых ленинградских авторов, вероятно, лишь пожал плечами. Он любил Крученых (больше как человека, чем как поэта), но “дыр бул щыла” ему вполне хватало, других стихов в этом роде он не жаждал. Если он и ответил Хармсу и Введенскому, то, скорее всего, лаконичным отказом – но письмо их зачем-то сохранил. Хармс как раз в те годы поэзией Пастернака интересовался (в его записной книжке за 1927 год переписаны “Метель” и две строфы из “Спекторского”), но, видимо, очень быстро этот интерес прошел, и последующие его упоминания о “полупоэте Борисе Пастернаке” немногочисленны и пренебрежительны.

Осенью 1926 года, после исключения из техникума, Хармс подал документы в другое учебное заведение. Оно в самом деле давало высшее образование и притом было куда ближе Хармсу по духу, чем электротехникум. Тем не менее и его Даниил Иванович не закончил. Это – Высшие курсы искусствоведения при Институте истории искусств.

Исследовательский Институт истории искусств, существующий и поныне, возник в 1912 году как частное предприятие ученого и мецената графа Валентина Платоновича Зубова, потомка одного из братьев последнего екатерининского фаворита. Лично Зубов занимался чрезвычайно модной в предреволюционные годы темой – историей петербургской архитектуры, и защитил диссертацию о творчестве Росси. Даже в творчестве этого зодчего, чьи Сенат и Синод соседствовали с его особняком, строгий ценитель видел черты “упадка” (в сравнении с безупречной эпохой Захарова и Воронихина), а сам особняк, творение Гаральда Боссе, возведенный в 1843–1846 годы, должен был казаться ему воплощением крайней безвкусицы. Тем не менее институт расположился именно в этом доме. Высшие курсы искусствоведения начали действовать в 1916-м, накануне революции. Сам (уже “бывший”) граф возглавлял институт и курсы до 1925 года, пока не эмигрировал (обычным для той поры способом: уехал за границу с путевкой Наркомпроса и не вернулся).

В 1920-е годы Высшие курсы искусствоведения пользовались большой популярностью у непролетарской молодежи, так как здесь на роковой шестой пункт анкеты более или менее закрывали глаза. Но, разумеется, учились здесь и молодые люди стопроцентно советского склада… Среди выпускников курсов было немало писателей, очень разных, от Вагинова до Бориса Корнилова и Ольги Берггольц.

Поскольку наряду с музыкальным и театрально-кинематографическим отделениями здесь было и словесное (на котором преподавал, к примеру, Ю.Н. Тынянов), зубовские курсы, по существу, давали возможность получения альтернативного университетскому филологического образования.

Заполняя (16 сентября 1926 года) анкету для поступления на курсы[159], Хармс отнесся к этому более ответственно, чем к анкете при поступлении в Союз поэтов. Из его ответов следует, между прочим, что семья Ювачевых (четыре человека) на тот момент существовала на средства отца (101 рубль в месяц).

Хармс поступил на отделение театра и кинематографа (со специализацией на последнем). Программа этого отделения включала следующие предметы: на первом курсе – теория драмы,

история мирового и русского театра, введение в кинематографию, на старших – основа режиссуры, обзор современных театральных течений, общий курс кинотехники, технические основы кинематографа, современное кино (Чаплин, Гриффитс, Сесиль де Милль, Фэрбенкс, немецкий экспрессионизм и пр.). Всего курс был рассчитан на четыре года. Среди преподавателей были В.Н. Соловьев, П.А. Каменецкий, К.Н. Державин, Л.З. Трауберг. Дух двадцатых годов сказывался в том, что, несмотря на молодость кинематографа, который еще недавно считался “развлечением для кухарок”, его изучали на равных с почтенными старыми искусствами. Молодежь чувствовала огромные возможности, которые таит кинопленка, и только великий сноб Ходасевич морщился на “идиотства Шарло”.

Здание, в котором располагался Государственный институт истории искусств (Исаакиевская пл., д. 5). Фотография А. Дмитренко, май 2008 г.

Впрочем, учебой Даниил в это время себя особо не затруднял и через несколько месяцев перестал посещать особняк на Мойке. Он уже почувствовал себя писателем и не собирался сворачивать с избранного пути. Кроме того, что-то в его природе сопротивлялось всякой систематической учебе с сидением за партой и сдачей экзаменов. Он был из тех, кто способен осваивать любую информацию только самоучкой, на практике.

Однако именно в Зубовском институте завязались

знакомства, важные для его дальнейшей судьбы. В числе студентов был 18-летний Бахтерев. Хармсу нравились его стихи. Однажды, еще в конце 1925 года, он слышал их на коллективном чтении, в котором участвовали и поэты с именами – Всеволод Рождественский, Сергей Нельдихен, Вольф Эрлих. После чтения присутствовавшие высказывались. Хармс (по словам Бахтерева) похвалил только его. Бахтерев с тремя другими студентами (18-летним Георгием Кацманом, 19-летним Сергеем Цимбалом и 22-летним Борисом Левиным) создали самодеятельный студенческий театр радикально-авангардной направленности – "Радикс". Левина Хармс тоже знал: общался с ним у Поля Марселя. Уроженец белорусского местечка Ляды, Бер Мишелевич по паспорту, Борис Михайлович в быту, он еще не сделал свое еврейское имя Дойвбер (Дов-Бер) чем-то вроде литературного псевдонима. (Имя это, по свидетельствам друзей, ему шло: "дов" на иврите и "бер" на идише значит "медведь"; большого, неуклюжего, мешковатого Левина Маршак так и звал: "гималайским медведем".) Именно через Левина вышли радиксовцы на "чинарей".

По словам Кацмана,

> "Радикс" был задуман как "чистый" театр, театр чистого действия, ориентированный не столько на конечный результат и на зрителя, сколько на переживание самими актерами чистого театрального действия… "Радикс" был конгломератом различных искусств – театрального действия, музыки, танца, литературы и живописи. При обращении к различным искусствам весьма велик был элемент пародирования, остранения[160].

Однако – и это уже свидетельство Бахтерева: "Наши взгляды не во всем совпадали, но в одном все четверо были единодушны. Новый театр, говорил каждый из нас, начинается с новой драматургии"[161]. Ни русские символисты, ни немецкие экспрессионисты, ни Кокто не удовлетворяли молодых экспериментаторов. И тогда было принято безумное на самом деле решение: обратиться к "чинарям", не имевшим никакого опыта собственно театрального творчества, и предложить им написать пьесу.

Как уточняет Бахтерев, "поскольку предполагалось написать пьесу в сжатые сроки, решено было воспользоваться уже существующими текстами, смонтировав пьесу из произведений Введенского и Хармса. Название пьеса получила по заглавию одного из стихотворений Введенского"[162]. Название это – "Моя

мама вся в часах”.

Игорь Бахтерев, конец 1927 г.

Сначала репетировали по домам (в основном у Бахтерева, который жил на Бассейной, 60, в знаменитом доме Бассейного товарищества). В октябре решили попытать счастья – обратиться в ГИНХУК (Государственный институт художественной культуры), благо тот и находился совсем неподалеку от зубовского особняка, на Исаакиевской площади, в доме XVIII века, принадлежавшем потом поэту Ивану Петровичу Мятлеву, автору первого русского стихотворения про Таракана. (Все-таки, как справедливо заметил А.С. Пушкин, современник, знакомец и отчасти коллега Мятлева, “бывают странные сближенья”.) Со знаменитым детищем Малевича имел прежде дело Введенский: помогал Терентьеву проводить уроки в филологической лаборатории. Он и подал идею… Кацман утверждает, что заявление было написано на пятисотрублевой николаевской ассигнации. Однако документ

этот сохранился: написан он все же на обычной бумаге, но украшен супрематическим коллажем с использованием ассигнации, но не пятисот-, а пятирублевой. Текст под коллажем гласит:

> *В ленинградский институт художественной культуры*
>
> ***Заявление***
>
> Образовавшаяся театральная группа “Радикс”, экспериментирующая в области внеэмоционального и бессюжетного искусства, ставящая своей целью создание произведения чистого театра в неподчинении его литературе – все моменты, входящие в композицию представления, равноценны – просит дать ей помещение в Белом зале И. Х. К. для лабораторно-репетиционных работ на утреннее время[163].

Заявление было подписано Георгием Кох-Боотом (псевдоним Кацмана), Цимбалом, Бахтеревым, Хармсом и Введенским. Дата – 12 октября 1926 года. Малевич в тот же день принял эту компанию, благосклонно отнесся и к их замыслам, и к художественно оформленному заявлению, сказав: “Я старый безобразник, вы молодые – посмотрим, что получится”. Помещение для репетиций дали сразу же, а через два дня решение задним числом одобрил совет ГИНХУКа, включавший, кроме Малевича, Николая Пунина и Матюшина. Один раз Казимир Северинович вошел в зал, послушал – ему понравилось. Впрочем, особенно терять институту было нечего: после статьи Г. Серого “Монастырь на госснабжении” (Ленинградская правда. 10 июня) он находился на грани закрытия, а сам Малевич собирался на несколько месяцев за границу. Вскоре он и уехал, а “молодые безобразники” резвились теперь уже по всему мятлевскому дому.

В проекте были заняты все. Заболоцкий предложил свое стихотворение “Офорт” для зачина. Даже Яков Друскин – в первый и последний раз – принял участие в одном из начинаний своих друзей, носившем публичный и открытый характер: он подбирал для спектакля музыкальное сопровождение (из произведений Онеггера и французских додекафонистов). Писали текст Хармс и Введенский вдвоем, но сюжет придумывался всей компанией.

Одна из его линий связана была с рассказом Левина о посещении Ляд.

В первый день он отправился осматривать родные места и, куда бы ни приходил – рынок, вокзальный буфет, парикмахерская, – встречал одного и того же краснобородого человека. В скобяной лавке Боба не выдержал:

– И долго вы намерены меня преследовать?

– Он еще говорит! – взвизгнул рыжебородый. – Я через него в милицию бегаю, чтобы разные шаромыжники честному агенту по налогам на щиколотку не наступали…[164]

Даниил Хармс и Борис Левин с Эрикой Эдельман, 1929 г.

Сергей Цимбал и Игорь Бахтерев с Эрикой Эдельман, 1929 г.

По предложению Заболоцкого этот “краснобородый” агент Гарфункель (в других источниках Горфункель) был введен в пьесу. Впрочем, на сцене он должен был появляться все время под новой фамилией (что было уже идеей Бахтерева). “В конце концов его убивали, после чего он продолжал появляться, уже покойником”. Кацман, на правах режиссера, предложил построить целую сцену на диалоге большого семейства “рыжих” во главе с бородатым Папашей (которого играл Вигилянский) и такого же обширного семейства “голубых”. Впрочем, сюжет получался странным и запутанным. Открывать действие должно было так: на сцену выносили марлевый узел. Актеры по очереди пинали его, пока оттуда не появлялась “танцовщица-каучук” Зина Бородина. Она исполняла несколько номеров-трюков. В конце второго акта несчастную танцовщицу протыкал шпагой ее возлюбленный. Главной, впрочем, должна была стать другая героиня – с примечательным именем Елизавета. Возможно, какие-то элементы сюжета самого знаменитого драматургического произведения Хармса восходят к этой, так и не поставленной, пьесе…

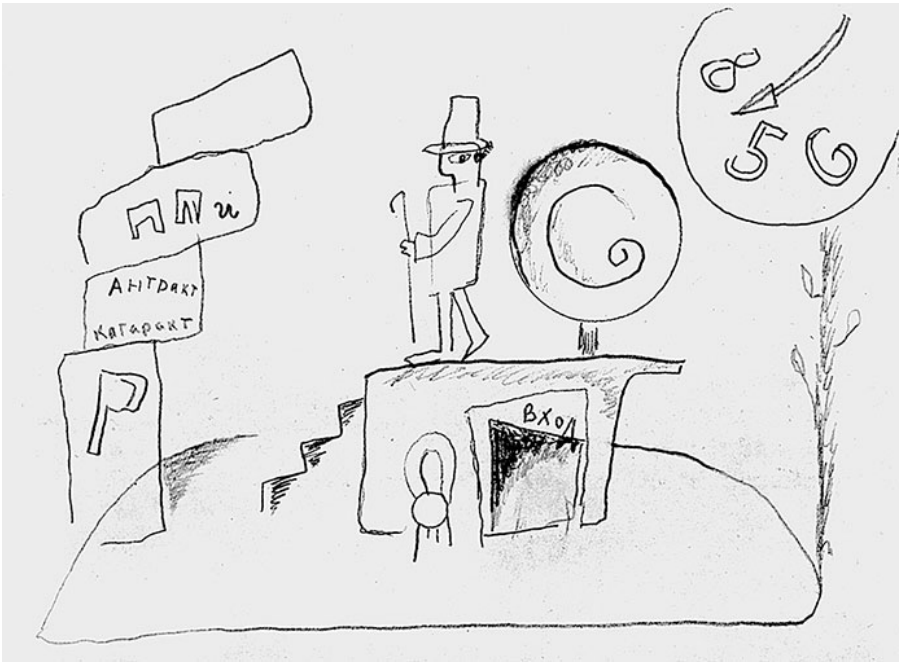
Здание, где располагался Государственный институт художественной культуры (Исаакиевская пл., д. 9). Фотография А. Дмитренко, май 2008 г.

Гарфункель стал своего рода тотемом спектакля: его фамилию шутки ради вписывали на афиши, на его “звонки” звали друг друга к телефону. Уже после завершения эпопеи со спектаклем, в марте 1927 года, Заболоцкий написал шуточную балладу, в которой этот персонаж играет роковую и мрачную роль в судьбе героев – Хармса, Введенского и Тамары Мейер:

“Ува – сказала дева Там, –
гадать не подобает вам,
у вас и шансы все равны –
вы все Горфункеля сыны”.
Все в ужасе свернулись в струнку.
Тогда приходит сам Горфункель:
“Здорово публика! Здорово,
испьем во здравие Петровы,
Данило, чашку подавай,
ты, Сашка, чашку наливай,
а вы, Тамара Алексанна,
порхайте около и пойте нам “осанна!!!”.

И вмиг начался страшный ад:
друзья испуганы донельзя,
сидят на корточках, кряхтят,
испачкали от страха рельсы,
и сам Горфункель, прыгнув метко,

сидит верхом на некой ветке
и нехотя грызет колено,
рыча и злясь попеременно.



Эскиз оформления спектакля “Моя мама вся в часах”. Рисунок И. Бахтерева.

Даниил Хармс. Шарж Н. Заболоцкого, 1920-е

И как будто дух “честного агента по налогам” внес во всю затею элемент избыточности, гротеска, неразберихи. Хотя иначе, видимо, и быть не могло: много очень талантливых, очень молодых людей, вулкан идей – при полном отсутствии организационного центра. К ноябрю обнаружились две неприятные вещи: не было денег на “матчасть” спектакля, и не было дров в умирающем (он закрылся в декабре) ГИНХУКе. Можно было предложить “Мою маму…” какому-нибудь из городских театров, государственному или кооперативному, коммерческому. Но для этого нужен был по меньшей мере текст пьесы, а текста не было: был набор хаотически скомпонованных отрывков, заумные стихи со схематичными прозаическими переходами. К работе попытались привлечь Вагинова, но тот был занят. Цензор С.А. Воскресенский, правда, требовать на руки текста не стал – согласился ограничиться просмотром спектакля, когда тот будет готов, так что с этой стороны препятствий не было. Власть пока ничем не мешала: мешала собственная юношеская безалаберность, самоуверенность и неспособность для пользы дела обуздать свои творческие порывы. Когда же Хармс и его друзья освоили необходимое искусство самодисциплины – как раз настали новые времена…

Четвертого ноября Кацман и Цимбал просто не пришли на репетицию. Актеры подождали и разошлись. 10 ноября еще двух участников команды – Заболоцкого и Вигилянского – призвали на

военную службу. В тот же день Хармс лаконично записывает: “Радикс рухнул”.

Эта неудача не обескуражила Даниила и его товарищей, не стала травмой. Напротив, параллельно с “Радиксом” они начали разворачивать новый, уже чисто литературный, проект, ставший в конечном итоге главным в их жизни. Им было около двадцати лет, кому-то побольше, кому-то поменьше. Они вступали в пору активного, открытого, публичного существования. Никто не мог предвидеть, что она для большинства из них окажется настолько короткой.

Глава третья
Три левых года

1

“Орден заумников” или “Левый фланг”, по существу, рассыпался уже к лету 1926 года. Трудно сказать, что за этим стояло – личная несовместимость или идейные разногласия, но Введенский разошелся с Туфановым, и примирить их Хармсу не удалось. В конце года он, вдохновленный начавшимися как будто воплощаться театральными замыслами, решает возродить “Левый фланг”. Теперь это должна быть организация молодых писателей, параллельная “Радиксу” и связанная с ним, с гораздо более широким кругом членов и более развернутой программой, чем туфановский орден. Два “чинаря” – Хармс и Введенский – должны были составить ядро нового союза – вместе с Заболоцким, разумеется. Приглашен был и юный Бахтерев.

Именно в изложении Бахтерева мы знаем историю воссоздания “Левого фланга”, и, как всегда в его воспоминаниях, правду трудно отделить от художественного вымысла. Будто бы решение о создании группы было принято во время ужина в ресторане Федорова на Малой Садовой. Бахтерев очень выразительно описывает обстановку ресторана, выступавшего там Токаревича – “самого картинного скрипача в городе”, который днем, в неурочные для ресторана часы, играл другую, “серьезную” музыку – Паганини, Вивальди. Когда-то он, уверяли, был всемирно знаменитым музыкантом – русским Вилли Ферреро. В общем, ничего удивительного – нэповский Ленинград, увековеченный в “Столбцах”, переживал свои ярчайшие часы, упиваясь кратковременным и болезненным довольством, ослепляя, после многих лет голода и войн, мелкобуржуазными соблазнами. Человеческие судьбы складывались в этом городе порою очень странно.

Будущий автор “Столбцов” поставил несколько условий своего вхождения в группу. Для него обязательно было сохранение индивидуальной творческой свободы. В то же время он не желал иметь ничего общего с “заумниками”. Бахтерев предложил включить в группу Вагинова. Судя по дневникам Хармса, вопрос был сперва решен отрицательно. Вагинов появился лишь год спустя, когда группа оформилась, дважды сменила название и приобрела официальный статус.

Константин Олимпов, не позднее 1924 г.

Зато Хармс предложил в качестве члена “Левого фланга” Константина Олимпова. Это была почти провокация. Константин

Олимпов, собственно Константин Константинович Фофанов (1889–1940), родился в многодетной и несчастной семье популярного лирика предсимволистской поры, которого Игорь Северянин провозгласил своим учителем. Сам Фофанов-сын (который был, кстати, еще и крестником Репина) вошел в свиту “короля поэтов” вместе с молодыми Вадимом Шершеневичем, Рюриком Ивневым, Иваном Игнатьевым. В эпоху “Бродячей собаки” он прославился в основном тем, что появлялся на эстраде с чучелом кошки или с плеткой.

Хармс уверил своих друзей, что Олимпов – не “старик”, что в эгофутуристическом движении тот участвовал четырнадцатилетним подростком. Константин Константинович и не выглядел “стариком” (даже в представлении юных “чинарей”). На фотографиях молодой поры он кажется рослым пухлым детиной, но те, кто видел его в двадцатые, описывают его как худощавого блондина. В сорок лет он казался 25-летним…

Жизнь его была нелепой и эксцентричной, как у многих литературных неудачников того поколения. В свое время он закончил Археологический институт и, по свидетельствам современников, хорошо разбирался в предмете – но предпочел научной карьере судьбу нищего стихотворца. С Северянином и эгофутуристами он вскоре поссорился. Перед революцией выпускал свои стихи за свой счет брошюрками и афишками, подписанными “Великий Мировой Поэт Константин Олимпов. Адрес: Окно Европы, Олимповская ул., 29, кв. 12”. “Великий Мировой Поэт” сам же и был героем своих сочинений:

…Меня поносят и клеймят
Последней руганью собаки
Со мной помойно говорят
Ютят на кухне в чадном мраке

Меня из дома выгнали родные
За то, что не работаю нигде
Помогите эфиры льняные
Прокормиться Вечной Звезде

У меня даже нет полотенца
Чтобы вытереть плотски лицо
Я блаженней любого младенца
Пробираюсь сквозь будней кольцо

Я считаю фунт хлеба за роскошь
Я из чайной беру кипяток

Одолжить семь копеек попросишь
И поджаришь конинный биток

Рыдайте и плачьте кто может
Великий Поэт в нищете
И голод его не тревожит
Он утаился в мечте…[165]

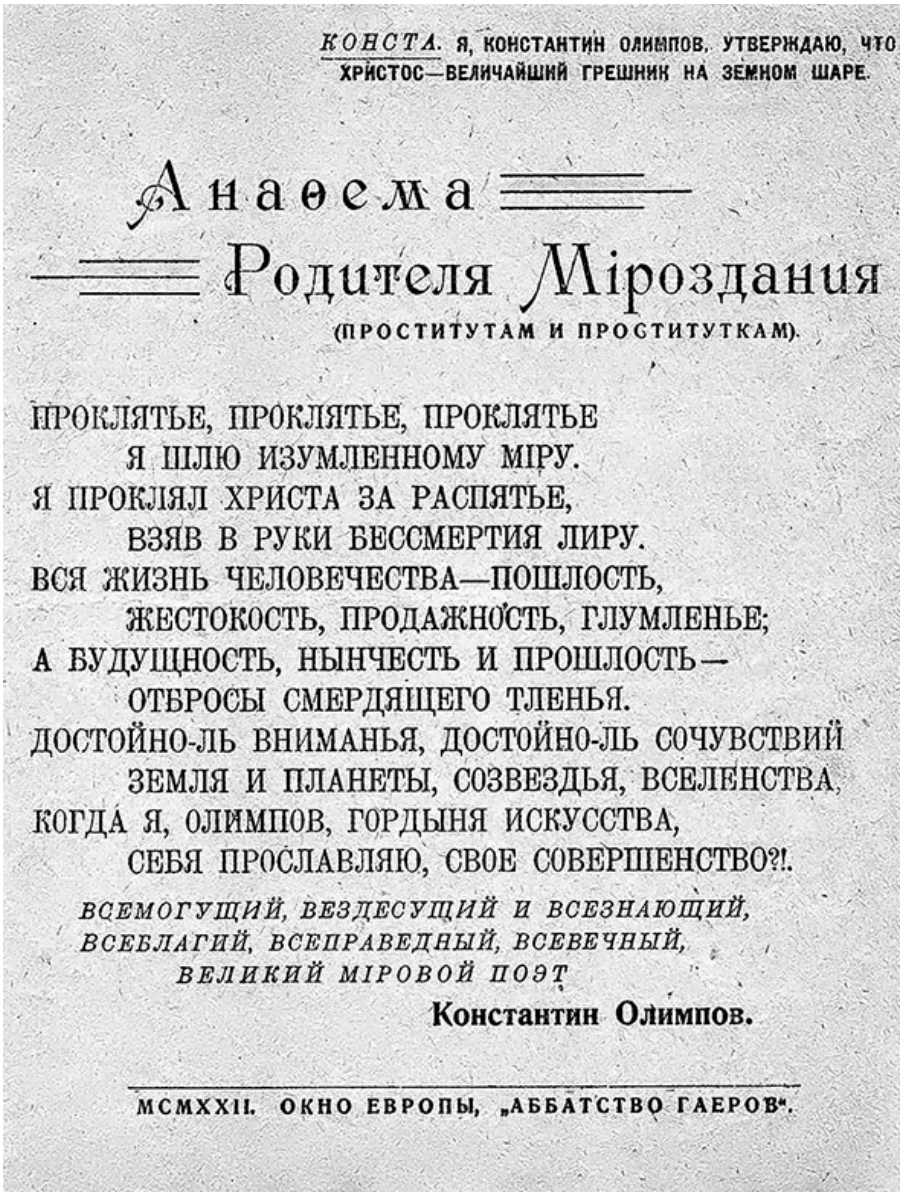
Цитируемое стихотворение написано в 1916-м. В те годы претендовать на величие и исключительность было хорошим тоном, формой общепринятой литературной игры. Графоманы принимали эту игру всерьез. Грань между изящной словесностью и бытовой патологией в их текстах стиралась.

Революция, всякая революция, дает “странным” людям самые неожиданные возможности. Сам Олимпов так вспоминал об этих днях:

> В 1917 году я обрадовался свободе печати и, опубликовав “Паррезию родителя мироздания”, занялся общественной работой… Когда приехал В.И. Ленин… мне приходилось неоднократно встречаться с ним на улице. Он производил положительное впечатление, и я хотел организовать партию Олимпистов как блок поэзии футуризма с коммунизмом… Приезд Ленина в запломбированном вагоне напоминал мне мое хождение в галстуке с петлицей[166].

Осенью олимпист Олимпов оказался во главе трех избирательных комиссий по выборам в Учредительное собрание, весной 1918 года ездил с продотрядом в Саратовскую губернию, а потом служил в Красной Армии. Все это время Константин Константинович еженедельно посылал в Кремль письма с “указаниями”, обычно рифмованные, и полагал, что Ленин эти указания выполняет, что именно благодаря его письмам Красная Армия победила в Гражданской войне, а потом был введен нэп. Несколько лет спустя он неожиданно обрел новых друзей, юных стихотворцев из Шувалова – Владимира и Бориса Смиренских и Николая Познякова. Особенно полюбился Олимпову Смиренский, которому он, на правах Великого Мирового Поэта, даровал титул поэта Великого Европейского. В 1922 году друзья, называвшие себя Академией Эго-Поэзиии Всемирного Олимпизма, издали отдельной листовкой очередной стихотворный текст Олимпова, мало отличавшийся от предыдущих:

Достойны ль вниманья, достойны ль сочувствий
Земля и планета, созвездья, вселенство,
Когда я, Олимпов, гордыня искусства,
Себя прославляю, свое совершенство?![167]



КОНСТА. Я, КОНСТАНТИН ОЛИМПОВ, УТВЕРЖДАЮ, ЧТО ХРИСТОС—ВЕЛИЧАЙШИЙ ГРЕШНИК НА ЗЕМНОМ ШАРЕ.

Анаѳема
Родителя Міроздания
(ПРОСТИТУТАМ И ПРОСТИТУТКАМ).

ПРОКЛЯТЬЕ, ПРОКЛЯТЬЕ, ПРОКЛЯТЬЕ
Я ШЛЮ ИЗУМЛЕННОМУ МІРУ.
Я ПРОКЛЯЛ ХРИСТА ЗА РАСПЯТЬЕ,
ВЗЯВ В РУКИ БЕССМЕРТИЯ ЛИРУ.
ВСЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА—ПОШЛОСТЬ,
ЖЕСТОКОСТЬ, ПРОДАЖНОСТЬ, ГЛУМЛЕНЬЕ;
А БУДУЩНОСТЬ, НЫНЧЕСТЬ И ПРОШЛОСТЬ—
ОТБРОСЫ СМЕРДЯЩЕГО ТЛЕНЬЯ.
ДОСТОЙНО-ЛЬ ВНИМАНЬЯ, ДОСТОЙНО-ЛЬ СОЧУВСТВИЙ
ЗЕМЛЯ И ПЛАНЕТЫ, СОЗВЕЗДЬЯ, ВСЕЛЕНСТВА,
КОГДА Я, ОЛИМПОВ, ГОРДЫНЯ ИСКУССТВА,
СЕБЯ ПРОСЛАВЛЯЮ, СВОЕ СОВЕРШЕНСТВО?!.

ВСЕМОГУЩИЙ, ВЕЗДЕСУЩИЙ И ВСЕЗНАЮЩИЙ,
ВСЕБЛАГИЙ, ВСЕПРАВЕДНЫЙ, ВСЕВЕЧНЫЙ,
ВЕЛИКИЙ МІРОВОЙ ПОЭТ

Константин Олимпов.

МСМХХІІ. ОКНО ЕВРОПЫ, „АББАТСТВО ГАЕРОВ".

Листовка Константина Олимпова “Анафема Родителя Мироздания” (Пг., 1922).

Листовка была разослана по редакциям журналов, а также Ленину, Троцкому, Луначарскому, Зиновьеву и Каменеву с

требованием высказаться о стихах: “Ваше молчание сочту за слабость мысли перед моим величием”. Все промолчали, однако, в том числе и баловавшийся литературной критикой Троцкий; только болезненно-мнительный Зиновьев наложил резолюцию: “Выяснить, кто такой Олимпов и не сумасшедший ли он?” Склонность к психическому расстройству Константин Константинович унаследовал и с отцовской, и с материнской стороны. Фофанов-отец, тяжелый алкоголик, временами впадал в настоящее безумие; в такие минуты он испытывал панический страх перед атмосферным давлением. Сын вел себя не менее странно, и тем не менее врачи признали его нормальным, не считая “переразвития некоторых умственных способностей, в частности – памяти”[168]. Его предали суду за печатание листовки в обход цензуры, но выяснилось, что цензурное разрешение было, и только типография по забывчивости не поставила нужный штамп; и в результате “родитель мироздания” был оправдан.

После этого Олимпов практически не печатался. Одно его стихотворение, написанное в 1926 году, сохранилось в архиве Хармса. Стихотворение это называется “Буква Маринетти”. Преданья старины глубокой – вождь итальянских футуристов приезжал в Россию накануне Первой мировой и был восторженно принят в сравнительно консервативных эстетических кругах Москвы и Петербурга, но кисловато – в кругу будетлян. Стихотворение написано в духе старого, довоенного типа, урбанизма:

Мозги черепа – улицы города,
Идеи – трамваи с публикой-грезы,
Мчатся по рельсам извилистых нервов
В тарантасе будней кинемо жизни

Глаз-Небокоп бытия Мирозданья
Ритмом зажег электрической мысли
Триумф!
Зрячее ухо звони в экспансивный набат,
Двигайтесь пеньем магнитные гербы
В колесо ног рысака на асфальте;

Гоп, гоп, гопотом; шлепотным копытом
Аплодируй топотом, хлопайте копыта
Оптом, оптом…[169]

На рукописи этого стихотворения рукою Джемлы-Вигилянского кратко написано: “Это дермо” (так!). Вообще же

Олимпов писал очень разные стихи: от банальной лирики в традициях покойного отца до заумных экспериментов. Бывали у него и опыты в забавном роде, чуть-чуть напоминающие Хармса:

> На площади Перикл
> Как воробей чирикал,
> А толстый Фемистокл
> Щипал грудастых Фекл[170].

Но, разумеется, не стихи Олимпова привлекли Хармса – поэтом тот был, как ясно из вышеприведенных цитат, очень посредственным, чтобы не сказать больше. Но это был человек, превративший свою жизнь в нелепую фантасмагорию, в бесконечный спектакль.

Впрочем, членом “Левого фланга” Олимпов так и не стал, да и личное его знакомство с товарищами Хармса едва ли состоялось. Бахтерев так описывает неудачный свой и своих товарищей визит к Константину Константиновичу:

> Дверь открыла молодая общительная гражданка.
>
> – Очень приятно. Только их нету. Константина Константиновича нашего увезли. Больной стал, похоже, чахоточный. Так что в деревне на излечении…
>
> Отпустить нас соседка не захотела.
>
> – Вы уж не передавайте, а непутевый наш Костенька только пишет, разве в наше время так можно? Представляете себе: выйдет вечером на Марсово поле, непобритый, знаете, и встречным билеты предлагает. В жисть не догадаетесь – на луну[171].

Когда это было? Бахтерев соединяет этот несостоявшийся визит (имевший место – Хармс оставил Олимпову записку, и записка эта, по воле судьбы, дошла до нас[172]) с печально закончившимся визитом к Клюеву. Но нет никаких свидетельств, что Олимпов заболел чахоткой и уехал в деревню. Напротив, в конце двадцатых годов Родитель Мироздания, порвав с богемной праздностью, пошел работать – и куда: на свалку, разнорабочим, а потом – на кишечный завод при бойне. Этот поступок сравнивали с жизненным выбором другого колоритного полуграфомана предреволюционной поры, Александра Тинякова, ставшего профессиональным нищим. Одновременно, в 1930 году, оба они, Тиняков и Олимпов, и были арестованы. Фофанову-Олимпову инкриминировалось чтение в литературной компании обличительных стихов. И сколько он ни утверждал, что стихи

были написаны десять лет назад и обличают ныне разоблаченных Троцкого и Зиновьева, ему дали почти невероятный для того еще довольно вегетарианского времени срок – восемь лет. Неизвестно, сколько отсидел он на самом деле, только смерть застала его уже на воле, в Барнауле, где два года спустя – так уж вышло – умер в эвакуации другой бывший эгофутурист, Вадим Шершеневич.

Таков был один из полюсов предполагаемого “Левого фланга” и всего “левого” литературно-художественного Ленинграда – смешной человек со страшной судьбой, сын двух знаменитых отцов (родного и крестного), обреченный на бесславие. На другом полюсе – мастер, уже при жизни стяжавший громкое имя в России и за ее пределами, а ныне известный любому культурному обывателю во всех странах – Казимир Малевич.

В конце 1926 года Хармс делает в своей книжке запись:

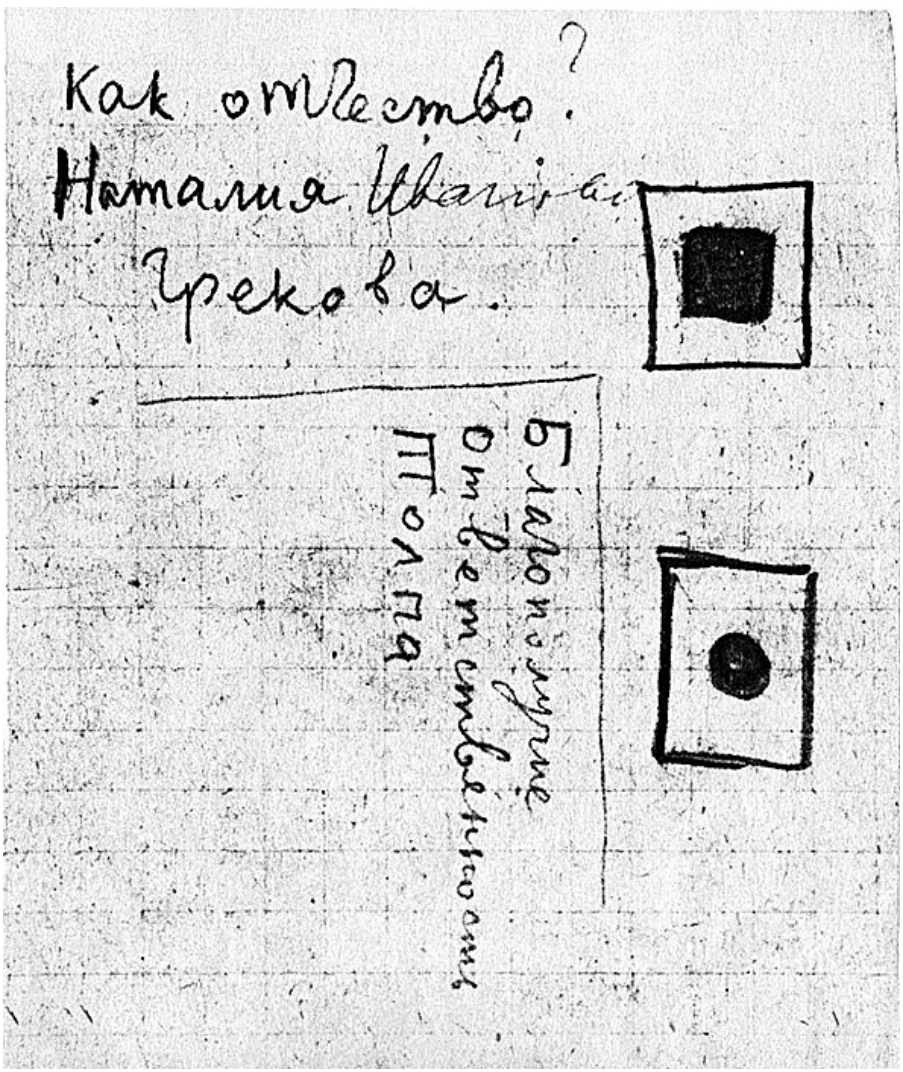
> Беседа с К.С. Малевичем
>
> 1) Абсолютное согласие К.С. на вступление в нашу организацию.
>
> 2) Сколько активных человек дает он I разряда (мы 4 челов.).
>
> 3) Сколько II разряда (мы 7 челов.).
>
> 4) Дает ли он нам помещение (для [закрытых] малых заседаний комнату предоставили).
>
> 5) Связь с ИНХУК’ом
>
> 6) Сколько очков под зайцем (мы: граммофон плавает некрасиво).
>
> 7) О названии (невозможность “Уновиса”)
>
> <…>
>
> 8) Какова верховная власть (Мы предлаг<аем> Малев<ича>, Введенск<ого>, Бахтерева, Хармса).

Что это – запись уже состоявшейся беседы или тезисы накануне предполагаемого разговора? Юному Хармсу явно очень нравилось чувствовать себя организатором, деловым человеком. “Чинарь” любил чины – воображаемые, условные! – и членов будущей организации он уже распределял “по разрядам”. Но выдержать серьезного тона он не мог и тут же переходил к эксцентрике, к асемантическим, “заумным” конструкциям (“граммофон плавает некрасиво”). А может быть, соревнования в абсурдном остроумии были своего рода паролем, способом опознания “своих”? Или обрядом, сопровождавшим переговоры “старого безобразника” с “молодыми”?

Казимир Малевич, 1920-е. Фотография, подаренная К. Малевичем И. Бахтереву.

Да полно – какие там переговоры! Двадцатилетний Даниил Иванович еще ничем особенным себя не проявил, но молодая самоуверенность позволяла ему в очень вольном тоне говорить с европейски знаменитым художником, предлагать ему сотрудничество на равных, ставить условия. Задуманное им объединение не могло быть, в частности, просто продолжением УНОВИСа – союза “Учредителей нового искусства”, основанного Малевичем в свое время в Витебске. Хотя соседство с такими художниками, как Ермолаева и Чашник, было бы на первый взгляд лестным для юных ленинградцев. Но они мечтали о собственных свершениях, а вели себя так, будто эти свершения уже позади. (“Теперь я понял: я явление из ряда вон выходящее”, – запишет Хармс месяц спустя. В юности такое чувство испытывают многие; в редких случаях они оказываются правы.) Вероятно, основатель супрематизма, переживавший не

самый простой момент в жизни (надвигавшийся крах ГИНХУКа наложился на мучительный идейный и творческий поворот, связанный с возвращением к фигуративному искусству), слушал юношу с мягкой иронией, неопределенным согласием отвечая на его наивные предложения. Но Хармс явно был ему симпатичен. Малевич ощущал в нем силу, еще не реализовавшую себя, но уже сконцентрировавшуюся. И, очевидно, их беседы касались не только “Левого фланга”. Малевич мог (после возвращения из Варшавы) делиться с Хармсом впечатлениями от встреч с польскими авангардистами. Поиски некоторых из них (об этом мы еще напишем) были очень близки к тому пути, который сам Хармс нащупывал в это время. Но, вероятно, в первую очередь разговор шел об искусстве, о его сущности и целях.



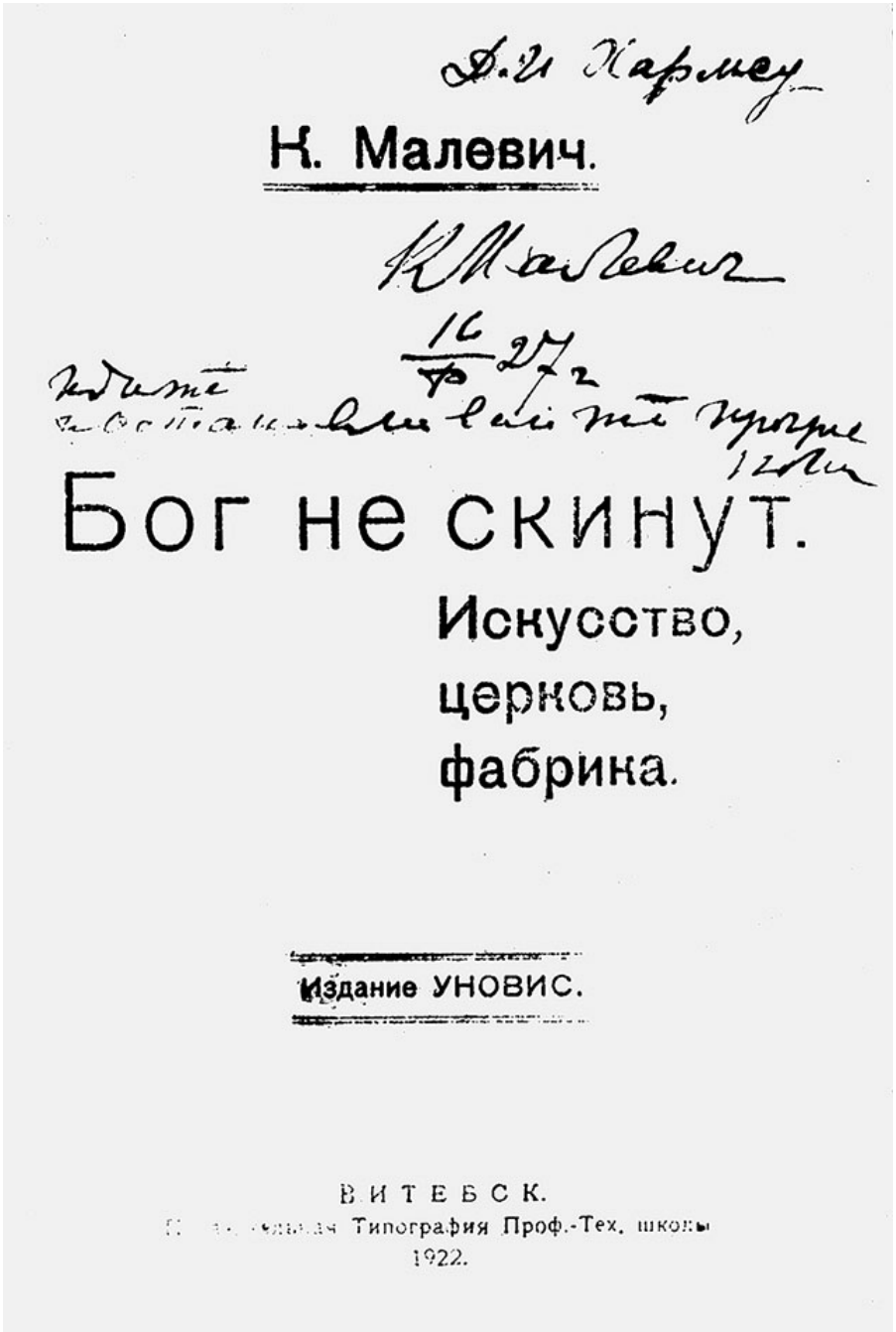
Лист из записной книжки Даниила Хармса со схематическим изображением картин Казимира Малевича, апрель – май 1933 г.

Лист из записной книжки Даниила Хармса с зарисовкой картины Казимира Малевича (?), апрель – май 1933 г.

В марте 1927 года Малевич подарил Хармсу свою книгу “Бог не скинут: Искусство, церковь, фабрика” с многозначительной надписью: “Идите и останавливайте прогресс”. Книга, вышедшая в 1922 году в Витебске, была одним из программных текстов Малевича, но это скорее философский трактат, чем художественный манифест.

> Человек разделил свою жизнь на три пути, на духовный (религиозный), научный (фабрику) и искусств.

Что означают эти пути? Означают совершенство, по ним движется человек, движет себя как совершенное начало к своей конечной представляемости, т. е. к абсолюту, три пути, по которым движется человек к Богу[173].



Д. И. Харму

К. Малевич.

К. Малевич

16/IV 27 г.

Бог не скинут.

Искусство,
церковь,
фабрика.

Издание УНОВИС.

ВИТЕБСК.
Типография Проф.-Тех. школы
1922.

Титульный лист книги Казимира Малевича “Бог не скинут”

(Витебск, 1922) с дарственной надписью Даниилу Хармсу: “Д.И. Хармсу. К. Малевич. 16/ф<евраля> 27 г. Идите и останавливайте прогресс. К. Мал.”

Заканчивалась книга такими словами:

> Возможны доказательства того, что не существует материи… но науки доказывают существование энергии, составляющей то, что называем телом.
>
> Совершенством вселенного миродвижения или Бога можно считать то, что самим человеком обнаружено доказательство того, что ничего не исчезает в ней, только принимает новый вид. Таким образом, исчезновение видимости не указывает, что все исчезло. Итак, разрушаются видимости, но не существо, а существо, по определению самим же человеком, – Бог, не уничтожимо ничем, раз не уничтожимо существо, не уничтожим Бог. Итак, Бог не скинут[174].

Мало с кем из людей левого искусства Малевич мог говорить на этом языке – по крайней мере из тех, что работали в 1920-е годы в Советской России. С Хармсом – мог. И само понятие Бога, и отстраненно-метафизический взгляд на мир не были для него чужеродными. Как и Малевич (и в отличие от многих авангардистов), он стремился скорее пробиться к сущности бытия, а не пересоздать бытие заново.

Но что значат слова “Идите и останавливайте прогресс”? Их можно прочитать по-разному.

Можно предположить, что прогресс остановится в момент, когда будет достигнута вершина, абсолют, крайняя точка новизны, совершенства и знания. Или что постепенный прогресс (как полагал Вальтер Беньямин) не сонаправлен, а враждебен социальной и эстетической революции. Сам Хармс, судя по всему, понимал эту фразу так: Малевич почувствовал, что высшая точка авангардного искусства, подразумевающего беспрерывное тотальное обновление форм, пройдена. Чтобы избежать самоимитаций или стремительного пути под гору, искусство нуждается в антитезе, в ответе, который может быть дан лишь изнутри, на собственном языке авангарда. Именно этот ответ “остановит прогресс” – точнее, переведет его в иное качество. Этого ответа, этого “контравангардного” движения Малевич и ждал от Хармса и его друзей.

В конце 1926 – начале 1927 года Хармс жил чрезвычайно насыщенной и разнообразной жизнью. Репетиции “Радикса”, переживания, связанные с влюбленностью в Эстер, собственное творчество, заседания и вечера Ленинградского отделения Союза поэтов, на которых он присутствовал, а порою и выступал – один или вместе с друзьями…

Так, 12 ноября 1926 года, через два дня после “крушения” “Радикса”, состоялось совместное выступление Хармса, Бахтерева, Цимбала и Кацмана. Почему-то Введенский в этом чтении не участвовал. По существу, это было первое публичное выступление формирующейся группы. Хармс (как это он делал и позднее) подробно расписал сценарий выступления:

> …После нашей читки выйдет Игорь Бахтерев и скажет бессмысленную речь, приводя цитаты из неизвестных поэтов и т. д. Потом выйдет Цимбал и также произнесет речь, но с марксистским уклоном. В этой речи он будет защищать нас, оправдывая наши произведения в глазах различной сволочи. Наконец две неизвестные личности, взявшись за руки, подойдут к столу и заявят: по поводу прочитанного мы не многое сказать сможем, но мы споем. И они что-нибудь споют. Последним выйдет Гага Кацман и расскажет кое-что из жизни святых. Это будет хорошо.

Хармс уже чувствовал необходимость “оправдываться в глазах всякой сволочи”. Вскоре, однако, осторожность начала ему изменять…

Произведения, создававшиеся им в тот период, уже не шли ни в какое сравнение с дерзкими, но наивными и довольно бесформенными опытами 1924 – начала 1926 года, и это было замечено не только им самим. “Комедия города Петербурга”, писавшаяся осенью и зимой, была высоко оценена друзьями (особенно Заболоцким). В конце 1926 года Даниил всерьез задумывается об издании книги (с предположительным названием “Управление вещей”) и даже пишет предисловие к ней – точнее, два коротких предисловия:

ЧИТАТЕЛЮ

> Читатель, боюсь, ты не поймешь моих стихов. Ты бы их понял, если бы знакомился с ними постепенно, хотя бы различными журналами. Но у тебя не было такой

возможности, и я с болью на сердце издаю свой первый сборник стихов.

РЕЦЕНЗЕНТУ

Во-первых, прежде чем сказать что-либо о формальных недочетах в моих стихах, прочти “Управление вещей” от корки до корки. Во-вторых, прежде чем отнести меня к футуристам прошлого десятилетия, прочти их, а потом меня вторично.

Хармс уже понимал, что его поэтика отличается от стиля любого из “футуристов прошлого десятилетия”, но еще сам не мог сформулировать это отличие. И, разумеется, его планы издания книги носили сугубо теоретический характер. Что же касается публикаций в периодике, дело, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки.

В конце года выходит первый коллективный сборник Ленинградского отделения Союза поэтов – “Собрание стихотворений”, в котором впервые напечатано стихотворение Хармса “Случай на железной дороге”:

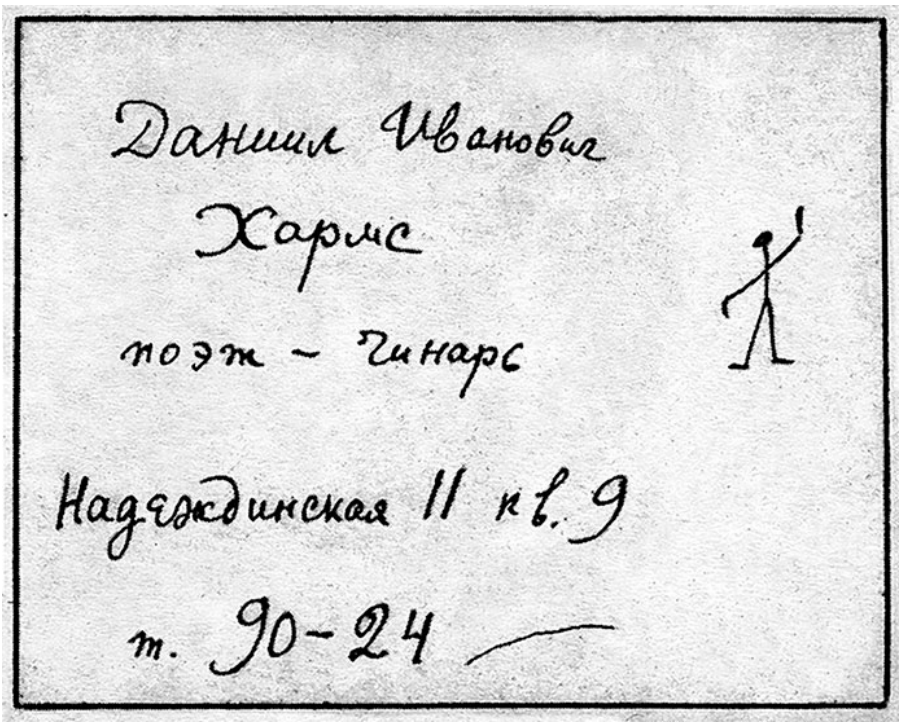
Как-то бабушка махнула
и сейчас же паровоз
детям подал и сказал:
пейте кашу и сундук.
Утром дети шли назад
сели дети на забор
и сказали: вороной
поработай, я не буду,
Маша тоже не такая
как хотите может быть
мы зализем и песочек
то что небо выразило
вылезайте на вокзал
здравствуй здравствуй Грузия…

Молодого поэта приглашают принять участие и в следующем сборнике Союза, названном “Костер”. Хармс предложил пять вариантов коротенькой (около ста строк) подборки. Все варианты включают стихотворение “Стих Петра Яшкина-коммуниста”. Только оно (с изъятием слова “коммунист”) и было напечатано – самое простое и в то же время самое “хармсовское” из

стихотворений этой поры, смутно связанное с воспоминаниями о Гражданской войне:

Мы бежали как сажени
на последнее сраженье
наши пики притупились
мы сидели у костра
реки сохли под ногою
мы кричали: мы нагоним!
плечи дурые высоки
морда белая востра

но дорога не платочек
и винтовку не наточишь
мы пускали наши взоры
вёрсты скорые считать
небо падало завесой
опускалося за лесом
камни прыгали в лопату
месяц солнцу не чета



Рукописная визитная карточка Даниила Хармса, ок. 1927.

Также одним стихотворением был представлен в каждом из сборников Введенский (“Верьте верьте…” в “Собрании стихотворений” и “Но вопли трудных англичан…” – отрывок из поэмы “Минин и Пожарский” – в “Костре”).

Оба сборника были изданиями, опубликоваться в которых было по меньшей мере не стыдно. В “Костре” были напечатаны стихи Кузмина из “Панорамы с выносками”, в том числе два шедевра – “По веселому морю летит пароход…” и “Природа природствующая и природа оприроденная”, несколько стихотворений Вагинова, среди которых “Эллинисты” и “Дрожал проспект, стреляя светом…”, “Красная Бавария” Заболоцкого, новые стихи Клюева и Бенедикта Лившица. Все эти авторы (кроме Заболоцкого) участвовали и в “Собрании стихотворений”. Но и второстепенные поэты (Эрлих, Фроман, Сергей Спасский, Всеволод Рождественский, Николай Браун, Семен Полоцкий, Григорий Шмерельсон, Владимир Ричиотти, сестры Наппельбаум) демонстрировали высокий формальный уровень. Однако все они тяготели или к неоклассицизму, или к гумилевскому балладному стиху, или к очень мягкому (“есенинскому”) варианту имажинизма. Хармс и его товарищи (в том числе Туфанов, одно стихотворение которого было напечатано в “Собрании стихотворений”) выглядели белыми воронами.

Второй в жизни публикации “взрослых” стихов Хармса и Введенского суждено было стать последней. В оставшиеся четырнадцать лет жизни им удавалось публиковаться лишь в качестве детских писателей. В 1927-м это трудно было предположить. “Костер” вышел лишь к концу года, а тем временем литературно-организационная и публичная деятельность молодых поэтов и артистов шла своим чередом. Весною состав группы наметился окончательно. В ней не было, разумеется, ни Малевича, ни Олимпова. Отсеялся Геннадий Матвеев, не вписался в группу Исаак Синельников, с которым Заболоцкий подружился, проходя в команде одногодичников на Петроградской стороне военную службу[175]. В итоге к весне 1927 года так и не оформившийся еще “Левый фланг” по составу практически совпадал с “Радиксом”. Оба названия существовали параллельно, хотя упор делался теперь не столько на театральную, сколько на литературную деятельность.

Двадцать пятого марта, в ходе работы над декларацией, группа меняет название. Отныне она именуется Академией левых классиков. “Все согласны, – записывает Хармс, – кроме Шурки. Этот скептик проплеванный ни на какое название, кроме чинаря, не гож”. Планы у юношей были грандиозные: “Собрать конференцию и составить манифест… Войти в Дом печати как

секция Левых работников искусства… Добиться вечера с танцами для получения суммы 600 руб. на издание своего сборника”.

План сборника, составленный Хармсом несколькими днями раньше, дает представление о круге общения “чинарей” в это время и о том, кого они считали своими союзниками. Мы видим здесь имя Вагинова (его собственные стихи и проза, статья Бориса Бухштаба о нем) – но не видим Левина (в проектах “Левого фланга” в эти месяцы он не поминается ни разу). Есть имена Малевича (статья-корреспонденция о поездке “на запад” и о тамошнем искусстве), Хлебникова (видимо, публикации из не изданного при жизни; кроме того, предполагается статья “самого” Шкловского о Хлебникове), Лидии Гинзбург… Есть Туфанов (с вопросительным знаком) – но не Терентьев и не Олимпов. Статью о “чинарях” (то есть Хармсе и Введенском) предполагалось заказать Липавскому, установочную статью (вероятно, “с марксистским уклоном”) – студенту Высших курсов искусствознания Василию Клюйкову.

Многое так и осталось планами – даже “вечер с танцами”. Но Дом печати и в самом деле оказался гостеприимен для молодых авангардистов; были и возможности для публичных выступлений. Однако первое же такое выступление после провозглашения Академии левых классиков (28 марта на Курсах искусствознания) закончилось скандалом, причем получившим освещение в прессе.

Собственно, с прессы мы и начнем. Вот версия, изложенная в статье Н. Иоффе и Л. Железнова “Дела литературные” (“Смена”. 30 марта):

> Чинарь – это не тропическая бабочка, не племя африканских дикарей и не особая порода ютящихся в горных ущелиях птиц.
>
> Это с позволения сказать – поэт.
>
> …Корни этих так назыв<аемых> поэтов восходят к “заумной поэзии”, они еще называют себя “левыми классиками” или “левым флангом”… Сущность их поэзии заключается в том, что смысл, основа каждого произведения, чинарями совершенно не признается обязательным. На первом месте для них соотношения звука… Им не важно, как отразятся их стихи на бюджете времени читателя, на его нервах – им вообще не важно, читают их или не читают…
>
> Помните вы старое доброе русское ухарство, помните вы широкую натуру, тройку пьяных лошадей, пьяных купцов, пьяных ямщиков и пьяных поэтов?

(Последнее – явно не по адресу: никакого публичного

пьянства и прочих проявлений “широкой натуры” за “левыми классиками” замечено не было. Дело в том, что главным предметом обличения в молодежной печати во второй половине двадцатых была “есенинщина”, к которой, как всегда бывает, подверстывали что ни попадя.)

Но что же, собственно, произошло?

Вот что:

> Пришли “чинари” – читали стихи. Все шло хорошо. И только изредка собравшиеся студенты смеялись или вполголоса острили. Кое-кто даже хлопал в ладоши.
>
> Покажи дурню палец – он и засмеется. “Чинари” решили, что успех обеспечен. “Чинарь”, прочитав несколько своих стихов, решил осведомиться, какое действие они производят на аудиторию.
>
> – Читать ли еще? – осведомился он.
>
> – Нет, не стоит, – раздался голос. Это сказал молодой начинающий писатель Берлин – председатель Лен. ЛЕФ’а.
>
> “Чинари” обиделись и потребовали удаления Берлина с собрания. Собрание единодушно запротестовало.
>
> Тогда, взобравшись на стул, “чинарь” Хармс, член Союза поэтов, “великолепным” жестом подняв вверх руку, вооруженную палкой, заявил: “Я в конюшнях и публичных домах не читаю!”
>
> Студенты категорически запротестовали против подобных хулиганских выпадов лиц, являющихся в качестве официальных представителей литературной организации на студенческие собрания. Они требуют от Союза поэтов исключения Хармса, считая, что в легальной советской организации не место тем, кто на многолюдном собрании осмеливается сравнить советский вуз с публичным домом и конюшнями.

Один из авторов этой статьи, Иоффе, был преподавателем общественных дисциплин на Курсах искусствознания, второй, Железнов, – студентом.

А вот объяснительная записка, поданная в Союз Хармсом и Введенским:

> Причина описываемого скандала и его значение не таково, как об этом трактует “Смена”. Мы еще до начала вечера слышали предупреждение о том, что собравшаяся публика настроена в достаточной степени хулигански. В

зале раздавались свистки, крики и спор. Выскакивали ораторы, которых никто не слушал. Это длилось минут 5–7, пока чинарь Д.И. Хармс не вышел и не сказал своей роковой фразы: “Товарищи, имейте в виду, что я ни в конюшнях, ни в бардаках не выступаю”, после чего покинул собрание. Шум длился еще некоторое время и кончился дракой в публике вне нашего участия.

После всего вышеизложенного мы, Академия Левых Классиков, считаем свое поведение вполне соответствующим оказанному нам приему и резкое сравнение Д.И. Хармса, относящееся к имевшему быть собранию, а не к вузу вообще, по трактовке тт. Иоффе и Железнова, считаем также весьма метким.

Союз поэтов этим объяснением удовольствовался, и никаких оргвыводов не последовало. Железнов пытался собрать подписи под коллективным письмом студентов в Союз, но, видимо, не сумел сделать это.

У нас есть, однако, и еще одно свидетельство о происшествии – устный рассказ Ирины Рысс[176] Владимиру Глоцеру:

…Зал был битком набит…

Был Хармс, Бахтерев, Шура Введенский.

И стихи их наши ребята, конечно, не очень поняли. Поднялся шум.

И тогда Хармс вскочил на стол и прокричал:

– Я в бардаках не читаю!

Конечно, наши ребята вступились за честь наших барышень. И началась хорошая потасовка, началась драка.

Секретарем наших курсов, я помню, был Лев Успенский, он принимал участие – разгонял эту компанию.

И мы ничего не поняли из того, что они читали, – хотя наш институт был оплотом формализма и мы на этом были воспитаны[177].

Позднее выступления Хармса и его друзей не раз будут заканчиваться таким образом. Но стоит задуматься о том, почему именно в этой аудитории (далеко не самой “дикой” в городе) “чинари” столкнулись с таким резким неприятием? Ведь за полтора месяца до этого, 9 февраля, “Левый фланг” (Хармс, Введенский, Заболоцкий, Вигилянский, Туфанов) успешно выступил перед публикой куда менее, казалось бы, подготовленной, – в 159-м полку, где проходили службу

Заболоцкий и Вигилянский. Может быть, дело было именно в Заболоцком, чьи “относительно удобопонятные” (как аттестовал он сам их впоследствии) стихи уравновешивали эксперименты его друзей?

Хармс и Введенский в тот момент еще сами не понимали всей меры отдаленности собственного пути от того, что считалось в двадцатые годы “левым искусством”, от эстетики ЛЕФа и конструктивистов. Инструментальное, рационалистическое, деловое сознание, преобладавшее среди молодежи, совершенно не в состоянии было воспринять их заумную поэзию. Не то чтобы сознание это было примитивным и эстетически глухим – оно просто было настроено на иную волну. Не стоит судить обо всей аудитории, собравшейся в зубовском доме, по статье Иоффе и Железнова. При изучении советской культуры второй половины 1920-х бросается в глаза невероятный разрыв между высоким уровнем тогдашней литературы, филологии, психологии, искусства – и жалким, провинциальным убожеством прессы. Ни в дореволюционной России, ни в эмиграции, ни даже в Советской России в первые послереволюционные годы подобного не было. Статья, напечатанная в “Смене”, была лишь проекцией конфликта на этот уровень, где пропаганда была неизменно “наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей” и почти всегда сопровождалась инквизиционным пафосом.

Хармсу и Введенскому была чужда не только эстетика сверстников, но и их напористая и панибратская манера вести дискуссию. В то же время сами они вели себя высокомерно и явно ориентировались на традиции футуристов, предусматривавшие эпатаж и “оскорбление публики”. Да только “публики первого ряда, особенно желавшей быть эпатированной” (Блок), больше не было; новое студенчество отличалось (как все недавние провинциалы) самолюбием и обидчивостью, эпатаж воспринимался как “хулиганство” и мог закончиться потасовкой. Но слово “контрреволюция” пока не прозвучало. Шел только 1927 год.

Той же весной, несколько раньше или несколько позже, по свидетельству Бахтерева, в Институте истории искусств состоялось другое чтение “левых классиков”, с участием Заболоцкого и Вагинова. На сей раз вечер прошел более чем удачно: публику составляла профессура. Вечер удостоили посещением и мэтры филологии – Шкловский, Тынянов, Щерба. Все они сдержанно-хвалебно отозвались о молодых авангардистах. Шкловский с удовлетворением отметил, что “прочитанные стихи, все без исключения, взращены отечественной поэзией” и что, если бы Маринетти, как в 1913

году, снова приехал в Россию, “участники “Фланга” заняли бы позицию Хлебникова”. С людьми дореволюционного закала Хармс и его друзья зачастую легче находили общий язык, чем со сверстниками.

3

Главным произведением, над которым Хармс работал с осени 1926 года по февраль 1927-го, была “Комедия города Петербурга”. К марту она была дописана. Тот текст, который дошел до нас, неполон – не хватает первой части, и потому все современные суждения об этой драматической поэме (так разумнее всего называть это произведение) неполны.

И все же многое сказать можно, и многое многими уже сказано…

“Комедия” была написана в то время, когда Хармс испытал короткое, но сильное влияние поэтики Вагинова – на какой-то момент перевесившее и Хлебникова, и туфановскую заумь, и его собственную, уже во многом определившуюся, интонацию. Это влияние было замечено и другими – так, критик Иннокентий Оксенов в статье, посвященной чтениям в Союзе поэтов (Красная газета. 1926. 21 ноября), прямо говорит о фактурном сходстве новых, “незаумных” стихов Хармса с поэзией Вагинова. Но на Хармса оказал ощутимое воздействие не только стиль старшего поэта – близкие для себя стороны он нашел и в мироощущении, и в семантике вагиновских стихов.

Как и Вагинов в своих стихах и романах, Хармс сталкивает “старый Петербург” и “новый Ленинград”, причем не во фронтальной схватке: прошлое постоянно присутствует в настоящем, гости из ино-времени ино-пространства (что для двадцатых годов почти тождественно: ведь мир дореволюционной России как бы продолжается по ту сторону госграницы) наводняют условную современность. Условную – поскольку совершенно пустую, прозрачную, воплощенную лишь клоунской фигурой “комсомольца Вертунова”. Призраки же прошлого разнообразны, и, поскольку бесконечно расширенный “Петербург” включает у Хармса и “пышную Москву” – рядом с Петром Великим и Николаем II, воплощающими великое начало и жалкий конец эпохи, появляется московский барин Фамусов и “камергер Щепкин” – однофамилец актера (московского), который был первым исполнителем роли Фамусова. Прошлое посягает на настоящее, но терпит поражение, причем (характерный отсыл к стереотипам общественного сознания 1920-х – а может быть, и аллюзия на недавнее таганцевское дело) схватка принимает внешнюю форму “заговора” с участием неких бывших “офицеров”. Однако на практике заговорщики лишь исполняют бессмысленные ритуалы и ведут абсурдные диалоги.

Сам момент революционного крушения прошлого тоже пребывает в настоящем, повторяясь в нем. В соответствии с давней традицией “петербургского текста”, восходящей, в частности, к “Олешкевичу” Мицкевича, революцию символизирует Потоп. Водная стихия, грозная и спасительная, станет важной темой и для Введенского, и для Заболоцкого, но именно Хармс первым из обэриутов ввел ее в свою поэзию:

> …и криком воздух оглашая
> ворвется в дом струя большая.
> Дудит в придворные глаза
> в портьеры, в шторы, в образа
> колышет перья, фижмы, пудру
> вертится, трогает струну
> дворцы ломает в пух и к утру
> потоком льется на страну.

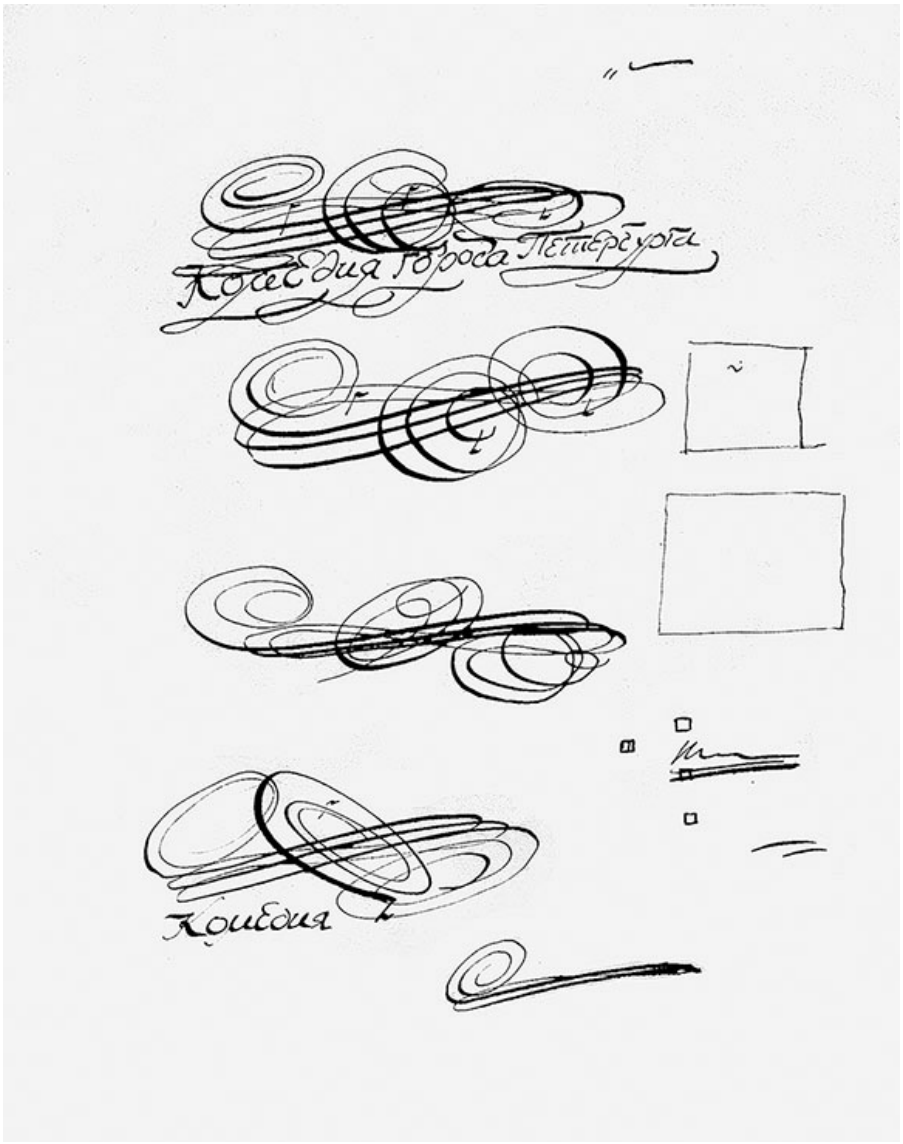
Заболоцкий уже с первых месяцев дружбы расходился с двумя “чинарями” в отношении к теме, сюжету стихотворения. Именно эти расхождения зафиксированы им в первом программном тексте “Мои возражения А.И. Введенскому, авторитету бессмыслицы” (август 1926):

> Строя свою вещь, вы избегаете самого главного – сюжетной основы или хотя бы тематического единства. Вовсе не нужно строить эту основу по принципу старого кирпичного здания, бетон новых стихов требует новых путей в области разработки скрепляющего единства. Вы на ней поставили крест и ушли в мозаическую ломку оматериализовавшихся метафорических единиц[178].

О своих “разногласиях” с Хармсом именно по этому поводу Заболоцкий говорил и Синельникову.

С годами, однако, позиции несколько сблизились. Введенский пришел к “скрепляющему единству” собственным, парадоксальным путем, начиная со стихотворений 1929–1930 годов (которыми открывается лучший период его творчества) – и не случайно некоторые из этих стихотворений посвящены Заболоцкому. Хармс же уже в “Комедии города Петербурга” вместо “отражений несуществующих миров” обращается к конкретной теме, причем теме большой, “исторической”, что Заболоцкому явно импонировало. Политические взгляды поэтов были различны, но у обоих они были лишь проекцией метафизических воззрений в социальную сферу – и, в конце

концов, хармсовскую “Комедию” можно было прочесть двояко – и как антисоветское, и как просоветское, революционное произведение.



“Комедия города Петербурга”. Зарисовки Д. Хармса. Виньетки и заглавие, 1927 г.

Стихотворение Заболоцкого “Восстание” написано “в ответ” Хармсу и отчасти в его стилистике:

Принц Вид, албанский губернатор
и пляской Витта одержим,

поехал ночью на экватор.
Глядит: Албания бежит,
сама трясется не своя,
и вот на кончике копья,
чулочки сдернув, над Невою,
перепотевшею от боя,
на перевернутый гранит
вознесся губернатор Вид.
Все это ставлю вам на вид.

Между прочим, в этой строфе виден еще один источник – общий для Хармса и Заболоцкого (и едва ли ими осознанный). Это “Мистерия-буфф” Маяковского, где революция тоже уподобляется потопу, а в числе действующих лиц появляется “эфиопский негус”, причем белый. Губернатор Албании, расположенной на экваторе, – персонаж явно того же самого ряда.

Одновременно с “Комедией” в 1927 году Хармс пишет лирические стихи, некоторые из которых уже отмечены подлинной зрелостью.

Выходит Мария, отвесив поклон,
Мария выходит с тоской на крыльцо, –
а мы, забежав на высокий балкон,
поем, опуская в тарелку лицо.
Мария глядит
и рукой шевелит,
и тонкой ногой попирает листы, –
а мы за гитарой поем да поем,
да в ухо трубим непокорной жены.
Над нами встают Золотые дымы,
за нашей спиной пробегают коты,
поем и свистим на балкончике мы, –
но смотришь уныло за дерево ты.
Остался потом башмачок да платок,
да реющий в воздухе круглый балкон,
да в бурное небо торчит потолок.
Выходит Мария, отвесит поклон,
и тихо ступает Мария в траву,
и видит цветочек на тонком стебле.
Она говорит: “Я тебя не сорву,
я только пройду, поклонившись тебе”
А мы, забежав на балкон высоко,
кричим: “Поклонись!” – и гитарой трясем.
Мария глядит и рукой шевелит

и вдруг, поклонившись, бежит на крыльцо
и тонкой ногой попирает листы, –
а мы за гитарой поем да поем,
да в ухо трубим непокорной жены,
да в бурное небо кидаем глаза.

“Мария” в этом великолепном стихотворении, датируемом октябрем 1927 года, – загадочное и лукавое воплощение женственности; в этом же качестве она присутствует и в “Комедии…”. Связан ли этот образ с каким-то реальным прототипом? Например, с Эстер?

Эстер в начале 1927-го вышла замуж за соперника Даниила – но ненадолго. 13 мая Хармс записывает: “Узнал о разводе *Esther* с мужем и впервые говорил с ней”. В июле (с 10-го до 18-го) он уезжает с семьей в Детское Село к тетке. Перед отъездом он через Введенского передает Эстер письмо с приглашением приехать. Эстер приглашение приняла, но, приехав в Детское, с Даниилом почти не общалась – “больше с моей мамой да с сестрой моей говорила, а на меня смотрела как на дурака”. Отношения восстанавливались постепенно и драматично – впрочем, вся личная жизнь Хармса еще в течение четырех-пяти лет будет состоять из таких драматичных разрывов, примирений, приступов ревности…

Осенью 1927 года начинается самый насыщенный период короткой литературно-публичной деятельности Хармса. Одновременно начинается и его профессиональная работа в детской литературе. Все это отчасти отвлекает его от любовных переживаний.

4

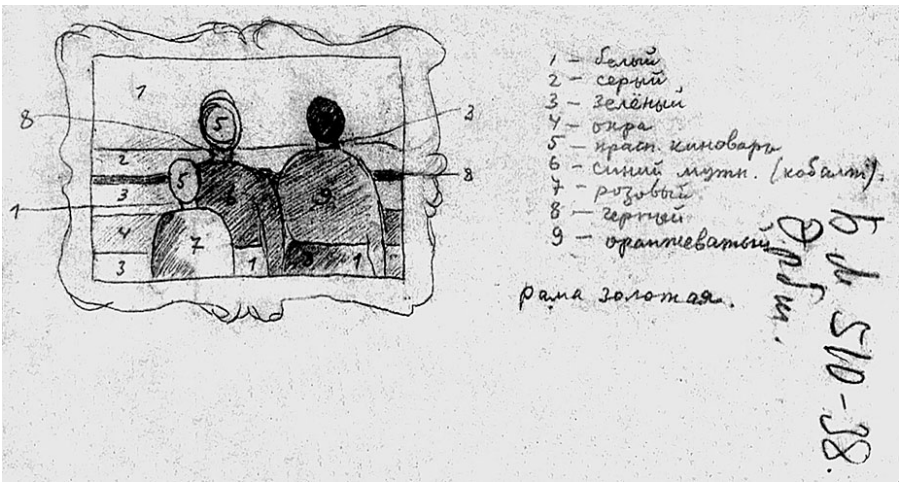
К тому времени “левые классики” стали тяготиться бессмысленными словопрениями и попытались как-то по-другому организовать свою общую деятельность. По инициативе вернувшегося из армии Заболоцкого они стали собираться на “студийные” занятия на квартире у одного из членов группы – чаще всего на Надеждинской. Предполагалось, что каждый будет заниматься собственным творчеством, а потом демонстрировать его результат остальным. Введенский сразу же отказался от участия в этом времяпровождении, резонно заметив, что предпочитает творить у себя дома и в одиночестве. Но и сам Заболоцкий в “студийные” часы по большей части сочинял

шуточные стихи или рисовал карикатуры на товарищей. Это было явно не то, о чем мечталось. Планы обсуждались самые грандиозные – вплоть до возрождения знаменитого в довоенные годы артистического кафе “Бродячая собака” во главе с его основателем Борисом Прониным (давным-давно перебравшимся в Москву). Хармс и его друзья нуждались в площадке для публичных выступлений, в собственном “шоу”. Словесного творчества им было мало.

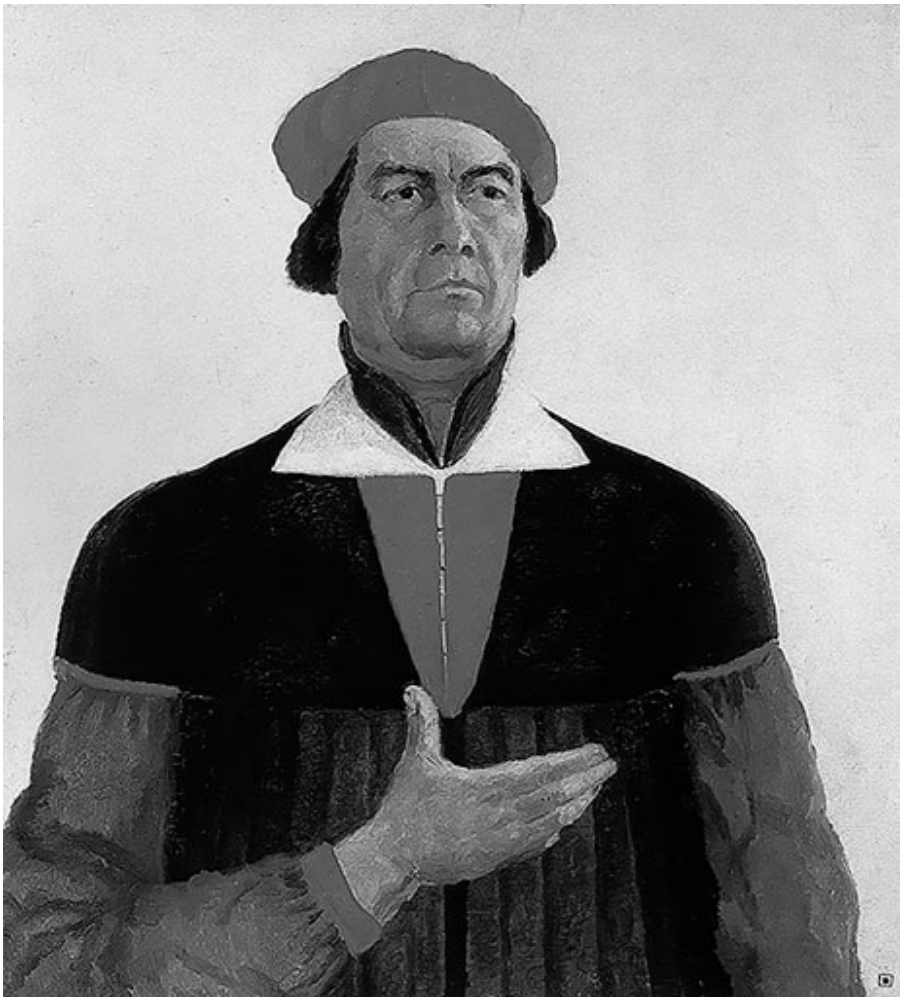
Неожиданно – и ненадолго – обстоятельства сложились благоприятно для них. В октябре 1927 года Хармсу позвонил по телефону Николай Павлович Баскаков, директор Дома печати – “невысокий энергичный человек с большим шишковатым лбом и голубыми глазами”[179]. Приведенная характеристика принадлежит Виктору Сержу, которого с Николаем Павловичем связывало многое. Вероятно, именно он рекомендовал Баскакову Хармса и его друзей. Несколько дней спустя состоялся уже формальный, деловой разговор директора Дома печати с тремя “левыми классиками” – Хармсом, Введенским и Бахтеревым.

Тридцати одного году от роду, Баскаков был старым большевиком, активным участником февральской и октябрьской революций и убежденным троцкистом, из тех, что лишь для виду подчинились решениям XIV и XV съездов, и в то же время – большим поклонником нового искусства. В возглавляемом им Доме печати, профсоюзном клубе газетных журналистов, расположенном в бывшем Шуваловском дворце на Фонтанке (дворец был построен в 1844–1846 годы архитектором Н.Е. Ефимовым в псевдоренессансном стиле), нашла свой приют Школа аналитического искусства Павла Николаевича Филонова – великого антипода и соперника Малевича. Супрематисты и “аналитики” одинаково жестко противостояли и набиравшему силы академическому официозу, и друг другу. Сам Филонов и внешне, и по душевному складу был противоположностью Малевича. Казимир Северинович напоминал художников-патрициев ренессансной эпохи – таким он и запечатлел себя на знаменитом автопортрете: величавый мастер в плаще и красном берете, с гордо поднятой головой. Филонов был иного склада: русский фанатик-аскет, наследник Аввакума, скуластый, с лысеющим узким черепом, с горящими глазами. Таким же разным было их искусство. У Малевича – строгое безумие супрематических композиций, возвращающих зрителя к первоначальным геометрическим формам бытия, а позже – такие же загадочно-лаконичные пахари и жнецы с округлыми белыми лицами без глаз и ртов. У Филонова – мрачное барокко бесконечно разлагающихся, дробящихся, калейдоскопически

светящихся форм. Виктор Серж вспоминал, что Баскаков “прекрасно чувствовал себя там среди призраков, вышедших из мастерской великого художника”[180]. Из друзей Хармса филоновская школа была особенно близка Заболоцкому, подражавшему ей в собственных художественных опытах. Несколькими месяцами раньше именно здесь, на сцене Дома печати, впервые прошел “Ревизор” в поминавшейся уже терентьевской постановке – и оформляли этот спектакль “филоновцы”.



Копия с картины К. Малевича. Страница из записной книжки Д. Хармса.



Казимир Малевич. Автопортрет, 1933 г.

Баскаков щедро предложил молодым авангардистам статус “гостей Дома печати”, наравне со Школой аналитического искусства. Для начала решено было провести большой литературно-театральный вечер и написать несколько установочных статей для журнала “Афиши Дома печати”. Литературные вечера в Доме печати проводила в основном ЛАПП – Ленинградская ассоциация пролетарских писателей. Лапповцы читали еженедельно со сцены Дома печати собственные произведения, в лучшем случае приглашали какого-нибудь московского гастролера из надежных “попутчиков” – вроде Сельвинского или Веры Инбер, или лектора-теоретика (так, 20 января 1928 года по приглашению ЛАППа в Доме печати выступал с лекцией по психологии творчества молодой философ И.И. Презент – будущий сподвижник академика Лысенко).

Отказать им Баскаков не мог по политическим причинам, но явно его душа лежала к другому искусству, и он, возможно, надеялся, что “левые классики” (на чьих публичных выступлениях он пару раз бывал прежде) могут служить хорошим противовесом пролетарским сочинителям.

Директор Дома печати выдвинул лишь одно условие: сменить название. Слово “левый”, еще недавно священное, вызывало нежелательные ассоциации. Едва ли не сложивший оружия сторонник левой оппозиции хотел, чтобы название литературной группы привлекло внимание к его продолжающейся борьбе. “Направленность в искусстве, – дипломатично заметил Баскаков, – следует определять словами собственного лексикона”[181].

Бахтерев утверждает, что новое название, которому суждено было войти в историю литературы, придумано им. Но, судя по записным книжкам Хармса, на нем остановились не сразу. Сперва было трудновыговариваемое “Объединение работников реального искусства”. Потом “работники” отпали. “У” на конце и “э” оборотное были идеей Хармса – попыткой бегства от бюрократического занудства “измов” и включения элемента абсурда, немотивированности, избыточности в само название группы. Не исключено, что в названии содержался и фрондерский намек на всем известную (и в 1927 году вызывавшую лишь легкий страх) аббревиатуру (ОГПУ). Позднее, в афишах, в газетных статьях, мемуарах, название группы писалось по-разному – “ОБЕРЕУ”, “ОБЭРИУ”, даже “ОБЕРЕО”, а ее участники именовались “обереутами”, “обэриутами”, “обериутами”. Часто это было просто результатом слуховой ошибки. Мы будем пользоваться тем написанием, которое предпочитал сам Хармс.

Павел Филонов. Автопортрет, 1925 г.

Вместе со сменой имени окончательно определился и состав. Появились два новых члена – студенты Курсов искусствознания, начинающие киносценаристы и кинорежиссеры Александр Разумовский и Климентий Минц. Как рассказывал Бахтерев, при приеме им пришлось ответить на несколько испытательных вопросов (“где находится ваш нос?”, “ваше любимое блюдо”). Ответы были сочтены достаточно абсурдными, и кинематографисты были приняты в группу. Снова появляется и Дойвбер Левин, почему-то не участвовавший в выступлениях и издательских проектах “левофланговцев” и “левых классиков” с начала года. Где-то на периферии круга время от времени появляются Кацман и Цимбал. Наконец, к молодежи примыкает Вагинов, для которого это было лишь одним из эпизодов его сложной литературной биографии. Ядро же по-прежнему составляют четыре человека – Хармс, Введенский, Заболоцкий и Бахтерев.

Двадцать пятого октября в Доме печати состоялся первый,

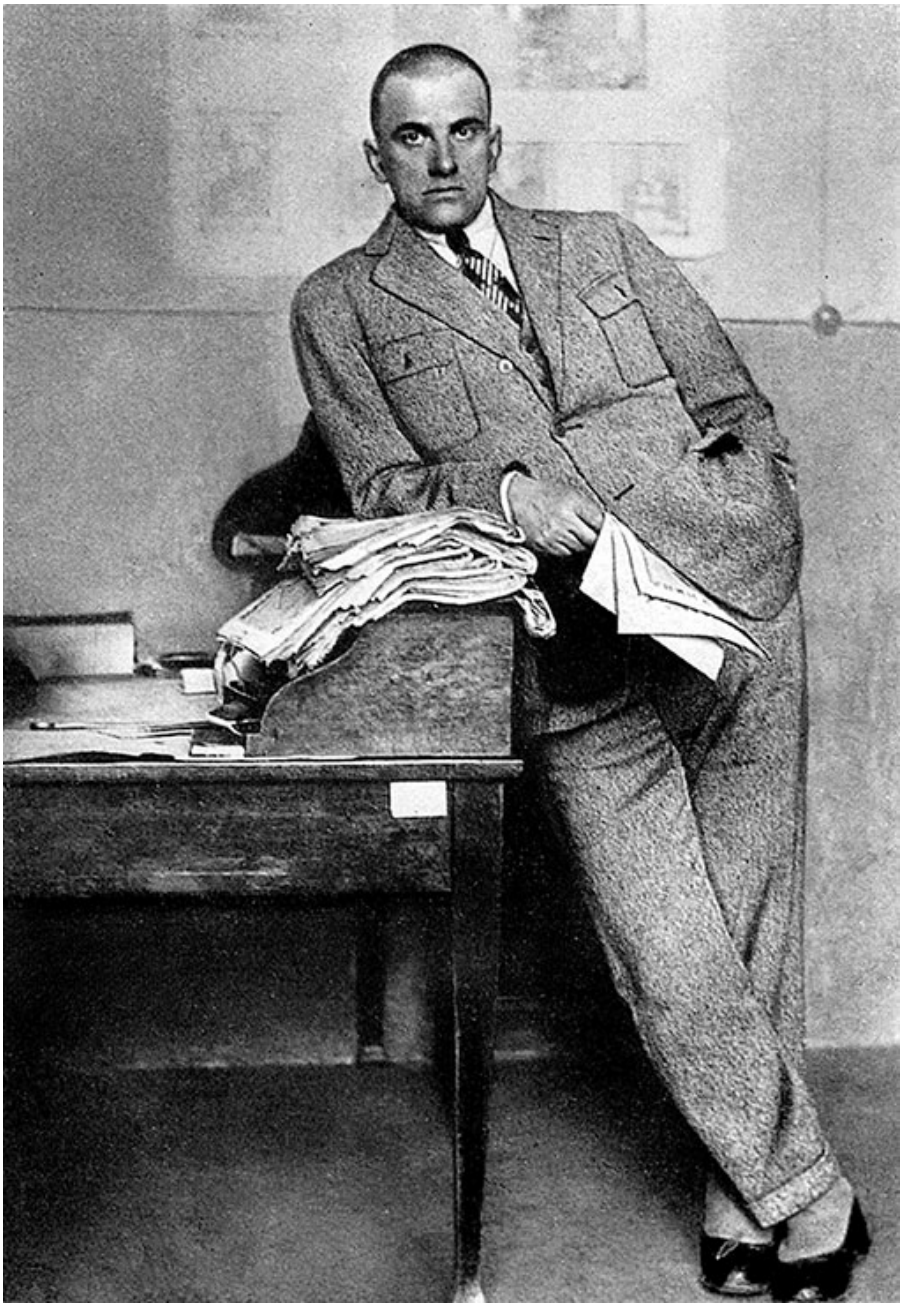
“установочный” вечер, с участием пяти поэтов (в том числе Вагинова). На следующий день обэриуты (мы уже можем так называть их) попытались заявить о себе в более широкой аудитории – на вечере Маяковского в Капелле.

Здание, в котором располагался Дом печати (наб. Фонтанки, 21, угол Итальянской улицы). Фотография Н. Кавина, 1980-е.

Накануне вечера, назначенного на 26 октября, Хармс явился в номер Маяковского в Елисеевской гостинице и попросил разрешения прочитать с эстрады в Капелле декларацию новой литературной группы. Хармс умел расположить к себе собеседника (вспомним его общение с Малевичем). Маяковский согласился предоставить молодому поэту и его друзьям трибуну, даже не утруждая себя предварительным чтением декларации. В начале вечера он заявил, что сейчас выступит “одна довольно интересная молодая группа”. Обэриуты поднялись на эстраду.

По утверждению Бахтерева, в акции участвовали все семь обэриутов, по другим свидетельствам – только Хармс, Введенский и Левин. Манифест (точнее, его черновой вариант, написанный Заболоцким) зачитал Введенский, затем звучали стихи. Аудитория отнеслась к ним с некоторым недоумением, но Маяковскому обэриуты скорее понравились, и он взял у них подборки для “Нового Лефа”. Статья про ОБЭРИУ для этой публикации была специально написана неким “разъездным

корреспондентом” “Комсомолки” (по свидетельству Бахтерева – помянутым выше Клюйковым). Ни стихи, ни статья в журнале так и не появились. Как утверждают, против этого выступил Осип Брик. Рукописи Хармса и Введенского хранились в так называемой “мусорной корзине ЛЕФа” (архиве отклоненных редакцией произведений) и оттуда попали в собрание Н.И. Харджиева (стихи Хармса сохранились, а Введенского – нет).



Владимир Маяковский, 1925–1927 гг.

Шкловский после выступления разочарованно сказал обэриутам: “Эх вы, даже скандала устроить не сумели”. Но скандал был не тем, к чему в данный момент стремились Хармс и его друзья. Они все еще рассчитывали на какую-никакую официальную литературную карьеру и на поддержку

преуспевающих москвичей. Как оказалось, тщетно.

К декларации ОБЭРИУ существует ныне очень разное отношение – во многом именно потому, что она вышла в значительной своей части из-под пера Заболоцкого (разделы, посвященные театру и кино, написаны соответственно Бахтеревым при участии Левина, и Разумовским). Есть мнение, что она отражает лишь творческие позиции этого поэта и ничего не говорит об эстетических взглядах “чинарей”. Подумаем, однако: почему Хармс и Введенский согласились с тем, что именно этот документ будет представлять группу? Возможно, у них самих не было на тот момент связного комплекса идей, который можно было бы предъявить внешнему миру? А может быть, для них важно было увидеть себя именно глазами Заболоцкого? Их поэтики были слишком близкородственными, и их тандем для поддержания равновесия нуждался в “третьем”, несколько отличном от них, свидетеле и собеседнике. Когда эту роль “третьего” не мог больше исполнять Заболоцкий, она во многом перешла к Олейникову. Именно “третий” должен был в данном случае стать манифестантом, посредником между двумя “чинарями” и внешним миром.

Вступление к манифесту – изложение общих для всех левых художников претензий к эпохе, отмеченной отчетливым наступлением соцреалистической эстетики и питающего ее “всесоюзно-мещанского” вкуса.

> Нам непонятно, почему школа Филонова вытеснена из академии, почему Малевич не может развернуть своей архитектурной работы в СССР, почему так нелепо освистан “Ревизор” Терентьева…[182]

Дальше идет изложение собственно эстетических принципов поэтов-обэриутов.

> И мир, замусоленный языками множества глупцов, запутанный в тину “переживаний” и “эмоций”, – ныне возрождается во всей чистоте своих конкретных мужественных форм. Кто-то и посейчас величает нас “заумниками”. Трудно решить, что это такое, – сплошное недоразумение или безысходное непонимание основ словесного творчества? Нет школы более враждебной нам, чем заумь. Люди реальные и конкретные до мозга костей, мы – первые враги тех, кто холостит слово и превращает его в бессильного и бессмысленного ублюдка. В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его.

> Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства. В поэзии – столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с точностью механики. Вы как будто начинаете возражать, что это не тот предмет, который вы видите в жизни? Подойдите поближе и потрогайте его пальцами. Посмотрите на предмет голыми глазами и вы увидите его впервые очищенным от ветхой литературной позолоты…

В последнем случае речь идет, безусловно, о том, что литературоведы называют “остранением”.

Несомненно, что этот прием важен для обэриутов (как и “столкновение смыслов”). Но, конечно, он не исчерпывает поэтики любого из них.

Самое интересное в декларации – характеристики, которые даются отдельным участникам группы:

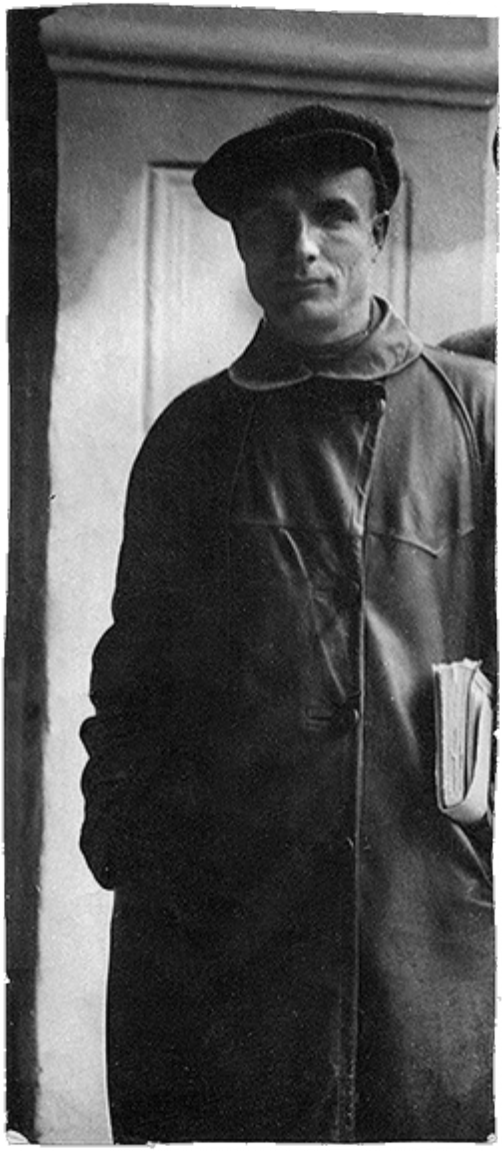
> А. Введенский (крайняя левая нашего объединения) разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей конкретности. Введенский разбрасывает действие на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать до конца, то получается в результате – *видимость* бессмыслицы. Почему *видимость*? Потому что очевидной бессмыслицей будет заумное слово, а его в творчестве Введенского нет…

Кисловато и неопределенно – но Заболоцкий не любил те стихи, которые Введенский писал в 1927 году, да их еще и не за что было особенно любить. Но зато характеристики двух других поэтов поражают проницательностью:

> К. Вагинов, чья фантасмагория мира проходит перед глазами как бы облеченная в туман и дрожание. Однако через этот туман вы чувствуете близость предмета и его теплоту, вы чувствуете наплывание толп и качание деревьев…

> Даниил Хармс – поэт и драматург, внимание которого сосредоточено не на статической фигуре, но на столкновении ряда предметов, на их взаимоотношениях. В момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного смысла.

Хармс как поэт становления, поэт, которого интересуют динамические отношения между предметами, а не предметы как таковые, в этом смысле противоположен самому Заболоцкому – поэту бытия, “поэту голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя”. У Заболоцкого “предмет не дробится, но наоборот – сколачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый встретить ощупывающую руку зрителя”.



Николай Олейников, ок. 1930 г.

Но насколько органичен союз этих поэтов? Не было ли

ОБЭРИУ “*случайным* соединением *различных* людей”? Судя по тому, что автору манифеста приходилось полемизировать с этой мыслью, она многими разделялась и в момент возникновения группы. Идея о том, что ОБЭРИУ – незначительный эпизод в биографии Хармса и Введенского или, в лучшем случае, несовершенная “экзотерическая” презентация эстетических принципов и философских идей, выработанных в закрытом сообществе “чинарей”, вновь обрела популярность среди ученых в 1990-е годы. Старшие по возрасту исследователи опирались в этих суждениях на свои беседы с Друскиным. В самом деле – в середине 1960-х Яков Семенович лишь скрепя сердце, из тактических соображений “санкционировал” представление Хармса и Введенского в печати именно в качестве обэриутов. Ему явно не по душе было, что два его друга войдут в историю литературы в чужой для него, не очень понятной и не очень приятной ему компании. Но кто сказал, что эта компания пришлась бы не по душе самому Хармсу?

Да, ОБЭРИУ просуществовало недолго – по одному счету, два с половиной года, по другому (если принимать в расчет и “Левый фланг”, и Академию левых классиков) – три с половиной. Но если мы вспомним великие поэтические школы предыдущего поколения, мы увидим, что и “Гилея”, и первый Цех поэтов (и составляющая его ядро группа акмеистов) существовали ничуть не больший срок. И поэты в эти группы входили также очень разные, и по масштабу, и по складу таланта: разве между Мандельштамом и Городецким, между Нарбутом и Ахматовой, между Еленой Гуро и Маяковским было больше общего, чем между Вагиновым и Введенским, Заболоцким и Хармсом? К тому же о литературной значимости Дойвбера Левина и позднее примкнувшего к ОБЭРИУ Юрия Владимирова мы вообще не можем адекватно судить: их основные, обэриутские, произведения до нас практически не дошли – между тем, судя по детским стихам Владимирова и поздним, 1930-х годов, реалистическим повестям Левина, оба они были людьми очень талантливыми.

Еще один (и на сей раз значимый) аргумент связан с тем, что членом ОБЭРИУ формально не был Николай Олейников, которого Друскин причисляет к кругу “чинарей”. Но у этого были внешние причины: как член партии и государственный служащий, Николай Макарович не мог участвовать в публичных выступлениях сомнительной в глазах властей литературной группы. Когда в октябре 1927-го на вечере в Капелле Хармс и Введенский пригласили его принять участие в импровизированном чтении, осторожный донской казак

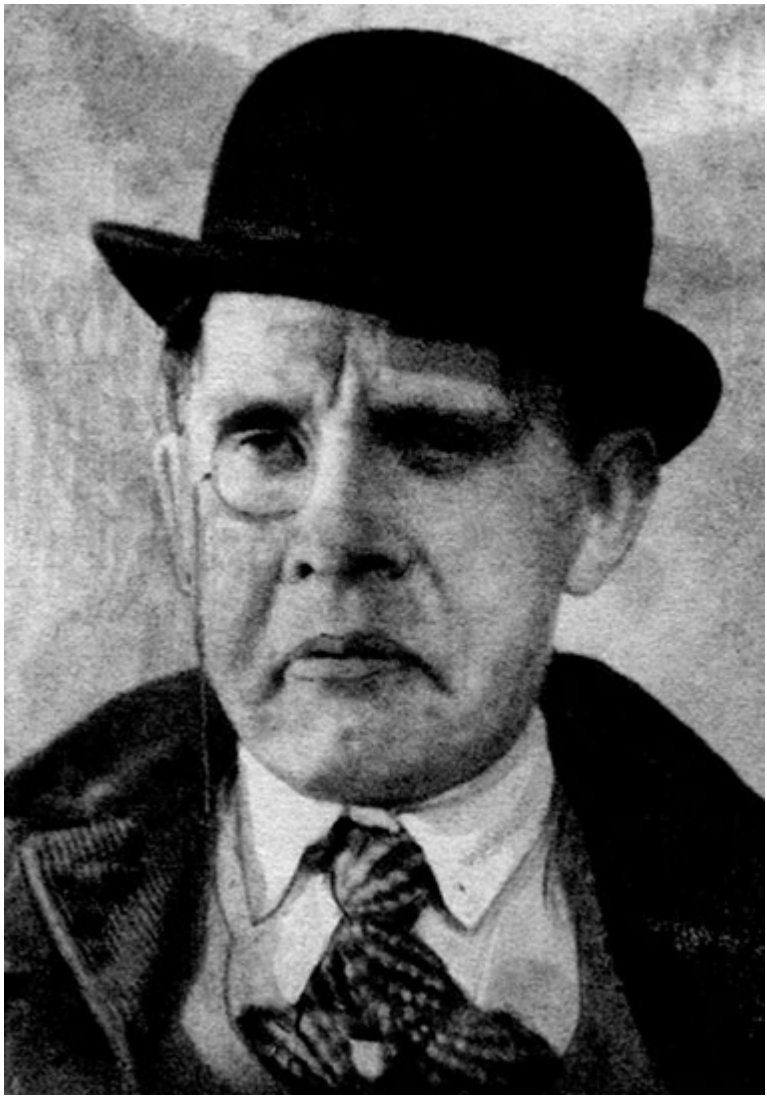
отказался: в зале были “ребята из обкома”, и галантно составил компанию оставшейся в одиночестве Тамаре Мейер. И ни в одном выступлении обэриутов вплоть до 1930 года он не участвовал. Но, судя по всему, он воспринимался членами ОБЭРИУ как свой, как полноправный участник содружества. В таком качестве он описан в уже цитировавшемся рассказе Бахтерева “В лавке старьевщика”. А вот Липавский и Друскин в круг обэриутов никогда не входили. Более того, судя по записным книжкам Хармса, в обэриутские годы и сам он несколько реже, чем прежде, и куда реже, чем после, общается с двумя выпускниками гимназии Лентовской.

Попытку описать поэтику ОБЭРИУ как единое целое предпринимали многие исследователи (от А.А. Александрова до А.А. Кобринского и М.Б. Ямпольского). В самом деле, есть общие черты, присущие всем участникам объединения. Все они бросили вызов привычной антропоцентрической эстетике, стирая грани между большим и бесконечно малым, частью и целым, живым и механическим, общепризнанно высоким и общепринято низким, всем им свойственны, в большей или меньшей степени, элементы алогизма и особый остраняющий юмор. Но, может быть, главная граница, разрушенная ими, – это граница между серьезным культурным жестом и пародией. Именно в этом их принципиальное отличие от “футуристов предыдущего десятилетия”. И именно поэтому в старшем поколении Хармсу были интересны не Маяковский или Пастернак в первую очередь, а Константин Олимпов, ходячая нелепость. Из текстов обэриутов исчез “умный автор”, знающий правила игры и сознательно их нарушающий. За их сюрреалистической поэтикой стоял сложнейший и интереснейший антропологический эксперимент – отождествиться с сознанием полуидиота, ребенка, безграмотного обывателя, отождествиться почти полностью, но все же какими-то дальними уголками ума сохранив способность поражаться причудливым поворотам этого сознания. Именно этому странному и причудливому сознанию, прямому и непредсказуемому по своим ходам, свободному от интеллигентских стереотипов, от интеллигентского умственного этикета, может открыться тот иррациональный, интуитивно постигаемый Порядок, о котором толковали своим друзьям Друскин и Липавский. Социальная мотивация такого выбора была у каждого обэриута различной, но общим было острое неприятие того, что Мандельштам назвал “существованием на культурную ренту”. Даже Вагинов, теснее всех связанный со старым миром, выбирал для себя трагическую судьбу Неизвестного Поэта, а не интеллигента Тептелкина. Хармс позднее, в 30-е годы, в дружеском кругу иногда рассказывал истории из жизни своего

вымышленного брата, приват-доцента Ивана Ивановича Хармса, и потешно изображал его. Может быть, представляемый им “Иван Иванович Хармс”, отвергнутый двойник, – это и был тот благополучный, статусный в прошлом интеллигент, который в новом, послекатастрофном мире пытался делать вид, что ничего не изменилось, что прежние смыслы не поколеблены?

Параллели между творчеством обэриутов и их западноевропейских сверстников были впервые проведены не самими членами ОБЭРИУ и не их друзьями, а врагами. Вот цитата из первой статьи про новую группу, появившейся буквально через несколько дней после “установочного” выступления и манифестации в Капелле:

> Мельчающие и запоздалые эпигоны Хлебникова все еще мечтают о заумной диктатуре в поэзии.
>
> Впрочем, чистота заумных “Авто-ритетов бессмыслицы” подорвана их же крайне туманной и невразумительной декларацией. Здесь они заявляют о своей “общественной актуальности” (!?) Этот термин обязывает нас пересмотреть беспечную уверенность в абстрактности их произведений. Конечно, от внесмысловой поэзии, граничащей с музыкой, смешно требовать содержательности. Но музыку делает тон, а тон заумников выдает их с головой. Эта заумь – не хлебниковское смеющееся или грохочущее лингвистическое творчество дикаря, которому не хватает слов, а расслабленное и юродивое сюсюканье. Хаотический словесный комплекс “реального искусства” состоит из “псевдо-детских” выражений, обломочков домашнего мещанского быта, из бедной, незначительной и вместе с тем претенциозной обиходной речи среднего довоенного гимназиста. Этот гимназист, дожив до нашего времени, в лучшем случае воспринимает из окружающего… футбол и Новую Баварию (темы наиболее “актуальных” стихов). И у него есть духовные родственники за границей – дадаисты: то же внутреннее банкротство, та же зловещая пустота, болезненная гримаса, лишь смешащая “почтеннейшую публику”.



Даниил Хармс в образе вымышленного брата Ивана Ивановича Хармса, бывшего приват-доцента Санкт-Петербургского университета, 1930-е.

Статья “Дадаисты в Ленинграде” была напечатана в журнале “Жизнь искусства” (1927. № 44). Автор ее Дмитрий Толмачев, почти сверстник Хармса (ему было 23 года), тоже принадлежал к кругу сторонников левого искусства – он возглавлял группу “Непокой”, участники которой диспутировали с обэриутами в Доме печати. Не в первый и не в последний раз агрессия против Хармса и его друзей парадоксальным образом исходила именно из лагеря “левых” – “левых” официальных, внутрисистемных. Хотя тон статьи, как и тон непритязательной заметки Иоффе –

Железнова, уже отдает властным металлом, все же ее еще нельзя назвать “литературным доносом” в прямом смысле слова. Автор честно пытается разобраться в неприятной ему поэтике, более того, он озабочен не расправой с конкурентами, а судьбами левого искусства: “ссора содержания с формой, общее идеологически-презрительное или халтурно-утилитарное отношение к ней предали ее в руки заумников”. Никакого ответа на этот выпад со стороны обэриутов не проследовало. Не захотели или не имели возможности?

Дмитрий Толмачев позднее сколько-нибудь значительного места в советской литературе не занял – пробивался эстрадной юмористикой, изредка – детскими книгами. Даже в сравнении с Хармсом он при жизни был аутсайдером, а в историю литературы он (по иронии судьбы) вошел как автор первой статьи про ОБЭРИУ.

Ко времени появления статьи дадаизм уже сыграл свою роль во французской литературе. Восходила звезда сюрреализма. В это же время в Польше начинал писать Галчинский, в Испании – Лорка и Альберти. Про французских сюрреалистов Хармс, как мы уже отмечали, что-то знал, скорее всего, от Виктора Сержа (и еще – от Павла Мансурова), и даже теоретически намечался общий сборник сюрреалистов и обэриутов. Русский парижанин Борис Поплавский испытал сильное влияние сюрреалистской поэтики; окажись он в 1927–1928 годах в Ленинграде, его почти наверняка прибило бы именно к обэриутскому берегу. Но на практике два русла русской литературы по внешним причинам все отдалялись друг от друга, и совсем уж скоро, на рубеже тридцатых, “железный занавес” стал и впрямь непроницаем. К тому времени, впрочем, и деятельность ОБЭРИУ прекратилась.

Но для Хармса эти два-три года не были чем-то случайным. В 1931 году, когда ОБЭРИУ уже было в прошлом, у него появляются важные строки (в стихотворении “Хню”):

> Нам так приятно знать прошедшее.
> Приятно верить в утвержденное.
> Тысячи раз перечитывать книги, доступные логическим правилам.
> Охаживать приятно темные углы наук.
> Делать веселые наблюдения.
> И на вопрос: есть ли Бог? – поднимаются тысячи рук,
> склонные полагать, что Бог – это выдумка.
> Мы рады, рады уничтожить
> наук свободное полотно.
> Мы считали врагом Галилея,

давшего новые ключи.
А ныне пять обэриутов,
еще раз повернувшие ключи в арифметиках веры,
должны скитаться меж домами
за нарушение обычных правил рассуждения о смыслах.

Можно спорить о том, кто эти “пять обэриутов” – Хармс, Введенский, Заболоцкий, Бахтерев… Пятым может быть либо Олейников, либо Левин[183]. Важно то, что и спустя годы Даниил Иванович именует себя и своих товарищей именно так – обэриутами, а не, скажем, “чинарями”.

Еще два года спустя, 24 января 1933-го, когда содружество – то, что от него осталось, – уже распадалось на глазах, когда даже тандем Хармса и Введенского дал трещину, в комнате на Надеждинской было отмечено пятилетие ОБЭРИУ[184]. Точнее – пятилетие вечера в Доме печати. Вечера, получившего название “Три левых часа”.

5

Конец декабря 1927-го и почти весь январь 1928 года заняла подготовка этого вечера. Для Хармса она заключалась в первую очередь в работе над пьесой, которая должна была составить второй, “театральный” час. Первый был посвящен литературе, третий – кинематографу. На нем должен был демонстрироваться фильм Минца и Разумовского “Мясорубка”.

Пьесу, которой суждено было занять уникальное место в истории отечественного и мирового театра, за несколько недель написал Хармс по сценарию, разработанному при участии Бахтерева и Левина. Первоначально она называлась “Случай убийства” или “Случай с убийством”. Окончательное название – “Елизавета Бам” – принадлежит уже самому Хармсу.

В истории литературы не раз бывало, что воистину великие произведения создавались по заказу, в силу стечения обстоятельств или шутки ради. Достоевский брался за очередной роман, чтобы прокормить семью и заплатить долги. Шекспиру заказал “Гамлета” незадачливый заговорщик лорд Эссекс. “Франкенштейн” Мэри Шелли был “страшилкой”, сымпровизированной в непогоду в дружеской компании. Примерно так же обстоит дело с одной из первых и лучших в мировой литературе пьес абсурда.

Ж.-Ф. Жаккар в своей книге о Хармсе находит параллели

между “Елизаветой Бам” и другими пьесами XX века – “Лысой певицей” Ионеско, “В ожидании Годо” Беккета. Эти пьесы написаны двадцатью годами позднее. Не менее выразительны другие параллели – с “Процессом” Кафки, который уже существовал, но не был издан и Хармсу известен быть не мог.

> **Петр Николаевич**. Елизавета Бам, Вы не смеете так говорить.
>
> **Елизавета Бам**. Почему?
>
> **Петр Николаевич**. Потому что Вы лишены всякого голоса. Вы совершили гнусное преступление. Не Вам говорить мне дерзости. Вы – преступница!
>
> **Елизавета Бам**. Почему?
>
> **Петр Николаевич**. Что почему?
>
> **Елизавета Бам**. Почему я преступница?
>
> **Петр Николаевич**. Потому что Вы лишены всякого голоса.
>
> **Иван Иванович**. Лишены всякого голоса.

Как и герой “Процесса”, Елизавета Бам обвиняется в преступлении, которого не совершала, и, как и он, обречена на виновность не только в уголовном, но и в экзистенциальном смысле. Преступления еще нет, но оно должно произойти в результате предъявления обвинения. Елизавету обвиняют в убийстве одного из ее обвинителей, Петра Николаевича Крупернака. Ее “папаша”, защищающий свою дочь, убивает Крупернака на поединке (поединок составляет кульминационную часть спектакля – “Сражение двух богатырей”; в афише она была обозначена как отдельное представление). “Мамаша” Елизаветы немедленно превращается в зловещую мамашу убитого и косноязычно изобличает мнимую преступницу. Убитый-обвинитель возвращается и уводит Елизавету в неизвестность: “Вытянув руки и потушив свой пристальный взор, двигайтесь следом за мной, храня суставов равновесие и сухожилий торжество. За мной”. Неизменный спутник Петра Николаевича, Иван Иванович, время от времени невпопад вспоминает своих многочисленных “деток” и просит “отпустить его”. Может быть, это втянутый в непонятные для него события обыватель, “Иван Иваныч”, человек с улицы? Но всего вернее – просто ожившая “фарлушка”. “Фарлушкой” обэриуты называли какую-нибудь вырванную из контекста и утратившую смысл вещь, неожиданным образом используемую и обыгрываемую в театрализованном представлении. Первая “фарлушка” – обледенелый предмет с торчащими из него непонятными железяками – была найдена Заболоцким и Бахтеревым в Саперном переулке, рядом с

Надеждинской.

Впрочем, такое последовательное изложение драматургической интриги противоречит принципам театра ОБЭРИУ, как они были описаны в декларации (в ее театральной части, принадлежавшей перу Бахтерева и Левина), – “сценический сюжет” должен был “органически вырастать из всех элементов спектакля”, а не закладываться заранее драматургом. В сущности, это было повторение основных принципов “Радикса”. Задачей спектакля было “дать мир конкретных предметов на сцене в их взаимоотношениях и столкновениях”. “Сюжет драматургический, – подчеркивали авторы Декларации, – не встает перед зрителем как стройная сюжетная фигура – он как бы теплится за спиной действия. На смену ему приходит сюжет сценический, стихийно возникающий из всех элементов нашего спектакля”.

Амбиции Хармса как драматурга вступали в противоречие с идеологией нового театра, как ее мыслили себе его друзья. Мы никогда не узнаем, каким был первоначальный коллективный замысел; более того, мы не знаем, как соотносятся между собой текст пьесы и тот реальный спектакль, который был поставлен 24 января в Доме печати.

Тем не менее та “Елизавета Бам”, которая вышла из-под пера Хармса, – произведение не только законченное, но и виртуозное. Абсурд в нем обладает тонкой внутренней мотивацией. Бессмысленные разговоры, которые ведут между собой Елизавета, ее “папаша”, “мамаша” и два гостя, подчинены логике игры: Елизавета пытается обмануть обвинителей, уйти от своей судьбы, они же постоянно, кружными путями возвращаются к ее вине и грозящей ей расплате. В то же время в пьесе явно содержатся литературные реминисценции, поныне разгаданные далеко не полностью, несмотря на обилие работ о Хармсе. Например, в кульминационный момент “схватки двух богатырей” “папаша” произносит монолог, который потом подхватывает и заканчивает его антагонист Петр Николаевич. В ритмической и интонационной структуре этого монолога угадывается другой текст другого поэта, тоже созданный в 1927 году, напечатанный двумя годами позже, но с высокой вероятностью известный Хармсу еще до публикации.

Сравним:

Везде звенят колокола
“Динг-донг” среди равнин,
Венчаться Анна Рэй пошла,
А с нею Эрвин Грин…

…….
– Ложись спокойно, Анна Рэй,
И вздора не мели!
Знать, не видала ты людей
Из северной земли.
Там светит всем зеленый свет
На небе, на земле,
Из-под воды выходит цвет,
Как солнце на стебле,
И все ясней для смелых душ
Замерзшая звезда…
А твой ли я жених и муж,
Смотри, смотри сюда! –
…И легкий треск, и синий звон,
И огоньки кругом,
Зеленый и холодный сон
Окутал спящий дом.
Она горит и слезы льет,
Молиться ей невмочь,
А он стоит, ответа ждет…
Звенит тихонько ночь…

Это Михаил Кузмин, “Форель разбивает лед”, “Шестой удар”. А вот текст Хармса:

Пускай на солнце залетит
крылатый попугай,
пускай померкнет золотой,
широкий день, пускай.
Пускай прорвется сквозь леса
копыта звон и стук,
и с визгом сходит с колеса
фундамента сундук.
И рыцарь, сидя за столом
и трогая мечи,
поднимет чашу, а потом
над чашей закричит:
Я эту чашу подношу
к восторженным губам,
я пью за лучшую из всех,
Елизавету Бам.
Чьи руки, белы и свежи,
ласкали мой жилет…
Елизавета Бам, живи,

живи сто тысяч лет…
<…>
Я пал на землю поражен,
прощай, Елизавета Бам,
сходи в мой домик на горе
и запрокинься там.
И будут бегать по тебе
и по твоим рукам
глухие мыши, а затем
пустынник таракан.
Ты слышишь, колокол звенит
на крыше бим и бам.
Прости меня и извини,
Елизавета Бам.

Сюжеты и стилизованной баллады Кузмина, и пьесы Хармса восходят, в конечном итоге, к “Леноре” Бюргера. За Ленорой (и ее русскими сестрами – Людмилой, Ольгой, Светланой) является мертвый жених, уводя ее к себе в могилу. Мертвый жених, с которым справляет свадьбу Анна Рэй, оказывается дьяволом. Петр Николаевич (в сущности, заранее мертвый, обреченный на гибель) хочет не просто обвинить и покарать Елизавету, а сделать ее своей супругой, поселиться с ней в “домике на горе” (ср. в “Людмиле” Жуковского: “там, за Нарвой, домик тесный…”).

Но есть и другие интересные параллели, связанные с именем героини. О Елизавете Меркурьевне Бем мы уже писали, но добрая и удачливая иллюстраторша детских книг и изготовительница почтовых открыток была не единственной женщиной по имени Елизавета. Отчество Елизаветы Бам вполне абсурдистское: Таракановна (так называет ее Иван Иванович). “Таракан с топором” живет в “домике”, он и должен исполнить приговор. Но если Елизавета – дочь Таракана, то ее “папаша”, чья неудачная попытка спасения дочери в конечном итоге ведет к ее гибели, с этим Тараканом отождествляется. А сама героиня отождествляется… ну, разумеется, с “принцессой Елизаветой”, самозванкой XVIII века, известной под именем “княжна Тараканова”, чья гибель в заточении изображена на картине Флавицкого[185].

Тут уместно вспомнить, что Заболоцкий, переделывая тридцать лет спустя “Белую ночь” (одно из стихотворений, которые он читал на вечере в Доме печати), заменил последнее четверостишие на такое:

Так ночь, подобно самозванке,

Закрыв молочные глаза,
Полощется в консервной банке
И просится на небеса.

Елизавета Дмитриева, 1910-е.

Очевидно, что речь может идти только об одной самозванке – княжне Тараканової. Нет ли здесь отсылки к забытой (в то время) пьесе Хармса? И мог ли Заболоцкий предвидеть ту славу, которую приобретет эта пьеса несколько лет спустя? Едва ли. Он не знал даже, сохранились ли тексты его товарищей по ОБЭРИУ. Но мы знаем, что сам он никогда не забывал тех, кто ушел в “домик на

горе”, в “страну, где нет готовых форм, где все разъято, смешано, разбито”.

Но возможен и еще один поворот мысли, совсем уж неожиданный. Из-за Елизаветы Бам происходит поединок. В 1909 году в Петербурге произошел знаменитый поединок из-за женщины, которую звали Елизавета и которая, как княжна Тараканова, была самозванкой. Конечно, имеется в виду поэтесса Елизавета Дмитриева, скромная школьная учительница, выдававшая себя за полуиспанку-полуфранцуженку, аристократку Черубину де Габриак. Романические отношения Елизаветы-Черубины с Гумилевым и Волошиным привели, как известно, к дуэли между ними, закончившейся, правда, бескровно. Тем не менее один из ее участников, Николай Гумилев, позднее погиб трагической смертью, а сама виновница дуэли как раз в 1927 году была арестована как участница антропософского кружка и выслана в Ташкент. Осенью 1927 года обэриуты сблизились с Маршаком. Между тем Дмитриева (Васильева по мужу) в течение шести лет активно сотрудничала с Самуилом Яковлевичем в детской литературе (об этом подробнее в следующей главе). Естественно, ее арест и высылка не могли не обсуждаться в кругу детских писателей. Есть свидетельства, что, когда год спустя Васильева умерла, сотрудники детской редакции Госиздата, в том числе обэриуты, собирались почтить ее память литературным вечером. Возможно, именно она имеется в виду в стихотворении Введенского “На смерть теософки” (1928).

Подробности же дуэли почти двадцатилетней давности Хармсу мог сообщить… да хотя бы тот же Кузмин, который был секундантом Гумилева и непосредственным свидетелем всей предшествовавшей поединку коллизии. Круг замыкается, но это еще не все: по иронии судьбы полтора года спустя в уже умирающее ОБЭРИУ войдет поэт и прозаик Юрий Владимиров, чья мать, Лидия Брюллова, была ближайшей подругой и конфиденткой Дмитриевой и активной соучастницей мистификации.

В общем, ассоциаций – море…

6

В работе над постановкой участвовало немало людей. Профессиональных актеров среди них, судя по всему, не было. Роль Елизаветы играла Амалия Гольдфарб (Грин), позднее секретарь Леонида Леонова, Ивана Ивановича – актер из театральной самодеятельности Путиловского завода Чарли

Маневич, Петра Николаевича – некто Варшавский, мамашу – профессиональная актриса Бабаева, папашу – Евгений Вигилянский. Зато к музыкальному и художественному оформлению подключились яркие представители молодого ленинградского авангарда.

Музыку написал Павел Вульфиус (1908–1977), однокашник Хармса по Петершуле, поклонник Шенберга и его последователей. Позднее Вульфиус, виднейший музыковед и педагог, профессор консерватории, критически оценивал авангардные увлечения своей юности. Неизвестно, сохранились ли его композиторские опыты.

Оформлять спектакль взялся художник Анатолий (Танхум) Львович Каплан (1902–1980), с которым Хармса и других “левых классиков” познакомил несколькими месяцами раньше Дойвбер Левин. О своей работе над декорациями к спектаклю сам Каплан рассказывает так:

> Декорация в пьесе была только одна: “Небольшая и неглубокая комната”, как сказано в ремарке. Художнику здесь, как говорится, не развернуться. Но Даниил сказал мне, что декорация должна быть динамической. Комната, по его мысли, должна была меняться в зависимости от характера действия. Например, когда один из персонажей бежит вглубь комнаты со словами “кубатура этой комнаты нам неизвестна” – сценический павильон должен был меняться в своем размере.
>
> Мне эта мысль понравилась.
>
> По ходу действия два обычных действующих лица с самыми обычными именами превращаются в рыцарей и начинают поединок на шпагах, Тут я предложил, к удовольствию автора пьесы, чтобы и комната изменилась до неузнаваемости, приобрела вид почти средневековый, оставаясь в то же время обычной комнатой <…>
>
> Как же решить подобную задачу в оформлении спектакля? Сцена небольшая, а художественно-материальные средства для оформления спектакля – более чем скромные.
>
> Мне сразу было очевидно, что традиционный интерьер в данном случае непригоден.
>
> Я предложил, чтобы декорация состояла из сочетания плоскостных и объемных форм, условных и в то же время – в своем сочетании – дающих ощущение бытовой подлинности.
>
> Мое предложение было принято автором пьесы и

всеми обериутами, а наброски эскизов – одобрены…[186]

Работа Каплана над декорациями была прервана, по-видимому, по его собственной инициативе. В это время он учился в Академии художеств у “реалиста старой закалки” А.А. Рылова, который к его дружбе с “левыми” писателями отнесся неодобрительно… И, вероятно, молодой художник решил не рисковать. Во всяком случае, его имени на афише не значилось (автором художественного оформления спектакля там назван Бахтерев), а замысел его в существеннейших деталях, вероятно, так и не был осуществлен.

Тем не менее дружба Каплана с обэриутами продолжалась, а отчасти – и творческое сотрудничество. В середине 1930-х он иллюстрировал детгизовские книги Разумовского и Левина. Расцвет его творчества наступил позднее, в 50–70-е годы. В это время Каплан занял вакансию еврейского национального художника, единственного разрешенного (и даже предписанного по негласной разнарядке) в СССР. (Во многом его судьба сходна с судьбой Левина, чьи “официальные” произведения 1930-х годов также связаны с еврейской тематикой.) При этом во всех произведениях Каплана (будь то иллюстрации к произведениям Шолом-Алейхема и Менделе Мойфер-Сфорима[187], станковые и прикладные работы на темы старого местечкового быта или даже панно, посвященные счастливой жизни биробиджанских колхозников) жив дух авангарда двадцатых годов. Более того, во многих из них есть элементы, прямо напоминающие о его короткой дружбе с обэриутами. Например, на одной из картин пожилые супруги стоят перед гробом, в котором лежат… часы. Деталь, как будто сошедшая со страниц Хармса.

Рекламный плакат предстоящего вечера создали “гинхуковцы” – Ермолаева и Юдин. Согласно описанию Бахтерева, “плакат выглядел небольшой вырезкой из огромного, вернее сказать, исполинского плаката. Естественно, что на такую афишу могли попасть только отдельные буквы-великаны, только обрывки многометровых слов. Они-то и служили фоном для наших печатных афиш, казавшихся крохотными листочками”[188].

Сами афиши печатались под наблюдением “четверки”, в которую входили Заболоцкий, Хармс, Разумовский и Бахтерев.

> Вместе с типографщиками мы, к их удивлению, выбирали вышедшие из употребления, однако красивые шрифты, вместе размещали текст, даже вмешивались в дела расклейщиков: по предложению Николая помещали две афиши рядом – одна как полагается, другая – перевернутая[189].

Использовались и более эксцентричные способы рекламы. Хармс и Минц разгуливали по Невскому в “рекламных пальто”, украшенных лозунгами:

$2 \times 2 = 5$

Обэриуты – новый отряд революционного искусства!

Мы вам не пироги!

Придя в наш театр, забудьте все то, что вы привыкли видеть во всех театрах!

Поэзия – это не манная каша!

Кино – это десятая муза, а не паразит литературы и живописи!

Мы не паразиты литературы и живописи!

Мы обэриуты, а не писатели-сезонники!

Не поставщики сезонной литературы!

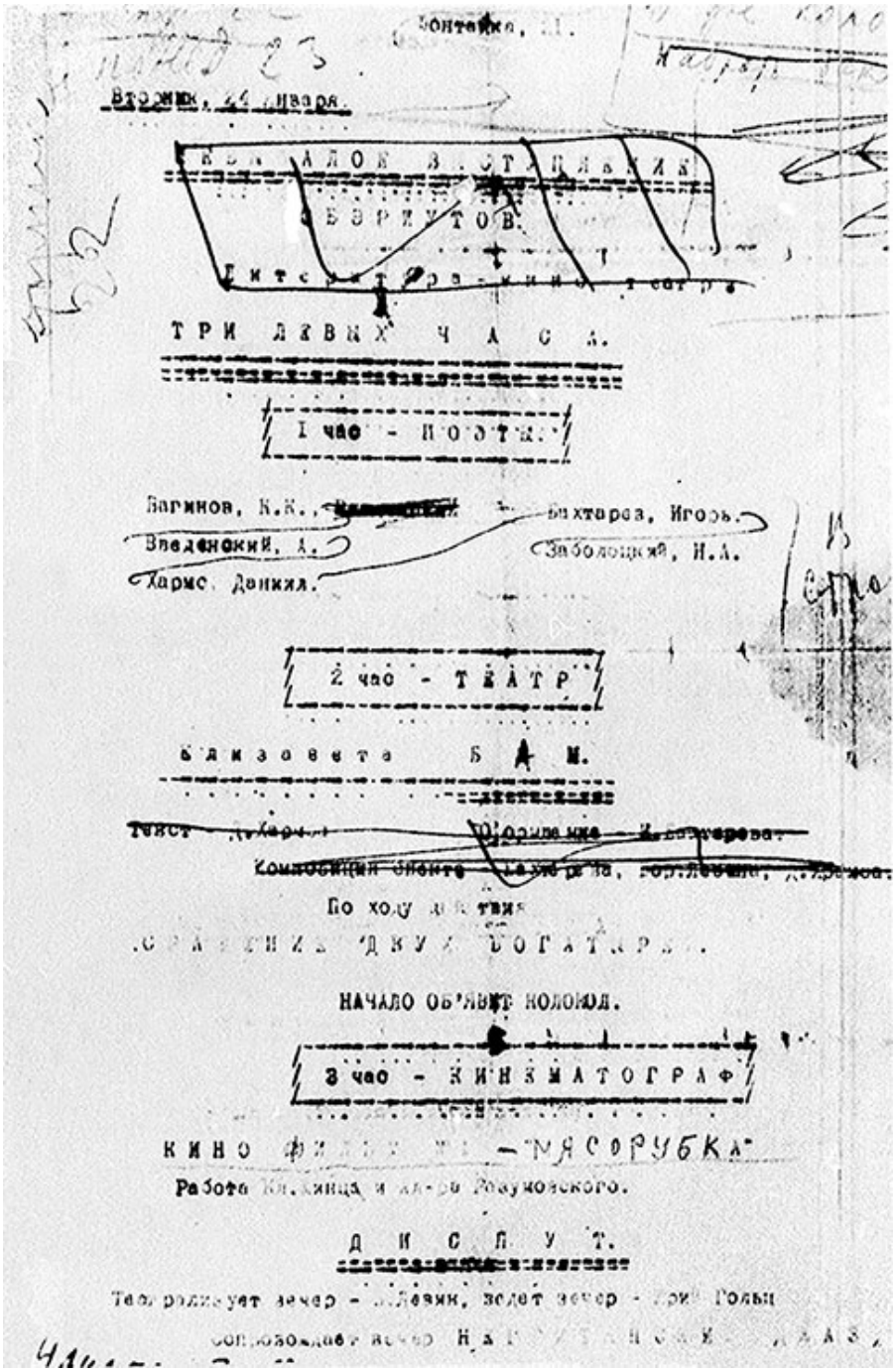
Лозунг “Мы не пироги”, вероятно, означал первоначально противопоставление собственной незаурядности тривиальной житейской прозе, которую символизировала любая общедоступная пища. (Годом раньше Хармс, разочаровавшийся в наркотических средствах, выразил это разочарование так: “Эфир – это курица наоборот”.) Вскоре он, однако, приобрел другой, грустный смысл. В тридцатые годы плакат, висевший в комнате Хармса, по некоторым источникам, гласил: “Мы не пироги, нас нельзя сажать”.

Но, несмотря на все усилия, за первую неделю не удалось продать ни одного билета. Администрация Дома печати была заметно разочарована; выдача подотчетных сумм, сперва щедрая, прекратилась. Между тем время поджимало. В ночь с 23 на 24 января Минц и Разумовский заканчивали монтаж фильма, а Бахтерев и Заболоцкий (больной гриппом) докрашивали и доклеивали декорации. Введенский участвовал в разработке сценария вечера, но (к раздражению Заболоцкого) практически устранился от участия в организационных хлопотах, ограничившись размещением афиш в университете, Институте истории искусств, театрах и кинематографах. Не принимал участия в подготовке вечера Вагинов. Зато его ожидал некий сюрприз.

Ни с какими цензурными запретами обэриуты поначалу не сталкивались. Но времена уже менялись. За несколько дней до вечера выяснилось, что у реперткома есть претензии к одному из текстов Бахтерева. Только благодаря хлопотам Баскакова вечер не был отменен.

Утром 24 января билетов было продано всего на несколько рублей. Но к семи часам у Дома печати собралась такая толпа,

что кассы не успевали обслужить всех желающих попасть на вечер. Начало вечера пришлось отложить на два часа. Аншлаг был полной неожиданностью и для администрации Дома печати, и для участников вечера. Публика сама вела себя по законам абсурда. Явились и маститые филологи-формалисты, и студенты Высших курсов искусствознания, и, конечно, Липавский и Друскин. Из семьи Ювачевых пришла только Лиза.



Эскиз-черновик афиши вечера “Три левых часа”, 1928 г.

В последний момент выяснилось, что обэриуты не успели подготовить и разучить вступительное слово, которое должны были “на несколько голосов” произнести Хармс, Заболоцкий,

Введенский и Бахтерев. Важно было показать, что ОБЭРИУ – “содружество равных, без первой скрипки”. В итоге решено было выпустить на сцену одного Бахтерева и предложить ему импровизировать. Выбор остановился на самом младшем из членов ОБЭРИУ, который к тому же выглядел еще моложе своих лет – никому не пришло бы в голову принять его за лидера группы. Бахтерев произнес туманно-бессмысленную речь, взяв за образец монолог Зангези в хлебниковской сверхдраме (пятью годами раньше 15-летний Игорь присутствовал на знаменитой постановке “Зангези” в ГИНХУКе). Потом началось чтение.

Существует немало описаний первого (литературного) часа. Вот некоторые из них:

> …Хармс выезжал на черном лакированном шкафу, который передвигали мой брат и его приятель, находившиеся внутри его. Даниил стоял на верхотуре подпудренный, бледнолицый, в длинном пиджаке, украшенном красным треугольником, с висюльками, стоял как фантастическое изваяние или неведомых времен менестрель. Он громогласно, немного нараспев читал “фонетические” стихи. Вдруг, достав из жилетного кармана часы, он попросил соблюдать тишину и объявил, что в эти минуты на углу Проспекта 25 октября (так тогда назывался Невский) и улицы имени 3 июля (так называлась Садовая) Николай Кропачев читает свои стихи.
>
> Действительно, тем временем поэт, а в первую очередь кочегар торгового флота Кропачев, удивлял бормотанием прохожих. Он успел вернуться до антракта и исполнил крохотную роль нищего в спектакле.
>
> Прибывшего вытолкнули на сцену, объяснив, что за джентльмен раскланивается перед публикой. Раздались выкрики – требовали повторить уличное выступление. Однако выполнить требование мы не могли, слабые стихи Кропачева не проходили цензуру. А на афише его фамилия все же фигурировала, только перевернутая вверх ногами[190].

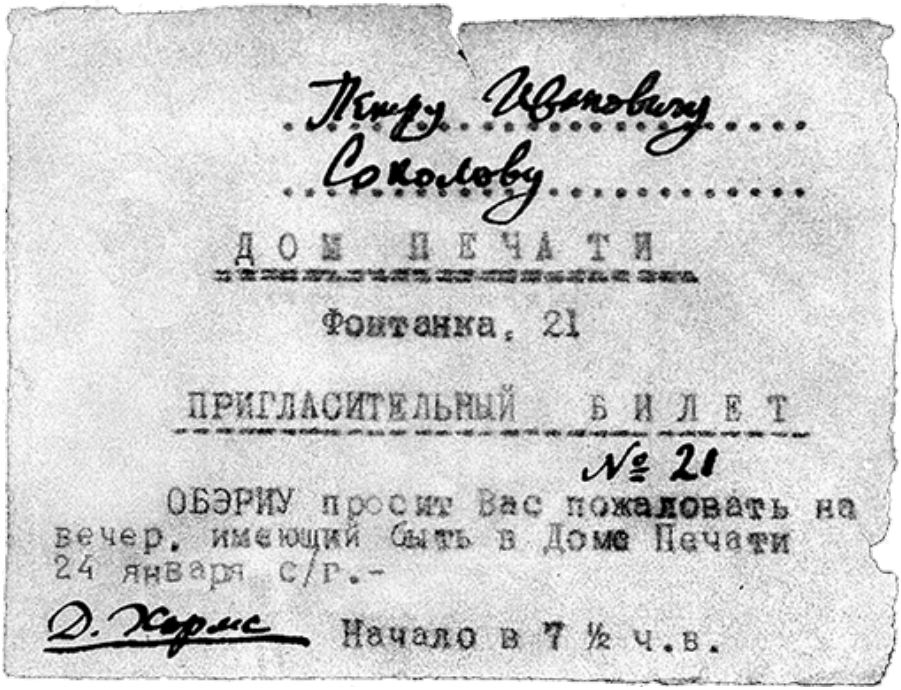
Шкаф, на котором приехал Хармс, был перед этим задействован в терентьевской постановке “Ревизора” – шкаф заслуженный, можно даже сказать, что многоуважаемый.

Это воспоминания Бахтерева. Сам он читал так:

> Вышел на сцену… в задранных выше щиколотки узеньких брючках из чертовой кожи, но и в шикарных

лакированных джимми, привезенных приятелем из Лондона… Закончил, к великому изумлению зрителей, продемонстрировав умение не сгибаясь падать на спину (некоторое время я занимался в акробатической школе…). После чего, выключив свет, те же рабочие сцены (мой брат и его приятель) вынесли меня, подняв высоко над головой, при свечах, под фальшивое пение скрипки[191].

Афиша вечера “Три левых часа”. Шрифтовая композиция В. Ермолаевой и Л. Юдина, 1928 г.


Тов. Ивановой
Соколову
ДОМ ПЕЧАТИ
Фонтанка, 21
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
№ 21
ОБЭРИУ просит Вас пожаловать на вечер, имеющий быть в Доме Печати 24 января с/г.-
Д. Хармс
Начало в 7 ½ ч.в.

Пригласительный билет на вечер “Три левых часа” на имя художника П.И. Соколова, 24 января 1928 г.

Другое описание содержится в единственном печатном отклике на вечер – в статье Лидии Лесной[192] “ЫТУЕРЕБО”, напечатанной в вечернем выпуске “Красной газеты” за 25 января.

> …Вчера в “Доме печати” происходило нечто непечатное. Насколько развязны были Обереуты… настолько фривольна была и публика. Свист, шиканье, выкрики, вольные обмены мнений с выступающими.
>
> – Сейчас я прочитаю два стихотворения, – заявляет Обереут.
>
> – Одно! – умоляюще стонет кто-то в зале.
>
> – Нет, два. Первое длинное и второе короткое.
>
> – Читайте только второе.
>
> Но Обереуты безжалостны: раз начав, они доводят дело до неблагополучного конца.
>
> …Клетчатые шапки, рыжие парики, игрушечные лошадки. Мрачное покушение на невеселое циркачество, никак не обыгранные вещи.
>
> Футуристы рисовали на щеках диезы, чтобы
>
> – Эпатировать буржуа.
>
> В 1928 году никого не эпатнешь рыжим париком и

пугать некого.

Толмачев если не все, то очень многое понимал – и ненавидел. Лидия Лесная искренне ничего не понимала. Зла обэриутам она не желала. Стихи Заболоцкого ей, собственно говоря, даже понравились.

Еще одно описание – в романе Вагинова “Труды и дни Свистонова” (1931):

> Сначала вышел мужчина, ведя за собой игрушечную лошадку, затем прошелся какой-то юноша колесом, затем тот же юноша в одних трусиках проехался по зрительному залу на детском зеленом трехколесном велосипеде, затем появилась Марья Степановна.
>
> – Стыдно вам, Марья Степановна! – кричали ей из первых рядов. – Что вы с нами делаете?
>
> Не зная, зачем, собственно, она выступает, Марья Степановна ровным голосом, как будто ничего не произошло, прочла свои стихи[193].

Но это, разумеется, художественный текст, а прототип Марьи Степановны, рискнувшей “безупречной десятилетней литературной карьерой” ради участия в шутовском вечере, – сам Вагинов.

Выйдя на сцену, Константин Константинович начал в своей обычной манере читать “Поэму квадратов”, одно из лучших своих стихотворений:

> Да, я поэт трагической забавы,
> А все же жизнь смертельно хороша,
> Как будто женщина с линейными руками,
> А не тлетворный куб из меди и стекла, –

не догадываясь, что за спиной у него, в пачке и на пуантах, выделывает балетные па Милица Попова. Зато зал был доволен.

Заболоцкий вышел на эстраду в военной форме (в которой он, впрочем, ходил постоянно после демобилизации – гражданским костюмом обзавестись еще не успел). Рядом с ним на сцене была водружена некая “фарлушка”, покрашенная в цвет хаки. Как и Вагинов (и в отличие от других поэтов), он явно понравился публике.

По утверждению Бахтерева, театральный “час” прошел безукоризненно – если не считать того, что театральный критик и директор театра “Мюзик-холл” М.Б. Падво ворвался за кулисы,

требуя немедленного прекращения спектакля. Когда его не послушали, Падво пригрозил позвонить в НКВД и выполнил свою угрозу. Однако “разговор длился недолго, после чего маститый редактор[194] приутих”. (Падво впоследствии был арестован по “кировскому делу” и погиб в 1937 году.) Об этом же свидетельствует Елизавета Ювачева-Грицына. В каждом перерыве она бегала звонить домой, маме. Бедная Надежда Ивановна опасалась, что “Даню побьют”. Однако все обошлось. И только Анна Ивантер рассказывала С. Шишману, что публика была недовольна, кто-то швырялся “заранее припасенными гнилыми овощами”; после спектакля, по ее словам, раздались лишь отдельные “жидкие хлопки” – и многие, не дожидаясь продолжения, ушли.

Кинематографический “час” начался выступлением Минца – в шлепанцах и в халате! – зачитавшего написанные Разумовским “Вечерние размышления о путях кино” – по существу, видимо, соответствовавшие соответствующей части декларации ОБЭРИУ:

> Кино как принципиально-самостоятельного искусства до сего времени не было. Были наслоения старых “искусств” и, в лучшем случае, отдельные робкие попытки наметить новые тропинки в поисках настоящего языка кино. Так было…
>
> Теперь для кино настало время обрести свое настоящее лицо, найти собственные средства и свой, действительно свой язык. “Открыть” грядущую кинематографию никто не в силах, и мы сейчас тоже не обещаем этого сделать. За людей это сделает время.
>
> Но экспериментировать, искать пути к новому кино и утверждать какие-то художественные ступени – долг каждого честного кинематографиста. И мы это делаем[195].

Разумовский и Минц отрицали сюжетность, фабульность в кино. “Нам не важен сюжет, важна атмосфера заснятого нами материала”, – подчеркивали они. Тем не менее пафос “фильма № 1 “Мясорубка”, который должен был открывать целую серию антивоенных фильмов, был достаточно простым и прозрачным в сравнении с той же “Елизаветой Бам”. Сперва – долгий кадр, бесконечные ряды движущихся вагонов. Потом – батальные сцены, “кинематографические кадры стали все короче и короче, в этой кошмарной батальной мясорубке превращаясь в “фарш” из мелькающих кусочков пленки. Тишина. Пейзаж – вместо паузы. И снова поехали нескончаемые товарные поезда с солдатами”.

“Три часа” вылились в пять. Стоял второй час ночи, но

публика не поддержала предложение администратора Вергилесова перенести обсуждение на другой день. Сведущего в марксистской казуистике Цимбала, который должен был вести диспут, не было, и роль председательствующего выпала Введенскому.

Если верить Лесной, ораторы были суровы к участникам вечера:

> – Я сказал бы свое мнение об Обереутах, – произнес представитель Союза поэтов, – но не могу: я официальное лицо, и в зале – женщины.

Но, по словам Бахтерева, прозвучало и немало одобрительных слов – особенно в адрес Заболоцкого и Вагинова. “Почти каждый выступавший произносил слово “талантливо”[196]. Разошлись под утро, часов в шесть.

Хармс и его друзья могли торжествовать: это был успех, несколько скандальный, но настоящий. Их опыты, еще вчера известные только узкому кругу, стали фактом истории литературы. Появился обэриутский театр – и, что важнее, появился обэриутский стиль, особая, доселе не виданная форма саморепрезентации, поведения, юмора. Все это было предъявлено широкой публике и по меньшей мере заинтересовало ее.

Казалось, теперь-то все начинается, начинается по-настоящему. Но уже через три недели начались события, роковым образом повлиявшие и на судьбу ОБЭРИУ, и на личную жизнь Даниила Хармса.

7

Пятнадцатого февраля был арестован Николай Баскаков. Ему было предъявлено обвинение в подпольной троцкистской деятельности. Подобные обвинения в течение последующих десяти лет предъявлялись такому количеству вполне лояльных режиму граждан, что невольно возникает соблазн счесть их и на этот раз облыжными. Но это не так. Баскаков действительно был одним из руководителей подпольной троцкистской организации, действовавшей в Ленинграде. Другим ее руководителем был Виктор Кибальчич.

Повод к аресту был следующий. В январе 1926 года на ленинградских заводах появились листовки, “требующие… освобождения арестованных и прекращения высылок лидеров оппозиции”[197]. Если верить материалам следствия, в феврале 1928 года появились новые листовки на ту же тему, “в заметно

большем количестве”. Возможно, повторное появление листовок было провокацией. В действительности участники группы, в которую, кроме Баскакова и Виктора Сержа, входили А.Л. Бронштейн, завуч бывшей Петершуле, профессор агрономии Н.И. Карпов, социолог Г.Я. Яковин, директор Лесного института Ф.И. Дингельштельдт, бывший редактор “Красной газеты” В.Н. Чадаев, держались в стороне от текущей политической деятельности “в расчете на будущее”. Группа собиралась в одном из номеров “Астории” и вела теоретические дискуссии. Дальше дело не шло. По крайней мере, это следует из мемуаров Сержа.

Тем не менее никто из перечисленных не проходил по делу вместе с Баскаковым (позднее все они, кроме Виктора Сержа, погибли насильственной смертью – в основном во время Большого Террора). В деле явно идет речь о другой группе, собиравшейся у Баскакова в I Доме Советов. Арестовано было 38 человек, осуждено 15. Большинство признали свою вину; Баскаков “после неоднократных допросов… признал свое участие в подпольной антисоветской работе и принадлежности к руководящему центру… В то же время он заявил, что давать какие-либо показания по сути дела он не намерен, т. к. это дело не ГПУ, а партийной организации”[198]. Подобное поведение в 1928 году было своего рода донкихотством, героическим анахронизмом.

Баскаков был выслан на три года в Сибирь, в город Камень. Хармс знал его адрес и, судя по всему, переписывался с ним. Потом он жил в Саратове, на родине предков Хармса по женской линии, где и был вторично арестован в 1933 году. По официальным данным, он умер в лагере в 1938 году – после уже третьего по счету ареста. Кибальчич тоже ожидал худшего, но отделался в конечном итоге исключением из партии. Однако неожиданно маховик власти обрушился на его безобидного тестя.

Александр Иванович Русаков с семьей владел двумя просторными комнатами в коммунальной квартире на улице Желябова. В конце двадцатых квартирный вопрос продолжал все больше портить советских людей. На сей раз жертвами стали обладатели слишком большого (больше одной) количества комнат, а особенно – ответственные квартиросъемщики, которых обвиняли в спекуляции жилплощадью. “Дело Русакова”, по-видимому, было обычным коммунальным скандалом, но приобрело политическую окраску. Кибальчич не без основания видел здесь руку ГПУ.

Некая Сверцева, член ВКП(б), явилась к Русакову в сопровождении “представителей общественности” и заявила права на одну из его комнат. Разговор шел на повышенных тонах,

и в конце концов Сверцева с кулаками бросилась на Любовь, дочь Русакова и жену Кибальчича, и избила ее до крови. К хулиганке применили силу и вытолкали ее прочь. В тот же день Русакову предъявили обвинение в покушении на члена партии, выгнали его с работы и из профсоюза. На предприятиях организованы были митинги, участники которых требовали для “капиталиста Русакова” смертной казни. Собственную несдержанность Сверцева сперва объясняла тем, что обнаружила: у Русакова “вся стена в иконах” (это, видимо, считалось достаточным основанием для любых бесчинств), пока не выяснилось, что Александр Иванович – еврей.

Кибальчич в это время находился под Москвой. Он сопровождал Панаита Истрати, французского писателя румынского происхождения, колоритного бытописателя с богатой событиями биографией, считавшегося “балканским Горьким”. Истрати в то время увлекался левыми идеями и в качестве дружественного западного писателя был приглашен в СССР. Страна победившего социализма разочаровала его, и по возвращении в Париж он написал о ней разоблачительную книгу – “К иным огням”. Это была первая в этом роде неудача агитпропа; вторая, с Андре Жидом, последовала семь лет спустя. Общение с Кибальчичем и совместные с ним хлопоты за Русакова очень способствовали перемене взглядов “балканского Горького”.

Вмешательство знатного иностранца помогло. Компания по травле старого шапочника утихла, и суд вынес ему оправдательный приговор. Правда, приговор этот был обжалован, Русакова судили снова, на сей раз дали ему условный срок. Тянулось дело целый год, и весь этот год Александр Иванович состоял на положении “лишенца” – без заработка и без продуктовых карточек. В профсоюзе его в конце концов восстановили, но устроиться на работу он еще долгое время не мог.

Именно в этой обстановке 5 марта 1928 года Хармс и Эстер Русакова регистрируют свой брак. Для Эстер это, видимо, было связано с практическими соображениями – положение замужней женщины могло защитить ее от высылки вместе с родителями. При этом, разумеется, и 22-летний Хармс, и его 19-летняя жена были меньше всего приспособлены к семейной жизни.

Уже 27 июля Хармс записывает:

> Кто бы мог посоветовать, что мне делать? Эстер несет с собой несчастие. Я погибаю с ней вместе. Что же, должен я развестись или нести свой крест? Мне было дано избежать этого, но я остался недоволен и просил

> соединить меня с Эстер. <…> Я был сам виноват или, вернее, я сам это сделал. Куда делось ОБЭРИУ? Все пропало, как только Эстер вошла в меня. С тех пор я перестал как следует писать и ловил только со всех сторон несчастия. <…> Если Эстер несет горе за собой, то как же могу я пустить ее от себя. А вместе с тем, как я могу подвергать свое дело, ОБЭРИУ, полному развалу. <…> Эстер чужда мне как рациональный ум. Этим она мешает мне во всем и раздражает меня. Но я люблю ее и хочу ей только хорошего. Ей, безусловно, лучше разойтись со мной, во мне нет ценности для рационалистического ума. Неужели же ей будет плохо без меня? Она может еще раз выйти замуж и, может быть, удачнее, чем со мной. Хоть бы разлюбила она меня для того, чтобы легче перенести расставание! <…> Раба Божия Ксения, помоги нам!

Если любовь Введенского к Тамаре Мейер была связана с его творчеством, то для Хармса Эстер воплощала начало, противоположное поэзии, театру, ОБЭРИУ. Он чувствовал, что брак мешает его работе. Возможно, дело было и в том, что как раз в это время Хармс неожиданно для себя получил признание и возможность заработка как автор детских стихов и рассказов. Очевидно, в глазах “рационально мыслящей” и притом равнодушной к литературе Эстер обэриутские вечера и встречи были пустой тратой времени, отвлекающей Хармса от оплачиваемой работы для Детиздата.

Но, разумеется, никакого развода не было. Осенью Хармс, разделяя семейные неурядицы, бегает по адвокатам и в ГПУ (записи об этих хлопотах есть в его записных книжках). Зимой горе приходит в семью Ювачевых. В конце 1928 года в записной книжке Хармса появляется короткая запись: “Приснилось, что умерла мама. Очень испугался”. Надежда Ивановна болела давно. У нее был туберкулезный процесс, и в последнее время она простужалась, даже выйдя из комнаты в коридор своей квартиры. Но когда 18 февраля 1929 года она умерла, Хармс принял ее смерть со спокойствием, шокировавшим даже циничного Введенского. Что это было? Инфантильное отстранение от всякого горя и страдания – или культивировавшееся в двадцатые годы отсутствие сентиментальности? Скорее первое, чем второе. “А отец заспорил со священником, который отпевал умирающую или приходил ее соборовать. Заспорил на религиозно-философские темы. Священник попался сердитый, и оба подняли крик, стучали палками, трясли бородами…”[199]

Вот один артист любил свою мать и одну молоденькую полненькую девицу. И любил он их разными способами. Он отдавал девице большую часть своего заработка. Мать частенько голодала, а девица пила и ела за троих. Мать артиста жила в прихожей на полу, а девица имела в своем распоряжении две хорошие комнаты. У девицы было четыре пальто, а у матери одно. И вот артист взял у своей матери это одно пальто и перешил из него девице юбку. Наконец, с девицей артист баловался, а со своей матерью не баловался и любил ее чистой любовью. Но смерти матери артист побаивался, а смерти девицы артист не побаивался. И когда умерла мать, артист плакал, а когда девица вывалилась из окна и тоже умерла, артист не плакал и завел себе другую девицу. Выходит, что мать ценится, как уника, вроде редкой марки, которую нельзя заменить другой.

Эти мрачновато-язвительные слова написаны много лет спустя, но, возможно, в них сквозит воспоминание о времени, когда Даниил куда больше внимания уделял “полненькой девице”, чем умирающей матери.

И все же 28 июня 1929 года, когда положение Русаковых, видимо, уже как-то стабилизировалось, Хармс записывает: “Считаю себя перед Эстер во всех отношениях свободным”. К тому времени великий детский писатель, не раз признававшийся в лютой ненависти к детям, мог бы, по-видимому, стать отцом: осенью Эстер сделала аборт… К концу 1929 года Хармс и Эстер расстались – в очередной раз “навсегда”. Почему-то испортились и отношения Даниила со старшими Русаковыми. 10 декабря в записной книжке появляется такая запись: “Вчера говорил с отцом Эстер. Сегодня он не пожелал меня видеть. Эстер на их стороне”. Однако брак был расторгнут только тогда, когда этого захотела сама Эстер Александровна – еще через два с половиной года.

Медовый месяц (если это можно так назвать) был прерван призывом Хармса в армию – через два дня после заключения брака.

Хармса направили, как прежде Заболоцкого, в команду краткосрочников. В первый день он описывает свои впечатления так:

Интересно, но противно.

Сижу от всех в стороне. Так думаю будет и дальше.

Уже на лестнице хватил меня поганый запах кислой псины и того супа, которым пахнет от гимназий.

> Нас 14 человек. Каковы они еще не знаю. Интеллигентных почти нет. Кроме меня кажется еще один, да и тот сомнительный…

Восьмого марта Даниилу становится сосем не по себе в казарме, и он молит Бога помочь ему “освободиться от военной службы – совсем”. И наконец:

> Теперь как стекляшка сиди не тай и царапин не приемли, прозрачным будь не для всех. Мне говорят “ты”, потому будь надменен. Боже, спаси меня от мытья в уборной.

“Прозрачным будь не для всех…” Казалось бы, нет писателя более далекого от обэриутской эстетики, чем Набоков. Но именно роман “Приглашение на казнь” местами поразительно напоминает Хармса – не стилем, конечно, а некоторыми приемами моделирования реальности. Директор тюрьмы, превращающийся в ее сторожа, меняющиеся на ходу имена-отчества персонажей, искусственный паук на стене камеры, палач, претендующий на привязанность своего “пациента”… И сам образ Хармса – непрозрачного человека в угрожающе прозрачном мире, до поры до времени допущенного в детские писатели, разве не напоминает Цинцинната Ц. – воспитателя чужих косеньких и хроменьких детишек?

От военной службы он, впрочем, через несколько дней был избавлен. В течение 1928 года Хармс, несмотря на свои личные страдания и неудачи, пытается продолжать активную литературную жизнь.

8

Уже 3 марта было собрано экстренное собрание ОБЭРИУ, на котором, между прочим, обсуждалось “положение в Доме печати”. Очевидно, что после ареста Баскакова над обэриутами тоже нависла угроза. Тем не менее пока что новое руководство терпело их. Время от времени они устраивали вечера в малых залах – без афиш и объявления в печати. Но тексты теперь перед отправкой в цензуру просматривал еще и “политредактор” Дома печати.

Большой успех имел сольный вечер Заболоцкого (он должен был выступать вместе с Вагиновым, но тот заболел). Дело дошло до чтения стихов на бис. К Николаю Алексеевичу приходила слава, которой не было у его друзей. Не было и издательских возможностей. Хармс начинает думать о перспективах издания за

границей. В августе он передает тексты, свои и своих друзей, уезжавшему в Париж Мансурову. Это было опасным поступком. Но едва ли судьба обэриутов сложилась бы еще более трагично, будь эти тексты опубликованы.

К тому времени бытовой облик основных членов группы определился окончательно. Хармс выбрал свою знаменитую, вошедшую в легенду манеру одеваться: крошечная кепочка, клетчатый пиджак, короткие брюки с застежками ниже колен, гетры, зачесанные назад русые волосы – и, разумеется, неизменная дымящаяся трубка. Кепочку иногда заменяла “пилотка с ослиными ушами” (о ней вспоминает Минц), или котелок, о котором рассказывает Разумовский и который запечатлен на фотографиях Алисы Порет, изображающих “Ивана Ивановича Хармса”, или пекарский колпак, или даже чехольчик для самовара, но это уж был праздничный наряд. Как и абажуры вместо шапок, в которых иногда приходили Хармс и Введенский на заседания Союза поэтов. Как и маленькая зеленая собачка, которую Даниил Иванович иногда изображал у себя на щеке. В обычном же, будничном своем костюме долговязый Хармс напоминал эксцентричного англичанина, мистера *Charms*, загадочным образом занесенного в Ленинград[200].

Даниил Хармс. Силуэт Б. Семенова, 1930-е.

В этом костюме он прогуливался вечерами по Невскому в обществе своих друзей. По свидетельству Минца, излюбленным местом обэриутов был бар гостиницы “Европейская”. Ночами на верхнем этаже гостиницы открыто было кабаре с “морем световых эффектов”. Нэп еще не кончился. Бесчисленные театрики (от бульварного “Гиньоля” до авангардного “Мастфора”, мастерской Николая Фореггера “с нашумевшими танцами машин”), бары, кабачки покрывали Невский. Многие были открыты всю ночь. Эта частью богемная, частью грубо-физиологическая жизнь мелкобуржуазного города практически не отражалась партийной прессой. Хармс смотрел на нее глазами любопытного чудака,

чужеземца, Заболоцкий – со смесью отвращения и художнического восторга, Введенский в ней купался. Азартный игрок и прожигатель жизни, он был частым гостем рулетки в “Скетинг-ринге” и порою затаскивал туда друзей. Сам дух игры с непредсказуемым результатом был близок его поэтике и его мировосприятию. В разрушенном, послекатастрофном мире (а Введенскому мир, окружающий его, скорее всего, виделся именно таким) только так, случайно, наугад и могли проступать какие-то смыслы и сущности. Эйнштейн не мог принять квантовую теорию Бора, потому что не мог поверить, что Бог играет в кости. Для Введенского Бог был не только игроком, но и игралищем. “Кругом возможно Бог”. Что же до политики, Введенский называл себя монархистом: только при монархии, объяснял он, у власти может случайно оказаться порядочный человек.

И, разумеется, никакие ценности окружающего мира (и никакие ценности мира прошлого) не могли приниматься всерьез. Введенский вживался в образ обывателя-аутсайдера, сегодня франтоватого и хлыщеватого, завтра опустившегося и нищего, человека без всякой опоры – и духовной, и социальной.

> – А на кого ты хотел бы походить сегодня? – спросил я однажды. Ответ последовал не сразу, показался неожиданным всем, кто находился в комнате – Введенскому, Заболоцкому, Савельеву[201], мне.
>
> – На Гёте, – сказал он (Хармс. – *В. Ш.*) и добавил: – Только таким представляется мне *настоящий поэт*.
>
> На тот же вопрос ответил и Введенский:
>
> – На Евлампия Надькина, когда в морозную ночь где-нибудь на Невском Надькин беседует у костра с извозчиками или пьяными проститутками[202].

Заболоцкий ответил, что хочет походить “только на себя самого”, сам Бахтерев назвал Давида Бурлюка. Но именно контраст между ответами Хармса и Введенского особенно потрясает. Евлампий Надькин был героем “комиксов” Бориса Антоновского, карикатуриста журнала “Бегемот”. Надькин напоминал героев рассказов Зощенко или еще не написанных стихов Олейникова: обыватель, чьи чисто физиологические и притом вполне невинные желания не всегда удовлетворяются (он не может помыться, потому что баня закрыта, и т. д.), но который и сам порой становится на антиобщественный путь, аутсайдер, лишенный трогательности. Введенский старательно поддерживал этот образ – причем по мере затягивания гаек и ликвидации нэповского маленького рая аутсайдерские черты его только усиливались. Достаточно вспомнить анекдот, который приводит

Алиса Порет: о визите фининспектора в пустую комнату Введенского.

> Когда ему крикнули соседи, что это “фин”, он ловко нырнул под одеяло и притворился спящим… “Фин” долго его не будил, потом положил бумаги на окно и стал расспрашивать о заработках, договорах, публикациях. Введенский вяло сознался, что да, что-то было, но он ничего не помнит, потому что деньги кладет в карман, отходя от кассы, их не считает и тут же пропивает в культурной пивной под Детгизом.

Фининспектор хотел описать имущество, но убранство комнаты состояло из одной пришпиленной к двери женской перчатки.

> – А стола нет – где едите?
> – В столовой Ленкублита.
> – А стихи где пишете?
> – В трамвае.
> – Да неужто вы здесь спите?
> – Нет, сплю я у женщин…[203]

Это было, разумеется, довольно далеко от реального образа жизни Александра Ивановича в конце 1920-х – начале 1930-х. Скорее некий программный идеал: подобно древним киникам, Введенский считал вызывающие беспечность и бесстыдство достойной реакцией на враждебность мира. Это была его личная система психологической защиты.

У Заболоцкого система защиты была другая. Если Хармс походил на англичанина, то он, аккуратный, основательный, румяный, – на немца. За глаза его называли Яшей Миллером (именем Яков Миллер он сам подписывал некоторые свои тексты в детгизовских журналах), а иногда – Карлушей Миллером. Еще – солдатом Дугановым (так сам он подписал одно из коллективных шуточных стихотворений). Солдат, казенный, организованный, несущий цивилизацию человек, – главный протагонист автора в “Торжестве земледелия”… А Заболоцкий ведь и впрямь был солдатом, и в 1927–1928 годах продолжал носить военную форму (которую потом сменил строгий черный костюм).

Шарж на Александра Введенского (?). Рисунок Д. Хармса, начало 1930-х.

Может быть, из-за формы его часто сравнивали с капитаном Лебядкиным. И в самом деле, сходство лебядкинских виршей с некоторыми приемами обэриутов, и автора “Столбцов” в том числе, бросалось в глаза. Заболоцкий не обижался на это сравнение. “…Но то, что я пишу, не пародия, это мое зрение. Более того, это мой Петербург – Ленинград нашего поколения”[204], – пояснял он Павлу Антокольскому и его жене, актрисе Зое Бажановой. Как провинциал, он смотрел на город свежими глазами и любил его более открыто и “книжно”, чем

коренные петербуржцы Хармс и Введенский.

Заболоцкий все больше привлекал к себе общее внимание, особенно после выхода в 1929 году “Столбцов”. Далеко не все рецензии были доброжелательны, но рецензий этих было столько (и в СССР, и даже в эмиграции), что уже одно это было свидетельством большого успеха. Юрий Тынянов подписал Заболоцкому свою книгу: “Первому поэту наших дней”.

Понятно, что в этой ситуации поэт постепенно утратил интерес к групповым чтениям в узкой, а порою и недоброжелательно настроенной аудитории. С осени 1928 года он, как и Вагинов, больше не принимает участия в публичных акциях обэриутов. Свою роль могли сыграть и обстоятельства его личной жизни. В 1929 году Заболоцкий женился на Екатерине Васильевне Клыковой, с которой вместе учился в Педагогическом институте. Это решение было непростым и мучительным (Заболоцкий, как и Хармс, боялся, что брак помешает его поэтическому творчеству), но Николай Алексеевич был максималистом и человеком строгих правил и, приняв решение, действовал последовательно. Теперь он выбрал упорядоченную семейную жизнь, мало совместимую с ночными прогулками по городу, сидением в баре “Елисеевской” или “Культурной пивной” на канале Грибоедова, она же “Красная Бавария”. Никто не мог тогда предположить, что те муки любви, ревности, мужской обиды, которые Хармс переживал в ранней молодости, его другу предстоит перенести в конце жизни – больным, прошедшим через многие круги ада человеком.

Стоит оговориться: утверждения Бахтерева, что Заболоцкий на рубеже 1928–1929 годов полностью разорвал общение со всеми обэриутами и, даже встретив их на улице, переходил на другую сторону, – фантастика чистейшей воды, чтобы не сказать больше. Дружеское общение Заболоцкого с Хармсом, Введенским (до разрыва, наступившего лишь в 1931-м), Олейниковым и Липавским продолжалось, и, может быть, с кем-то из них оно стало даже более тесным. Но это было общение частное, вне публичной литературной жизни, вне ОБЭРИУ.

Постепенно отошли от группы и кинематографисты. В октябре 1928 года Хармс записывает:

> Считать действительными членами обэриу (так! – *В. Ш.*): Хармс, Бахтерев, Левин, Введенский… Не надо бояться малого количества людей. Лучше три человека, вполне связанных между собой, нежели больше, да постоянно несогласных.

Возникает проект создания художественной секции ОБЭРИУ.

Видимо, именно с этой целью он несколько раз встречается в конце года с Верой Михайловной Ермолаевой, “витебской Джокондой”, возможно, талантливейшей из учеников Малевича, незаурядной художницей, ярким человеком, привлекательной (несмотря на болезнь позвоночника и вызванную ею инвалидность) женщиной. Ермолаева была одним из авторов плаката вечера “Три левых часа”; интересно было бы представить себе ее дальнейшее сотрудничество с Хармсом и его друзьями. Но – не сложилось, возможно, сказалась разница в возрасте.

Двадцать девятого сентября обэриуты снова, после годового перерыва, выступили в Капелле после вечера Маяковского. В этом выступлении еще участвовал Заболоцкий. Его стихи, как и произведения других членов группы, прочитал вслух Введенский. На этом вечере произошло знакомство обэриутов с Николаем Ивановичем Харджиевым, исследователем Хлебникова, знаменитым впоследствии коллекционером и историком русского авангарда. В самом конце года Хармс принял участие в диспуте о современной поэзии, который состоялся там же, в Капелле – и снова приглашены были москвичи: Шкловский и лефовцы, Николай Асеев и Семен Кирсанов. Дискуссия вылилась в триумф Заболоцкого. О нем восторженно говорил один из великой четверки “формалистов”, почти легендарный Борис Эйхенбаум… Хармс прочитал “заумную декларацию”, начинавшуюся словами “Ушла Коля”. По мнению Синельникова, это был “упрек Заболоцкому, порвавшему с Обэриу, тогда как его соратники вынуждены были отстаивать прежние позиции”[205].

Москвичи, вероятно, слушали все это с плохо скрываемым раздражением. И раздражение было обоюдным. Становилось все более очевидно: пути ленинградских поэтов, все еще именующих себя левыми, расходятся с ЛЕФом гораздо фундаментальнее, чем даже с неоклассиками. Когда ровесник Хармса, юнга ЛЕФа одессит Семен Кирсанов, начал читать свою “Циркачку”:

Мэри – наездница
У крыльца
С лошади треснется
Ца-ца, –

Хармс “поднял ворот пиджака, укрыл в него голову, сунул два пальца в рот и оглушительно свистнул. Кирсанов немедленно ответил: “Я тоже умею”, и свистнул не менее оглушительно”[206]. Но дочитать стихи он так и не смог: публика требовала Заболоцкого…

Дойвбер Левин, 1930-е.

Асеев был старше Кирсанова и (в то время, по крайней мере) глубже его. Он увидел в обэриутах врагов и сумел по достоинству оценить их; три года спустя, в 1932-м, во втором номере журнала “Красная новь” была напечатана его речь на дискуссии ВСПП 16 декабря 1931 года – “Сегодняшний день советской поэзии”. Там идет речь, между прочим, о

> полнейшей творческой прострации таких вовсе не бездарных молодых поэтов, какими являются Заболоцкий, Хармс, Введенский, пытавшихся обосновать свой творческий метод на пародированной восстановленности архаических компонентов стиха…

Они не замечали, что все их усилия, все их попытки обречены на бесплодие именно потому, что пародированность, которая искренне принималась ими за новаторство, могла лишь сосуществовать архаическим элементам стиха… Их формальная оппозиция традиционному трафарету, попытка провести ее через разлом формы привели их к обессмысливанию содержания. Таким именно образом, у Заболоцкого, например, издевательство над этой традицией обернулось в издевательство над действительностью… При этом необходимо указать, что… почти все подходящие под этот раздел поэты достигли довольно высокого уровня владения стихом[207].

Семен Кирсанов, 1920-е.

По сочетанию тонкого понимания некоторых сторон поэтики ОБЭРИУ и явного недоброжелательства этот пассаж можно сравнить со статьей Толмачева. И это было одно из последних по времени упоминаний Хармса как “взрослого” поэта в печати при его жизни. Впрочем, мы забегаем вперед.

Двадцать шестого декабря Хармс, навестив Эйхенбаума вместе с друзьями, записывает: “Эйхенбауму понравился Заболоцкий, может быть, Введенский, но я *никак* ему не понравился. Это истина”. Через месяц, посетив вечер Ильи Сельвинского (все там же, в Капелле), Хармс так выражает свое к нему отношение:

> То что говорит Сельвинский я начисто не приемлю!
> Все что он говорит обратно моим убеждениям.
> Сельвинский, крепкий, дубинистый человек, на совершенно чужом пути. Если Эйхенбаум и компания молодых формалистов объединится с Сельвинским я с ними не желаю иметь никакого дела.
> Я думаю, что Эйхенбаум наиболее близок мне.

Сельвинский возглавлял Левый центр конструктивистов, соперничавший с ЛЕФом. Конструктивисты были более эстетски настроены, менее радикальны, но их объединял с лефовцами инструментальный, рационалистический взгляд на искусство. И они были людьми своего времени, людьми мейнстрима, людьми успеха. Формалисты – и старые, и молодые (как Лидия Гинзбург, наиболее тесно общавшаяся с обэриутами) – были все же беззащитны перед обаянием “актуальности”.

Тем временем на сцене Дома печати была поставлена еще одна пьеса Хармса – “Зимняя прогулка”, написанная в соавторстве с Бахтеревым и, увы, не сохранившаяся. Первоначально пьеса была написана для вечера в Институте истории искусств, который должен был пройти 12 декабря и называться “Василий Обэриутов”. Кроме спектакля и стихотворного чтения, предполагалось участие фокусника Пастухова. Долгожданный вечер сорвался из-за чрезмерного озорства организаторов: на афишах значилось “12 декаребаря по новому стилю”. Идея этой роковой остроты принадлежала Бахтереву.

Однако новая администрация Дома печати, точнее, председатель его правления журналист Еремей Лаганский, предложил представить пьесу на открытии нового помещения Дома печати – в Мариинском дворце. Так получалось, что все

“три левых года” радиксовцев, “левых классиков”, обэриутов упорно возвращало в один и тот же совсем не авангардный угол города – на Сенатскую и Исаакиевскую площади. Лаганский сказал обэриутам: “Вы умеете поднимать настроение, выступайте непринужденно, как на большом прошлогоднем вечере…”[208]

Постановка “Зимней прогулки” технически оказалась легче, чем “Елизаветы Бам”, и спектакль имел успех. Но, “как на большом прошлогоднем вечере”, не получилось. ОБЭРИУ переживало явный кризис. Одной из причин было отсутствие серьезного общего дела – издательского или театрального. Но была и другая причина: Хармс, который был центральной фигурой круга, не обладал особыми организационными способностями и качествами лидера. Точнее, его страсть к организационной деятельности существенно превосходила его способности к ней. Так было у многих – у того же Гумилева, к примеру, который преодолевал этот разрыв огромными трудами и волевыми усилиями. Хармс этих усилий прилагать не мог и не хотел – а ведь Заболоцкий и Введенский были слишком сильными личностями и слишком большими поэтами, и подчинить их своей воле было невозможно.

Весной 1929 года появляется новый обэриут – 20-летний (или еще более молодой) Юрий Дмитриевич Владимиров[209]. Владимиров был сыном Лидии Брюлловой, внучатой племянницы Карла Брюллова, дочери искусствоведа, хранителя Музея Александра III, художницы, которая в молодые дни была близка к кругу “Аполлона”. Ее муж, бывший офицер, в 1914 году снова оказался в действующей армии и семь лет прослужил – сначала царю, потом белым, потом красным, у которых дослужился до должности начальника штаба Второй конной армии. Эта должность оказалась для него роковой – командующий Второй конной Федор Миронов не поладил с Троцким и был расстрелян в 1921 году. Владимиров отделался несколькими месяцами в концлагере, увольнением из армии и поражением в правах. В начале тридцатых он работал бухгалтером ТЮЗа, а его жена – управделами этого театра; в 1933 году при паспортизации им было отказано в выдаче паспорта, что означало высылку из города. Владимировы ослушались, и в результате в 1935 году их постигла более серьезная кара – “минус 15”. Все это произошло, впрочем, уже после ранней смерти Юрия[210].

Юрий Владимиров был похож на какого-то персонажа с картины своего знаменитого родственника: “небольшого роста, с глубокими черными итальянскими глазами и всегда растрепанной мягкой шевелюрой”[211]. Писал он (и печатал) отличные детские стихи (видимо, в Детиздате и познакомился он

с Хармсом); его “взрослые” произведения не дошли до нас, кроме одного рассказа – “Физкультурник”, несколько раз по недоразумению напечатанного в собраниях произведений Хармса (под странным названием “Юрий Владимиров физкультурник”, хотя героя рассказа зовут иначе). Сюжет – распространенный в литературе XX века, Хармс мог бы им воспользоваться, но язык, строй фразы в рассказе не совсем хармсовский:

> Иван Сергеевич жил в Ленинграде, он был холостой, работал конторщиком, но он был особенный. Он умел проходить сквозь стену <…>
>
> Один раз в гостях он прошел сквозь стену из столовой в гостиную, а с той стороны, в гостиной, стояла ваза. Он ее при прохождении столкнул, разбил, получился скандал.
>
> А кончил он трагически. Он был на четвертом этаже, пошел сквозь стену, да не ту, свалился, вышел на улицу и упал с четвертого этажа.
>
> Так закончилась бесцельная жизнь ленинградского физкультурника Ивана Сергеевича[212].

Увлеченный яхтсмен, Владимиров иногда приглашал друзей на морские прогулки. Ему нравилось чувствовать себя моряком, капитаном, “он с охотой употреблял в разговоре моряцкие словечки, и, если послушать его, создавалось впечатление, будто самые матерые морские волки по сравнению с ним лишь слепые щенята, а океанские просторы ничто рядом с Маркизовой лужей”[213].

В остальном все шло по-прежнему: прогулки по Невскому (в уменьшенном составе, без Заболоцкого), не очень плодотворные “студийные” бдения на Надеждинской. Однако писали обэриуты все лучше. Введенский в 1929 году создает такие стихотворения, как “Ответ богов”, “Всё”, “Две птички, горе, лев и ночь”, “Больной, который стал волной”, “Зеркало и музыкант” – первые шедевры, в которых из хаотической словесной материи как бы непроизвольно рождается сюжет и поэтическая мысль. Хармс начал писать прозу (сперва – для Детгиза, потом – для себя). Уже в первых его “взрослых” рассказах (самый законченный из них – “Вещь”) виден узнаваемый стиль хармсовской прозы, экономный до тавтологичности, жесткий, язвительный. Но в сюжетах еще заметна избыточность – слишком много чисто цирковых, клоунских приемов, слишком много от театра, от перформанса. Вершинная хармсовская проза тридцатых с ее гениальным метафизическим идиотизмом еще была впереди.

Есть версия, согласно которой на раннюю прозу Хармса влиял

Левин. Ни подтвердить, ни опровергнуть это невозможно. Роман “Похождения Феокрита” (в котором речь шла вовсе не о древнегреческом поэте, а о соименном ему коте), как и другие обэриутские вещи Левина, утерян. (Из его детских книг лишь первая – “Полет герра Думмкопфа” несет на себе отблеск обэриутской эстетики.) Сохранилось два – совершенно друг с другом не пересекающихся – отзыва, по которым можно представить себе сюжет романа.

> Аудитория прослушала, как герой романа “обереутов” задает себе вопрос: “В чем смысл жизни?”, как этот герой слышит голос из-за окна, говорящий: “Чтобы понять смысл жизни, нужно подняться вверх”, как этот герой, не долго думая, поднимается к потолку, пробуравливает собою пол и потолок следующего этажа, является в идее теленка к некоему Иван Ивановичу и т. п. несуразицу. Необходимо отметить, что герой романа – состарившийся городской рабочий, чистейший пролетарий, который под пером “обереутов” обратился в какого-то отщепенца без крова и хлеба, грязного, забитого и никому не нужного[214].

> Роман Левина походил на картину Марка Шагала. Так же как у Шагала, в “Похождении Феокрита” размывались границы между тем, что могло быть, и тем, что могло только присниться. В нижнем этаже шагаловски фантастического мира жил обычный советский служащий, а в верхнем обитало мифическое существо с головой быка. Только потолок отделял современность от античности, спаянных вместе причудливой фантазией автора[215].

Весной возникла неожиданная перспектива: благоволивший к обэриутам Эйхенбаум решил включить их произведения в задуманный им сборник “Ванна Архимеда”. Компания была более чем достойная: Шкловский, Тынянов, Добычин, Лидия Гинзбург, Бухштаб, Каверин. 26-летний Вениамин Каверин, бывший серапионов брат, подружился с Хармсом и Заболоцким. Аккуратный, обстоятельный человек, но в ином, чем Заболоцкий, роде (без тайного безумия, без внутренней непредсказуемости, без утопий), он писал эффектные, крепко сделанные книги о самых разных людях – от воров (“Конец хазы”) до филологов-формалистов (“Скандалист, или Вечера на Васильевском острове”), всегда тщательно изучая предмет, но при этом всегда сам оставаясь добродетельным книжником. Однажды он

шокировал своих гостей, среди которых был и Хармс, попытавшись угостить их сладким десертным вином. Обэриуты и их друзья из Детиздата предпочитали более крепкие, мужские напитки. Заболоцкий и тридцать лет спустя не мог забыть этот случай и, отправляясь в гости к Каверину, предварительно осведомлялся, какая будет выпивка.

К октябрю "Ванна Архимеда" была составлена и отдана в издательство. Воодушевленный Хармс написал длинное стихотворение под тем же названием, в котором были и такие строки:

Как-то я среди обеда
прочитал в календаре –
выйдет «Ванна Архимеда»
в декабре иль в январе.
Архимед сказал угрюмо
И бородку в косу вил.
Да, Махмет не фунт изюму,
Вдруг он при со во ку пил.
Да, Махмет не фунт гороху
в посрамленьи умереть,
я в науке сделал кроху
а теперь загажен ведь.
Я загажен именами
знаменитейших особь,
и скажу тебе меж нами
формалистами в особь.
Но и проза подкачала,
да, Махмет, Махмет, Махмет.
Эй, Махмет, гони мочало!
басом крикнул Архимед…

Сборник так и не вышел. С формалистической ересью шла борьба не на жизнь, а на смерть, и Эйхенбаум ходил в главных лжеучителях. У альманаха, составленного под его руководством, изначально было немного шансов. Но Хармс уже не мог расстаться с вдохновившей его идеей. На рубеже 1930 года он набросал собственный вариант состава "Ванны Архимеда". Примечательно, что в нем нет Бахтерева, Левина и Владимирова, но есть Заболоцкий, есть Олейников и ближайший друг Олейникова, молодой поэт, драматург и сотрудник Детиздата Евгений Львович Шварц, писавший тогда под псевдонимом Борисоглебский. Разумеется, у этого сборника не было даже теоретических надежд быть изданным.

Тем временем 30 марта Хармс и Введенский были исключены из Союза поэтов – за неуплату взносов. Здесь они тоже оказались в хорошей компании: как проживающий в Москве из Союза был исключен также Мандельштам. В числе исключенных были мелкий журнальный стихотворец-традиционалист с дореволюционным стажем Яков Годин, футурист Григорий Петников, “речевок” С. Марков (не путать с заумником-бухгалтером Игорем Марковым) и Зелик Штейнман, соратник Толмачева по группе “Непокой”, год назад схлестывавшийся с обэриутами в Доме печати[216]. Едва ли это была, как считает А. Устинов[217], “чистка” Союза от его левого крыла. Просто модернисты и авангардисты оказались более неорганизованны и беспечны… Впрочем, членство в Союзе пока что давало мало преимуществ, а исключение из него создавало мало проблем.

Двенадцатого декабря 1929 года обэриуты в последний раз выступают в Доме печати. Других вечеров в течение года не было, если не считать многочисленных чтений стихов для детей. Фантазия Хармса направляется на устройство бытовых хеппенингов (говоря современным языком). Он старательно разрабатывал их сценарии: “Заказывать в ресторане манную кашу, кофе с огурцами резать огурцы ножницами, кормить друг друга и заикаться”. Совместно с Левиным и при участии Владимирова 22 мая 1929 года он пишет проект, названный “Сустав дозорных на крыше Лениздата”. Дозорный, “мужчина обэриутского вероисповедания”, должен “сидеть на самой верхней точке крыши и, не жалея сил, усердно смотреть по сторонам, для чего предписывается не переставая вращать голову слева направо и наоборот, доводя ее в обе стороны до отказа позвонков”, и следить, “чтобы люди ходили не как попало, а так, как им предписано самим Господом Богом…”

Это был бытовой, житейский “театр для себя”, отчасти компенсировавший отсутствие в распоряжении Хармса театра настоящего. В это время рядом с Даниилом Ивановичем начинают появляться колоритные безумцы и полуграмотные афористы, которых сам он называл “естественными мыслителями”. В числе задуманных, но не осуществленных им на закате ОБЭРИУ проектов был и вечер с участием таких “мыслителей”.

ОБЭРИУ тем временем умирало. Нужен был лишь толчок извне, чтобы положить конец существованию группы. И толчок последовал – со стороны “карающего меча революции”.

Первого апреля обэриутов пригласили выступить в общежитии ЛГУ. В вечере приняли участие Хармс, Левин и Владимиров. Пригласили и фокусника Пастухова. Введенского не было в городе, Бахтерев с Разумовским пришли на вечер, но

сидели в зале и в чтении не участвовали. Аудитория приняла поэтов очень недоброжелательно, но до скандала с дракой, как три года назад в Институте истории искусств, дело не дошло.

Однако восемь дней спустя в “Смене” появилась статья “Реакционное жонглерство”, подписанная “Л. Нильвич”. Подлинным автором ее, по утверждению Бахтерева, был Евгений Евгеньевич Сно, социолог и сотрудник ОГПУ[218].

Сно был случайным знакомым Левина (по университету, где Борис Михайлович сначала учился) и Бахтерева (он бывал в гостях у чекиста Божечко, соседа Бахтерева по квартире). С отцом его Евгением Эдуардовичем знался Хармс – по рассказам Бахтерева, чудаковатый старик Сно “был в прошлом петербургским журналистом, интересно рассказывавшим про трущобы, он услаждал Хармса и его гостей игрой на цитре”[219]. Через некоторое время после вечера на Мытнинской Сно-сын – “маленький, подслеповатый, совершенно лысый, с лицом возмущенного орангутанга”[220] – пожелал познакомиться и в домашней обстановке, “за чаркой” пообщаться со всеми обэриутами. Встреча состоялась на Надеждинской, в комнате некой дамы, неподалеку от дома, где жили Ювачевы. Пришли Хармс, Введенский, Левин и Владимиров. Сно вел себя как откровенный провокатор – к примеру, “стал вспоминать царский гимн и, восхищаясь музыкой, запел”. Введенский стал поправлять его. Другие были не на шутку испуганы – “Владимиров стал что-то выкрикивать, Даниил – громко петь немецкую песенку, заглушая крамольное пение”[221].

Этот эпизод всплыл, когда в декабре 1931 года Бахтерева и двух бывших “чинарей” арестовали. Когда он имел место? После апреля 1930 года, но при жизни Владимирова, то есть не позднее сентября 1931 года. Общение Хармса со Сно-старшим продолжалось и позднее – в жизни Даниила Ивановича оно оказалось роковым… А Сно-младший в дни Большого Террора разделил судьбу многих своих коллег и их жертв.

Есть и другая версия, согласно которой под именем Нильвич скрывался журналист Лев Никольский. Таково, по крайней мере, мнение О. Рисса, в 1930-м работавшего вместе с Л. Никольским в “Смене”. По словам Рисса, молодой Никольский отличался “робеспьеровской непримиримостью” и “нередко выступал с подобными “зубодробительными” статьями”[222]. Но если так – что заставило его в данном случае скрыться под псевдонимом?

Евгений Эдуардович Сно играет на цитре. На обороте надпись неизвестной рукой: “Евгений Сно в меланхолическом настроении из-за острого безденежья импровизирует очередную невеселую песенку. Февраль 33”.

„ОБЕРЕУТЫ“

1 апреля на стенах Мытнинского общежития появилась афиша: „Сегодня в 8 часов вечера читают свои произведения „обереуты“. Лозунги, развешанные по стенам клуба, гласили: „Мы не пироги“ (почему противопоставление пирогам, а не капусте, скажем,— неизвестно), „Шли ступеньки мимо кваса“, „Классицизм, как шкаф“, „Приносите голубей— и все“.

Что такое? Что за дребедень?

В 8 часов вечера началась торжественная процедура--чтение произведений. Но не просто чтение, а чтение-обряд, чтение-таинство. Стол застилается большим листом белой бумаги, на нее ставится стул, и на стул садится „обереут“.

„Читает стихи Юрий Евгеньевич Владимиров, читает прозу Даниил Иванович Хармс“.

До последнего человека, или вернее „обереута“—все они Юрьи Евгеньевичи, а не просто Владимировы. **Очевидно сами „обереуты“ сознают, что нам они не товарищи.**

Аудитория прослушала творения этих „великих пророков“, которые по их словам могут быть не поняты, „ибо современное человечество еще не доросло до понимания наших вещей“.

Аудитория прослушала, как герой романа „обереутов“, задает себе вопрос: „В чем смысл жизни“, как этот герой слышит голос из-за окна говорящий: „Чтобы понять смысл жизни, нужно подняться вверх“, как этот герой, не долго думая, поднимается к потолку, пробуравливает собою пол и потолок следующего этажа, является в виде теленка к некому Иван Ивановичу и т. п. несуразицу.

Необходимо отметить, что герой романа, состарившийся городской рабочий, чистейший пролетарий, который, под пером „обереутов“, обратился в какого-то отщепенца, без крова и хлеба, грязного, забитого и никому ненужного.

В других произведениях герои или летают на метелках под облаками, или стоят на дне океана с винтовкой в руках. (!)

После чтения произведений приступили к диспуту. **Наше студенчество дало достойный отпор архи-буржуазной „литературной группировке“, заклеймив все их творения, как контрреволюционную халтуру.**

П. Фисунов.

От Редакции: Редакция просит культкомиссию Мытни ответить: зачем приглашалась реакционнейшая литературная группировка в студенческий клуб?

Редакция считает, что культкомиссия совершила грубейшую политическую ошибку, предоставив „обереутам“—архи-буржуазной упадочной по существу группировке, сбитой с литературных позиций творческими достижениями пролетарской литературы и критики—возможность еще раз выступить перед широкой аудиторией.

Время, затраченное студентами на слушание „обереутов“,—напрасно и вредно затраченное время. Следует более внимательно составлять программы клубных вечеров и не допускать идеологически чуждые нам группировки к выступлениям в клубе пролетарского студенчества.

Статья “Обереуты”, опубликованная в “Студенческой правде” (1930. 1 мая. № 10. С. 3) после вечера в Мытнинском общежитии.

Для историков статья Нильвича (кем бы он ни был) интересна прежде всего описанием вечера:

> …Заранее стены красного уголка общежития были украшены “обэриутовскими плакатами”. Недоумевающие студенты читали:
>
> – Пошла Коля на море.
>
> – Гога съел пони. Минута попалась в по. Наверно, она попалась в по. Нет, в капкан. Поймай лампу.
>
> – Шли ступеньки мимо кваса.
>
> – Мы не пироги.
>
> <…>
>
> Первым читал Левин. Читал он рассказ, наполненный всякой дичью. Тут и превращение одного человека в двух (“Человек один, а женщин две: одна жена, другая – супруга”), тут и превращение людей в телят и прочие цирковые номера[223].

Потом выступал Пастухов.

Выступление “поэта” Владимирова оказалось продолжением работы Пастухова.

Вот его стихи:

Петр Иваныч заблудился,
А потом пришел домой и женился.

Или:

Он свалился на скамейку
И улегся поперек.
Он свалился поперек.

Про Хармса ничего не сказано. Главное, однако, ниже:

Начался диспут.

Все выступавшие единодушно, под бурные аплодисменты аудитории, дали резкий отпор обэриутам…

Обэриуты далеки от строительства. Они ненавидят борьбу, которую ведет пролетариат. Их уход от жизни, их бессмысленная поэзия, их заумное жонглерство – это протест против диктатуры пролетариата. Поэзия их поэтому контрреволюционна. Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага…

Таких слов, напечатанных в газете, в 1930 году уже было вполне достаточно, чтобы люди, которым они посвящены, не чувствовали себя в безопасности.

Ко всему прочему обэриуты, столкнувшись с политическими обвинениями, не сумели или не захотели дать ответ обвинителям на их же демагогическом языке.

Левин заявил, что их “пока” (!) не понимают, но что они единственные представители (!) действительно нового искусства, которые строят большое здание.

– Для кого строите? – спросили его.

– Для всей России, – последовал классический ответ.

Употребление слова “Россия” было само по себе непохвальным и свидетельствовало о “несоветской” природе говорящего.

Даниил Хармс на балконе Дома книги. Фотография Г. Левина (?), 1930-е.

Статья Нильвича сыграла роль спускового крючка. За ней последовали другие “проработочные” публикации: статья Н. Слепнева “На переломе” в первом номере журнала “Ленинград”, цитировавшаяся выше заметка П. Фисунова в “Студенческом

меридиане” за 1 мая. Эти материалы интересны тем, что в них – искаженно, пристрастно – пересказываются те или иные обэриутские тексты. Но “результативная” часть совпадает почти слово в слово. “Архи-буржузная упадочная группировка” ОБЭРИУ как официальная организация при Доме печати после подобных статей существовать не могла. А воли к сохранению неофициального содружества в прежнем составе у обэриутов уже не было.

Так закончилась публичная жизнь “взрослого” писателя Хармса. С этих пор и до конца он присутствует в публичном литературном процессе лишь как автор книг для детей.

Глава четвертая
Под знаком Ежа и Чижа

1

Александр Разумовский так описывает комнату Хармса в конце 1927 – начале 1928 года:

> Посередине письменный стол без ящиков, с перекрещенными витыми ножками, слева на стене книжная полка; справа от двери постель, прикрытая тяжелой накидкой, за ней книжный шкаф, дальше у окна – лысеющее кресло; два-три старых стула; вокруг лампы под потолком – тяжелый абажур с портретами-карикатурами хозяина на всех его завсегдатаев. Еще нарисован дом со страшной надписью: “Здесь убивают детей”[224].

Надпись и без того шокирующая, но особенно колоритно она выглядит, если мы припомним: одновременно с деятельностью в качестве неформального лидера ОБЭРИУ Хармс жил и другой жизнью – жизнью успешного и входящего в моду детского писателя. Литературой для детей Даниил Иванович будет заниматься всю оставшуюся жизнь, станет ее признанным мастером – и всю оставшуюся жизнь будет эпатировать окружающих признаниями в свирепой ненависти ко всему детскому населению земли.

> Травить детей – это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!

Это из записных книжек. А вот – фрагмент из “Старухи”:

> С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казни. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я

напускаю на них второй столбняк, и они все околевают…

И – оттуда же:

> – Терпеть не могу покойников и детей.
> – Да, дети гадость, – согласился Сакердон Михайлович.
> – А что, по-вашему, хуже: покойники или дети? – спросил я…

Что стояло за этой “педофобией”, была она природной или напускной? И как соотносилась она с работой в детской литературе? Мы еще вернемся к этому вопросу…

Началась же деятельность Хармса – детского писателя осенью 1927 года. 28 ноября Хармс и Заболоцкий были на Литейном проспекте (тогда – проспект Володарского) в гостях у Самуила Маршака, который читал им “замечательную прозу” писателя-самучки Гудима. В начале декабря Хармс записывает: “Олейников и Житков организовали ассоциацию “Писатели детской литературы”. Мы (Введенский, Заболоцкий и я) приглашаемся”.

40-летний Маршак и 45-летний Житков были во многих отношениях не похожи на тех “старших”, с которыми обэриутам приходилось встречаться в Союзе поэтов. Впрочем, и друг на друга они не походили.

О Маршаке, которого Хармс считал своим вторым, наряду с Хлебниковым, учителем, говорили и писали очень по-разному. Под пером Надежды Мандельштам он выглядит классическим советским интеллигентом-конформистом, и ее описанию нельзя отказать в выразительности:

> Хрипловато-вдохновенным тоном он объяснял авторам (у него были не писатели, а авторы), как они должны писать, развивая и украшая сюжет, выбиваясь в большой стиль. Поэзия в руках Маршака становилась понятной всем и каждому: все становились поэтичными, и голос у него дрожал… Для души он завел коробку гладкой мудрости, вызывающую умиление даже у начальства. Он придумал литературный университет для школьников, вызвавший возмущение Мандельштама, который не переносил инкубаторов. Маршак – характернейший человек своего времени, подсластивший заказ, создавший иллюзию литературной жизни, когда она была уничтожена…[225]

Самуил Маршак, 1900-е. Фрагмент групповой фотографии.

Несомненно, здесь есть доля истины. Элемент приглаженности, сентиментальной фальши, умильной полулжи, прикрывающей свирепую и варварскую природу нового общества, есть не только в лирике Маршака, но и в его переводах, и в его поздних детских стихах. Нервный, дерганый человек, страдавший мучительными бессонницами, постоянно испытывавший внутренний дискомфорт, он временами прятался от него в слащавое смиренномудрие. Но будь Маршак только таким, едва ли он стал бы другом и учителем Хармса. И едва ли типичный советский интеллигент зачитывался бы в 1930-е годы Хлебниковым, а про песенку “Маруся отравилась” всерьез утверждал бы, что она культурнее всех стихов Брюсова. Сам Маршак не был ни одномерен, ни “прозрачен”, но он и впрямь приложил руку к процессу массовой выделки одномерных и прозрачных людей. Хотя… Преемником созданного Маршаком “литературного университета для школьников” (“Дома детской книги”) стал детский литературный клуб “Дерзание” при Дворце пионеров и школьников (основанный в 1937 году). Как выпускник

этого “университета”, могу засвидетельствовать, что пребывание в нем в 1960–1980-х годах отнюдь не способствовало выработке официальных советских добродетелей. Напротив, созданные Маршаком “инкубаторы” были настолько причудливы, там оседали такие неожиданные птицеводы, что и вылуплялись там не только одинаково-пушистые советские цыплята, но и птицы неведомых пород.

Самуил Маршак, 1920-е.

Примечательно, что Маршак был человеком практически без дореволюционной литературной биографии. К тридцати годам он успел сделать немногое, многое повидав и испытав. И это при

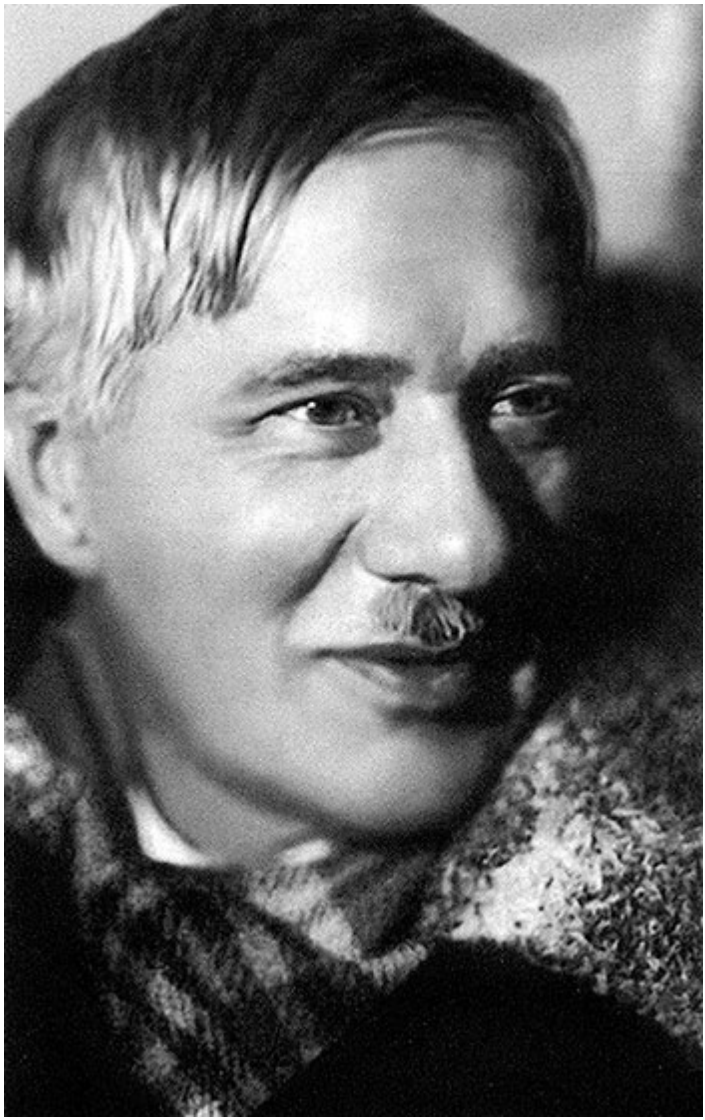
том, что удача, казалось бы, с самого начала улыбнулась ему: стихи 15-летнего мальчика, потомка знаменитых миснагидских[226] раввинов и сына техника-мастера на витебском химическом заводе, попала в руки престарелого, маститого художественного критика В.В. Стасова. Оказалось, что мальчик болен туберкулезом. Литературная общественность с упоением стала “принимать участие” в его судьбе. Два года Маршак прожил в Ялте в семье Горького. Но, может быть, Маршаку повредило пребывание в кругу издательства “Знание”, где с прозой дело обстояло хорошо, а со стихами – не слишком, а может быть, в нем самом было нечто глубоко чуждое Серебряному веку, только талант его не развивался. Ранняя лирика Маршака мало чем отличается от стихов бесчисленных гладкописцев, все равно – традиционалистского или “декадентского” характера, заполнявших тогдашние журналы. Маршак был скорее традиционалистом: образцом для него служил в лучшем случае Бунин. Его художественный мир, казалось, никак не пересекался с миром другого еврейского мальчика из Витебска, родившегося в том же 1887 году, Марка Шагала. И тем более – с миром витебчанина Малевича. В довоенной литературной среде он был на третьих ролях, на задворках – и вполне заслуженно. Пятнадцать лет спустя, уже признанным мэтром, он рассказывал молодому Евгению Шварцу о “прежней литературной среде”: “Ты не был гениален: любой язык, даже узбекский, осваивал на ходу. Поворот в его жизни произошел в 1920 году, когда он вместе с Елизаветой Васильевой основал детский театр в Екатеринодаре. Ты не представляешь себе, что это были за волки. Что теперешняя брань – вот тогда умели бить по самолюбию!”[227] Этих “ударов по самолюбию” он не забыл.

К 1917 году Маршак успел пережить увлечение сионизмом, побывать на Ближнем Востоке в качестве корреспондента “Всеобщей газеты” и воспеть вялыми и гладкими стихами еврейские колонии в Палестине, а потом – отправиться в Англию, за считанные месяцы практически с нуля изучить английский, открыть для себя Блейка (для русской литературы уже открытого Бальмонтом) и начать переводить его. Лингвистически он и в самом деле стал писать пьесы-сказки, среди которых был и знаменитый “Кошкин дом”. В 1922 году эти пьесы были изданы отдельной книгой. Так Самуил Яковлевич открыл свое призвание. После ареста Васильевой пьесы издавались и шли в театрах под именем одного Маршака. Биография Елизаветы-Черубины, начавшаяся мистификацией, закончилась анонимностью и забвением.

Начиная со следующего года произведения Маршака (“Детки

в клетке”, “Дом, который построил Джек” и пр.) стали появляться в частном издательстве “Радуга”, основанном Львом Клячко, в дореволюционном прошлом – маститым репортером. В этом же издательстве, стоявшем у истоков советской детской литературы, появлялись в эти годы книги Чуковского. Иллюстрировали издания “Радуги” Юрий Анненков, Владимир Лебедев, Владимир Конашевич.

Корней Чуковский, который, в отличие от Маршака, был очень влиятелен (как критик) еще в дореволюционный период, тогда начал и свою деятельность в области детской литературы. Сперва – в качестве организатора и теоретика. Первое (и самое знаменитое) художественное произведение для детей – “Крокодил” (в первой редакции – “Приключения Крокодила Крокодиловича”) – он написал почти случайно, развлекая больного сынишку. Поэма о восстании зверей, угрожающем мирным жителям Петрограда, и о блаженной эре мирного сосуществования людей и зверей (парадоксально перекликающаяся с вдохновлявшими Хлебникова и Заболоцкого мечтами о “конских свободах и равноправии коров”) появилась революционной зимой 1917 года. Ее первыми читателями – так уж получилось – стали дети, хорошо знакомые с войнами и насилием, но плохо понимающие, что такое “тысяча порций мороженого”. Они думали, что речь идет о мороженой картошке – лакомстве времен военного коммунизма.



Корней Чуковский, 1940 г.

В дни нэпа Чуковский написал еще несколько сказок – отчасти для собственных детей, отчасти для заработка, отчасти в качестве эксперимента. Среди них “Мойдодыр”, “Муха-цокотуха”, “Тараканище”, “Краденое солнце”, “Айболит”, “Бармалей”. Собственно, с этих неувядающих книг и начался золотой век детской литературы в России.

Обращение к детской литературе бывших “взрослых” писателей (и удачливых, как Чуковский, и неудачников, как Маршак) было по-своему закономерным. Позднее, в том числе в 1930-е годы (и вплоть до конца советской эпохи), сотрудничество крупных писателей в детских журналах и издательствах

объяснялось просто: большие тиражи, неплохие гонорары и при этом – сравнительно слабое идеологическое и эстетическое давление. Чтобы обеспечить это “слабое давление”, пришлось, правда, в годы “великого перелома” отбить несколько серьезных атак. Но в середине двадцатых и в литературе для взрослых можно было сделать немало, и все-таки для детей писали многие и с удовольствием. Двадцатые годы памятны научно-педагогическими экспериментами, и в какой-то момент не было у детских писателей страшнее врага, чем “педологи” (об этом чуть ниже). Но не забудем: дореволюционная педагогика и детская литература тоже были явлениями довольно-таки душными, тоскливыми, и их крах открыл, казалось, новые возможности. Чуковский в своей книге “От двух до пяти” констатировал:

> Мы переживаем теперь настоящий расцвет детской книги… Никогда, на всем протяжении русской литературы, не возникало в течение столь короткого времени такого количества детских стихов, которые были бы произведениями искусства[228].

Все двадцатые годы Чуковский старательно “собирал” талантливых людей, приспособляя их к работе в детской литературе. В 1923 году в его доме появился друг его одесского детства – Борис Степанович Житков. Николай Корнейчуков (еще не ставший Корнеем Чуковским) и Борис Житков вместе учились в 5-й Одесской гимназии и одно время были неразлучными друзьями. В число их близких знакомых той поры входили многие впоследствии знаменитые люди – от Владимира (Зеева) Жаботинского (смолоду – талантливого русского прозаика и поэта-переводчика, в зрелости – знаменитого еврейского общественного деятеля, основоположника правого сионизма) до авиатора Сергея Уточкина. Неукротимый Корнейчуков вылетел из гимназии, не закончив курса. Отличник Житков гимназию закончил – и зажил бурной, богатой событиями жизнью. Он участвовал в революционном движении, во время погромов помогал Жаботинскому и другим своим еврейским друзьям организовывать отряды самообороны (этот опыт отразился в его романе “Виктор Вавич”), получил два диплома (естественное отделение Новороссийского университета и кораблестроительное – Петербургского политехнического института), был ихтиологом, штурманом парусника, офицером военного флота, в дни Первой мировой ездил в Англию. Теперь он болел и бедствовал. Чуковский, послушав рассказы бывалого моряка про свои странствия, предложил тому заняться литературой – литературой для детей, само собой. Через некоторое время Борис Степанович

принес Чуковскому свой первый рассказ – “Шквал”. Половину каждой страницы Житков оставил пустой – для “редакторских поправок”. Но их почти не понадобилось. Уже в следующем году вышла первая книга Житкова – “Злое море”. (Так все выглядит в изложении Чуковского. Если верить Шварцу, все было не так просто. Писательский стиль Житкова был старательно выработан в результате педагогических усилий Маршака. Во всяком случае, он вполне вписывался в “сказовую” стилистику, господствовавшую в литературе в двадцатые годы.)

Житков был парадоксалистом, анархистом, отчасти даже мизантропом. Его главное произведение, роман “Виктор Вавич”, напечатанный посмертно в 1941 году, сразу же изъятый цензурой и переизданный лишь несколько лет назад, – книга мрачная, отчаянно-безнадежная. Тандем Житкова с Маршаком, отразившийся даже в детских стихах последнего (“Почтальон”), не мог быть прочным. Уже та Ассоциация детских писателей, которую Житков задумал в конце 1927 года и в которую собирался вовлечь Хармса, создавалась без Маршака и отчасти в противовес ему.

> Беда Маршака в том, что он повсюду хочет быть первым, и всякий визит превращается в его юбилей… Приглашать его можно только митрополитом. А я и Колька (Олейников. – *В. Ш.*) другой веры (*из письма Житкова к Е.П. Бахаревой* 25 *ноября* 1927 *года*)[229].

Ассоциация тогда не сложилась, и до поры Житков и Маршак дружно работали вместе. Вдвоем они играли роль верховных арбитров в детской литературе Ленинграда.

> Посторонний зритель не всегда замечал, чем одно слово лучше другого, но тут и Маршак и Житков умели объяснить невежде, кто прав, Маршак неясной, но воистину вдохновенной речью с Шекспиром, Гомером и Библией, а Житков насмешкой, тоже не всегда понятной сразу, но убийственной. Желая уничтожить слово неточное, сладкое, ханжеское, он, двигая своими короткими бедрами и вертя плечами, произносил нарочито фальшивым голосом: “Вот как сеет мужичок”[230].

В 1923–1925 годах Маршак издавал журнал “Новый Робинзон” (сперва называвшийся “Воробей”) – первый детский журнал нового типа. Выходил он уже в государственном издательстве. Еще полным ходом шел нэп, но мудрый Самуил

Яковлевич предвидел новые времена. В 1927 году Клячко, который брезгливо отклонял идеологически ангажированные книги, заявляя, что “лозунгами не торгует”, вынужден был свою издательскую деятельность прекратить. Отныне издателем-монополистом детской книги в Ленинграде стал Госиздат, находившийся в бывшем здании фирмы “Зингер” (Невский проспект, дом 28) – пышной постройке в стиле модерн, творении Петра Сюзора, точь-в-точь напротив “Красной Баварии”. На башне именно этого дома, по словам Заболоцкого, “рвался шар крылатый и имя “Зингер” возносил”. В начале 1928 года, то есть как раз в те дни, когда обэриуты готовили вечер “Три левых часа”, здесь начал выходить журнал для школьников “Ёж”. Редактором его был Олейников, а Хармс и Введенский вошли в число постоянных авторов.

Привлечение обэриутов (практически всех: Хармса, Введенского, Заболоцкого, Бахтерева, Разумовского и “сочувствующего” ОБЭРИУ Липавского) к работе в детской литературе объяснялось не только тесной дружбой с Олейниковым и симпатиями Маршака. Существование “левого искусства” в раннесоветскую эпоху оправдывалось в числе прочего и возможностью его использования в прикладной области, что, кстати, и заработком художников обеспечивало. В то время как большинство учеников Малевича расписывало агитфарфор, Вера Ермолаева оформляла детские книжки, выходившие в “Радуге”, а потом и в Госиздате. Очевидно, что молодым “левым” поэтам, в чьих стихах такое место занимала эксцентрическая игра, логично было бы попытать силы в этой области.

Борис Житков. Фотография Г. Петникова. Коктебель, 1936 г.

Бывшее здание компании “Зингер” (Невский пр., 48), в котором находилась редакция Ленинградского отделения Госиздата. Фотография Н. Кавина, 1980-е.

Надо сказать, что 1928 год был для детской литературы непростым. В это время тучи особенно плотно сгустились над ее главным гуру, теоретиком, небожителем – Корнеем Чуковским. Еще прежде критической травле и цензурным гонениям подвергались два его произведения – “Муха-цокотуха” и “Чудо-дерево”. О характере претензий к “Мухе” можно получить представление из дневниковой записи Чуковского от 1 августа 1925 года. Во-первых, там упоминались “именины”, а это слово еще было неприемлемым для советского языка (позже “именинами” стали называть день рождения); во-вторых, “комарик – переодетый принц, а муха – принцесса”, в-третьих, “рисунки неприличны: комарик стоит слишком близко к мухе, и они флиртуют”. (“Мухе-цокотухе” и впоследствии не везло. В дни коллективизации приобрела одиозный смысл строчка про “жуков рогатых – мужиков богатых”. В 1960 году некто В. Колпаков, кандидат исторических наук, потребовал запретить сказку Чуковского как “апологию насекомого-вредителя”. В брежневскую эпоху ходил анекдот, что генсек, имевший, как известно, слабость к орденам, принял на свой счет “позолоченное брюхо”, а в 1990-е годы – это уже не анекдот! – литературовед М.Н. Золотоносов

усмотрел в ней скрытый антисемитский дискурс, ибо с пауками традиционно сравнивали евреев-ростовщиков.) “Чудо-дерево” и его продолжение – “Что сделала Мура”, изданное в 1926 году, не переиздавались из-за “закрытой рецензии” Н.К. Крупской. Вдова Ленина, не ладившая со Сталиным и отодвинутая на второй план в политических делах, была по-прежнему влиятельна в вопросах педагогики и детской литературы.

> Какой смысл этих “сказочек” для взрослого?
>
> Есть Мурочки, Зиночки и прочие, которым “чудо-дерево” – государство – дает туфельки с помпончиками, а есть убогие – босоногие – ребята, которым чудо-дерево – государство – дает лапти и валенки…
>
> А что вынесут из этих сказочек малыши?
>
> Что в порядке вещей, чтобы были буржуйские Мурочки, с одной стороны, с другой – убогие, босоногие Машки. Так было – так будет. Это во-первых.
>
> Во-вторых, что только чудом можно удовлетворить их потребности в лаптях и в валенках…
>
> В-третьих, что удовлетворение ребят сапогами зависит от Мурочек и что все на свете делается из самолюбия…[231]

В том же 1926 году вдруг был запрещен “Крокодил”, прежде неоднократно переиздававшийся. Лишь к осени 1927 года Чуковскому удалось добиться цензурного разрешения на новое издание. Но, едва оно увидело свет, разразилась гроза.

В “Правде” за 1 февраля была напечатана рецензия Крупской:

> …Надо ли давать эту книжку маленьким ребятам?.. Ребята видели крокодила в лучшем случае в зоологическом саду. У нас мало книг, описывающих жизнь животных. А между тем жизнь животных ужасно интересна ребятам. Не лошадь, овца, лягушка и пр., а именно те животные, о жизни которых им хочется так знать. Это громадный пробел в детской литературе. Но из “Крокодила” ребята ничего не узнают о том, о чем бы им хотелось узнать. Вместо рассказа о жизни крокодила они услышат о ней невероятную галиматью. Однако не все же давать детям “положительные” знания, можно дать им материал и для того, чтобы повеселиться…

Однако веселье, которое дает детям Чуковский, политически и этически сомнительно, продолжает Надежда Константиновна.

> Изображается народ – народ орет, злится, тащит в полицию, народ-трус дрожит от страха…

Далее:

> Вторая часть “Крокодила” изображает мещанскую обстановку крокодильего семейства…
>
> Народ за доблести награждает Ваню, крокодил одаривает своих земляков, а его за подарки обнимают и целуют. “За доброту платят. Симпатии покупают” – вколачивается в мозг ребенка.

И наконец:

> Герой дает свободу народу, чтобы выкупить Лялю. Это такой буржуазный мазок, который бесследно не пройдет для ребенка…

Особое возмущение вызвал у Крупской монолог Крокодила во второй части, в котором она усмотрела пародию на Некрасова. Чуковский был признанным специалистом по творчеству и биографии этого поэта, и его изыскания, естественно, разрушали примитивно-пропагандистский образ Некрасова, унаследованный большевиками от народников. Надежде Константиновне казалось, что Чуковский ненавидит саму память Некрасова, чему порукой и его кощунственная пародия. Обличив кстати Чуковского-некрасоведа, Крупская возвращается к “Крокодилу”: “Я думаю, что “Крокодила” нашим детям давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть”.

Друзья Чуковского подняли тревогу, и 15 марта в “Правде” было напечатано письмо М. Горького. В основном “пролетарский классик” брал под защиту некрасоведческие труды автора “Крокодила”. Горький упомянул, в частности, что В.И. Ленин, в отличие от своей супруги, положительно оценивал подготовленное Корнеем Ивановичем собрание сочинений Некрасова. Что касается крокодильего монолога, то в нем, справедливо отмечал Горький, пародируется не Некрасов, а “скорее… “Мцыри” или какие-то другие стихи Лермонтова”.

Письмо подействовало, или подействовали хлопоты Маршака, сумевшего настроить в свою (и Чуковского) пользу влиятельную Людмилу Рудольфовну Менжинскую, начальницу Главсоцвоса (Управления по социальному воспитанию при Наркомпросе) и родную сестру председателя ОГПУ. “Крокодила” не запретили. Более того, Чуковский в этом же году выпустил книгу “Маленькие дети” (в последующих изданиях – “От двух до

пяти”), где провозгласил и обосновал принципы, которым, с его точки зрения, должен следовать детский поэт. Точно так же он несколькими годами раньше (вместе с Гумилевым) написал “правила” для поэтов-переводчиков – правила, которым следовало большинство профессионалов до конца советской эпохи, а отчасти следует и до сих пор.

Основных заповедей для детских поэтов одиннадцать[232]. Во-первых, “детские стихотворения должны быть графичны”, в каждой их строфе “должен быть материал для художника”. Во-вторых, образы должны сменяться максимально быстро. В-третьих, кроме образов, в стихотворении обязательно должен присутствовать и лирический элемент: “ребенку мало видеть тот или иной эпизод, запечатленный в стихах: ему надо, чтобы в стихах были песня и пляска”. Четвертое правило – переменчивость ритма. Пятое – “повышенная музыкальность, текучесть звуков”. Шестое – простая система рифмовки (обычно – парные рифмы). Седьмое – слова, стоящие на рифме, “должны быть основными носителями смысла всей фразы”. Восьмое – совпадение синтаксического и ритмического членения, отсутствие анжамбеманов. Девятое – преобладание существительных и глаголов над прилагательными. Десятое – “преобладающим ритмом ребячьих стихов должен быть непременно хорей”. Одиннадцатое – преимущественно игровой характер стихов.

Книга вызвала новое обострение кампании против Чуковского. В 9/10 номере “Красной печати” появилась статья К. Свердловой (вдовы председателя ВЦИК) “О «чуковщине»”. Вот какие обвинения предъявлялись в этой статье автору “Маленьких детей” и его последователям:

> …Культ личного детства, культ хилого рафинированного ребенка, мещански-интеллигентской детской, боязнь разорвать с “национально-народным” и желание какой угодно ценой во что бы то ни стало сохранить, удержать на поверхности жизни давно отмирающие и отживающие формы быта… Говоря о детских реакциях, детских переживаниях, детских страхах, писатели этой группы берут свои примеры из жизни детей, вырастающих в обстановке мещанской семьи, где детей “лелеют”, оберегают от всякого дуновения жизни… Чуковский ни словом не упоминает… о детстве, организованном через детский коллектив, где берется установка на умственную и физическую выдержку, на физическую смелость…

В четвертом номере “Дошкольного воспитания” за 1929 год была напечатана резолюция собрания родителей кремлевского детсада (понятно, что среди этих родителей преобладали ответственные работники самого высокого ранга и обслуживающий их персонал):

> Чуковский и его единомышленники дали много детских книг, но мы за 11 лет не знаем у них ни одной современной книги, в их книгах не затронуто ни одной советской темы, ни одна книга не будит в ребенке социальных чувств, коллективистских устремлений…

Предлагалось “не читать детям этих книг” и “протестовать в печати против издания книг этого направления нашими государственными издательствами”.

Если марксисты ополчались (и справедливо, со своей точки зрения) на “культ личного детства”, то специалисты-педагоги (или “педологи”) из ГУСа (Государственного ученого совета при Наркомпросе) не соглашались с мыслью Чуковского о полезности для детей сказок и “нескладушек”. Сам Корней Иванович в конце концов сдался. 30 декабря 1929 года он напечатал в “Правде” следующее открытое письмо:

> Сейчас я вернулся из продолжительной поездки по СССР и пришел к выводу, что никогда наша планета не видела таких грандиозных событий, которые происходят сейчас в Закавказье, на Украине, в Донбассе… Когда я вернулся домой и перечитал свои книги – эти книги показались мне *старинными*. Я понял, что таких книг больше писать нельзя, что самые формы, которые я ввел в литературу, исчерпаны… Поэтому, если бы я даже хотел, я не могу писать ни о каких “крокодилах”, мне хочется разрабатывать новые темы, волнующие новых читателей[233].

Чуковский обещал создать цикл книг под общим названием “Детская Колхозия”. Ничего подобного он так и не написал, но и стихи-сказки прежнего типа перестали появляться. (Впрочем, тому были, видимо, и сугубо личные причины; Корней Иванович писал в том числе для своих детей, но старшие сыновья и дочь к концу 1920-х годов уже выросли, а Мурочка, любимица отца, чье имя так часто возникает в его стихах, в 1931 году угасла от туберкулеза. Сочинение новых детских стихов было не только чревато неприятностями, но и вызывало, вероятно, мучительные воспоминания.)

И все же после долгих мытарств (выпавших в начале 1930-х годов и на долю Даниила Хармса) детских писателей оставили более или менее в покое, а книги “Чуковского и писателей его группы” более или менее благополучно переиздавались. Почему?

Для советского общества в 1920–1930-е годы был характерен культ ребенка как “нового человека”, формирующегося в новое, послереволюционное время, лишенного родимых пятен классового общества. Во многих произведениях, особенно относящихся к 1930-м годам, этот культ приобретает трагический характер. Чистый, совершенный “новый человек” обречен – он погибает, так и не став взрослым, как пионерка Валентина в поэме Багрицкого, как гайдаровский Алька, как Настя в платоновском “Котловане”. За этим стояло подсознательное сомнение в успешности нового антропологического проекта.

В самом деле, проект этот стал давать сбои с самого начала. Именно антропологическая утопия была причиной широкого государственного финансирования детской литературы. Но та литература для детей, которая выходила из-под пера талантливых “попутчиков”, не соответствовала идеологическим задачам, а другой просто не было. Натан Венгров и Софья Федорченко, интриговавшие в Наркомпросе против Чуковского и Маршака, сами писали в “чуковско-маршаковской” манере, только хуже. Уйти от “мещанских” семейных ценностей не удавалось, потому что сама власть не была до конца уверена в целесообразности их разрушения. С начала тридцатых годов, когда политика на деле становилась все более радикальной и беспощадной, эту беспощадность начинали прикрывать флером ложноклассической эстетики и старомодной чувствительности, включающей нежность к “Машенькам” и “Ванечкам”. Легче было, казалось бы, избавиться от “небывальщин” – но, может быть, кремлевские родители все же втайне друг от друга сами читали своим детям “Крокодила” и “Бармалея”… Чем жесточе становился мир, тем больше он нуждался в сказке.

2

Уже “Воробей” и “Новый Робинзон” были огромным шагом вперед в сравнении с эпохой “Задушевного слова”. Среди авторов этих журналов были Житков, Виталий Бианки, М. Ильин (Илья Яковлевич Маршак, младший брат Самуила Яковлевича, мастер занимательных рассказов для детей о простых вещах и бытовых явлениях – о происхождении тарелки и вилки, об истории бумаги и о гигиенических обычаях разных времен; его книги были

популярны еще в 1960–1970-е годы). Виктор Шкловский печатал в “Новом Робинзоне” повесть с продолжением “Путешествие в страну кино” – о советском мальчике, попавшем в только возникавший в те годы Голливуд, Николай Тихонов – авантюрно-ориентальную (Гумилев был бы доволен!) повесть “Вензели”. Сотрудничали там Пастернак, Асеев, Федин. И все же высшая точка золотого века детской журналистики связана не с “Новым Робинзоном”, а с ранним “Ежом”.

И дело не только в том, что в “Робинзоне” “подкачала” поэзия (ни Маршак, ни Чуковский сами как поэты там почему-то не печатались, а детские стихи Пастернака отнюдь не принадлежат к его шедеврам). “Новому Робинзону” не хватало концептуальной цельности. Рядом с Маршаком должен был появиться человек, обладающий специально-журнальным опытом, интуицией и хваткой. Таким человеком был Олейников.

Первый номер “Ежа” (расшифровка – “Ежемесячный журнал”), вышедший в январе 1928 года, открывался рассказом Д. Баша и Е. Сафоновой (художницы) “Озорная пробка”. Под именем Д. Баш скрывался Даниил Хармс. Сам писатель впоследствии признавался, что рассказ этот, первое опубликованное им прозаическое произведение, написан им за два часа, и относил его к “халтурным” произведениям[234]. В самом деле, в “Озорной пробке” нет практически ничего специально-хармсовского. Но

если рассказ написан по заказу, то, вероятно, он может поведать нам нечто о политике журнала.

Что же? Перед нами обычная юмористическая история о мальчике, который каждый вечер шутки ради выкручивает пробки – а взрослые полагают, что в доме неисправно электричество. Вполне возможно, что это реальная история, которую Хармс слышал в электротехникуме. Однако дом, в котором происходит это немудреное событие, – детский дом. Другими словами – приют, дом сирот…

Вот это был ответ тем, кто обвинял Чуковского и его последователей в культе мещанской семьи! Едва ли можно было бы представить в любую другую эпоху детский журнал, открывающийся рассказом о ребятах из сиротского приюта, причем не жалостливым, не сострадательным – рассказом о счастливых детях из приюта. Причем Олейникову, в отличие от самого Хармса, именно эта сторона “духа времени” должна была прийтись по сердцу. Маршак, Хармс, Введенский, Шварц, Житков происходили из разной социальной среды, но у каждого из них были любящие родители и благополучный дом, о котором они вспоминали с благодарностью. Лишь Чуковский, незаконнорожденный, был лишен отцовской заботы – так он и пытался для себя компенсировать это, очень рано женившись и став отцом большого, многодетного семейства. Но у Олейникова все было еще драматичнее. Семья его была по-казачьему патриархальной, суровой. Отец – деспотичен, гневен, “страшен”. Во время Гражданской войны отец и сын оказались по разные стороны. Когда отставший от своей части Николай добрался до родного дома, отец выдал его белым, на верный расстрел. Избитому до полусмерти Олейникову удалось бежать. Отца он ненавидел, не понимал, как может Хармс любить своего отца и восхищаться им, и даже, по словам Шварца, осуждал Даниила Ивановича за это. Дети без родителей могли не казаться ему, человеку, порвавшему со своим семейным, родовым прошлым, такими уж несчастными. И, услышав от Хармса историю о пробке, он, скорее всего, попросил записать ее – специально для первых страниц первого номера. Непритязательный текст – но о жизни ребят в коллективе.

Впрочем, и Маршак в том же номере отдал дань воспеванию пролетарского коллективизма:

Что там за прохожий
Идет по мостовой?
Что за краснокожий
С голой головой?

Легкая рубашка,
Короткие штаны,
На боку баклажка
С левой стороны.
Шибко он шагает,
Ростом невелик,
Встречному трамваю
Ехать не велит.

Ванька он
И Колька,
Женька он
И Олька,
Ленка
И Сережка,
Сонька
И Матрешка.

А люди говорят –
Зовут его Отряд!

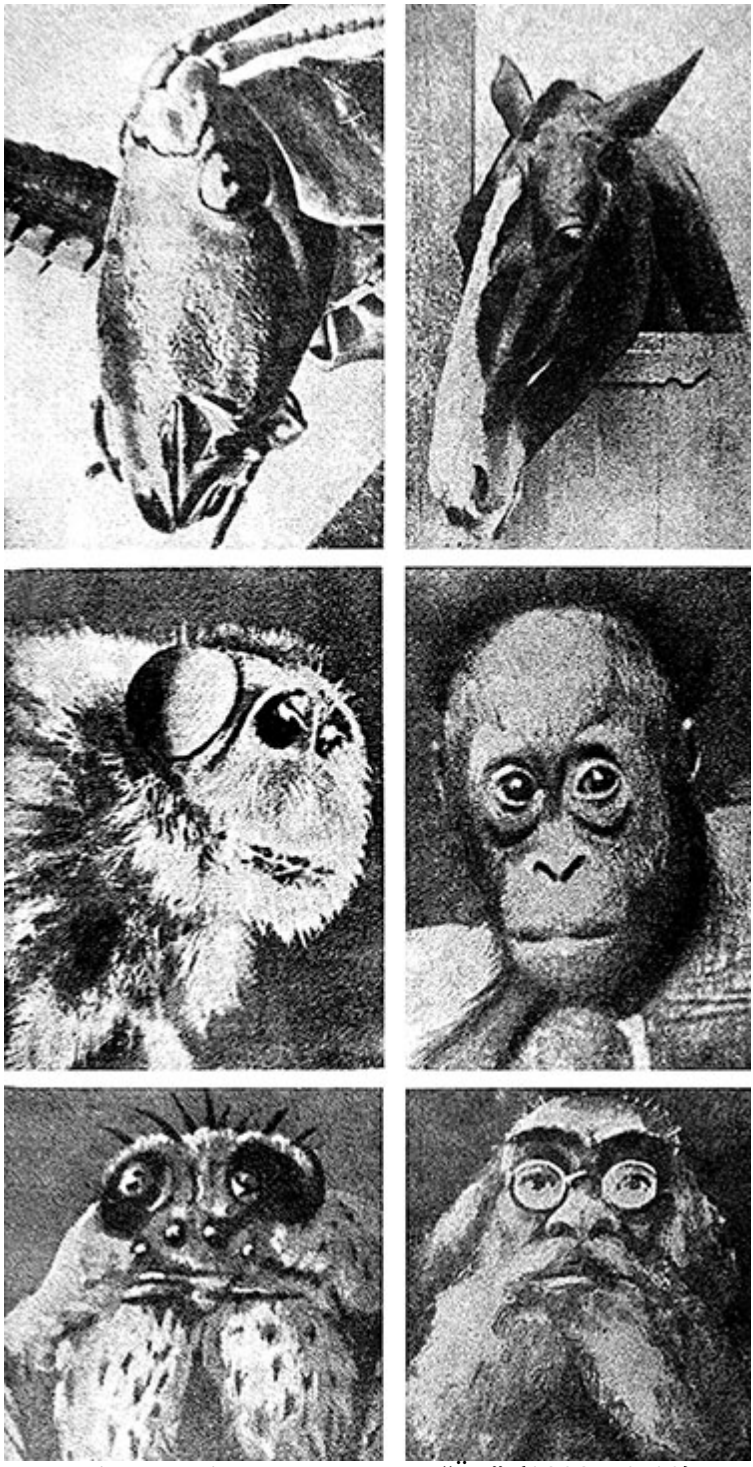
Поэзию в первом “Еже” представлял, кроме того, “Иван Иваныч Самовар” Хармса – первое его напечатанное детское стихотворение. В отличие от “халтурного” рассказа, эти ставшие знаменитыми стихи Даниил Иванович подписал своим основным литературным именем. Рядом – две очаровательные загадки-миниатюры Чуковского – “Кошки в лукошке” и “Две ноги на трех ногах…”[235]. Из прозаиков, кроме Хармса-Баша, представлены Житков и Бианки.

Интересно, что “политические” тексты не открывают номер, а идут в середине его. И если один из этих текстов, “Ленин”, – примитивно-пропагандистский, то второй, “Китайские дети, китайские пионеры, китайские революционеры”, имеет и познавательное значение.

Впрочем, материалы познавательного характера вообще занимали в “Еже” важное место. И это были не “истории шоколадных карамелек” – с детьми всерьез говорили о большом мире, рассказывали им о многом, от Тунгусского метеорита до биографии Шевченко (все-таки задерживая внимание на курьезах и странностях – вроде изобретенного кем-то “корабля на колесах”, который будет пересекать Сахару). Но в этих рассказах не было и тяжеловесного занудства “продвинутых” дореволюционных детских журналов. Редакторам удалось найти

верный баланс между пользой и увлекательностью, учебой и игрой.

Прежде всего это заслуга Олейникова, чья личность чувствуется во многих материалах. Особенно отразилась она в удивительных фотографиях, размещенных в двенадцатом номере журнала. Фотографии были расположены парами. Справа – лошадь. Слева – дикая, лысая лошадь-мутант. Справа – обезьяна. Слева – обезьяна, но тоже какая-то больная: с белой шерстью, с жуткими наростами вместо ушей. Справа – старик с бородой. Слева – практически он же, но как будто превращающийся в инопланетянина из современных телевизионных страшилок… Разгадку можно было обнаружить, перевернув страницу. Фотографии в левой части страницы изображали многократно увеличенных насекомых: кузнечика, муху, паука.



Парные фотографии из журнала “Ёж” (1928. № 12): кузнечик и лошадь, муха и обезьяна, голова паука и “голова профессора”.

Сами письма читателей отличались от тех, что писались двадцатью годами раньше в “Задушевное слово”. Никакой “игры на рояле”, никаких рассказов про “церковь со стекляшками”. Перед нами – настоящие репортажи или заметки, написанные юными журналистами.

> Ребята, посылаем вам заметку, что 24 ноября 1927 года в нашем море случилась беда.
>
> Ребята, ловцы Астраханской губернии, выехали ловить рыбу в Каспийское море. Но не успели поднять рыбы, как поднялся ураган, и ловцам настала смерть.

> Мы устроили в школе живой уголок. Достали кроликов, голубя, поймали воробья, синицу, перепелку. Но вот какой печальный конец настал уголку. Воробей улетел. Синица, ворона и перепелка подохли с голоду. Голубя украли. А кролики живут и голодают.
>
> Я бы хотел, чтобы эту статейку напечатали в детском журнале, тогда об этом узнают все, кто поступает с животными так же, как наши бобруйские ребята.

Из таких писем, напечатанных в “Еже”, юные жители Крыма узнавали о природе и быте своих мурманских сверстников, и наоборот. Причем школьник-крымчанин не забывает упомянуть, что в его городе сохранились остатки Митридатова дворца, что “в старину город назывался Пантикапея. Там жили греки”. Ничего подобного не встретишь в детских журналах дореволюционной поры – а ведь тогда древние языки и цивилизации изучали в школах!

В “Еже” печаталось и нечто вроде романов с продолжением, в основном исторических – то есть, в соответствии с требованиями эпохи, историко-революционных. Героями их часто были нетривиальные персонажи – авантюрист начала XVII века Иван Болотников, в советское время считавшийся вождем крестьянской войны, или Николай Клеточников, по заданию “Народной воли” внедрившийся в полицию. Стиль также был далек от скуки казенных жизнеописаний. Например, повествование Григория Шторма про Болотникова начиналось так: “У царя Бориса Годунова жило в большом терему шесть попугаев – один другого умнее…”

Эксцентрический дух Олейников вносил и в рассказы про революцию и Гражданскую войну, которые он писал, как правило, сам. Особенно замечателен один из них – “Учитель географии”. Иван Иванович, учитель географии в Смольном институте, уснул летаргическим сном и проспал десять лет. Можно лишь

представить себе, что довелось пережить ему по пробуждении! Сильнее всего заключительный диалог Ивана Ивановича с врачом – истинно обэриутский:

> Сегодня мы с Иваном Ивановичем обедали. Когда подали суп, Иван Иванович спросил:
>
> – Что это такое?
>
> – Суп!
>
> Иван Иванович обрадовался.
>
> – Суп? – переспросил он. – Так и называется – суп?
>
> – А то как же иначе? – удивился я.
>
> – Я думал, – сказал Иван Иванович, – что у вас все называется по-новому. Так вы говорите, это суп?
>
> – Да. Суп.
>
> – А это салфетка?
>
> – Да, салфетка.
>
> – А это ложка?
>
> – Да, ложка.
>
> – А как вы думаете, – сказал Иван Иванович, – дадут мне теперь какое-нибудь место? Ну, скажем, почтальона?
>
> – Отчего же, – сказал я. – Но для этого вам надо основательно изучить названия городов и улиц.
>
> – Постараюсь, – сказал Иван Иванович.
>
> И начал грустно есть суп.

Олейников присутствовал в журнале и в качестве героя своего рода “комиксов” – неутомимого путешественника Макара Свирепого. Этот самоуверенный персонаж, иногда в подпоясанной ремнем толстовке (одежде средней руки совслужащего), иногда в кавалерийской форме, очень похожий на Олейникова внешне, посещает Африку, занимаясь распространением и рекламой “Ежа”. Как Гумилев на прижизненных карикатурах, Макар разъезжает по Черному континенту на жирафе. Туземцы принимают его за английского империалиста полковника Лоуренса и хотят убить, но все разрешается ко всеобщему удовлетворению.

Рекламе журнала в самом деле уделялось большое внимание. В первых номерах “Ежа” появлялись стихотворения и миниатюрные истории, специально посвященные пропаганде нового издания. Зачастую их сочинял Хармс:

> Пришел к парикмахеру Колька Карась.
> – Садитесь, – сказал парикмахер, смеясь.
> Но вместо волос он увидел ежа
> И кинулся к двери, крича и визжа.

Но Колька-проказник не долго тужил
И тете Наташе ежа подложил.

А тетя Наташа, увидев ежа,
Вскочила, как мячик, от страха визжа.

Об этих проказах услышал отец.
– Подать мне ежа! – он вскричал наконец.

А Колька, от смеха трясясь и визжа,
Принёс напечатанный номер “Ежа”.

Уже спустя несколько лет “Ёж” и основанный в пару к нему в 1930 году журнал для самых маленьких “Чиж” (“Чрезвычайно интересный журнал”) были популярны настолько, что администрация кондитерской фабрики им. Самойлова собиралась выпустить одноименные конфеты; Олейникову предложили написать для них “рекламный слоган”. Ему пришло в голову лишь следующее:

Утром съев конфету “Ёж”,
В восемь вечера помрешь.

Это двустишие часто повторяли в редакции. По свидетельству, сохраненному С. Шишманом, Хармс при этом добавлял:

Ну а съев конфету “Чиж”,
К праотцам вмиг улетишь.

Не очень правдоподобная редакция (неловко звучат приписанные Даниилу Ивановичу строки) – но стиль остроумия именно тот, который был принят в редакциях “Ежа” и “Чижа”…

3

В детской редакции Госиздата[236], на пятом этаже “зингеровского” дома, Хармс появлялся часто, и не только по делу. Там царила атмосфера особой, истинно обэриутской веселости. Все близкие товарищи Хармса (кроме Друскина)

нашли здесь себе место – с собственными текстами или с адаптациями и пересказами классики. Липавский и Заболоцкий устроились на некоторое время на штатную редакторскую службу. Кроме того, Леонид Савельевич писал познавательные книжки про быт китайских крестьян и народов Северного края, а с начала 1930-х переключился на историко-революционные сочинения для младшего возраста. Одна из таких его книг – “Ленин идет в Смольный” – переиздавалась до 1960-х годов. Бахтерев и Разумовский писали рассказы о классовой борьбе на Востоке (под собственными именами и под псевдонимом Б. Райтонов), Левин – о классовой борьбе в еврейских местечках Белоруссии. Для большинства это было ремесло, не имеющее отношения к “настоящему” творчеству. Пожалуй, лишь для самого Хармса дело обстояло иначе. И, может быть, для Юрия Владимирова, чьи лучшие детские стихи (“Барабан”, “Евграф”) принадлежат к числу несомненных шедевров жанра.

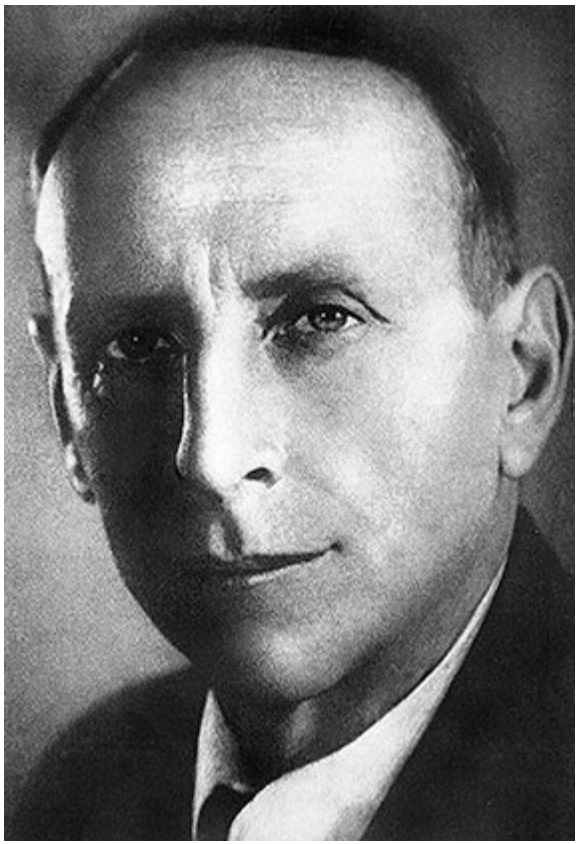
Надо сказать, что товарищи по детской литературе первоначально (и очень долгое время) воспринимали обэриутов как единое целое. Их “взрослые” произведения (кроме тех, что звучали с эстрады Дома печати и других немногочисленных площадок в 1927–1929 годах) не были известны, но о них ходили слухи. Впрочем, далеко не все “детгизовцы” могли бы их оценить. Когда писатель Исай Рахтанов в 1960-е годы прочитал кое-что из неопубликованных произведений Хармса и Введенского, вывод его был таков:

> Сейчас все это производит впечатление заготовок к публиковавшемуся в детских журналах! Видимо, здесь произошло то же, что случилось с Боккаччо, считавшим “Декамерон” пустой безделкой и все свои силы отдававшим латинским сонетам, память о которых сохранили разве что историки итальянского Возрождения[237].

(На самом деле сонетов по-латыни ни Боккаччо, ни кто бы то ни было другой, разумеется, не писал – на этом языке автор “Декамерона” составил несколько философских трактатов.)

Постоянным товарищем Олейникова, его соредактором в “Еже” и “Чиже” был Евгений Шварц. Уроженец Ростова-на-Дону, бывший актер, Шварц еще толком не нашел себя в литературе и брался за любую профессиональную работу. Он был красив, умен и остроумен, но всегда оставался в тени яркого, “демонического” (как сам Шварц характеризовал его в своих мемуарных записках) Николая Макаровича. Он пытался писать стихи в духе Хармса и Олейникова, но они были, судя по сохранившимся образцам,

несколько неловкими и искусственными. И все же в прославивших его пьесах и сказках, написанных в зрелые годы, сквозь милую либерально-советскую сентиментальность пробивается, пусть ослабленный и рационализированный, отзвук обэриутского абсурдизма. Не случайно Николай Акимов, друг Шварца и постановщик его пьес, сравнивал его с Эженом Ионеско.



Евгений Шварц, 1940-е.

Олейников и Шварц были штатными сотрудниками редакции. Кроме них, здесь постоянно мелькали десятки гостей – от почтенного популяризатора науки Якова Перельмана, младшего брата знаменитого дореволюционного беллетриста Осипа Дымова, до молоденькой Агнии Барто, от убеленного сединами Пришвина до недавних выпускников специальной школы для “морально дефективных детей” (то есть малолетних правонарушителей) Алексея Еремеева (взявшего в качестве литературного псевдонима имя знаменитого налетчика – Л. Пантелеев) и Григория Белых. Белых и Пантелеев принесли в редакцию книгу “Республика ШКИД”, в которой описывали свое

экзотическое детство. По воспоминаниям Пантелеева, их появление в “зингеровском” доме выглядело так:

> …Вдруг видим… навстречу нам бодро топают на четвереньках два взрослых дяди – один пышноволосый, кучерявый, другой – тонколицый, красивый, с гладко причесанными на косой пробор темными волосами.
>
> Несколько ошарашенные, мы прижимаемся к стенке, чтобы пропустить эту странную пару, но четвероногие тоже останавливаются.
>
> – Вам что угодно, юноши? – обращается к нам кучерявый.
>
> – Маршака… Олейникова… Шварца… – лепечем мы.
>
> – Очень приятно… Олейников! – рекомендуется пышноволосый, поднимая для рукопожатия правую переднюю лапу.
>
> – Шварц! – протягивает руку его товарищ[238].

Сам Шварц описывает эту историю несколько иначе:

> …Соседняя дверь распахнулась, и оттуда на четвереньках с криком “Я верблюд!” выскочил молодой кудрявый человек и, не заметив зрителей, скрылся обратно.
>
> “Это и есть Олейников”, – сказал редактор научного отдела, никак не выражая чувств…[239]

Пантелеев же вспоминает, как Хармс на спор “переходил из одного окна в другое по карнизу пятого этажа”. Художник Генрих Левин, высунувшись из окна, фотографировал его. Вообще о Хармсе вспоминают то как об отчаянном храбреце (Шварц), то как о трусе (Алиса Порет). Видимо, в нем было и то и другое – как часто бывает в детях.

И, как дети, он, почувствовав опасность, пытался защититься от нее наивными способами. По преданию, когда в редакции возникали рискованные разговоры, Хармс прерывал их словами: “Господа, о политике мы не разговариваем!” – хотя обращение “господа” и нежелание говорить о политике в СССР само по себе было криминалом. Многоопытный и давно вращавшийся в партийных кругах Олейников лучше понимал (так казалось ему) границы дозволенного. По крайней мере, пока журнал удавалось проводить сквозь рифы…

Сотрудники детского журнала скакали на четвереньках, играли в детские игры, уподобляясь своим читателям, или рассказывали друг другу немудреные байки. Были, впрочем, и

галантные забавы, приличествующие более зрелому возрасту. Красавица Генриетта Давыдовна Левина, Груня, секретарь редакции, служила предметом постоянного шутливого соперничества между Шварцем и Олейниковым – и была героиней стихов последнего:

Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет.
Ею Шварцу квитанция выдана…
Мне квитанции, кажется, нет…
Дорогая красивая Груня!
Разлюбите его, кабана,
Потому что у Шварца в зобу не…
Не спирает дыхание, как у меня.

Объектами такого же рода шутейных ухаживаний были и другие зингеровские дамы – от редакторов Шурочки Любарской и Натальи Болдыревой до симпатичной лифтерши Лениздата.

Маршак, возглавлявший всю детскую редакцию и загруженный работой, в “журнальных” комнатах показывался редко. Но “Ёж” не был изолирован от прочей редакционной жизни. Практически все значительные произведения, напечатанные в журналах, потом переиздавались книжками. Как и в журнале, в книгах этих важную роль играло художественное оформление. Детская редакция была таким же привлекательным местом для художников, как и для писателей. Владимир Лебедев, считавшийся лучшим советским графиком, густобровый, с мускулатурой и осанкой боксера – и женственным, капризным характером; Александр Пахомов, классик советской живописи, известный живописатель мощнобедрых физкультурниц; простоватый Евгений Чарушин, писавший и иллюстрировавший книги о природе (которые читали в младших классах еще школьники моего поколения); Юрий Васнецов, потомственный художник-сказочник; изысканные молодые художницы филоновской школы – Алиса Порет и Татьяна Глебова.

Порет и Глебова оформляли книги Хармса, в том числе первую из них – “Иван Иваныч Самовар”. Работали они в соавторстве, но скрывали это: некоторые книги подписывались именем Порет, некоторые – Глебовой, в зависимости от того, какой редактор “вел” книгу и к какой из художниц он в большей мере благоволил. Знакомство Хармса с Алисой Ивановной началось у редакторского кабинета, в ожидании его хозяина.

Мы сели на подоконник, и наступило тягостное

молчание. Хармс сипел трубкой. Было неловко. Он показался мне пожилым и угрюмым дядей (Даниилу Ивановичу было 22 года, он был на три с половиной года моложе Порет! – *В. Ш.*). Вдруг он повернулся ко мне и спросил:

– Что вы делали позавчера вечером?[240]

Так начались приятельские отношения, которым четыре года спустя суждено было ненадолго перерасти в нечто большее.

Несколько лет спустя между Маршаком, с одной стороны, и Олейниковым и Житковым – с другой, пробежит черная кошка – а проще говоря, Самуил Яковлевич, идя по пути неизбежных, “для пользы дела”, компромиссов, в некий момент стыдливо пожертвует строптивыми друзьями, а они не простят ему этой жертвы. Но пока что в их отношениях преобладает мягкая ирония. Хармс и Олейников разыгрывают Самуила Яковлевича, посылая ему художественные произведения от имени юных читателей. Маршак разоблачает обман и делает вид, что сердится. Так же, впрочем, разыгрывают и Чуковского.

Леонид Пантелеев, 1930-е.

В одном из номеров “Ежа” напечатано предложение Корнея Ивановича Чуковского учиться писать стихи. Он поместил начало:

Залетела в наши тихие леса
Полосатая, ужасная оса…
Укусила бегемотицу в живот,
Бегемотица…

И просил ребят продолжить, так как сам выдумать

дальше ничего не смог. В редакцию начали поступать письма.

Олейников, Шварц, Хармс тоже решили учиться писать стихи. Как-никак учитель был маститый.

Окончание строфы: “Бегемотица от ужаса ревет” – напрашивалось само собой. Но Хармс запротестовал и сказал, что от ужаса будет реветь кто-то другой. Посыпались предложения, и через полчаса упорного коллективного творчества родилось стихотворение:

Залетела в наши тихие леса
Полосатая, ужасная оса…
Укусила бегемотицу в живот.
Бегемотица в инфаркте. Вот умрет.
А оса уже в редакции крутится –
Маршаку всадила жало в ягодицу.
И Олейников от ужаса орет:
Убежать на Невский Шварцу не дает.
Искусала бы оса всех не жалея –
Если б не было здесь автора Корнея.
Он ногами застучал:
На осу он накричал:
“Улетай-ка вон отсюда, ты, оса
Убирайся в свои дикие леса.
……
А бегемотица лижет живот,
Он скоро, он скоро, он скоро пройдет.

Недели через две в редакцию зашел Корней Иванович:

– Есть ли для меня письма?

– Есть, есть. – Шварц передал ему стопку листков, подложив их сочинение.

Чуковский просматривал странички, исписанные детским почерком:

– Молодцы, молодцы, ребята.

Наконец дошел до последнего. Прочитал, рассмеялся:

– Я всегда знал, что из талантливых ребят вырастают талантливые дяди[241].

Это веселое и непритязательное общение постепенно заменило Хармсу публичную литературную жизнь, из которой он после 1930 года, по существу, ушел. Общение на глубине,

сущностный диалог происходил все же вне стен Госиздата, причем собеседниками Даниила Ивановича были многие из тех, с кем он вел светские беседы, соревновался в шуточном стихотворчестве и устраивал розыгрыши в доме “Зингера”: Введенский, Олейников, Липавский.

Даниил Хармс на балконе Дома книги. Фотография Г. Левина (?), 1930-е.

Читая записные книжки Хармса даже 1927–1928-го, а тем более 1929–1930 годов, видишь несколько другого человека – не того, который предстает под пером мемуаристов. Мрачные, а порою и истерические исповедальные монологи, посвященные отношениям с Эстер, и метафизические отрывки чередуются с проблесками убийственно-абсурдного, без улыбочки, обэриутского юмора, но никогда – с искрометным и безоглядным весельем. Значит ли это, что Хармс, каким он был в детской редакции Госиздата, – маска? И значит ли это, что детский писатель Хармс – лишь форма компромисса с социумом? Думается, нет. Детская литература давала Даниилу Ивановичу нечто большее, чем просто возможность заработка. А стиль общения, принятый в “Еже”, позволял ему иногда становиться ребенком. Не исключено, что в тайной ребячливости Хармса и был секрет его “детоненавистничества”: в настоящих детях он видел своих низкорослых кривляющихся двойников, своих конкурентов, а может быть, и потенциальных обидчиков. Но дети

не отвечали ему взаимностью: им нравились и стихи его, и рассказы, и сам он – смешной рослый дядя в гетрах, замшевой курточке и кепочке. Выступления Хармса в школах и детских садах имели грандиозный успех. Не меньше восхищали детей фокусы с шариками из-под пинг-понга, которые он показывал – и во время публичных выступлений, и в гостях у знакомых. Об этих фокусах вспоминают многие из тех, кому в детские годы довелось видеть Даниила Ивановича: от Марины Николавны Чуковской, внучки Корнея Ивановича, до Нины Константиновны Бойко, племянницы Е. Сно.

Даниил Хармс на балконе Дома книги. Фотография Г. Левина (?), 1930-е.

4

В течение 1928–1929 годов в “Еже” и отдельным изданием в Госиздате было опубликовано пятнадцать произведений Хармса – двенадцать стихотворений (правда, четыре из них – рекламные) и три рассказа.

Уже “Иван Иваныч Самовар” вызвал восторг у части читателей и недоумение – у другой их части.

В вышедшем в 1929 году втором издании “Маленьких детей” Чуковского (уже под знаменитым названием “От двух до пяти”) появился следующий пассаж:

> В этой области замечательны опыты молодого поэта Даниила Хармса, который возвел такое стихотворное озорство в систему, и благодаря ему достигает порою значительных *чисто-литературных* эффектов, к которым дети относятся с беззаветным сочувствием…[242]

Цитируя стихотворение Хармса, Чуковский прибавляет:

> Мне эти стихи особенно близки потому, что еще шестилетним мальчишкой я увидел отправляемый на дачу диван и выкрикнул такие стихи:
>
> Не Иван Иваныч
> А Диван Диваныч
> Едет по дороге
> Растопыря ноги[243].

С Чуковским Хармс сошелся не так близко, как с Маршаком, но след их общения остался в “Чукоккале”. Одна из записей датируется 13 августа 1930 года. Хармс занес в знаменитую памятную книгу “взрослое” лирическое стихотворение:

> Бог проснулся, отпер глаз,
> взял песчинку, бросил в нас.
> мы проснулись, вышел сон,
> держим ухо, слышим стон.
> это сонный зверь зевнул
> это сонный скрипнул стул.
> это сонный обомлев
> тянет голову сам лев
> спит двуногая коза
> дремлет гибкая лоза
> вот ночную гонит лень
> изо мха встает олень
> тело стройное несет
> шкуру темную трясет…[244]

В правой части листа – обрывочный стихотворный текст, явно плод импровизации:

> мы знаем то и это
> мы знаем фыр
> и кыр из пистолета

мы знаем памяти
столбы
но в книгу спрятаться
слабы

Снизу приписано:

Самое трудное – писать в альбом.
В этой комнате с удовольствием смотрел этот альбом. Но ничего не выдумал.

Пульхиré́й Д. Х.

Совершенно не знаю, что сюда написать. Это самое трудное дело.
13 августа, среда, 1930 года.
Чукоккала меня укокала[245].

Хармс вписал в “Чукоккалу” и свои стихи для детей – “Врун” и (не полностью) “Миллион”.

Во втором номере “Ежа” было напечатано стихотворение, которым Хармс особенно гордился, – “Иван Топорышкин”:

Иван Топорышкин пошел на охоту,
С ним пудель пошел, перепрыгнув забор.
Иван, как бревно, провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор.

Иван Топорышкин пошел на охоту,
С ним пудель вприпрыжку пошел, как топор.
Иван повалился бревном на болото,
А пудель в реке перепрыгнул забор.

Иван Топорышкин пошел на охоту,
С ним пудель в реке провалился в забор.
Иван, как бревно, перепрыгнул болото,
А пудель вприпрыжку попал на топор.

Это стихотворение – единственное из “детских” произведений – входит в список из двадцати сочинений, составленный самим Хармсом в ноябре 1929 года, возможно, как проект какой-то книжки. В 1931 году, давая показания по делу о вредительстве в детской литературе, Хармс сделал заявление, дошедшее до нас,

разумеется, в редакционной обработке следователя, но, несомненно, до известной степени искреннее:

> К наиболее бессмысленным своим стихам, как, напр., стихотворение “О Топорышкине”… я отношусь весьма хорошо, расценивая их как произведения качественно превосходные. И сознание, что они неразрывно связаны с моими непечатающимися заумными произведениями, приносило мне большое внутреннее удовлетворение…

“Топорышкин”, естественно, многим не понравился, причем далеко не только столпам педагогического официоза. В одиннадцатом номере журнала “Бегемот” был напечатан фельетон “Топор для детей”:

> … Наконец-то решен давний спор о детской литературе.
>
> Сколько исписано бумаги враждующими лагерями, измочалено языков в прениях…
>
> Еще в довоенное время, еще в древней Спарте люди бились над проблемой – что и как писать для детей.
>
> Тогдашний Спартиздат издавал такую детскую литературу, что хрупкое детское здоровье не выдерживало. Ребята начинали хиреть, и спартанцы вынуждены были сбрасывать таких детей с Тарпейской скалы.
>
> В четырнадцатом веке спор о детской литературе охватил весь мир, все издаты и все Гусы.
>
> Один из таких Гусов (Ян Гус) на требование педагогов разрешить детские сказки торжественно заявил:
>
> – Лучше я сгорю, нежели подпишу декрет о разрешении разговаривать медведю и лисе… (Имеются в виду дискуссии о педагогической допустимости и ценности сказки, о которых мы упоминали выше. – *В. Ш.*)
>
> …И только теперь завеса спала! Проблема решена!
>
> Сам Госиздат решил выпускать руководящий детский орган “Ёж”.
>
> И вот журнал перед нами. И вот мы теперь наконец видим настоящий образец настоящей, доступной детям, простой и занимательной детской литературы.
>
> Вот, читатель. Протрите уши, сожмите покрепче череп и слушайте… (Следует текст стихотворения. – *В. Ш.*)

Ну что, читатель? Очумели?

Оно, конечно, с одного раза трудно не очуметь. Нужно вчитаться.

Один наш знакомый прямо захворал от этого топора. Ходит все не в себе и спрашивает:

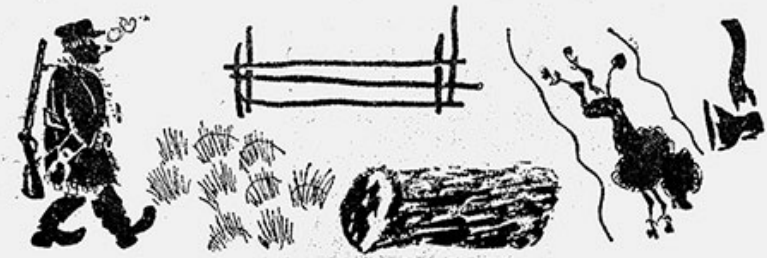
– Как это пудель в реке провалился в забор? Держите меня, или я утоплю Даниила Хармса впрыжку на заборе!

<…> И зачем вас на свет маменька родила, несчастные ребята! Лучше бы вам не родиться, чем попасть в “ежовые” рукавицы!

Что касается Даниила Хармса, автора знаменитого “Топора”, мы не собираемся его топить.

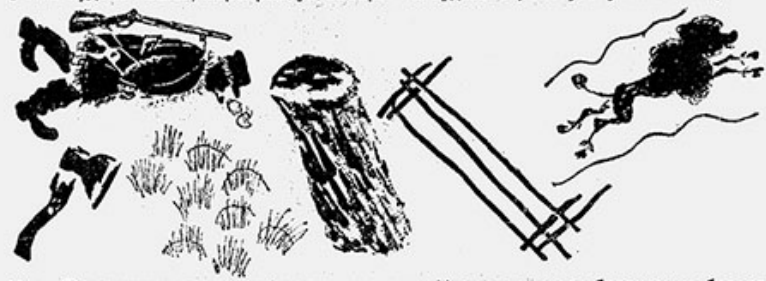
Мы бы только хотели, чтобы он по примеру Яна Гуса сгорел, если не откажется писать такие топорные вирши.

ИВАН ТОПОРЫШКИН



Иван Топорышкин пошел на охоту,
с ним пудель пошел, перепрыгнув забор.

Иван, как бревно, провалился в болото,
а пудель в реке утонул как топор.



Иван Топорышкин пошел на охоту,
с ним пудель вприпрыжку пошел, как топор.

Иван провалился бревном на болото,
а пудель в реке перепрыгнул забор.

Иван Топорышкин пошел на охоту,
с ним пудель в реке провалился в забор.

Иван, как бревно, перепрыгнул болото,
а пудель вприпрыжку попал на топор.

Даниил Хармс.

Публикация стихотворения “Иван Топорышкин” (Ёж. 1928. № 2).

ПУТЕШЕСТВИЕ ЕЖА

6 мая 1929 года Ёж и Макар Свирепый отправились в кругосветное путешествие.

Ёж поехал в клетке, сделанной Иваном Топорышкиным из тонких стальных прутьев, верх и низ клетки были пробочные, а ручка резиновая.

Макар Свирепый долго прощался со своей лошадью «Гвоздиком», но наконец пришлось расстаться. Петрушка обещал ходить за «Гвоздиком» и кормить его репой.

ПУТЬ ПО ЕВРОПЕ

ИЗ ЛЕНИНГРАДА В ГАМБУРГ — НА ТЕПЛОХОДЕ „АЛЕКСЕЙ РЫКОВ".

ИЗ ГАМБУРГА В БЕРЛИН — НА ПОЕЗДЕ.

ИЗ БЕРЛИНА В ПАРИЖ — ТОЖЕ НА ПОЕЗДЕ.

ИЗ ПАРИЖА В ЛИССАБОН — НА АЭРОПЛАНЕ.

Напутственные стихи Петрушки:

Смотрите —
С парохода не упадите.

Смотрите —
С поезда не упадите.

Смотрите —
С аэроплана не упадите.

А также смотрите —
Под автомобиль не попадите.

18

Начало рассказа “Путешествие Ежа”, среди главных героев которого Иван Топорышкин и Макар Свирепый (Ёж. 1929. № 10). Рисунок Б. Антоновского.

Подписан фельетон так: “Иван Не-Топорышкин”.

“Бегемот” был скорее либеральным изданием – прибежищем юмористов хорошего дореволюционного пошиба, сатириконцев, таких как Бухов или Василевский-Не Буква, один из авторов

“Всемирной истории, изложенной “Сатириконом”. (Может быть, “Иван Не-Топорышкин” – это он и есть? В фельетоне бросаются в глаза некоторые его характерные приемы.) На страницах журнала предпочитали высмеивать бюрократов, головотяпов, перестраховщиков и головокруженцев от успехов, а не вредителей и агентов Антанты. Но старорежимные интеллигенты не понимали новой детской литературы так же, как строгие комиссары и комиссарши. Впрочем, комиссары и либеральные интеллигенты были зачастую людьми из одной среды, из одного теста. Знаменательно, что в числе строгих неприятелей Хармса оказался и Георгий Адамович, талантливый поэт “парижской ноты” и ведущий критик русского зарубежья. “Не только дети логике не научатся, но и взрослые разучатся, прочитав стихотворение”, – возмущался он[246]. Но для “Ежа” “Топорышкин” стал своего рода визитной карточкой.

Вероятно, именно лингвистические приемы “Топорышкина” обыгрываются в пародии на стихи Хармса для детей, написанной в 1930 году Шварцем и Заболоцким:

Я бегу,
Бегу,
Бегу!
На ногах – по сапогу.
Здесь сапог и там сапог.
Лучше выдумать
Не мог!
Впрочем, все-таки могу.
На ногах – по сапогу.
Не сапожки – чистый хром.
Лучше выдумать
Не мом
Впрочем, все-таки мому:
На ногах по самому.
Как же сам-то на ногах?
Лучше выдумать
Не мах.

“Иван Топорышкин” стал персонажем “комиксов” “Ежа”, таким же, как Макар Свирепый. При этом он отождествлялся со своим создателем – во всяком случае, внешне был его полной копией. Между прочим, на рисунке в первом номере за 1929 года в числе “главных сотрудников “Ежа” запечатлен “Иван Хармсович Топорышкин, изобретатель и столяр”. С ним соседствуют Макар Свирепый, Петрушка (так назван Евгений Шварц по имени героя

одного из своих произведений той поры) и Тетя Анюта (кто скрывается под этим псевдонимом, неизвестно). Те же четыре персонажа запечатлены на рисованной “групповой фотографии” в первом номере за 1930 год.

Несомненно, что среди стихотворений 1928 года, которые были важны для самого Хармса, – стихотворение “Почему”. В 1934 году Хармс прочел именно это стихотворение юному Залику Матвееву (будущему поэту Ивану Елагину) в качестве примера того, как надо сейчас писать:

ПОЧЕМУ:
Повар и три поваренка,
повар и три поваренка,
повар и три поваренка
выскочили на двор?

ПОЧЕМУ:
Свинья и три поросенка,
свинья и три поросенка,
свинья и три поросенка
спрятались под забор?

ПОЧЕМУ:
Режет повар свинью,
поваренок – поросенка,
поваренок – поросенка,
поваренок – поросенка?
Почему да почему? –
Чтобы сделать ветчину.

Абсурда, бессмыслицы здесь нет, но для Хармса этот текст важен был, видимо, лаконичным изображением “чистого действия”, свободным от размышлений и сантиментов. В этих “жестоких” (вполне, впрочем, в духе прямодушных двадцатых годов) стихах Хармс ближе всего к одному из своих самых талантливых последователей – Олегу Григорьеву.

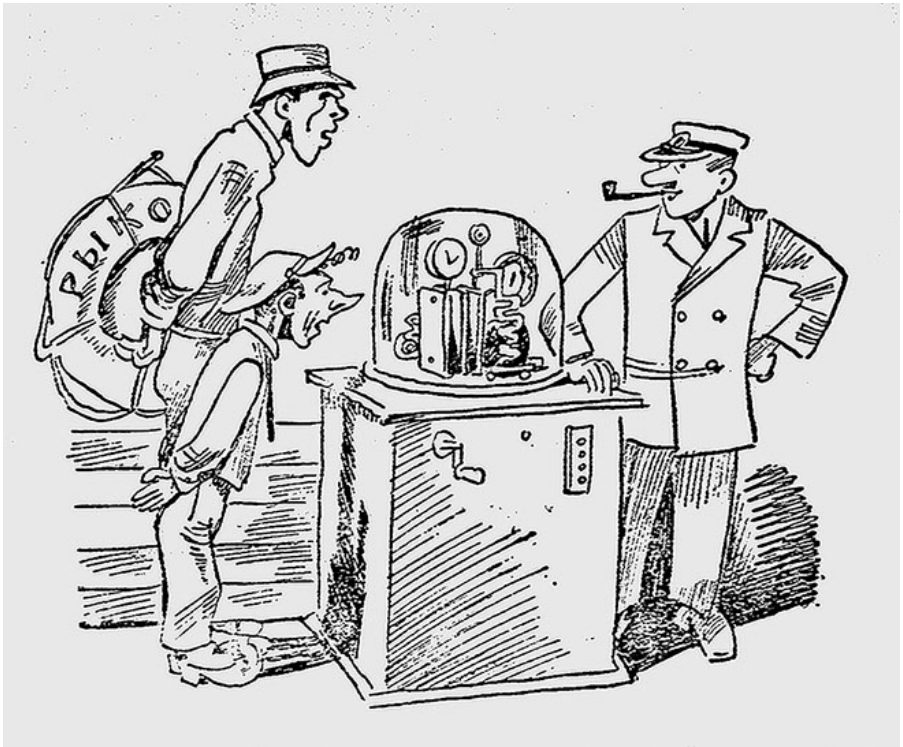


Иллюстрация к рассказу “Путешествие Ежа” (Ёж. 1929. № 10). Рисунок Б. Антоновского.

Давая показания на следствии в 1931 году, Хармс отнес из прозаических произведений к “заумным” “Во-первых и во-вторых” и “Как старушка покупала чернила”. Возможно, эти рассказы – лучшее, что написано Хармсом в прозе до начала 1930-х годов… При этом построены рассказы очень по-разному. “Во-первых и во-вторых” – история загадочная и почти мистическая, похожая на сон без начала и без конца, про путешествие двух героев в обществе “самого маленького человека на земле” и “длинного человека” на осле, лодке, автомобиле и, наконец, на слоне:

> …Проснулись мы утром и решили дальше путь продолжать. Тут вдруг маленький человек и говорит:
>
> – Знаете что? Довольно нам с этой лодкой да автомобилем таскаться. Пойдемте лучше пешком.
>
> – Пешком я не пойду, – сказал длинный человек, – пешком скоро устанешь.
>
> – Это ты-то, такая детина, устанешь? – засмеялся маленький человек.
>
> – Конечно, устану, – сказал длинный, – вот бы мне какую-нибудь лошадь по себе найти.

– Какая же тебе лошадь годится? – вмешался Петька. – Тебе не лошадь, а слона нужно.

– Ну, здесь слона-то не достанешь, – сказал я, – здесь не Африка.

Только это я сказал, вдруг слышны на улице лай, шум и крики.

Посмотрели в окно, глядим – ведут по улице слона, а за ним народ валит. У самых слоновьих ног бежит маленькая собачонка и лает во всю мочь, а слон идет спокойно, ни на кого внимания не обращает.

– Вот, – говорит маленький человек длинному, – вот тебе и слон как раз. Садись и поезжай.

– А ты на собачку садись… Как раз по твоему росту, – сказал длинный человек.

– Верно, – говорю я, – длинный на слоне поедет, маленький на собачке, а я с Петькой на осле.

И побежали мы на улицу.

Зато рассказ про старушку и чернила – крепко сбитый, “ремесленный” и в то же время глубоко внутренне абсурдный. “Свалившаяся с луны” старушка (а старухи – постоянные обитательницы и хозяйки хармсовского космоса) – родная сестра маршаковского Человека Рассеянного. Она летом удивляется отсутствию снега, пытается купить булки в керосинной лавке, а чернил ищет у мясника, у рыбника, у торговки ягодами на рынке, в цирке и наконец попадает… в детскую редакцию Госиздата. К этому же типу рассказов следует отнести и рассказ “Друг за другом” (1930), написанный совместно с Левиным. Изобретатели ненужных и абсурдных вещей (способа окраски лошадей, прибора для снимания шляпы и пр.), которым этот рассказ посвящен, – явные двойники эксцентричных хармсовских приятелей, “естественных мыслителей”.

Так получилось, что Хармс пришел в детскую литературу в то время, когда его собственный мир еще находился в процессе кристаллизации, когда творческая зрелость была впереди. Поэтому в своих первых стихах и рассказах для детей он не просто использует уже готовые ходы для решения прикладной задачи. Ограничения, наложенные жанром, помогли Хармсу кристаллизовать свои находки, воплотить их с большей отчетливостью (хотя и с меньшим богатством и разнообразием), чем это происходило в его тогдашних произведениях для взрослых. Лучшие из ранних детских стихотворений и рассказов Хармса стали своего рода мостом между его творчеством периода “Комедии города Петербурга” и “Елизаветы Бам” – и хармсовской

поэзией и прозой 1930-х годов.

Однако по мере формирования зрелой поэтики “взрослого” Хармса его детские стихи и рассказы постепенно от этой поэтики отдалялись. Это не значит, что детские произведения Хармса стали хуже. “Миллион”, “Игра”, “Веселые чижи” – отличные стихотворения. Но в этих стихах Хармс не ищет, а блистательно демонстрирует уже найденное. В них граница между игрой, фантазией и реальностью отчетлива.

В РЕДАКЦИИ „ЕЖА“

Здесь нарисованы главные сотрудники „ЕЖА“.

Посредине Макар Свирепый на лошади. Многие из вас слышали его рассказы по радио. Это единственный писатель, который сочиняет свои произведения, сидя верхом на коне.

В 1929 году он будет ездить по Советскому Союзу и подтягивать неорганизованных читателей. Летом Макар Свирепый организует большой шахматный турнир.

Справа от него нарисован Иван Хармсович Топорышкин, изобретатель и столяр. Первым его изобретением был стол с пятью ножками. Такой стол не упадет, если даже одна ножка отвалится.

Рядом с ним сидит на столе Петрушка. Он говорит только стихами. Вот что он сказал о «Еже»:

— Здравствуйте, дорогие читатели, если денег вы еще не истратили, подпишитесь, пожалуйста, на «Еж», — журнал-то уж больно хорош!

Слева от Макара Свирепого стоит ученая фокусница, тетя Анюта. В каждом номере «Ежа» она будет помещать фокусы и предсказывать хорошую погоду.

Рядом с ней нарисована редакционная собака «Пулемет». По приглашению читателей она будет ходить по домам и принимать подписку.

Типогр. „Печ. Двор“, Ленинград, Гатчинская, 26.

Г, 3. Гиз № 12475/л Ленинградский Облиздат № 18735. 1/2 л. Тираж 50 000.

Рассказ о планах журнала “Ёж”, помещенный в рекламном буклете “Ёж в 1929 году” (Л., 1928). На рисунке Б. Антоновского: редакционная собака Пулемет, ученая фокусница Тетя Анюта, Макар Свирепый, плотник и изобретатель Иван Топорышкин, Петрушка.

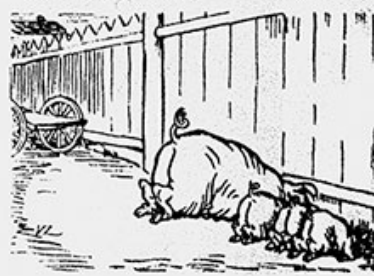
ПОЧЕМУ

ПОЧЕМУ:

Повар и три поварёнка,
повар и три поварёнка,
повар и три поварёнка
выскочили на двор?

ПОЧЕМУ:

Свинья и три поросёнка,
свинья и три поросёнка,
свинья и три поросёнка
спрятались под забор?



ПОЧЕМУ:

Режет повар свинью,
поварёнок — поросёнка,
поварёнок — поросёнка,
поварёнок — поросёнка?

Почему, да почему?
Чтобы сделать ветчину.

28

Публикация стихотворения Д. Хармса “Почему” (Ёж. 1928. № 12). Рисунки В. Замирайло.

“Чижи”, созданные в соавторстве с Маршаком, посвящены Ленинградскому детскому дому № 6 и напечатаны в первом номере “Чижа” (а ранее – в рекламном буклете, посвященном подписке на “Чиж” на 1928 год[247]). Маленькие птички, как и дети в детдоме, жили большим коллективом, другой жизни не знали, а этой радовались. Олейников, язвительный друг и благожелательный редактор, издевался:

Жили в квартире
Сорок четыре
Сорок четыре
Тщедушных чижа:

Чиж-алкоголик,
Чиж-параноик,
Чиж-шизофреник,
Чиж-симулянт,

Чиж-паралитик,
Чиж-сифилитик,
Чиж-маразматик,
Чиж-идиот…

В сороковые – пятидесятые годы, когда Хармс был неупоминаем, Маршак печатал стихотворение только под своим именем… Может быть, это и было не вполне этично, но спасало хорошие произведения от забвения. В этом заключался один из разумных компромиссов Самуила Яковлевича.

Конечно, те изменения, которые происходили в произведениях Хармса для детей, были связаны и с внешними обстоятельствами. С каждым годом ему и его друзьям приходилось писать все больше “халтурных”, заказных произведений на заданные темы. Иногда эти произведения парадоксально перекликались с их “взрослым” творчеством. Например, в декабрьском (то есть предрождественском) номере “Чижа” за 1930 год напечатано следующее стихотворение:

Не позволим мы рубить
молодую елку,
не дадим леса губить,
вырубать без толку.
Только тот, кто друг попов,
елку праздновать готов.
Мы с тобой – враги попам,

рождества не надо нам.

Групповой портрет редакции журнала “Ёж”, помещенный в рекламном буклете “Ёж в 1930 году” (Л., 1929). Макар Свирепый, Петрушка, Тетя Анюта, Иван Топорышкин.

Автором этих строк был будущий автор “Елки у Ивановых” Александр Введенский. К 1938 году, когда была написана пьеса, елка уже была санкционирована властями, но перенесена с Рождества на Новый год.

Хармс, впрочем, и в такие стихи вносил порою ноту абсурда. Особенно замечательно в этом смысле стихотворение “Что мы

заготовляем на зиму”. Скучноватый текст про заготовку малины, черники, грибов и яблок “для рабочих и детских столовых”, написанный малопригодным для детской поэзии белым стихом – и вдруг:

А курам –
суши тараканов;
лови их летом
на печке.
Зимой будут куры клевать
их с большим
аппетитом.

Ухмылочка для своих, понимающих: обэриуты и их друзья знают, кто такой Таракан Тараканович. Дальше пионеру предлагается заготовить “зеленой глины”, чтобы зимою вылепить из нее “себя самого”:

Да так хорошо
и так умело,
что тебя отольют из чугуна
или из бронзы
и поставят в музее
на первое место.

А люди скажут:
“Смотрите –
Это новый, советский художник”.

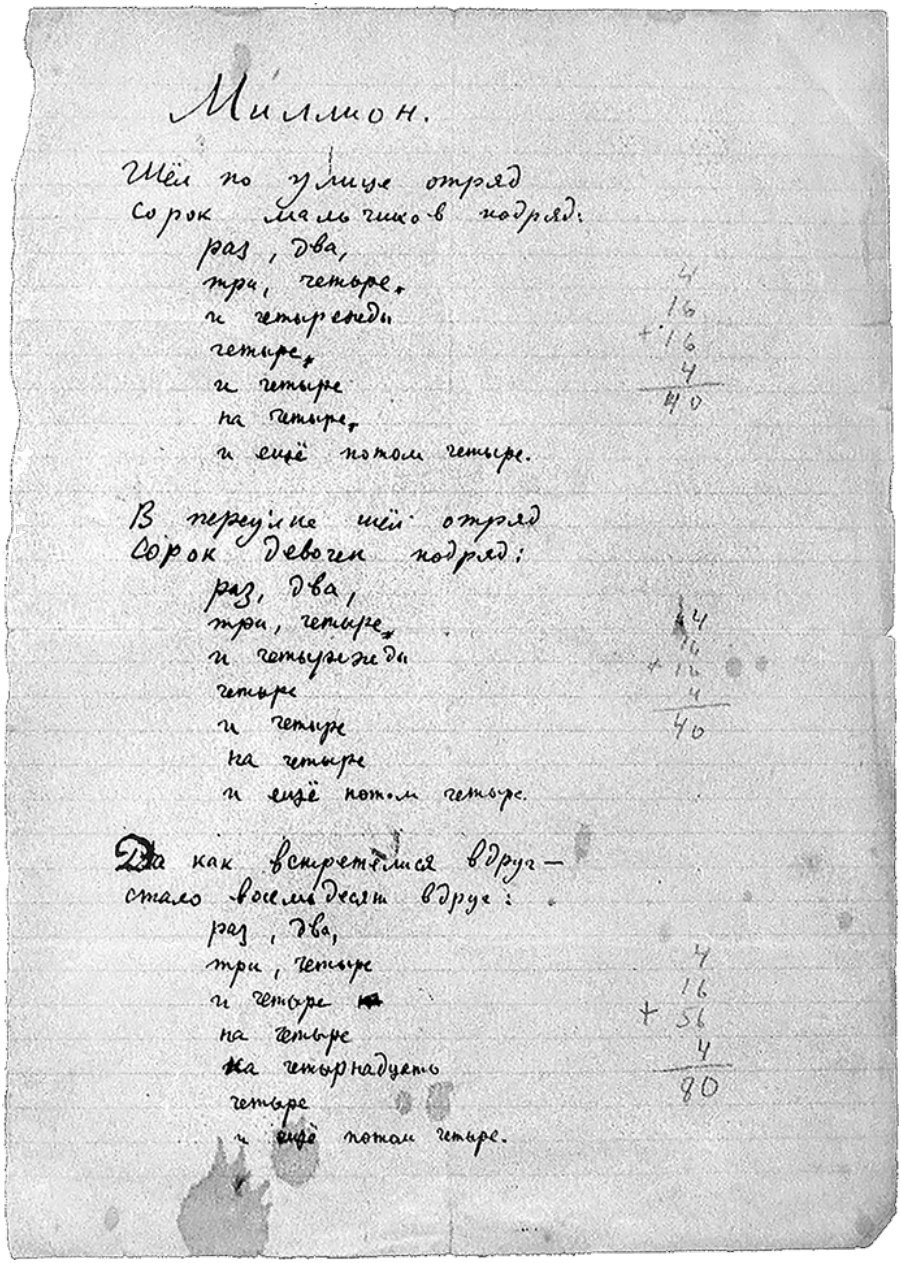
Дух поэтического безумия и поэтической непредсказуемости в стихах Хармса, предназначенных для детей, не умирал никогда. Он жив и во многих вещах начала 1930-х годов, например, в гениальном “Вруне”:

– А вы знаете, что на?
А вы знаете, что не?
А вы знаете, что бе?
Что на небе
Вместо солнца
Скоро будет колесо?
Скоро будет золотое,
(Не тарелка,
Не лепешка),

А большое колесо!
– Ну! Ну! Ну! Ну!
Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!
Ну, тарелка,
Ну, лепешка,
Ну еще туда-сюда,
А уж если колесо –
Это просто ерунда!

(Именно это стихотворение Хармс читал на последнем вечере обэриутов на Мытне – студентам[248].)

А с середины 1930-х годов граница между “детским” и “взрослым” Хармсом снова станет зыбкой и временами почти условной. Но за эти годы многое изменится и в творчестве писателя, и в его жизни.



Миллион.

Шёл по улице отряд
сорок мальчиков подряд:
раз, два,
три, четыре,
и четыре еще,
четыре,
и четыре
на четыре,
и ещё потом четыре.

4
16
+16
4
40

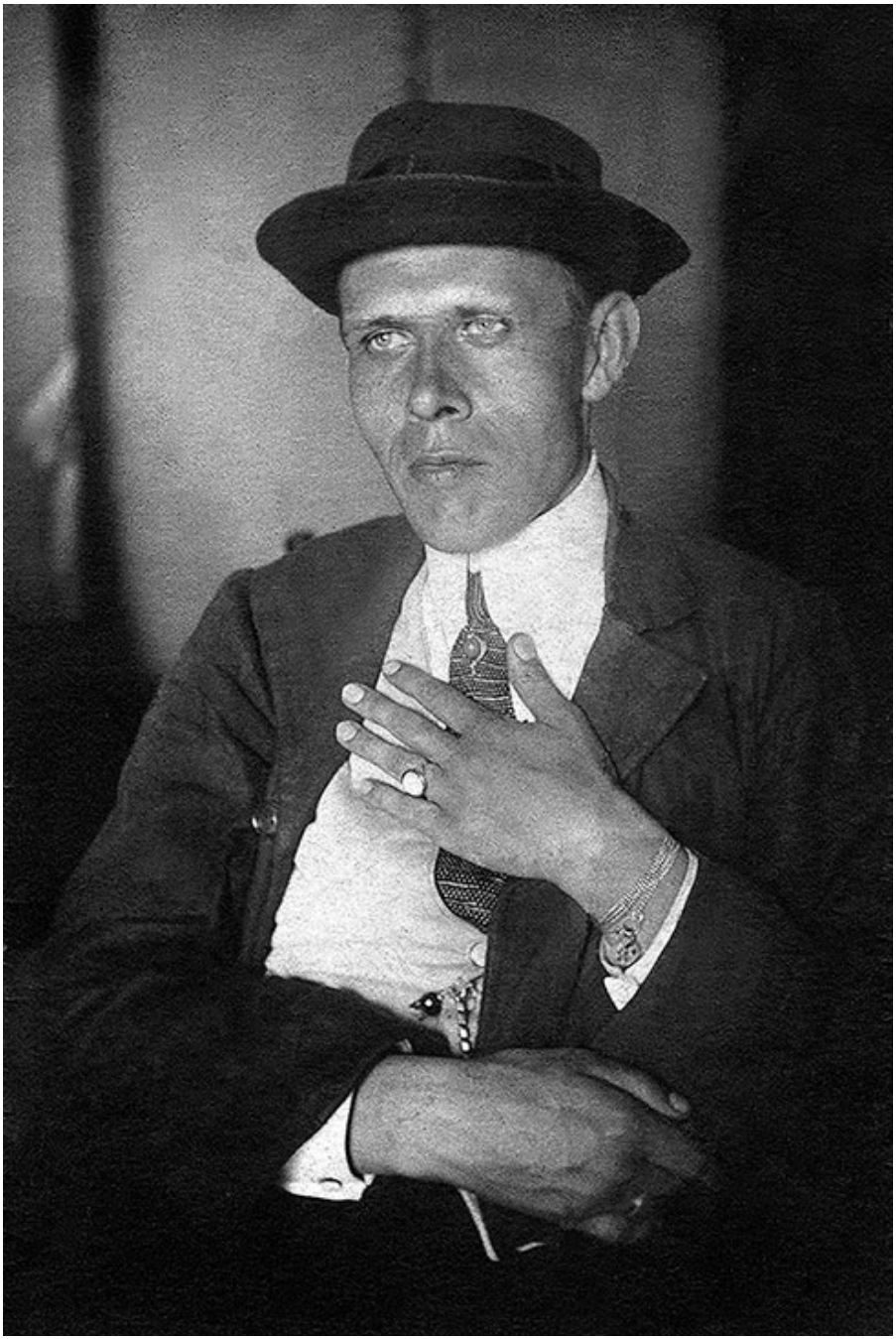
В переулке шел отряд
сорок девочек подряд:
раз, два,
три, четыре,
и четыре еще,
четыре
и четыре
на четыре
и ещё потом четыре.

4
16
+16
4
40

Да как вскричатся вдруг —
стало восемьдесят вдруг:
раз, два,
три, четыре
и четыре
на четыре
да четырнадцать
четыре
и ещё потом четыре.

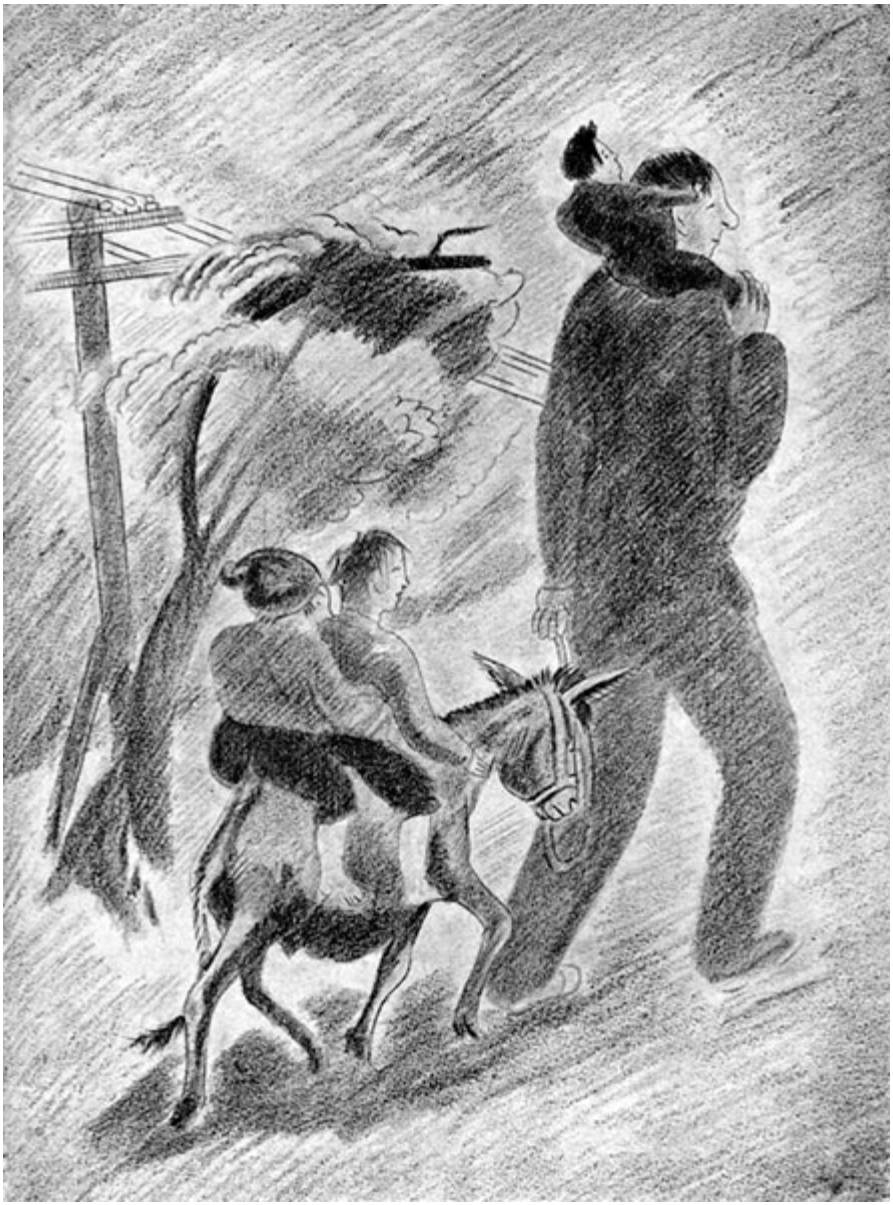
4
16
+56
4
80

Стихотворение Даниила Хармса “Миллион”. Первая страница автографа, 1930 г.



Даниил Хармс, 1930-е.

Иллюстрации В. Татлина к отдельному изданию книги Д. Хармса “Во-первых и во-вторых” (М.; Л., 1930):



Глава пятая
Даниил во рву львином

1

Никогда Хармс не писал так много, как в 1929–1931 годах. Написанное в это время занимает почти двести страниц в собрании сочинений писателя. Зато весь 1932 год оказался почти бесплодным. Правда, отчасти по объективным причинам.

Именно на рубеже двадцатых – тридцатых годов поэтический мир Хармса стал приобретать внутреннюю законченность. В этом мире были свои полюса. С одной стороны – озорные и лаконичные вещи с четкой структурой и внутренней игрой, перекликающиеся с лучшими хармсовскими “детскими” стихами того времени.

Все все все деревья пиф
все все все каменья паф
вся вся вся природа пуф.

Все все все девицы пиф
все все все мужчины паф
вся вся вся женитьба пуф.

Все все все славяне пиф
все все все евреи паф
вся вся вся Россия пуф.

Это – некий внутренний жест, после которого невозможна высокая модернистская поэзия, во всяком случае, в тех формах, в которых застал ее Хармс в юности. Какие могут еще быть блоковские “дымки севера”, мандельштамовские “ягнята и волы”, пастернаковские “сиреневые ветви”, если *вся природа пуф*? Какая возможна любовная лирика, если *все девицы пиф*, а *все мужчины паф*? О России – и говорить нечего…

Приведенное стихотворение написано в 1929 году. Стихи не столь радикальные, но сходные по типу рождались и годом-двумя позже.

Фадеев, Калдеев и Пепермалдеев

однажды гуляли в дремучем лесу.
Фадеев в цилиндре, Калдеев в перчатках,
а Пепермалдеев с ключом на носу.

Над ними по воздуху сокол катался
в скрипучей тележке с высокой дугой.
Фадеев смеялся, Калдеев чесался,
а Пепермалдеев лягался ногой.

Но вдруг неожиданно воздух надулся
и вылетел в небо горяч и горюч.
Фадеев подпрыгнул, Калдеев согнулся,
а Пепермалдеев схватился за ключ…

Эти три клоуна-клона живут в мире необъяснимых и непредсказуемых вещей, “фарлушек”. Стихи несостоявшегося киноведа Хармса напоминают порою странный гибрид немецкого экспрессионистского фильма с американской немой комедией: Чаплин или Бастер Китон, оказавшиеся в декорациях “Кабинета Доктора Калигари”.

Забавно, что, когда в 1974 году стихотворение про Фадеева, Калдеева и Пепермалдеева было напечатано в СССР, однофамильца автора “Молодой гвардии” от греха подальше перекрестили в Халдеева. В этом была, как ни странно, своя логика. Пророк Даниил был по приказу Навуходоносора обучен халдейскому искусству гадания. Его тезка тоже порою, кажется, ощущал себя “гадателем”, извлекая тайные смыслы из звукосочетаний, словесных осколков, утративших место предметов и из обрывочных фрагментов самых различных мистических учений.

Именно таков второй полюс поэзии Хармса той поры – стихи-медитации, погружающие читателя в мир почти неопределимых, скорее интуитивно, а не логически связанных между собой абстракций (в такого рода лирике отразились, несомненно, философские беседы, которые велись в домах Липавского и Друскина):

Это есть Это.
То есть То.
Это не то.
Это не есть не это.
Остальное либо это либо не это
<…>
Это ушло в то, а то ушло в это. Мы говорим Бог

дунул.

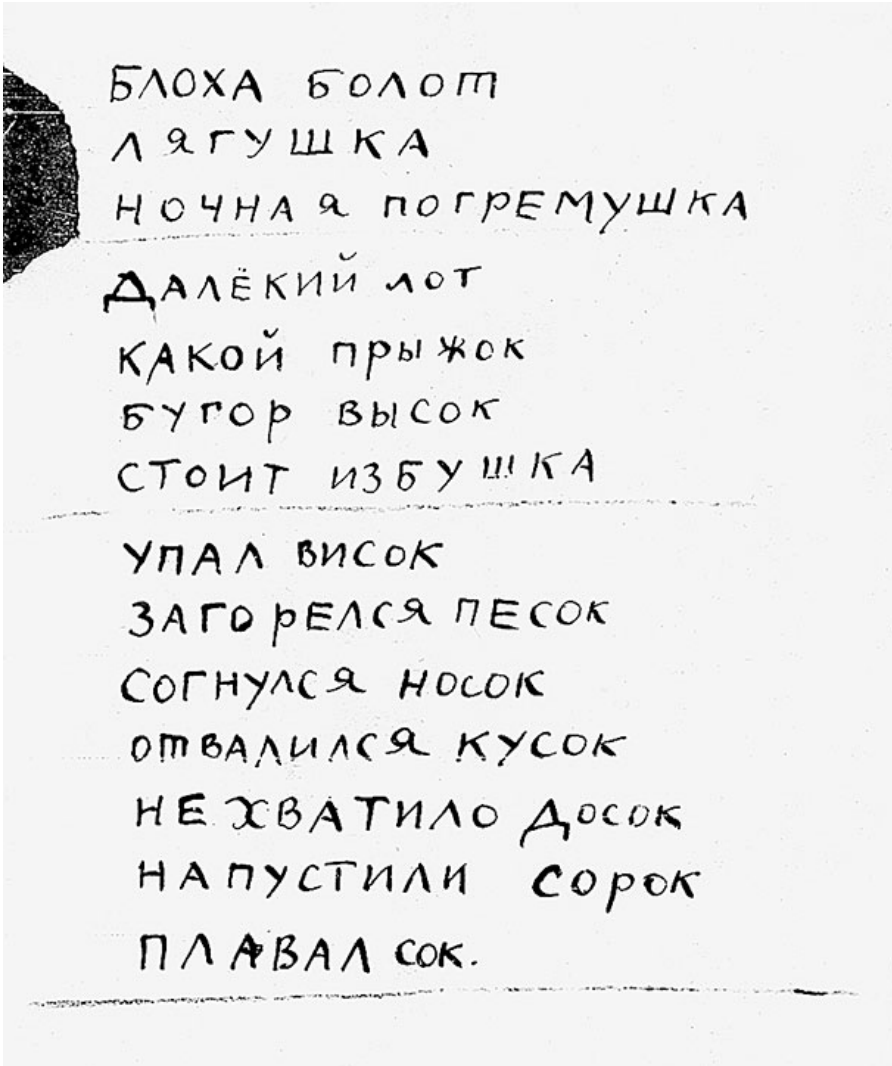
Это ушло в это, а то ушло в то и нам неоткуда выйти и некуда прийти…

(“Нетеперь”)

Иногда медитации переходят в заклинания, наполняются страстью, отчаянием, и одновременно в них появляется заумь, как в одном из самых загадочных произведений того времени – “Вечерняя песнь именем моим существующей”:

Дочь дочери дочерей дочери Пе
дото яблоко тобой откусив тю
соблазняя Адама горы дото тобою любимая дочь дочерей Пе
мать мира и мир и дитя мира су
открой духа зерна глаз
открой берегов не обернутися головой тю
открой лиственнице со престолов упадших тень
открой Ангелами поющих птиц…

В сущности, это обращение к женственному началу, которое одновременно “мать мира” и “дитя мира”, не так уж сильно отличается от мистических экстазов Блока и Владимира Соловьева, обращенных к Вечной Женственности. Но, сохраняя тайное родство с ними, Хармс отвергал их язык. О главном и таинственном можно было говорить лишь языком молитв первобытного человека, вдохновенного дикаря. Хармс мог бы подписаться под сказанными как раз в эти дни (1931)[249] словами Мандельштама: “Вчерашнего дня больше нет, а есть только очень древнее и будущее”. Но для Хармса и Мандельштам был отвергнутым “вчерашним днем”, а для Мандельштама Хармса вообще не существовало, потому что их “сегодняшний день” не совпадал (так часто бывает у современников), а о своем общем (в памяти и крови культуры) будущем они не знали.



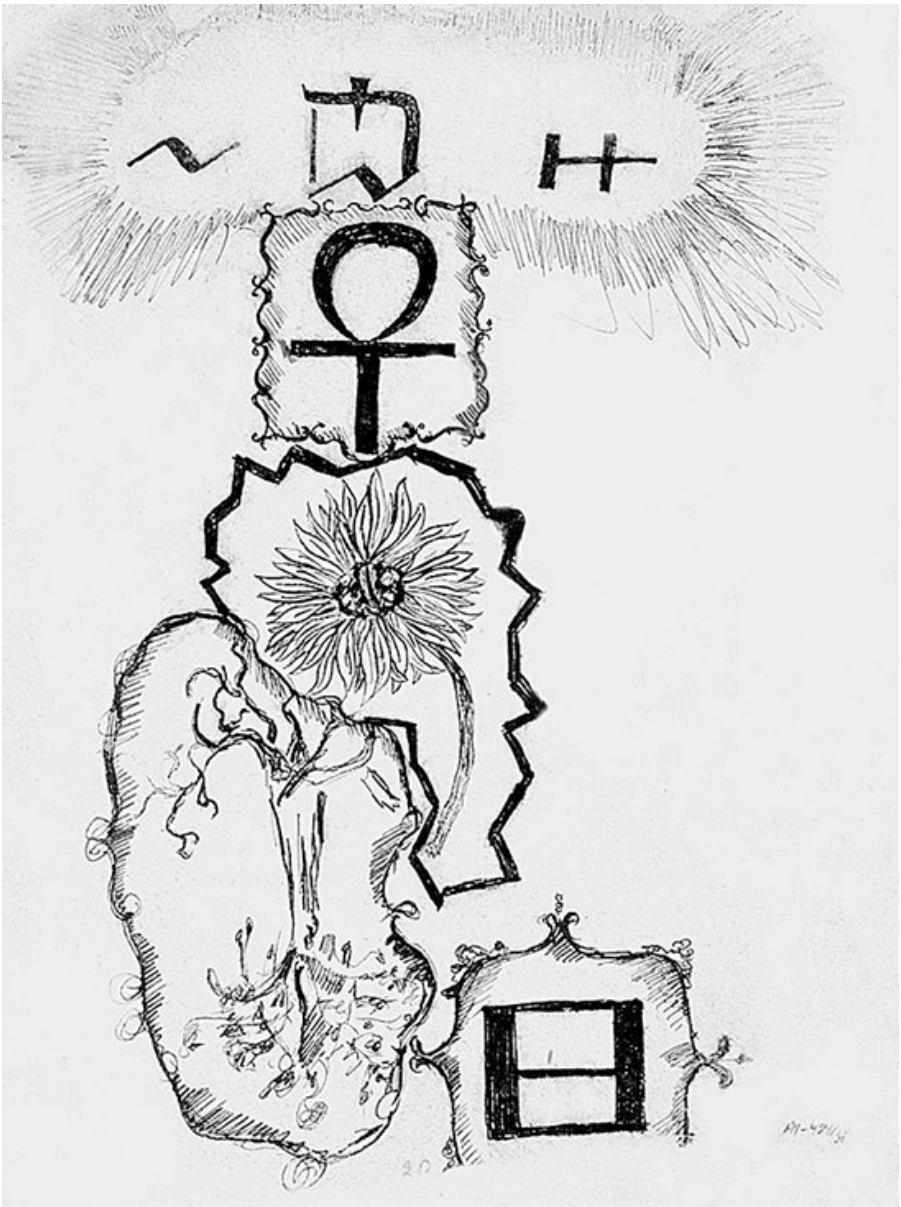
Автограф стихотворения Д. Хармса “Блоха болот…”, 1929–1933 гг.

Вот пример того, как строился в это время поэтический язык Хармса и откуда порою брались его элементы. В стихотворении Хармса “Ку Шу Тарфик Ананан” поминается “Ламмед-Вов”. Ламед-вовники в хасидских преданиях – скрытые праведники, на которых держится мир, числом 36 в каждом поколении (это число изображается двумя буквами еврейского алфавита – ламед (у Хармса ламмед) и вав (в ашкеназийском произношении вов). Откуда Хармс знал это слово, неизвестно (А.А. Кобринский считает, что источником могли быть сказки рабби Нахмана, чье имя упоминается в дневнике Хармса в 1926 году[250]. Эти сказки, сложенные на идише, начиная с 1904 года переводил на

немецкий язык М. Бубер. Неизвестно, однако, читал ли их Хармс или просто слышал чей-то о них отзыв). Разумеется, велик соблазн истолковать этот образ рационально, связать его с миросозерцанием и поэтикой Хармса – тем более что идея тайной, не проявляющейся в заметных для окружающих формах святости не так уж чужда ему. Но контекст, в который помещено это выражение, не слишком соответствует его смыслу:

> Я Ку проповедник и Ламмед-Вовсверху бездна, снизу ровпо бокам толпы львовя ваш ответ заранее чуюгде время сохнет по пустынями смуглый мавр несет пращунауку в дар несет латыням

Очевидно, что проповедник (который ассоциируется с пророком Даниилом, а возможно, и с каким-то персонажем времен “мавров” и “латыней” – например, с гонимым крестоносцами иудеем) не может быть скрытым праведником. Вероятно, Хармсу достаточно того, что “ламмед-вов” – числительное (“я тридцать шесть” – вполне чинарская конструкция) и что это числительное имеет отношение к святости. Позже, в тридцатые годы, в комнате Хармса на стене висела надпись “Аум мани падмэ хум”. Своей второй жене, Марине Малич, Хармс объяснял: “Я не знаю, что это такое, но я знаю, что это святое и очень сильное заклинание”. “Ламмед-Вов” тоже, возможно, было для него невнятным, но святым “заклинанием”. Не стоит, однако, видеть здесь наивность или невежество. Используя слова, рожденные разными духовными традициями, Хармс порою намеренно не пытался прояснить для себя их смысл. Неопределенность их значения была источником таинственной и вдохновляющей многозначности.



Монограмма Осириса, египетский крест и другие знаки. Рисунок Д. Хармса, начало 1930-х.

Рукопись Даниила Хармса с тайнописной монограммой Осириса и изображением египетского креста, ноябрь 1931 г.

В своих медитативных и заклинательных стихах Хармс время от времени обращается к верлибру. Несмотря на “Александрийские песни” и “Моих предков” Кузмина, на несколько хрестоматийных стихотворений Блока, на “Нашедшего подкову” Мандельштама, “Моих читателей” Гумилева и “Ручей с холодною водой…” Хлебникова, эта форма стиха в русской поэзии первой половины XX века оставалась несколько

маргинальной. Обращение к ней обэриутов (прежде всего Хармса и Заболоцкого) связано не только с влиянием Хлебникова, но и с унаследованной ими немецкой традицией. В Германии со времен Гёте и Гёльдерлина свободным стихом передавали причудливый и изменчивый ритм античной пиндарической оды. Для обэриутов это был путь к “странному”, сдвинутому по отношению к обыденности, но неукрашенному, доведенному до формульной четкости высказыванию. К 1931 году Хармсу удается временами достичь этой цели.

Я знаю, почему дороги,
отрываясь от земли,
играют с птицами,
ветхие веточки ветра
качают корзиночки, сшитые дятлами.
Дятлы бегут по стволам,
держа в руках карандашики.
Вон из дупла вылетает бутылка
и направляет свой полет к озеру,
чтоб наполниться водой,
то-то обрадуется дуб,
когда в его середину
вставят водяное сердце…

Два года спустя, 16 октября 1933 года, Хармс писал актрисе Клавдии Пугачевой, своей приятельнице и предмету короткого платонического увлечения:

> Когда я пишу стихи, то самым главным кажется мне не идея, не содержание, и не форма, и не туманное понятие “качество”, а нечто еще более туманное и непонятное рационалистическому уму, но понятное мне и, надеюсь, Вам, милая Клавдия Васильевна, это – чистота порядка.
>
> Эта чистота одна и та же в солнце, траве, человеке и стихах. Истинное искусство стоит в ряду первой *реальности*, оно создает мир и является его первым отражением. Оно обязательно реально.

Эта “чистота” к началу тридцатых годов стала доступна Даниилу Хармсу.

Третий полюс – стихи сюжетные, миниатюрные пьесы, продолжающие линию “Елизаветы Бам”. Это “Измерение вещей”, “Месть”, “Он и мельница”, “Окно”. Здесь сказалась та

драматургическая, театральная природа дарования Хармса, о которой еще в 1927 году прозорливо писал в “Декларации ОБЭРИУ” Заболоцкий. Сюжеты некоторых из этих миниатюрных пьес еще больше, чем “Елизавета Бам”, напоминают грядущую западную драматургию абсурда. Достаточно сравнить, к примеру, “Окно” Хармса с “Уроком” Ионеско.

Но и сам Заболоцкий, и Введенский на рубеже 1920–1930-х годов часто обращаются к форме стихотворной “пьесы для чтения”. Так написаны, например, многие фрагменты “Торжества земледелия” – центрального, программного произведения, над которым Заболоцкий работает после выхода “Столбцов” (и в обстановке скандального критического шума, спровоцированного этой книгой). Поэт, которого сравнивали с капитаном Лебядкиным, сознательно шел по стопам другого героя “Бесов”, Степана Трофимовича Верховенского, в чьей юношеской поэме “даже минерал произносит несколько слов”. Достоевский, описывая “поэмку” своего незадачливого либерала, ориентировался на подлинные опыты русских поэтов-романтиков 1830-х годов. Они же пародировались в “Мистерии” Козьмы Пруткова.

Жанр романтической мистерии, восходящий ко второй части “Фауста”, вполне соответствовал утопически-натурфилософским интересам Заболоцкого. Именно в эти годы он зачитывается философскими брошюрами Циолковского и вступает в переписку с их престарелым автором. При этом собственно технические идеи калужского самородка ему были мало интересны – он и не мог бы их, видимо, понять. (Хармс, наверное, как раз смог бы. Но ему интересны были только конструкторы ненужных и абсурдных вещей, которых он так колоритно описал в рассказе для “Ежа”. “Прикладную направленность науки” он отвергал.)

Мысли Заболоцкого об очеловечивании и просветлении природы вызывали у его друзей лишь ироническую реакцию. Несомненно, отец, который “учит грамоте коров”, из хармсовского стихотворения “Он и мельница”, – беззлобная шутка в адрес друга. Более углубленный характер носил диалог и спор Заболоцкого и Введенского. На рубеже тридцатых (по свидетельству Друскина, которого в данном случае трудно заподозрить в пристрастности) Введенский был особенно близок именно с Заболоцким. Но тесная дружба двух великих поэтов закончилась разрывом, связанным в том числе и с мировоззренческими различиями. Некоторые литературоведы видят прямую полемику с рационалистическим, прогрессистским мировосприятием Заболоцкого в поэме Введенского “Кругом возможно Бог”. Если герой Заболоцкого, Солдат, ведет спор с

Предками, воплощающими дурное постоянство природного, физиологически-самодостаточного мира, то “сумасшедший царь Фомин”, герой мистерии Введенского, в своем посмертном путешествии насквозь проходящий через время, спорит с Народами, которые знают, что “человек есть начальник Бога”, что

над землею звезды есть
с химическим составом,
они покорны нашим уставам,
в кружении небес находят долг и честь.

Ответ Фомина полон сарказма:

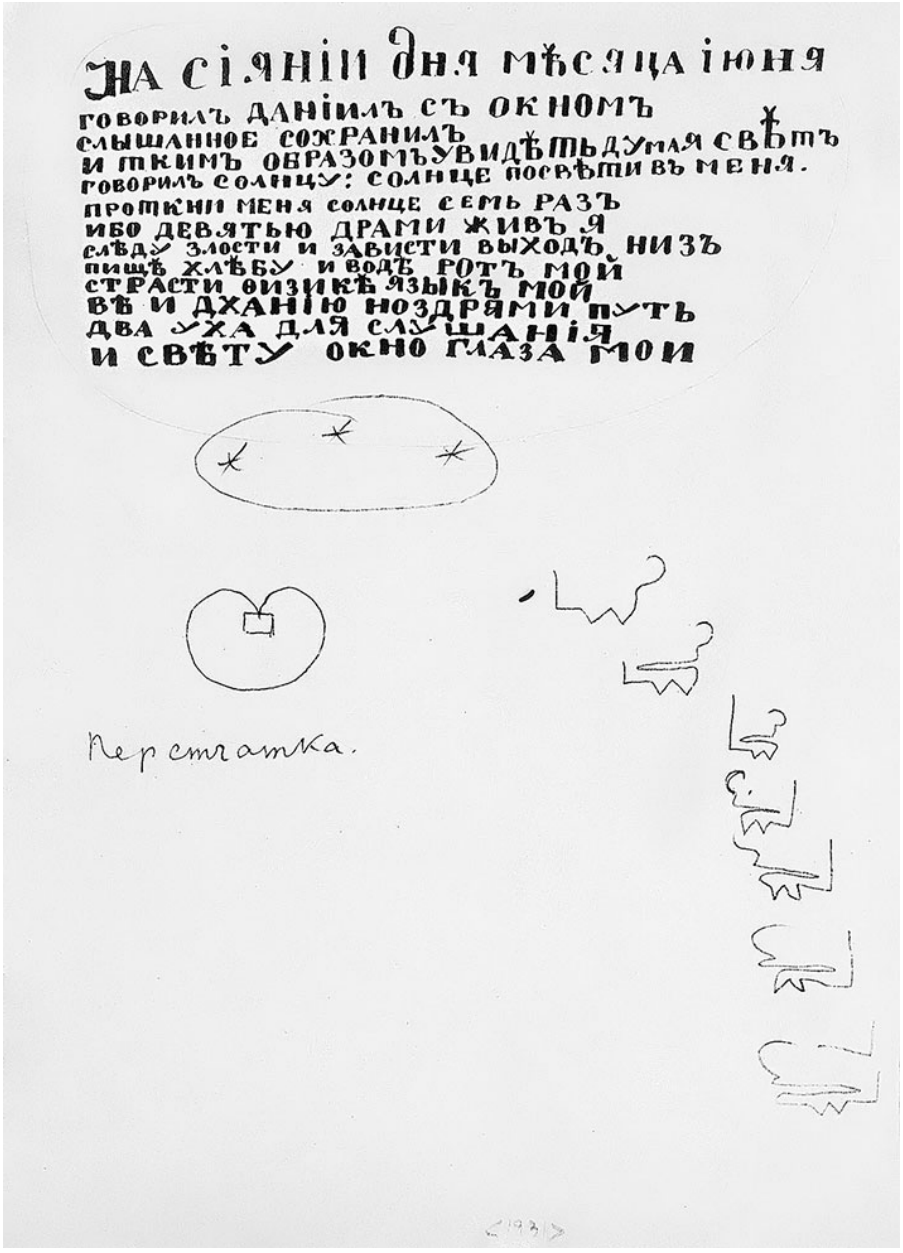
Господа, господа,
все предметы, всякий камень,
птицы, рыбы, стул и пламень,
горы, яблоки, вода,
брат, жена, отец и лев,
руки, тысячи и лица,
войну, и хижину, и гнев,
дыхание горизонтальных рек
занес в свои таблицы
неумный человек.
Если создан стул, то зачем?
Затем, что я на нем сижу и мясо ем.
Если сделана мановением руки река,
мы полагаем, что сделана она для наполнения
нашего мочевого пузырька…
…Господа, господа,
а вот перед вами течет вода,
она рисует сама по себе[251].

Мир вещей, которые существуют “сами по себе”, “как линии в бездне”, вне всякой внешней цели, – вот единственный возможный источник спасения, но человечество, пойдя по рационалистическому, прагматическому пути, закрыло его для себя. Таков ответ Введенского – наследника Руссо и романтиков – Заболоцкому – наследнику Вольтера и Гёте. Спор был связан, конечно, и с политикой. “Торжество земледелия” не случайно посвящено коллективизации. Разумеется, Заболоцкий, выбирая тему, думал и о публикационных перспективах, но для него обращение к подобным сюжетам не было проявлением “конформизма” и не требовало какого бы то ни было насилия над

собой. Он искренне сочувствовал революции, сочувствовал преобразованию мира на основе разума и коллективизма. Введенскому все это было по меньшей мере чуждо.

Хармс в этом идейном споре был всецело на стороне Введенского. Но в его случае до разрыва с Заболоцким дело не дошло. Видимо, источник конфликта был не только в мировоззренческих различиях. Об этом свидетельствует и четверостишие, написанное Заболоцким в 1931 году и озаглавленное “Раздражение против Введенского”:

Ты что же это, дьявол,
живешь как готтентот?
ужель не знаешь правил,
как жить наоборот?



Стихотворение Д. Хармса “На сиянии дня месяца июня…”. Автограф, июнь 1931 г.

Липавский объясняет разрыв поэтов склонностью Введенского к безответственному “краснобайству”, которая раздражала Заболоцкого, а Друскин рассказывал М.Б. Мейлаху, что непосредственным поводом послужил случайно услышанный Заболоцким телефонный разговор Введенского с некой дамой. Последнее – правдоподобно: автор “Столбцов” был нетерпим ко

всякого рода “грязи” в любовных отношениях. Но можно предположить, что в глазах Заболоцкого бытовой нигилизм и цинизм Введенского, раздражавшие многих, были как-то связаны с его неверием в человеческий разум и в осмысленность бытия.

Хармсу, однако, Заболоцкий прощал это неверие. “Союзы наши носили в основном интеллектуальный характер, только с Х<армсом> бывала настоящая дружба…” – писал Друскин[252]. Хармс удивительным образом притягивал к себе людей, даже таких, которые взаимно отталкивались. Он был плохим организатором. Но благодаря своему природному обаянию он был тем магнитом, который удерживал в целостности круг, и в дни ОБЭРИУ, и позже.

2

И в дни брака с Эстер, и после разлуки с ней Даниил жил по-прежнему на Надеждинской, в одной квартире с отцом, сестрой и той-терьером Кепи.

Иногда он заходил к Ивану Павловичу, беседовал с ним на разные темы – об Апокалипсисе (Иван Павлович подарил Даниилу свою книгу на эту тему, написанную в 1910 году), “о символических знаках и их происхождениях”, о быте самоедов (Хармс, вероятно, пересказывал услышанное от кого-то из детгизовских “бывалых людей”). 15 октября 1930 года Иван Павлович рассказал сыну о совершенном накануне открытии: о “периоде – 39 лет – между событиями революции в России… Нарисовал Дане картину русской истории в связи с периодом в 39-летие… Это его очень тронуло”[253]. В ответ Даниил, без сомнения, рассказал отцу про “Доски Судьбы” и про Хлебникова.

39 лет (у Хлебникова – 28)… Что же важного произошло в русской истории за 28 или 39 лет до 1917 года? Чем отмечен, скажем, 1878 год? Делом Засулич? А 1839-й? Но если мы, напротив, начнем проецировать в будущее, если мы прибавим к дате революции 28 и 39 лет, окажется, что и Хлебников, и Ювачев предсказали события важные и этапные для российской истории: победу во Второй мировой войне и начало десталинизации.

Другой раз Даниил обнаружил, что его отец, профессиональный мистик, не читал Якоба Беме, и дал Ивану Павловичу его книгу. Отец вернул ее со словами: “Не понял ни бе, ни ме”. Позитивистская выучка оставалась в нем до конца жизни, и она мешала ему понимать парадоксальные идеи, выраженные алогичным, символическим языком. Отец и сын Ювачевы порою чувствовали и ощущали одно и то же, но языки, на которых они

мыслили и говорили, были слишком различны.

Дневниковые записи старшего Ювачева, посвященные сыну, обычно немногословны и сдержанны, но порою в них сквозит искренняя нежность:

> Даня опять стихотворением просил разбудить его в 10. Я пошел его будить, стал у кушетки и запел из Травиаты: “Милый сын, сын дорогой, возвратись под кров родной!” и дальше не мог, чтобы не расплакаться (22 *ноября* 1930 *года*).

Тридцатого декабря отец поздравил сына с двадцатипятилетием:

> В 10 утра отнес в комнату сына: 1. просфору 2. вино 3. книги, приложил поздравление.
>
> Первый юбилей Даниила Ивановича Ювачева-Charms:
>
> Лет двадцать пять со дня рожденья.
> Сегодня в праздник именин
> Тебе приносим поздравленья,
> Семь книг и к ним вина графин.

Лизе в том же декабре исполнился двадцать один год. В следующем, 1931 году она вышла замуж.

> Тетки уговорили меня… Уж очень жених им понравился… А Даня ругал меня. В тот день, когда была моя свадьба, я ушла на кухню – сижу и реву. Приходит Даня, я говорю: “Я не хочу идти”. Он говорит: “Ну, сделала одну глупость – не делай вторую”[254].

Лизин муж, Владимир Иосифович Грицын, инженер, член ВКП(б), оказался человеком, видимо, обеспеченным и основательным. Вскоре родился сын Кирилл. Молодая женщина не сразу вошла в роль матери. Однажды (вспоминала она) Даниил и его друзья затащили ее в “Культурную пивную”, где она весело провела с ними время. “Возвращаюсь домой – а там как раз Наталья Ивановна приехала. Ну и попало же нам от нее – особенно Дане: “У нее маленький ребенок, а ты ее спаиваешь”[255]. Так или иначе, жизнь Лизы как-то определилась. А ее старший брат, расставшийся со своей любовью, пытался найти ей какую-то замену.

Шестого июля 1930 года Иван Павлович записывает:

> Даня принес 4 полбутылки вина. Что же? – Гостей жду. А пришла только одна девица и ночевала у него. Не Эстер ли?

Как это понимать? Не мог же Иван Павлович не знать в лицо свою официальную невестку… Даже по голосу должен был он узнать ее!

Шестого августа Иван Павлович недовольно отмечает, что “Даня путается с какой-то голоштанной девчонкой”, а 12 числа того же месяца наконец знакомится с “новой страстью” своего сына.

Об этой “голоштанной девчонке” мы ничего не знаем. Едва ли страсть к ней была серьезной. Мысли Даниила по-прежнему занимала Эстер. К ноябрю 1931 года относится увлечение Раисой Ильиничной Поляковской. И о ней, кроме имени, тоже ничего не известно. Памятником этой влюбленности стало уже цитировавшееся письмо, в котором речь идет, впрочем, опять-таки об Эстер. Но во второй части письма Хармс пытается вытеснить этот женский образ другим – образом адресата:

> И вот однажды я не спал целую ночь. Я ложился и сразу вставал. Но, встав, я понимал, что надо лечь. Я ложился опять, но сейчас же вскакивал и ходил по комнате. Я садился за стол и хотел писать. Я клал перед собой бумагу, брал в руки перо и думал. Я знал, что мне надо написать что-то, но я не знал что.
>
> Я даже не знал, должны это быть стихи или рассказ, или какое-то рассуждение, или просто одно слово. Я смотрел по сторонам, и мне казалось, что вот сейчас что-то случится. Но ничего не случалось. Это было ужасно. Если бы рухнул потолок, было бы лучше, чем так сидеть и ждать неизвестно что.
>
> Уже ночь прошла и пошли трамваи, а я всё ещё не написал ни одного слова.
>
> Я встал и подошел к окну. Я сел и стал смотреть в окно.
>
> И вдруг я сказал себе: “Вот я сижу и смотрю в окно на…”
>
> Но на что же я смотрю? Я вспомнил: “окно, сквозь которое я смотрю на звезду”. Но теперь я смотрю не на звезду. Я не знаю, на что я смотрю теперь. Но то, на что я смотрю, и есть то слово, которое я не мог написать.
>
> –

Тут я увидел Вас. Вы подошли к своему окну в купальном костюме. Так я впервые увидел Вас. Увидел Вас сквозь окно.

–

Вам смешно, Раиса Ильинишна, о чем я пишу Вам?..

Но я и не прошу Вас относиться к этому серьёзно.

Но теперь слушайте дальше. Я познакомился с Вами и узнал, что Вас зовут Рая. Я стал много думать о Вас, о Рае. Мысль о Рае стала моей главной мыслью. И я повесил надпись над моей кроватью:

Мысль о Рае.

Моя главная мысль, помимо Вас, это мысль о рае, и Вы понимаете, что Вы стали для меня не только женщиной, которую я полюбил, но вошли во все мои мысли и дела.

Здесь дело не в каламбуре – Рая и рай.

–

Все это – очень несовременно, и я решил не говорить Вам этого.

Я как-то пришел к Вам (Вы обедали) и сказал: “Вы знаете, Рая, сегодня ночью со мной была страшная вещь, и Вы спасли меня”.

Но потом я Вам ничего не сказал.

Потом, гуляя с Вами у Буддийской пагоды и гуляя на Островах, я чувствовал, что я должен сказать Вам всё, но что-то удерживало меня, и я не говорил. Я ходил и говорил глупости. И Вы даже обиделись под конец. И так стало всякий раз, когда я Вас встречал.

Я должен был либо сказать Вам всё, либо расстаться…

“Милая Рая” была знакомой Левина. Через него Хармс и передал ей письмо. Это увлечение было, судя по всему, одним из самых эстетизированных, “литературных” в его жизни, не случайно красавица в купальном костюме появилась в окне во время творческих ночных бдений. Вскоре Даниил Иванович на несколько месяцев выбыл из жизни, а вернувшись, и не вспомнил про ту, чье имя и образ внушали ему “мысль о рае” (перекликающуюся со знаменитой “памятью о рае” Леонида Аронзона, который едва ли в 1966 году знал письмо Хармса к Поляковской).

В комнате Хармса по-прежнему бывали друзья, чьи “пьянственные компании” беспокоили ночами Ивана Павловича. Их жизнь тоже помаленьку менялась. У Заболоцкого родился сын.

Введенский порвал с Тамарой Мейер и женился на Анечке Ивантер из Института истории искусств, с которой познакомился еще в 1928 году. Тамара Александровна вышла замуж за Липавского… Все это произошло в 1930–1931 годы.

Владимир Грицын, 1950-е.

Комната уже приобрела, вероятно, к тому времени вид, зафиксированный Алисой Порет:

> …Проволоки и пружины тянулись в разных направлениях, на них висели, дрожали и переплетались какие-то коробочки, чертики, символы и эмблемы, и все

> это менялось по мере появления новых аттракционов. Было много книг, среди них разные раритеты – Библия на древнееврейском, огромная толстенная книга “Черная магия”, какие-то старые манускрипты[256].

Кроме литераторов, в начале тридцатых сюда особенно часто заходили уже поминавшиеся “естественные мыслители”, еще естественнее смотревшиеся в обстановке хармсовского жилища. Сейчас самое время рассказать об этих людях поподробнее.

В.Н. Петров, чье общение с Хармсом относится, правда, к более позднему времени, характеризовал этих людей так:

> Это была совершенно особая категория его знакомых, по большей части найденная случайно и где придется – в пивной, на улице или в трамвае. Даниил Иванович с поразительной интуицией умел находить и выбирать нужных ему людей.
>
> Их всех отличали высокоценимые Хармсом черты – независимость мнений, способность к непредвзятым суждениям, свобода от косных традиций, некоторый алогизм в стиле мышления и иногда творческая сила, неожиданно пробужденная психической болезнью. Все это были люди с сумасшедшинкой; люди той же категории, из которой выходят самодеятельные художники-примитивисты (*Naive Kunst*), нередко превосходные – или просто народные философы-мистики, нередко весьма примечательные. В ежедневном общении они обычно бывают трудны и далеко не всегда приятны. Даниил Иванович приводил их к себе и обходился с ними удивительно серьезно и деликатно[257].

Сам термин “естественный мыслитель” появляется в записях Хармса с 1930 года. Незадолго до рокового выступления на Мытнинской набережной, положившего конец ОБЭРИУ и всей публичной деятельности его участников вне детской литературы, Хармс задумал организовать в Доме печати большой вечер. В первом отделении он должен был сам читать свои стихи, во втором трибуна предоставлялась “мыслителям”, которые должны были излагать свои идеи. В этом качестве предлагалось пригласить Туфанова, Олимпова, Вигилянского, Матвеева-младшего (Венедикт Март, которому на этом вечере, конечно, нашлось бы место, уже был выслан).

Ничего из этой затеи не вышло, двери Дома печати вскоре закрылись, и общение Даниила Ивановича с “естественными

мыслителями” носило теперь приватный характер. Дольше всех из предполагаемых участников вечера задержался в его окружении Александр Башилов, портной-горбун, автор афоризма “Были бы мы проще – жили бы как рощи”. По-видимому, Башилов и описанный Минцем “уличный философ” с бухгалтерской книгой, полной мудрых изречений, витийствовавший в конце 1920-х годов у кинотеатра “Пикадилли”, – одно и то же лицо. Там, вероятно, и состоялось его знакомство с Хармсом. Кроме афористического творчества, он увлекался живописью.

По свидетельству Петрова, Башилов “неизменно раза два в год попадал в психиатрическую больницу и выходил оттуда со свидетельством, где, как он уверял, было написано, что «Александр Алексеевич Башилов не сумасшедший, а вокруг него все сумасшедшие»”[258]. Как-то он посоветовал “отдохнуть в сумасшедшем доме” пожаловавшемуся на утомление Маршаку. Башилов считал, что кто-то ворует его мысли и потом передает их по радио. Во избежание кражи он носил затычки в ушах. Злым гением портного-философа был его дядя, работавший управдомом. Башилову казалось, что дядя покушается на его жизнь.

> Однажды управдом вместе с дворниками скидывал с крыши снег и попадал прямо на стоявшего внизу Александра Алексеевича. Тот, чуть ли не по пояс в снегу, возмущался, кричал и требовал, чтобы это прекратилось, но отойти в сторону не додумался…[259]

“Доктор Шапо” (собственно, не имевший никакого медицинского диплома) был “естественным мыслителем” в несколько ином роде. Даниил Иванович лечился у него от всех болезней. Алиса Порет, также пользовавшаяся услугами этого эскулапа, вспоминает:

> Самое важное – это диагноз, – рассказывал он всем, – важно определить болезнь (лечить может всякий). Шапо придумал гениальный способ. Под кроватью больного он ставил тазик с водой и пускал туда половинки скорлупки грецкого ореха с маленькими зажженными свечками внутри. По краям были прикреплены бумажки с надписями: воспаление легких, ревматизм, хандра обыкновенная, чума, ангина и прочее. Если скорлупка останавливалась, да и к тому же еще загоралась бумажка – значит, сомнений нет. Лечил этот врач, не выходя из квартиры – пока больной не выздоравливал. Он питался в доме, спал на диване, выводил собак гулять и так

замечательно ухаживал за больным, что очень было надежно и интересно болеть. Было одно неудобство – он любил пить кофе, и водку, и чай, и вино, и выпивал, что давали, в очень большом количестве. Сидел за столом часами и разглагольствовал, иногда срываясь дать лекарство или поставить горчичник больному. Тут-то и обнаруживали под столом лужицу. Даниил Иванович держал специально для него швабру в особом дезинфицирующем растворе[260].

Алексей Эйснер, худой, горбоносый, усатый, похожий на Дон Кихота, служил художником в милиции. Хармс, по свидетельству Харджиева, очень ценил одну его картину – "великолепное кресло с красной тканью, одиноко стоящее на пустынном морском берегу", напоминавшую композиции де Кирико[261]. Эйснер выступал и в качестве теоретика: он написал трактат о колористических достоинствах испражнений кошек и собак.

Хармс не делал границы между смешным и гротескным миром "мыслителей" и собственной, серьезной, подлинной духовной жизнью. Прежние критерии академической и мелкобуржуазной респектабельности отменены историей, с этим согласны были почти все друзья Даниила Ивановича, как бы ни разнились их взгляды. Но тогда – если уж не удалось стать признанными эстетическими революционерами, знаменитыми мастерами "реального искусства", такими, как Малевич или Мейерхольд, – почему бы и самим не попробовать роль "естественных мыслителей"? С предложением о создании "клуба естественных мудрецов" Хармс пришел 31 августа к Липавскому и был им поддержан. Но это сообщество (получившее название Клуба малообразованных ученых) сложилось лишь два с лишним года спустя, и о нем мы будем говорить в следующей главе.

Встречи с друзьями происходили в 1931-м в основном на Гатчинской, у Липавских. Но время от времени Хармс бывал и в доме своего нового знакомого, Петра Петровича Калашникова, биолога по образованию, ныне зарабатывавшего на жизнь "рисованием таблиц по частным заказам", и литератора-дилетанта. 38-летний холостяк Калашников держал что-то вроде литературного салона. Кроме Хармса и Введенского, там бывали и Вагинов, и Заболоцкий, и Бахтерев, и Разумовский – практически все прежнее ОБЭРИУ. Заходили Порет с Глебовой, юный Ираклий Андроников, художник Николай Воронич, Эйснер и еще ряд что-то пишущих людей, о которых толком ничего не известно, – Михаил Бинштok, Михаил Карпинский, Георгий Бруни, Ироида Бахта… В основном участники кружка читали и

разбирали произведения друг друга.

К тому времени Ленинградское отделение Союза поэтов, которое в момент дебюта Хармса и его друзей еще было центром независимой литературной жизни, стремительно превращалось в официозную структуру, находившуюся под пятой ЛАППа. Изменения происходили исподволь, но уже к началу тридцатых город был неузнаваем. Как исчезли все увеселительные заведения Невского проспекта, а остались лишь “Культурная пивная” и столовая Ленкублита, так же и те поэтические вечера, которые беспрепятственно устраивались в дни нэпа, стали невозможны. Хармс теперь, вероятно, физически ощущал, что перед ним насильственно закрываются все двери во внешнюю жизнь. Однако оставалось еще, казалось бы, частное, домашнее общение.

Болезненно относившийся к политическим разговорам в Госиздате, Хармс охотно поддерживал их в доме Калашникова. Спустя несколько месяцев Петр Петрович будет пересказывать эти беседы на допросе – и это, похоже, тот случай, когда показаниям можно верить: по крайней мере, звучат они правдоподобно.

> Я высказывал неоднократно ту точку зрения, что моим политическим идеалом является идеальная конституционная монархия с участием в управлении страной всех слоев населения… Я говорил, что в такой монархии не будет надобности в жандармах и в охранке… Существенную роль в моем желании перемены существующего строя играла жалость… к четырем миллионам белоэмигрантов, к огромной культурной силе, которая благодаря неудачам в Гражданской войне была вынуждена покинуть родину… говоря в беседах с Хармсом и другими о вредительских процессах последнего времени (Промпартия и др.), я высказывался в том смысле, что истинно русская интеллигенция не способна на вредительство и что вредительские процессы нужны большевикам для того, чтобы сложить с себя вину за хозяйственные неудачи[262].

Согласно показаниям Воронича, “особенное возмущение с его (Калашникова. – *В. Ш.*) стороны вызывала коллективизация деревни и раскулачивание…”. Воронич, кстати, давно знал Калашникова и подчеркивал, что “в начале революции он был настроен довольно лево, но потом постепенно пришел к вышеуказанной позиции”.

Другими словами, в доме Калашникова говорилось вслух то, что думала значительная часть тогдашней, еще не до конца запуганной интеллигенции. Хармса при этом, по показаниям

Калашникова, “особо значительно затрагивали” вопросы, “связанные с отсутствием в СССР свободы слова, собраний и печати”. Лишая аполитичных писателей возможности публиковать свои произведения, советское государство выталкивало их в политическую оппозицию. В этом смысле с 1931 по 1985 год мало что изменилось.

Николай Воронич. Фотографии из следственного дела, 1931 г.

Петр Калашников. Фотографии из следственного дела, 1931 г.

Тем временем круг обэриутов понес первую утрату. 4 октября

умер от скоротечной чахотки его самый младший участник, Юрий Владимиров. Хармс не пришел на панихиду, а удивленному Пантелееву объяснил: “Я никогда никого не провожаю”. Он все еще пытался заслониться от смерти. Пока – естественной. Туберкулез унес спустя три года и Вагинова: это было второй потерей. А дальше начались смерти иные, насильственные или почти насильственные. 1937 год унес Олейникова, а в 1941–1942 годах от вражеской пули, от голода, в ссылке, за тюремной стеной ушли из жизни пять или шесть человек, так или иначе связанных с ОБЭРИУ. В том числе и сам Хармс…

Осенью 1931 года опасность уже подошла к нему и его друзьям вплотную – в первый раз за десятилетие. Но они ни о чем не догадывались, видимо, вплоть до самого 10 декабря, когда в дверь квартиры на Надеждинской и еще в несколько дверей властно постучали.

3

В течение 1931 года Хармс и его друзья (но, в первую очередь, сам он) оказались в центре острой и идеологически окрашенной дискуссии, которая в свою очередь спровоцировала их арест.

В начале ничего не предвещало бури. К 1931 году нападки на детских писателей “маршаковского” круга утихли настолько, что сторонники этого направления решили начать осторожное наступление. В Ленинграде вышел сборник критических статей “Детская литература”. Наступление было хорошо подготовленным и “защищенным” – предисловия к сборнику написали “сами” Луначарский и Горький. Правда, Наркомпрос уже утратил свой пост и находился на дипломатической работе, а голос “буревестника революции”, только вернувшегося из Сорренто, не обладал еще всей полнотой властного авторитета.

Предисловие Луначарского (явно далекого от темы) констатировало “грустное положение дел” с детской книгой в СССР. В то же время отмечались удачи, и, между прочим, для Даниила Ивановича у бывшего наркома нашлось доброе слово: в области “веселой книжки” “приходится считаться с тем же Маршаком, с Хармсом – один-два, и обчелся”[263]. Трудно сказать, читал ли Луначарский Хармса прежде или судил о его стихах лишь по цитатам, приведенным в сборнике. Статья Горького, ранее напечатанная в “Правде” (1930. № 8), представляла собой образец советской казуистической демагогии, в данном случае направленной на доброе дело. Начинал Горький с разговоров о

“вредительстве”, о деле Промпартии и т. д., потом переходил к тем деятелям литературы и искусства, для которых “строительство социалистической культуры органически враждебно”. Произнеся все полагающиеся по этим поводам ритуальные слова, Горький делал неожиданный пируэт: “Лично мне кажется, что “вредители” этого рода не так опасны, как они, вероятно, думают о себе… Гораздо вреднее тот тип бессознательного вредителя, который относится к буржуазной культуре панически и целиком отрицает ее, забывая ту оценку подлинных завоеваний этой культуры, которую дал В.И. Ленин”[264]. Таким образом, орудие незаметно разворачивалось, и рапповцы и партийные деятели, которые “проповедуют “организованное понижение культуры”, которые “следуют букве закона, но не духу его”, сами оказывались под прицелом; роковой ярлык, которым они так активно пользовались, вешался на них самих. “В качестве примера, – продолжал Горький, – можно привести шум, поднятый недавно на страницах “Литературной газеты”. Шум этот был поднят против людей, которые, работая в Детском отделе Гиза, сумели выпустить ряд весьма талантливо сделанных книжек для детей…”

Дальше шли статьи. Имя Хармса упоминалось (в позитивном контексте) в трех из них. Статья Т. Трифоновой “Революционная детская книга” (в которой резко обличались приспособленцы, берущиеся за революционные темы, в том числе Л. Лесная (Гештовт), включала цитату из рассказа Хармса “Как старушка чернила покупала”:

> Направо у стенки диван стоит, на диване сидит толстый человек и тонкий. Толстый что-то рассказывает тонкому и руки потирает, а тонкий согнулся весь, глядит на толстого сквозь очки в светлой оправе, а сам на сапогах шнурки завязывает.
>
> – Да, – говорит толстый, – написал я рассказ о мальчике, который лягушку проглотил. Очень интересный рассказ.
>
> – А я вот ничего выдумать не могу, о чем бы написать, – сказал тонкий, продевая шнурок через дырочку <…>
>
> – А сюда вы зачем пришли? – спросил старушку толстый человек.
>
> – А я нигде чернил найти не могла, – сказала старушка, – всех спрашивала, никто не знал. А тут, смотрю, книги лежат, вот и зашла сюда. Книги-то, чай, чернилами пишутся!

– Ха, ха, ха! – рассмеялся толстый человек. – Да вы прямо как с луны на землю свалились!

– Эй, слушайте! – вдруг вскочил с дивана тонкий человек. Сапог так и не завязал, и шнурки болтались по полу. – Слушайте, – сказал он толстому, – да ведь вот я и напишу про старушку, которая чернила покупала.

Т. Трифонова по поводу этого фрагмента замечает: “Хармс, по-видимому, думал, что он “раскрыл прием” написания одной этой книжки. Нет! Он блестяще показал все еще не изжитую кабинетность писательской работы…”[265]

Трактовка, мягко говоря, тенденциозно-упрощенная, но видно скорее доброжелательное отношение критика к писателю.

О Хармсе, кроме того, писали В. Бармин (статья “Веселые книжки”) и молодой “формалист”, будущий крупный литературовед Б.Я. Бухштаб (статья “О детской поэзии”).

В обеих статьях отдается должное мастерству Чуковского, порвавшего с традициями дореволюционной мещанской детской литературы и создавшего новую школу. Но его поэзия провозглашается устаревшей, неактуальной по идеологическим причинам. Бармин ставит в вину Корнею Ивановичу “взгляд на мир глазами ребенка, воспитанного в индивидуалистических традициях”, для которого “величайшими благами в мире оказываются “сто фунтов шоколада и тысяча порций мороженого”[266]. Бухштаб констатирует, что Чуковский “ориентируется на ребенка детской, а не детского коллектива”, что его стихи “оторваны от социальных переживаний” и потому “все меньше будут становиться достоянием детей”[267]. Чуковскому противопоставлялся в этом отношении Маршак – автор “Битвы с Днепром” и “Отряда”. Непосредственно вслед за ним возникает имя Хармса. Бармин видит его заслугу в том, что он, “опираясь на детское творчество, нашел те условия, в которых слова и способы соединения слов[268] входят в сознание с наибольшей эффективностью”:

Его замедленные стихи рассчитаны на восприятие ребенка (еще точнее – дошкольника). Взрослому бесконечные повторения могут не казаться веселыми – наоборот, можно видеть критиков, у которых стихи Хармса вызывают вместо смеха разлитие желчи… Интонация Хармса настолько выразительна, что ее одной достаточно иногда для замыкания конструкции произведений. У Хармса не “формальные ухищрения”, а педагогическая затрудненность речи. Для развития грамматических представлений ребенка одно

стихотворение Хармса может дать больше, чем месяц сухих школьных “навыков”…[269]

Бухштаб анализирует стихи Хармса во всеоружии формального метода:

> Основное для него… – система повторов и параллелизмов – настолько твердая, четкая и абсолютная, что повороты смысла внутри нее требуют чрезвычайного искусства и изобретательности. Величину повторяющейся части Хармс довел до предела. Он словно задает себе и решает сложные математические задачи. Это схематическое построение, правильное чередование тех же ритмических, синтаксических и формально-звуковых схем производит на детей чрезвычайно сильное впечатление, а выработанные Хармсом приемы немедленно подхватываются – часто очень неудачными – подражателями[270].

Упоминание о “подражателях” важно (к сожалению, не очень понятно, кто именно имеется в виду: вообще, при обилии работ о Хармсе, “детская” часть его наследия и его творческие взаимоотношения с писателями-современниками, возникавшие на этой почве, изучены очень мало). Разумеется, “повторы и параллелизмы” – это лишь одна, и не самая важная, сторона его поэтики, даже в детских стихах. Но в любом случае к двадцати пяти годам при трехлетнем с малым стаже публикаций он успел снискать завидный авторитет. С похвалой (хотя более сдержанно) отзывались авторы сборника и о стихах Введенского.

Вполне возможно, что детским писателям удалось бы закрепиться на отвоеванных позициях. Но вышло иначе.

К несчастью, выход сборника совпал с очередной кампанией по “чистке” советской литературы и издательств от классово-чуждых элементов. 15 августа вышло постановление ЦК ВКП(б) “Об издательской работе”, в котором, в частности, уделялось внимание и литературе для детей и юношества. Подчеркивалось, что “характер и содержание книг должны целиком и полностью отвечать целям социалистической реконструкции”. А между тем, как отмечала 26 августа 1931 года “Литературная газета”, “детская книжка до последнего времени делалась в значительной степени руками откровенно буржуазных писателей… которые на данном этапе развития советской литературы уже не смогли найти применения своим “талантам” в литературе “взрослой”. Но попытка привлечь надежных, проверенных советских авторов к этому роду словесности не увенчалась успехом. “Литературка” с

горечью отмечала, что Безыменский, Демьян Бедный, Жаров, Кирсанов, Михаил Кольцов, Сельвинский, Владимир Лидин не выполнили своего обещания написать что-нибудь для советской детворы. А между тем новый, воспитанный в коллективе ребенок предъявляет писателям высокие требования:

> Читать?
> О чем же?
> О стаях птах,
> О сивке-кляче,
> Которая плачет?
> О Горбунке, что силен и мил?
> Его же трактор опередил!
> А где же классы,
> Борьба и массы?..

Эти стихи Сергея Васильева напечатаны были на той же странице “Литературной газеты”. Кампания началась. Но личной брани ни в чей адрес пока не было и особой кровожадности в тоне не ощущалось.

Затем все как будто утихло до октября, когда в ленинградской организации ВССП (Всероссийского союза советских писателей) состоялся третий тур дискуссии в связи с августовским постановлением ЦК. Как правило, подобные дискуссии сводились к “критике” и “самокритике”. И то и другое бывало весьма жестким, но в 1931 году дело еще обычно обходилось без оргвыводов и тем более арестов – особенно в Ленинграде, где издательские условия были несколько мягче, чем в Москве, а литературное начальство несколько либеральнее. Очередное собрание, 26 октября, было посвящено детской литературе, и, видимо, никто не ожидал особой бури.

Основной доклад делала Елена Данько, писательница и художница, чьи собственные книги для детей посвящены темам, довольно далеким от социалистического строительства: производству фарфора, изобретению книгопечатания, китайскому театру кукол. Начала она описанием былого беспросветного положения:

> В дореволюционной России детской литературы никогда не существовало, были лишь дурные традиции детских книг. Книжки уводили ребенка в мир мистических созерцаний и бредовых вдохновений, отделяли от реального толстой стеной идеалистических условностей[271].

В качестве основателей советской литературы названы были Маяковский, Тихонов, Елизавета Полонская, серапионов брат Илья Груздев. “Крупной фигурой первых лет в детской литературе был Корней Чуковский, книги которого обладали всеми формальными признаками литературного произведения…” Но – “Чуковский писал по адресу буржуазной детской”. Под его вредным влиянием “задача детской литературы как фактора воспитания революционной молодежи отходит на второй план. Главное – воспитать литературный вкус, литературное чутье… Тот же “общечеловеческий” характер носила познавательная литература”. Однако, по словам Данько, в последнее время были созданы высокохудожественные и в то же время проникнутые коммунистической идейностью произведения, например, “Борьба с Днепром” Маршака и “Рассказ о великом плане” Ильина.

Таковы были основные тезисы доклада Данько. Видимо, сотрудники детской редакции готовили его сообща, надеясь, что подобная форма покаяния в сочетании с рапортом об успешной перековке устроит их оппонентов. Но оппоненты не “отбывали номер” – они всерьез жаждали крови. Причем совершенно искренне и бескорыстно. Какая выгода была в травле детских писателей, например, 26-летнему Михаилу Федоровичу Чумандрину, редактору журнала “Ленинград”, лапповцу, главному идеологу группы “Смена” (в нее входили Борис Корнилов, Ольга Берггольц, Геннадий Гор), автору произведений, “посвященных жизни рабочего класса”, про которые даже в советской Краткой литературной энциклопедии деликатно сказано, что “их художественный уровень не всегда высок”? По всей вероятности, он действовал из чисто идейных побуждений. Николай Чуковский описывает его так:

> Это был молодой толстяк в косоворотке, самоуверенный, темпераментный, с самыми крайними левацкими взглядами. Его приверженцы дали ему прозвище “бешеный огурец”. Он не признавал русских классиков, потому что они были дворяне, не признавал переводной литературы, потому что она сплошь буржуазная… “Своими” он признавал только некоторых рапповцев. Всех остальных он ненавидел и считал нужным истребить… Сверкая маленькими глазками на толстом одутловатом лице, держал он свои сокрушительные речи – всегда от имени советской власти и мирового пролетариата – и всякого, кто осмеливался ему возражать, немедленно причислял к контрреволюционерам. Он не был ни карьеристом, ни

> приспособленцем… Это был человек скромный, бескорыстный, даже аскетический. Нетерпимость его была искренняя[272].

Позднее Чумандрина чудесным образом “перевоспитал” Валентин Стенич. Но прежде чем это произошло, на рубеже 1920–1930-х годов без участия “бешеного огурца” обходилась редкая погромная кампания. Блеснул он в 1929 году во время “дела Пильняка – Замятина”.

Чумандрин обрушился на Данько за “недостаточный удар направо”. Именно в его речи прозвучали имена обэриутов.

> Сегодня Маршак и Ильин… ведущие писатели для тех, кто не поспевает за нами. Но если они несомненно близкие нам попутчики, то такие писатели, как Хармс, Введенский и другие, – люди, пришедшие с буржуазных позиций и отсиживающиеся в детской литературе…

Редактора “Ленинграда” поддержала 21-летняя Ольга Берггольц, которая завела речь о “литературно-критическом сборнике”, в котором, по ее словам, “можно найти защиту буржуазных методов и буржуазных традиций”. В этом же хоре выступил Абрам Борисович Серебрянников, редактор, работавший в детском секторе Госиздата и одновременно преподававший в Доме детской книги. На современный взгляд его статья “Золотые зайчики на полях детской литературы”, напечатанная в “Смене” за 15 ноября, – классический литературный донос. Но – и в этом еще один парадокс эпохи – выпускники Дома детской книги (М. Гитлис, Л. Друскин и др.) в один голос характеризуют Серебрянникова как достойного человека и талантливого педагога! Серебрянников был лишь на год старше Берггольц, на четыре года моложе Чумандрина (и на столько же – самого Хармса). Именно искренне-фанатичные, эстетически малограмотные комсомольцы, а не злонамеренные негодяи-доносчики зачастую ломали в те годы человеческие жизни. Некоторые потом, повзрослев, осознавали, что натворили, частично пересматривали свои взгляды (как тот же Чумандрин) и даже раскаивались. Но Серебрянников и до тридцати лет не дожил – жизнь его, как и многих друзей и врагов, приятелей и гонителей Хармса, оборвалась в дни Большого Террора.

Во всяком случае, Абрам Борисович знал обстановку изнутри, и потому удар, нанесенный им, был наиболее болезненным. В ходе дискуссии Хармса и Введенского ругали в большой и хорошей компании – вместе с Житковым, Лесником (Евгением Дубровским); Серебрянников же именно их выбрал в качестве

главного объекта “разоблачения”.

> Помните печальной памяти “обэриутов”, этих литературных хулиганов, богемствующих буржуазных последышей? Вы думаете, что они разоблачены и поэтому “самоликвидировались”? Нет, они существуют, они нашли лазейку в детскую литературу.

До сих пор на страницах советской печати существовало как будто два разных Хармса. Один – “реакционный жонглер”, заумник и хулиган. Другой – спорный, но в целом очень успешный и многообещающий детский писатель. Серебрянников соединил эти два образа. Ничего хорошего Даниилу Ивановичу это не предвещало.

> Даниил Хармс, “взрослые” стихи которого не попали в печать, но расходятся в рукописях среди известного круга “читателей”, издает детские книги:
>
> Шел по улице отряд,
> Сорок мальчиков подряд…
>
> Это о слете пионеров. Не говоря уж о том, что в пионерском отряде мальчики и девочки работают вместе, Даниил Хармс в слете видит лишь барабанный бой.

Все-таки даже к таким недоброжелательным людям, как Серебрянников, приходится порой испытывать благодарность. Ведь перед нами – чуть ли не единственное свидетельство, что поэзия Хармса уже на рубеже 1920–1930-х годов распространялась, как сказали бы позднее, в самиздате.

Дальше речь идет о Заболоцком, меньше других обэриутов связанном с детской редакцией Госиздата и печатавшемся там по большей части под псевдонимом:

> Заболоцкий – этот кулацкий поэт, получивший достаточный отпор марксистско-ленинской критики, решил спрятаться за фамилией Яков Миллер, оставаясь прежним Заболоцким. Он пишет революционные стихи типа:
>
> Солнышко, солнышко, золотые зайчики!
> Вы с востока прибыли, с востока принеслись!
> Дружно ли китайцы там бороться начали,

Крепко ли индусы драться поднялись?

Стихи и впрямь, мягко говоря, далеко не блестящие. Но интересны два факта. Во-первых, публичное раскрытие псевдонима. Во-вторых, выражение “кулацкий поэт”. В 1933–1934 годах, после публикации “Торжества земледелия”, такая формулировка по отношению к Заболоцкому станет почти общепринятой. Но называть так автора насквозь урбанистических “Столбцов” было бы странно. Критики успели окрестить его и “мелкобуржуазным индивидуалистом”, и “реакционером”, и даже “сыпнотифозным” – но термин “кулацкий” был, кажется, внове. На эту странность стоит обратить внимание, потому что она получит продолжение.

Дальше – Введенский, который, “одевшись в тогу “литфронта”, пишет стихи на любую тему. У него восьмилетние немецкие ребята разгоняют буржуев и чуть ли сами не делают революцию…”

Имелось в виду стихотворение “Письмо Густава Мейера”, где были такие строки:

> Потом мы пошли в большой зеленый сад,
> Где много сытых капиталистов,
> Увидев плакаты “Долой фашистов”,
> От страха дрожа, бежали от нас.
> Значит, поднялся рабочий класс.
> Последний день вы живете на свете,
> Мы победим, пролетарские дети.

Эти стихи так рассмешили редакцию “Смены”, что на той же странице, что и статья Серебрянникова, была помещена карикатура, высмеивающая нелепый сюжет.

Серебрянников выбрал умную тактику. “Разоблаченным литературным хулиганам” он ставил в вину не талантливые, но безыдейные стихи, а тексты на политические, революционные темы, обвиняя их авторов (причем в случае Введенского и Заболоцкого – совершенно справедливо) в халтуре. У человека, ничего не знавшего про обэриутов, прочитавшего только статью в “Смене”, они не вызвали бы ни малейшего сочувствия.

Дальше – еще интереснее.

> В детской литературе окопалась и сама школа формалистов, ответвлением которой являются “обереуты”. Знакомые фамилии Шкловского, Бухштаба,

> Каверина, Гуковского, Гинзбурга (так! – *В. Ш.*), Рахтанова и еще десятка им подобных…

Однако лучшие из “попутчиков”, продолжает Серебрянников, встали на путь перестройки – “пусть неравномерно и с частыми срывами…” Кроме братьев Маршаков, в их числе поминаются Пантелеев, Белых, Богданович и… Дойвбер Левин. Почему-то в его случае обэриутское прошлое забыто или прощено.

Наконец, в № 2–3 лапповской газеты “Наступление” была напечатана статья Ольги Берггольц “Книга, которую не разоблачили”. Речь шла все о том же “литературно-критическом” сборнике, который не давал юной Ольге покоя. С истинно комсомольским задором она полемизирует с литературоведами-формалистами. Гинзбург говорит про возрастные особенности психики 12-летнего ребенка. Что же может быть общего, возмущается Берггольц, в психике “нашего 12-летнего пионера и какого-нибудь 12-летнего будущего фашиста”? Бухштаб утверждает, что словесная игра “воздействует на ребенка помимо сознания и гораздо лучше организует его мировоззрение, чем прямая дидактика”. Отповедь Берггольц: “До организации мировоззрения помимо сознания мог додуматься только оголтелый реакционер!”

Про обэриутов сказано следующее:

> Основное в Хармсе и Введенском – это доведенная до абсурда, оторванная от всякой жизненной практики тематика, уводящая ребенка от действительности, усыпляющая классовое сознание ребенка. Совершенно ясно, что в наших условиях обостренной классовой борьбы – это классово враждебная, контрреволюционная пропаганда.

Берггольц рекомендовала изъять сборник из магазинов и библиотек. В отношении Хармса и Введенского ее формулировки были чреваты еще более серьезными последствиями.

Берггольц в те годы и сама баловалась детской литературой – писала незамысловатые и, надо сказать, совершенно “безыдейные” рассказики про свою маленькую дочку. Их печатали в “Чиже”. Пять лет спустя дочка Берггольц умерла – восьми лет от роду; вторая ее дочка тоже погибла маленькой, а третьего ребенка, нерожденного, она потеряла под пыткой в НКВД в 1938 году. Первый ее муж, Борис Корнилов, погиб в дни Большого Террора, второй – в блокаду, стихам о которой обязана была Берггольц своей официальной (и не только официальной) славой. Судьба страшная, и ее вполне достаточно, чтобы простить

Берггольц ее юную дурость. Тем более что статья ее, возможно, писалась, когда Хармс и Введенский еще находились на свободе. Но к моменту ее публикации оба они уже два месяца содержались в ДПЗ на Шпалерной.

4

Хармса арестовали 10 декабря вместе с Калашниковым на квартире последнего. В собственной квартире Ювачевых на Надеждинской был тем временем учинен обыск. В качестве понятых привлекли Ювачева-отца и дворничиху Дружину, за которую по неграмотности расписался Грицын. Изъяты были "рукописи, разная переписка и 10 мистико-оккультных книг". Комнату Хармса запечатали, но вновь распечатали 25 декабря, чтобы извлечь оттуда еще один ящик с рукописями. В тот же день явились за Туфановым, Вороничем и молодым, позднее знаменитым (скорее мемуарно-эстрадными номерами, чем научными изысканиями) литературоведом Ираклием Андрониковым, с марта 1931 года работавшим секретарем редакции "Ежа" и "Чижа". Введенский утром уехал в Новый Афон. Молодая жена, Анечка Ивантер, видела, как на перроне за ее мужем следит какой-то странный человек. В Любани Александра Ивановича арестовали и сняли с поезда. Четыре дня спустя к своим товарищам присоединился Бахтерев.

Итого арестовано было семь человек.

Хармс был допрошен первым, 11 декабря. Всего же его вызывали на допросы пять раз. Последний раз – 13 января. Допросы вели два следователя – Лазарь Коган и Алексей Бузников. Официально следствие вел второй, "Коган ему как бы ассистировал". В действительности полковник Лазарь Вениаминович Коган, начальник секретно-политического отдела ленинградского ОГПУ, был начальником Бузникова и скорее контролировал его работу. Есть свидетельства, что в 1928–1929 годах Коган участвовал в ведении "дела Русакова" и Хармс уже тогда с ним познакомился.

В течение всего процесса Бузников играл роль "злого" следователя, а Коган – "доброго". На Бахтерева Бузников кричал, называл его "говно-мальчишкой" (будучи старше его всего на два года), а Коган учтиво беседовал с ним, предлагал чай или кофе. Может быть, в работе участвовали и другие чекисты. График В.А. Власов рассказывал В. Глоцеру о каком-то "Сашке", следователе-весельчаке, которого Хармс во время допросов впечатлил своей оригинальностью и своим остроумием. (А.А. Кобринский

предполагает, что это либо Коган, либо Александр Робертович Стромим, тоже следователь ленинградского ОГПУ, который, впрочем, официально в деле Хармса и его друзей не фигурирует и ни в каких других мемуарах не упоминается.)

Специфика этого, еще раннесталинского, ОГПУ заключалась в том, что следователи далеко не всегда были похожи на грядущих ежовских дуболомов или бериевских зловещих жизнелюбов. Часто это были интеллектуалы своего рода. “Добрый следователь” Лазарь Коган вел с подследственными задушевные философские дискуссии. Но и “злой следователь” Алексей Бузников был не чужд литературных интересов и даже выступал в качестве критика. Его заметки, публиковавшиеся в “Красной газете”, касались в том числе и детской литературы. Одна из них, напечатанная в 1928 году[273], содержала нападки на Маршака. Бузников обвинял его в “монархизме”, поскольку в сказочных детских пьесах Самуила Яковлевича, естественно, действовали короли.

При всем анекдотизме этих обвинений Бузников, как начинающий профессионал политического сыска, мог держать их в уме. И вот (позволим себе немного пофантазировать) у него на столе оказываются две папки. В одной – газетные вырезки с отчетами о дискуссии, в ходе которой особенно резким нападкам подвергается группка обэриутов, разоблаченная советской критикой и нашедшая приют под крылышком Маршака в детской редакции. В другой – доносы об антисоветских разговорах, ведущихся в доме у гражданина Калашникова, в которых участвовали, между прочим, те самые обэриуты. Каждая из папок сама по себе, по представлениям 1931 года, ни на что серьезное не “тянула”. Но если объединить их… Подобная тактика – произвольное соединение совершенно разнородных эпизодов и явлений в единый грандиозный “заговор” – была изобретена еще Фукье-Тенвилем, общественным обвинителем Революционного трибунала в дни якобинской диктатуры, и широко использовалась ЧК-ОГПУ.

Вполне возможно, в голове Бузникова уже начал складываться эффектный процесс, одним из главных героев которого должен был стать Даниил Хармс. Как раз в это время пресса активно освещала Шахтинское дело, дело Промпартии, готовился процесс Трудовой крестьянской партии. Перед следователем, который сумел бы сфабриковать такого же рода дело о вредительстве в литературной области, открывались неплохие карьерные перспективы.

В ДПЗ заключенные, которых было в то время еще немного, сидели в отдельных камерах или в крайнем случае вдвоем. О

своем времяпрепровождении Бахтерев вспоминает так:

> Чем же я там занимался: во-первых, еда (чай, суп, каша), во-вторых, чтение единственной газеты, а потом самое главное, серьезное, но это не с первых дней. Ночную пустоту каждую ночь заполняли стуки не то стрекотания, пока не звучал голос дежурного:
>
> – Спать, спать…
>
> На несколько минут стрекотания прекращались и опять…
>
> Потом все раскрылось. За отопительной батареей я обнаружил два предмета, один – загадочно непонятный, кому и зачем он понадобился: здоровенный напильник. Второй предмет очень важного назначения: клочок бумаги с таблицей. Чья-то заботливая рука передавала друг другу свои познания, как переговариваться с таким же неведомым соседом[274].

Игорь Бахтерев. Фотографии из следственного дела, 1931 г.

Александр Введенский. Фотографии из следственного дела, 1931 г.

Напильник в камере использовался не для попыток к бегству (во всяком случае, перепилить решетку не удалось никому), а для “перестукиваний”. Когда-то этим искусством пришлось в совершенстве овладеть Ювачеву-отцу. Один из соседей в Шлиссельбурге, вспоминал Иван Павлович, измучил всех своей вежливостью: вместо того чтобы задать краткий вопрос, он тщательно выстукивал особым тюремным кодом (который был сложнее азбуки Морзе) длинные учтивые фразы. Теперь его сын перестуками обсуждал с товарищами тактику поведения на допросах. Но толку от этих обсуждений было мало. Следователи легко умели заставить нервных и неопытных в тюремном ремесле интеллигентов играть по своим правилам.

Александр Туфанов. Фотография из следственного дела, 1931 г.

На первом допросе Даниил Иванович, спрошенный о политических взглядах, откровенно заявил:

> Я человек политически немыслящий, но по вопросу, близкому мне, вопросу о литературе, заявляю, что я не согласен с политикой Советской власти в области литературы, и <нрзб> желаю, в противовес существующим на сей счет правительственным мероприятиям, свободы печати как для своего творчества, так и для литературного творчества близких мне по духу литераторов, составляющих вместе со мной единую литературную группу.

Язык не хармсовский, но мысли, безусловно, хармсовские. Можно, конечно, задаться вопросом о том, зачем было на первом же допросе вредить себе, признаваясь в “несогласии с политикой Советской власти”. Но Даниил Иванович пока сказал явно меньше, чем от него ожидали.

Протокол второго допроса, подписанный Хармсом неделю спустя, не несет никаких следов его собственного стиля и собственных мыслей. Хармс подписал то, чего требовали от него Бузников и Коган. Следователь-критик явно сам и написал весь

текст от начала до конца.

Литейный проспект, дом 4. Здесь находилось Управление ОГПУ-НКВД (“Большой дом”). Фотография М. Захаренковой, июнь 2008 г.

Становясь на путь искреннего признания, показываю, что являлся идеологом антисоветской группы литераторов, в основном работающих в области детской литературы, куда помимо меня входили А. Введенский, Бахтерев, Разумовский, Владимиров (умер), а несколько ранее Заболоцкий и К. Вагинов. Творчество нашей группы распалось на две части. Это, во-первых, были заумные, по существу контрреволюционные, стихи, предназначенные нами для взрослых, которые, в силу своих содержания и направленности, не могли быть отпечатаны в современных советских условиях и которые мы распространяли в антисоветски настроенной интеллигенции, с которой мы и связаны общностью политических убеждений. Распространение этой вышеотмеченной части нашего творчества шло путем размножения наших литературных произведений на машинке, раздачи этих произведений в списках, через громкое чтение их в различных антисоветских салонах, в частности на квартире у П.П. Калашникова, человека

монархически настроенного, к которому собирались систематически антисоветски настроенные лица. Кроме того, мы выступали с нашими произведениями для взрослых и перед широкими аудиториями, напр. в Доме печати и в Университете, где в последний раз аудитория, состоящая из студентов, реагировала на наше выступление чрезвычайно бурно, требуя отправки нас в Соловки и называя нас контрреволюционерами. Вторая часть нашего творчества относится к области детской литературы. Свои детские произведения мы считали, в отличие от вещей, предназначаемых для взрослых, не настоящими, работа над которыми преследует задачу получения материальных средств к существованию. В силу своих политических убеждений и литературной платформы мы сознательно привносили в область детской литературы политически враждебные современности идеи, вредили делу советского воспитания подрастающего поколения. Наша заумь, противопоставляемая материалистическим установкам советской художественной литературы, целиком базирующаяся на мистико-идеалистической философии, является контрреволюционной в современных условиях.

Признаю, что, находясь во главе упомянутой выше группы детских литераторов, я творил антисоветское дело. В дальнейших своих показаниях я детализирую и расширяю данный протокол.

В этом тексте, собственно говоря, сосредоточена базовая концепция “дела”, как оно виделось следствию к 18 декабря. Обращает на себя внимание следующая деталь: список обэриутов неполон. Отсутствуют два имени – Минц и Левин. Причем если отсутствие первого можно объяснить случайностью, то в случае Левина это объяснение не годится: ведь “конкретизировать” показания предполагалось таким образом, чтобы захватить как можно больше имен, связанных с детской редакцией Госиздата. Думается, Дойвбера Левина решили оставить в покое по двум причинам: во-первых, в статье Серебрянникова он был отнесен к “успешно перестраивающимся”. Во-вторых (и, думается, это главная причина), “перестроившийся” Левин стал писателем еврейской темы. В 1952 году одно это могло бы ему стоить жизни, но в 1931 году, в свете тогдашней национальной политики, послужило, напротив, охранной грамотой.

Что же произошло между 11 и 18 декабря и почему Хармс согласился подписать текст, который мог быть для него, и не

только для него, роковым?

В эти дни допрашивали других арестованных. Особенно охотно “сотрудничал со следствием” Введенский. Уже первый его допрос, состоявшийся 12 декабря, так обрадовал Бузникова и Когана, что в течение недели Александр Иванович был вызван ими еще дважды.

Введенский не только называл имена гостей Калашникова, он пересказывал детали их разговоров.

> Одно из таких собраний с литературным чтением происходило в конце сентября мес. на квартире Калашникова, и на этом сборище присутствовали Хармс, я, Глебова, Порэт, Браудо Ал-р Моисеевич, писатель-прозаик Конст. Вагинов и сам Калашников. В этот день я читал свою контрреволюционную поэму “Кругом возможно бог”.
>
> К. Вагинов читал стихи “Негр” и др. И Хармс прочел некоторые свои стихи. Вокруг прочитанного развернулась беседа, причем К. Вагинов выразил желанье, чтобы моя поэма была бы отпечатана хотя бы в незначительном количестве экземпляров…

Дом предварительного заключения (Шпалерная ул., 25). Фотография М. Захаренковой, июнь 2008 г.

Для историков литературы это свидетельство важно и полезно, но лучше бы оно попало в их руки, минуя следователей

Бузникова и Когана. Разумеется, в том тексте показаний, который Введенский согласился подписать, трудно отделить достоверные свидетельства от фантазий Бузникова, отражающих его культурный уровень и жизненные представления. Трудно поверить, скажем, что кредо самого Введенского выражалось словами “бог, царь и религия” и что Хармс называл себя “принципиальным сторонником и приверженцем старого строя”. Вообще в интерпретации следователей обэриуты оказываются похожими на “старорежимных” персонажей “Комедии города Петербурга” – да чуть ли не на членов “Союза меча и орала”. Например, с Андрониковым они сблизились из-за слухов о его княжеском происхождении. Да Хармс, если верить документам следствия, и сам по материнской линии происходил из “придворной знати”! Несомненно, Введенский хорошо знал, кто из предков его друга служил при дворе и в каком качестве, но согласился подыграть следователю, подписавшись под информацией, соответствующей бузниковской картине мира.

Александр Иванович упомянул и о “сборищах”, происходивших на квартире художницы Елены Васильевны Сафоновой; три их участника – Сафонова, Борис Эрбштейн и Соломон Гершов – были через несколько месяцев арестованы и – так получилось! – оказались в ссылке вместе с Хармсом и Введенским. Сами они, правда, обвиняли в своей судьбе еще одного участника своей компании, соседа Сафоновой по квартире Ивана Александровича Лихачева, филолога, преподавателя Военно-медицинской академии, известного, между прочим, как прототип вагиновского Кости Ротикова. Лихачев, по словам Гершова, молча присутствовал при беседах, вытянувшись на диване и погрузившись в чтение. Но крамольные слова, произнесенные в его присутствии, стали каким-то образом известны следствию.

И.А. Лихачев, впоследствии долгие годы отсидевший, в 1960-е годы, после реабилитации, вел студию переводчиков и пользовался большой любовью свободомыслящей молодежи. Он был одним из тех, кто доносил до новых поколений традиции и дух Серебряного века. Подозрения Гершова – подчеркнем это особо! – ничем на данный момент не подтверждены. Но, к сожалению, обойти их молчанием нельзя. Человеческие судьбы в ту эпоху складывались драматично и парадоксально. И, пока архивы в этой части полностью закрыты, остается почва для самых разных предположений – иногда, возможно, ошибочных и несправедливых. Заметим, что Павел Лукницкий, прототип Миши Котикова в том же романе, уклониться от сотрудничества с ОГПУ не смог.

Однако главное, в чем нуждалось следствие и что оно получило от Введенского, – это был “компромат” на Маршака и Олейникова.

> В детский отдел Ленотгиз’а наша группа, о которой я показывал в предыдущих протоколах, пришла в 1928-м году. Идейное и художественное руководство в отделе принадлежало С.Я. Маршаку – известному детскому писателю, для которого до последнего времени характерна была так назыв. аполитичность в творчестве. К Маршаку мы пришли с нашими вещами для взрослых, которые мы называли настоящими своими произведениями, – в противовес детским книжкам, считающимся нами как ненастоящие, написанными для получения материальных средств к существованию. Наше творчество в целом было одобрено Маршаком, и он предложил нам работать в детском отделе. Большинство вещей, вышедших из-под пера нашей группы и вышедших в Ленотгизе по разряду детской книги, которые в предыдущем своем протоколе я определил как политически враждебные современности, прошли через тщательную формальную редакцию Маршака. Все наши заумные детские книжки, которые находились в глубочайшем противоречии с задачами советского воспитания подрастающего поколения, целиком одобрялись и поддерживались Маршаком. Напротив, когда в самое последнее время я лично попытался выступить с подлинно советской тематикой, я встретил отпор со стороны Маршака. По поводу моей книжки “Густав Мейер”, написанной ко дню МЮДа, Маршак в личном разговоре со мной высказался весьма отрицательно и предложил, придравшись к якобы имеющимся формальным недостаткам книжки, кардинально переделать ее, что вызвало во мне такую реакцию, что я было совсем отказался от этой своей книжки, если бы не безоговорочное признание ее зав. детским сектором Мол. гв. Тисиным, после чего Маршак в очень неловкой форме пытался выкрутиться перед руководством…

Этот пункт обвинения, правда, использовать против Маршака было затруднительно, так как именно “Письмо Густава Мейера” было подвергнуто разносу в “Смене”. Однако сам факт активной поддержки им “заумников”, одобрения и редактирования их контрреволюционных произведений был зафиксирован и мог

быть пущен в дело. Относительно Олейникова Введенский показал, что тот “проявлял повышенный интерес к Троцкому, и в нашей группе много говорилось о странном поведении Олейникова на семинаре по диамату в Комакадемии, где Олейников задавал вопросы мистико-идеалистического свойства”. На позднейших допросах эта тема развивалась:

> Делясь с Хармсом впечатлениями об одном из докладов одного из руководителей семинара по диалектическому материализму, Олейников зло иронизировал над этим докладом, говоря, что с точки зрения сталинской философии понятие “пространства” приравнивается к жилплощади, а понятие “времени” к повышению производительности труда через соцсоревнование и ударничество.

Главное же, что Олейников благожелательно относился

> к заумным контрреволюционным произведениям нашим для взрослых. Он собирал эти наши произведения, тщательно хранил их у себя на квартире. В беседах с нами он неоднократно подчеркивал всю важность этой стороны нашего творчества, одобряя наше стремление к культивированию и распространению контрреволюционной зауми. Льстя нашему авторскому самолюбию, он хвалил наши заумные стихи, находя в них большую художественность. Все это, а также и то, что в беседах с членами нашей группы Олейников выявлял себя как человека оппозиционно настроенного к существующему партийному и советскому режиму, убеждало нас в том, что Олейникова нам не следует ни пугаться и ни стесняться, несмотря на его партийную принадлежность.

Интересно, что Олейников фигурирует пока в основном как издательский работник с партбилетом, покровительствующий (вместе с Маршаком) обэриутам, а не как поэт. Собственно литературная известность, пусть в узком кругу, пришла к нему лишь через несколько лет – хотя именно его “Карася” цитировал Асеев как пример ущербной обэриутской эстетики.

По свидетельству Бахтерева, Коган пообещал каждому из обэриутов, что если он подпишет документ с признанием, то “получит минимально”. Прием старый как мир, но в определенной ситуации действенный. Но просто признаний было мало. Даже развернутые показания, изобличающие

вредительскую деятельность в детском секторе Госиздата, – это было еще не все, в чем нуждалось следствие. Надо было как-то связать “заумную” поэзию обэриутов, их идеологически порочные детские произведения и те контрреволюционные разговоры, которые велись в доме Калашникова. Бузников чувствовал, что эта задача превышает его собственную литературоведческую квалификацию. Удивительная особенность сталинской эпохи – в том числе и раннего, “вегетарианского” ее этапа – заключалась в том, что арестованный должен был самостоятельно участвовать в фабрикации своего дела. Зачастую у людей разыгрывалось вдохновение, и они от души принимали участие в спектакле, заканчивавшемся их гибелью. В случае “дела детской редакции” первым включился в эту игру Введенский, вторым – Андроников, третьим – Хармс.

В отношении зауми (и просто в отношении герметичных, “невнятных” стихов) у советской юстиции (и у официально-погромной критики) в 1930–1940-е годы существовало два подхода. Первый заключался в том, что всякая заумь или невнятица – прямая шифровка, направленная неведомому контрреволюционному адресату. В ходе дела 1931 года этот примитивный прием был применен при расшифровке стихов Туфанова. Может быть, старый заумник недостаточно “помогал” следователю, а может быть, некоторые из его стихотворений и впрямь имели политический подтекст, и Туфанов попросту честно в этом признался. Во всяком случае, его литературная биография и склад личности этого исключить не позволяют. Туфанов признал, что в поэме “Ушкуйники”,

> под дружиною “новгородских ушкуйников” понимается мною Белая армия, а под Москвой XV века – Красная Москва, Москва Ленина и большевиков. В этой своей поэме я пишу: “Погляжу с коня на паздерник как пазгает в подзыбице Русь”. В точном смысловом содержании это значит, что “я, враг Советской власти, наблюдаю и радуюсь, как полыхает в подполье пожарище контрреволюции”.

Туфанова, собственно, арестовали как явно “бывшего”, несоветского человека, практически белогвардейца, связь с которым можно дополнительно инкриминировать обэриутам. Само название его “контрреволюционной организации”, “Орден *DSO*” звучало внушительно и могло произвести впечатление на обывателя; а что “орден” был вполне легальной, публично презентующей себя, чисто литературной группой – никто уже и не помнил. При этом следователь в протоколах лукаво сдвинул

время существования Ордена – с 1924–1925-х на 1928–1929 годы.

Введенский оказался гораздо более тонок. Он в самом деле объяснял следователю-филологу некоторые важные стороны обэриутской поэтики, охотно соглашаясь с их заданной политической интерпретацией.

> …Придерживаясь заумной формы поэтического творчества, мы считали, что хотя она противоречит смысловому значению слова и внешне непонятна, но она обладает большой силой воздействия на читателя, достигаемой определенным сочетанием слов, примерно так же, как огромной силой воздействия обладает православная церковь, молитвы и каноны которой написаны на церковнославянском языке, абсолютно непонятном современной массе молящихся. Эта аналогия, возникшая в наших групповых беседах по поводу зауми, отнюдь не случайна: и церковные службы, происходящие на церковнославянском языке, и наша заумь имеют одинаковую цель: отвлечение определенно настроенных кругов от конкретной советской действительности, от современного строительства, дают им возможность замкнуться на своих враждебных современному строю позициях. Необходимо заявить, однако, что большинство наших заумных произведений содержат в себе ведущие идеи или темы. Если, например, мое заумное контрреволюционное произведение “Птицы” в отдельных своих строчках – хотя бы в таких: “и все ж бегущего орла не удалось нам уследить из пушек темного жерла ворон свободных колотить” – при всей их внешней монархической определенности нельзя переложить понятным языком, то о ведущей идее этого стихотворения следует сказать прямо: эта ведущая идея заключена в оплакивании прошлого строя, и в таком выражении она и понималась окружающими. То же самое следует сказать о произведении Хармса “Землю, говорят, изобрели конюхи” и о других его произведениях.
>
> <…>
>
> Больше того, поэтическая форма зауми абсолютно не допускает введения в нее современных художественных образов. Например, слово “ударничество”, или слово “соцсоревнование”, или еще какой-либо советский образ абсолютно нетерпимы в заумном стихотворении. Эти слова диссонируют поэтической зауми, они глубоко

враждебны зауми. Напротив, художественные образы и прямые понятия старого строя весьма близки и созвучны форме поэтической зауми. В подавляющем большинстве наших заумных поэтических и прозаических произведений (“Кругом возможно бог”, “Птицы”, “Месть”, “Убийцы – вы дураки” и пр. пр.) сплошь и рядом встречаются слова, оставшиеся теперь лишь в белоэмигрантском обиходе и чрезвычайно чуждые современности, Это – “генерал”, “полковник”, “князь”, “бог”, “монастырь”, “казаки”, “рай” и т. д. и т. п. Таким образом, ведущие идеи наших заумных произведений, обычно идущие от наших политических настроений, которые были одно время прямо монархическими, облекаясь различными художественными образами и словами, взятыми нами из лексикона старого режима, принимали непосредственно контрреволюционный, антисоветский характер”.

“Монархизм” Введенский тоже мотивирует нетривиально:

> …Верховного правителя страны – монарха мы рассматривали как некую мистическую фигуру, буквально как помазанника божия. Царь мог быть дураком, человеком, не способным управлять страной, монархия, т. е. единодержавное правление этого человека, не приспособленного к власти, могла быть бессмысленной для страны, но именно это и привлекало нас к монархическому образу правления страной, поскольку здесь в наиболее яркой форме выражена созвучная нашему творческому интеллекту мистическая сущность власти. В наших заумных, бессмысленных произведениях мы ведь тоже искали высший, мистический смысл, складывающийся из кажущегося внешне бессмысленного сочетания слов.

Впрочем, он тут же приводит другую мотивировку – житейскую:

> Если в начале нэпа, в период сравнительной идеологической свободы мы имели возможность организовать публичные выступления наших заумных поэтов, могли рассчитывать на издание наших произведений… то по мере того как диктатура становилась все крепче, упорнее, увереннее – в том числе и на идеологическом секторе, – эти надежды

> становились все более слабыми, превращались в дым, как мы хорошо это понимали. Мы брали тогда исторические примеры, анализировали старый монархический строй, вспоминали, что самые отъявленные футуристы имели возможность выступать перед широкими аудиториями, пользовались успехом, печатались и приходили к выводу, что и мы в условиях старого строя, поелику мы отнюдь не стали бы выступать с пропагандой революционных идей, абсолютно чуждых нам, могли свободно творить и делиться своим творчеством с широкой читающей публикой.

Таким образом, симпатии к “старому строю” отчасти были связаны с гонениями на радикальное искусство. Однако в подобной же ситуации ни у Филонова, ни у Малевича, ни у Мейерхольда, например, таких симпатий возникнуть никак не могло. Это было индивидуальной позицией Хармса и Введенского – единственных крупных представителей русского авангарда, у которых “левизна” эстетическая не сочеталась с “левизной” политической.

Введенский приводит и важное (и притом правдоподобное) свидетельство о том, как именно строились его с Хармсом беседы о политике (позволим себе предположить – не слишком частые):

> Как человека, который принципиально не читает газет, я информировал Хармса о политических событиях. Моя информация и хармсовское восприятие этой информации носили глубоко антисоветский характер, причем основным лейтмотивом наших политических бесед была наша обреченность в современных советских условиях…

Несомненно, Хармс и Введенский воспринимали окружающий мир именно так. Однако характерно, что и Заболоцкий – человек “красный”, отнюдь не ощущавший себя обреченным, поминается в том же контексте:

> Поэма “Торжество земледелия” Заболоцкого носит, например, понятный характер, и ведущая его идея, четко и ясно выраженная, апологетирует деревню и кулачество. В моей последней поэме “Кругом возможно бог” имеются также совершенно ясные места, вроде: “и князь, и граф, и комиссар, и красной армии боец”, или “глуп, как Карл Маркс”, носят совершенно четкий антисоветский характер.

В одном абзаце соединены теза и антитеза: гротескная утопия Заболоцкого и мрачная мистерия Введенского. Было ли это инициативой Введенского? Возможно, он объединил две поэмы, чтобы продемонстрировать переход к новому, более ясному слогу, к отказу от зауми, а следователь приделал политические ярлыки? Но любопытно, что поэма Заболоцкого именуется “кулацкой” за год до публикации ее полного текста. Создается впечатление, что черновики рецензий-доносов, появившихся в 1933–1934 годах и сыгравших в жизни Заболоцкого роковую роль, были приготовлены заранее.

Как, однако, связаны между собой монархические убеждения, приписанные, справедливо или нет, Хармсу и Введенскому, и их произведения для детей? Трудно сказать, кто кому “помогал” – следователь подследственным или наоборот, но список порочных произведений, с обоснованием их порочности, был составлен очень быстро:

> Книжка Хармса “Иван Иванович Самовар” является политически враждебной современному строю потому, что она прививает ребенку мещанские идеалы старого режима и, кроме того, содержит в себе элементы мистики, поскольку самовар фетишируется. Также следует особо остановиться на книжке “Во-первых и во-вторых”, которая привносит в детскую литературу очевидные элементы бессмыслицы, прививающие ребенку буржуазную идеологию. Книжки Хармса “Миллион” и “Заготовки на зиму”, относящиеся к самому последнему периоду деятельности группы, сознательно, в политических целях подменяют общественно-политическую тематику тематикой внешне аполитичной, естествоведческого характера. Пионеров и пионерского движения, на тему о которых Хармс должен был писать, в этих книгах нет, и, таким образом, читатель, который по плану издательства должен был узнать об этих моментах советской жизни, знакомится в первом случае (книжка “Миллион”) всего лишь с четырьмя правилами арифметики, а во втором (книжка “Заготовки на зиму”) вообще не получает никаких полезных сведений. Необходимо отметить здесь же, что в “Миллионе” пионеры могут быть заменены бойскаутами, например, без всякой существенной переделки книжки.
>
> Мое произведение для детей “Авдей-Ротозей” содержит в себе очевидное восхваление зажиточного кулака, как единственно трудолюбивого и общественно-

> полезного крестьянина, беднота же представлена мною в карикатурном образе “Авдея-Ротозея”, лежебоки и пьяницы.

Это подписал Введенский 26 декабря. Текст показаний самого Хармса, данных месяцем позже, совпадает с выше процитированным почти текстуально. Похоже поэтому, что авторство списка и претензий к нему принадлежит не Хармсу и не Введенскому. Особенность показаний Хармса в том, что он четко отделяет “заумные” “детские” произведения, которыми обэриуты гордились и которые нераздельно связаны с их основным творчеством, от “халтурных” (таких, как “Озорная пробка” и “Театр”, или стихотворения, написанные для журнала “Октябрята”). Кроме того, в списке заумных, “антисоветских” произведений появляется рассказ “Как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил”. Согласно легенде (не подкрепленной, впрочем, документальными материалами следствия) Хармсу инкриминировали в связи с этим рассказом призыв к бегству за границу, обращенный к советским детям.

Стоит отметить: в ходе всех допросов Даниил Иванович не назвал ни одного имени, которое раньше не называли бы другие, прежде всего Введенский, не сообщил ни одной новой детали. При этом он сумел избежать прямой конфронтации со следователями, прибегая, видимо, к помощи своего знаменитого обаяния и к парадоксам, ставившим собеседников в тупик. Загадочный “Сашка” рассказывал Власову, что

> у дверей был половичок… Даниил Иванович сказал, что беседе мешает половичок… Мешает потому, что следователя силуэт проецируется не на гладкую дверь, а на половичок, и это-де следователя отвлекает и мешает сосредоточиться… Даниил Иванович сказал: “Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы, пока вы не создадите для себя нормальной обстановки для работы”[275].

У Андроникова и Бахтерева следователи выпытывали дополнительные подробности о работниках детского сектора. Андроников рассказал о тесной дружбе Шварца и Заболоцкого с Хармсом и Введенском, о совместном посещении ими выставок Нико Пиросмани и Филонова, о том, что вся эта компания (вместе с Олейниковым) скопом уходила в “Культурную пивную” (“под предлогом обеденного перерыва”), и о том, что стихи Хармса и Введенского оплачивались по высшей ставке – 2 рубля за строку. (Вероятно, все это каким-то непостижимым образом могло

входить в состав преступления.) При этом, довольно подробно изучив творчество двух главных действующих лиц, следователи плохо знали другие детали работы редакции. Бахтерева удивило, что ему задавали вопросы по поводу одних его детских книг, даже не вспоминая про другие (вышедшие под псевдонимом), что ни разу не упомянули про его соавтора Разумовского.

Если Хармсу была отведена роль главного обвиняемого, то Введенский, похоже, претендовал на несколько иной статус. Ни один крупный "вредительский" процесс тех лет не обходился без фигуры раскаявшегося, вставшего на путь исправления, признавшего советскую идеологию бывшего вредителя, изобличающего себя и своих товарищей. Видимо, ему намекнули на такую возможность, и Введенский не устоял перед соблазном еще облегчить свою участь – за счет товарищей. Текст, составленный между 10 и 17 января, предназначался именно для *публичного* процесса и, собственно, служит доказательством того, что процесс такой готовился. Написан он собственной рукой Введенского и несет отпечаток его индивидуального стиля:

> Продолжая свои показания о моих политических убеждениях, я хочу остановиться на той перестройке и переломе в моих взглядах, которые наступили за последние два года. Должен сразу же сказать, что, несмотря на такой довольно продолжительный срок, я в момент ареста находился еще только в самом начале того большого пути, который мне предстояло проделать, чтобы стать настоящим, подлинным борцом за социализм на идеологическом, в частности литературном, фронте.
>
> Насколько мне кажется, причин этой перестройки две: одна – это процессы внутри меня, внутри моего творчества и философских взглядов, и другая – революция и советская действительность, которые воздействовали на меня и не могли не воздействовать, сколько бы я от них ни прятался.
>
> <…>
>
> Стихи же мои, и мои ощущения, и мои взгляды уткнулись в смерть. С этого момента началась у меня критическая переоценка самого себя и своего творчества. Проходила она очень нелегко. Я понял, что дальше по этому пути идти некуда, что тут дорога либо в сумасшедший дом, либо в самоубийство, либо, наконец, в отчаянную и безнадежную борьбу с Сов. властью. Характерно, что когда я последнее время писал свои

стихи, то они у самого меня вызывали чувство отвращения и даже страха. Я психически заболел. Но я понял, что всей этой мистике, всему этому эгоцентризму грош цена, что это ведет к полному психическому маразму.

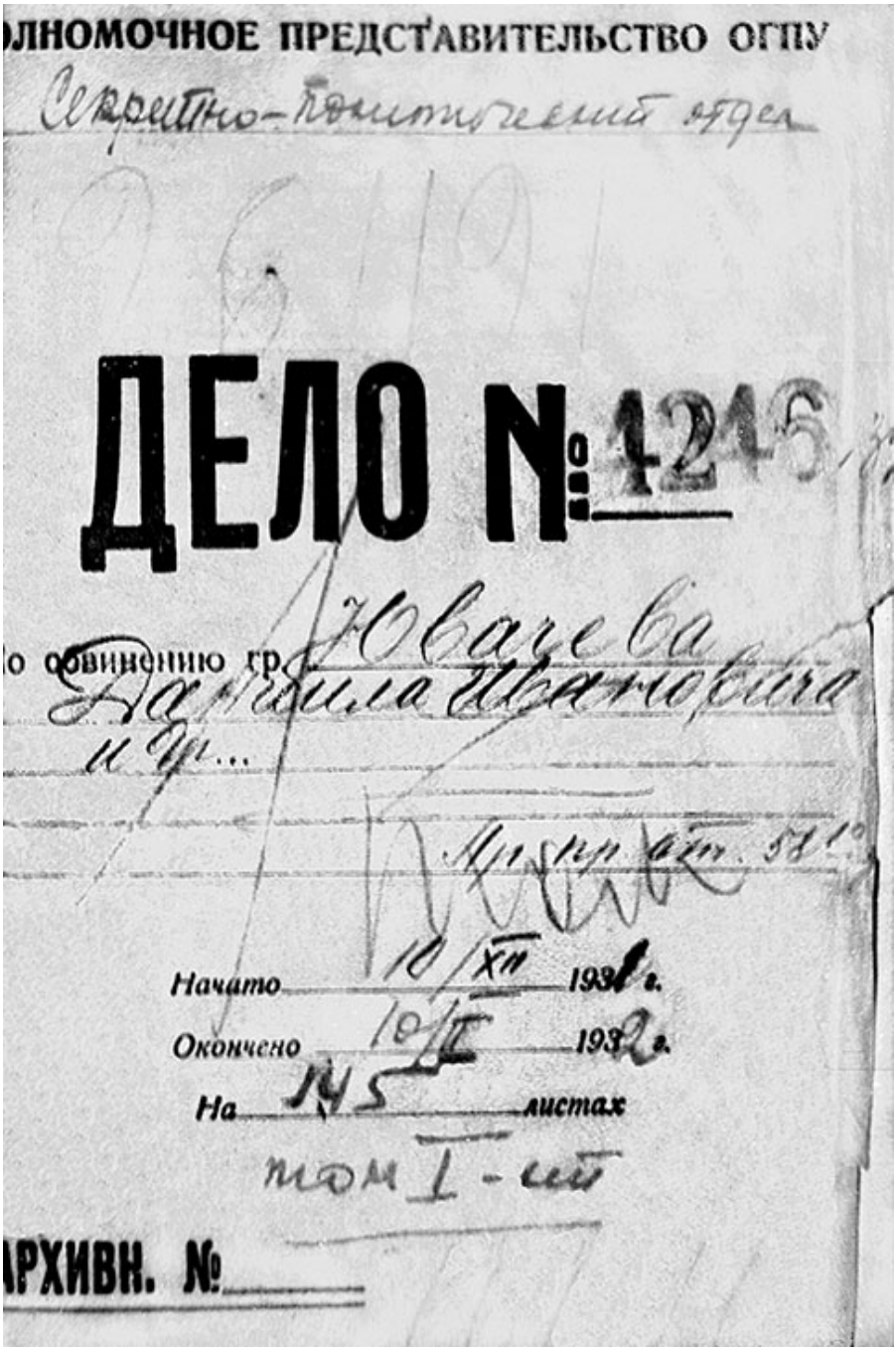
С другой стороны, надо сказать, что, сколько бы я ни прятался от окружающей меня сов. действительности, из этого ничего не выходило. Я помню свои жалобы Хармсу на то, что у нас воздух советский, что я отравляюсь этим воздухом. И к счастью для меня, я наконец этим “воздухом” отравился. Довольно крупную роль тут сыграла и моя работа в детской литературе, правда, только за самое последнее время, потому что в начале моего прихода в детскую литературу о ней можно было сказать, что это самое аполитичное и самое оторванное место от борьбы и строительства новой жизни. Там дышалось “легче”, чем где бы то ни было, там было царство “чистого, свободного, аполитичного” искусства. Но начиная, если не ошибаюсь, с конца 1929 или начала 1930 г. ветер революции начал проникать и туда. Я не скрою, что первым моим побуждением для писания политических советских книг являлся вопрос материальный. Но как бы то ни было, а работа над такими вещами, а в связи с этим и новые методы работы… не прошли даром. Я стал думать над своим местом в жизни.

<…>

Я твёрдо и бесповоротно заявляю, что мое место здесь, по эту сторону, на стороне рабочего класса, строящего социализм.

<…>

Надо сказать, что во мне еще много осталось пережитков и мистики и формализма, но я считаю, что твердой и решительной борьбой с ними и активной работой над переделкой своего миросозерцания я сумею наконец стать в ряды подлинных бойцов на идеологическо-литературном фронте.



Обложка следственного дела Даниила Хармса, 10 декабря 1931-го – 10 февраля 1932-го.

Знакомство с творчеством Введенского до и после 1932 года, с его частными высказываниями и письмами не позволяет допустить мысли о том, что этот текст хотя бы отчасти, хотя бы в

минимальной степени искренен. Александр Иванович Введенский был великим поэтом, глубоким и сложным мыслителем. Но при этом он был фатом, игроком, человеком без твердых принципов, и его житейский эгоизм порою переходил пределы допустимого. В 1932 году он был готов к публичным поступкам, которые не прибавили бы у окружающих к нему уважения, – лишь бы спастись. Эти поступки едва ли спасли бы его; впрочем, возможности совершить их ему в конечном итоге так и не представилось.

5

Материалы для дальнейших “следственных действий” у Бузникова и Когана были, но ни Маршак, ни Олейников, ни Вагинов, ни Заболоцкий, ни Порет и Глебова, чьи имена звучали в показаниях, не были арестованы и привлечены к делу. Почему же?

Организация серьезного публичного процесса была делом государственной важности, и на местном уровне этот вопрос не решался. Видимо, этим и объяснялась “доброта” начальника Специального отдела. Он ждал указаний и инструкций, возможно – от самого Менжинского (который, в свою очередь, не принимал никаких решений такого рода без ведома Сталина) и очень не хотел ошибиться.

Между тем государственной политике в отношении не только детской литературы, но и литературы вообще предстояли важные изменения. Арест Вагинова и Заболоцкого и публичный суд над ними неминуемо коснулся бы и их приятеля и покровителя Тихонова, и всего “попутнического” крыла ленинградской литературы. Но Сталин готов был отказаться от ставки на “пролетарских писателей”. Реформы 1933–1934 годов (роспуск РАППа, создание Союза писателей), приравнявшие бывших “попутчиков” к “пролетарским писателям”, уже намечались. При этом некоторые из “попутчиков”, тот же Тихонов, оказались на самой вершине литературной иерархии.

Видимо, сигнала ждали до конца января 1932 года. Когда его не последовало (или пришел прямой отказ), стало понятно, что все показания против Маршака и сотрудников детской редакции, которые следователи так старательно добывали, пропадут втуне. Но что-то делать с арестованными надо было. И вот 31 января составляется “Обвинительное заключение”, в тот же день утвержденное представителем ОГПУ в Ленинградском военном округе И. Запорожцем:

ПП ОГПУ в ЛВО ликвидирована антисоветская группа литераторов в детском секторе издательства “Молодая гвардия” (б. детский отдел ЛЕНОТГИЗ’а).

Группа организовалась в 1926 г. на основе к<онтр>р<еволюционных> монархических убеждений ее участников и вступила на путь активной к. рев. деятельности.

Группа первоначально оформилась в нелегальный орден “ДСО” или “Самовщину” и а<нти>с<оветская>[276] деятельность ее ограничивалась составом “Ордена”.

В 1928 году из состава Ордена выделилась группа литераторов, активизировавшая свою а/с. деятельность путем использования советской литературы и к. р. деятельности среди гуманитарной интеллигенции (преимущественно литераторов и художников).

Антисоветская деятельность группы заключалась:

1. В регулярных нелегальных собраниях и обсуждении текущих политических проблем, вопросов идеологической борьбы с Советской властью, а/с. произведений участников группы.

2. В вербовке новых членов в антисоветскую группу.

3. В политической борьбе с Советской властью методами литературного творчества:

а) путем протаскивания в печать литературных произведений для детей, содержащих к. р. идеи и установки;

б) путем создания и нелегального распространения не предназначенных для печати литературных произведений для взрослых;

в) путем использования “заумного” творчества для маскировки и зашифровывания контрреволюционного содержания литературного творчества группы.

4. В организованной деятельности по захвату влияния на детский сектор издательства “Молодая гвардия”…

Конкретно Хармс обвинялся в том, что он, “будучи врагом советской власти и монархистом по убеждению”[277]:

а) являлся идеологом и организатором антисоветской группы литераторов;

б) сочинял и протаскивал в детскую литературу политически враждебные идеи и установки, используя для этих целей детский сектор ЛЕНОТГИЗ’а;

б) культивировал и распространял особую форму “зауми” как способ зашифровки антисоветской агитации;

в) сочинял и нелегально распространял антисоветские литературные произведения…

Все же следователи предпочитали видеть в зауми “шифровку”. Разговоры про “литургию”, про “ведущие темы” были для них слишком сложны.

Те же самые обвинения, слово в слово, были предъявлены Введенскому. Туфанову, кроме “создания антисоветской организации” и распространения враждебных литературных произведений, поставили в вину то, что он является “корреспондентом белоэмигрантских газет”. Дело в том, что Туфанов разослал туда через посредников “Ушкуйников” – для рецензий. Рецензий никаких все равно не последовало, и зачем было Туфанову признаваться в этом очевидном, с советской точки зрения, криминале ОГПУ – непонятно. Калашникова обвиняли в том, что “предоставлял свою квартиру для собраний группы” и “предоставлял свою библиотеку, состоящую из оккультно-мистических и монархических старых изданий, в пользование антисоветски настроенным лицам”. Всех обвиняли по одной статье, роковой, мрачно-знаменитой в советской истории: 58–10 УК. И лишь Андроников, благодаря хлопотам своего отца, юриста Луарсаба Андроникашвили, лично знакомого с Кировым, был освобожден, а дело его прекращено.

Четырнадцатого марта обвинительное заключение было утверждено прокурором Ленинградской области, а 21 марта выездная сессия коллегии ОГПУ вынесла приговоры. Такова была парадоксальная юстиция сталинской поры. Обвинитель, следователь и судья пребывали в едином лице, но на неком этапе необходимо было утверждение обвинительного заключения сторонним ведомством – прокуратурой. Во главе коллегии, выносившей приговор, стоял В.Р. Домбровский – муж красавицы Груни, госиздатской Генриетты Давыдовны, которой посвящены известные стихи Олейникова.

Если статья была одна, а обвинения похожие, то приговоры оказались различны. Больше всего получил Туфанов – пять лет концлагеря. Судя по всему, он пал жертвой собственной неуместной искренности (или хвастливости). По три года лагеря досталось Хармсу и Калашникову. Вороничу – три года ссылки в Казахстан. О дальнейшей судьбе Калашникова и Воронича ничего не известно. Туфанов в 1934-м досрочно вышел на свободу, поселился (как многие бывшие заключенные и ссыльные ленинградцы) в Новгороде, работал лаборантом в пединституте,

писал диссертацию. И все-таки конец его был драматичен: он умер от истощения в эвакуации, в Чебоксарах, в 1943 году.

Введенского за помощь следствию наградили мягким наказанием:

> из-под стражи ОСВОБОДИТЬ, лишив права проживания в Московской, Ленинградской обл., Харьковском, Киевском, Одесском окр., СКК, Дагестане, Казани, Чите, Иркутске, Хабаровске, Ташкенте, Тифлисе, Омске, Омском р-не, на Урале и погранокругах сроком на ТРИ года.

Как обычно в советских “минусах”, понять логику этого запрета трудно. Почему, например, опальному ленинградцу нельзя было жить в Омске, но можно в Томске?

Введенский выбрал в качестве места жительства Курск. Туда же вскоре приехали также высланные из Ленинграда Сафонова, Гершов и Эрбштейн. Хармс оставался в тюрьме.

Тем временем в дело включился Иван Павлович. По свидетельству Грицыной, он отправился в Москву, к Николаю Морозову. Когда-то именно в тюрьме началась дружба двух толкователей Апокалипсиса. Теперь в тюрьму попал сын одного из них. Морозов считался одним из наиболее заслуженных ветеранов революционного движения и пользовался известным влиянием. Его ходатайство помогло. Видимо, уже по возвращении из Москвы, 9 апреля, Иван Павлович получает свидание с сыном.

Вот свидетельство из дневника Ювачева-старшего:

> Мне он показался “библейским отроком” (27 лет!) Исааком или Иосифом Прекрасным. Тоненький, щупленький. А за ним пышно одетый во френч, здоровый, полный, большой Коган. Нас оставили вдвоем, и мы сидели до 3 S. Нам принесли чаю, булок, папиросы. Я подробно рассказывал, о чем он спрашивал. Больше говорили, что пить, что есть, во что одеться и куда вышлют. От него пошел к Гартману[278]. Он повторил, что и Даня – его на 3 года в ссылку. Но это не обязательно. Полагают смягчить[279].

Уже – не концлагерь, а ссылка. И “полагают смягчить”.
На следующий день Даниила навещает тетка, Наташа.

> Ей дали один час в присутствии агента ГПУ. У нее другое впечатление от Дани: ему в тюрьме очень худо, он бледен, слаб, с таким же нервным подергиваньем на

лице, как прежде[280].

Когда прежде? О нервных тиках Хармса писали мемуаристы конца тридцатых, но, вероятно, такие тики периодически бывали и прежде, в юности.

Очень ли худо было Хармсу в тюрьме? Сам он впоследствии вспоминал об этом времени почти с умилением.

> Я был наиболее счастлив, когда у меня отняли перо и бумагу и запретили что-либо делать. У меня не было тревоги, что я не делаю чего-то по своей вине. Совесть была спокойна, и я был счастлив.

Он не мог работать, но и не чувствовал, видимо, в этом внутренней необходимости. По складу он был скорее клаустрофилом, чем клаустрофобом. Четыре стены и зависимость от тюремного режима успокаивали его. Какое-то время он сидел в “двойнике”, камере на двоих, с неким Александром Петровичем. Читать ему разрешали не только “единственную газету”, но и книги. После освобождения он в записной книжке перечисляет темы своего разговора с Коганом. На первом месте стоит “Гёте”. Вообще-то у Даниила Ивановича с “добрым следователем” сложились неплохие личные отношения, они даже обменялись трубками. Но вряд ли они вели интеллектуальный разговор о Гёте. Скорее речь шла о книге, оставленной Хармсом в тюрьме.

Двадцать третьего мая заседание Коллегии ОГПУ выносит решение: “Хармса досрочно освободить, лишив права проживания в 12 пунктах и Уральской области на оставшийся срок”.

Минус двенадцать – это был уже сравнительно мягкий приговор. Мягче, чем у Введенского. Однако лишь через три недели, 17 июня, Хармс выходит на свободу. В заключении он провел полгода и еще неделю.

Выйдя на свободу, Хармс начинает светскую жизнь. Вечером того же дня он у Житкова, в следующие несколько дней посещает Заболоцкого, Олейникова и Шварца, у него гостит с ночевкой Левин; дважды он ездит в Царское (Детское) Село, к Наташе, один раз – на автомобиле.

Из Царского он успел написать письмо Липавским, которое можно считать одним из первых образцов зрелой хармсовской прозы. Вообще абсурдно-церемонные, местами смешные до упаду письма “Дорогой Тамаре Александровне”, а потом “дорогим Тамаре Александровне и Леониду Савельевичу” занимают особое место в переписке Хармса. Лучшие из них датируются непростым для писателя 1932 годом. Итак:

Дорогая Тамара Александровна и Леонид Савельевич,

спасибо Вам за Ваше чудесное письмо. Я перечитал его много раз и выучил наизусть. Меня можно разбудить ночью, и я сразу, без запинки, начну: “Здравствуйте, Даниил Иванович, мы очень без Вас соскрючились. Леня купил себе новые…” и т. д. и т. д. Я читал это письмо всем своим царскосельским знакомым. Всем оно очень нравится. Вчера ко мне пришел мой приятель Бальнис. Он хотел остаться у меня ночевать. Я прочел ему ваше письмо шесть раз. Он очень сильно улыбался, видно, что письмо ему понравилось, но подробного мнения он высказать не успел, ибо ушел, не оставшись ночевать. Сегодня я ходил к нему сам и прочел ему письмо еще раз, чтобы он освежил его в своей памяти. Потом я спросил Бальниса, каково его мнение. Но он выломал у стула ножку и при помощи этой ножки выгнал меня на улицу, да еще сказал, что если я еще раз явлюсь с этой паскудью, то свяжет мне руки и набьет рот грязью из помойной ямы. Это были, конечно, с его стороны грубые и неостроумные слова. Я, конечно, ушел и понял, что у него был, возможно, очень сильный насморк, и ему было не по себе. От Бальниса я пошел в Екатерининский парк и катался на лодке. На всем озере, кроме моей, плавало еще две-три лодки. Между прочим, в одной из лодок каталась очень красивая девушка. И совершенно одна. Я повернул лодку (кстати, при повороте надо грести осторожно, потому что весла могут выскочить из уключин) и поехал следом за красавицей. Мне казалось, что я похож на норвежца и от моей фигуры, в сером жилете и развевающемся галстуке, должны излучаться свежесть и здоровье и, как говорится, пахнуть морем. Но около Орловской колонны купались какие-то хулиганы, и когда я проезжал мимо, один из них хотел проплыть как раз поперек моего пути. Тогда другой крикнул: “Подожди, когда проплывет эта кривая и потная личность!” и показал на меня ногой. Мне было очень неприятно, потому что все это слышала красавица. А так как она плыла впереди меня, а в лодке, как известно, сидят затылком к направлению движения, то красавица не только слышала, но и видела, как хулиган показал на меня ногой. Я попробовал сделать вид, что это относится не ко мне, и стал, улыбаясь, смотреть по сторонам. Но вокруг не было ни одной лодки. Да тут еще хулиган

крикнул опять: “Ну, чего засмотрелся! Не тебе, что ли, говорят! Эй ты, насос в шляпе!”

Я принялся грести что есть мочи, но весла выскакивали из уключин, и лодка подвигалась медленно. Наконец, после больших усилий, я догнал красавицу, и мы познакомились. Ее звали Екатериной Павловной. Мы сдали ее лодку, и Екатерина Павловна пересела в мою. Она оказалась очень остроумной собеседницей. Я решил блеснуть остроумием моих знакомых, достал ваше письмо и принялся читать: “Здравствуйте, Даниил Иванович, мы очень без Вас соскрючились. Леня купил…” и т. д. Екатерина Павловна сказала, что если мы подъедем к берегу, то я что-то увижу. И я увидел, как Екатерина Павловна ушла, а из кустов вылез грязный мальчишка и сказал: “Дяденька, покатай на лодке”.

Сегодня вечером письмо пропало. Случилось это так: я стоял на балконе, читал ваше письмо и ел манную кашу. В это время тетушка позвала меня в комнаты помочь ей завести часы. Я закрыл письмом манную кашу и пошел в комнаты. Когда я вернулся обратно, то письмо впитало в себя всю манную кашу, и я съел его.

Погоды в Царском стоят хорошие: переменная облачность, ветры юго-западной четверти, возможен дождь.

Сегодня утром в наш сад приходил шарманщик и играл собачий вальс, а потом спер гамак и убежал.

Я прочел очень интересную книгу о том, как один молодой человек полюбил одну молодую особу, а эта молодая особа любила другого молодого человека, а этот молодой человек любил другую молодую особу, а эта молодая особа любила, опять-таки, другого молодого человека, который любил не ее, а другую молодую особу.

И вдруг эта молодая особа оступается в открытый люк и надламывает себе позвоночник. Но когда она уже совсем поправляется, она вдруг простужается и умирает. Тогда молодой человек, любящий ее, кончает с собой выстрелом из револьвера. Тогда молодая особа, любящая этого молодого человека, бросается под поезд. Тогда молодой человек, любящий эту молодую особу, залезает с горя на трамвайный столб и касается проводника, и умирает от электрического тока. Тогда молодая особа, любящая этого молодого человека, наедается толченого стекла и умирает от раны в кишках. Тогда молодой человек, любящий эту молодую особу, бежит в Америку

и спивается до такой степени, что продает свой последний костюм и, за неимением костюма, он принужден лежать в постели и получает пролежни, и от пролежней умирает…

Немедленно написал он и Введенскому, сообщив ему, что хочет приехать в Курск.

Введенский отвечал:

> Здравствуй Даниил Иванович, откуда это ты взялся. Ты говорят, подлец, в тюрьме сидел. Да? Что ты говоришь? Говоришь, думаешь ко мне в Курск прокатиться, дело хорошее… Рад буду тебе страшно, завтра же начну подыскивать тебе комнату. Дело в том, что я зову сюда сейчас Нюрочку, если она приедет, хорошо бы вы сейчас вместе поехали, то надо будет найти тебе комнату, та, в которой живу я очень маленькая, да и кровати нет и хозяйка сердитая, авось что-нибудь придумаем. Может быть 2 комнаты сразу достанем. Одну для меня с Нюрочкой, другую для тебя… (21 *июня*)[281]

На следующий день Введенский пишет:

> Милый Даня, нам с тобой везет, вчера же вечером в день получения твоей телеграммы нашел две прекрасные комнаты. Одна поменьше для тебя, другая побольше для нас с Нюрочкой. Это прямо отдельная квартира. Окна выходят в замечательный сад. Платить 30 р. в месяц за две комнаты. Жду тебя с нетерпением.
>
> Как ты относишься к петухам, их тут много[282].

Друзья обменивались письмами почти ежедневно. Хармс не думал ставить Введенскому в вину не совсем достойное поведение того на допросах, а Александр Иванович не собирался оправдываться. Постепенно, впрочем, переписка, поначалу бытовая, приобретает черты обэриутского безумного юмора. На сообщение Хармса о дате приезда Введенский сообщает: “Сияю как лес!” Хармс осведомляется, значит ли это, что у Александра Ивановича болят ноги. “Это просто красивое образное выражение!” – обиженно отвечает Введенский и обещает при встрече показать Хармсу, как красиво он научился петь “тенором и контредансом” песню о Стеньке Разине и княжне. Если учесть, что Хармс был весьма музыкален, а Введенский – напротив, можно оценить привлекательность этого обещания.

Тринадцатого июля Хармс отправляется в Курск.

6

Город Курск, основанный в XI веке, упоминающийся в “Слове о полку Игореве” и во многих летописях, географически и исторически примыкал к той части Древней Руси, которая позднее стала называться Украиной. Но в конце XV века он был отвоеван у Великого княжества Литовского московским князем, и в результате куряне вошли в состав великорусского этноса. Средневековых памятников в Курске не сохранилось. Но несколько замечательных барочных церквей, построенных при Петре, Анне и Елизавете, и сегодня украшают город.

В момент, когда в городе оказались Хармс и Введенский, он был всего лишь уездным центром Воронежской области. Курская губерния, существовавшая с 1772 года, была ликвидирована в 1925-м, Курская область образована через десять лет. В 1935 году в Курске жило 102 000 человек, что почти вдвое превышало дореволюционное население. Но не забудем, что речь идет о местах, вплотную примыкающих к зоне, захваченной голодом 1932–1933 годов и связанной с ним миграциями. Так что за несколько месяцев до начала этой социальной катастрофы население Курска могло быть и меньше, чем несколько лет спустя.

Экономика города характеризуется в первой Большой советской энциклопедии фразой, напоминающей какие-нибудь обращенные к современности стишки из “Ежа”:

> Ремонтно-тракторный завод,
> Завод фруктовых вод…

Было также кожевенное, спиртоводочное производство – но еще никаких металлургических гигантов. Курскую аномалию открыл академик П.Б. Иноходцев, ученик Ломоносова, но серьезное ее исследование (группой во главе с И.М. Губкиным) в начале 1930-х годов только начиналось.

Хармс поселился вместе с Введенским и его женой на Первышевской улице, в доме 16. Нюра вскоре уехала, и друзья остались в своей “квартире” вдвоем. Введенский устроился на работу в местную газету, где иногда печатал статьи, призванные наглядно свидетельствовать о его успешной перековке (вот название одной из них, напечатанной 22 июня: “На заводе бригадному хозрасчету ноль внимания. Когда же “треугольник”

научится работать по-новому?”). Художники – Сафонова, Гершов и Эрбштейн – снимали комнату “у какой-то проститутки”; они устроились на работу в краеведческий музей, расположенный в одной из закрытых церквей. Гершов и Сафонова иногда ходили на вокзал – “просто смотреть на публику… Как приезжают. Как уезжают. Жизни-то никакой не было…”[283] Один раз на вокзале встретили ехавшего на юг Эраста Гарина.

Хармс – единственный – нигде не служил, а жил на деньги, присылавшиеся из Ленинграда родственниками.

С Введенским они, против ожидаемого, все больше отдалялись друг от друга. Главной причиной было, видимо, болезненное, ипохондрическое состояние, овладевшее Хармсом немедленно по прибытии на место ссылки. Уже первая открытка, отправленная 23 июля Пантелееву, достаточно характеризует настроение Даниила Ивановича:

> Курск очень неприятный город. Я предпочитаю ДПЗ. Тут, у всех местных жителей, я слыву за идиота. На улице мне обязательно говорят что-нибудь вдогонку. Поэтому я, почти все время, сижу у себя в комнате. По вечерам я сижу и читаю Жюль Верна, а днем вообще ничего не делаю. Я живу в одном доме с Введенским; и этим очень недоволен. При нашем доме фруктовый сад. Пока в саду много вишни…

Десятого августа – другое письмо Пантелееву – подробнее о том же:

> Очень рад, что Вы купаетесь и лежите на солнце. Тут нет ни солнца, ни места, где купаться. Тут все время дождь и ветер, и вообще на Петербург не похоже. Между прочим, настроение у меня отнюдь не мрачное. Я чувствую себя хорошо и спокойно, но только до тех пор, пока сижу в своей комнате. Стоит пройтись по улице, и я прихожу обратно злой и раздраженный. Но это бывает редко, ибо я выхожу из дома раз в три дня. И то: на почту и назад. Сидя дома, я много думаю, пишу и читаю. Это верно, читаю я не только Жюля Верна. Сейчас пишу большую вещь под названием “Дон Жуан”. Пока написан только пролог и кусок первой части. Тем, что написано, я не очень доволен. Зато написал два трактата о числах. Ими доволен вполне. Удалось вывести две теоремы, потом опровергнуть их, потом опровергнуть опровержение, а потом снова опровергнуть. На этом основании удалось вывести еще две теоремы. Это

гимнастический ход, но это не только гимнастика. Есть прямые следствия этих теорем, слишком материальные, чтобы быть гимнастикой. Одно из следствий, например, это определение абсолютного температурного нуля. Выводы оказались столь неожиданными, что я, благодаря им, стал сильно смахивать на естественного мыслителя. Да вдобавок еще естественного мыслителя из города Курска. Скоро мне будет как раз к лицу заниматься квадратурой круга или трисекцией угла.

Деятельность малограмотного ученого всегда была мне приятна. Но тут это становится опасным…

Тамара Мейер (Липавская), Яков Друскин. Фотомонтаж из

альбома Т. Мейер (Липавской), 1930-е.

От “Дон Жуана” сохранилось только начало (продвинулся ли Хармс дальше?). Главные хармсовские тексты курского периода – письма. Он продолжает писать Липавским, и если с Пантелеевым, человеком скорее сторонним, он откровенен, то перед близкими друзьями натягивает клоунскую маску и продолжает выделывать свои виртуозные трюки:

> Что же в самом деле с Вашими почками? Я долго думал по этому поводу, но ни к каким положительным результатам не пришел. Почки, как известно, служат для выделения из организма вредных веществ и с виду похожи на бобы. Чего же особенного может с ними случиться? Во всяком случае, с Вами вышел занятный номер. Что значит смещение почки? Представьте себе для наглядности на примере, что Вы и Валентина Ефимовна две почки. И вдруг одна из вас начинает смещаться. Что это значит? Абсурд. Возьмите вместо Валентины Ефимовны и поставьте Леонида Савельевича, Якова Семеновича и вообще кого угодно, все равно получается чистейшая бессмыслица.

Но это писалось в редкие веселые минуты. Вообще же Хармсу было очень не по себе.

> Я один. Каждый вечер Александр Иванович куда-нибудь уходит, и я остаюсь один. Хозяйка ложится рано спать и запирает свою комнату. Соседи спят за четырьмя дверями, и только я один сижу в своей маленькой комнатке и жгу керосиновую лампу.
>
> Я ничего не делаю: собачий страх находит на меня. Эти дни я сижу дома, потому что я простудился и получил грипп. Вот уже неделю держится небольшая температура и болит поясница.
>
> Но почему болит поясница, почему неделю держится температура, чем я болен, и что мне надо делать? Я думаю об этом, прислушиваюсь к своему телу и начинаю пугаться. От страха сердце начинает дрожать, ноги холодеют, и страх хватает меня за затылок. Я только теперь понял, что это значит. Затылок сдавливает снизу, и кажется: ещё немножко и [тогда] сдавят всю голову сверху, тогда утеряется способность отмечать свои состояния, и ты сойдёшь с ума. Во всём теле начинается слабость, и начинается она с ног. И вдруг мелькает

мысль: а что, если это не от страха, а страх от этого. Тогда становится ещё страшнее. Мне даже не удаётся отвлечь мысли в сторону. Я пробую читать. Но то, что я читаю, становится вдруг прозрачным, и я опять вижу свой страх. Хоть бы Александр Иванович пришёл скорее! Но раньше, чем через два часа, его ждать нечего. Сейчас он гуляет с Еленой Петровной и объясняет ей свои взгляды на любовь.

Пока Хармс писал пьесу о Дон Жуане, Введенский и в Курске пополнял свой донжуанский список. Хармсу же становилось все хуже. Простуда, подхваченная им, из-за плохого питания и неподвижного образа жизни, стала затяжной. Панический страх за свое здоровье принял форму невроза и превратил его жизнь в ад. Курск со своими “открыточными видами” раздражал. Дневниковые записи лета и осени фиксируют почти растительное состояние.

Я смерил температуру. Оказалось, если я хорошо держал градусник, 36.8. Полторы недели в эти часы у меня было 37.2. Сейчас 5 часов. Это возможно от слабости. Вот уже мне кажется температура начинает подниматься. Со времени как я измерял ее не прошло и 20 минут.

День прошел бесполезно. А. И. был у Малёнкиной. Вернулся веселым.

Пили с А. И. молоко. Ходили на рынок за маслом… Пришел домой, слабость духа и тела. Температура 36.9.

Чахотка дает знать себя слабостью, испариной и немного затрудненным дыханием. Я себя чувствую неважно и беспокоюсь о своем здоровии… Обедали. Но А. И. пересолил гречневую кашу, и мне пришлось удовольствоваться одними сухарями с маслом… Температура 36.9… Время от времени пошаливает сердце… С 10–10½ был сердечный припадок. Лежал и смачивал водой грудь возле сердца. И кажется опять простудился.

Я пошел в Амбулаторию… По дороге страшно колотилось сердце. В Амбулатории долго ждал приема… Наконец попал на прием к докторше Шеболдаевой. Она нашла у меня плеврит в правом легком и сильный невроз

сердца.

Ел манную кашу сваренную на воде. Пришла Сафонова. Она принесла арбуз.

Пили кофе с молоком и булками. А. И. разбил мою фарфоровую ложку.

Вместо обеда пил кофе. Чувствую себя не важно. Тяжелая голова, слабость, испарина. Побаливает то спина то плечи. То покалывает в груди. Вечером играл с сыном хозяйки в шахматы… Первый раз разговорились с ним.

Читаю негритянский роман “Домой в Гарлем”.

По-моему у меня опять грипп. Когда я глубоко вздыхаю, в груди свистит мокрота.

Пришли В. и С. Принесли грибы… Ели пшенную кашу с грибами.

И так далее. Иногда Хармс разговаривал с Гершовым и другими художниками о современной живописи. Иногда читал Библию и Гамсуна, временами пытался писать. Сам он так описывал свое времяпрепровождение:

…Я сидел дома, как затворник.

Были дни, когда я ничего не ел. Тогда я старался создать себе радостное настроение. Я ложился на кровать и начинал улыбаться. Я улыбался до двадцати минут зараз, но потом улыбка переходила в зевоту. Это было очень неприятно. Я приоткрывал рот настолько, чтобы только улыбнуться, а он открывался шире, и я зевал. Я начинал мечтать.

Я видел перед собой глиняный кувшин с молоком и куски свежего хлеба. А сам я сижу за столом и быстро пишу. На столе, на стульях и на кровати лежат листы исписанной бумаги. А я пишу дальше, подмигиваю и улыбаюсь своим мыслям.

Он не мог работать – ни для себя, ни для заработка, хотя Маршак через Пантелеева передал ему предложение снова писать для детских журналов.

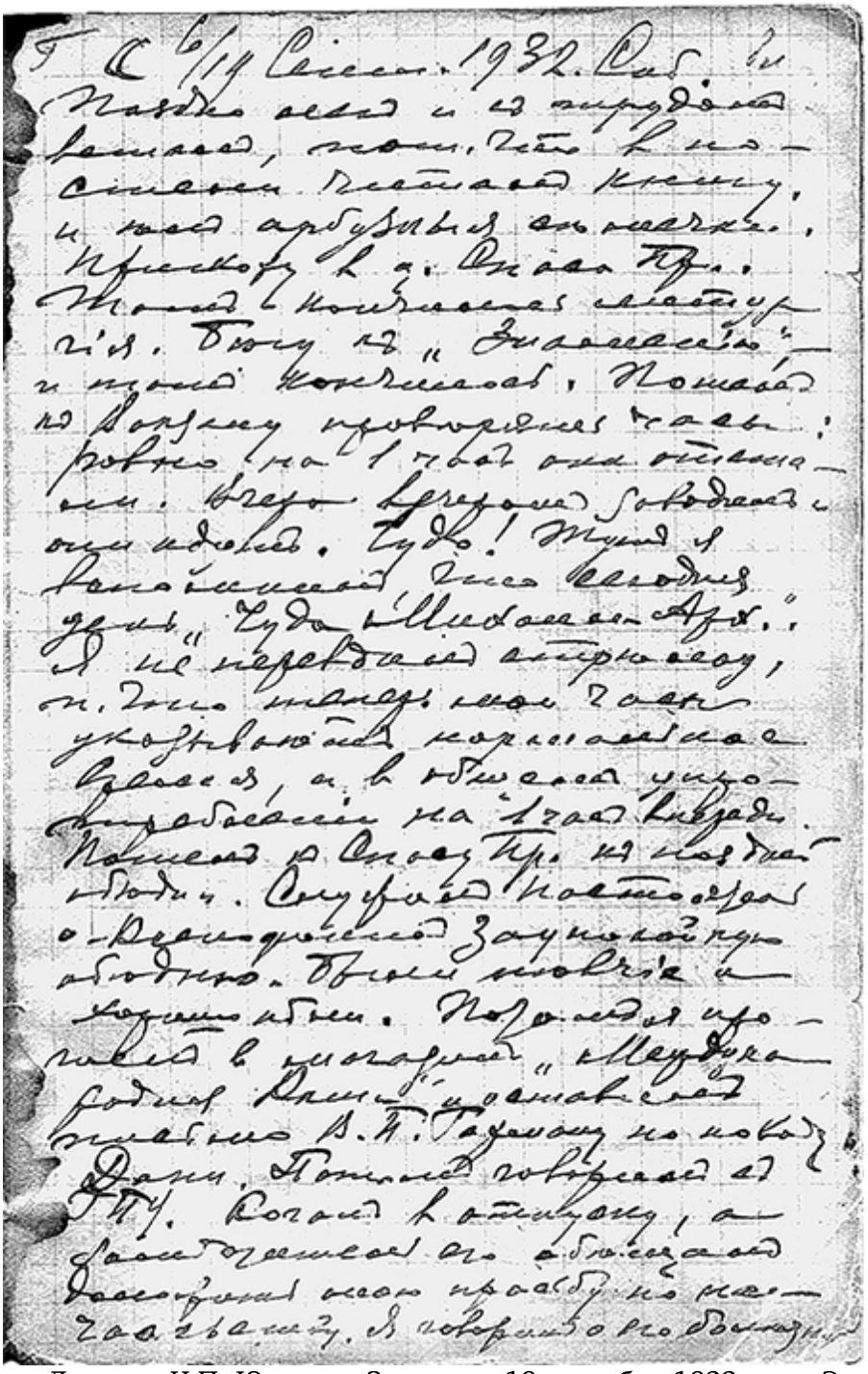
Этот психический паралич, эта неспособность к какой бы то

ни было деятельности нуждается в объяснении. Да, Даниил Иванович был в ссылке, был болен, нервно истощен, нищ. Но ведь и Мандельштам в Воронеже три года спустя был в точно таком же положении – и именно там родились его величайшие стихи. Разница, видимо, в том, что Мандельштам и по природе своей был скитальцем, вечно менявшим города и адреса, не обраставшим бытом. А Хармс всю жизнь провел в своей уставленной причудливыми вещицами комнате, и всякая разлука с ней повергала его в депрессию. К тому же рядом с Мандельштамом была жена, а Хармс оказался лишен психологической поддержки. От Введенского ждать ее не приходилось.

Он панически боялся чахотки, и этот страх можно объяснить. От туберкулеза умерла мать Даниила Ивановича, от этой же болезни совсем недавно скончался один из его друзей – юный, полный сил Владимиров. Страхи развеял опытный специалист, Иосиф Борисович Шейндельс, к которому Хармса направили на обследование в Курске. Туберкулез не подтвердился, а врач произвел на Хармса чрезвычайно благоприятное впечатление. Видимо, именно к нему обращено письмо, написанное уже по возвращении в Ленинград:

> …Те несколько бесед, очень отрывочных и потому неверных, которые были у нас с Вами, я помню очень хорошо, и это единственное приятное воспоминание из Курска. Что хотите, дорогой Доктор, но Вам необходимо выбраться из этого города. Помните, в Библии, Бог щадит целый город из-за одного праведника. И, благодаря Вам, я не могу насладиться поношением Курска. Я до сих пор называю Вас “Доктор”, но в этом уже нет ничего медицинского: это скорее в смысле “Доктор Фауст”…

И все же неизвестно, что было бы с Хармсом, человеком и писателем, задержись он в Курске дольше. Тем более что как раз начинались очень страшные для всего российского Юга дни.



Дневник И.П. Ювачева. Запись от 19 сентября 1932 года. Эта, как и все другие записи, – по старой орфографии, дата указана по старому и новому стилю, день недели (в данном случае понедельник) отмечен с помощью астрономического значка.

Тем временем отец не забывал опального сына.

Все дни 72-летнего Ивана Павловича проходили в разъездах и хлопотах – полная противоположность вялой прострации 26-летнего Даниила Ивановича. Старший Ювачев ежедневно бывал на нескольких церковных службах, но взгляды “свободного христианина” были так широки, что он помнил дни еврейских праздников и на Йом-Кипур (Судный день) заходил в синагогу. Он встречался со старыми знакомыми, не пропускал ни одного собрания Общества политкаторжан, читал, писал. Успевая при всем том хлопотать и о делах “Дани”.

Вот его дневниковая запись от 6 (19) сентября[284]:

> Поздно лег и с трудом встал, пот<ому> что в постели читал книгу и ел арбузные семечки. <…> Пошел к Спасу Пр<еображения> к поздней обедни. <…> Потом я прошел в магазин “Международная книга” и оставил письмо В.П. Гар<т>ману по поводу Дани. Потом говорил с ГПУ. Коган в отпуску, а заместитель его обещал доложить мою просьбу по начальству. Я говорил о его болезни, о дороговизне в Курске и о том, что он не имеет документов. Заместитель Когана <сказал>[285], что он знает Хармса и доложит.

На следующий день:

> Обедня в ц<еркви> Спаса Преображ<ения>. Служил о. Василий Ефим<ов>. Набрал желудей около церкви. С утра уехал из дому. Сперва к доктору. Передал ему письмо от Дани, где он описывает свою болезнь. <…> В это время по телефону звала к себе в Царское[286] Нат<алья> Ив<ановна>[287]. Но было поздно. После обеда я прямо в Греческую церковь ко всенощной. Во время канона домой. Лиза[288] упросила меня завтра не ездить в Царское Село, т. к. у ней новая служанка “Наталка-Полтавка” и ушла Лидия Алекс<еевна>[289].

Запись от 10 (23) сентября:

> Встал в (3) 4 часа и собираюсь в Царское Село по вызову Наты. Поехал на поезде в 6 ч. 30 м. <…> В Детском Селе с поезда прямо к Нате. Она в постели. Ждал на ее балконе. Посидели до 10 ч. утра, переговорив

о Дане, Лизе и о ней самой. У меня в это время позывы сильные мочиться. И это в пятницу, когда я ничего не пил и не пью! Даня у доктора Ше<й>ндельса лечится, хвалит его за внимание к нему. Теперь он живет в Курске в одной комнате с Александром Ивановичем. Просит меня писать Калинину, но я уже писал в Полит<ический> Красн<ый> Крест и просить в другом месте я не могу. А вот он до сих пор палец о палец не ударил, чтобы просить Когана о документах. Ведь А.И. (Брилат, знакомый И.П. Ювачева, высланный в Тамбов. – *В. Ш.*) в Тамбове получает карточку на хлеб, а он не получает.

Иван Павлович Ювачев, 1930-е.

Даниил Хармс. Автопортрет, 13 октября 1933 г.

В записных книжках старика Ювачева много странного. Почему он, имевший сорокапятирублевую пенсию, временами питался желудями и арбузными семечками? Часть денег он отправлял Даниилу, но что-то оставалось. Марина Малич, вторая жена Хармса, в своих устных воспоминаниях рассказывает, что Иван Павлович принципиально ел одну хлебную тюрю с подсолнечным маслом. Однако, судя по дневникам, в обычные дни так далеко его аскетизм не заходил. Например, 11 (24) сентября он с удовольствием съел борщ, приготовленный “Наталкой-Полтавкой”. Согласно воспоминаниям К.В. Грицына, его дед строго соблюдал церковные посты – именно в эти дни в

его рационе была тюря (в которую добавлялся еще и лук).

А вот запись, сделанная ровно два месяца спустя, уже после возвращения сына:

> Дома был возмущен поведением Лизы. Она видит, что я по три дня не обедаю. Поем черный хлеб (и того иногда не хватает), от которого в животе у меня непомерное скопление газов. В это время она получает и масло сливочное, и яйца, и творог, не говоря о молоке. И хоть бы какую-либо попытку сделала предложить мне чего-нибудь. Ничего! А от меня она пользуется пайком. Каждый день у ней какие-нибудь новости: то кура, то свежая рыба, то копченая, то мясо, то конфеты, то фрукты… Ребенку Кириллу отдаю много времени ежедневно. И вот за свою любовь и я невольно ожидаю с ее стороны проявления какого-либо внимания… Никакого! Что это за чудовище?!

Что это? Ненормальные, патологические отношения, складывающиеся между еще недавно близкими людьми во время пусть еще не настоящего голода, но – продовольственных трудностей? Или старческая привередливость, искажающая картину реальности? В конце концов, почему Иван Павлович не мог сам получать свой ветеранский, политкаторжанский паек?

В любом случае, ни дочь, ни сын не могли служить в старости опорой этому незаурядному человеку. Сын сам нуждался в его заступничестве и поддержке. Но изменения в судьбе Даниила Ивановича связаны были поначалу не с хлопотами отца, а – парадоксальным образом – с ухудшением судьбы товарищей.

В сентябре из Курска стали высылать социально-опасных и социально-чуждых поселенцев. 26 сентября к Хармсу и Введенскому вбежала заплаканная Сафонова: ей приказано было ехать в Вологду. Введенский попросился с ней; вероятно, ему предложено было возвращаться в Ленинград и там самому выбрать себе новое место поселения. Этот несколько загадочный либерализм распространился и на Хармса.

Первого октября Введенский уехал из Курска и через два дня прибыл в Ленинград. Он немедленно позвонил Ивану Павловичу, в 3 часа дня был у него и “передал просьбу Дани – телеграфировать ему, чтобы он ехал в Вологду”. На следующий день отец и тетка “решили не посылать телеграммы, а ждать ее от него, как он об этом думает”.

Возможно, Иван Павлович рассчитывал, что, если его сын на легальных основаниях появится в городе, его, с учетом болезни, революционного прошлого отца, а главное – явной утраты у ГПУ

интереса к “делу детской редакции”, могут освободить от дальнейшего наказания. Так и вышло. Ювачев так же методично, шаг за шагом, добивался смягчения участи Даниила, как некогда, тридцать с лишним лет назад, – своей собственной.

Пятого октября из Царского приезжают тетки и помогают убирать комнату Даниила. 12 октября в 10 утра он наконец вернулся домой. День был “дождливый и грязный”. (Как бывший профессиональный метеоролог, Иван Павлович в своем дневнике фиксировал все изменения погоды.) Отец и сын позавтракали вместе и выпили по рюмке коньяку. Приехали гости: Петр Иванович (дядя по отцу) и обе царскосельские тетушки, Наталья и Мария Ивановны. Все семейство праздновало возвращение ссыльного.

С приездом домой ипохондрия и пассивность Хармса исчезают сразу же. 30 октября Иван Павлович записывает: “Даню мало вижу. Если он дома, у него кто-нибудь сидит”. Все же положение его оставалось неопределенным. Ему по-прежнему формально запрещено было жить в Ленинграде – и к тому же у него не было на руках никаких документов. Но, видимо, Коган сам не советовал ему суетиться. Начальник секретного отдела знал, что дело, столь неосмотрительно затеянное Бузниковым, решено окончательно спустить на тормозах. Знал это и Маршак: иначе он не пригласил бы автора, сосланного именно за детские книги, вновь сотрудничать с издательством. В начале года он пожертвовал Олейниковым, заменив его на посту ответственного редактора “Чижа” и “Ежа” Александром Лебеденко – “бывалым человеком” с партбилетом, автором книг про гражданскую войну на Дальнем Востоке и про полярную авиацию. Но Олейников остался в штате редакции и журналов – в отличие от Заболоцкого и Липавского, которым пришлось уволиться. Из планов исчезли на некоторое время книги Житкова. Этих жертв оказалось достаточно. До поры до времени Маршаку и его редакции больше ничего не угрожало.

К концу ноября дело подошло к завершению. Введенский, всего месяц прожив в Вологде, был амнистирован, и ему разрешено было вернуться в Ленинград. От Хармса теперь требовалась лишь формальность – написать письмо-прошение в Москву. Письмо было отправлено, по совету Когана, 19 ноября. 5 декабря, записывает Иван Павлович, “Даня был в ЖАКТе и просил прописать его”. Видимо, к этому моменту стало окончательно ясно, что ссылка закончилась.

Библейский пророк Даниил, по которому писатель был назван, брошен был Навуходоносором в ров, где находились некормленые львы. Произошло чудо: львы не тронули его. В 1932

году Хармса и его друзей тоже спасло, можно сказать, чудо. Обвинения, предъявленные им, с точки зрения даже двадцатых годов, были дики и нелепы. Но в начале 1930-х людей ссылали (если не убивали) уже только за внутреннюю чуждость обществу. К концу десятилетия даже этого не требовалось – смерть пользовалась законом случайности, в полном соответствии с мистическими представлениями “чинарей”. Хармс и Введенский случайно пережили и эту бойню, чтобы погибнуть (тоже случайно, в сущности) в год еще более страшный.

Глава шестая
Равновесие с небольшой погрешностью

1

Создается впечатление, что первый год после возвращения из ссылки был в числе самых спокойных и гармоничных в жизни Хармса. Хотя все оставалось таким же, как прежде, – невозможность внешней самореализации, разрушенные отношения с Эстер – он чувствовал себя не столь несчастным, как в Курске или как в последнее время перед ссылкой. Но, может быть, он отчасти привык ко всем этим обстоятельствам, утратил ненужные надежды.

Главное изменение в жизни семьи Ювачевых сводилось к тому, что вместо умершего тойтерьера в доме появилась такса, которой Хармс дал имя Чти Память Дня Сражения При Фермопилах, сокращенно – Чти. С этой таксой на поводке он и появлялся ежедневно на Надеждинской улице. Длинная коротколапая норная собака забавно оттеняла высокую, голенастую фигуру гражданина в гетрах и усиливала его сходство с эксцентричным англичанином. По одной из легенд, в бильярдной, куда Хармс захаживал, его звали “мистер Твистер”. Этим именем воспользовался все в том же 1933 году Маршак в своей знаменитой поэме про американского миллионера-расиста, приехавшего в советскую страну. Язвительный Чуковский, встретив Хармса в трамвае, осведомился:

> – Вы читали “Мистера Твистера”?
>
> – Нет! – ответил Хармс осторожно.
>
> – Прочтите! Это такое мастерство, при котором и таланта не надо! А есть такие куски, где ни мастерства, ни таланта – “сверху над вами индус, снизу под вами зулус” – и все-таки замечательно![290]

Самуил Яковлевич перековывался слишком уж стремительно и успешно; но все же и Чуковский, и Хармс любили его.

Хармс по-прежнему бывал в “доме Зингера”. Но обстановка в издательстве уже была не та. Исчезла взаимная доброжелательность. Олейников и Житков не могли простить Маршаку его “предательского” поведения.

> Становилось темно, как перед грозой – где уж было в темноте разобрать, что мелочь, а что в самом деле крупно… И если Житков колебался… то Олейников, во всяком случае в отсутствии Маршака, не знал в своих колебаниях преград… То, что делал Маршак, казалось Олейникову подделкой, эрзацем. А Борис со своим анархическим российским недоверием к действию видел в самых естественных поступках своего недавнего друга измену, хитрость, непоследовательность. И Олейников всячески поддерживал эти сомнения и подозрения. Но только за глаза. Прямой ссоры с Маршаком так и не произошло ни у того, ни у другого… И всех нас эта унылая междуусобица так или иначе разделила[291].

Хармс снова становится завсегдатаем редакции, и у него появляются там новые приятели. В их числе Н.В. Гернет, впоследствии известный драматург детского театра (в числе ее произведений и пьеса по стихам Хармса). Вместе с ней Даниил Иванович иногда забавляется, сочиняя пародийный номер “Чижа”. Среди материалов была, к примеру, “Северная сказка”: “Старик, не зная зачем, пошел в лес. Потом вернулся и говорит: “Старуха, а старуха!” Старуха так и повалилась. С тех пор зимой все зайцы белые”. Или полезный совет: “Как самому сделать аппарат”: “…Возьми консервную банку и в нужных местах пробей дырочки, продень проволочку, закрепи концы… Теперь приделай к этому ручку, и аппарат готов”[292]. Скорее это напоминало старые, конца 1920-х годов, “Ёж” и Чиж”. К середине 1930-х в этих журналах было куда больше идеологии. Другой шуткой Хармса и Гернет было письмо, посланное на адрес редакции от имени воспитательницы детского сада с якобы сочиненными ей стишками:

> Намешу в бадье муку
> Да лепешку испеку.
> Положу туда изюм,
> Чтобы вкусно стало всем.
> Гости к вечеру пришли,
> Им лепешку подали.
> Вот вам, гости, ешьте, жуйте,
> В рот лепешку живо суйте.
> И скорей скажите нам:
> Наша лепешка вкусна вам?
> Гости хором мне в ответ:
> “Второй лепешки такой нет,
> Потому лепешка та

Не плоха, а вкуснота!”
– Вот какой я молодец!
Вот какой я испечец.

В течение 1933 года Хармс, однако, напечатал в “Чиже” лишь один относительно длинный рассказ с продолжениями – “Профессор Трубочкин”, близкий к его прежним историям про эксцентричных изобретателей. Он печатался с седьмого по двенадцатый номер. Едва ли гонорар был особенно большим, но в письмах и дневниковых записях Хармса за этот и следующий год не появляется никаких жалоб на безденежье. А ведь когда несколькими годами позже Хармса на несколько месяцев перестали печатать, он оказался буквально на грани голодной смерти! Почему? Разгадка проста. Летом 1935 года Даниил Иванович перечисляет в записной книжке свои долги. Их набирается на сумму более 2000 рублей. Хармс занимал деньги у Маршака, Шварца, Левина, Олейникова, даже у своей бывшей жены. Этих долгов он, по-видимому, так никогда полностью и не отдал, но до поры до времени они не очень его беспокоили. В конце концов, подобным образом жили многие русские писатели, от Пушкина до Мандельштама.

Брак с Эстер был расторгнут, когда Даниил находился в ссылке. Вернувшись, он пытался не думать о ней – тщетно. Он борется с искушением позвонить ей. “Но когда стал человеку противен, то с этим ничего не поделаешь. Теперь-то уж мы с *Esther* разошлись навеки. Хотя что-то в душе подсказывает мне, что мы еще сойдемся как следует”.

Двадцать третьего ноября, в день рождения Эстер, Хармс посылает ей телеграмму. 27-го она звонит. На следующий день – снова: приглашает приехать в гости. У Русаковых было семейное торжество: отмечали 35-летие свадьбы родителей, Ольги Григорьевны и Александра Ивановича. В числе гостей (кроме членов семьи – Кибальчича, Поля Марселя) были знаменитый московский чтец Владимир Яхонтов (друг Пастернака и Мандельштама) и “какие-то дамы”.

> Эстер налила мне рюмку ликера. Я сидел совершенно красный, и у меня горели уши. У Эстер очень истасканный и развязный вид. Она говорит, взвизгивает, хохочет или вдруг слушает с раскрытым ртом, и тогда она становится похожей на старую еврейку. Этого раньше не было. Но я люблю ее. Несколько раз Эстер взглядывает на меня и каждый раз все менее и менее приветливо. Яхонтов встает и читает

стихи. Он читает Державина. Читает очень плохо, но декламаторски и культурно. Потом читает Пушкина. Всем очень нравится.

Эстер хлопает в ладоши и говорит: “Ах, какая прелесть!”

Потом Яхонтов уходит.

Когда Wiktor’а Кибальчича спрашивают, как понравился ему Яхонтов, он говорит, что у Яхонтова своя манера читки, и ему хотелось бы послушать его целый вечер. Эстер говорит: “Я в него влюблена”. Wiktor говорит: “О, это очень просто, для этого не надо читать Пушкина”.

Тогда Эстер говорит: “Я влюблена не в него, а в его читку. Я влюблена в Пушкина”.

Тогда Wiktor говорит: “О! Я был в Москве и видел Пушкина. Трудно, чтобы он ответил на любовь”. (Wiktor говорит о памятнике.) Так Wiktor острил целый вечер.

<…>

Я сидел красный и неуклюжий и почти ничего не мог сказать. Все, что я говорил, было поразительно неинтересно. Я видел, как Эстер презирала меня.

<…>

Наконец, гости собрались уходить. Я нарочно переждал всех. Марсель сыграл мне что-то на рояле. Я простился и пошел. Эстер проводила меня до двери. У нее было очень неприятное лицо: чем-то озабоченное, не касающимся меня, а по отношению ко мне – недовольное. Я ничего не сказал ей. Она тоже. Мы только сказали: до свиданья. Я поцеловал ей руку. Она захлопнула дверь.

“Боже! – сказал я тогда. – Какая у нее блядская рожа!” Я сказал так про себя и побежал по лестнице вниз. Я сказал очень грубо. Но я люблю ее.

Однако эти отчаянные признания – прощальные. Хармс уже без всяких иллюзий смотрит на свою возлюбленную и видит ее такой, какая она была: распутной, развязной, немного нелепой мещаночкой. Встречи с Эстер, продолжающиеся и в следующие месяцы, не мешают другому роману, разворачивавшемуся как раз в это время.

Дружбе с Алисой Порет было уже несколько лет. Но в конце 1932 года эти отношения перешли в иное качество. Первый толчок произошел еще до ареста Хармса. Даниил и Алиса гуляли в зоопарке (нужно было срисовать пеликанов для очередной

детской книги) – и там разыгралась такая сцена:

> У вольера никого не было, кроме совершенно пьяного человека, который боролся с приступами тошноты и, обняв дерево, иногда некрасиво обнаруживал, что кроме водки он ел винегрет. Около него стояла девочка в красном пальто и плакала. Она была очень маленькая, и я сказала Хармсу: “Уведем ее от этого безобразия”. Я взяла ее за руку и, доведя до решетки, показала на птиц. Но они были очень далеко, и она все оглядывалась на отца. Тогда я приподняла ее и, перенеся через решетку, сказала: “Пойди, посмотри на птичек”. Она доверчиво и как-то очень быстро покатилась к основной группе огромных пеликанов. Несколько секунд они на нее смотрели, а потом, расправив длиннющие крылья и раскрыв пасти, заковыляли навстречу. Я сама оробела, но послала Хармса на выручку. Он передал мне свою трубку и, перепрыгнув через заборчик, в три прыжка догнал девочку и, схватив ее в охапку, вернул отцу, который ничего не заметил.
>
> Прошло около недели, и Даниил Иванович сознался, что с этой минуты, когда я сказала девочке “пойди посмотри на птичек”, он стал ко мне как-то иначе относиться.
>
> – Я к вам ходил и ничего, а теперь чего, и Бог знает, чем это закончится[293].

С ноября 1932 по март 1933 года Хармс и Алиса были неразлучны. Сначала это были невинные прогулки по городу (вдвоем или в большой компании), поездки в Царское или посещения филармонии. Оба, и Хармс и Порет, были коротко знакомы с музыковедом Иваном Ивановичем Соллертинским, заведовавшим в те годы репертуарной частью Ленинградской филармонии. Соллертинский помогал своим приятелям с билетами и контрамарками. Человек большой эрудиции и большого обаяния, пылкий поклонник Малера, ближайший друг, и, в некоторых отношениях, учитель Шостаковича, Соллертинский принадлежал к той разновидности “людей 1920-х”, которые в следующем десятилетии уже с трудом могли найти себе место в литературной жизни, а в музыкальной – еще находили. Впрочем, тонкость и гибкость натуры позволяли Соллертинскому находиться “в струе” вплоть до скоропостижной (но естественной) кончины в 1944 году, хотя во время травли музыкальных формалистов в 1935–1936 годах ему пришлось

пережить немало трудных минут.

Порет и Глебова, художник Павел Кондратьев, Соллертинский, Николай Акимов (чья постановка “Гамлета”, вдохновленная Соллертинским, была скандальной сенсацией сезона 1932–1933 годов: циничный, свободный от буржуазной рефлексии “Гамлет” малосентиментальной эпохи) – это был еще один круг знакомств и дружб Хармса, с его литературной “компанией” пересекавшийся в основном через детскую редакцию.

Даниил Хармс и Алиса Порет, начало 1930-х.

Олейникову, Заболоцкому и Липавскому Хармс 3 декабря 1932 в порыве странного озорства сообщает, что художница Алиса Ивановна Порет, оформлявшая его, Хармса, книги, – отныне его жена. Олейников решил проверить слова Даниила Ивановича и позвонил Порет. Обман раскрылся, Алиса Ивановна полушутя обиделась на “провокатора”, однако ненадолго. Перед новым годом Хармс привел Порет в дом к Житкову и его супруге. Суровому Борису Степановичу спутница его молодого друга не понравилась:

> Он много про нее рассказывал, т. е. не много, а – часто. Выходила подкусливая, остроумная, легкого ума и разговора – маркиза. Но оказалось – маркизет. Не

художественно раскрашенная (ярким слоем напомажены губы, и сколько мелкого старанья у ресниц, у век!), разговор с претензией на простоту, в которой милые намеки, простодушные уколы, словесные “petits jeux”[294], и в этом совсем не старинное, а что-то очень провинциальное… Хармс посматривал на нас, видимо, примерял ее на наш дом. И, пожалуй, видел, что не пришлась[295].

Отношения продолжали развиваться, пока в феврале не вступили в, так сказать, романтическую стадию.

Даниил Хармс и Татьяна Глебова позируют для “домашнего фильма” “Неравный брак”. Фотография П. Моккиевского, начало 1930-х.

Тринадцатого февраля Хармс записывает:

> Я прошу Бога сделать так, чтобы Алиса Ивановна стала моей женой. Но видно, Бог не находит это нужным. Да будет Воля Божья во всем.
>
> Я хочу любить Алису Ивановну, но это так не удается. Как жалко! Села!
>
> Если бы Алиса Ивановна любила меня и Бог хотел бы этого, я был бы так рад!

В отличие от Эстер и всех женщин, которых Хармс любил раньше, Алиса была близка ему по духу. Но даже в разгар увлечения он не был уверен, что любит ее, – только хотел любить. Близость с ней принесла ему лишь разочарование. В сентябре 1933 года, по свежим следам, он так описывает случившееся:

> Я был влюблен в Алису Ивановну, пока не получил от нее всего, что требует у женщины мужчина. Тогда я разлюбил Алису. Не потому, что пресытился, удовлетворил свою страсть, и что-либо тому подобное. Нет, просто потому, что узнав Алису как женщину, я узнал, что она женщина неинтересная, по крайней мере, на мой вкус. А потом я увидел в ней и другие недостатки. И скоро я совсем разлюбил ее, как раз тогда, когда она полюбила меня. Я буквально удрал, объяснив ей, что ухожу, ибо она любит Петра Павловича. Недавно я узнал, что Алиса вышла замуж за Петра Павловича. О как я был рад!

Петр Павлович, упоминаемый Хармсом, – это Снопков, который был его соперником в начале года. Отношения Порет со Снопковым и Хармсом развивались одновременно. Развязка этих романов в восприятии (по крайней мере в передаче) самой Алисы Ивановны выглядит иначе:

> Однажды я очень поссорилась с Д. Хармсом. Он обиделся, не ходил к нам, и, по его выражению, “держался за косяки”, чтобы удержаться, и не звонил довольно долго. Петя ловко этим воспользовался. Как-то окрутил меня…[296]

Влюблен в Алису Ивановну был и Кондратьев. Терпкая смесь эротического увлечения, мужского соперничества, интеллектуального общения и полудетских эксцентрических забав “в духе Макса и Морица” придавала общению особый колорит. В забавах этих участвовали и Глебова, и Введенский.

Например, “в моде была такая игра – вести человека куда угодно с завязанными глазами…” Порет, с отвращением относившуюся к боксу, Снопков и Хармс привели в цирк и усадили в первом ряду – сняв повязку, она увидела, как “двое голых и толстых людей убивали друг друга по правилам перед моим носом”. Самого Хармса поставили между двумя громыхающими трамваями. Немузыкального Введенского затащили в филармонию на “Реквием” Моцарта. Другая игра заключалась в том, что Хармс с Алисой и Татьяной Глебовой

наряжались в различные костюмы и в таком виде фотографировались. Некоторые из этих фотографий сохранились. Хармс – “Томми”, конвоирующий Алису – заключенного; Хармс – “английский колонизатор”, в цилиндре и с сигарой, и Глебова – “восточная женщина” в парандже; Порет и Глебова в испанских костюмах XVII века, разыгрывающие “Завтрак” Веласкеса.

Даниил Иванович и Алиса Ивановна оба коллекционировали “монстров”. Хармсовские “монстры” – это были конечно же “естественные мыслители”, Алисины – веселые и забавные чудаки, как будто сбежавшие со страниц прежних “Ежа” и “Чижа”. Например, страстный собиратель аквариумов, которому из-за их обилия негде было поставить кровать.

Даниил Хармс и Алиса Порет позируют для “домашнего фильма” “Неравный брак”. Фотография П. Моккиевского, начало 1930-х.

Однажды Хармс вздумал переименовать собаку Порет – крупную псину по имени Хокусавна, которую дома звали Кинусей. Хармс ее побаивался (Порет вообще отмечает его трусоватость), а Алиса Ивановна, в свою очередь, презирала таксу Чти, “клопа на паучьих ножках”.

> Он принес с собой длинный список, на выбор. Мне многие понравились. Я не знала, как быть. Тут возникла мысль менять каждые три дня или сколько кличка удержится. Первые дни ее звали – Мордильерка, потом Принцесса Брамбилла, потом Букавка, Холидей и т. д. Она откликалась на все имена. Самое интересное, что

наша домработница, которая не могла выговорить ни нашей фамилии, ни слова “кооператив” или “пудинг”, почему-то немедленно запоминала все прозвища Кинуси и с укоризной поправляла маму, которая путала и забывала все имена. Хармс просто ликовал и решил, что пора придумать имя посложнее – “Бранденбургский концерт”…

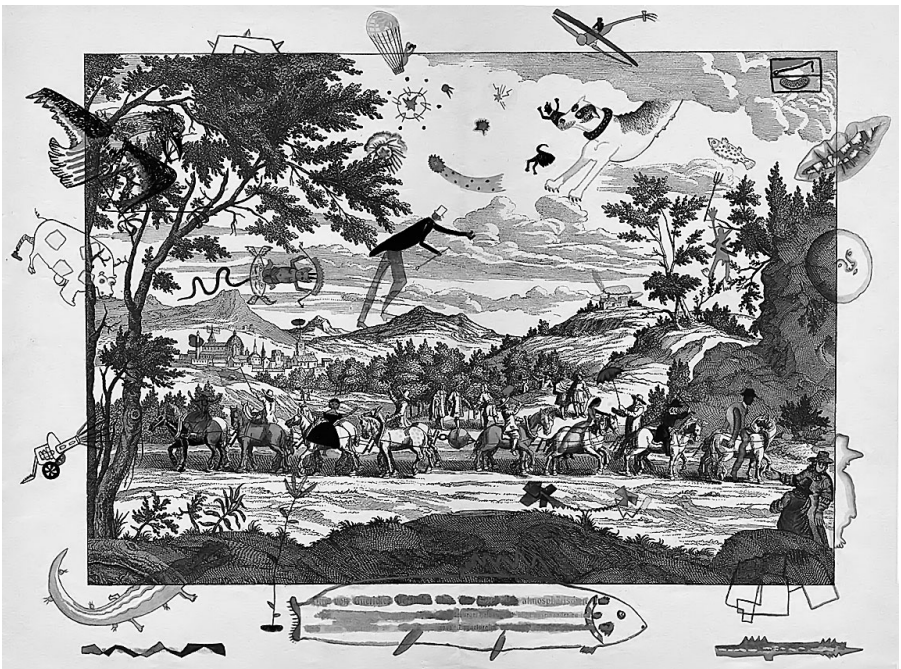
На следующий день был выход утром на улицу под новым именем. Только свернули они на Фонтанку, как встретили И.И. Соллертинского. Он поздоровался и позвал: “Хокусай, поди сюда”. Паша его остановила и гордо сказала: “Сегодня они зовутся “Бранденбургский концерт”[297].

Даниил Хармс и Алиса Порет позируют для “домашнего фильма” “Неравный брак”. Фотография П. Моккиевского, начало 1930-х.

Можно представить себе восторг музыковеда. Но сама идея о том, что любого человека или любое существо можно назвать любым словом или словосочетанием и это случайное имя окажется мистически связано с обозначенным им существом, – вполне обэриутская. Вспомним трех девиц – Светло, Помело и Татьяну-так-как-дочка-капитана из Введенского, или тетю Мультатули и дядю Тыкавылка, рожденных фантазией Заболоцкого.

Одной из самых любопытных была игра в “разрезы”.

Назывался какой-то знакомый человек… Надо было мысленно сделать ему разрез по талии и написать на бумаге, чем он набит… Резани П.Н. Филонова – у большинства: горящие угли, тлеющее полено, внутренность дерева, сожженного молнией… Про Соллертинского единодушно все написали: соты, начиненные цифрами, знаками, выдержками, или соты, начиненные фаршем из книг на 17 языках. Введенский – яблоками, съеденными червями; Хармс – адской серой… [298]



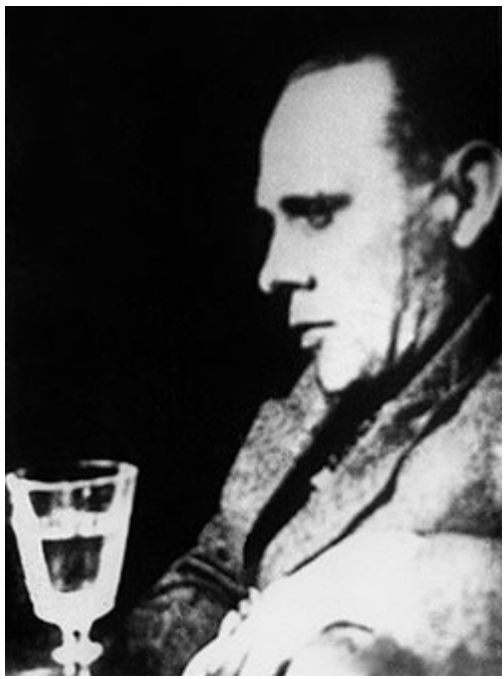
“Опыт с магдебургскими полушариями”. Рисунок А. Порет и Д. Хармса поверх репродукции гравюры 1654 г. Акварель, цветная тушь по типографскому отпечатку, 1932–1933 гг.

Алиса Ивановна вспоминала, как Хармс на пари с Введенским прошелся по улице в канотье без дна, в пиджаке без рубашки, в военных галифе и ночных туфлях с сачком для ловли бабочек в руках. Как он в филармонии “разослал по залу более ста записочек следующего содержания: “Д.И. Хармс меняет свою фамилию на Чармс”. Мне он объяснил, что по-английски Хармс значит несчастье, а Чармс очарование…”[299] В те дни ему хотелось отогнать от себя горе и в полной мере воспользоваться дарованным ему от природы обаянием. Как будто опять на короткое время вернулись бесшабашные 1927–1928 годы.

В играх, в которые Хармс играл с Порет, тайные, глубинные

стороны его жизни оборачивались милой эксцентрикой. Стихов и прозы (кроме детских) Хармс Алисе не читал никогда. Более того, он запретил своим друзьям показывать ей его рукописи. Почему? Из странного суеверия? Из страха непонимания? Самой Порет Хармс посвящал, судя по всему, стихи шуточные, альбомные:

Передо мной висит портрет
Алисы Ивановны Порет.
Она прекрасна точно фея,
Она коварна пуще змея,
Она хитра, моя Алиса,
Хитрее Рейнеке Лиса.



Даниил Хармс, 1930-е.

Алиса тоже написала портрет Хармса – вероятно, лучший из существующих. Но это произошло восемь лет спустя. А пока, к осени 1933 года, отношения если не разладились, то охладились. Знак этого – короткая сухая записка с просьбой вернуть взятого на время “Голема” Мейринка. Так получилось, что из всех, судя по всему, довольно многочисленных писем Хармса к Порет, сохранилось лишь это.

Переживания, связанные с любовью и сексом, занимали в жизни Хармса очень важное место. Его записные книжки позволяют нам временами увидеть подспудную, изнаночную,

скрытую от глаз окружающих сторону этих переживаний. По крайней мере, это относится к 1933 году, прошедшему под знаком поисков любви. Летом этого года Хармс, тоскующий по “влаге женских ласк”, часами пролеживал на пляже у Петропавловской крепости, надеясь завязать знакомство с привлекательной дамой. Но, видимо, из этого мало что выходило. Даниил Иванович не был всеядным обольстителем. Он умел нравиться женщинам, но самому ему нравились женщины лишь определенного типа. Он презирал “пролетарок” и “девок-демократок”. Но дело было не только в социальном статусе и в манерах:

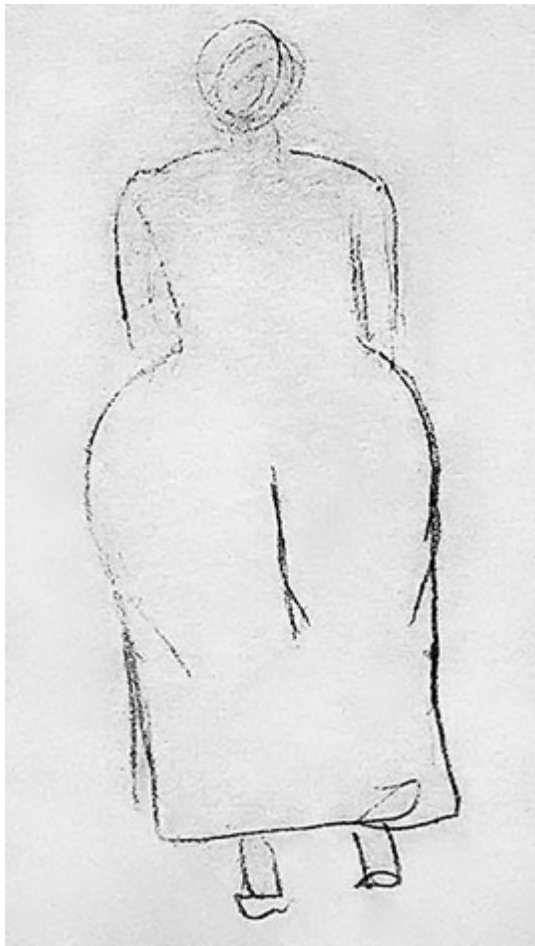
> Я люблю чувственных женщин, а не страстных. Страстная женщина закрывает глаза, стонет и кричит, и наслаждение страстной женщины – слепое. Страстная женщина извивается, хватает тебя руками не глядя за что, прижимает, целует, даже кусает и торопится все скорее закончить. Ей некогда показывать свои половые органы, некогда рассматривать, трогать рукой и целовать твои половые органы, она торопится погасить свою страсть. Погасив свою страсть, страстная женщина засыпает. Половые органы страстной женщины – сухи. Страстная женщина всегда чем-нибудь мужеподобна.
>
> Чувственная женщина всегда женственна.
>
> Ее формы круглы и обильны…
>
> Чувственная женщина редко доходит до слепой страсти. Она смакует любовное наслаждение… даже в спокойном состоянии ее половые органы влажны…
>
> Ч. женщина любит чтобы ты рассматривал ее половые органы.

В другом месте Хармс выстраивает целую таблицу:

ХОРОШО	ПЛОХО
Моцарт	Чайковский, Скрябин
Ширококостые женщины	Тонкокостые женщины
Грудастые женщины	Плоскогрудые
Молодые, здоровые, свежие, полные, сочные женщины	Стильные, худые, гибкие, изнеженные, даже демонические женщины
Мясо, молоко	Острые блюда, с уксусом
Юмор	Настроение
Платье — простое, удобное, подчеркивающее силу в фигуре	Платье модное, с мелкими штучками в виде отделки, с претензией на роскошь

За этой классификацией стоит неприятие всего, что называется “декадансом”, отвержение всех вкусов и пристрастий “прекрасной эпохи” накануне Первой мировой войны – пристрастий, которые в 1920–1930-е годы казались пошлыми и претенциозными. Хармс противопоставляет им пафос силы, физического и душевного здоровья – то есть как раз то, чем сам был обделен. Нигде он так не пытается найти точки соприкосновения со своим поколением, как в этой таблице. Иногда эти точки ложные (Хармс отнюдь не был поклонником простого и удобного платья – вспомним его эксцентричные костюмы, многократно описанные мемуаристами.) Но он действительно предпочитал полнокровных женщин “стильным” и “демоническим”, а творческая эволюция вела его от модерна (которым он переболел в ранней юности и от которого отрекся), через авангард, под знаком которого прошла его молодость, – к своеобразному неоклассицизму, к Пушкину и Моцарту.

Галантные излияния и серьезные размышления о жизни и искусстве переплетаются в знаменитых письмах к Клавдии Васильевне Пугачевой – актрисе ленинградского ТЮЗа, переехавшей в Москву. Как вспоминала сама Пугачева, она “шестым чувством” понимала, что нравится Хармсу, и была несколько разочарована его женитьбой – но никаких реальных любовных отношений между ней и писателем не было. В сущности, письма Хармса наполовину обращены к вымышленному адресату. И именно в этих письмах он, изысканно дурачившийся, не снимавший маски в переписке с Липавскими или Введенским, вдруг позволяет себе роскошь прямого самовыражения.



Фигура. Рисунок Д. Хармса в записной книжке, июнь – сентябрь 1933 г.

В общем, Клавдия Васильевна, поверьте мне только в одном, что никогда не имел я друга и даже не думал об этом, считая, что та часть (опять эта часть!) меня самого, которая ищет себе друга, может смотреть на оставшуюся часть как на существо, способное наилучшим образом воплотить в себе идею дружбы и той откровенности, той искренности, того самоотверживания, т. е. отверженья (чувствую, что опять хватил далеко и опять начинаю запутываться), того трогательного обмена самых сокровенных мыслей и чувств, способного растрогать… Нет, опять запутался. Лучше в двух словах скажу Вам всё: я бесконечно нежно отношусь к Вам, Клавдия Васильевна! (20 *сентября*)

Я Вам очень благодарен за Ваше письмо. Я очень много о Вас думаю. И мне опять кажется, что Вы

напрасно перебрались в Москву. Я очень люблю театр, но, к сожалению, сейчас театра нет. Время театра, больших поэм и прекрасной архитектуры кончилось сто лет тому назад. Не обольщайте себя надеждой, что Хлебников написал большие поэмы, а Мейерхольд – это всё же театр. Хлебников лучше всех остальных поэтов второй половины XIX (первой четверти XX) века, но его поэмы это только длинные стихотворения; а Мейерхольд не сделал ничего.

Я твердо верю, что время больших поэм, архитектуры и театра когда-нибудь возобновится. Но пока этого еще нет. Пока не созданы новые образцы в этих трех искусствах, лучшими остаются старые пути. И я, на Вашем бы месте, либо постарался сам создать новый театр, если бы чувствовал в себе достаточно величия для такого дела, либо придерживался театра наиболее архаических форм.

Между прочим, ТЮЗ стоит в более выгодном положении, нежели театры для взрослых. Если он и не открывает собой новую эпоху возрождения, он все же, благодаря особым условиям детской аудитории, хоть и засорен театральной наукой, “конструкциями” и “левизной” (не забывайте, что меня самого причисляют к самым “крайне левым поэтам”), – все же чище других театров (5 *октября* 1933).

Это знаменательное письмо: здесь Хармс впервые вслух дистанцируется от левого искусства. В сущности, именно этот текст, как и таблица “ХОРОШО – ПЛОХО”, обозначает принципиальный переворот в мироощущении и эстетике писателя. Переворот, которому еще предстояло оформиться.

Я утешаю себя: будто хорошо, что Вы уехали в Москву. Ибо что получилось бы, если бы Вы остались тут? Либо мы постепенно разочаровались бы друг в друге, либо я полюбил бы Вас и, в силу своего консерватизма, захотел бы видеть Вас своей женой.

Может быть, лучше знать Вас издали (9 *октября*).

И, наконец, самое знаменитое из писем, которое по праву считается манифестом Хармса:

Я думал о том, как прекрасно все первое! как прекрасна первая реальность! Прекрасно солнце, и трава, и камень, и вода, и птица, и жук, и муха, и человек. Но

так же прекрасны и рюмка, и ножик, и ключ, и гребешок. Но если я ослеп, оглох и потерял все свои чувства, то как я могу знать все это прекрасное? Все исчезло, и нет для меня ничего. Но вот я получил осязание, и сразу почти весь мир появился вновь. Я приобрел слух, и мир стал значительно лучше. Я приобрел все следующие чувства, и мир стал еще больше и лучше. Мир стал существовать, как только я впустил его в себя. Пусть он еще в беспорядке, но все же существует!

Однако я стал приводить мир в порядок. И вот тут появилось Искусство. Только тут понял я истинную разницу между солнцем и гребешком, но в то же время я узнал, что это одно и то же.

Теперь моя забота создать правильный порядок. Я увлечен этим и только об этом и думаю. Я говорю об этом, пытаюсь это рассказать, описать, нарисовать, протанцевать, построить. Я творец мира, и это самое главное во мне. Как же я могу не думать постоянно об этом! Во всё, что я делаю, я вкладываю сознание, что я творец мира. И я делаю не просто сапог, но раньше всего я создаю новую вещь. Мне мало того, чтобы сапог вышел удобным, прочным и красивым. Мне важно, чтобы в нем был тот же порядок, что и во всем мире; чтобы порядок мира не пострадал, не загрязнился от соприкосновения с кожей и гвоздями, чтобы, несмотря на форму сапога, он сохранил бы свою форму, остался бы тем же, чем был, остался бы *чистым*.

Это та самая чистота, которая пронизывает все искусства. Когда я пишу стихи, то самым главным кажется мне не идея, не содержание и не форма, и не туманное понятие “качество”, а нечто еще более туманное и непонятное рационалистическому уму, но понятное мне и, надеюсь, Вам, милая Клавдия Васильевна, это – *чистота порядка*.

Эта чистота одна и та же в солнце, траве, человеке и стихах. Истинное искусство стоит в ряду первой *реальности*, оно создает мир и является его первым отражением. Оно обязательно реально.

Но, Боже мой, в каких пустяках заключается истинное искусство! Великая вещь “Божественная комедия”, но и стихотворение “Сквозь волнистые туманы пробирается луна” – не менее велико. Ибо там и там одна и та же чистота, а следовательно, одинаковая близость к реальности, т. е. к самостоятельному

существованию. Это уже не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге, это вещь, такая же реальная, как хрустальный пузырек для чернил, стоящий передо мной на столе. Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется. Вот что могут сделать слова!

Но, с другой стороны, как те же слова могут быть беспомощны и жалки! Я никогда не читаю газет. Это вымышленный, а не созданный мир. Это только жалкий, сбитый типографский шрифт на плохой, занозистой бумаге (16 *октября*).

Клавдия Пугачева (слева) и Александра Бруштейн, 1930-е.

Никогда, ни раньше, ни позже, ни в текстах, предназначенных для публикации, ни в частных письмах Даниил Иванович не позволял себе с таким пафосом говорить о самом главном для себя. Но чем дольше продолжалась переписка с Пугачевой, тем чаще Хармс переходил к своему привычному эксцентричному балагурству:

Дорогая Клавдия Васильевна, я часто вижу Вас во сне. Вы бегаете по комнате с серебряным колокольчиком в руках и всё спрашиваете: “Где деньги? Где деньги?” А я курю трубку и отвечаю Вам: “В сундуке. В сундуке” (10

февраля 1934 *года*).

2

Не следует думать, что, кроме обаятельной полунезнакомки, которой Даниил Иванович поверял не только серьезные раздумья, но (в отличие от Алисы Порет) и свеженаписанные взрослые стихи, у него не было в этот год собеседников. Напротив, это было время такого интенсивного интеллектуального диалога, как, может быть, никогда прежде и никогда после.

То, что связывало Даниила Ивановича с частью соратников короткой поры “бури и натиска”, ушло в прошлое. Но его внутренняя, духовная связь с Введенским никуда не исчезла (пусть даже их личная дружба после обременительного соседства в Курске дала чуть заметную трещину). По-прежнему близки были ему Олейников, Заболоцкий, Липавский и Друскин.

Двадцать четвертого января в квартире Хармса он и его друзья празднуют пятилетие ОБЭРИУ, мешая уснуть Ивану Павловичу. На смену прежним иллюзиям и планам всегда приходят новые. Кажется, что на пепелище может что-то начаться с нуля. Не всепоглощающая юношеская страсть, а “взрослая” и счастливая любовь. Не слава (какое там!), не шумный переворот в искусстве, но нечто, может быть, более глубокое и ценное…

Другая большая дружеская встреча (в несколько ином составе) произошла в марте у Заболоцкого: праздновали его тридцатилетие. Попойка состоялась в чисто мужском составе. На “мальчишнике” были Хармс, Олейников и Харджиев; Екатерина Васильевна Заболоцкая ушла ночевать к подруге.

Разговор (за водкой и бутербродами с красной икрой, считавшейся в то время, в тридцатые годы, едва ли не лакомством нищих) шел о Мандельштаме, которого обэриуты дружно ругали. Заболоцкий (на самом деле Мандельштама любивший, причем без взаимности) делал исключение для одной-единственной строчки: “лепешка медная с туманной переправы”. Особенно непримиримо к мандельштамовской поэзии (как и ко всей русской поэзии Серебряного века, кроме Хлебникова) относился Олейников. По свидетельству Харджиева, он “о том, кого презирал, говорил сквозь зубы: “Ему, наверно, нравится Мандельштам”[300]. Как резонно замечала Лидия Гинзбург, если Олейникову нравились собственные стихи, Мандельштам ему нравиться не мог. Это для читателей следующих поколений противоположные эстетики образуют гармоническое единство. Живая литература – почти всегда спор, битва равных и неравных.

Но не каждая эпоха предоставляет для этой битвы удобное поле.

Николай Олейников, 16 декабря 1932 г.

Лидия Гинзбург, 1940-е.

Только к тридцати пяти годам Олейников нашел себя как поэт. Его новые стихи, с которыми Хармс познакомился после возвращения из Курска, – “Надклассовая поэма”, “Служение науке”, “Чревоугодие” и другие – были выше всего, созданного им прежде и принадлежали к вершинам обэриутского метафизического юмора. Сам Олейников все еще не воспринимал себя как поэта, смущался похвалами Хармса, а Лидии Гинзбург (которая, возможно, больше, чем кто-либо, восхищалась олейниковской поэзией) говорил: “Это не серьезно. Это вроде того, как я вхожу в комнату, раскланиваюсь и говорю что-нибудь. Это стихи, за которыми можно скрыться. Настоящие стихи раскрывают. Мои стихи – это как ваш “Пинкертон”, как исторические повести для юношества”[301].

В моду вошел и Хармс – в очень узком кругу ленинградских филологов, но все же вошел. “На Хармса теперь пошла мода, – писала в своем дневнике в конце 1932 года Гинзбург. – Вокруг говорят: “Заболоцкий, конечно… Но – Хармс! Боятся проморгать его, как Хлебникова. Но он-то уже похож на Хлебникова. А проморгают опять кого-нибудь ни на кого не похожего. Олейников говорит, что стихи Хармса имеют отношение к жизни, как заклинания. Что не следует ожидать от них другого”[302].

Николай Макарович, как всегда, был злоязычен – даже по отношению к близким друзьям…

Так или иначе, к началу 1930-х бывшие обэриуты достигли благословенной поры жизненного расцвета, и почти все находились в блестящей творческой форме. Так получилось, что эта их расцветная пора совпала с наступлением самой жуткой и непроглядной внешней тьмы. Но пока что они пытались жить, как подобает тридцатилетним, полным сил и мыслей писателям. Тесный круг их поклонников составляли сверстники; младших не было, но тридцатилетние гении еще не тяготятся отсутствием учеников. Старшие по возрасту поэты обэриутов, как правило, не понимали (Мандельштаму в Заболоцком не хватало “гуманизма” – тем более его не хватало бы в Хармсе, Введенском, Олейникове; Ахматова в Олейникове видела всего лишь хорошую юмористику – а поэзию Заболоцкого она полюбила, но лишь несколько лет спустя). Сами же они отвергали акмеистов и многих из футуристов, как отвергает почти всякое поколение своих непосредственных предшественников. Сложной и полифонической поэтике модернизма противопоставлялись, с одной стороны, радикальные авангардисты, с другой (чем дальше, тем больше) – классическое и народное искусство. В 1933 году после ночного пиршества у юбиляра Заболоцкого друзья-поэты отправились в Русский музей, где с восхищением рассматривали полотна Венецианова и художников его школы. Это не мешало им восхищаться Малевичем. Но невозможно представить их восторгающимися Ван Гогом или Врубелем, по крайней мере, в 1930-е годы.

Концепция истории поэтического искусства, которую в большей или меньшей степени разделяли к середине тридцатых Хармс и его друзья, была примерно такой:

> Когда-то у поэзии было все. Потом одно за другим отнималось наукой, религией, прозой, чем угодно. Последний, уже ограниченный, расцвет в поэзии был при романтиках. В России поэзия жила один век – от Ломоносова до Пушкина. Быть может, сейчас, после большого перерыва пришел новый поэтический век. Если и так, то сейчас только самое его начало…[303]

Эти слова принадлежат Заболоцкому, но они очень близки к высказываниям Хармса из писем к Пугачевой. Это нам поэзия Хармса, Введенского, Заболоцкого, Олейникова кажется блистательным завершением великой эпохи русского модернизма первой трети XX столетия, широко понимаемого Серебряного века. Для них самих эта эпоха была периодом упадка, и себе они

казались зачинателями, а не продолжателями или завершителями. А если продолжателями – то Пушкина и Гёте, а не Пастернака и Мандельштама.

В день празднования пятилетия ОБЭРИУ Иван Павлович Ювачев нарисовал в дневнике кривую жизни своего сына – несимметричный знак бесконечности, левая, меньшая, синяя сторона – отрицательная. “Даня сейчас находится в синей отрицательной полосе”. Отрицательной, вероятно, по обеим осям – но с восходящим движением. Вера в это “восходящее движение” присуща была и его друзьям, которые именно в этот момент начинают снова систематически встречаться – не для попоек, не для праздной болтовни, а для серьезных бесед о жизни, литературе, философии. Это и был “Клуб малообразованных ученых”, задуманный еще в 1931 году Хармсом. Центральной фигурой в этом “клубе” стал Леонид Липавский. Он был не только хозяином дома, где “малообразованные ученые” собирались, но их Эккерманом. Его “Разговоры” – один из главных документов интеллектуальной жизни 1930-х годов и один из главных источников обэриутоведения.

В “Разговорах” участвовало, как отмечает в конце Липавский, семь человек, обозначенных литерами: сам Липавский (Л. Л.), Хармс (Д. Х.), Введенский (А. И.), Заболоцкий (Н. А.), Друскин (Я. С.), Олейников (Н. М.) и филолог германист Дмитрий Дмитриевич Михайлов (Д. Д.). Михайлов, родившийся в 1892 году, был старше всех; Хармс был самым молодым. Иногда подавала реплику Тамара Александровна Мейер-Липавская (Т. А.) – единственная женщина, которую члены кружка считали достойной собеседницей. (Снисходительно-патриархальный взгляд на женщин, на женский ум, на женское творчество был присущ в той или иной степени и Хармсу, и Введенскому, и Олейникову, и Заболоцкому; Евгений Шварц вспоминает про “женофобские” разговоры, которые вели обэриуты за бутылкой.)

Стоит обратить внимание на то, что к этому моменту из хармсовского круга окончательно выбыли Левин и Бахтерев. Что касается первого, то о его “перестройке” мы уже писали. В первом издании книги Левина “Десять вагонов” (1931), посвященной ленинградскому еврейскому детдому, в здание детдома случайно, спасаясь от дождя, забредают два писателя. Дети рассказывают им о своих судьбах и о своей жизни в детдоме. Один из писателей (Ледин) автобиографичен, в другом (Хлопушине, авторе книги “Как Колька Лямкин летал в Аргентину”) легко угадывается Хармс. Во втором издании книги (1933) Хлопушина уже нет. После этого никакие соприкосновения Левина и Хармса не зафиксированы. Что касается Бахтерева, то он в 1930-е годы, и до,

и после ссылки, писал в соавторстве с Александром Разумовским. Судя по всему, личный разрыв Бахтерева с Хармсом произошел в 1934-м. Свидетельством этого может служить черновое письмо Хармса от 16 мая. Адресат его не указан, и потому оно впервые было опубликовано как письмо Введенскому. Но – если судить по содержанию – гораздо вероятнее, что оно обращено к Бахтереву. Такое предположение выдвинул уже первый публикатор, В.Н. Сажин.

> Теперь относительно твоей стряпчей злости в связи с визитом Разумовского. Я не скажу больше, что мне ничего не понятно. Наоборот, мне ясно все!
>
> Ты пришел в благородное негодование за то, что я сказал Разумовскому, что ты в своем умственном развитии не поднимаешься над уровнем такого же умственного развития писателя Брыкина; что у тебя на брюхе нарисован зеленой краской вопросительный знак, и ты считаешь это самым таинственным событием в своей жизни; и наконец, что сам Разумовский очень тонкая личность и что в его сценариях есть что-то напоминающее “Божественную комедию”.
>
> После всего сказанного можешь поступать как хочешь.
>
> Одним дураком меньше, одним воздухом больше.
>
> Установим следующие отношения:
>
> 1) При встречах друг с другом на неофициальные темы не заговаривать, но вежливо здороваться.
>
> 2) В делах друг другу не гадить и палки в колеса не совать.

И здесь немало обэриутского озорства (фраза про зеленый вопросительный знак), но конец письма вполне серьезен. И все-таки, разойдясь с друзьями молодости, Игорь Бахтерев десятилетиями продолжал для себя писать “обэриутские” стихи. Стихи, похожие на то, что Хармс и Введенский делали в конце 20-х.

Хармс оставался с теми, и с ним оставались те, кто продолжал развиваться, кто шел дальше по собственному, а не навязанному обстоятельствами пути. Притом что сами они отнюдь не составляли какого-то единства. Общих встреч в доме Липавского не было. Хозяин и его гости беседовали небольшими группками, по два-три человека. Заболоцкий и Введенский, поссорившиеся, никогда не появлялись одновременно. Это было желание Заболоцкого, обрубавшего все попытки хотя бы отчасти восстановить прежнюю дружбу.

Открываются “Разговоры” четырьмя списками: Хармс, Заболоцкий, Олейников и Липавский перечисляют свои интересы. Перечисления эти столь любопытны, что стоит их привести:

Н. М. сказал: Меня интересует – питание; числа; насекомые; журналы; стихи; свет; цвета; оптика; занимательное чтение; женщины; пифагорейство-лейбницейство; картинки; устройство жилища; правила жизни; опыты без приборов; задачи; рецептура; масштабы; мировые положения; знаки; спички; рюмки, вилки, ключи и т. п.; чернила, карандаш и бумага; способы письма; искусство разговаривать; взаимоотношения с людьми; гипнотизм; доморощенная философия; люди XX века; скука; проза; кино и фотография; балет; ежедневная запись; природа; “АлександроГриновщина”; история нашего времени; опыты над самим собой; математические действия; магнит; назначение различных предметов и животных; озарение; формы бесконечности; ликвидация брезгливости; терпимость; жалость; чистота и грязь; виды хвастовства; внутреннее строение земли; консерватизм; некоторые разговоры с женщинами.

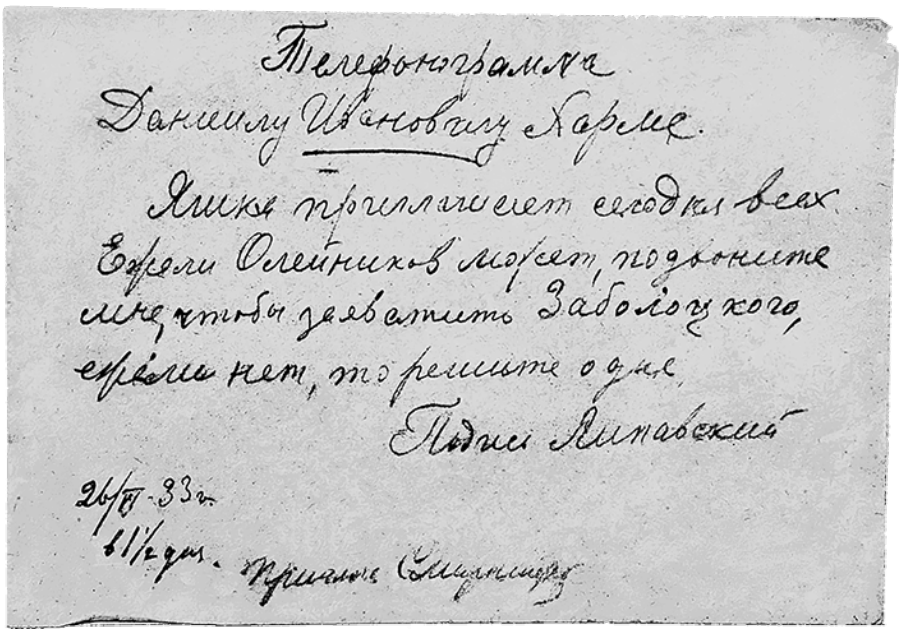
Н. А., отвечая на тот же вопрос, произнес: Архитектура; правила для больших сооружений. Символика; изображение мыслей в виде условного расположения предметов и частей их. Практика религий по перечисленным вещам. Стихи. Разные простые явления – драка, обед, танцы. Мясо и тесто. Водка и пиво. Народная астрономия. Народные числа. Сон. Положения и фигуры революции. Северные народности. Уничтожение французиков. Музыка, ее архитектура, фуги. Строение картин природы. Домашние животные. Звери и насекомые. Птицы. Доброта-Красота-Истина. Фигуры и положения при военных действиях. Смерть. Книга, как ее создать. Буквы, знаки, цифры. Кимвалы. Корабли.

Д. Х. сказал, что его интересует. Вот что его интересует: Писание стихов и узнавание из стихов разных вещей. Проза. Озарение, вдохновение, просветление, сверхсознание, все, что к этому имеет отношение; пути достижения этого; нахождение своей системы достижения. Различные знания, неизвестные

науке. Нуль и ноль. Числа, особенно не связанные порядком последовательности. Знаки. Буквы. Шрифты и почерка. Все логически бессмысленное и нелепое. Все вызывающее смех, юмор. Глупость. Естественные мыслители. Приметы старинные и заново выдуманные кем бы то ни было. Чудо. Фокусы (без аппаратов). Человеческие, частные взаимоотношения. Хороший тон. Человеческие лица. Запахи. Уничтожение брезгливости. Умывание, купание, ванна. Чистота и грязь. Пища. Приготовление некоторых блюд. Убранство обеденного стола. Устройство дома, квартиры и комнаты. Одежда, мужская и женская. Вопросы ношения одежды. Курение (трубки и сигары). Что делают люди наедине с собой. Сон. Записные книжки. Писание на бумаге чернилами или карандашом. Бумага, чернила, карандаш. Ежедневная запись событий. Запись погоды. Фазы луны. Вид неба и воды. Колесо. Палки, трости, жезлы. Муравейник. Маленькие гладкошерстные собаки. Каббала. Пифагор. Театр (свой). Пение. Церковное богослужение и пение. Всякие обряды. Карманные часы и хронометры. Пластроны. Женщины, но только моего любимого типа. Половая физиология женщин. Молчание.

Л. Л. интересует. Время. Превращение и уничтожение пространства. Несуществование и непредметное существование (например – запах, теплота, погода). Исследование смерти. Как может быть частный случай. Мировые линии, слова, иероглифы. Тело, рост, дыхание, пульс. Сон и видение себя во сне. Сияние, прозрачность, туман. Волна. Форма дерева. Происхождение, рассечение и изменение ощущений. Гамма, спектр. Черный цвет. Смысл чувства (например, – ужас, головокружение). Неубедительность математических доказательств. Строение круга. Вращение, угол, прямая. Шахматная доска как особый мир. Рай, нравственность и долг. Правила жизни. Счастье и его связь с некоторыми веществами и консистенциями. Чистота. Что значит прекрасное. Окраины, пустыри, заборы; убогость, проституция. Описи, энциклопедии, справочники, иерархии. Предки, евреи. Типы женщин. Причины полового тяготения. Судьбы жизней. Траектория революции. Старость, угасание потребностей. Вода, течение. Трубы, галереи, тюбики. Тропическое чувство. Связь сознания с

пространством и личностью. О чем думает вагоновожатый во время работы. Волосы, песок, дождь, звук сирены, мембрана, вокзалы, фонтаны. Совпадения в жизни. Длительность при общении, когда минует уже и интерес, и раздражение, и скука, и усталость. Одинаковое выражение лица у разных женщин в некоторые моменты[304].


Телефонограмма
Даниилу Ивановичу Хармсу.
Яшка приглашает сегодня всех.
Ежели Олейников может, позвоните
мне, чтобы захватить Заболоцкого,
ежели нет, то решите одне.
Подпись Липавский
26/VI-33г.
1½ дня. Приняла Смирнова

Телефонограмма Леонида Липавского Даниилу Хармсу. “Телефонограмма Даниилу Ивановичу Хармсу. Яшка приглашает сегодня всех. Ежели Олейников может, позвоните мне, чтобы захватить Заболоцкого, ежели нет, то решите одне. Подпись: Липавский 26/VI – 33 г. в 1½. Приняла Смирнова”.

Миры, очерченные этими списками, различны, но совместимы. Хармс к своему списку не раз возвращался в записных книжках, дополняя и корректируя его. В одном из вариантов упоминаются любимые места прогулок – “по Невскому, по Марсову полю, по Летнему саду, по Троицкому мосту” (не слишком оригинальный список). Из пригородных местностей упоминается Екатерининский парк Царского Села, Лахта и Ольгино. И Царское Село, и приморские окрестности Петербурга часто поминаются в хармсовской прозе.

Что объединяло “малообразованных ученых”?

Во-первых, отчужденное и мрачное восприятие окружающего мира, которым в тот момент “заразились” и Олейников, и Заболоцкий, и Липавский – более социально ангажированные и

активные участники сообщества. Особенно характерны настроения Николая Заболоцкого. В обэриутоведческой литературе его порою принято обвинять в “конформизме”, причем создание таких стихотворений, как “Север”, “Голубиная книга”, “Горийская симфония”, связывается с его отходом от эстетики “Столбцов” и соответствующего мировосприятия. Но разве “Столбцы” – книга менее “красная”, менее просоветская, чем стихи Заболоцкого середины 1930-х? Разумеется, ошибочно видеть в ней лишь сатиру на нэп, но еще более ошибочно сводить ее к собранию пластических этюдов. Пафос знаменитой книги Заболоцкого, особенно в ее раннем, аутентичном варианте – бешено-якобинский или, если угодно, троцкистский. Уродливый торговый рай современного города для него – одно из воплощений ненавистного ему стихийного природного начала, хищничества, не просветленного духом. Не случайно в книгу вошло стихотворение “Пир” – почти шокирующий в своей откровенности гимн преобразующему бытие насилию:

О штык, летающий повсюду,
холодный тельцем, кровяной,
о штык, пронзающий Иуду,
коли еще – и я с тобой!

Без сомнения, Заболоцкий был искренен и в момент создания “Торжества земледелия”. Но в 1933–1934 годах его вера в государственную власть и ее способность к творческому преобразованию мира переживала глубокий кризис. Это было связано и со страшными вестями, приходившими из южных деревень (по свидетельству сына, Заболоцкие что-то знали о происходящем, как многие горожане, от домработницы, получавшей известия от родственников), и с той травлей, которой сам Николай Алексеевич подвергался после публикации своей поэмы.

Липавский зафиксировал сказанные ему Заболоцким слова: “Мы все живем, как запертые в ящике. Больше так жить невозможно, при ней нельзя писать…”[305] “При ней” – при ком? При советской власти? Все же нет, наверное. В присутствии грозящей гибели, упоминавшейся в предыдущем абзаце? Но там шла речь о голодной смерти, которая как раз Заболоцкому, как и другим обэриутам-литераторам (Хармсу, Введенскому), по мнению Липавского, не грозит. Поразительно, насколько близка формулировка Заболоцкого “Мы живем, как запертые в ящике” к начальным строкам написанного в том же году знаменитого стихотворения Мандельштама: “Мы живем, под собою не чуя

страны, наши речи за десять шагов не слышны”.

Свою собственную позицию Заболоцкий в 1933 году определяет с неожиданным для него мрачноватым цинизмом:

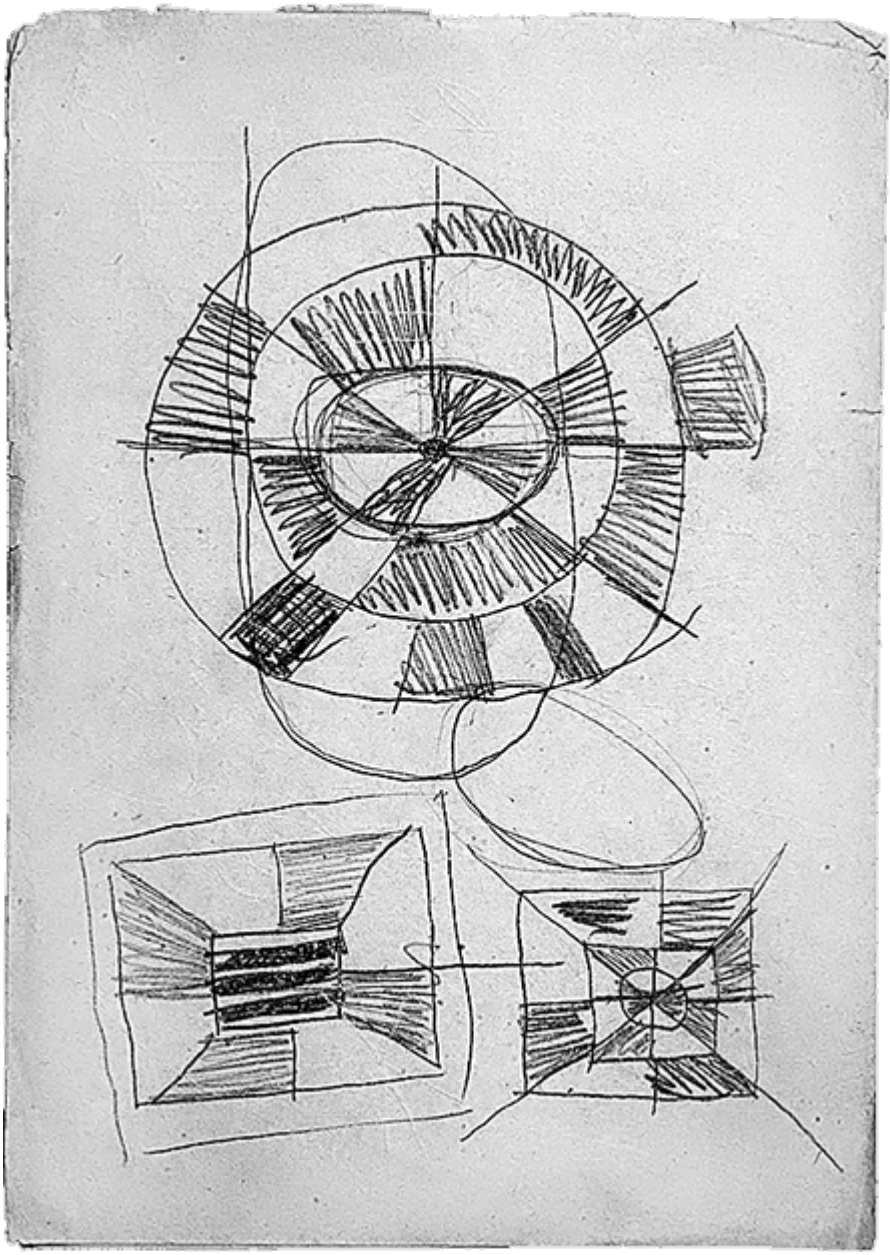
> Я заключил договор на переделку “Гаргантюа и Пантагрюэль”. Это, пожалуй, даже приятная работа. К тому же я чувствую сродство с Рабле. Он, например, хотя и был неверующим, а целовал при случае руку папе. И я тоже, когда нужно, целую ручку некоему папе[306].

Опять же, не стоит понимать это буквально: “некий папа” – это не Сталин (о котором Заболоцкий вплоть до 1936 года ничего не писал), это – символ тех компромиссов, на которые поэту приходилось идти. Но кто в кругу “малообразованных ученых”, кроме Друскина, мог похвастаться обратным? Компромиссы, которые допускали для себя иные из них, были похуже тех, которые успел к 1933 году совершить Заболоцкий. Введенский, верующий человек, писал и печатал антирелигиозные стихи, Липавскому основной заработок приносили книжки о Великом Октябре.

Будучи не в ладах с современностью, все участники кружка отвергали в то же время староинтеллигентские ценности и традиционную интеллигентскую этику. Отвергали с разных позиций, с разными оттенками. Для кого-то из них крушение традиционного гуманизма было трагедией, для кого-то – нет, но в том, что он умер, сомнений не было ни у кого. Но либерально-позитивистское всезнайство российских двойников мсье д’Омэ ни у кого не вызывало симпатий:

> Д. Д. Конечно, лучший век для жизни был XIX. Короткий промежуток в истории, он, может быть, не повторится, когда человека, считалось, надо уважать просто за то, что он человек. Тогда к этому так привыкли, что думали, так будет продолжаться вечно.
>
> А. В. А наука того времени?
>
> Д. Д. Она не определяла жизни. Дарвинизм, борьба за существование, а в жизни суд присяжных, последнее слово подсудимому, постепенная отмена смертной казни. Но наука показывала: что-то подгрызает корни этого века.
>
> Л. Л. В конце прошлого века и в начале нашего часто в книгах, в тексте или на полях писали слово “*sic*” с восклицательным знаком. Почему?
>
> Д. Д. Это у русских меньшевиков. Оно обозначало непомерную гордыню и сектантское всезнайство, при

котором все кажется так ясно, что иное мнение считается своего рода умственным уродством. Короче говоря, “sic” означало: кто не согласен – дурак[307].



Реакция на эту ситуацию была различна. Для Введенского характерен был полный отказ от всего общего и временного ради индивидуального и вечного: “Какое это имеет значение, народы и их судьбы? Важно, что сейчас люди больше думают о времени и

смерти, чем прежде; остальное все, что считается важным, – безразлично…”[308] Интересно, что такое демонстративное пренебрежение “народами и их судьбами” порою сочеталось у Введенского с тонким чувством конкретно-исторической реальности (в “Четырех разговорах”, где в монологах Умиров (то есть умирающих) немногими штрихами воссоздается несколько эпох русской истории конца XIX – начала XX века, в “Елке у Ивановых”). Но эти детали нужны поэту лишь для того, чтобы продемонстрировать их ничтожество перед вечными категориями времени и смерти.

Позиция Липавского и Михайлова была иной. Они-то как раз думали о судьбах страны и человечества, об истории и даже собирались писать “книжку о последних днях перед весной 1914 года, о расцвете того времени и неизбежной, все же неожиданной катастрофе”[309]. Сорокалетний Михайлов помнил эти времена, Липавский застал их ребенком, но, видимо, в основе своей их взгляд на эту эпоху совпадал.

Круг вопросов, которые обсуждали “малообразованные ученые”, был необыкновенно широк. Позиция дилетантов-энциклопедистов казалась предпочтительней в уникальной культурной ситуации, когда профессионализм в старом понимании утратил (так должно было казаться Хармсу и его друзьям) всякий смысл. Липавский обсуждает с одним из своих гостей – Владимиром Проппом – его теорию происхождения сказки; речь заходит о лингвистике (“Теория слов” Липавского написана два года спустя), о Фламмарионе, о Хлебникове, о Киевской и Суздальской Руси, о реформах Столыпина, о правилах соблазнения женщин. Часто разговор касался глобальных категорий, и тогда оказывалось, что, к примеру, “рационалист” Заболоцкий находится в плену идей и образов еще более странных, чем эксцентрик Хармс (все же получивший техническое образование):

> Н. А. видел сон, который взволновал его, сон о тяготении.
>
> Н. А. Тяготения нет, все вещи летят, и земля мешает их полету, как экран на пути. Тяготение – прервавшееся движение и то, что тяжелей, летит быстрее, нагоняет.
>
> Д. Х. Но ведь известно, что все вещи падают одинаково быстро. И потом, если земля – препятствие на пути полета вещей, то непонятно, почему на другой стороне земли, в Америке, вещи тоже летят к земле, значит, в противоположном направлении, чем у нас.
>
> Н. А. сначала растерялся, но потом нашел ответ.

Н. А. Те вещи, которые летят не по направлению к земле, их и нет на земле. Остались только подходящих направлений.

Д. Х. Тогда, значит, если направление твоего полета такое, что здесь тебя прижимает к земле, то, когда ты попадешь в Америку, ты начнешь скользить на брюхе по касательной к земле и улетишь навсегда.

Н. А. Вселенная, это полый шар, лучи полета идут по радиусам внутрь, к земле. Поэтому никто и не отрывается от земли…[310]

Инициаторами философских бесед выступали, разумеется, Липавский и Друскин. Как раз в это время в их сознании рождались те зыбкие и трудноопределимые (философские, или, может быть, квазифилософские) категории, которые постепенно стали общим достоянием кружка. Липавский ввел такие понятия, как “соседний мир” и “вестник”. Соседний мир – это мир, существующий в сознании другого человека. “Вестники” (перевод слова “ангел”) – существа из воображаемого соседнего мира. В 1932–1934 годах Друскин создает свои основные философские работы, опубликованные лишь посмертно: “Разговоры вестников” (большое трехчастное эссе), “Вестники и их разговоры” (короткий, трехстраничный текст – своего рода квинтэссенция предыдущего сочинения), “Это и то”, “Перед принадлежностями чего-либо”. После чтения Друскиным “Разговоров вестников” (в октябре 1933 года) Хармс записал: “Я – вестник”.

“Я – вестник”… Но что это значит? Что он, Даниил Иванович Хармс-Ювачев, – не вполне человек, а скорее существо из чьего-то воображаемого мира, несущее загадочное известие?

Вестники не умеют соединять одно с другим. Но они наблюдают первоначальное соединение существующего с несуществующим. Вестники знают порядки других миров и различные способы существования…

Вестники не имеют памяти. Хотя они знают все приметы, но каждый день открывают их заново. Каждую примету они открывают при случае. Также они не знают ничего, что не касается их…[311]

Сам Хармс в более позднем тексте еще радикальнее подчеркивает зыбкость, неопределимость, присущие вестникам, доводя ее до абсурда:

– Надо выпить воды, – сказал я. Рядом со мной на столике стоял кувшин с водой.

Я протянул руку и взял этот кувшин.

– Вода может помочь, – сказал я и стал смотреть на воду. Тут я понял, что ко мне пришли вестники, но я не могу отличить их от воды. Я боялся пить эту воду, потому что по ошибке мог выпить вестника. Что это значит? Это ничего не значит. Выпить можно только жидкость. А вестники разве жидкость? Значит, я могу выпить воду, тут нечего бояться. Но я не могу найти воды. Я ходил по комнате и искал её. Я попробовал сунуть в рот ремешок, но это была не вода. Я сунул в рот календарь – это тоже не вода. Я плюнул на воду и стал искать вестников. Но как их найти? На что они похожи?

Я помнил, что не мог отличить их от воды, значит, они похожи на воду. Но на что похожа вода? Я стоял и думал. Не знаю, сколько времени стоял я и думал, но вдруг я вздрогнул.

– Вот вода! – сказал я себе.

Но это была не вода, это просто зачесалось у меня ухо (*“О том, как меня посетили вестники”*).

Другой категорией, введенной уже самим Друскиным, стало “равновесие с небольшой погрешностью” – динамическое состояние, в котором пребывает мир. Само сотворение мира уже было нарушением равновесия; каждое новое сказанное слово нарушает его снова и снова. Равновесие восстанавливается, но “небольшая погрешность” является залогом жизненной силы и подвижности мира.

Яков Друскин, 1930-е.

Это было, в сущности, иное, более детализированное определение того “порядка”, той “чистоты”, к которым Хармс стремился в своем творчестве. Не случайно формулировки Друскина так ему понравились и были им, в каких-то отношениях, подняты на щит. В 1938 году Хармс, пытавшийся выйти из депрессии, охватившей его в дни Большого Террора, учредил полушутливый “Орден равновесия с небольшой погрешностью”, в который принимал своих друзей и знакомых.

Если Друскин и Липавский в первой половине тридцатых создавали свои самые глубокие (и самые талантливые в литературном отношении) философские работы, то их друзья-

писатели также переживали пору расцвета. Почти все главные стихи Введенского и Олейникова написаны именно тогда. Хармс (об этом чуть ниже) также пишет свои лучшие стихи – и постепенно переходит к прозе, уже зрелой, “настоящей” прозе, ставшей вершиной его творчества. Из-под пера Заболоцкого в первой половине 1933 года выходит, в частности, длинное стихотворение “Время” и три философские поэмы, “Деревья”, “Птицы” и “Облака”, продолжающие линию более ранних вещей – “Торжества земледелия” и “Безумного волка”. “Время” особенно интересно, потому что в нем, в художественно преображенной форме, воссоздается атмосфера встреч у Липавского. Прототипы четырех героев стихотворения – Ираклия, Тихона, Льва и Фомы – Олейников, Липавский, Хармс и сам Заболоцкий. “Разговор о времени” приводит героев к необходимости “истребить часы” – и эту идею осуществляет Лев (Хармс):

Тогда встает безмолвный Лев,
Ружье берет, остервенев,
Влагает в дуло два заряда,
Всыпает порох роковой
И в середину циферблата
Стреляет крепкою рукой.
И все в дыму стоят, как боги,
И шепчут грозное “Виват!”,
И женщины железной ноги
Горят над ними в двести ватт.
И все растенья припадают
К стеклу, похожему на клей,
И с удивленьем наблюдают
Могилу разума людей.

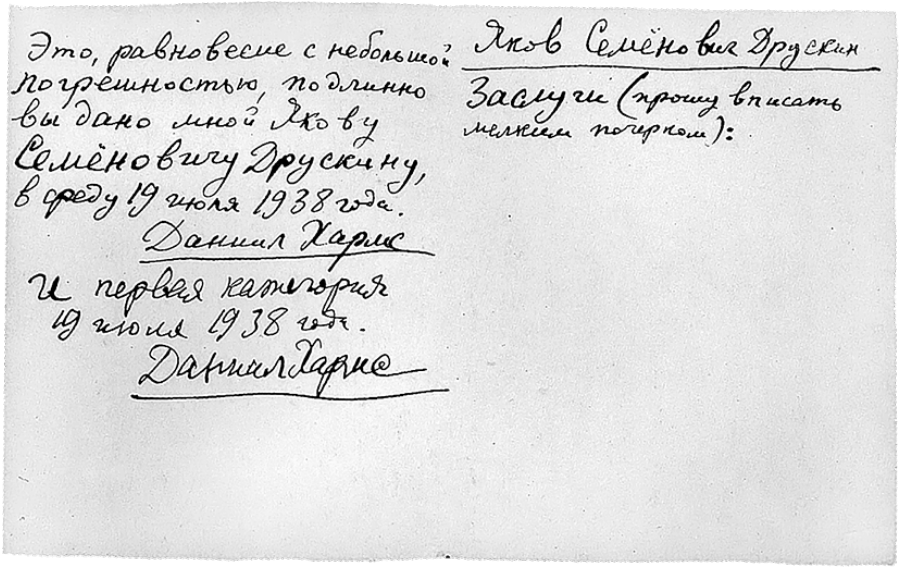
Можно еще раз вспомнить “похороны часов” на уже поминавшейся картине Анатолия Каплана.

Поэма “Облака”, казавшаяся Заболоцкому в тот момент, вероятно, самым значительным из созданных им произведений, была позднее уничтожена им, кроме одного фрагмента – “Отдыхающие крестьяне”, ставшего отдельным стихотворением. Поэма была завершена в мае 1933-го, но лишь около 1 октября Заболоцкий прочитал ее в доме Липавского (в тот же вечер или днем раньше чтения Друскиным “Разговоров вестников”). После чтения Липавский и Заболоцкий спорили о необходимости для современной большой поэмы плана, сюжетности. План “Облаков” дошел до нас только в изложении Хармса. Судя по всему, в поэме шла речь о “нестройных, выпуклых, понурых” фигурах облаков,

затем – о некой философской беседе, и, наконец, появлялся маленький “мирок” крестьян (здесь и следовал сохраненный Заболоцким фрагмент) и начиналась история Пастуха, преобразовавшего их жизнь. Упоминаются “животные”, “предки”; все это образы из “Торжества земледелия”. Заканчивается запись Хармса такой фразой “Смерть Пастуха. С тех пор опять мужики хуже”. Судя по всему, поэма выражала разочарование, по крайней мере частичное, в тех утопических идеях, которые характерны для раннего Заболоцкого. Тем не менее Хармсу поэма понравилась не слишком.

Шестнадцатого октября в письме к Пугачевой он так описывает свои впечатления от поэмы:

> Сегодня был у меня Заболоцкий. Он давно увлекается архитектурой и вот написал поэму, где много высказал замечательных мыслей об архитектуре и человеческой жизни. Я знаю, что этим будут восторгаться много людей. Но я также знаю, что эта поэма плоха. Только в некоторых своих частях она, почти случайно, хороша. Это две категории.
>
> Первая категория понятна и проста. Тут всё так ясно, что́ нужно делать. Понятно, куда стремиться, чего достигать и как это осуществить. Тут виден путь. Об этом можно рассуждать; и когда-нибудь литературный критик напишет целый том по этому поводу, а комментатор – шесть томов о том, что́ это значит. Тут всё обстоит вполне благополучно.
>
> О второй категории никто не скажет ни слова, хотя именно она делает хорошей всю эту архитектуру и мысль о человеческой жизни. Она непонятна, непостижима и в то же время прекрасна, вторая категория! Но её нельзя достигнуть, к ней даже нелепо стремиться, к ней нет дорог. Именно эта вторая категория заставляет человека вдруг бросить всё и заняться математикой, а потом, бросив математику, вдруг увлечься арабской музыкой, а потом жениться, а потом, зарезав жену и сына, лежать на животе и рассматривать цветок.
>
> Это та самая неблагополучная категория, которая делает гения.
>
> (Кстати, это я говорю уже не о Заболоцком, он еще жену свою не убил и даже не увлекался математикой.)


Это, равновесие с небольшой погрешностью, подлинно выдано мной Якову Семёновичу Друскину, в среду 19 июля 1938 года.
Даниил Хармс
и первая категория 19 июля 1938 года.
Даниил Хармс
Яков Семёнович Друскин
Заслуги (прошу вписать мелким почерком):

Билет “Ордена равновесия с небольшой погрешностью”, выданный Даниилом Хармсом Якову Друскину, 19 июля 1938 г.

“Гениальность”, далеко не сводящуюся к творческим достижениям, Хармс видел в Введенском, антиподе слишком “благополучного” Заболоцкого. В чисто человеческом, бытовом отношении оба поэта в тот момент были, возможно, ближе всего Хармсу из участников кружка. Их именами открывается список “С кем я на ты” в одной из записных книжек 1933 года. Ни Липавского, ни Друскина, ни Олейникова в нем нет[312]. В любви к обоим – Введенскому и Заболоцкому – Хармс признавался в одном из разговоров с Липавским. Но отчуждение с обоими нарастало: первая трещина в дружбе с Заболоцким наметилась еще в конце 1928 года, а неразлучный союз Хармса и Введенского пошатнулся в дни курской ссылки.

Введенский читал у Липавского роман “Убийцы вы дураки”, другие (также не дошедшие до нас) прозаические произведения и, вероятно, знаменитое стихотворение “Мне жалко что я не зверь”. Товарищи восхищались огромным даром Введенского, но Липавскому казалось, что дар этот все еще не может в полной мере реализоваться. Хармс же относился ко многим сторонам творческой личности Введенского почти со страхом.

Николай Заболоцкий, 1930-е.

Александр Введенский, 1930-е.

> – Демоническое, сказал Гёте 2 марта 1831 года – есть то, что не решается при помощи разума и рассудка. В моей натуре его нет, но я ему подчинен…
>
> …Я думаю, что среди нас наиболее демоничен – А.И. Введенский.

Хармс стремился походить на Гёте; значило ли это, что он ощущал свою “подчиненность” демонической природе Введенского? Но дальше идут примечательные слова:

> Гёте сказал: “Человек должен стараться одержать верх над демоническим”.

Скрытая внутренняя борьба с ближайшим другом и

единомышленником проявлялась как в сложно-метафизических, так и в шутливых, бытовых формах. Порет вспоминает те издевательские диалоги, которые вели между собой Хармс и Введенский, – например, такой:

> А. И. Можно узнать, Даня, почему у вас такой мертвенно-серый, я бы сказал, оловянный цвет лица?
>
> Д. И. Отвечу с удовольствием – я специально не моюсь и не вытираю никогда пыль с лица, чтобы женщины рядом со мной казались еще более розовыми.
>
> А. И. В вашей внешности есть погрешности – хотя лично мне они очень нравятся. Я мечтал бы завести тоже одну вещь, которая находится у вас на спине, но, увы, это недосягаемо.
>
> Д. И. Что именно вы имеете в виду?
>
> А. И. Я имею в виду ту жировую подушку, или искривление позвоночника, которое именуется горбом.
>
> Д. И. Вы очень добры, что обратили на это внимание – кроме вас этого никто не заметил, да и я, признаюсь, не подозревал, что у меня есть эта надстройка.
>
> А. И. Хорошо, что есть на свете друзья, которые указывают нам на наши телесные недостатки.
>
> Д. И. Да, это прекрасно. Я в свою очередь хочу вас спросить – эти глубокие черные дырки на ваших щеках, это разрушительная работа червей еще при жизни, или следы пороха, или татуировка под угрей?
>
> А. И. Ваш вопрос меня несколько огорошил. Ни одна женщина не спрашивала меня об этом. Их скорее интересовали мои кудри[313].

Со стороны эта игра выглядела мило и забавно. В это же время Хармс предупредил юную и наивную Елизавету Коваленкову, к которой Введенский проявлял интерес, что Александр Иванович – человек опасный и развратный: он живет с ужами![314]

Если даже в отношениях Хармса и Введенского все уже было не так просто, как прежде, то о других нечего и говорить. Полный планов и обещаний год высоких бесед завершился взаимным раздражением их участников. Претензии копились исподволь; Липавский фиксировал то, что его гости говорили друг о друге за глаза. Характерен, например, следующий диалог:

> Л. Л. Почему вы, Я. С., не любите Н. А.?
>
> Я. С. Люди делятся на жалких и самодовольных; В Н. А. нет жалкого, он важен, как генерал.

Н. М. Это неверно. Разве не жалок он со всеми своими как будто твердыми взглядами, которые он так упрямо отстаивает и вдруг меняет на противоположные, со всей своей путаностью?

Я. С. А Д. Х.?

Н. М. Он – соглашатель, это в нем основное. Если он говорит, что Бах плох, а Моцарт хорош, это значит всего-навсего, что кто-то так говорит или мог бы говорить и он с ним соглашается… Я же не соглашатель, а либерал. Что значит, у меня нет брезгливости к людям и их мнениям.

Л. Л. Но вы их не уважаете.

Н. М. Да, пожалуй. На склоне лет я с ужасом замечаю, что характер у меня плохой, может быть от дурного воспитания. Да, я плохо отношусь к людям.

Л. Л. И капризно. В вас нельзя быть уверенным, в любой момент вы можете без причин проявить грубость. Вы относитесь к людям неровно, либо презрительно, либо верите в их авторитет, как женщина. И никогда не известно, где граница вашего самоволия.

Н. М. Если бы можно было убить без всяких неприятностей для себя, чтобы избавиться от забот и нужд, я бы это сделал…[315]

Если Друскин Заболоцкого недолюбливал, то тот относился к Якову Семеновичу с иронией: “Быть бы Я. С. еврейским начетчиком, а он сбился с пути и оттого тоскует”[316]. Оказавшись хранителем архива своих друзей, Яков Семенович прочел и эту фразу, которая ему должна была быть особенно обидной – тем более потому, что в глубине души он не мог не сознавать некоторой ее справедливости: христианин, далеко ушедший от своих еврейских корней, Друскин сохранил особый “талмудистский” склад мышления и в особенности личности. Не случайно неприязнь к автору этих слов с годами у Друскина развивалась все больше и больше: можно вспомнить и уничижительный отзыв о поэзии Заболоцкого в одном из вариантов воспоминаний о “чинарях”, и настойчивые попытки так реконструировать историю кружка, чтобы Николай Алексеевич оказался за его пределами. Впрочем, к Друскину с легкой иронией относились и другие. Предметом весьма доброжелательных и даже почтительных, но все же насмешек была и служба, которой Яков Семенович тяготился, и его безбрачие и целомудрие.

Вообще все, кроме, может быть, пришедшего со стороны

Михайлова, упражнялись в насмешках и в злоязычии в адрес друг друга. Малейшие разногласия провоцировали взаимные уколы. Заболоцкий скептически отзывался о йогах – Хармс отвечал ему: “Если ты будешь ругать йогов, я пририсую к Рабле усы и, проходя мимо монголобурятского общежития, сделаю неприличный жест…” Серьезный, не терпевший “краснобайства” Заболоцкий обижался. Липавский старался соединить своих друзей, связать их неким общим “делом” – например, подготовкой некоего нового энциклопедического словаря. Но это не могло заменить нормальной литературной деятельности. Вместо объединения приходило взаимное раздражение, начинались ссоры. И вот в конце 1933 года Олейников свидетельствует, что год прошел бесплодно, а спустя несколько месяцев Липавский в разговоре с Заболоцким констатирует:

> Все великие волны поднимались всегда всего несколькими людьми. У нас, мне кажется, были данные, чтобы превратить наш ящик в лодку. Это не случилось, тут наша вина. Вина А. В., которому плевать на все, кроме личного удовольствия; в результате он не скучает только с теми, кто играет с ним в карты. Ваш разрыв с А. В. был первым знаком общей неудачи. Вина Д. Х., который при своей деланной восторженности глубоко равнодушный человек. Вина Я. С., который деспотичен, как маниак. И главная вина – Н. М. Ее трудно определить. Не в том дело, что он спокойно срывает любое общее начинание, например, словарь. Что внес как законную вещь ложь и, значит, неуважение друг к другу. Он единственный мог стать центром и сплотить всех. Он всегда естественно становился на неуязвимую позицию человека, который всегда сам по себе, даже в разговоре, там же, где появляется ответственность и можно попасть в смешное или неприятное положение, он ускользает…[317]

Хармс зафиксировал утверждение Липавского: “мы из материала, предназначенного для гениев”. Но ему казалось, что и сам он, и его друзья не смогли реализовать свои гениальные способности, что их силы растрачены зря. И он обвинял в этом не только внешние обстоятельства, но и своих друзей, и себя самого.

Они жили в конце великой эпохи, а думали, что живут в начале ее. Они претендовали на роль зачинателей, а оказались – на коротком историческом промежутке – завершителями, но очень странными: своего рода намеренно искривленным зеркалом, в котором с насмешливым искажением отразилась

предыдущая эпоха. Эпоха, значимость которой они отрицали, но которой принадлежали очень значительной частью своего существа. На длительном промежутке они все-таки стали зачинателями традиции, одной из главных в современной отечественной (а отчасти и в мировой) культуре, но сами об этом уже не узнали. Они видели свое поражение – и не увидели победы.

Спустя год или два после того, как регулярные встречи у Липавского прекратились, Хармс пишет текст, озаглавленный “Как я растрепал одну компанию”. Реальные черты людей, входивших в “одну компанию”, преображаются гротескными гиперболами и “краснобайством”; наверняка текст содержит и намеки, понятные лишь “своим”.

> Я решил растрепать одну компанию, что и делаю. <…>
>
> Я не считаю себя особенно умным человеком и все-таки должен сказать, что я умнее всех. Может быть, на Марсе есть и умнее меня, но на земле не знаю.
>
> Вот, говорят, Олейников очень умный. А по-моему, он умный, да не очень. Он открыл, например, что если написать шесть и перевернуть, то получится девять. А по-моему, это неумно.
>
> Леонид Савельевич совершенно прав, когда говорит, что ум человека – это его достоинство. А если ума нет, значит, и достоинства нет.
>
> Яков Семёнович возражает Леониду Савельевичу и говорит, что ум человека – это его слабость. А по-моему, это уже парадокс. Почему же ум это слабость? Вовсе нет! Скорее крепость. Я так думаю.
>
> Мы часто собираемся у Леонида Савельевича и говорим об этом.
>
> Если поднимается спор, то победителем спора всегда остаюсь я. Сам не знаю почему.
>
> На меня почему-то все глядят с удивлением. Что бы я ни сделал, все находят, что это удивительно.
>
> А ведь я даже и не стараюсь. Все само собой получается.
>
> Заболоцкий как-то сказал, что мне присуще управлять сферами. Должно быть, пошутил. У меня и в мыслях ничего подобного не было.
>
> В Союзе писателей меня считают почему-то ангелом.
>
> Послушайте, друзья! Нельзя же в самом деле передо мной так преклоняться. Я такой же, как и вы все, только

лучше. <…>

Теперь я скажу несколько слов об Александре Ивановиче.

Это болтун и азартный игрок. Но за что я его ценю, так это за то, что он мне покорен.

Днями и ночами дежурит он передо мной и только и ждет с моей стороны намека на какое-нибудь приказание.

Стоит мне подать этот намек, Александр Иванович летит как ветер исполнять мою волю.

За это я купил ему туфли и сказал: “На, носи!” Вот он их и носит.

Когда Александр Иванович приходит в Госиздат, то все смеются и говорят между собой, что Александр Иванович пришел за деньгами.

Константин Игнатьевич Древацкий прячется под стол. Это я говорю в аллегорическом смысле.

Больше всего Александр Иванович любит макароны. Ест он их всегда с толчеными сухарями и съедает почти что целое кило, а может быть, и гораздо больше.

Съев макароны, Александр Иванович говорит, что его тошнит, и ложится на диван. Иногда макароны выходят обратно.

Мясо Александр Иванович не ест и женщин не любит. Хотя, иногда любит. Кажется, даже очень часто.

Но женщины, которых любит Александр Иванович, на мой вкус, все некрасивые, а потому будем считать, что это даже и не женщины.

Притворная мания величия, которую демонстрирует в этом тексте Хармс, выражается и в том, что он приписывает решающую роль в распаде компании себе. Но к 1935 или 1936 году, когда этот текст написан, она давно уже “растрепалась” сама собой – остались лишь индивидуальные связи, более или менее прочные.

Чуть раньше, в январе 1935 года, Хармс написал стихотворение, которое сперва начиналось следующими строками:

Вот сборище друзей, оставленных судьбою:
Противно каждому другого слушать речь;
Не прыгнуть больше вверх, не стать самим собою,
Насмешкой колкою не скинуть скуки с плеч.

Давно оставлен спор, ненужная беседа
Сама заглохла вдруг, и молча каждый взор

Презреньем полн, копьём летит в соседа,
Сбивая слово с уст. И молкнет разговор.

Таким выглядел в его глазах в тот момент кружок бывших обэриутов и их друзей-мыслителей, тех, кого Друскин задним числом называл “чинарями”. Но эти строки Хармс зачеркнул. Дальше речь пошла об Олейникове, которого Липавский считал возможным вождем несостоявшегося литературного движения и главным виновником его краха.

Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник,
О чем задумался? Иль вновь порочишь мир?
Гомер тебе пошляк, и Гёте – глупый грешник,
Тобой осмеян Дант, – лишь Бунин твой кумир.

Твой стих порой смешит, порой тревожит чувство,
Порой печалит слух иль вовсе не смешит,
Он даже злит порой, и мало в нем искусства,
И в бездну мелких дум он сверзиться спешит.

Постой! Вернись назад! Куда холодной думой
Летишь, забыв закон видений встречных толп?
Кого дорогой в грудь пронзил стрелой угрюмой?
Кто враг тебе? Кто друг? И где твой смертный столб?

“Смертный столб” ждал Олейникова очень близко – ближе, чем кого-либо из “друзей, оставленных судьбою”. Окружающий мир становился все страшнее, но мрак сгущался не непрерывно, время от времени появлялись просветы, рождавшие ложную и вредную надежду – потому что за каждым из них неизбежно следовало новое и более страшное наступление тьмы.

Но и внутреннего покоя больше не было. “Равновесие с небольшой погрешностью”, в котором пребывала жизнь Хармса и его друзей, оказалось нарушено их слишком интенсивным диалогом. Оставшись наедине с собой, с письменным столом, почти каждый из них пережил творческий кризис. После подъема 1933–1934 годов и Введенский, и Олейников, и Заболоцкий на некоторое время снижают творческую активность. Пожалуй, этого нельзя сказать лишь о Хармсе. Для него 1933 год оказался началом расцвета, продолжавшегося в тех или иных формах без перерыва почти до самой гибели. Однако тенденции его творческого развития удивительным образом совпадают с тенденциями развития трех его соратников-поэтов. Вопреки

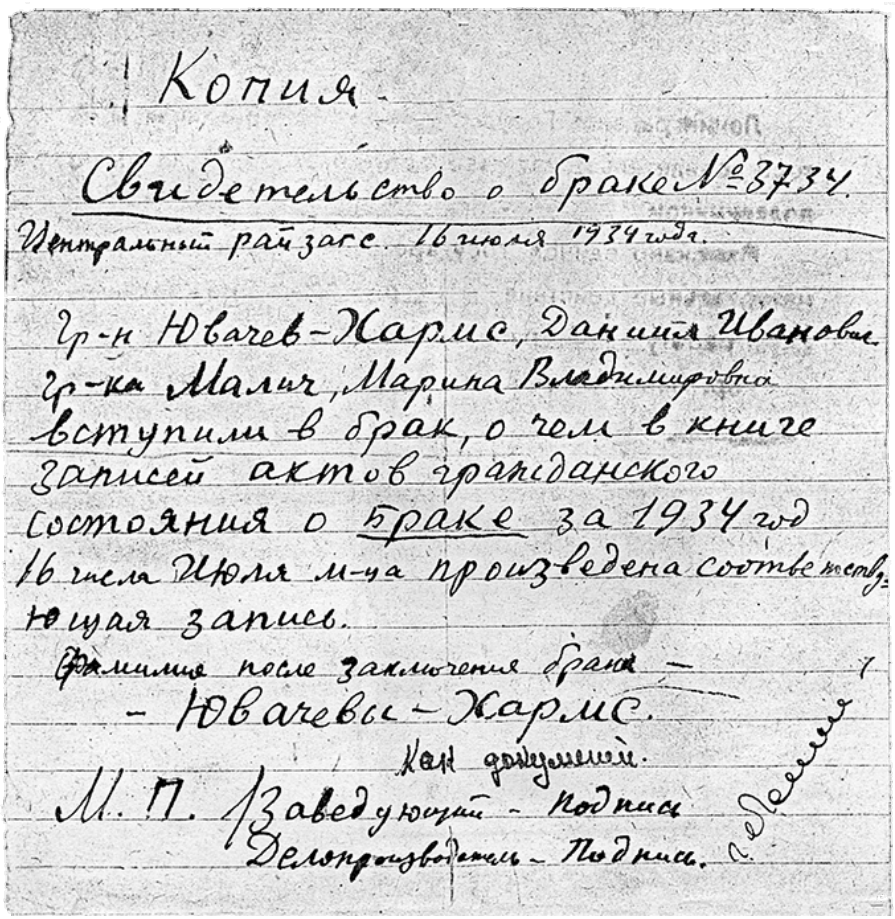
видимости, да и собственной воле тоже, им было никак не разойтись до самого конца.

3

Для Хармса 1934 год – время, когда “сборище друзей” дало трещину, – стал переломным во многих отношениях.

Началось все почти случайно. Хармс познакомился с молодой привлекательной женщиной по имени Ольга Николаевна Верховская; возможно, встреча произошла у Кузмина (Верховская дружила с Арбениной и Юркуном). Через некоторое время он пришел к ней домой и не застал ее. Но дома была ее младшая сестра Марина, Марина Владимировна Малич – не родная сестра, а троюродная, но в младенчестве брошенная матерью, удочеренная двоюродной теткой и ее мужем и выросшая в семье Верховских. Хармс едва ли не из простой вежливости завел с барышней ни к чему не обязывающий разговор о музыке. Потом ездили втроем, с Ольгой и Мариной, на острова, ходили в филармонию. Потом – вдвоем, без Ольги… После очередного свидания Марина осталась ночевать на Надеждинской и на следующий день объявила приемной матери, что Даниил Иванович сделал ей предложение – и она его приняла. Через несколько дней брак был зарегистрирован. Точной даты мы не знаем (как будто – весна), но на Надеждинской Марина Владимировна прописалась 2 октября.

Разговор о Марине Владимировне Малич стоит начинать с конца. После войны судьба “перемещенного лица” занесла ее в Венесуэлу. До 1983 года она переписывалась с Мариной Ржевуской, женой искусствоведа В.Н. Петрова (друга Хармса в последние годы его жизни). В середине 1990-х годов Малич разыскал литературовед Владимир Глоцер и записал ее воспоминания[318].


Копия.

Свидетельство о браке № 3734.

Центральный райзагс 16 июля 1934 год.

Гр-н Ювачев-Хармс, Даниил Иванович
Гр-ка Малич, Марина Владимировна
вступили в брак, о чем в книге
записей актов гражданского
состояния о браке за 1934 год
16 числа Июля м-ца произведена соответ-
ствующая запись.

Фамилия после заключения брака —
– Ювачевы – Хармс.

Как документ.

М. П. Заведующий – подпись
Делопроизводитель – подпись.

Копия свидетельства о браке Даниила Хармса и Марины Малич, выданного Центральным райзагсом города Ленинграда 16 июля 1934 г. Сохранилась в составе следственного дела Д. Хармса 1941 г.

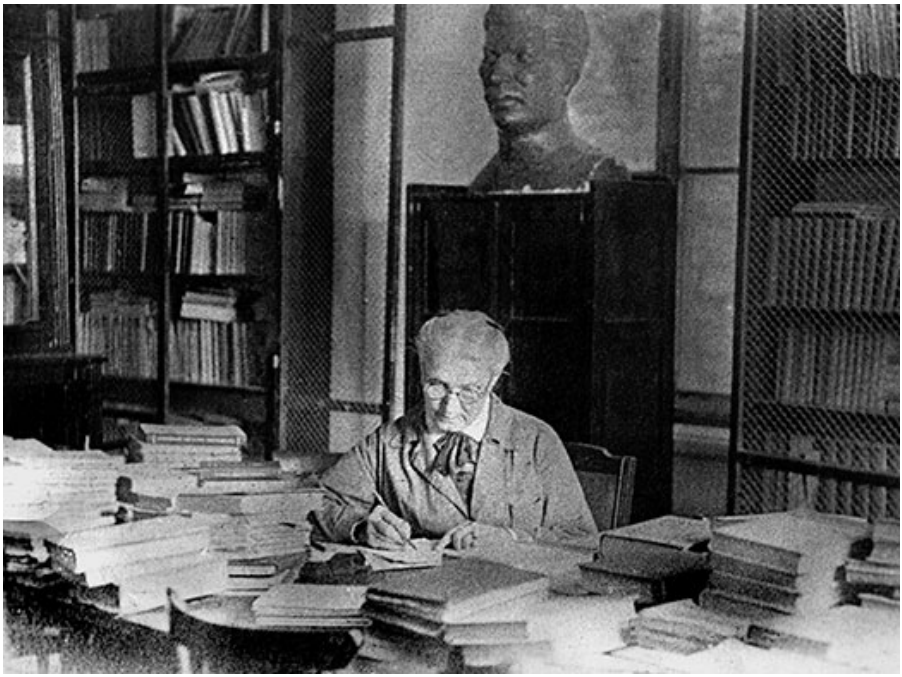
Разумеется, к записи устной речи 84-летней женщины, которая к тому же, по свидетельству Глоцера, подзабыла русский язык и время от времени переходила на испанский, английский, французский, надо относиться с осторожностью. В таких случаях трудно отделить достоверные свидетельства от болезненных фантазий, от “ложных воспоминаний”, случающихся у пожилых людей, да и ошибки при переводе многоязычной устной речи в русскую письменную исключить невозможно. И все же не пользоваться книгой “Мой муж Даниил Хармс” биографу писателя никак нельзя.

В детстве Марины было много необычного. Сама она явно путается в своей генеалогии, но суть ее рассказа такова: она – незаконнорожденное дитя, появившееся на свет в

аристократическом особняке князей Голицыных, внучка цыганской певицы, вышедшей замуж не то за одного из Голицыных, не то за серба Малича… Напоминает дамский роман или романтический телесериал.

И “мама”, и “папа” Марины, и “бабушка” ее, и “дедушка” (князь Голицын) – все были неродными, и она это знала. Настоящую мать она видела время от времени – та приезжала из Москвы с мужем и останавливалась у Верховских[319]. После войны во Франции мать и дочь “воссоединились” (что спасло Марину Владимировну от депортации в СССР)… И дочь увела у матери мужа. Финал – в том же жанре, что и начало. Впрочем, жизнь вообще похожа на бульварный роман (вспомним хотя бы судьбы родителей Хармса).

Марина Малич. Венесуэла (?), 1950-е.



Наталья Ивановна Колюбакина – библиотекарь в Павловском техникуме птицеводства. Фотография Н. Колясина, 1936 г.

Но серединная часть книги – из какого-то другого романа, какого-то другого жанра. Вместо звучных мелодрам – тихие трагедии. Дедушку Голицына таскали в ЧК, и вскоре он умер. “Папа” повредился в рассудке после первого ареста, погиб после второго. Коммуналка, нищета, отверженность “бывших людей”, лишенцев. Брак, даже с таким странным человеком, как Даниил Хармс, был выходом.

Мария Блок, познакомившаяся с Малич в санатории ЦЕКУБУ в Детском Селе (когда-то там отдыхали Ахматова и Мандельштам), описывает ее так:

> Ничего искусственного, показного, модного. Темно-синие глаза, чистое, белокожее лицо с крупными тяжеловатыми чертами, без признаков косметики, тяжелая темная коса (во времена поголовной короткой стрижки бэбикопф), немного ленивая, вальяжная, отнюдь не модно-спортивная походка и грудной, удивительно женственный голос… Очень русский, несвоевременный облик, спокойные манеры, несмотря на общительность и веселость – достойная сдержанность[320].

На фотографиях вторая жена Хармса выглядит несколько иначе – видимо, она все же пыталась привести свою внешность в

соответствие со стереотипами и вкусами эпохи.

Прежде всего Хармс повез показывать молодую жену тетке Наташе в Царское.

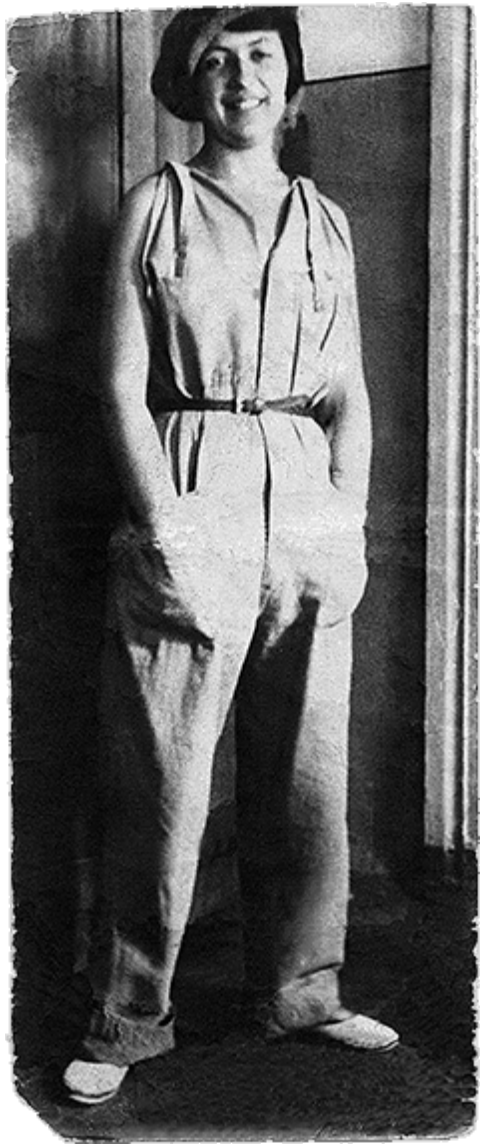
> Он очень считался с ее мнением. Прямо-таки дрожал перед ней… Она смотрела на меня в упор, прямо в глаза, изучающее, – кто я и что я.
>
> А Даня все время переводил взгляд с нее на меня, с меня – на нее, – как я ей, нравлюсь?[321]

Комната Даниила, в которой молодожены поселились, была лишь тонкой самодельной стеной отделена от жилья Дрыздовых. (Раньше это была одна большая комната.) Хармс и его жена слушали, как дочь за стеной упрекает мать, “напикавшую” в постель, – и смеялись. Это казалось им забавным, а для Даниила Ивановича это было еще и “материалом”, как-то перерабатывавшимся в глубинах его писательского сознания.

В одной из дневниковых записей Хармс перечисляет комнаты, которые на самом деле необходимы были бы ему в квартире.

> я и жена – 1. мой кабинет 2. библиотека
> 3. зальце 4. спальня 5. комната жены
> 6. столовая 7. гостиная 8. запасная
> папа – 1. кабинет 2. спальня
> наташа – комната
> машенька – комната
> общие – 1. зал 2. столовая
> 3. запасная 4. запасная
> лиза и володя – 1. кабинет 2. спальня 3. столовая
> 4. детская 5. зальце 6. гувернер
>
> $8 + 2 + 1 + 1 + 1 + 4 + 6 = 24$

Для нормальной “старорежимной” жизни, если, конечно, вся семья соберется вместе, понадобился бы целый особняк. А Хармс был привязан ко всей своей немногочисленной близкой родне: и к отцу, и к теткам – суровой Наташе и кроткой Машеньке – и, видимо, к сестре. Свидетельство Малич о том, что Хармс сам не общался и жене запрещал общаться с сестрой и ее мужем-“коммунистом”, можно списать отчасти на старческую потерю памяти, отчасти на свойственный вообще второй эмиграции антикоммунистический фанатизм, заставлявший многих бывших советских людей деформировать свои воспоминания. Благо, к такого рода деформациям бывшие советские люди были привычны.



Марина Малич, 1930-е.

Малич ничего не вспоминает, между прочим, о тех экзотических вещицах, на которые обращали внимание гости дома. Надписи на стенах – да, их она припоминала… В сознании ее отложились две: уже упомянутое “Аум мани падме кум” и – знакомое по многим описаниям – “Мы не пироги”. “Все эти надписи делал Даня”. Но для жены Хармса, жившей в комнате годами, важнее было другое: отсутствие вещей, необходимых в быту. “Был стол, на котором мы ели, когда было что есть”. Был продавленный диван, на котором вдвоем было не улечься –

только на полу. Была печка, общая на две комнаты, Хармсову и Дрыздовскую. Однажды среди ночи Даниил разбудил жену и предложил покрасить печку в розовый цвет. “И потом покрасили в розовый цвет все, что могли. Другой краски у нас не было. И, крася, очень смеялись, держались за животы. Нам обоим было почему-то очень весело”[322]. Позднее, в 1936 году, в комнате появилась фисгармония, о которой вспоминают многие мемуаристы (об обстоятельствах ее появления – чуть ниже).

Один раз Хармс с Мариной были в филармонии: исполняли “Страсти по Матфею” Баха, вообще-то в СССР полузапрещенные. Одно время ходили с друзьями по воскресеньям в Эрмитаж.

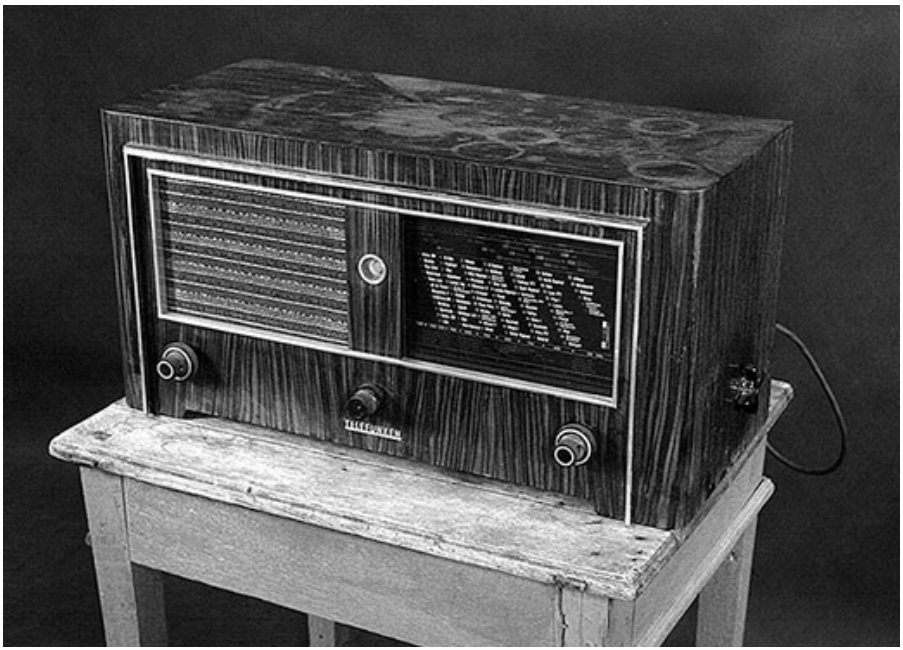
> Там были долго, но не весь день, подробно смотрели картины, а потом всей компанией шли в маленький бар, недалеко от Эрмитажа, пили пиво, закусывали чем-нибудь легким, – может быть, бутербродами, сидели там три-четыре часа, и говорили, говорили, говорили. Главным образом о том, что видели в Эрмитаже, но, конечно, не только об этом…[323]

Марина Малич, 1936 г.

Вероятно, “маленький бар” – это была “Культурная пивная”. Заходили, конечно, и в гости друг к другу. Марина Владимировна запомнила один такой визит: “У кого мы были – сейчас не помню. Но все хотели, чтобы я тоже пошла. Помню, что все сидели на полу. И на полу, на расстеленных газетах лежало всё кто что принес. Селедка, черный хлеб и, конечно, водка, которую разливали всем…”[324] Были оба Друскиных, Яков и Михаил, игравшие что-то на фортепьяно.

Хармс и его жена поздно ложились, поздно вставали, жили без всякого распорядка и плана. До сих пор можно услышать колоритные воспоминания об их семейном быте. О том, как Даниил и Марина, лежа в постели (во второй половине дня!) спорили о том, кому выгуливать собаку, пока несчастное

животное не справляло свои надобности прямо в комнате; хозяева прикрывали кучки бумажками и опять погружались в сладкую дрему. Или – о радиоприемнике, который Грицын привез в подарок Хармсу из Германии и на который Марина Владимировна, любившая попивать пиво, лежа на диване, постоянно ставила пустые бутылки. (Приемник сохранился, и следы от бутылок на нем явственно видны.)



Радиоприемник Telefunken, привезенный Владимиром Грицыным из Германии в подарок Даниилу Хармсу. Фотография С. Лотова, 2008 г.

Марина Малич, 1930-е.

Время от времени на пороге их комнаты появлялись посетители – с бутылкой вина, с разговором. Это была, на первый взгляд, обычная богемная жизнь, одинаковая во все времена и во всех странах, но в данном случае на нее ложился мрачный отсвет безнадежности и обреченности. Не случайно от этой жизни рано отошел Заболоцкий, а в конце концов – и Введенский, для которого она была, казалось бы, так органична. В 1936 году он, будучи проездом в Харькове, познакомился с Галиной Викторовой и ушел к ней от Анны Ивантер, переехав в Харьков. Последние пять лет жизни он провел замкнуто, в кругу семьи, общаясь, кроме жены, сына и пасынка, лишь с партнерами по картам, ненадолго приезжая в Ленинград и Москву по издательским делам.

Но иногда и Хармс нуждался в уединении. Когда он работал, ему мешала даже Марина: на это время она старалась уйти из дома. Посетителей он в такие часы не впускал, на стук в дверь не реагировал. Сохранилась характерная записка, вывешенная им на двери комнаты (с характерной хармсовской “неграмотностью”): “У меня срочная работа. Я дома, но никого не принемаю и даже не разговариваю через дверь”. Написанное он читал Марине. Вторая жена Хармса была ближе ему в интеллектуальном и

духовном отношении, чем Эстер. Она была в состоянии не только выслушать стихи и рассказы своего мужа, не демонстрируя отвращения, но даже дать какой-то совет.

> У меня был хороший слух, и я сразу схватывала, так сказать, ритм. И улавливала, если был сбой. Он на мне проверял написанное.
>
> Сказать, что я ему помогала – слишком большое слово. Но если я говорила: “Это мне не нравится”, он как-то прислушивался[325].

Марина Малич. Уфа, 1936 или 1938 г.

Но той страсти, которую он испытывал к Эстер, в данном случае не было. Сестре Хармс признавался, что физически сильнее любит первую жену, а духовно – вторую. В отношении к Марине преобладала насмешливая нежность. Об этом свидетельствуют и посвященные ей стихи:

Если встретится мерзавка
на пути моем – убью!
Только рыбка, только травка
та, которую люблю.

Только ты, моя Фефюлька,
друг мой верный, все поймешь,
как бумажка, как свистулька,
от меня не отойдешь.

Я, душой хотя и кроток,
но за сто прекрасных дам
и за тысячу красоток
я Фефюльку не отдам.

Не “блядь и повелительница”, а Фефюлька, маленькое, беззащитное существо. Марина и впрямь отличалась небольшим ростом и казалась житейски беспомощной и непрактичной. Впрочем, в эмиграции, без Даниила, она совершенно преобразилась, став довольно энергичной дамой, хозяйкой своей судьбы.

Юмор, принятый в семье, казалось бы, свидетельствовал о безмятежных отношениях. Чего стоит хотя бы новелла о “золотых сердцах”, написанная 18 февраля 1936 года:

Однажды Марина сказала мне, что к ней в кровать приходил Шарик. Кто такой этот Шарик, или что это такое, мне это выяснить не удалось.

–

Несколько дней спустя этот Шарик приходил опять. Потом он стал приходить довольно часто, примерно раз в три дня.

–

Меня не было дома. Когда я пришел домой, Марина сказала мне, что звонил по телефону Синдерюшкин и спрашивал меня. Я, видите ли, был нужен какому-то Синдерюшкину!

–

Марина купила яблок. Мы съели после обеда несколько штук и, кажется, два яблока оставили на вечер. Но когда вечером я захотел получить свое яблоко, то яблока не оказалось. Марина сказала, что приходил Миша-официант и унес яблоки для салата. Сердцевины яблок ему были не нужны, и он вычистил яблоки в нашей же комнате, а сердцевины выбросил в корзинку для ненужной бумаги.

–

Я выяснил, что Шарик, Синдерюшкин и Миша живут, обыкновенно, у нас в печке. Мне это мало понятно, как они там устроились.

–

Я расспрашивал Марину о Шарике, Синдерюшкине и Мише. Марина увиливала от прямых ответов. Когда я высказывал свои опасения, что компания эта, может быть, не совсем добропорядочная, Марина уверила меня, что это, во всяком случае, “Золотые сердца”. Больше я ничего не мог добиться от Марины.

–

Со временем я узнал, что “Золотые сердца” получили неодинаковое образование. Вернее, Шарик получил среднее образование, а Синдерюшкин и Миша не получили никакого. У Шарика есть даже свои ученые труды. И поэтому он несколько свысока относится к остальным “Золотым сердцам”.

Меня очень интересовало, какие это у Шарика ученые труды. Но это так и осталось неизвестным. Марина говорит, что он родился с пером в руках, но больше никаких подробностей об его ученой деятельности не сообщает. Я стал допытываться и, наконец, узнал, что он больше по сапожной части. Но имеет ли это отношение к ученой деятельности, мне узнать не удалось.

–

Однажды я узнал, что у “Золотых сердец” была вечеринка. Они сложились и купили маринованного угря. А Миша принес даже баночку с водкой. Вообще, Миша – любитель выпить.

–

У Шарика сапоги сделаны из пробочки.

–

Как-то вечером Марина сказала мне, что Синдерюшкин обругал меня хулиганом за то, что я

наступил ему на ногу. Я тоже обозлился и просил Марину передать Синдерюшкину, чтобы он не болтался под ногами.

Но, видимо, “красотки” упомянуты не зря. К 1935–1936 годам у Марины Владимировны уже были вполне серьезные основания для ревности. Разумеется, к тому, что сказано на сей счет в книге “Мой муж Даниил Хармс”, надо относиться с осторожностью. В старости грань между воображаемым и реальным может стереться. Под пером Марины Владимировны дело выглядит так:

> У него, по-моему, было что-то неладное с сексом. И с этой спал, и с этой… Бесконечные романы. И один, и другой, и третий, и четвертый… – бесконечные! <…>
>
> Он искал, всегда искал Того, Кто помог бы ему не страдать и встать на ноги. Он всё время страдал, всё время. Тó он нашел девушку или женщину, в которую влюбился, и жаждал взаимности, тó еще чего-то хотел, чего-то добивался и нуждался в помощи. Но он был постоянно измученный от этих своих страданий.
>
> За моей спиной все его друзья надо мной смеялись, я думаю. Они считали, что я глупа и поэтому продолжаю с ним жить, не ухожу от него. Они-то всё знали, конечно[326].

Анна Ивантер, 1930-е.

Марина Владимировна вспоминает, что Хармс водил любовниц прямо в квартиру на Надеждинской (где жили и отец, и сестра с семьей!) и что ей приходилось ждать, пока муж не “освободится”. Что перед самой войной Даниил Иванович признался жене в многолетней, все эти годы тянувшейся связи с Ольгой Верховской. Сколько во всех этих воспоминаниях правды? Трудно сказать…

Кроме Верховской, Марина Малич упоминает лишь одну женщину – Анну Ивантер, жену Введенского, которая “сбегала” к Хармсу и Малич во время ссор с мужем. Хармс в своих записных книжках за 1934–1941 годы тоже упоминает только об одной своей связи – с Анной Семеновной. Да и сама она, в своих устных воспоминаниях, не скрывает своих отношений с Хармсом. Роман относится, видимо, к 1936–1937 годам, ко времени, когда Ивантер с Введенским уже развелись.

Помимо этого, в записных книжках есть только глухие упоминания о некоем “разврате”. Но есть и такая запись: “Меня мучает “пол”. Я неделями, а иногда месяцами не знаю женщины”. Эта запись относится к маю 1938 года, ко времени, когда взаимная нежность Хармса и Марины во многом сошла на нет. Однако и с другими женщинами, видимо, дело в тот момент

обстояло скверно. Так что трудно с полной уверенностью сказать, что на самом деле имелось в виду под “развратом”. У Даниила Ивановича были довольно странные прихоти. Например, он любил подолгу стоять у окна в голом виде. В этом проявлялись его несомненные эксгибиционистские наклонности. Дело иногда заканчивалось плохо – жалобами соседей, вызовом милиции. Хармс возмущался: “Что приятнее взору: старуха в одной рубашке или молодой человек, совершенно голый? И кому в своем виде непозволительнее показаться перед людьми?” (20 *марта* 1938 *года*).

Несомненно, Хармс пользовался вниманием женщин. Победы, сколько бы их ни было, стоили ему, судя по всему, не слишком больших усилий. Он не был умелым и холодным ловеласом, как Введенский, но его огромное природное обаяние заменяло стандартные навыки обольстителя. Марина Владимировна на всю жизнь запомнила свои тогдашние обиды:

> У меня была собачка. Очень маленькая. Я ее могла брать на руки, носила под мышкой, она почти ничего не весила. Жалкая такая. И прозвище у нее было странное, смешное. Звали ее Тряпочка. Я ее всюду таскала с собой, чтобы она не оставалась дома и не скучала. Иду в гости и беру с собой мою Тряпочку.
>
> Однажды мы с Даней были приглашены на показ мод. Не вспомню, где это было. Там были очень красивые женщины, которые демонстрировали платья.
>
> И все эти женщины повисли на Дане: “Ах, Даниил Иванович!”, “Ах, Даня!”
>
> Одна, помню, сидела у него на коленях, другая – обнимала за шею, – можно сказать, повисла на шее.
>
> А Марина? А Марина сидела в углу с Тряпочкой и тихонько плакала, потому что на меня никто не обращал никакого внимания…[327]

“Фефюлька” чувствовала себя таким же маленьким, жалким, беспомощным, безвольным существом, как ее собачка. Ей даже не в чем было выйти из дома – “ни хорошего платья, ни хороших туфель”. А рядом с ней был мужчина, чьим обаянием, талантом и остроумием восхищались многие.

> Все радовались всегда, когда он куда-нибудь приходил. Его обожали. Потому что он всех доводил до хохота. Стоило ему где-нибудь появиться, в какой-нибудь компании, как вспыхивал смех и не прекращался до конца, что он там был.

Вечером обрывали телефон. Ему кричали с улицы: “Хармс!”, “Пока!”, “Пока, Хармс!” И он убегал. Чаще всего без меня…[328]

Да, он был, в социальном смысле, неудачником, обреченным, он и сам воспринимал свое существование трагически. Но все-таки даже в эти годы в жизни Хармса и его друзей еще был какой-то блеск, какая-то театральная яркость. А такие люди, как Малич и ее семья, просто угасали, отверженные и забытые. Приемные родители и бабушка были высланы из города то ли при паспортизации в 1933 году, то ли в кировском потоке. Марине некуда было деваться, а сама она – хрупкая, безвольная – ничего делать не умела.

А муж не умел, да и не пытался поддержать ее. Его верность даже в начале брака была сомнительной. Его заработков в самые удачные годы еле-еле хватало на самое необходимое. Его доброта, которую отмечает Малич, сочеталась с инфантильным эгоизмом и с тем тайным, но глубоким равнодушием ко всем внешним обстоятельствам, которое отмечал Липавский. С годами Хармс становился все более интравертен, все больше погружался в свою духовную, творческую жизнь.

4

В тридцатые годы, особенно после возвращения из Курска, Хармс читает не меньше, чем в юности, хотя выбор его теперь, быть может, более сознателен и осмыслен. Но логика, связывающая между собой книги, названиями которых пестрят записи Хармса, очень причудлива. Эккерман и Лесаж, Бенвенуто Челлини и Александр Грин, биография физика Гельмгольца и книги по эволюционной теории Л.С. Берга[329] – все это отражает разные стороны внутреннего мира писателя.

В своем настойчивом стремлении к упорядочению мира Хармс занимался составлением своего рода “рейтингов”, списков писателей, их классификацией. В его записных книжках есть большой список классиков всех времен и народов, от Кантемира до Джерома К. Джерома, от Кальдерона до Шолом-Алейхема; возможно, он был составлен для каких-то практических нужд, может быть, это была своего рода учебная программа для Дома детской книги, к работе в котором Маршак хотел привлечь Хармса. Все явления мировой культуры Хармс делил для себя на “огненные” и “водяные”.

Поясняем примерами:

1) Если пройти по Эрмитажу, то от галереи, где висят Кранах и Гольбейн и где выставлено золоченое серебро и деревянная церковная резьба, остается ощущение водяное.

2) От зала испанского – огненное, хотя там есть образцы чисто водяного явления (монахи с лентами изо рта).

3) Пушкин – водяной.

4) Гоголь в “Вечерах на хуторе” – огненный. Потом Гоголь делается все более и более водяным.

5) Гамсун – явление водяное.

6) Моцарт – водяной.

7) Бах и огненный, и водяной.

К “водяным” художникам Хармс относил и Леонардо да Винчи, к “чисто огненным” – Ван-Дейка, Рембрандта, Веласкеса, а из писателей – Шиллера.

Многообразие и пестрота чтения не мешали строгости оценок. Вакуум, постепенно образовавшийся вокруг, приводил к тому, что Хармс ощущал себя как будто наедине со всей историей мировой культуры. Историческое время, каким мы его знаем, подошло к концу, “старая” цивилизация умерла или умирает (так казалось не одному Хармсу) – и, значит, для гадательного будущего надо выбрать основное, главное, несомненное: “Если отбросить древних, о которых я не могу судить, то истинных гениев наберется только пять, и двое из них русские. Вот эти пять гениев-поэтов: Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин и Гоголь”. Странно воспринимаются эти слова от автора озорных баек про парочку анекдотических тупиц – Пушкина и Гоголя. Впрочем, у зрелого Хармса почтение к “мейнстриму” мировой культуры всегда сочеталось с тягой к травестии, к клоунаде. Все суетно-декадентское или казавшееся таковым должно было отмереть, но не шутовской мир пленительной, тайновидящей глупости, лишь отчасти, но не вполне притворной. Рядом с Пушкиным непременно должен был оказаться Козьма Прутков. В этом смысле индивидуальные пристрастия Хармса несколько отличались от той “незыблемой скалы” вечных ценностей, в существование которой он верил. Характерна в этом смысле таблица, составленная в 1937 году:

“Вот мои любимые писатели:	человечеству:	моему сердцу:
1) Гоголь	69	69
2) Прутков	42	69
3) Мейринк	42	69
4) Гамсун	55	62
5) Эдвард Лир	42	59
6) Льюис Кэрролл	45	59

Сейчас моему сердцу особенно мил Густав Мейринк”

Интересно, что в этом списке нет ни одного писателя из русского Серебряного века, даже Хлебникова. Хармс вполне разделял свойственное его друзьям отторжение от предыдущего поколения, даже двух поколений русской культуры, отторжение, возможно, не до конца искреннее, но настойчивое. Характерен в этом смысле фрагмент уже процитированных нами во второй главе стихотворных воспоминаний И. Елагина (Залика Матвеева):

…У Дани прямо над столом
Список красовался тех, о ком
“С полным уваженьем говорят
В этом доме”. Прочитав подряд
Имена, почувствовал я шок:
Боже, где же Александр Блок?!
В списке Гоголь был, и Грин, и Бах…
На меня напал почти что страх,
Я никак прийти в себя не мог, –
Для меня был Блок и царь и бог!
Даня быстро остудил мой пыл,
Он со мною беспощадным был.
“Блок – на оборотной стороне
Той медали, – объяснил он мне, –
На которой (он рубнул сплеча) –
Рыло Лебедева-Кумача!”[330]

Когда Залик спросил у Хармса, какова же альтернатива, тот прочитал ему свое стихотворение “Почему” – про повара и трех поварят, которые режут свинью и трех поросят.

Парадокс в том, что не только Хармс, Введенский, Липавский, Друскин, но даже и провинциалы Заболоцкий и Олейников выросли на литературе Серебряного века. Введенский и Липавский посылали Блоку стихи, Липавский успел напечататься в альманахе Цеха поэтов, семнадцатилетний Заболоцкий знал

наизусть “всех символистов, вплоть до Эллиса”, Хармс публично выступал в качестве чтеца-декламатора стихов Блока, Гумилева и Маяковского. А Елагин принадлежал к первому поколению, для которого язык Блока и блоковской России был изначально чужим. Когда в 1950 году вышла первая книга Елагина, Георгий Иванов в рецензии назвал его “ярко выраженным человеком советской формации”. Для Елагина и его сверстников Блок был не живой реальностью, от которой можно отталкиваться, с которой можно спорить, а самой доступной и привлекательной частью “классического наследия”. Блок уже не был современником. Между самыми молодыми из друзей Хармса (Юрием Владимировым, Всеволодом Петровым) и поколением Елагина, Моршена, Слуцкого, Самойлова, Галича прошла тектоническая трещина.

Для Хармса необходимость определиться с литературой прошлого была обусловлена и тем переломом, который наметился в его собственном творчестве. В 1933 году он пишет свои лучшие стихи. Среди них “Постоянство веселья и грязи” – замечательный пример того, что не только приемы “взрослого” творчества Хармса проникали в его произведения для детей, но и обратное влияние имело место. Структуру этого стихотворения определяет развернутый рефрен, наподобие тех, что были опробованы в “Миллионе” или “Вруне” (напомним, что Б. Бухштаб считал такую структуру чуть ли не главным вкладом Хармса в поэзию для детей):

Вода в реке журчит, прохладна,
И тень от гор ложится в поле,
и гаснет в небе свет. И птицы
уже летают в сновиденьях.
А дворник с черными усами
стоит всю ночь под воротами
и чешет грязными руками
под грязной шапкой свой затылок.
И в окнах слышен крик веселый,
и топот ног, и звон бутылок.
<…>
Луна и солнце побледнели,
созвездья форму изменили.
Движенье сделалось тягучим,
и время стало, как песок.
А дворник с черными усами
стоит опять под воротами
и чешет грязными руками

под грязной шапкой свой затылок.
И в окнах слышен крик веселый,
и топот ног, и звон бутылок.

Здесь уже нет внешнего, на уровне фразы, алогизма, наоборот, высказывание отчетливо и лаконично. Абсурд ушел “вовнутрь” текста. Когда-то Мандельштам писал о дворнике, чья звериная зевота напомнила о скифе времен Овидия; при всей обэриутской нелюбви к акмеизму перекличка двух стихотворений удивительна. Дворник Мандельштама – символ “звериного”, природного начала, переживающего и Овидия, и Петербург, мелькающие и сменяющие друг друга эпохи “культурного” человечества. Дворник Хармса – нечто вечное, загадочное и неопределимое, предшествующее материи и времени. Может быть, их творец. “Веселье и грязь” могут быть такими же фундаментальными атрибутами бытия, как и любые другие явления и качества.

Сочетание трагического абсурда и классической четкости бросается в глаза и в другом хармсовском шедевре того времени – в “Подруге”, вчерне набросанной еще в Курске:

На твоем лице, подруга,
два точильщика-жука
начертили сто два круга
цифру семь и букву К.
Над тобой проходят годы,
хладный рот позеленел,
лопнул глаз от злой погоды,
в ноздрях ветер зазвенел.
<…>
Мы живем не полным ходом,
не считаем наших дней,
но минуты с каждым годом
все становятся видней.
С каждым часом гнев и скупость
окружают нас вокруг,
и к земле былая глупость
опускает взоры вдруг.
И тогда, настроив лиру
и услышав лиры звон,
будем петь. И будет миру
наша песня точно сон.
И быстрей помчатся реки,
и с высоких берегов

будешь ты, поднявши веки
бесконечный ряд веков
наблюдать холодным оком
нашу славу каждый день.
и на лбу твоем высоком
никогда не ляжет тень.

Хармс писал об этом стихотворении Пугачевой 9 октября 1933 года:

> Оно называется “Подруга”, но это не о Вас. Там подруга довольно страшного вида. <…> Я не знаю, кто она. Может быть, как это ни смешно в наше время, это Муза. <…> “Подруга” не похожа на мои обычные стихи, как и я сам теперь не похож на самого себя.

Образ, нарисованный в первых строфах, напоминает картины, которые как раз в это время создавали в Европе художники-сюрреалисты. Дальше идут очень тонкие языковые ходы, характерные именно для зрелого творчества обэриутов. Поэт пушкинской эпохи мог бы сказать, что его затягивает в свой мрачный круг гнев. Это был бы несколько изысканный, но вполне академический образ. Но когда “гнев и скупость”, разнохарактерные понятия, поминаются через запятую – это звучит немного странно, а банальная рифма “скупость – глупость” создает эффект наивности, неумения. Неумения притворного, наивности деланной… Деланной ли? Хармс говорит в этом стихотворении серьезные и важные вещи, но при этом он смотрит на язык и мир отчасти глазами “естественного мыслителя”.

У зрелого Хармса, как и у Введенского, и у Заболоцкого (до середины 1930-х), лицо и маска неразрывны (собственно, в случае Хармса так обстояло дело и в быту). Провести линию, отграничивающую серьезное высказывание от пародии, временами невозможно.

Твой сон, беспутный и бессвязный,
Порою чистый, порою грязный,
Мы подчиним законам века,
Мы создадим большого человека.
И в тайну материалистической полемики
Тебя введем с открытыми глазами,
Туда, где только академики
Сидят, сверкая орденами.

<…>
Крылами воздух рассекая,
Аэроплан летит над миром.
Цветок, из крыльев упадая,
Летит, влекомый прочь зефиром.
Цветок тебе предназначался.
Он долго в воздухе качался,
И, описав дуги кривую,
Цветок упал на мостовую.

(“Обращение учителей к своему ученику графу Дэкону”, 1934)

“Тайна материалистической полемики” – это издевательство? Да, конечно, издевательство, но в контексте данного стихотворения у этих издевательских слов есть и другой смысл. “Влекомый прочь зефиром” (рядом с этой “полемикой”) – это всерьез или в шутку? Отчасти, разумеется, в шутку, но в конечном итоге всерьез. Это опять-таки язык “естественного мыслителя”, в котором серьезно-вдумчивое отношение к скомпрометированным историей литературы высоким штампам сочетается с некритическим (и не вполне грамотным, сдвинутым) использованием штампов газетных. Именно таким языком пользуется Хармс в единственном стихотворении, в котором он выясняет свои отношения с эпохой. Первая половина стихотворения кажется язвительно-сатирической. Писатель яростно сопротивляется попыткам “учителей” уложить его мышление, творчество в прокрустово ложе официальной идеологии, избавив, между прочим, и “от грамматических ошибок” (*sic!*). Но Хармс не был бы собой, если бы пафос собственной правоты и собственного гордого одиночества, которому противостоят низменные соблазны “славы” и легкий путь конформизма, исчерпывал содержание стихотворения. Во второй его части возникает сначала загадочный хрупкий “цветок”, как будто не связанный с предыдущим разговором:

Что будет с ним? Никто не знает
Быть, может, женская рука
Цветок, поднявши, приласкает.
Быть может, страшная нога
Его стопой к земле придавит,
А может, мир его оставит
В покое сладостном лежать.

А потом – мрачное (пророческое?) видение подступающей катастрофы:

Часы небесные сломались,
И день и ночь в одно смешались.
То солнце, звезды иль кометы?
Иль бомбы, свечи иль ракеты?

Членский билет Союза советских писателей, выданный на имя Даниила Хармса 1 июля 1934 года за подписью М. Горького (факсимиле) и А. Щербакова. Сохранился в составе следственного дела Д. Хармса 1941 г.

Перед лицом этого будущего ни о какой правоте и устойчивости речь идти не может. “Граф Дэкон” бессилен перед своими искусителями. Возможно, поводом к написанию стихотворения стали месяцы перед Первым съездом писателей в марте 1934 года, когда даже перед самыми сомнительными и полуопальными из “попутчиков” забрезжила, как им казалось, некая надежда. Даже Кузмина напечали в “Литературной газете” – не стихи, а статью о Багрицком, – напечатали, согласно редакционному примечанию, “как свидетельство перестройки” старорежимного поэта. Хармс тоже был принят в Союз; 1 декабря, в день убийства Кирова, он получил свой членский билет № 2330. В эти месяцы ему могло показаться, что и его каким-то образом “искушают” и обещают, в случае согласия, долю славы и место на грядущем празднике. На самом деле никто его не искушал – ему просто пока что позволяли существовать в качестве писателя для детей.

Еще одно замечательное стихотворение 1933 года – “Жил-был в доме тридцать три единицы…”, рядом с только что приведенными стихами кажется необыкновенно лаконичным, почти примитивным по приемам; оно ближе всего к хармсовской прозе.

Жил-был в доме тридцать три единицы,
человек, страдающий болью в пояснице.
Только стоит ему съесть лук или укроп,
валится он моментально, как сноп.
Развивается боль в правом боку,
Человек стонет: “Больше я не могу.
Погибают мускулы в непосильной борьбе,
откажите родственнику карабе…”
И так, слова как-то не досказав,
умер он, пальцем в окно показав.

Эффект абсурда и ужаса (но и мрачно-комический эффект) достигается теперь всего лишь небольшим гротескным сгущением, незначительной гиперболизацией каждодневного и житейского.

Племянник покойника, желая развеселить собравшихся гостей кучку,
заводил граммофон, вертя ручку.
Дворник, раздумывая о превратности человеческого положения,
заворачивал тело покойника в таблицу умножения.
Варвара Михайловна шарила в покойницком комоде
не столько для себя, сколько для своего сына Володи.
Жилец, написавший в уборной: «пол не марать»,
вытягивал из-под покойника железную кровать.

Вынесли покойника, завернутого в бумагу,
положили покойника на гробовую колымагу.

Подъехал к дому гробовой шарабан.
Забил в сердцах тревогу гробовой барабан.

Нельзя не обратить внимание на ритмическую структуру этого стихотворения. Дольник, с которого оно начинается, в середине текста, когда речь заходит о бессердечных соседях, совершенно расшатывается и превращается попросту в раешник, чтобы снова собраться в последних строках, когда появляется тема “барабанного боя”.

В середине 1930-х годов Хармс создает несколько стихотворений, которые сам называл “опытами в классических размерах”. Понятие “классический размер” следует понимать метафорически: хотя временами поэт обращался к верлибру,

большая часть его стихотворений и прежде написана была вполне традиционными ямбом, хореем и другими каноническими размерами русской силлаботоники. В данном случае подчеркнуто “классической”, даже архаичной является, с одной стороны, лексика, с другой – структура стихотворения. Вторичное оживление “золотой латыни” пушкинских времен, перешедшей в разряд банальных поэтизмов, путем смены контекста – прием, намеченный еще Кузминым. У обэриутов в 1930-е годы намечается переход от полуиронического, игрового, “масочного” употребления этих поэтизмов к их серьезному освоению. Соответственно меняется контекст – из подчеркнуто нелепого и абсурдного он становится лишь чуть-чуть непривычным. В этом смысле появление “опытов” Хармса не случайно совпадает или почти совпадает с появлением первых “одических” стихов Заболоцкого и с “Пучиной страстей” Олейникова. Вершиной такой поэтики в 1930–1940-е годы[331] является, возможно, “Элегия” Введенского:

Осматривая гор вершины,
их бесконечные аршины,
вином налитые кувшины,
весь мир, как снег, прекрасный,
я видел горные потоки,
я видел бури взор жестокий,
и ветер мирный и высокий,
и смерти час напрасный.

Хармсовские “опыты” не дотягивают до такого уровня. Часть из них не поднимается над уровнем альбомных стилизаций; может быть, лишь в двух стихотворениях – “Небо” и “Неизвестной Наташе” – поэту удается поймать истинно высокую ноту, но и в них есть некоторая принужденность и условность. Тем не менее само направление поисков далеко не случайно – и для творческого пути Хармса, и для истории литературы. В “Небе”, изображающем ежедневное коловращение городской жизни, бросаются в глаза тютчевские интонации – и даже прямые цитаты:

…Настала ночь. И люди дышат,
В глубоком сне забыв дела.
Их взор не видит, слух не слышит,
Недвижны вовсе их тела.

На черном небе звезды блещут;
Дрожит на дереве листок.

В далеком море волны плещут;
С высоких гор журчит поток.

Кричит петух. Настало утро.
Уже спешит за утром день.
Уже из тучи Брамапутра
Шлет на поля благую тень.

Уже прохладой воздух веет,
Уже клубится пыль кругом.
Дубовый листик, взвившись, реет.
Уже гремит над нами гром…

Интересно, как перекликается эта “Брамапутра” с образами Заболоцкого: “Висла виски” (1926), “ночных существ таинственная Волга” (1936). Другое стихотворение, “Неизвестной Наташе”, датированное 23 января 1935 года, связывают то со строгой теткой Хармса, известной в семье как “Наташа”, то с некой незнакомкой, которую Хармс, по свидетельству Шишмана, мистифицировал, переписываясь с ней от чужого лица. Скорее это все же галантное стихотворение, обращенное к молодой женщине:

Скрепив очки простой веревкой, седой старик читает книгу.
Горит свеча, и мглистый воздух в страницах ветром шелестит.
Старик, вздыхая, гладит волос и хлеба черствую ковригу
Грызет зубов былых остатком и громко челюстью хрустит.

Уже заря снимает звезды и фонари на Невском тушит,
Уже кондукторша в трамвае бранится с пьяным в пятый раз,
Уже проснулся невский кашель и старика за горло душит,
А я пишу стихи Наташе и не смыкаю светлых глаз.

Пожалуй, здесь Хармсу удается достичь той классической точности, к которой он стремился, обращаясь к стилизациям. По убедительному предположению И.В. Лощилова, в стихотворении есть скрытая отсылка к пушкинскому отрывку – “В еврейской хижине лампада…”:

Старик, закрыв святую книгу,
Застежки медные сомкнул…

Но в то же время веревка, которой скреплены очки, и коврига хлеба в руках – детали настолько конкретные, осязаемые, что можно увидеть здесь и портрет определенного человека. И человек этот, конечно, – Иван Павлович Ювачев, одинокий адепт никогда не существовавшей “свободной церкви” в атеистической стране, скиталец и труженик, чей образ парадоксально сливается в сознании Хармса с нищим и гонимым еврейским патриархом.

В эти годы начинают появляться короткие рассказы и сценки Хармса, некоторые из которых вошли в его знаменитый цикл “Случаи”. Интересно, что к этому – более раннему периоду – относятся в основном драматургические по форме миниатюры, а чисто “прозаические” вещи, вошедшие в “Случаи”, датируются 1936–1939 годами. В 1933 году Хармс говорил друзьям: “Нам бы нужен был наш журнал, особенно для Н. М. А для меня свой театр”[332]. Свой театр, “Зеленый Гусь”, был у сверстника Хармса, поляка Констаты Ильдефонса Галчинского, чьи короткие сценки временами удивительно напоминают хармсовские. Сходство с Галчинским временами даже более впечатляет, чем параллели с Ионеско и Беккетом, исследованные Ж.-Ф. Жаккаром. Но у Галчинского абсурд “чистого действия”, как правило, лишен метафизического измерения, а порою связан со злободневной политикой. До самой смерти он сохранил то молодое озорство, которое у русского абсурдиста исчезло очень рано. Может быть, именно потому, что у Галчинского была благодарная аудитория, а у Хармса – нет. Переход от драматургии к прозе (что впрочем, более чем условно, поскольку речь одет о текстах на одну-две страницы) во многом связан с утратой надежд на реальное воплощение воображаемого театра.

Стремясь к обретению собственного голоса в прозе, Хармс, естественно, следил за работой других писателей. Однако в его дневниках нет никаких упоминаний о чтении прозы Вагинова, Добычина или Зощенко. Творческий диалог имел место с Житковым. Хармс был одним из слушателей его романа “Виктор Вавич”, в котором Житков попытался соединить сказовый язык и обостренную изобразительную манеру 1920-х годов со структурой большого романного эпоса (и эта попытка была во многих отношениях удачна). Однако новая повесть “Без совести”, которую Житков читал Хармсу 24 октября 1932 года, произвела на него большее впечатление:

Гораздо лучше В<авича>, прямо, говорит, совсем

другое. Ни он, ни Колька не заметили из чего сделано. А это главное, чего я хочу. Я сказал, что это они меня довели стихами – он, Колька и Заболоцкий, что мне обидно стало за прозу…[333]

Повесть Житкова[334] по сюжету перекликается с фантастическими повестями 1920-х годов, такими как “Гиперболоид инженера Гарина”, но ее сюжет пронизан духом абсурда (до конца остается неясным, что перед нами: исповедь маньяка, завладевшего грандиозным изобретением, бредовые фантазии обитателя дома умалишенных или беллетристический опыт его врача), а простой и динамичный повествовательный стиль не похож на орнаментальную стилистику “Виктора Вавича”. Именно эти особенности повести Житкова должны были привлечь Хармса. Они близки его собственной зрелой прозе: не так просто высчитать, как и из чего она “сделана”; приемы скрыты, они “не выпирают”.

Сценки и мини-новеллы Хармса мрачноваты и удивительно лаконичны, но при этом часто оглушительно смешны. Такие фразы, как “нас всех тошнит”, “вот какие огурцы продают сейчас в магазинах”, наконец, сакраментальное “тюк!”, давно уже вошли в русский язык и стали поговорками. Общий мотив творчества Хармса в середине тридцатых годов – разрушение всего, что еще недавно отграничивало человеческую личность от мира и определяло ее безопасность и суверенитет – начиная с социального и профессионального статуса (“Я писатель” – “А я думаю, что ты г…о”), заканчивая законами логики. Осталось одно: юмор, порожденный великолепной неуместностью высказывания и действия, утратившего свои функции и смысл:

> Однажды Орлов объелся толчёным горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причёсываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом в руках и сошёл с ума. А Перехрёстов получил телеграфом четыреста рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы.
>
> Хорошие люди и не умеют поставить себя на твёрдую ногу.

Рассказчик – немного брезгливый наблюдатель, скитающийся по этому странному мультипликационному миру в поисках мелких, смешных и бессмысленных чудес: Петерсен превратился

в шар, слепому на Мальцевском рынке подарили вязаную шаль, жизнь победила смерть неизвестным науке способом.

5

Тем временем в окружающем мире происходили события противоречивые, так или иначе сказывавшиеся на жизненных обстоятельствах писателя.

Членский билет Союза писателей давал Хармсу официальное положение, более или менее защищавшее его. Правда, он не мог рассчитывать на квартиру в “писательской надстройке” в доме № 9 по каналу Грибоедова, совсем рядом с Госиздатом. Между тем Олейников, Заболоцкий и Шварц получили там квартиры. 24 января 1935 года датируется незаконченное стихотворение Хармса “На посещение писательского дома”, написанное в духе “упражнений в классических размерах”:

Когда оставленный судьбою
Я в двери к вам стучу друзья
Мой взор темнеет сам собою
И в сердце стук унять нельзя
Быть может радости движенья
Я вам собой не принесу
В груди, быть может, униженья
Насмешек ваших не снесу
Быть может приговор готовый
Моих друзей гремел не раз
Что я в беде моей суровой
Быть может не достоин вас нелеп
Толпу забот и хлад судеб.

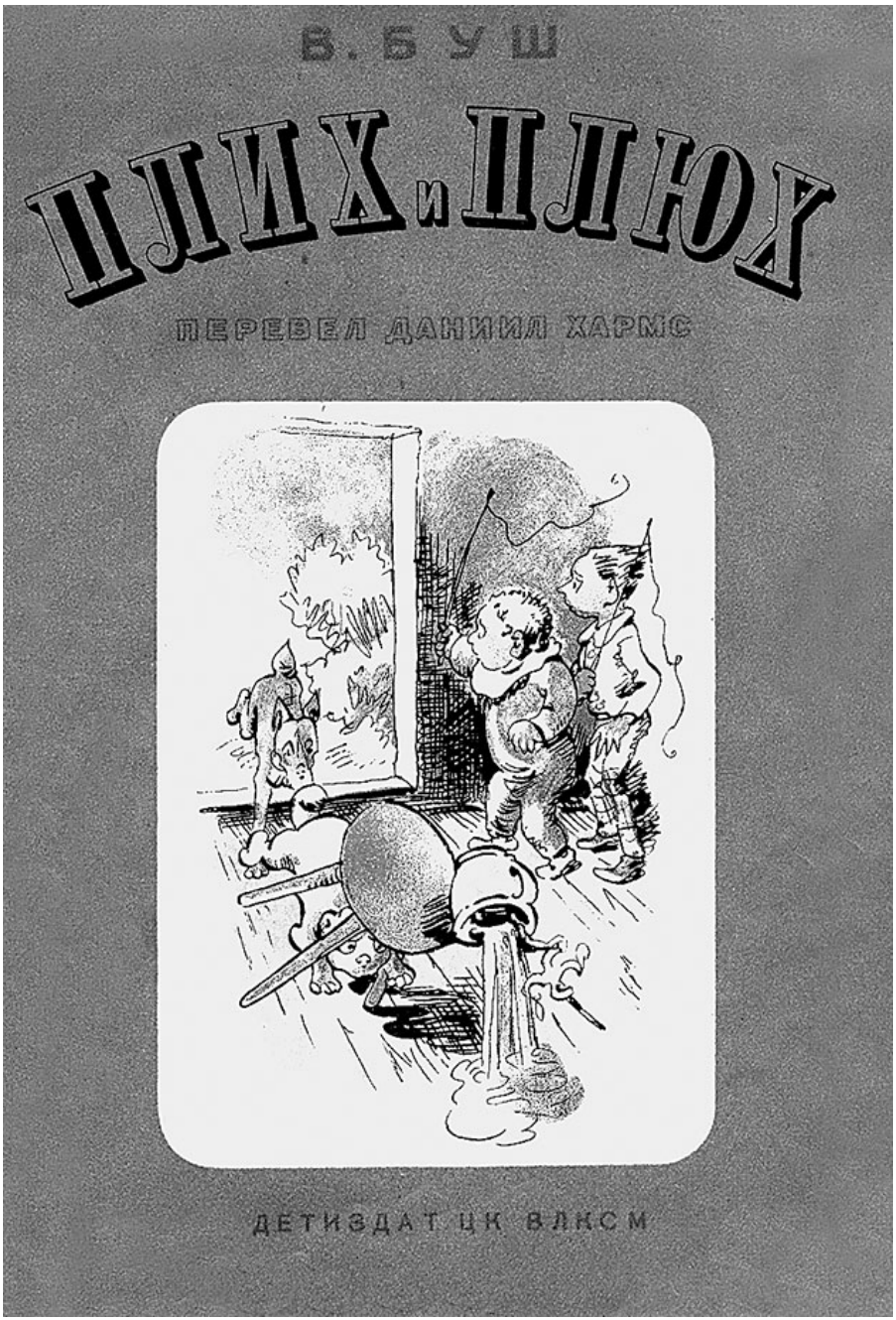
Если в какие-то моменты все участники “сборища” казались Хармсу “оставленными судьбою”, то при виде жилищной роскоши друзей (а любая отдельная квартира тогда считалась роскошью) он склонен был относить это определение только к себе. Но отдельное жилье в писательской надстройке не принесло счастья ни Олейникову, ни Заболоцкому – карающая длань накрыла их раньше, чем Хармса. В иные эпохи быть “оставленными судьбою” если не комфортнее, то безопаснее.

Первого декабря 1934 года прозвучал роковой выстрел Леонида Николаева на лестничной площадке Смольного. Судьба убийцы Кирова, возможно, переплеталась с судьбой семьи Русаковых. По предположению Кибальчича, благожелательный

инспектор Рабочего контроля по фамилии Николаев, который способствовал восстановлению Русакова в профсоюзе в 1929 году, мог быть “тем самым”. До сих пор неизвестно, какие мотивы двигали бывшим мелким чиновником, застрелившим первого секретаря Ленинградского губкома ВКП(б), и был ли он агентом ГПУ, но эхо его выстрела было долгим. В марте – мае 1935 года были приняты законы об ответственности “членов семей изменников родины”, о возможности вынесения любых приговоров (вплоть до смертных) детям начиная с двенадцати лет, о рассмотрении дел о терроризме в десятидневный срок без участия адвоката; были созданы знаменитые “тройки”. Это был еще не Большой Террор, но вся законодательная база для него, если можно так выразиться, уже была создана.

Сергей Миронович Костриков, известный под псевдонимом Киров, был фигурой противоречивой. Простоватый с виду парень из “рабочей аристократии”, техник по образованию, близкий друг Сталина, он был послан в Ленинград усмирять внутрипартийных оппозиционеров. Эту задачу он выполнил вполне последовательно; кроме того, на совести Кирова массовые выселения из города “бывших людей” при паспортизации в 1932–1933 годах. Тем не менее Киров, в отличие от своего предшественника Зиновьева и своего преемника Жданова, редко бывал инициатором жестокостей и за восемь лет сделал зла меньше, чем в принципе мог бы. Наконец, он был просто неплохим администратором и обаятельным человеком.

Дом с “писательской надстройкой” (набережная канала Грибоедова, д. 9). Фотография М. Захаренковой, июнь 2008 г.



Книга Вильгельма Буша “Плих и Плюх” в переводе Д. Хармса (Л., 1936). Обложка.

Олейников с симпатией относился к главному

ленинградскому “вождю” и, когда в относительно безопасные годы его друзья, подвыпив, затевали в “Культурной пивной” игру в орлянку “на вождей”, играть на Кирова отказывался. Можно предположить, что и Заболоцкому не пришлось особенно себя насиловать, когда по заказу “Известий” ему было предложено написать стихотворение на смерть “великого гражданина”. Впрочем, отказываться от таких предложений было не принято, тем более что в тех же “Известиях” летом были напечатаны “Осенние приметы” – прекрасное и совершенно аполитичное стихотворение. Это означало постепенный конец опалы; этими успехами Заболоцкий был обязан Бухарину, покровителю многих поэтов, который и сам грешил стихотворчеством.

В декабре 1934 года были осуждены и приговорены к расстрелу четырнадцать бывших зиновьевцев. 16 января по делу “московского центра”, который якобы стоял во главе всей подпольной деятельности бывших оппозиционеров, был осужден близкий к обэриутам человек, Владимир Павлович Матвеев, в прошлом – секретарь “Известий”, позднее – литератор, издательский работник, а в 1934 году – директор ленинградского отделения “Союзфото”. По одним сведениям, Матвеев был сразу расстрелян, по другим – сослан на пять лет в Туруханский край, где его и ждал расстрел – после вторичного ареста[335]. Матвеев был одним из ближайших друзей Олейникова, добрым знакомым Заболоцкого и Хармса и поклонником их творчества. Арестована была, кроме того, сотрудница детской редакции Раиса Васильева. Разумеется, и среди пяти тысяч “бывших людей”, высланных из города в так называемом кировском потоке, у Хармса были знакомые.

Тем не менее в его личной судьбе как раз в это время обнаруживается некое изменение к лучшему. В конце 1934 – начале 1935 года он получает большой заказ: написать пьесу для Театра марионеток Е.С. Деммени (для постановки в Доме писателей). Пьеса Хармса “Цирк Шардам” получила название по одному из псевдонимов писателя. Работа была, видимо, долгой – существует два разных варианта пьесы. Сюжет несложен: персонаж по имени Вертунов (имя, уже использованное в “Комедии города Петербурга”) безуспешно пытается найти себе применение в цирке Шардам, но его таланты немногочисленны: он умеет лаять (однако “совершенно непохоже на собачий лай”) и ходить на четвереньках – “совершенное впечатление, что ходит козел”. С неугомонным Вертуновым происходят самые разные приключения (например, его съедает дрессированная акула), но он выживает, спасает цирк от потопа, и в благодарность его принимают в труппу. В первоначальной редакции удача

Вертунова объясняется тем, что его, вытаскивая из ящика фокусника, сильно вытянули и он стал великаном. Пьеса была впервые поставлена осенью 1935 года – и до сего дня часто идет в кукольных театрах России.

Осенью следующего года в № 8–12 “Чижа” публикуется хармсовский перевод из Вильгельма Буша – “Плих и Плюх”. Практически одновременно книга выходит отдельным изданием. В 1935–1936 годах Хармс вновь регулярно печатается в “Чиже”, но в “Еже” лишь один раз, с “политически правильным” стихотворением “Новый город” (1935. № 7). Это стихотворение, содержащее скрытые реминисценции из вступления к “Медному всаднику”, перекликается, между прочим, с созданным десятилетием позже “Городом в степи” Заболоцкого (таким же, в сущности, халтурным “паровозом”[336]). А с 1936 года “Ёж” вообще перестал выходить.

В 1935 году Хармс пытается заработать деньги самыми разными способами. Он собирался писать для эстрады – для артиста-лилипута Ивана Артамонова – и получил аванс, но так ничего и не написал[337]. По-прежнему одним из источников заработка оставались выступления в детских коллективах. Видимо, с теми же чисто материальными целями Хармс летом 1935 года отправляется, по предложению Маршака, вместе с несколькими “одаренными” детьми, учениками Дома детской книги, в гастрольную поездку по Украине (маршрут включал Запорожье и Харьков). Среди детей-стихотворцев был Лев Друскин, племянник Якова и Михаила Семеновичей, впоследствии известный поэт и диссидент. Друскин был с раннего детства парализован, передвигался в инвалидном кресле; возить его было очень трудно, и можно представить себе трогательное впечатление, которое производил на аудиторию юный поэт-инвалид. Хармс же, по свидетельству Друскина, постарался свести к минимуму свое общение со спутниками:

> Видели мы его только за столом. Он коротко кивал нам, садился, наливал стакан и опускал в чай градусник. Он внимательно следил за темным столбиком и, когда температура удовлетворяла его, вытаскивал градусник и завтракал. Если было свежо, он просил закрыть ближайшее окно, чтобы масло от сквозняка не скисло[338].

Поездка была тем более неприятна для Даниила Ивановича, что педагогом, сопровождавшим детей, был не кто иной, как Абрам Серебрянников, в недавнем прошлом – автор одного из печатных доносов на Хармса и его друзей.

Вторая гастрольная поездка вместе с “юными дарованиями”, по Волге, состоялась следующим летом (1936) и была более приятной. В ней участвовал Маршак с семьей; Хармс тоже смог взять с собой жену. Для Марины Владимировны это путешествие оказалось омрачено печальным известием: в ссылке арестовали ее “бабушку”, княгиню Голицыну. По возвращении Марина Владимировна отправилась в Москву в Политический Красный Крест, к Е.А. Пешковой. Благодаря содействию последней, “бабушку” выпустили из тюрьмы, более того, разрешили ей вернуться в Ленинград.

К середине 1930-х относится и один не вполне понятный эпизод, о котором известно только из следственного дела 1941 года. В 1935 году Хармс был подвергнут кратковременному аресту за “незаконную коммерческую деятельность” и несколько дней провел в тюрьме. Что это была за коммерция – неясно, скорее всего – продажа каких-то вещей. Во всяком случае, это свидетельствует о чуть более заинтересованном, чем прежде и позднее, отношении к своему материальному положению и о попытках исправить его любыми, в том числе небезопасными по тем временам, способами.

Даже свои чисто литературные затеи (теперь – скромные, приватные) Хармс наивно пытается поставить на “коммерческую” основу. Вероятно, к этому времени (1935–1936 годы) относится следующий проект:

> Журнал “Тапир” основан Даниилом Ивановичем Хармсом. Сотрудничать в журнале может всякий человек, достигший совершеннолетия, но право приема или отклонения материала принадлежит всецело одному Даниилу Ивановичу Хармсу.
>
> Сотрудничать в журнале могут также и покойники из коих главными и почетными будут
>
> Козьма Петрович Прутков
>
> и 2) Густав Мейринк.
>
> В журнале “Тапир” не допускаются вещи содержания:
>
> 1) Антирелигиозного
>
> 2) Либерального
>
> 3) Антиалкогольного
>
> 4) Политического
>
> 5) Сатирического
>
> 6) Пародийного
>
> Желающим сотрудничать в “Тапире” следует запомнить, что каждая вещь должна удовлетворять

шести условиям запрещения и быть такой величины, чтобы умещалась на двух столбцах одной журнальной страницы. Выбор страницы производится Д.И. Хармсом. Оплата: I проза: за 1 стран. – 1 руб., за 1 колонку – 50 коп., за 1/4 кол. – 25 коп. II стихи: 2 коп. за строчку. Журнал из помещения квартиры Д.И. Хармса не выносится. За прочтение номера “Тапира” читатель платит Д.И. Хармсу 5 копеек. Деньги поступают в кассу Д.И. Хармса. Об этих деньгах Д.И. Хармс никому отчета не отдает.

За Д.И. Хармсом сохраняется право повышения и понижения гонорара за принятие в журнал вещи, а также повышения и понижения платы за прочтение номера, но с условием, что всякое такое повышение и понижение будет оговорено в номере предыдущем: Желающие могут заказать Д.И. Хармсу копию с “Тапира”. I-ая коп. с одного № – стоит 100 руб. II-ая коп. – 150, III – 175, IV – 200 и т. д.

Можно увидеть здесь прообраз грядущего ленинградского самиздата. С той разницей, что Хармс наивно рассчитывал извлечь из своей “издательской” деятельности прибыль. Последнее было не слишком возможно не только в 1930-е, но и в 1960–1980-е годы. Вероятно, если бы Хармс и в самом деле затеял журнал подобного формата, это довольно быстро заинтересовало бы НКВД, несмотря на оговоренную аполитичность издания и его домашний характер. Во всяком случае, вероятно, это была последняя задуманная Хармсом мало-мальски открытая литературная акция.

Создается впечатление, что Хармс и впрямь сумел заработать в 1935–1936 годах кое-какие деньги. Но никаких сбережений сделать ему не удалось. Что-то ушло на уплату старых долгов. Другим деньгам Хармс нашел в высшей степени нерациональное употребление: купил фисгармонию. Об этом музыкальном инструменте, составлявшем часть небогатого убранства его комнаты, вспоминают многие мемуаристы.

Фисгармонии получили в то время широкое распространение. Может быть, потому, что, в отличие от пианино, они умещались в крохотные комнатушки ленинградских коммуналок. Фисгармония была, например, у Калашникова. Хармс умел играть на фисгармонии, как мы помним, с детства.

К апрелю 1935 года относится следующая запись Хармса:

1). Мы вчера ничего не ели. 2). Утром я взял в сберкассе 10 руб., оставив на книжке 5, чтобы не закрыть

счета. 3). Зашел к Житкову и занял у него 60 руб. 4). Пошел домой, закупая по дороге продукты. 5). Погода прекрасная, весенняя. 6). Поехал с Мариной к Буддийской пагоде, взяв с собой сумку с бутербродами и фляжку с красным вином, разбавленным водой. 7). На обратном пути зашли в комиссионный магазин и *увидели там фисгармонию Шидмейера, двухмануальную, копию с филармонической. Цена* 900 *руб. только! Но полчаса тому назад ее купили!* <…> 8). Пошли к Житкову. 9). С Житковым узнали, кто купил фисгармонию, и поехали по адресу: Песочная, 31, кв. 46, Левинский. 10). Перекупить не удалось. 11). Вечер провели у Житкова.

Что касается Буддийской пагоды, то это было одно из любимых мест прогулок Хармса с 1920-х годов. Храм, построенный в 1913 году Г.Д. Барановским под присмотром ученого комитета, в который входили В.В. Радлов, С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербатский, Н.К. Рерих и др. После закрытия храма (в том же 1935 году) при нем еще несколько лет оставался какой-то служка (“лама”); Хармс с ним познакомился, и служка дарил ему время от временами “контрабандный” чай (которым Хармс поил особо дорогих гостей).

Вернемся, однако, к фисгармонии. Вскоре Житков переехал в Москву. А в июне 1936 года, ненадолго вернувшись в Ленинград, он навещает редакцию “Чижа” и там встречает Хармса. “Он сообщил мне: вы один меня поймете – я купил фисгармонию Шидмейера… Она старого выпуска, он купил ее за 500 р.”[339]. В конце сентября Хармс пишет Житкову:

> …Каждый день, садясь за фисгармонию, вспоминаю Вас. Особенно, когда играю II фугетту Генделя, которая Вам тоже нравилась… Эта фугетта в моем репертуаре – коронный номер. В продолжение месяца я играл ее по два раза в день, но зато теперь играю ее свободно. Марина не очень благосклонна к моим занятиям, а так как она почти не выходит из дома, то я занимаюсь не более одного часа в день, что чрезмерно мало. Кроме фугетты играю Палестриновскую “Stabat mater” в хоральном переложении, менуэт Джона Bloy’a (XVII в.), “О поле, поле” из Руслана, хорал es-dur Иоганновских страстей и теперь разучиваю арию c-moll из партиты Баха. Это одна из лучших вещей Баха и очень простая. Посылаю Вам верхний голос для скрипки, ибо, разучивая ее только одним пальцем, я получал огромное удовольствие. У меня часто бывает Друскин. Но большая

рояльная техника мешает ему хорошо играть на фисгармонии.

Марина Малич позирует за фисгармонией, 1938–1939 гг.

Между тем уже в сентябре Хармс, как явствует из того же письма, снова испытывает сильнейшие денежные затруднения. “Сентябрь прожил исключительно на продажу, да и то с таким расчетом, что два дня с едой, а один голодаем”. Деньги за пьесу ушли, а за Буша еще не были получены. Однако даже год спустя, когда ему и его жене уже буквально грозила голодная смерть, Хармсу не пришло в голову продать фисгармонию.

Отъезд Житкова (почти одновременно с переселением Введенского в Харьков) был тягостен для Хармса: город пустел, друзей и знакомых было все меньше. Несмотря на разницу в возрасте, опыте и жизненном складе, 50-летний “морской волк” и 30-летний “чудак” привязались друг к другу. В том же письме к Арнольд, где шла речь о покупке Хармсом фисгармонии, Борис Степанович пишет:

> Хармс испугался, что у него пузо растет (он худ все же), стал заниматься джиу-джитцу – не помогает, представьте себе! Но он живей всех, он такой же, как был, его этой пылью времени не запорошило, не “сел на задние ноги”, и я был ему рад, так же, как и он мне[340].

У Житкова Хармс консультируется по гонорарно-

издательским вопросам, связанным с изданием “Плиха и Плюха”. Получив ответ, он отзывается таким письмом (5 октября 1936):

> Дорогой Борис Степанович,
>
> большое спасибо за Ваш ответ. У меня было такое ощущение, что все люди, переехавшие в Москву, меняются и забывают своих ленинградских знакомых. Мне казалось, что москвичам ленинградцы представляются какими-то идеалистами, с которыми и говорить-то не о чем. Оставалась только вера в Вашу неизменность. За девять лет, что я знаю Вас, изменились все. Вы же как были, таким точно и остались, несмотря на то, что как никто из моих знакомых изменили свою внешнюю жизнь. И вдруг мне показалось, что Вы стали москвичом и не ответите на мое письмо. Это было бы столь же невероятно, как если бы я написал письмо Николаю Макаровичу, а он прислал бы мне ответ. Поэтому, получив сегодня Ваше письмо, я испытал огромную радость, что-то вроде того, что “Ура! Правда восторжествует”.
>
> Когда кто-нибудь переезжает в Москву, я, ленинградский патриот, воспринимаю это как личное оскорбление. Но Ваш переезд в Москву, дорогой Борис Степанович, мне бесконечно печален. Среди моих знакомых в Ленинграде не осталось ни одного настоящего мужчины и живого человека. Один зевнет, если заговорить с ним о музыке, другой не сумеет развинтить даже электрического чайника, третий, проснувшись, не закурит папиросы, пока чего-нибудь не поест, а четвертый подведет и окрутит вас так, что потом только диву даешься. Лучше всех, пожалуй, Николай Андреевич[341]. Очень-очень недостает мне Вас, дорогой Борис Степанович.

Одни уезжали из города, другие уходили из жизни. Уже не было Вагинова; 15 мая 1935 года умер Малевич. Незадолго до этого Хармс был у него в гостях с Заболоцким и Харджиевым. По свидетельству Харджиева,

> хорошая встреча была испорчена Заболоцким, который с оскорбительным благоразумием вздумал поучать Малевича, советуя ему приложить свое мастерство к общественно полезным сюжетам. Очевидно, Николай Алексеевич уже подумывал о собственной перестройке. Вскоре Хармс, коварно улыбаясь, мне

сказал, что Заболоцкий собирается воспеть “челюскинцев”[342].

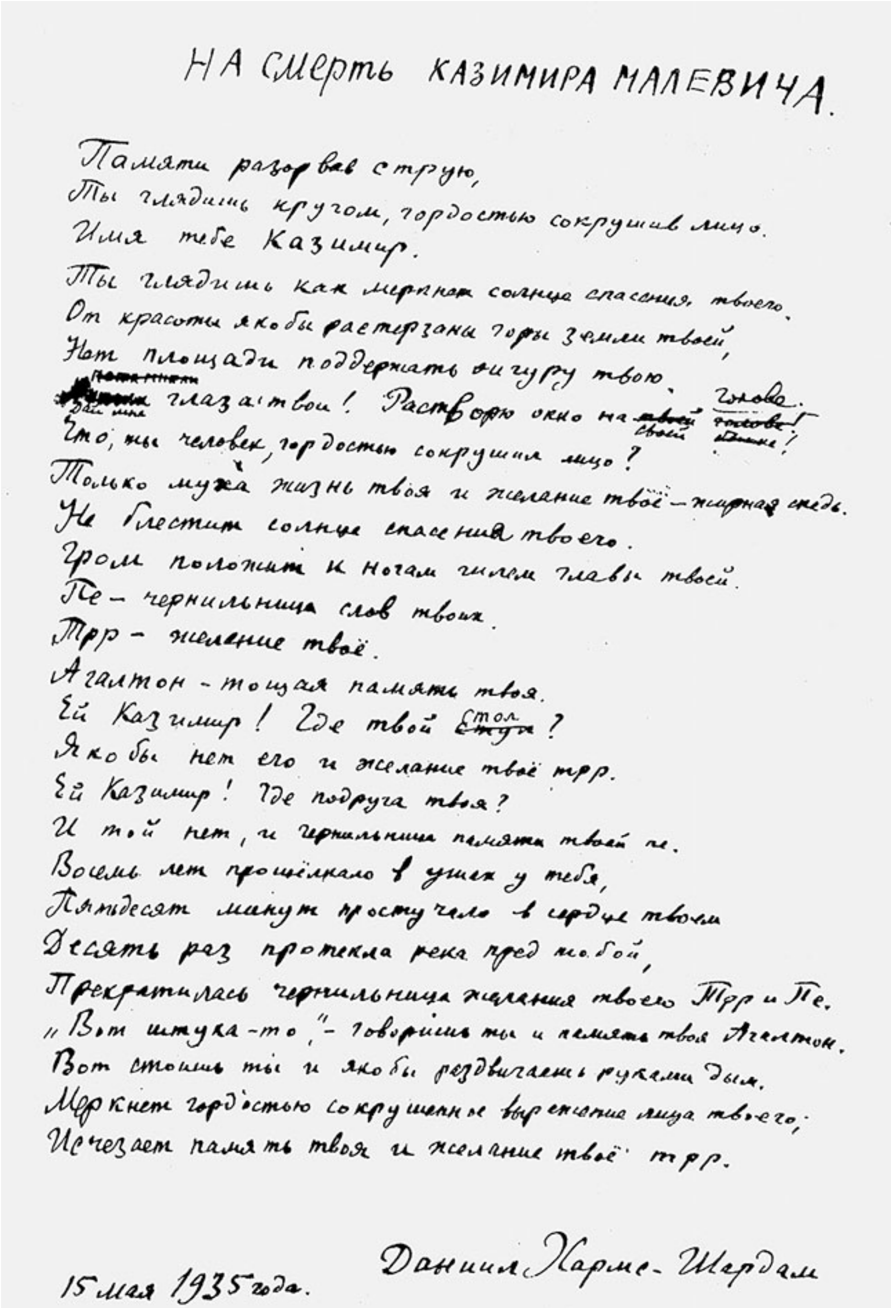
Совет Заболоцкого неправильно было бы воспринимать в отрыве от исторического контекста. Нельзя сказать, что супрематисты никогда не искали контактов с революционной современностью и советским социумом. В первые послереволюционные годы они принимали участие в организации празднеств и шествий, а позднее – в создании агитфарфора. А уж теперь, когда Малевич вернулся к фигуративной живописи, причем к живописи, оперирующей большими, монументальными формами, – еще более естественным было бы обращение к востребованным обществом и государством темам и сюжетам (тем из них, разумеется, которые не вызывают у самого художника внутреннего неприятия). Это позволило бы популяризовать, пропагандировать новый художественный язык, попытаться вытеснить безликие формы эпигонского соцреализма. Видимо, логика Заболоцкого была именно такова.

Несмотря на неудачу (не литературную, а социальную) с “Торжеством земледелия” и пережитый в 1933–1934 годах идейный кризис, такая позиция по-прежнему не воспринималась поэтом как проявление конформизма. И не только им. Вот характерное рассуждение Липавского (из “Разговоров”):

> Говорят о плохих эпохах и хороших, но, я знаю, единственное отличие хорошей – отношение к видимому небу. От него и зависит искусство. Остальное не важно. Нам, например, кажется, писать по заказу плохо. Но прежде великие художники писали по заказу, им это не мешало…[343]

Заболоцкий мог бы подписаться под этими словами. Сам склад его поэтики (очень отличной в этом смысле от поэтики Хармса и Введенского) позволял рассматривать “тему” как нечто отдельное от непосредственной лирической ткани. Стихи Заболоцкого всегда – “о чем-то”. Но если можно было писать стихи о цирке или “Красной Баварии”, можно писать и о челюскинцах, тем более что сама по себе эта тема вполне укладывалась в философию Заболоцкого. Мы знаем, что результатом его обращения к этой теме стал “Север” – мастерское, блестящее стихотворение, полное скрытого трагизма. Правда, на “Севере” Заболоцкий не остановился, поиск точек соприкосновения с социумом заводил его все дальше, порой сказываясь и на его отношениях с “видимым небом” (и все равно не спас от общей для большинства его друзей участи). Дело,

видимо, в том, что тоталитарное общество XX века принципиально отличалось от простодушных монархий былых времен, и в этом обществе художнику любого типа “писать по заказу”, оставаясь самим собой на уровне миросозерцания и стиля, удавалось крайне редко. Но в 1935 году это было далеко не очевидно. И, возможно, Малевич в самом деле пошел бы по пути, предложенному одним из его гостей, если бы не смерть.



НА СМЕРТЬ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА.

Памяти разорвав струю,
Ты глядишь кругом, гордостью сокрушив лицо.
Имя тебе Казимир.
Ты глядишь как меркнет солнце спасения твоего.
От красоты якобы растерзаны горы земли твоей,
Нет площади поддержать фигуру твою.
Дай мне глаза твои! Растворю окно на ~~твоей~~ своей голове.
Что, ты человек, гордостью сокрушил лицо?
Только муха жизнь твоя и желание твоё — жирная снедь.
Не блестит солнце спасения твоего.
Гром положит к ногам шлем главы твоей.
Пе — чернильница слов твоих.
Трр — желание твоё.
Агалтон — тощая память твоя.
Ей Казимир! Где твой ~~стул~~ стол?
Якобы нет его и желание твоё трр.
Ей Казимир! Где подруга твоя?
И той нет, и чернильница памяти твоей пе.
Восемь лет прошелкало в ушах у тебя,
Пятьдесят минут простучало в сердце твоем
Десять раз протекла река пред тобой,
Прекратилась чернильница желания твоего Трр и Пе.
„Вот штука-то," — говоришь ты и память твоя Агалтон.
Вот стоишь ты и якобы раздвигаешь руками дым.
Меркнет гордостью сокрушенное выражение лица твоего;
Исчезает память твоя и желание твоё трр.

Даниил Хармс-Шардам

15 мая 1935 года.

Стихотворение Д. Хармса “На смерть Казимира Малевича”. Автограф, 1935 г.

Похороны художника М. Малич вспоминает так:

Собралось много народу. Гроб был очень странный,

сделанный специально по рисунку, который дал Даня и, кажется, Введенский.

На панихиде, в комнате Даня встал в голове и прочел над гробом свои стихи…[344]

Стихотворение “На смерть Казимира Малевича” резко отличается от создававшихся тогда “опытов в классических размерах”. Здесь Хармс прощается не только с художником, которого он считал одним из своих учителей, но и с авангардным периодом собственного творчества. Не случайно здесь впервые после очень долгого перерыва (и чуть ли не в последний раз во “взрослой” поэзии Хармса) появляется заумь:

Памяти разорвав струю,
Ты глядишь кругом, гордостью сокрушив лицо.
Имя тебе – Казимир.
Ты глядишь как меркнет солнце спасения твоего.
От красоты якобы растерзаны горы земли твоей,
Нет площади поддержать фигуру твою.
Дай мне глаза твои! Растворю окно на своей башке!
Что ты, человек, гордостью сокрушил лицо?
Только муха жизнь твоя и желание твое – жирная снедь.
Не блестит солнце спасения твоего.
Гром положит к ногам шлем главы твоей.
Пе – чернильница слов твоих.
Трр – желание твоё.
Агалтон – тощая память твоя.
Ей Казимир! Где твой стол?
Якобы нет его и желание твое Трр.
Ей Казимир! Где подруга твоя?
И той нет, и чернильница памяти твоей Пе.
Восемь лет прощёлкало в ушах у тебя,
Пятьдесят минут простучало в сердце твоём,
Десять раз протекла река пред тобой,
Прекратилась чернильница желания твоего Трр и Пе.
“Вот штука-то”, – говоришь ты и память твоя Агалтон.
Вот стоишь ты и якобы раздвигаешь руками дым.
Меркнет гордостью сокрушенное выражение лица твоего;
Исчезает память твоя и желание твое Трр.

Впрочем, при написании стихотворения Хармс воспользовался наброском, созданным еще при жизни Малевича, адресата которого звали Николаем. Олейников? Харджиев? Заболоцкий? (Так некогда Лермонтов воспользовался готовыми

строфами из “Сашки” в знаменитом стихотворении “Памяти Одоевского”.)

Смерть Малевича стала одним из рубежных событий, которые заставили Хармса в середине 1930-х годов заново осмыслить свое место в литературе, свои представления об истории культуры и целях творчества. Но обстоятельства, при которых он смог обнародовать в 1936 году то, что можно считать его последним художественным манифестом, были парадоксальны.

6

1936 год вообще-то был сравнительно спокойным. Можно сказать, что это был год мини-оттепели. Так работали жуткие качели сталинского режима: ужасы коллективизации, процессы вредителей, выселения “бывших”, бешенство рапповской критики – а потом вдруг Первый съезд писателей, ласки, расточаемые “попутчикам” (кому в большей, кому в меньшей степени) – а потом убийство Кирова, и снова аресты, депортации – а потом “сталинская” (бухаринская на самом деле) Конституция, поражавшая своим относительным либерализмом. Причем либерализм этот был далеко не только “бумажным”: в 1936 году были отменены классовые ограничения на получение образования, восстановлены в правах бывшие “лишенцы”, в том числе, кстати, и дети раскулаченных. Так что пафос Заболоцкого, воспевшего “великую книгу”, до известной меры мог быть искренним, как и пафос Пастернака, посвятившего новой Конституции и ее “зодчему” восторженную статью. Никто, разумеется, не предвидел, как далеко метнутся качели в этот раз, какие ужасы последуют за коротким периодом подобрения власти.

Однако тот же самый 1936 год был омрачен кампанией по борьбе с формализмом, которая началась уже в первые его недели и продолжалась не один месяц.

Двадцать восьмого января “Правда” печатает без подписи статью “Сумбур вместо музыки”:

> Некоторые театры как новинку, как достижение преподносят новой, выросшей культурно советской публике оперу Шостаковича “Леди Макбет Мценского уезда”. Услужливая музыкальная критика превозносит до небес оперу, создает ей громкую славу. Молодой композитор вместо деловой и серьезной критики, которая могла бы помочь ему в дальнейшей работе,

выслушивает только восторженные комплименты.

Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный, сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой “музыкой” трудно, запомнить ее невозможно.

Так в течение почти всей оперы. На сцене пение заменено криком. Если композитору случается попасть на дорожку простой и понятной мелодии, то он немедленно, словно испугавшись такой беды, бросается в дебри музыкального сумбура, местами превращающегося в какофонию. Выразительность, которой требует слушатель, заменена бешеным ритмом. Музыкальный шум должен выразить страсть.

Это все не от бездарности композитора, не от его неумения в музыке выразить простые и сильные чувства. Это музыка, умышленно сделанная “шиворот-навыворот”, – так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью. Это музыка, которая построена по тому же принципу отрицания оперы, по какому левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образа, естественное звучание слова. Это – перенесение в оперу, в музыку наиболее отрицательных черт “мейерхольдовщины” в умноженном виде. Это левацкий сумбур вместо естественной, человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам, претензиям создать оригинальность приемами дешевого оригинальничания. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо.

Автор этой статьи, Давид Иосифович Заславский, – исключительно ловкая, долговечная и прожженная газетная тварь, человек, летом 1917 года обличавший немецкого шпиона Ульянова-Ленина, а через десять – пятнадцать лет ставший одним из глашатаев партийного курса в советской прессе. Позже он был деятельным членом Еврейского антифашистского комитета, но в 1948 году не только избежал ареста, а еще и отличился в травле безродных космополитов – чуть ли не крикнул первое “ату”. Биография этого талантливого негодяя может составить

отдельную книгу. В середине тридцатых он переживал звездный час. В 1934-м вступил в ВКП(б) с личной рекомендацией Сталина (до этой поры члены парторганизации газеты “Правда” как-то смущались сложным прошлым Давида Иосифовича и отказывали ему в партбилете). Несомненно, и знаменитая статья Заславского отражала взгляды самого главного музыкального, литературного, художественного, театрального и проч. критика СССР.

Хармс, возможно, был знаком с Шостаковичем (через Соллертинского), ценил некоторые его произведения (оперу “Нос”) и даже собирался сотрудничать с композитором в качестве либреттиста. Ранее, в 1930 году, Шостакович задумал оперу “Карась” по мотивам стихотворения Олейникова. Надо сказать, что в том, кто впоследствии стал главным музыкальным гением СССР, были черты, близкие обэриутам и особенно Хармсу. Достаточно почитать некоторые его письма, чтобы убедиться в этом:

> В больнице пробуду до начала октября. У меня ослабела правая рука <…> Очень у меня отсталая левая рука. Я завидую В.Я. Шебалину, который совсем потерял правую руку, но вытренировал левую <…> Более того, он левой рукой, откликаясь на указания о том, что искусство должно быть ближе к жизни, ближе к народу, написал <…> оперу о наших современниках, победно идущих под руководством Партии к сияющим высотам нашего будущего… [345]

Тем не менее как раз “Леди Макбет” Хармсу понравилась не особенно. Об этом свидетельствует следующая его запись:

> Лучше плохое назвать хорошим, чем хорошее плохим, а потому я говорю, что Шестакович (так! – *В. Ш.*), должно быть, гений.
>
> Прослушав два первых действия оперы “Леди Макбет”, склонен полагать, что Шестакович не гений.

За статьей про музыку последовал ряд уже подписных статей, посвященных формализму в литературе, в театре и т. д. В местных писательских организациях были созваны собрания, на которых писателям-формалистам полагалось выслушивать обвинения и каяться. Лишь немногие (например, Пастернак, преувеличивавший свою неуязвимость) в первый момент пытались спорить с обвинениями; затем и они, как правило, произносили покаянные речи – и, собственно, линия водораздела проходила между теми, кто каялся с оговорками, и теми, кто

сразу капитулировал. Первых было больше – все-таки 1937 год еще не наступил, и сословие деятелей искусств в своей интеллигентной и элитарной части еще не до конца осознало свое место в новой системе. Хроника того, что происходило в ленинградской писательской организации, хорошо видна на страницах еженедельной газеты “Литературный Ленинград”. В первых номерах еще чувствуется спокойное, почти идиллическое настроение. Отмечается (в № 5) “прекрасное выступление К.И. Чуковского” на совещании при ЦК ВЛКСМ, посвященном детской литературе. (Давненько в советской печати имя Чуковского не сопровождало слово “прекрасный”!) Это в Москве, а в Ленинграде на первом вечере дискуссионного клуба прозаиков обсуждают “Город Эн”: “Книгу следует считать удачей Добычина”, хотя “он должен добиться крутого поворота в своей творческой работе”. Обсуждаются традиционные для советской критики 1920–1930-х годов вопросы – например, о допустимости формальной учебы у акмеистов (вялотекущая, порой обостряющаяся дискуссия на эту тему шла в рапповских и локафовских изданиях, особенно в Ленинграде, с 1927 года).

Антиформалистическая кампания начинается с № 14 газеты. Здесь печатается речь “Мейерхольд против мейерхольдовщины”, а в № 15 – статья Сергея Радлова, самого популярного и влиятельного театрального режиссера тогдашнего Ленинграда, “Мейерхольд и мейерхольдовщина”. Если мэтр переводил грозу на своих эпигонов, то один из его соперников, что называется, пользовался случаем. В том же номере – статья Е. Добина “Формализм и натурализм – враги советской литературы”, на формулировки которой стоит обратить внимание: “Формализм может быть связан с импрессионизмом, с тем направлением в искусстве, которое исходит из “непосредственных впечатлений”. Он может быть связан с примитивизмом. С конструктивизмом, с экспрессионизмом, с психологическим иллюзионизмом, выразителем которого является такой писатель, как Джойс”. Есть все основания полагать, что эта статья попалась на глаза Хармсу, который внимательно ее прочитал перед тем, как пришел его черед каяться в формалистических прегрешениях. Там же – отчет о новом, уже гораздо более резком по тону обсуждении “Города Эн”, в том числе печально известное выступление Наума Берковского, ставшее одной из причин самоубийства Добычина и навсегда отяготившее совесть ее автора, выдающегося филолога-германиста:

> Добычин – это наш ленинградский грех… Добычин такой писатель, который либо прозевал все, что было за

последние девятнадцать лет в нашей истории, либо делает вид, что прозевал… Профиль добычинской прозы – это, конечно, профиль смерти.

С № 16 начинается публикация покаянных речей. Одним из первых выступает Заболоцкий. Текст выступления поэта прошел предварительную редактуру его ближайшего друга, литературоведа Николая Степанова, придавшего ему “верную” направленность. Тем не менее и окончательная редакция звучит более или менее достойно. Поэт отступает, но на заранее подготовленные позиции, в полном боевом порядке, и даже отстреливаясь.

Заболоцкий признает, что в период “Столбцов” “изображение вещей и явлений” было для него самоцелью и что в этом заключался его “формализм”, “ибо формализм есть самодовлеющая технология, обедняющая содержание”; однако в “Столбцах” ему удалось найти “некоторый секрет пластических изображений”. Дальше идет изложение идейной концепции “Торжества земледелия”:

> Передо мной открылась грандиозная картина переустройства природы, и ключом к этой перспективе для меня были коллективизация, ликвидация кулачества, перевод к коллективному землепользованию и высшим формам сельского хозяйства…
>
> Как я теперь понимаю, уже сам замысел поэмы был неблагополучен в том отношении, что он соединял воедино реалистические и утопические элементы… Недооценка реалистической правды искусства привела к идилличности, к пасторальности поэмы, что шло вразрез с действительностью. Поэтому-то читатель, или по крайней мере часть читателей, восприняли поэму в каком-то ироническом, пародийном ключе…

После этого “полупокаяния” поэт обрушивается на своих критиков, приводя примеры тупых и злобных выпадов из статей Незнамова и Тарасенкова. Наконец, он говорит о своей “перестройке” и как пример ее приводит “Север”.

Другие объекты критики также находили способы каяться с достоинством и отрекаться, не отрекаясь. Например, напечатанное в том же номере выступление Эйхенбаума, самого “одиозного” филолога-формалиста, которым только что детей не пугали, заканчивалось так:

> Настоящие ошибки – ошибки не от легкомыслия, а

ошибки исторические… От них отказываться можно только так, что я делал свое историческое дело, которое теперь прекращено, история пошла другими путями, и одно из двух, либо я, стоя упорно на тех же воззрениях, прекращаю свое дело и ухожу в сторону, либо, наоборот, не хочу прекращать, потому что я понял, что это… была другая эпоха и теперь я готов делать иначе.

Иные (Зощенко, Шкловский) превращали покаяние в презентацию своих новых эстетических идей. По этому же пути пошел и Хармс.

Ему пришлось выступить 3 апреля на собрании, посвященном работе детской редакции. Очень краткий отчет об этом собрании напечатан в № 17 (от 8 апреля). Редакцию газеты не удовлетворило выступление Г.И. Мирошниченко, детского писателя и секретаря парткома писательской организации, впоследствии сыгравшего довольно мрачную роль во время Большого Террора: “Набор случайных цитат нельзя считать критикой произведений Бианки, Введенского, Хармса”. Выступление самого Хармса также показалось журналисту “отвлеченным и декларативным”, в отличие от “деловой” речи Олейникова.

Стенограммы всех трех речей были опубликованы А.А. Кобринским в 1996 году[346]. О Хармсе Мирошниченко говорит следующее:

Вот книги, которые у меня здесь имеются: “Во-первых, во-вторых”, затем книга “Как Колька Панкин летал в Бразилию”, “Озорная пробка”. Хармс говорил, что эти книги неудовлетворительные и что он будет перестраиваться. На сегодня я знаю и все знают, что Хармс еще не перестроился… Поступки его героев, это поступки-зуботычины, сплошь и рядом автор симпатизирует тому, когда один герой садит другого кулаком в бок… Вы не найдете в его книгах героев, которым необходимо и нужно симпатизировать.

Речь Олейникова свидетельствовала о том, что поэт, много лет состоявший в партии и на государственной службе, успешно владел искусством демагогии и умел искусно, не вызывая раздражения и подозрения аудитории, переводить разговор в нужное ему русло.

…Можно ли ставить вопрос о формализме и натурализме в применении к детской литературе?..

> Когда начинаешь присматриваться к ошибкам детских писателей, видишь, что эти ошибки прежде всего связаны с формализмом в прямом или завуалированном виде.

К числу “формалистических” ошибок Олейников относит “создание детских книг по готовой форме, установленной взрослой литературой”, механическое использование приемов отечественного или иностранного фольклора, псевдонародность, наконец, злоупотребление “сказом” в прозе (“Житков имел право писать так, его разговорный язык был органичным и ненадуманным. Другой писатель, который несомненно владеет сказом, – это Пантелеев. Этого нельзя сказать об остальных”). Другими словами, Олейников высказал свои личные критические претензии к детской литературе вне всякой связи с официальной кампанией.

Дальше Олейников начинает “обвинять” своих друзей и единомышленников – Шварца, Хармса, Введенского, Заболоцкого, Чуковского, Житкова, Левина, Липавского… в молчании. То есть фактически он критикует администрацию детской редакции, которая их не печатает или печатает лишь в качестве переводчиков и адаптаторов классической литературы.

> Я считаю, что, несмотря на свои ошибки, Хармс – очень интересный детский поэт. Недаром же С.Я. Маршак – человек необычайно требовательный в отношении стихов – так охотно сотрудничает с Хармсом. У Маршака и Хармса есть несколько вещей, написанных совместно. А выбор Маршака – вещь не случайная.
>
> Но почему же молчит Хармс, почему он не пишет стихов за последние годы?
>
> Почему детское издательство не ведет работы с Хармсом в этом направлении?

В заключительной части своей речи Олейников требует увеличить количество детских журналов, предлагает организовать журнал для совсем маленьких “трехлетних” (такой журнал, “Сверчок”, в самом деле был создан, и Олейников стал его редактором) и, между прочим, с ностальгией вспоминает о “Еже” и “Чиже” конца двадцатых. “Наш опыт не пропал даром. До сих пор буквально все детские журналы используют наши приемы, наши методы подачи материала, а иногда наши отделы вместе с заголовками”.

Таков был контекст. Речь Хармса звучит в нем в высшей степени неожиданно. На собрании, посвященном детской

литературе, он стал выступать как “взрослый” писатель (каковым он официально не был). В ходе “дискуссии”, по ходу которой от обвиняемых требовалось “поцеловать злодею ручку” и хоть в чем-нибудь для порядка покаяться, он начал говорить всерьез и по существу. Он не спорил с “антиформалистической” кампанией, напротив, он всецело соглашался с ее пафосом. Но при этом речь его была такой, что она могла скорее повредить, чем помочь ему. В лучшем случае она должна была вызвать недоумение аудитории. Его она и вызвала.

Речь начинается с общих рассуждений о терминах “формализм” и “натурализм” (который “стал почти однозначным с понятиями “цинизм” и “порнография”). Дальше – о том, что все же подразумевается под этими расплывчатыми терминами:

> Статьи “Правды”, относящиеся непосредственно к музыке, но имеющие огромное принципиальное значение для всех искусств, очень определенно указывают на то движение, которое в течение 50 лет по меньшей мере возрастало все сильнее и сильнее и наконец подчинило себе новейшее искусство.
>
> И вот, это движение, наличие которого до последнего времени являлось признаком культурного искусства, вдруг потеряло свою силу. Раньше казалось, что это движение выводит искусство из тупика, в который оно, на мой взгляд, попало в XIX веке.

Речь идет – и это уже понятно – об искусстве модернизма и авангарда. Но в чем же, на взгляд Хармса, состоял “тупик”? Из записи речи это непонятно.

В качестве примера эстетического совершенства Хармс приводит первую строфу “Зимней дороги” Пушкина –

> в каждой строчке чувствуется напряжение и страшная энергия. Учтено все: и точность изображения, и движение смысла, и сила звука, и напряжение голоса, и еще много и много всего другого. Каждое слово служит определенной цели, ни одна строка не произносится за счет вдохновения предыдущей.

Но уже с Лермонтова начинается относительный упадок. “Страшные слова: глубже, тоньше, острее, дальше и т. д. создали замечательных писателей Толстого и Достоевского. Они же создали замечательного писателя Чехова”. Страшные – потому что уводящие от пушкинской уравновешенности и гармонии, которые “замечательным писателям” последующей поры были

уже недоступны.

А дальше “оказалось, что острее и тоньше карандашный набросок, а не законченная картина”. Хармс признает:

> Должно быть, какая-то незначительная доля исторической истины была в импрессионизме, даже по отношению к такому огромному писателю, как Толстой…
>
> Такими огромными силами, какие были у Моцарта или Пушкина, не обладали люди конца XIX века. И вот, импрессионизм спасал положение. Обрывок, набросок, штрих – легче было наполнить творческой силой.
>
> Недостаток творческой мысли заменялся эстетическими ощущениями. Острота положения заменяла силу замысла. Но то, что выглядело остро еще вчера, сегодня уже не выглядело остро…
>
> Лучшие люди втравились в это движение, появились действительно любопытные вещи, многие из которых тогда выглядели великими. Искусство повернуло влево.
>
> На протяжении 20 лет искусство проделало такой путь, что, казалось, за эти 20 лет сделано больше, чем за многие тысячелетия. Были найдены совершенно неизвестные до сих пор приемы. Блестяще были разработаны вопросы обострения, искажения, создания сложного образа и т. д.
>
> Искусство доскакало до крайних точек. Но требовалось что-то дальше. А что дальше?
>
> Малевич в 1927 году сказал, что главное в искусстве – это остановиться!

Хармс ссылается здесь на фразу, которой не мог знать никто, кроме него и его ближайших друзей, – на дарственную надпись, которую сделал ему Малевич на собственной книге.

> …Наступил период, когда стало ясно, что левое искусство в тупике. Есть люди, которые никогда не были заражены этим левым искусством. Я, во всяком случае, был. И не так просто было осознать несостоятельность левого искусства. Я понял это только в 1929 или 1930 году.
>
> Еще раньше я ненавидел импрессионизм, декадентство и символизм. Левое искусство казалось мне противоположностью импрессионизму. И только в 1930 году я понял, что это последний отголосок XIX века, последнее буржуазное искусство, так же

обреченное на медленную или быструю гибель, как и все буржуазное общество.

Мне стало ненавистно всякое, даже незначительное присутствие импрессионизма, всякое бесцельное украшение, всякий никчемный левый выверт…

К сожалению, 50 лет не могли пройти бесследно для искусства.

До сих пор произведения Джойса, Шенберга, Брака и т. д. считаются образцом мастерства.

Это никчемное, бессильное мастерство. Да и не мастерство это. Это ловкий фокус для заполнения слабой силой небольшой поверхности. Это пример силы блохи, которая может перепрыгнуть через дом.

К этому “манифесту”, кроме ритуальной фразы про буржуазное общество, следует отнестись всерьез. Он несомненно отражает образ мыслей Хармса в 1936 году. Разумеется, фраза о переломе, произошедшем шестью годами раньше, вызывает сомнения. Ни в творчестве, ни в текстах Хармса в 1930 году нет никаких признаков подобного перелома. Но начиная с 1932–1933 годов эстетические взгляды писателя и в самом деле меняются. Очень многое в речи на собрании Союза созвучно, например, письмам к Клавдии Пугачевой.

Поворот от эстетического радикализма к своего рода “неоклассицизму” (через голову по-прежнему отвергаемого модернизма начала XX века и психологического и социального реализма второй половины XIX века) совершали в этот период не только обэриуты. Например, Михаил Зощенко в ходе той же “дискуссии” (несколько дней спустя) произнес очень близкий по смыслу манифест о возвращении к пушкинской традиции в прозе. Пушкин противопоставлялся Толстому и Достоевскому. Памятником подобного рода настроений писателя стала написанная им “Шестая повесть Белкина” – стилизация в духе романтической прозы.

Разумеется, неоклассицизм Хармса и его друзей не имел ничего общего ни с “классической ясностью”, проповедовавшейся официозной эстетикой, ни со слащаво-эпигонской стилистикой Всеволода Рождественского и других зачинателей специфически ленинградской гладкописи. Это был классицизм по ту сторону авангарда и с учетом опыта авангарда. Это была утопия воссоздания золотого века культуры на руинах века Серебряного. Время становилось все жесточе, но теперь даже Введенский не воспринимал это только трагически: в конце концов, как казалось ему, люди стали “больше думать о Боге и смерти”. Слова

выварились в очистительном хаосе, и вернулись их высокие первоначальные смыслы. Стало вновь возможным простое, монументальное, свободное от ложных украшений искусство. Так, вероятно, думалось Хармсу в эти годы.

Даниил Хармс, 12 июня 1938 г.

Казалось бы, то, что эволюция обэриутов была, на поверхностный взгляд, сонаправлена официальным установкам, должно было облегчить претворение в жизнь их консервативной утопии. В действительности же, возможно, именно соседство и неизбежное взаимодействие с поддельным и упрощенным традиционализмом официоза стало здесь помехой. Это особенно

видно на примере Заболоцкого, который теснее других поэтов-обэриутов был связан с официальной культурой. Поздний Заболоцкий – это такие великие стихи, как “Лесное озеро” и “Прощание с друзьями”, но это, увы, и сентиментальные и риторические стихотворения вроде “Некрасивой девочки” или “Журавлей”, вполне соответствовавшие вкусам советского обывателя и имевшие у него успех.

Отношение самого Хармса к казенному кичу, даже в его лучших проявлениях, было беспощадным: “Пошлятина может иметь свои собственные теории и законы. Тут могут быть свои градации и ступени (в музыке пример высокой градации пошлятины – Дунаевский.)” Но, отвергнув эстетику модернизма, стремясь к своего рода “прекрасной ясности” (воспользуемся термином М. Кузмина) и при этом отказываясь даже от привычной иронии, трудно было избежать опасного соприкосновения с “пошлятиной”.

Хармса в этом смысле выручало то, что временами не могло не быть мучительным – полная отстраненность от “основной линии” советской поэзии. Заболоцкий, вдохновленный успехом “Севера”, примерял на себя роль советского Державина. Пастернак ощущал себя порою новым Пушкиным при Сталине (усовершенствованном Николае I). Хармс же в официальной культуре был никем, но за счет этого он был и более независим – и от вкусов властей, и от вкусов массового читателя.

Правда, как раз весною 1936 года он почему-то надеялся на другое. Речь его заканчивается так:

> Я уже четыре года не печатал своих новых вещей, работая только в детских журналах… За это время я написал довольно много. И вот только к концу 1936 года я надеюсь выступить с новыми вещами.

Какими? Судя по контексту – с произведениями для взрослых. Неужто Хармс рассчитывал, что их будут печатать? Хотя – почему нет… Ведь он больше не был “левым” писателем. Может быть, его вдохновлял опыт Заболоцкого (только что процитированные слова почти в точности повторяют конструкцию из речи последнего), и он мечтал создать собственный “Север”? Но что в парадном советском мире могло вдохновить его так же, как его друга – подвиг челюскинцев? Даже чисто теоретически – трудно придумать.

Хармс (да и никто другой) не знал, какие наступают времена, с каким содроганием будут произносить потомки словосочетание “тридцать седьмой год”.

Глава седьмая
Время еще более ужасное

1

Первого июня 1937 года Хармс записывает:

> Пришло время еще более ужасное для меня. В Детиздате придрались к каким-то моим стихам и начали меня травить. Меня прекратили печатать. Мне не выплачивают деньги, мотивируя какими-то случайными задержками. Я чувствую, что там происходит что-то тайное, злое. Нам нечего есть. Мы страшно голодаем.

Непосредственным поводом послужило одно из самых знаменитых стихотворений поэта, напечатанное в третьем номере “Чижа”:

Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.

Он шел все прямо и вперед
И все вперед глядел.
Не спал, не пил,
Не пил, не спал,
Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды на заре
Вошел он в темный лес.
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.

Но если как-нибудь его
Случится встретить вам,
Тогда скорей,
Тогда скорей,
Скорей скажите нам.

Несомненно, в стихотворении Хармса нет никаких политических намеков. Оно представляет собой минималистически обобщенную модель традиционного сказочного зачина. Можно увидеть и скрытую ссылку на известную басню Козьмы Пруткова “Пастух, молоко и читатель”:

Однажды нес пастух куда-то молоко.
Но так ужасно далеко,
Что уж назад не возвращался.

Читатель! он тебе не попадался?

Что же привело в ужас “детиздатское” начальство? Ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется сейчас. Сегодня для нас весь 1937 год окрашен одной краской – кровавой. На самом же деле события развивались постепенно. Первая половина года, до июля – августа, еще не была в полном смысле слова “апокалиптической” (как выразилась Ахматова), но она прошла под знаком подступающего невнятного ужаса, который толкал людей на унизительные поступки – лишь бы отвести от себя беду, природы которой они сами еще не понимали. Когда беда подступила к порогу, самым прозорливым стало очевидно, что отвести ее сколь угодно примерным в глазах властей поведением невозможно, а можно только спрятаться или молить Бога, чтобы жернов иррациональной мясорубки проскользнул мимо. Но – начало года было еще другим.

Даже Пастернак, в июне 1937-го отказавшийся (несмотря на мольбы беременной жены) подписывать протокол писательского собрания с требованием смертной казни Тухачевскому и другим военачальникам, в начале года, пусть и после некоторых колебаний, поставил свою подпись под аналогичным протоколом, касающимся Пятакова и Радека (точнее, особым письмом попросил присоединить его подпись к остальным). Другие писатели, в том числе замечательные, даже не пытались спасти одновременно и тело, и душу. То, что появлялось в те дни в газетах за подписями Бабеля, Олеши, Всеволода Иванова, Сельвинского, цитировалось не раз; эти тексты не украсили их биографию. Заболоцкий, уже входивший в советскую литературную элиту, вел себя не лучше или немногим лучше других. 27 января 1937 года в “Правде” было напечатано его стихотворение “Предатели”:

Как? Распродать страну?! Чтоб под сапог германский
Все то, что создано работою гигантской,
Всем напряженьем сил, всей волею труда, –
Колхозы, шахты, стройки, города, –
Все бросить, все продать?! Чтоб на народном теле
Опять они, как вороны, сидели!..
<…>
Сквозь горе человеческое, муку
Мы пронесли великую науку –
Науку побеждать, чтоб был у власти Труд,
Науку строить так, как в песнях лишь поют,
Науку веровать в людей и, если это надо, –
Уменье заклеймить и уничтожить гада.

Уклончивое “уничтожить, если это надо” все же звучало несколько мягче, чем общепринятая формула “расстрелять, как бешеных собак” – но не случайно сам поэт предпочел предать эти стихи забвению и не включил в свою “Вторую книгу”. Если в “Пире” или “Горийской симфонии”, какое бы отторжение ни вызывал у нас их пафос, есть подлинная поэзия, то процитированный выше текст плох во всех отношениях. На рубеже 1936–1937 годов Заболоцкий совершил еще несколько шагов, вызывающих сегодня огорчение и недоумение – например, на собрании, посвященном пушкинскому юбилею, он выступил с критикой “комнатного искусства” Пастернака. Где кончалось общее для обэриутов неприятие пастернаковской “невнятицы” и начиналось соперничество за статус “первого поэта”, носителя большого стиля эпохи? Где заканчивалось это соперничество и начинался обычный страх? Нам этого не понять – мы не жили в сталинскую эпоху.

Перед Хармсом, во всяком случае, подобные соблазны не стояли. Он только чувствовал, что подступает что-то “тайное и злое”, но по привычке связывал это с интригами в Детиздате. Начало 1937-го было для него непростым по многим причинам. Хотя деньги за перевод Буша (если не из Москвы, то хотя бы из “Чижа”) он уже наверняка получил, материальное положение семьи оставалось очень неустойчивым. Усложнились и отношения с женой – по-видимому, из-за романа с Анной Ивантер. Весной Даниил и Марина оказались на грани развода. 12 мая Хармс писал:

Боже! Что делается! Я погрязаю в нищете и в разврате. Я погубил Марину. Боже, спаси ее! Боже, спаси мою несчастную, дорогую Марину.

> Марина поехала в Детское, к Наташе. Она решила развестись со мной. Боже, помоги сделать все безбольно и спокойно. Если Марина уедет от меня, то пошли ей, Боже, лучшую жизнь, чем она вела со мной.

Вскоре Марина вернулась, но в отношениях супругов и после бывали непростые времена.

Видимо, эти переживания и занимали Хармса в самом конце 1936-го и в первые месяцы 1937 года. Мимо него (судя по записным книжкам) прошел даже арест 7 сентября 1936 года Эстер Русаковой. Бывшая жена Хармса в последние годы работала информатором универмага “Пассаж”. В это время она почти не общалась с Хармсом, хотя одобряла его второй брак и к Марине относилась неплохо – рада была, что бывший муж наконец “отстал” от нее. Арестовали Эстер, по представлениям той эпохи, почти за дело – она переписывалась с Кибальчичем, находившимся с 1933 года в ссылке в Казахстане, а во время краткой “оттепели” 1936-го, по ходатайствам Горького и Роллана, выпущенным за границу. Переписка затрагивала не только житейские вопросы: простодушная молодая женщина, далекая от политики, помогала своему обаятельному родственнику в сборе материалов для книги по истории анархизма, хранила некие “троцкистские архивы”. Органы, вынужденные отпустить Виктора Сержа, свели счеты с его свояченицей. 25 марта Эстер получила пять лет и была отправлена в бухту Нагайская. Умерла она в 1943 году в Магадане.

Если Хармсу было не до потрясений в жизни еще недавно близких ему людей, то уж тем более не до больших событий эпохи. А редакторы усмотрели в его невинных стихах намек на страхи, снедавшие их самих. Темный лес еще только приближался, “ежовщина” была впереди, но ряды сотрудников и постоянных авторов редакции уже начали редеть. Арестованы были Григорий Белых (в августе 1938 года он умер в тюремной больнице, не дождавшись приговора), первый и единственный на тот момент юкагирский писатель и ученый Токи Одулок (Н.И. Спиридонов), редактор Шавров.

Хармса не только перестали печатать (на год), ему задерживали гонорары за уже изданные произведения. О положении, в котором оказались он и его жена, красноречиво говорят дневниковые записи:

> Время от времени я записываю сюда о своем состоянии. Сейчас я пал, как никогда. Я ни о чем не могу думать. Совершенно задерган зайчиками. Ощущение полного развала. Тело дряблое, живот торчит. Желудок

расстроен, голос хриплый. Страшная рассеянность и неврастения. Ничего меня не интересует, мыслей никаких нет, либо если и промелькнет какая-нибудь мысль, то вялая, грязная или трусливая. Нужно работать, а я ничего не делаю, совершенно ничего. И не могу ничего делать. Иногда только читаю какую-нибудь легкую беллетристику. Я весь в долгах. У меня около 10 тысяч неминуемого долга. А денег нет ни копейки, и при моем падении нет никаких денежных перспектив. Я вижу, как я гибну. И нет энергии бороться с этим. Боже, прошу Твоей помощи.

Марина Малич, вторая половина 1930-х.

Откуда взялись 10 тысяч? Два года назад было в пять раз меньше, а эти годы Хармс работал и зарабатывал какие-то деньги. На тысячу рублей в год можно было в то время скромно, без излишеств, прожить вдвоем. Видимо, эта цифра – описка или гипербола.

> Я могу точно предсказать, что у меня не будет никаких улучшений, и в ближайшее время мне грозит и произойдет полный крах (7 *августа*).
>
> Поели вкусно (сосиски с макаронами) в последний раз. Потому что завтра никаких денег не предвидится, и не может их быть. Продать тоже нечего. Третьего дня я продал чужую партитуру “Руслана” за 50 руб. Я растратил чужие деньги. Одним словом, сделано последнее. И теперь уже больше никаких надежд. Я говорю Марине, что получу завтра 100 рублей, но это враки. Я никаких денег ниоткуда не получу.
>
> Спасибо Тебе, Боже, что по сие время кормил нас. А уж дальше да будет Воля Твоя (3 *октября*).
>
> Сегодня мы будем голодать (4 *октября*).
>
> Даю обязательство до субботы, 30 октября 1937 года, не мечтать о деньгах, квартире и славе (9 *октября*).
>
> Боже, теперь у меня одна-единственная просьба к Тебе: уничтожь меня, разбей меня окончательно, ввергни в ад, не останавливай меня на полпути, но лиши меня надежды и быстро уничтожь меня во веки веков (23 *октября*).

Ленэстрада оставалась должна Хармсу 400 рублей за старые выступления. Возможно, задержки и неисправности с выплатой денег были связаны с тем, что в этом году во всех госучреждениях неоднократно менялось начальство, да и текучесть служащих была, по понятным причинам, велика. 1 ноября Даниил Иванович пытался получить эти деньги в Союзе писателей в долг на 6 месяцев – под залог обязательств Ленэстрады. Ему отказали “ввиду отсутствия средств и ввиду непогашения старой задолженности”. Речь идет о 150 рублях, которые Хармс задолжал Союзу с 1935 года и которые с него время от времени безуспешно пытались взыскать. 13 ноября Хармс записывает: “Иду на заседание секции детских писателей. Я уверен, что мне откажут в

помощи и выкинут меня из Союза”.

Выкинуть не выкинули, но в помощи отказали. Дальнейшие записи проникнуты такой же безнадежностью:

> Боже, какая ужасная жизнь, и какое ужасное у меня состояние. Ничего делать не могу. Все время хочется спать, как Обломову. Никаких надежд нет. Сегодня обедали в последний раз, Марина больна, у нее постоянно температура от 37–37,5. У меня нет энергии (30 *ноября*).

> Удивляюсь человеческим силам. Вот уже 12 января 1938 года. Наше положение стало еще много хуже, но все еще тянем. Боже, пошли нам поскорее смерть (12 *января* 1938).

> …продал за 200 рублей часы “Павла Буре”, подаренные мне мамой (11 *марта*).

> Наши дела стали еще хуже. Не знаю, что мы будем сегодня есть. А уже дальше что будем есть – совсем не знаю.
>
> Мы голодаем (25 *марта*).

> Пришли дни моей гибели… Надежд нет. Мы голодаем, Марина слабеет, а у меня к тому же еще дико болит зуб.
>
> Мы гибнем – Боже, помоги (9 *апреля*).

Хармсу было свойственно несколько преувеличивать свои страдания и впадать в панику от любых житейских неурядиц. Но в данном случае дело, похоже, действительно обстояло скверно. Видимо, именно к этому времени относится воспоминание Малич:

> Один раз я не ела три дня и уже не могла встать.
>
> Я лежала на тахте у двери и услышала, как Даня вошел в комнату. И говорит:
>
> – Вот тебе кусочек сахара. Тебе очень плохо…
>
> Я начала сосать этот сахар и была уже такая слабая, что могла ему только сказать:
>
> – Мне немножечко лучше.
>
> Я была совершенно мертвая, без сил…[347]

Это был настоящий голод, как тот, что описал в своем знаменитом романе один из любимых писателей Хармса –

Гамсун. Хармс тоже пытался фиксировать свои психологические состояния, сохранить их на бумаге:

> Так начинается голод:
> с утра просыпаешься бодрым,
> потом начинается слабость,
> потом начинается скука,
> потом наступает потеря
> быстрого разума силы,
> потом наступает спокойствие.
> А потом начинается ужас.

Хармс жаловался на потерю “быстрого разума силы”, но, как и гамсуновский герой, в голодные дни переживал приступы странного вдохновения, обостренной чувствительности. Периоды болезненной апатии (подобной той, которая парализовала его в 1931 году в Курске) чередовались с другими, полными творческой воли и духовной ясности. Именно ко второй половине 1937 года относятся некоторые записи, во многом программные для Хармса:

> Меня интересует только “*чушь*”; только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении.
>
> Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт – ненавистные для меня слова и чувства.
>
> Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех.

И – потрясающее по силе и четкости:

> Я хочу быть в жизни тем же, чем Лобачевский был в геометрии.

И именно в эти дни написаны многие из лучших рассказов Хармса, в том числе и вошедших в “Случаи”.

Но если герой норвежского писателя, отчаявшись в возможности заработать литературой, бросает все и устраивается матросом на корабль, то Хармс даже не пытался найти альтернативный литературный заработок. В ленинградском Детиздате его не печатали – но он хорошо знал два иностранных языка и мог бы заняться переводами беллетристики. Именно

такую работу безуспешно искал в те же месяцы Мандельштам – но Хармс, насколько известно, не обращался в редакции, ведающие изданием иностранной литературы для взрослых. Кроме того, существовала такая универсальная кормушка, как “поэзия народов СССР”. Заболоцкий, покинув Детиздат, зарабатывал, причем неплохо, переводами (с подстрочника) грузинской поэзии и наверняка помог бы голодающему старому другу найти себе применение в этой области: работы там хватало. Наконец, Житков в Москве трудился над энциклопедией для детей, и еще в 1933 году он пытался привлечь к этому делу Хармса. Но Хармс ни о чем не просил и ничего не искал, разве что денег в долг. В свою очередь, Малич лишь в начале 1938 года предприняла какие-то попытки получить профессию и найти самостоятельный заработок. В каком-то ступоре, в тихом отчаянии оба супруга плыли по течению…

2

Но, возможно, именно отлучение Хармса от Детиздата и его пассивность в поисках хлеба насущного спасли его в то страшное время.

Напомним общеизвестное. Большой Террор, как считается, начался 25 июля 1937-го с приказа наркома внутренних дел Ежова под номером 00439 и закончился 16 ноября 1938 года распоряжением нового наркома Берии о прекращении массовых репрессий. За это время в стране было арестовано 1 миллион 250 тысяч человек, расстреляно 634 тысячи; в Ленинградской области (которая на тот момент включала Мурманскую, Новгородскую, Псковскую и часть Вологодской области) было арестовано около 70 и расстреляно около 40 тысяч человек. Семь тысяч человек (десятая часть арестованных) были освобождены в конце 1938 – начале 1939 года.

Очевидцы вспоминают, что в конце лета 1937-го на улицах Ленинграда было не продохнуть от дыма. Не леса горели – охваченные паникой горожане жгли бумаги, письма, фотографии арестованных. Следующим летом уже не жгли – слишком многое пришлось бы сжигать; к тому же становилось ясно, что никакая осторожность в случае чего не спасет от проигрышного билета в мрачной лотерее. “Это как бубонная чума, – говорила Ахматова Лидии Чуковской, – ты еще жалеешь соседа, а уже сам едешь в Магадан”[348].

За три недели до начала по-настоящему массового террора, 3 июля, был арестован Олейников.

“Ираклий Андроников… приехал по делам из Москвы и рано вышел из дома. Смотрит, идет Олейников. Он крикнул: “Коля, куда идешь так рано?” И только тут заметил, что Олейников не один, что по бокам его два типа…”[349] Арестован Олейников был не в писательской надстройке, а на Караванной в квартире свояченицы, где он в это время жил (жена и сын отдыхали на даче в Луге). Арестованного поэта повели (почему-то пешком) в его квартиру на канал Грибоедова и уже оттуда, после обыска, повезли на Шпалерную. По дороге, на Итальянской, он успел повстречать еще и чтеца Антона Исааковича Шварца, двоюродного брата Евгения Львовича (“Я спросил его: “Как дела, Коля?” Он ответил: “Жизнь, Тоня, прекрасна!” И только тут я понял…[350]).

Дело Олейникова разбиралось уже в дни полноценной “ежовщины” и отличается свойственным этим временам незамысловатым стилем. Олейников был “полностью изобличен” показаниями своего приятеля, филолога-япониста Дмитрия Петровича Жукова, арестованного еще в мае. Обвинения были стандартные: участие в подпольной троцкистской организации (во главе с Владимиром Матвеевым), шпионаж в пользу Японии (“Олейников… предложил мне принять участие в этой деятельности. В ответ на это я поставил Олейникова в известность о своей деятельности, начиная с 1931 года.

Олейников выразил удовлетворение по этому поводу и предупредил о необходимости соблюдения осторожности”[351]), террористические намерения в отношении товарищей Сталина и Ворошилова. 24 ноября Николай Макарович был расстрелян. Семью его выслали из Ленинграда, и – ирония судьбы! – в качестве места поселения Лариса Александровна, жена Олейникова, выбрала Стерлитамак, потому что там жила семья арестованного еще в 1936 году Зелика Штеймана. Один из тех, кто в двадцатые годы был недругом обэриутов, в следующем десятилетии, вероятно, приятельствовал с Олейниковым. А может быть, приятельствовали их жены. Олейниковых провожали в ссылку Шварцы, заходили попрощаться Заболоцкий и Эйхенбаум с женой. О Хармсе Лариса Олейникова не упоминает.

Вскоре после Олейникова, 21 июля, был арестован физик Матвей Бронштейн, муж Лидии Чуковской, писавший для детской редакции научно-популярные книги, а в ночь с 4 на 5 сентября 1937 года одновременно арестовали писателей С. Безбородова, Н. Константинова, уже известного нам Серебрянникова и двух штатных редакторов Детиздата – Тамару Габбе и Шурочку Любарскую. Несколькими неделями позже такая же участь постигла писателя И. Мильчика и бывшего редактора “Чижа” М.

Майслера. 4 октября в редакции появилась стенгазета, в которой были такие пассажи:

> Как могло случиться, что детская литература фактически была сдана на откуп группе антисоветских, морально разложившихся людей?.. Руководство издательством – директор тов. Криволапов и главный редактор тов. Мишкевич – вместе со всей партийной организацией несут полную ответственность за то, что враги народа, контрреволюционная сущность которых выяснилась уже в начале года, могли продержаться в издательстве до последнего времени, до изъятия их органами НКВД. Партийная организация, выносившая совершенно правильные решения о необходимости удаления Габбе, Любарской и др. из издательства, действовала недостаточно решительно и не довела дело до конца…[352]

11 ноября прошло собрание, на котором Маршака и других руководителей Детиздата клеймили за потворство врагам народа. Председательствовал уже упомянутый Мирошниченко.

По воспоминаниям Любарской, выпущенной в 1939 году во время “бериевской оттепели”, ее заставили подписать какой-то бессмысленный текст с признаниями в “шпионаже” и “вредительстве”. Когда год спустя дело начали пересматривать, оказалось, что в числе доносчиков был Мирошниченко, жаловавшийся, что Любарская “вредительски уводила его от правильного освещения Гражданской войны”[353].

Казалось бы, НКВД, обвинявшему сотрудников Детиздата во “вредительстве”, логично было бы вспомнить о процессе 1931–1932 годов, когда предъявлялись аналогичные обвинения, а заодно и о тогдашних обвиняемых, из которых один только Хармс остался в Ленинграде и сотрудничал в Детиздате. Но не вспомнили: слишком много было у следователей работы. Любарская вспоминает:

> Однажды, когда меня вели на допрос, свободного кабинета не было. Меня привели к какому-то начальнику и посадили в дальнем углу его кабинета. Начальник был чем-то озабочен и даже не обратил на меня внимания. Он был крайне недоволен работой следователей, стоявших возле него. “Запомните, – строго произнес он, – к концу недели у меня на столе должны лежать: 8 показаний финских, 12 – немецких, 7 – латышских, 9 – японских. От кого – не важно[354].

При такой разнарядке было не до рытья в архивах пятилетней давности.

Однако в конце 1937 – начале 1938 года ситуация изменилась. К тому времени уже арестованы многие ведущие писатели Ленинграда. Среди них были и эстеты с дореволюционной литературной биографией (Бенедикт Лившиц, Вильгельм Зоргенфрей), и переводчики западной литературы, которых просто по роду занятий легко было обвинить в шпионаже (Валентин Стенич), и военизированные локафовцы с богемным прошлым (Вольф Эрлих), и “социально близкие” молодые авторы, выходцы из комсомолии двадцатых годов (Борис Корнилов, Ольга Берггольц). Вновь, как в 1932-м, готовился “писательский” процесс, на котором в качестве главного обвиняемого должен был фигурировать Тихонов. По разработанному следователями сценарию, через Эренбурга заговорщики были связаны с Виктором Сержем, который и был центральной фигурой писательского шпионско-троцкистского подполья. Поскольку это выходило за рамки рутинной мясорубки тех месяцев, к делу привлекли более или менее квалифицированных экспертов, прежде всего Н.В. Лесючевского, впоследствии главного редактора издательства “Советский писатель”. Эти люди давали следователям соответствующие ориентиры.

Девятнадцатого марта Заболоцкого “по срочному делу” вызвали из Дома творчества в Детском Селе к Мирошниченко и в его кабинете арестовали. Поэта обвиняли главным образом в сочинении вредительских формалистических стихов, которые Тихонов вредительски печатал. По свидетельству Заболоцкого, в ходе допросов “неоднократно шла речь о Н.М. Олейникове, Т.И. Табидзе, Д.И. Хармсе и А.И. Введенском”[355]. В протоколах это никак не отражено. Очевидно, Заболоцкий никаких показаний ни на кого не дал, не признал он и собственной вины.

Разумеется, в том, что процесс был свернут, это никакой роли не сыграло – просто устроители его не учли, что Тихонов в особой милости у Сталина и даже в дни Большого Террора не может быть арестован без санкции с самого верха, а таковой не последовало. Ни Олейникову, ни Табидзе, ни Владимиру Матвееву, чье имя также, судя по последующим ходатайствам Заболоцкого, часто звучало на следствии, уже было не помочь – но тех, кто еще не был на тот момент арестован, молчание Николая Алексеевича спасло. В том числе и Хармса, и Введенского. В 1936-м и в начале 1937 года Заболоцкий временами проявлял слабость перед соблазнами успеха и карьеры, но, столкнувшись с явным и беспощадным насилием, он оказался сильнее многих. Сами Хармс и особенно Введенский в 1932 году подобной стойкости не

проявили, а ведь их не пытали и особо не мучили… Спас Заболоцкий, конечно, и самого себя, не от лагеря, но от немедленной смерти. Уступчивость тех, кто, как Стенич, послушно подписывали все, что требовалось (за избавление от побоев, за пачку папирос), обернулась против них самих: и Стенич, и Лившиц, также не выдержавший издевательств и давший все требовавшиеся от него показания, были расстреляны.

Хармс в 1937 или 1938 году написал (точнее – начал писать) стихотворение, начинающееся так:

Гнев Бога поразил наш мир.
Гром с неба свет потряс. И трус
не смеет пить вина. Смолкает брачный пир,
чертог трещит, и потолочный брус
ломает пол. Хор плачет лир.
Трус в трещину земли ползет как червь.
Дрожит земля. Бог волн срывает вервь.
По водам прыгают разбитые суда.
Мир празднует порока дань. Сюда
ждет жалкий трус, укрыв свой взор
от Божьих кар под корень гор, и стон,
вой псов из душ людей как сор
несет к нему со всех сторон…

У этих строк несколько вариантов продолжения. В зависимости от того, какой мы предпочтем, текст выглядит то трагическим пророчеством, то упражнением, демонстрирующим неточность и невозможность прямого поэтического высказывания. Но не случайно эти строки, содержащие явные апокалиптические мотивы, написаны в дни, которые многими воспринимались как апокалиптические, как время страшного и беспредельного ужаса. Но 1937–1938 годы были лишь звеном в череде трагедий и катастроф, звеном далеко не последним.

3

Тем временем в положении Хармса произошли некоторые улучшения. В августе 1937-го в Москве вышли отдельным изданием “Плих и Плюх”. Гонорар за книгу получен был, видимо, не сразу, но к весне 1938-го наверняка дошел до автора. В конце года появились “Рассказы в картинках” Н.Э. Радлова, тексты к которым Хармс писал вместе с Гернет и Н. Дилакторской. Они должны были принести еще какие-то деньги… “Рассказы в

картинках” были переизданы в 1940 году, тогда же вышла последняя прижизненная детская книга Хармса – “Лиса и заяц”.

В марте 1938 года стихи Хармса вновь появились в “Чиже”. До конца жизни он напечатал около тридцати стихотворений и рассказов. Среди них были такие шедевры, как “Удивительная кошка”, “Бульдог и таксик”, “Что это было”, “Веселый старичок”, “Цирк Принтипрам”. В этих стихах временами заметна не только чисто обэриутская пластика (напоминающая первые и лучшие произведения Хармса из “Ежа” и “Чижа” 1928–1929 годов), но и некая проекция собственной судьбы и собственного самоощущения писателя в мягкий и наивный мир детской сказки.

Над косточкой сидит бульдог,
Привязанный к столбу.
Подходит таксик маленький,
С морщинками на лбу.
“Послушайте, бульдог, бульдог! –
Сказал незваный гость. –
Позвольте мне, бульдог, бульдог,
Докушать эту кость”.

Рычит бульдог на таксика:
“Не дам вам ничего!” –
Бежит бульдог за таксиком,
А таксик от него…

В реальности слабому, но свободному “таксику”, конечно, никаких костей не удавалось перехватить у здоровенных, но привязанных к столбу писателей-“бульдогов”. Да и свобода его была более чем иллюзорной. Ведь и ему – наряду с талантливыми детскими стихами – приходилось в эти годы писать и явную халтуру, например, “Песенку про пограничников” и “Первомайскую песню”, напечатанные в “Чиже” вместе с музыкой:

Да, сегодня раньше всех,
Раньше всех,
Да, сегодня раньше всех
Встанем я и ты –
Для того, чтоб нам попасть,
Нам попасть,
Для того, чтоб нам попасть
В первые ряды.

Мы к трибуне подойдем,

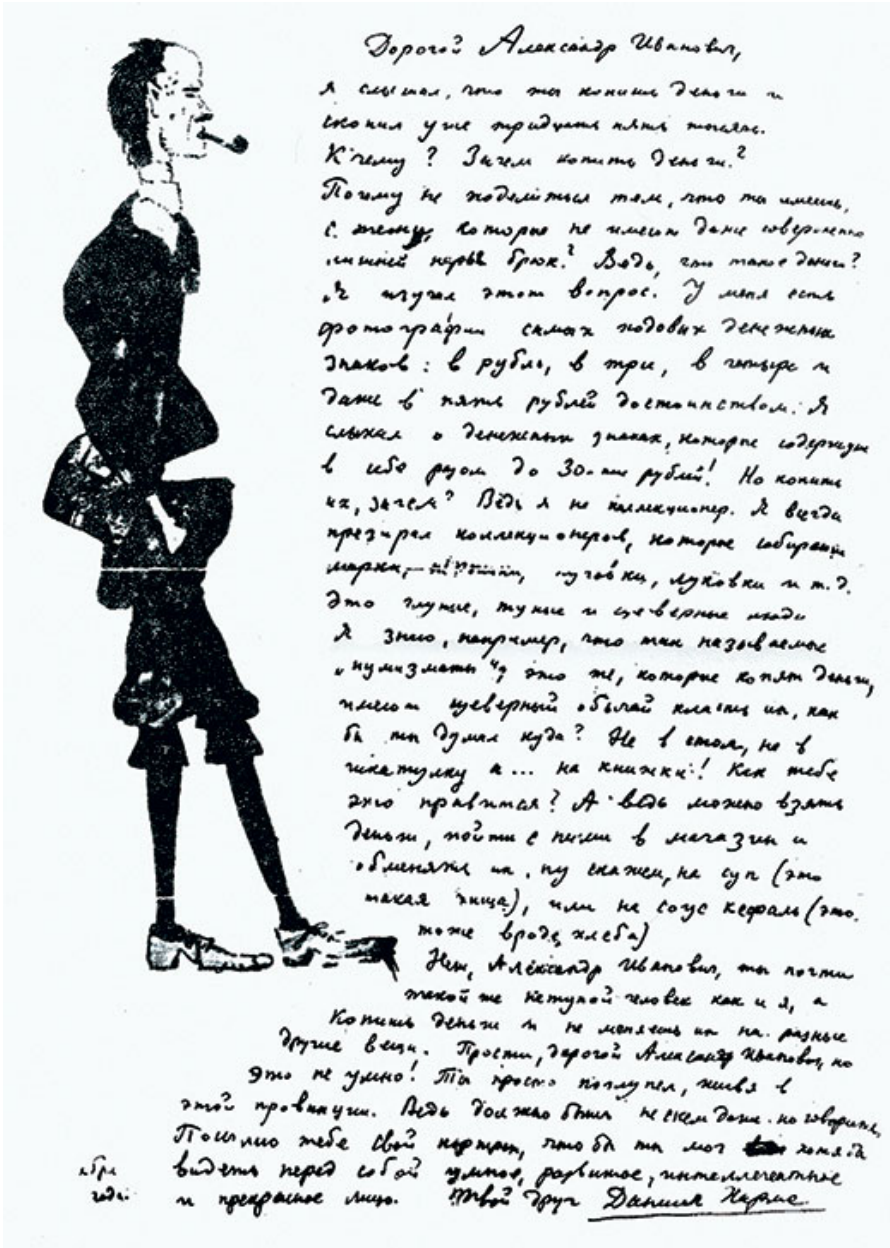
Подойдем,
Мы к трибуне подойдем
С самого утра,
Чтобы крикнуть раньше всех,
Раньше всех,
Чтобы крикнуть раньше всех
Сталину “ура”…

Помимо воли и в такие стихи у Хармса проникал элемент абсурда. Но если люди, подобные Серебрянникову и Берггольц, еще в состоянии были заметить это и возмутиться, то им на смену пришли критики настолько тупые и полуграмотные, что даже откровенно нелепые, но идеологически правильные тексты не вызывали возражений. Единственный резкий выпад против Хармса в эти годы принадлежит, как ни странно, Корнею Чуковскому, категорически не принявшему “Веселого старичка”:

> Конечно, озорная игра в детских стихах – чрезвычайно ценное качество, и Даниил Хармс давал неоднократно прекрасные его образцы, но в данном случае мы имеем дело с антихудожественным сумбуром, который не имеет отношения к юмору, ибо переходит в развязность…[356]

Марина первые же полученные деньги потратила на изучение французского, чтобы зарабатывать уроками и вносить свою лепту в семейный доход. А может быть, она подумывала и о самостоятельной жизни: как только угроза голодной смерти отступила, в отношениях супругов снова наметилась трещина.

Публикация стихотворения Д. Хармса “Удивительная кошка” (Чиж. 1938. № 11). Рисунки Н. Радлова.



Письмо Даниила Хармса к Александру Введенскому, осень 1940 (?) г.

Я устала от его измен и решила покончить с собой. Как Анна Каренина. (Не знаю, стоит ли об этом писать? Это очень грустно.)

Я поехала в Царское Село, села на платформе на скамеечку и стала ждать поезда.

Прошел один поезд. Я подумала, что нет, брошусь

под следующий.

Прошел второй поезд, а я все сидела и смотрела на удаляющиеся вагоны. И думала: “Брошусь под следующий поезд”.

Я сидела, сжавшись, на скамейке и ждала следующего поезда. Прошел четвертый, пятый… Я смотрела на проходящие поезда, и у меня не было ни сил, ни духу осуществить задуманное.

Пока я решалась, совсем стемнело. Я подумала: ну что хорошего будет, если я брошусь под поезд? – все равно это ничего не изменит, а я еще чего доброго останусь калекой.

Я встала и поехала в город. Когда я вернулась, была уже ночь.

Дане я ничего не сказала.

<…>

Но с моей учительницей французского я, кажется, поделилась. У нее что-то похожее было с мужем, и она мне сочувствовала.

Я была в таком состоянии, что никаких экзаменов бы не выдержала, провалилась.

Варвара Сергеевна поняла, какая у меня обстановка дома, и сказала: “Я вам не дам погибнуть…” Она позвала меня пожить у себя. “Марина, у меня для вас есть свободная комната”.

Когда я приняла решение и спросила ее, можно ли мне на две недели, пока будут экзамены, жить у нее, она:

– Да, да, никаких разговоров, – приезжайте!

<…>

Прожила я у нее неделю или две и успокоилась. Во мне вновь вспыхнула любовь и нежность к Дане[357].

Дневник Хармса позволяет точно датировать этот эпизод: “Маришенька” переехала к Варваре Сергеевне 9 июня 1938 года.

Экзамен Марина Владимировна сдала, к Хармсу вернулась, но уроки давала недолго. Дело в том, что преподавала она в Детском Селе (вероятно, ей помогла с трудоустройством Наташа), возвращаться приходилось поздно, в электричках было темно и небезопасно. Но почему она не попыталась найти другую работу, в городе? Едва ли она еще и не превосходила своего мужа беспечностью и безволием.

Тем временем мир вокруг Даниила Ивановича пустел. Олейникова не было в живых; Заболоцкий зимой 1938/39-го отправился из Крестов в теплушке на Дальний Восток; в сентябре

1938-го в Москве от рака умер Житков; вскоре в столицу из Ленинграда перебрался Маршак. Введенский жил в Харькове – очень уединенно, вне семьи общаясь только с партнерами по картам. Изредка он появлялся в Москве и Ленинграде, в основном по делам, связанным с изданием его книг. Есть фотографии, сделанные в 1938 году в доме Липавских: Введенский с Галиной Викторовой, Леонид Савельевич и Тамара Александровна. Жены влюбленно смотрят на добродушных, немного захмелевших мужей… Идиллия? Введенский, бывший прожигатель жизни, и впрямь в последние годы жизни стал образцовым мужем и отцом. Чтобы прокормить семью, приходилось много работать, и Александр Иванович не брезговал даже сочинением цирковых реприз, а появляясь в столичных редакциях, умело торговался, выбивая гонорар повыше. А Хармс оставался прежним… Последнее его письмо к Введенскому (август 1940) наполнено грустной иронией:

> Дорогой Александр Иванович,
>
> я слышал, что ты копишь деньги и скопил уже тридцать пять тысяч.
>
> К чему? Зачем копить деньги?
>
> Почему не поделиться тем, что ты имеешь, с теми, которые не имеют даже совершенно лишней пары брюк? Ведь, что такое деньги? Я изучал этот вопрос. У меня есть фотографии самых ходовых денежных знаков: в рубль, в три, в четыре и даже в пять рублей достоинством. Я слышал о денежных знаках, которые содержат в себе разом до 30-ти рублей! Но копить их, зачем? Ведь я не коллекционер. Я всегда презирал коллекционеров, которые собирают марки, перышки, пуговки, луковки и т. д. Это глупые, тупые и суеверные люди. Я знаю, например, что так называемые “нумизматы”, это те, которые копят деньги, имеют суеверный обычай класть их, как бы ты думал куда? Не в стол, не в шкатулку, а… на книжки! Как тебе это нравится? А ведь можно взять деньги, пойти с ними в магазин и обменять на, ну скажем, на суп (это такая пища) или на соус кефаль (это тоже вроде хлеба).
>
> Нет, Александр Иванович, ты почти такой же не тупой человек, как и я, а копишь деньги и не меняешь их на разные другие вещи. Прости, дорогой Александр Иванович, но это неумно! Ты просто поглупел, живя в этой провинции. Ведь, должно быть, не с кем даже поговорить. Посылаю тебе свой портрет, чтобы ты мог

хотя бы видеть перед собой умное, развитое, интеллигентное и прекрасное лицо.

Твой друг Даниил Хармс.

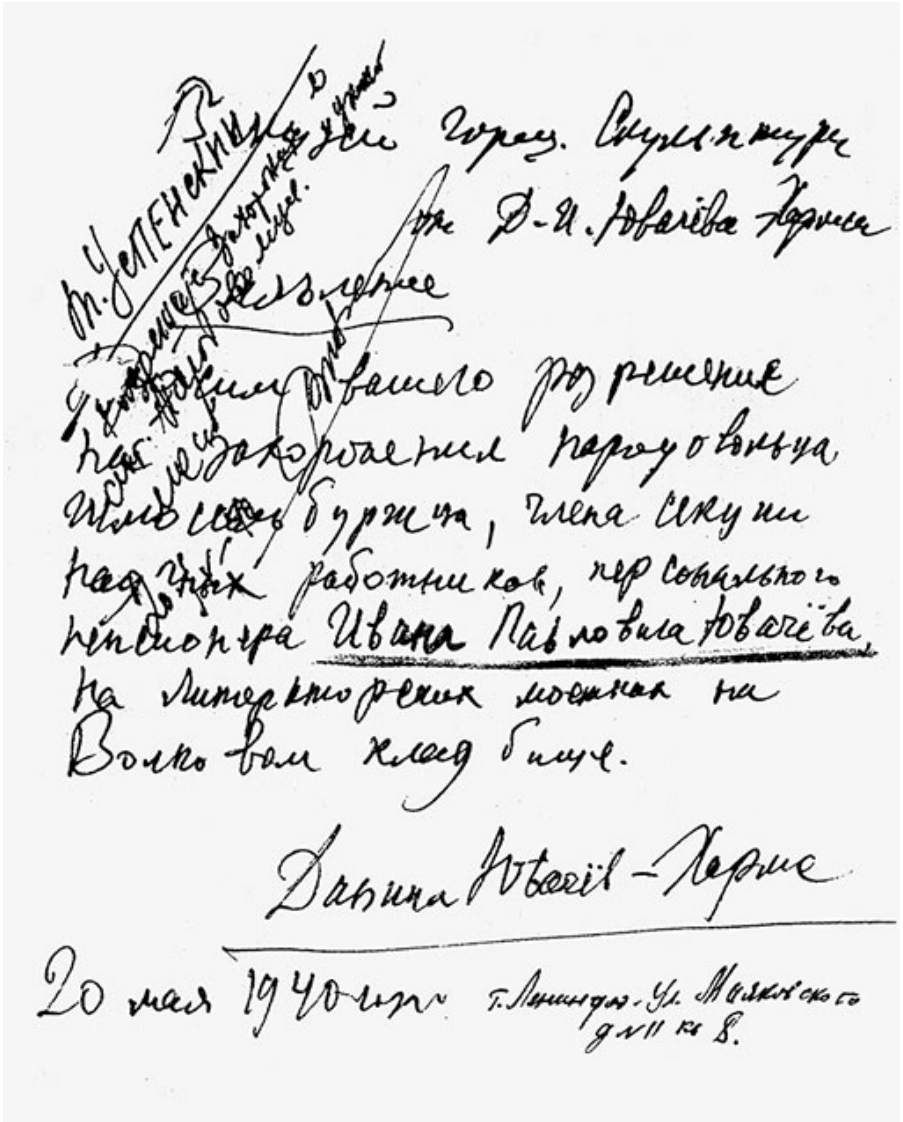
К многочисленным потерям добавилась еще одна: 17 мая 1940 года в возрасте восьмидесяти лет от заражения крови умер Иван Павлович Ювачев. Отца писателя похоронили на Литераторских мостках, на так называемой площадке народовольцев. Недавно в архивах Государственного музея городской скульптуры обнаружено следующее заявление:

Просим вашего разрешения на захоронение народовольца шлиссельбуржца, члена секции научных работников, персонального пенсионера Ивана Павловича Ювачева, на Литераторских мостках на Волковском кладбище.

Даниил Ювачев-Хармс.

20 мая 1940 года.

Г. Ленинград, ул. Маяковского, д. № 11, кв. 8[358].



Заявление Даниила Хармса в дирекцию Музея городской скульптуры по поводу захоронения отца, 20 мая 1940 г.

Площадка народовольцев в некрополе “Литературные мостки” на Волковом кладбище – место захоронения Ивана Павловича Ювачева (надгробие не сохранилось). Фотография А. Дмитренко, 21 мая 2008 г.

Рядом – справка за подписью Н.А. Морозова, подтверждающая участие Ювачева в революционной деятельности. В то время 86-летний шлиссельбуржец занимал должность директора Государственного естественнонаучного университета им. Лесгафта.

Кто же окружал Хармса в эту пору? Несомненно, близкими ему людьми оставались Липавские. Неожиданная дружба связывала в эти годы Хармса и Марину Владимировну с “буржуазной” семьей Антона Шварца и его жены, художницы Натальи Борисовны Шанько. По свидетельству Малич:

> Шварцы нас приглашали очень часто. Они, видно, понимали, что мы голодные, и старались нас накормить и как-то согреть. И были очень довольны, что мы с удовольствием едим у них. Я чувствовала, а не то чтобы видела, и они стремились это показать, – что они всегда хотели нам помочь. Всегда.
>
> У нас Шварцы были один или два раза, не больше. Все-таки у них была совсем другая жизнь, чем у нас, хорошая благоустроенная квартира. А у нас что? У нас была богема. <…>

Случалось, что Шварцы выручали нас и деньгами[359].

Разумеется, респектабельное семейство “Шварцев Невских” (как называли их в отличие от Евгения Львовича и Екатерины Ивановны) заняло свое место в ряду комических персонажей хармсовской прозы – как и другие далекие и близкие знакомые автора:

> Знаменитый чтец Антон Исаакович Ш., то самое историческое лицо, которое выступало в сентябре месяце 1940 года в Литейном лектории, любило перед своими концертами полежать часок-другой и отдохнуть. Ляжет оно, бывало, на кушет и скажет: “Буду спать”, а сам не спит. После концертов оно любило поужинать. Вот оно придет домой, рассядется за столом и говорит своей жене: “А ну, голубушка, состряпай-ка мне что-нибудь из лапши”. И пока жена его стряпает, оно сидит за столом и книгу читает. Жена его хорошенькая, в кружевном передничке, с сумочкой в руках, а в сумочке носовой платочек и ватрушечный медальончик лежат, жена его бегает по комнате, каблучками стучит, как бабочка, а оно скромно за столом сидит, ужина дожидается. Все так складно и прилично. Жена ему что-нибудь приятное скажет, а оно головой кивает. А жена порх к буфетику и уже рюмочками там звенит. “Налей-ка, душенька, мне рюмочку”, – говорит оно. “Смотри, голубчик, не спейся”, – говорит ему жена. “Авось, пупочка, не сопьюсь”, – говорит оно, опрокидывая рюмочку в рот. А жена грозит ему пальчиком, а сама боком через двери на кухню бежит. Вот в таких приятных тонах весь ужин проходит, а потом они спать закладываются. Ночью, если им мухи не мешают, они спят спокойно, потому что уж очень они люди хорошие!

Этот “пашквиль” написан в октябре 1940 года; кроме того, Шварцы – персонажи “водевиля в одном действии” “Адам и Ева”.

Теснее, чем прежде, сошелся он с Друскиным. Чем старше становился Хармс, тем больше отдалялся он от карнавальных забав юности, тем больше становился зазор между ним и внешним миром. И потому именно серьезный, самоуглубленный, уязвимый и одинокий Яков Семенович в эти годы стал одним из его главных собеседников и ближайших к нему людей. Но идеи и формулы Друскина, далекие от какой бы то ни было иронии, под пером Хармса преображались, приобретая гротескно-игровой

характер. Мы уже цитировали рассказ “Как меня посетили вестники”, упоминали созданное в 1938 году “Общество равновесия с небольшой погрешностью”. Интересно, что сам Друскин получил лишь членский билет № 2 в этом обществе. Билет № 1 достался Николаю Харджиеву, общение с которым также было очень важно в эти годы для Хармса. В единственном сохранившемся к нему письме (от 9 сентября 1940 года) Хармс уверяет своего адресата, что тот “сделан из гениального теста”, и призывает его писать “не письма и не статьи о Хлебникове, а <… > собственные сочинения”. Но Харджиев теперь жил в Москве, и Хармс общался с ним лишь в его короткие наезды в Ленинград или в тех, судя по всему, редчайших случаях, когда сам он выбирался в столицу.

Антон Шварц, 1930-е.

Всеволод Петров, 1930-е.

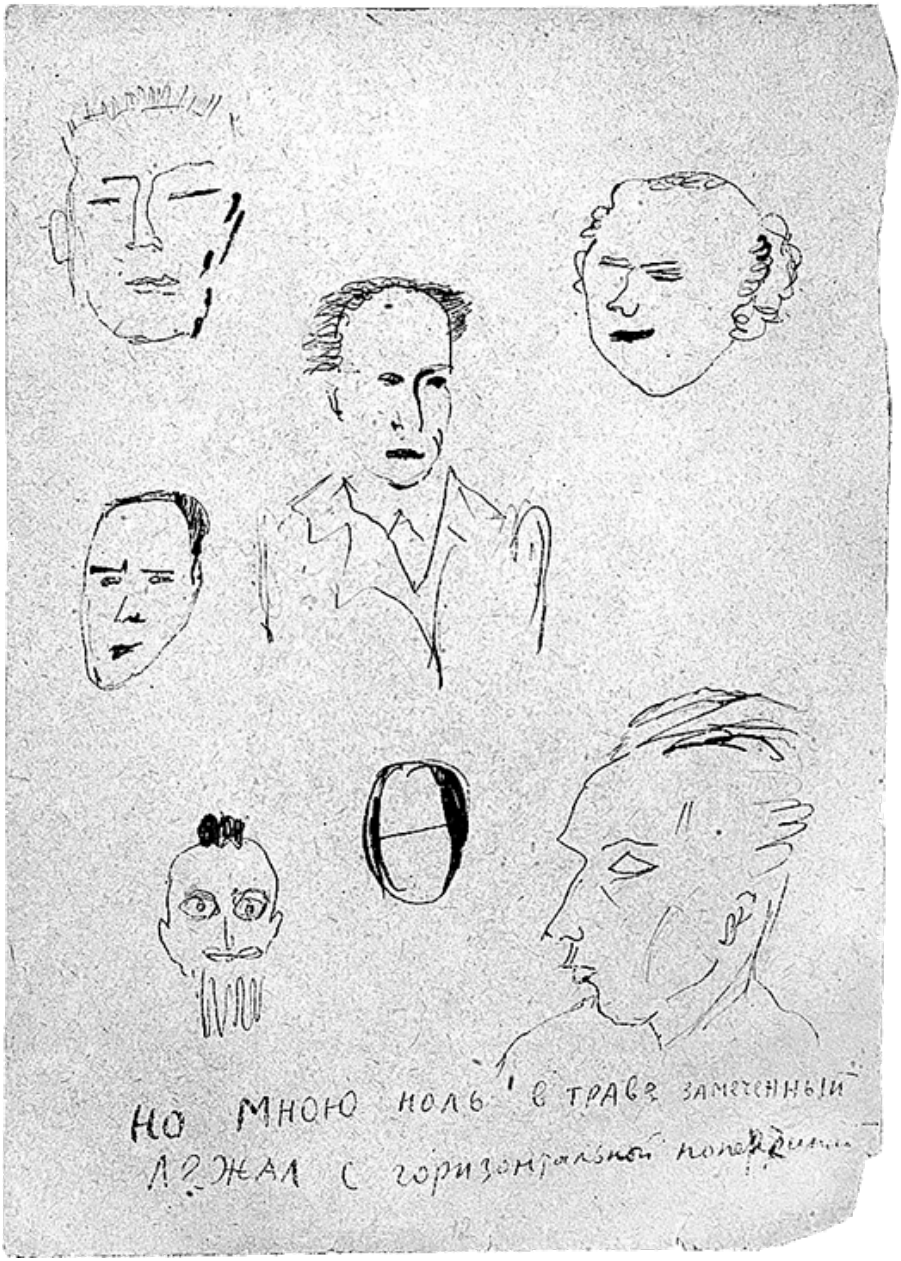
Жалоба Друскина на то, что вестники его покинули, вызвала к жизни знаменитый рассказ “Связь”, написанный в форме письма к “философу”, которого автор с серьезной миной убеждает во взаимосвязанности и (подразумевается) телеологической оправданности сущего, выстраивая идиотскую до умопомрачения цепочку событий:

> Философ!
>
> 1. Пишу Вам в ответ на Ваше письмо, которое Вы собираетесь написать мне в ответ на мое письмо, которое я написал Вам. 2. Один скрипач купил себе магнит и

понес его домой. По дороге на скрипача напали хулиганы и сбили с него шапку. Ветер подхватил шапку и понес ее по улице. 3. Скрипач положил магнит на землю и побежал за шапкой. Шапка попала в лужу азотной кислоты и там истлела. 4. А хулиганы тем временем схватили магнит и скрылись. 5. Скрипач вернулся домой без пальто и без шапки, потому что шапка истлела в азотной кислоте, и скрипач, расстроенный потерей своей шапки, забыл пальто в трамвае. 6. Кондуктор того трамвая отнес пальто на барахолку и там обменял на сметану, крупу и помидоры. 7. Тесть кондуктора объелся помидорами и умер. Труп тестя кондуктора положили в покойницкую, но потом его перепутали и вместо тестя кондуктора похоронили какую-то старушку. 8. На могиле старушки поставили белый столб с надписью: “Антон Сергеевич Кондратьев”. 9. Через одиннадцать лет этот столб источили черви, и он упал. А кладбищенский сторож распилил этот столб на четыре части и сжег его в своей плите. А жена кладбищенского сторожа на этом огне сварила суп из цветной капусты. 10. Но, когда суп был уже готов, со стены упали часы прямо в кастрюлю с этим супом. Часы из супа вынули, но в часах были клопы, и теперь они оказались в супе. Суп отдали нищему Тимофею. 11. Нищий Тимофей поел супа с клопами и рассказал нищему Николаю про доброту кладбищенского сторожа. 12. На другой день нищий Николай пришел к кладбищенскому сторожу и стал просить милостыню. Но кладбищенский сторож ничего не дал нищему Николаю и прогнал его прочь. 13. Нищий Николай очень обозлился и поджег дом кладбищенского сторожа. 14. Огонь перекинулся с дома на церковь, и церковь сгорела. 15. Повелось длительное следствие, но установить причину пожара не удалось. 16. На том месте, где была церковь, построили клуб, и в день открытия клуба устроили концерт, на котором выступал скрипач, который четырнадцать лет тому назад потерял свое пальто. 17. А среди слушателей сидел сын одного из тех хулиганов, которые четырнадцать лет тому назад сбили шапку с этого скрипача. 18. После концерта они поехали домой в одном трамвае. Но в трамвае, который ехал за ними, вагоновожатым был тот самый кондуктор, который когда-то продал пальто скрипача на барахолке. 19. И вот они едут поздно вечером по городу: впереди

скрипач и сын хулигана, а за ними вагоновожатый, бывший кондуктор. 20. Они едут и не знают, какая между ними связь, и не узна́ют этого до самой смерти.

Другой замечательный рассказ той поры, “Исторический эпизод”, включенный в “Случаи” и датируемый уже 1939 годом, посвящен Всеволоду Петрову, вошедшему в круг друзей Хармса в последние годы его жизни. Сам рассказ, видимо, инспирирован возобновлением на сцене “Жизни за царя” Глинки (с измененным названием и переделанным либретто – переделанным мастером на все руки Сергеем Городецким, который в данном случае вступил в доблестный и вполне равный бой с бароном Розеном). Объектом пародии, однако, здесь выступает не столько собственно либретто, сколько тот сочный, пафосный и разухабистый “русский стиль”, который вошел в моду накануне войны – стиль фильма “Александр Невский”.


НО МНОЮ НОЛЬ В ТРАВЕ ЗАМЕЧЕННЫЙ
ЛЕЖАЛ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ

Портретные зарисовки. Рисунки Д. Хармса, 1930-е.

Анна Ахматова. Москва, 1940 г.

Иван Иванович Сусанин (то самое историческое лицо, которое положило свою жизнь за царя и впоследствии было воспето оперой Глинки) зашел однажды в русскую харчевню и, сев за стол, потребовал себе антрекот. Пока хозяин харчевни жарил антрекот, Иван Иванович закусил свою бороду зубами и задумался; такая у него была привычка.

Прошло тридцать пять колов времени, и хозяин принес Ивану Ивановичу антрекот на круглой деревянной дощечке. Иван Иванович был голоден и, по обычаю того времени, схватил антрекот руками и начал

его есть. Но, торопясь утолить свой голод, Иван Иванович так жадно набросился на антрекот, что забыл вынуть изо рта свою бороду и съел антрекот с куском своей бороды.

Вот тут-то и произошла неприятность, так как не прошло и пятнадцати колов времени, как в животе у Ивана Ивановича начались сильные рези. Иван Иванович вскочил из-за стола и ринулся на двор. Хозяин крикнул было Ивану Ивановичу: “Зри, како твоя брада клочна”. Но Иван Иванович, не обращая ни на что внимания, выбежал на двор…

Здесь грубо высмеяно все, что раздражало в аляповатой националистической эстетике зрелого сталинизма и жестких людей двадцатых, и старорежимных петербургских эстетов. Человек, которому рассказ был посвящен, принадлежал к числу последних.

Всеволод Николаевич Петров, сотрудник Русского музея, позднее – автор ряда монографий о русских художниках XVIII–XIX веков. По свидетельству Н.И. Николаева и В.И. Эрля, Петров “не по времени рождения, а по облику и поведению, сказывавшемуся в старомодной учтивости, манере говорить и одеваться, принадлежал, без сомнения, первому десятилетию XX века”. Интеллектуал той особой формации, которая сложилась в дни Серебряного века, он был в своем поколении еще более одинок, чем Хармс – в своем. А поколения были уже разные: Петров моложе Даниила Ивановича семью годами; он и его сверстники даже детской памятью не помнили дореволюционную Россию. О складе личности Петрова дают представление его мемуарные очерки и в особенности одна сохранившаяся повесть – “Турдейская Манон Леско”, впервые напечатанная в 2007 году. Это тонкая, минималистская, безупречная по культуре и интонационной точности проза, не сюжетом, но фактурой отчасти родственная Хармсу.

Так сложилось, что позднее Петров женился на Марине Николаевне Ржевуской, троюродной сестре Марины Малич. После войны Петровы, по предложению Грицыных, поселились вместе с ними в опустевшей квартире Ювачевых (это позволило, так же как в 1925 и 1930 годах, избежать подселения посторонних людей). Таким образом, некая виртуальная (хотя и вполне житейская) связь с Хармсом сохранялась у Петрова и после смерти писателя.

Знакомство их состоялось еще в 1933 году, в трамвае. Петров провожал из гостей знакомую даму. Необычно для того времени

одетый (в котелке) мужчина, вошедший в трамвай, поздоровался со спутницей Всеволода Николаевича и по-старомодному поцеловал ей руку. Это был Хармс. Пять лет спустя, осенью 1938-го, Петрова, который в юные годы бывал в доме Кузмина и Юркуна (мы цитировали выше его воспоминания о них), привела к Хармсу Ольга Гильдебрандт. Юрочки уже не было в живых – он был арестован во время Большого Террора и расстрелян в один день с Лившицем, Зоргенфреем и Стеничем.

Хармс в 1938 году выглядел так:

> Дверь открыл высокий блондин в сером спортивном костюме: короткие брюки и толстые шерстяные чулки до колен…
>
> С учтивой предупредительностью Хармс помогал нам снимать пальто. При этом он, как мне показалось, не то икал, не то хрюкал, как-то по-особенному втягивая воздух носом: них, них. Я несколько насторожился. Но всё обошлось, а потом я узнал, что похрюкивание составляет постоянную манеру Хармса, один из его нервных тиков, отчасти непроизвольных, а отчасти культивируемых нарочно. По ряду соображений Даниил Иванович считал полезным развивать в себе некоторые странности[360].

Этих “соображений”, о которых деликатно пишет Петров, мы коснемся чуть ниже.

По свидетельству Петрова, у Хармса в это время “всегда собирались по субботам”. Что-то вроде салона? Но вряд ли это определение верно. В комнатке Хармса негде было даже рассадить многочисленных гостей, да и некого особенно было приглашать. Все же здесь регулярно бывали Липавские, Друскин, игравший на фисгармонии Баха, Введенский – в свои наезды в Ленинград, несколько последних оставшихся в окружении Хармса “естественных мыслителей”, редактор Детиздата и поэт-пародист (один из авторов “Парнаса дыбом”) Эстер Паперная, знавшая несколько тысяч песен на всех языках мира[361]. Хармс ценил песни Карла Бельмана – шведского поэта и композитора XVIII века (замечательные русские переводы этих песен принадлежат однофамильцу и почти сверстнику Всеволода Николаевича, Сергею Владимировичу Петрову, поэту, который мог соприкасаться с Хармсом в Ленинграде до своей ссылки в Сибирь в 1933 году). Петров вспоминал, что Хармс и сам пробовал сочинять музыку. Странно, что ничто не дошло до нас – при той тщательности, с которой Даниил Иванович сохранял даже незначительные бытовые записи. Продолжал Хармс общаться и с

Евгением Эдуардовичем Сно (младший Сно в 1937 году, как многие чекисты, последовал за своими жертвами). Вместе со Сно Хармс бывал у его сестер Евгении и Натальи Эдуардовны; по свидетельству Н.К. Бойко, дочери Н.Э. Сно, Хармс демонстрировал хозяевам фокусы с шариками для пинг-понга.

Каким-то образом до этого кружка изолированных, “оставленных судьбою”, но по случайности “забытых” пока что на свободе и в родном городе интеллектуалов долетали вести из “большого мира”. В 1940 году художник А.М. Шадрин читал вслух, переводя с листа, рассказы недавно открытого европейцами гения по имени Франц Кафка. Хармсу (который в переводе, разумеется, не нуждался) Кафка не понравился: он не увидел в его прозе “юмора”.

Некоторые из постоянных гостей были запечатлены Хармсом на самодельном бумажном абажуре (“Все были нарисованы очень похоже им слегка – но только чуть-чуть – карикатурно. В изобразительном отношении рисунок отдаленно напоминал графику Вильгельма Буша”[362]). Это, видимо, тот же абажур, который десятилетием раньше видел Александр Разумовский. Позднее он хранился у Кирилла Грицына, но, к сожалению, был утрачен. Племянник Хармса запомнил, что и на стенах, оклеенных розовой бумагой, были какие-то карикатуры, причем – не слишком пристойные. Но Петров о них ничего не пишет, не застал он и украшающих стены многозначительных надписей, которые вспоминают более ранние мемуаристы. В остальном комната выглядела гораздо обычнее, чем в прежние годы.

> Только был приколот к стене кусочек клетчатой бумаги, вырванный из тетрадки, “Со списком людей, особенно уважаемых в этом доме” (из них я помню Баха, Гоголя, Глинку и Кнута Гамсуна), и висели на гвоздике серебряные карманные часы с приклеенной под ними надписью: “Эти часы имеют особое сверхлогическое значение”. Между окон стояла фисгармония, а на стенах я заметил отличный портрет Хармса, написанный Мансуровым, старинную литографию, изображающую усатого полковника времён Николая I, и беспредметную картину в духе Малевича, чёрную с красным, про которую Хармс говорил, что она выражает суть жизни. Эта картина была написана тоже Мансуровым…
>
> При всей свободе и непринужденности, царивших в доме, мы, сами того не зная, испытывали – и не могли не испытывать – сильнейшее воздействие индивидуальности Даниила Ивановича… Мне думается

сейчас, что все мы были, в каком-то смысле, “персонажами” Хармса. Он иронически наблюдал и как бы “сочинял” нас, и мы выстраивались по его воле в некую процессию, вроде той, что он изобразил на своем абажуре[363].

В каком-то смысле этот период – с осени 1938 года по начало лета 1941-го – был очередным, третьим по счету периодом “стабилизации” в жизни Хармса. Денег по-прежнему не хватало, но голода не было, угроза ареста и гибели отступила, существовал некий (пусть ставший чрезвычайно узким) круг друзей.

Петров был в этом кругу одним из самых молодых. Горячим поклонником обэриутов, продолжавшим (и очень талантливо продолжавшим) их линию в собственных стихах и прозе, был Павел Яковлевич Зальцман, одноклассник Петрова, писатель и художник (ученик Филонова). Но его любовь к творчеству Хармса была скорее “любовью издалека” (личное знакомство не перешло в дружбу) – и вполне односторонней.

Следующее поколение было для Даниила Ивановича уже внутренне чужим, хотя именно в Ленинграде в конце 1930-х годов существовал круг молодых авторов, с которым он, вероятно, мог бы найти общий язык. Это был Александр Ривин, талантливейший, ныне почти легендарный “прóклятый поэт” предвоенного Ленинграда, живший тем, что отлавливал кошек и сдавал их в институт Павлова для опытов; это был круг молодых поэтов и филологов – студентов ЛГУ (Мирон Левин, Николай Давыденков, Эрик Горлин, Игорь Дьяконов). Но Хармс ни с кем из них, насколько известно, не встречался. Ривин искал встречи с обэриутами, но добрался лишь до Заболоцкого, которому его стихи не понравились. Тем не менее он направил молодого поэта к Харджиеву. Общение Ривина с Харджиевым было, кажется, достаточно интенсивным – но свести “Алика дер мишигинера” (“Алика-сумасшедшего” – так Ривин себя называл) с Хармсом он так и не счел нужным. Жизнь Хармса и Ривина оборвалась почти одновременно: в последний раз Ривина видели в феврале 1942 года в Ленинграде.

Что касается старших, то все люди предыдущего поколения, с которыми Хармс находился в сколько-нибудь интенсивном творческом диалоге, постепенно ушли из его жизни: от Туфанова и Малевича до Житкова и Маршака. Однако в мае 1940 года происходит несколько неожиданное знакомство – Анна Ахматова. Ахматова, чьи вкусы были гораздо шире ее творческой практики, и прежде не без симпатии относилась к обэриутам; она ценила

Олейникова, воспринимая его, впрочем, упрощенно, как юмориста (“Она думает, что это шутка, что так шутят”[364], – замечала Лидия Гинзбург), и многое у Заболоцкого (“Ночной сад”, измененную строчку из которого она сделала эпиграфом к одному из стихотворений 1940 года; сам Заболоцкий скептическое отношение к поэзии Ахматовой сохранил до конца жизни). Интерес к Хармсу, наметившийся в 1933–1935 годах в литературных кругах, также не прошел мимо нее. В свою очередь, эстетическая эволюция бывших радикальных авангардистов Хармса и Введенского в конце 1930-х сделала Ахматову одним из наиболее приемлемых (или наименее неприемлемых) для них авторов предшествующего поколения. Введенский с большим интересом читал вышедший в 1940 году томик избранных стихотворений поэтессы.

Хармс посетил Анну Андреевну в Фонтанном доме. Несколько дней спустя она так передавала разговор с ним Лидии Чуковской:

> Он мне сказал, что, по его убеждению, гений должен обладать тремя свойствами: ясновидением, властностью и толковостью. Хлебников обладал ясновидением, но не обладал толковостью и властностью. Я прочитала ему “Путем всея земли”. Он сказал: “Да, властность у вас есть, но вот толковости мало”[365].

Что подразумевалось под “властностью”? В разговоре с Петровым Хармс определил это свойство так:

> Писатель… должен поставить читателей перед такой непререкаемой очевидностью, чтобы те не смели и пикнуть против нее. Он взял пример из недавно прочитанного нами обоими романа Авдотьи Панаевой “Семейство Тальниковых”[366]. Там, по ходу действия, автору потребовалось изобразить, как один человек сошел с ума. Сделано это так: человек остается в прихожей, снимает с вешалки все шубы. Несет и аккуратно складывает их в угол, а на вешалке оставляет только свою шинель… Сумасшествие показано таким образом при помощи неброской, но неожиданной детали, которая приобретает ряд различных, часто параллельных, а часто перебивающих друг друга смыслов. Она – как микрокосм, в котором отражена закономерность мира, создаваемого в романе[367].

Разговор этот происходил в дешевой пивной на Знаменской

улице (ныне улица Восстания, в двух шагах от дома Хармса), обычными посетителями которой были маляры (“в углу стояли ведра с полузасохшей краской”). Теперь Хармс и его собеседники коротали время за утонченными беседами в этом непрезентабельном месте. Петрову оно “напоминало “клоак”, в котором Версилов разговаривал с подростком”. Хармс приносил в небольшом саквояже посуду – вилки и складные дорожные стаканчики; гигиена “клоака” не вызывала у него доверия.

Время было все же очень тоскливым и мрачным – и никаких светлых перспектив не маячило впереди. Никаких и ни у кого в его окружении.

> По-моему осталось только два выхода, – говорил он мне. – Либо будет война, либо мы все умрём от парши.
>
> – Почему от парши? – спросил я с недоумением.
>
> – Ну, от нашей унылой и беспросветной жизни зачахнем, покроемся коростой или паршой и умрём от этого, – ответил Даниил Иванович[368].

(Можно вспомнить Михайлова из “Случаев”, который “перестал причесываться и заболел паршой”, а также юношеское стихотворение Введенского “Парша на отмели”.)

Даниил Хармс. Портрет работы И. Харкевича, 1940–1941 гг.

Разговор этот, описанный Петровым, относится к осени 1939 года. Чтобы предвидеть войну с участием СССР, когда Вторая мировая уже началась, особых пророческих талантов не требовалось. В глазах многих картина будущих сражений была подернута романтическим флером – отзвуки мечты о новой Битве Народов, преображающей мир, есть даже в мандельштамовских “Стихах о неизвестном солдате”. Сам Хармс войны откровенно боялся, боялся насилия, фронта, казармы, боялся лично за себя и своих близких. “Если государство уподобить человеческому организму, то, в случае войны, я хотел бы жить в пятке”. Сказано достаточно откровенно, только ведь и альтернатива “смерти от парши” была не из приятных.

Но гибель всех мелких, частных надежд оставляла место одной, последней, главной.

> Он считал, что ожидание чуда составляет содержание и смысл человеческой жизни…
>
> Чуда не было год назад и не было вчера. Оно не произошло и сегодня. Но, может быть, оно произойдёт завтра, или через год, или через двадцать лет. Пока человек так думает, он живёт.
>
> Но чудо приходит не ко всем. Или, может быть, ни к кому не приходит. Наступает момент, когда человек убеждается, что чуда не будет. Тогда, собственно говоря, жизнь прекращается, и остаётся лишь физическое существование, лишённое духовного содержания и смысла. Конечно, у разных людей этот момент наступает в неодинаковые сроки: у одних в тридцать лет, у других в пятьдесят, у иных ещё позже. Каждый стареет по-своему, в своём собственном темпе. Счастливее всех те, кто до самого конца продолжает ждать чуда.
>
> Не слишком высоко ценя Льва Толстого как писателя, Хармс чрезвычайно восхищался им как человеком, потому что Толстой ждал чуда до глубокой старости и в 82 года “выпрыгнул в окно”, чтобы начать новую жизнь, стать странником и, может быть, убежать от смерти[369].

Но пока что с Хармсом происходили лишь мелкие чудеса.

Например, однажды его вызвали в НКВД – но, против ожиданий, все закончилось благополучно.

> Не помню уже, повестка была или приехали за ним оттуда. Он страшно испугался. Думал, что его арестуют, возьмут.
>
> Но скоро он вернулся и рассказал, что там его спрашивали, как он делает фокусы с шариками.
>
> Он говорил, что от страха не мог показывать, руки дрожали…[370]

Это был эпизод вполне в духе хармсовских рассказов. Можно сказать, что Даниилу Ивановичу повезло. Другой раз, понимал он, может не повезти. В тот же день Хармс, по воспоминаниям Бойко, появился в доме сестер Сно с черной повязкой на голове; хозяйкам он объяснил, что “защищается от черных мыслей”, и рассказал о своем визите на Шпалерную. Повязка была заимствована у Башилова, и, очевидно, Даниил Иванович,

отправляясь “туда”, надел ее, чтобы в случае чего симулировать безумие.

Свидетельство № 49

об освобождении от воинской обязанности за негодностью по болезни и о снятии с воинского учета (бессрочное).

Выдано настоящее свидетельство Дзержинским РВК (каким РВК)

гражданину Ювачеву-Хармсу (фамилия,)

Даниилу Ивановичу 1905 (имя, отчество и год рождения)

уроженцу г. Ленинград (области, города,)

района, села)

ЛИНИЯ СГИБА

в том, что он по освидетельствовании Дзержинской районной (когда и какой комиссией) Комиссии г. Ленинграда от 19/X-39 г.

признан негодным к всеобщей воинской обязанности с исключением с учета по гр. “III” ст. “г” расписания болезней приказа НКО СССР № 194

“ ” 193 г.

и снят с воинского учета.

м. п.

“ ” 193 г.

Свидетельство об освобождении от воинской обязанности, выданное Даниилу Хармсу 19 октября 1939 г. Сохранилось в составе следственного дела Д. Хармса 1941 г.

Эти уловки понадобились ему при общении с военным ведомством, всерьез (в связи с началом советско-финской войны) заявившим на него права. Согласно устному свидетельству Пантелеева, зафиксированному М. Мейлахом, Хармс явился в военкомат с опозданием на несколько дней и объяснил, что все время держал повестку вверх ногами и думал, что должен прийти не 26, а 95 числа. После этого его, конечно, признали негодным к службе из-за психической болезни. Малич описывает симуляцию еще красочнее (она относит этот эпизод к началу Великой Отечественной войны, но это явная ошибка):

> Даню вызвали в военкомат, и он должен был пройти медицинскую комиссию.
>
> Мы пошли вдвоем.
>
> Женщина-врач осматривала его весьма тщательно, сверху донизу. Даня говорил с ней очень почтительно, чрезвычайно серьезно.
>
> Она смотрела его и приговаривала:
>
> – Вот – молодой человек еще, защитник родины, будете хорошим бойцом…

Он кивал:

– Да, да, конечно, совершенно верно.

Но что-то в его поведении ее все же насторожило, и она послала его в психиатрическую больницу на обследование. В такой легкий сумасшедший дом.

Даня попал в палату на двоих. В палате было две койки и письменный стол. На второй койке – действительно сумасшедший.

Цель этого обследования была в том, чтобы доказать, что если раньше и были у него какие-то психические нарушения, то теперь всё уже прошло, он здоров, годен к воинской службе и может идти защищать родину.

<…>

А перед выпиской ему надо было обойти несколько врачей, чтобы получить их заключение, что он совершенно здоров.

Он входил в кабинет к врачу, а я ждала его за дверью.

И вот он обходит кабинеты, один, другой, третий, врачи подтверждают, что всё у него в порядке. И остается последний врач, женщина-психиатр, которая его раньше наблюдала.

Дверь кабинета не закрыта плотно, и я слышу весь их разговор.

– Как вы себя чувствуете?

– Прекрасно, прекрасно.

– Ну, всё в порядке.

Она уже что-то пишет в историю болезни.

Иногда, правда, я слышу, как он откашливается: “Гм, гм… гм, гм…” Врач спрашивает:

– Что, вам нехорошо?

– Нет, нет. Прекрасно, прекрасно!..

Она сама распахнула перед ним дверь, он вышел из кабинета и, когда мы встретились глазами, дал мне понять, что он и у этого врача проходит.

Она стояла в дверях и провожала его:

– Я очень рада, товарищ, что вы здоровы и что все теперь у вас хорошо.

Даня отвечал ей:

– Это очень мило с вашей стороны, большое спасибо. Я тоже совершенно уверен, что всё в порядке.

И пошел по коридору.

Тут вдруг он как-то споткнулся, поднял правую ногу,

согнутую в колене, мотнул головой: “Э-э, гм, гм!..”

– Товарищ, товарищ! Погодите, – сказала женщина. – Вам плохо?

Он посмотрел на нее и улыбнулся:

– Нет, нет, ничего.

Она уже с испугом:

– Пожалуйста, вернитесь. Я хочу себя проверить, не ошиблась ли я. Почему вы так дернулись?

– Видите ли, – сказал Даня, – там эта белая птичка, она, бывает, – бывает! – что вспархивает – пр-р-р! – и улетает. Но это ничего, ничего…

– Откуда же там эта птичка? И почему она вдруг улетела?

– Просто, – сказал Даня, – пришло время ей лететь – и она вспорхнула. – При этом лицо у него было сияющее.

Женщина вернулась в свой кабинет и подписала ему освобождение…[371]

Николай Харджиев, 1930-е.

Здесь уместно вспомнить симулянтов из “Золотого теленка”,

ищущих себе диагнозы в книгах по психиатрии. Хармс, судя по его записным книжкам, читал и такого рода литературу – но по большей части не в 30-е годы, а в юности (мы упоминали об этом во 2-й главе нашей книги) и явно без дальнего умысла. Ему помогло другое – прежде всего писательское мастерство и интуиция. Он и видавших виды психиатров сумел "поставить перед такой очевидностью, что они пикнуть не посмели". Он знал, что неожиданная деталь воздействует на читателя лучше, чем каша из наворачивающихся друг на друга образов.

Впрочем, сухая справка, выданная нервно-психиатрическим диспансером Василеостровского района, опровергает выразительный рассказ жены писателя. Она гласит, что гражданин Ювачев-Хармс Даниил Иванович находился на обследовании с 29 сентября по 5 октября 1939 года.

> За время пребывания отмечено: бредовые идеи изобретательства, отношения и преследования. Считает свои мысли "открытыми и наружными", если не носит вокруг головы повязки или ленты, проявлял страх перед людьми, имел навязчивые движения и повторял услышанное. Выписан был без перемен[372].

Другими словами, белая птичка была лишь последним штрихом мастера. Диагноз: шизофрения. 3 декабря, через четыре дня после начала Зимней войны Хармс получил освобождение от призыва. Справка о болезни помогла и еще раз: Литфонд, снизойдя к инвалидности Хармса, списал его долг. Долг составлял 199 рублей – к давним 150 прибавились 25 рублей за пользование автомобилем Союза, а также пеня. Даниил Иванович получил передышку на полтора года – последнюю в своей жизни. Впрочем, как раз про эти полтора года его жизни нам почти ничего не известно. В мае 1940 года Хармс, как мы уже упоминали, похоронил отца, тогда же навещал Ахматову, а летом куда-то уезжал "по семейному делу" из Ленинграда. Что это могло быть за дело? Может быть, он навещал находившихся в ссылке родителей жены? Во всяком случае, он проездом побывал в Москве, останавливался у Харджиева, обедал с ним в "Национале". По словам Николая Ивановича, это была его последняя встреча с Хармсом.

4

Среди написанного Хармсом в последний период его творчества, в 1939–1941 годах, вершиной является, несомненно,

“Старуха”. В каком-то смысле это вершина всего его творчества и конечно же одна из вершин русской прозы 1930-х годов, эпохи Набокова и Платонова. Нигде прежде Хармсу не удавалось достичь такой отчетливости, такого “порядка”, как сказал бы сам он несколькими годами раньше.

“Старуха” сконцентрировала в себе едва ли не все мотивы и образы, присутствовавшие в это время в сознании Хармса: условность и уничтожимость времени, дети и старики как чуждые и враждебные существа, ожидание чуда, страх смерти и преследования, эротическая неудовлетворенность.

Традиционная сюжетная логика, как определил ее Чехов, гласит: если на сцене висит ружье, в пятом акте оно должно выстрелить. Набоков уточнил: если на сцене висит ружье, в пятом акте оно должно дать осечку. Но короткая повесть Хармса полна “ружей”, которые и не стреляют, и не осекаются. Очень многие эпизоды “Старухи” как будто повисают в воздухе, не получают продолжения:

> Я отпер дверь и вошел в коридор. В конце коридора горел свет, и Марья Васильевна, держа в руке какую-то тряпку, терла по ней другой тряпкой. Увидев меня, Марья Васильевна крикнула:
>
> – Ваш шпрашивал какой-то штарик!
>
> – Какой старик? – сказал я.
>
> – Не жнаю, – ответила Марья Васильевна.
>
> – Когда это было? – спросил я.
>
> – Тоже не жнаю, – сказала Марья Васильевна.
>
> – Вы разговаривали со стариком? – спросил я Марью Васильевну.
>
> – Я, – отвечала Марья Васильевна.
>
> – Так как же вы не знаете, когда это было? – сказал я.
>
> – Чиша два тому нажад, – сказала Марья Васильевна.
>
> – А как этот старик выглядел? – спросил я.
>
> – Тоже не жнаю, – сказала Марья Васильевна и ушла на кухню.
>
> Я пошел к своей комнате.
>
> “Вдруг, – подумал я, – старуха исчезла. Я войду в комнату, а старухи-то и нет. Боже мой! Неужели чудес не бывает?!”

Этот “старик” (как будто парный “старухе”) больше не появляется и не играет никакой роли в сюжете, как и часы без стрелок, которые держит старуха в начале повести. В связи с часами, конечно, приходит на ум и “Время” Заболоцкого, и

картина Каплана – но Хармс не символист. Как и все обэриуты, он скорее пародирует, выворачивает наизнанку, доводит до абсурда символистскую многозначность. Каждая деталь убедительна в своей конкретности, и она может значить все что угодно. И сама ползающая по комнате, неуемно-подвижная мертвая старуха, такая же материальная и реальная, как общительная дамочка из магазина, как опасные для здоровья сардельки, которые ест рассказчик с Сакердоном Михайловичем, может значить все – и не значит ничего. В сущности, она просто бытовое неудобство, от которого надо избавиться. "Старуха", несомненно, связана с традицией фантастической новеллы, столь характерной, между прочим, и для петербургского текста русской литературы. Но у Гоголя, у Гофмана, в XX веке у Кафки странное событие, нарушающее реалистическое течение жизни, вызывает удивление, переполох, ужас, шок; у Хармса никто ничему почти не удивляется. Собственно, сама интонация рассказа исключает удивление, да и любое другое сильное чувство. Герой "Старухи" отчужден от реальности настолько, что никакой ее поворот не покажется ему слишком странным. "Чудом" было бы не появление, а исчезновение старухи. Но чуда не происходит.

> Теперь мне хочется спать, но я спать не буду. Я возьму бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе страшную силу. Я все обдумал еще вчера. Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть пальцем, и квартира останется за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда…

Ж.-Ф. Жаккар обратил внимание на обилие у Хармса "незаконченных" текстов. В этом смысле из русских писателей его можно сравнить только с Пушкиным. "Старуха" тоже почти издевательски оборвана на полуслове – причем в данном случае это сознательный прием. Хармс чувствовал, что слишком четко построенная и доведенная до конца фабула приведет к исчезновению "небольшой погрешности", которая придает равновесию подлинность. Но таким образом он оставался в рамках той поэтики фрагмента и эскиза, на которую сам же обрушивался в речи 1936 года. Он мечтал о монументальности, о

высоком стиле в прозе и поэзии и иногда приближался к нему. Но в целом этот идеал оставался недостижимым.

Хармс читал “Старуху” у Липавских в присутствии Введенского, приехавшего ненадолго из Харькова. Когда хозяева, в отсутствие Хармса, спросили Александра Ивановича его мнение, тот уклончиво ответил: “Я ведь не отказывался от левого искусства”. Не отказывался – в отличие от Хармса. Значит ли это, что “Старуха” показалась ему чуждой? Или что она опровергает собственные теоретические взгляды позднего Хармса?

Галина Викторова, Леонид Липавский, Тамара Липавская, Александр Введенский. Ленинград, 1938 г.

Этому же периоду принадлежит небольшой рассказ “Помеха”. Его особенность в том, что это – единственное произведение, в котором Хармс (за год до своего рокового ареста и гибели) обращается к теме террора, причем в неожиданно “декамероновском” контексте, и в том, что это – почти единственный “реалистический” рассказ писателя. Точеный язык “Старухи” сменяется минималистским. Почти тавтологическим:

Пронин сказал:
– У вас очень красивые чулки.
Ирина Мазер сказала:
– Вам нравятся мои чулки?
Пронин сказал:
– О, да. Очень. – И схватился за них рукой.
Ирина сказала:
– А почему вам нравятся мои чулки?
Пронин сказал:
– Они очень гладкие.
Ирина подняла свою юбку и сказала:

– А видите, какие они высокие?

Пронин сказал:

– Ой, да, да.

Ирина сказала:

– Но вот тут они уже кончаются. Тут уже идет голая нога…

Эротическая игра заканчивается неожиданно: даму арестовывают, даже не дав надеть панталоны, а вместе с ней уводят и незадачливого обожателя. Абсурдные ситуации, порожденные временем, уже не требовали дополнительного остранения. Думал ли Хармс, когда писал этот рассказ, об Эстер Русаковой, предмете своей многолетней любви и страсти, третий год находившейся на берегах Охотского моря? Думал ли о себе, о своей судьбе? Значит ли что-то имя героини, Мазер – мать (при том, что Ирина Мазер упоминает про свои “широкие бедра”)? Или перед нами просто еще один образ реальности, где границы между миром живых и миром мертвых, между явью и сном, Эросом и Танатосом стерты?

Глава восьмая
Представление наше кончается

1

В пятом номере “Чижа” за 1941 год было напечатано стихотворение Хармса “Цирк Принтипрам”, одно из тех детских стихотворений, которое неотделимы от его “взрослой” лирики, причем в самых вершинных ее проявлениях. Как будто ничего особенного не сказано в этом стихотворении, перекликающемся и с “Цирком Шардам”, и с давним “Цирком” Заболоцкого (1928). Но какими-то зловещими предчувствиями веет от последних строк:

…Две свиньи
Спляшут польку.
Клоун Петька
Ударит клоуна Кольку.
Клоун Колька
Ударит клоуна Петьку.
Ученый попугай
Съест моченую
    Редьку.

Четыре тигра
Подерутся с четырьмя львами.
    Выйдет Иван Кузьмич
    С пятью головами.
    Силач Хохлов
Поднимет зубами слона.
    Потухнут лампы,
    Вспыхнет луна.

Загорятся под куполом
Электрические звезды.
Ученые ласточки
Совьют золотые гнезда.
    Грянет музыка
    И цирк закачается…
На этом, друзья,
Представление
    наше

КОНЧАЕТСЯ.

Уже весной Хармса томили мрачные мысли о надвигающемся кошмаре. Наталье Гернет он говорил: “Уезжайте! Будет война, Ленинград ждет участь Ковентри”. Английский город Ковентри, центр военной промышленности, подвергся страшному налету авиации 14 ноября 1940 года. Погибло около пятисот человек… Знал бы Хармс, насколько ужаснее предстоящая участь Ленинграда!

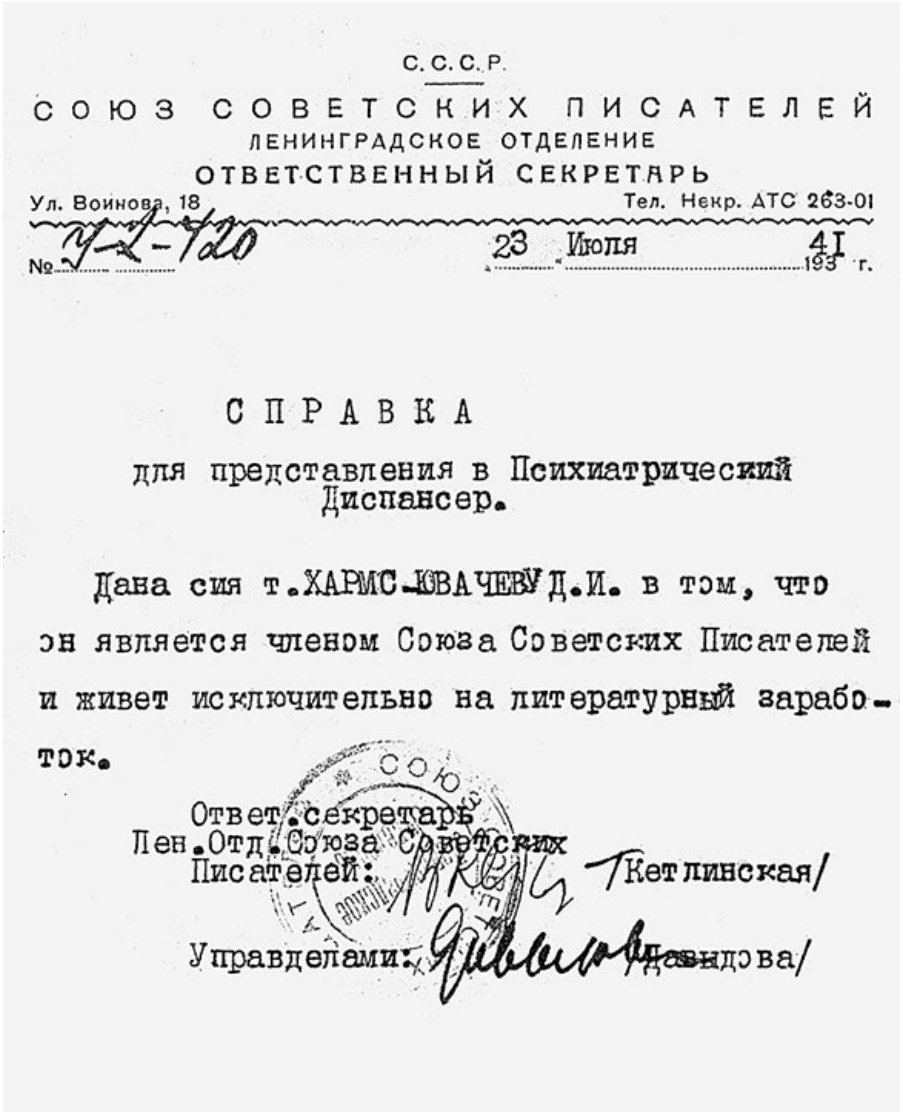
И вот война началась.

Кажется, в день ее начала Хармс был в Москве. Об этом свидетельствуют воспоминания Павла Зальцмана. Он встретился с Даниилом Ивановичем и Мариной Владимировной у Татьяны Глебовой в последних числах июня.

> …Ещё не было тревог, но, хорошо зная о судьбе Амстердама, мы представляли себе все, что было бы возможно. Он говорил, что ожидал и знал о дне начала войны и что условился с женой о том, что по известному его телеграфному слову она должна выехать в Москву. Что-то изменило их планы, и он, не желая расставаться с ней, приехал в Ленинград. Уходя, он определил свои ожидания: это было то, что преследовало всех: “Мы будем уползать без ног, держась за горящие стены”. Кто-то из нас, может быть, жена его, а может, и я, смеясь, заметил, что достаточно лишиться ног для того, чтоб было плохо ползти, хватаясь и за целые стены. Или сгореть с неотрезанными ногами. Когда мы пожимали друг другу руки, он сказал: “Может быть, даст Бог, мы и увидимся”. Я внимательно слушал все эти подтверждения общих мыслей и моих тоже[373].

Справка о “шизофрении” избавляла Хармса от военной службы. Сама мысль о насилии, о казарме была для него мучительна. Боевой храбрости он, как уже отмечалось, был лишен начисто. Некоторые друзья писателя были настроены иначе. Двое из них, Липавский и Дойвбер Левин, добровольцами ушли на фронт, в ополчение, и вскоре погибли.

Леонид Липавский. Последняя фотография.



С.С.С.Р.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Ул. Воинова, 18 Тел. Некр. АТС 263-01

№ У-2-420 23 Июля 41 193 г.

СПРАВКА

для представления в Психиатрический Диспансер.

Дана сия т.ХАРМС-ЮВАЧЕВУ Д.И. в том, что он является членом Союза Советских Писателей и живет исключительно на литературный заработок.

Ответ.секретарь Лен.Отд.Союза Советских Писателей: /Кетлинская/

Управделами: /Давыдова/

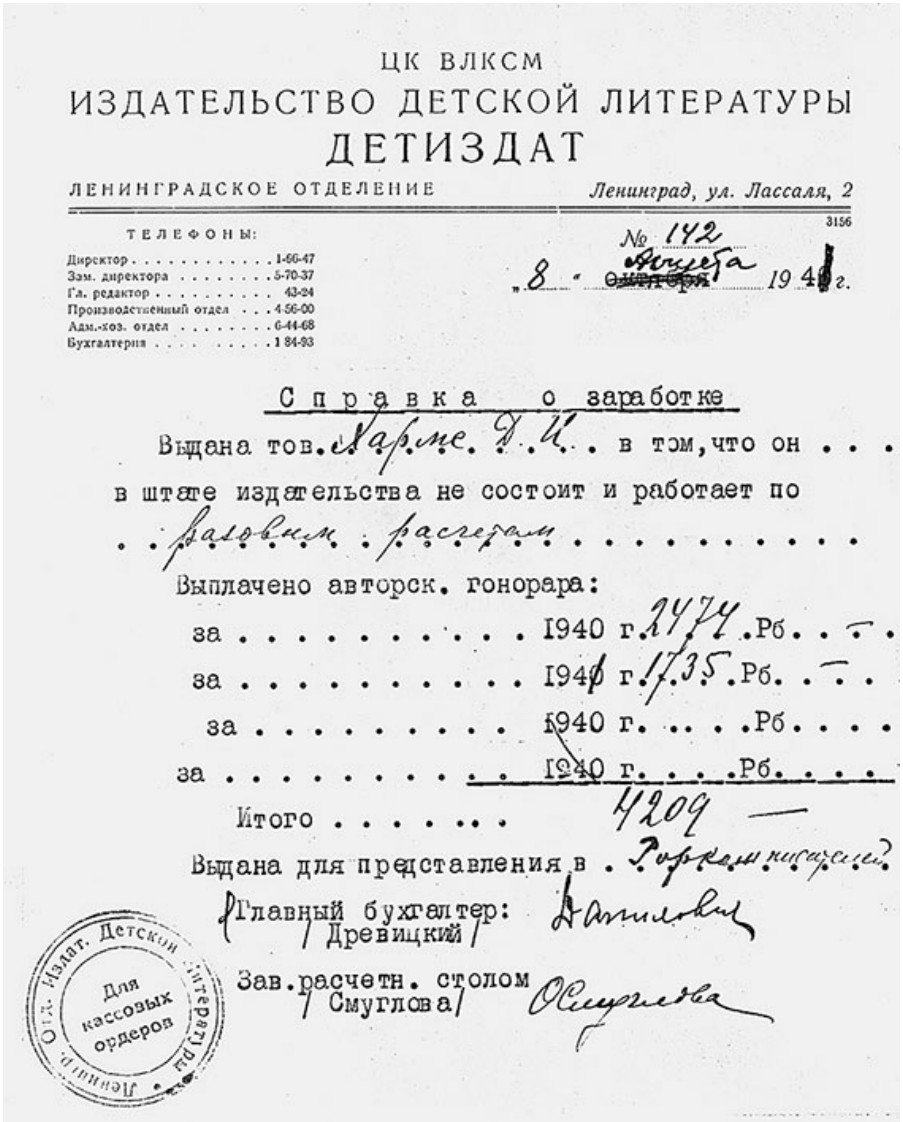
Справка, выданная Д. Хармсу для предоставления в психоневрологический диспансер 23 июля 1941 г. Сохранилась в составе следственного дела Д. Хармса 1941 г.

О Левине Пантелеев вспоминает так:

> Еще в 1939 году, когда немцы, перестав играть в прятки, в открытую пошли “завоевывать мир”, он сказал мне (или повторил чьи-то слова):
>
> – Кончено! В мире погасли все фонари.
>
> И все-таки в первые дни войны пошел записываться в ополчение.
>
> Поскольку он был, как все мы, офицером запаса, его

отправили в КУКС, то есть на курсы усовершенствования командного состава. Там он учился три или четыре месяца. Потом получил назначение на фронт, который был уже совсем рядом.

Погиб Борис Михайлович в открытом бою – на железнодорожном полотне, в 25 километрах от станции Мга. Первый немец, которого он увидел, погасил для него все фонари, и солнце, и звезды[374].



ЦК ВЛКСМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЕТИЗДАТ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ленинград, ул. Лассаля, 2

ТЕЛЕФОНЫ:
Директор 1-66-47
Зам. директора 5-70-37
Гл. редактор 43-24
Производственный отдел . . . 4-56-00
Адм.-хоз. отдел 6-44-68
Бухгалтерия 1-84-93

3156
№ 142
„8" октября 1940 г.

Справка о заработке

Выдана тов. Хармс Д. И. в том, что он . . .
в штате издательства не состоит и работает по
. . разовым расчетам . . . . . .

Выплачено авторск. гонорара:
за . . . . . 1940 г. 2474 Рб. — .
за . . . . . 1940 г. 1735 Рб. — .
за . . . . . 1940 г. . . . Рб. . . .
за . . . . . 1940 г. . . . Рб. . . .
Итого . . . . . 4209 —

Выдана для представления в . Горком писателей

Главный бухгалтер: Древицкий

Зав. расчетн. столом Смуглова

Отд. Издат. Детской литературы Ленинград
Для кассовых ордеров

Справка о заработке Д. Хармса в 1940–1941 годах. Сохранилась в составе следственного дела Д. Хармса 1941 г.

Мотки 8 Дзерж.

Ленинградский отдел социального обеспечения Ленсовета

Врачебно-трудовая экспертная комиссия

ВЫПИСКА ИЗ АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ № 9Н39623

для установления наличия, степени и характера инвалидности

6 VIII 1941 г.

Фамилия Хармс-Ювачев Даниил Иванов

Год рождения 1905 Место рождения

Город Область

Район Деревня

Адрес местожительства гр. Маяковск. 11 кв 8.

Место работы Район

Группа инвалидности Витрат (2)

Причины инвалидности (подчеркивается) с 7/8 41

Увечье в связи с профессиональной работой

Профессиональное заболевание по списку

Общее заболевание. Непрофессиональное увечье

Нуждается в

Необходим протез

Переосвидетельствование 4 требуется через 12 мес 7/8 1942 г.

Диагнозы врачебно-трудовой экспертизы

(точный перечень заболеваний. Основной диагноз подчеркнуть)

Бонерв Гнетиди

М. П. Эксперты { Федоровна

Ст. врач

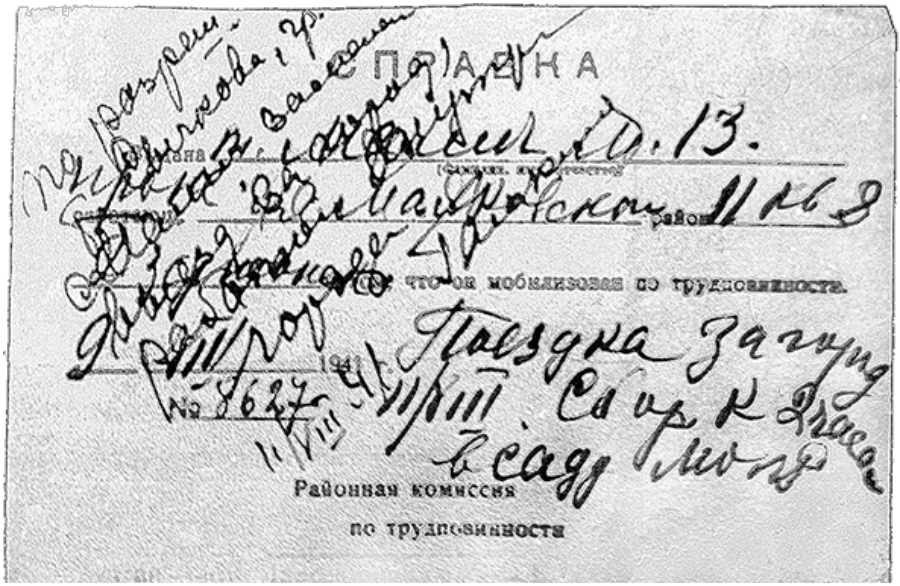
Председатель комиссии Техсекретарь

« » 7/8 1941 г.

Тип. «Лен. Правда». Зак. 11125 Тир. 150000

Выписка из освидетельствования Д. Хармса врачебно-трудовой экспертной комиссией, 11 августа 1941 г. Сохранилась в составе следственного дела Д. Хармса 1941 г. Лицевая и

оборотная стороны.



Справка о мобилизации, выданная Марине Малич. “Поездка за город 11/VII. Сбор к 2 часам в саду МОПР”. Резолюция: “По разрешению т. Сычкова, гр. Малич заменить выезд за город работами внутри города. 11/VII-41”.

О Хармсе Пантелеев пишет, что тот был “настроен патриотически”. “Он верил, что немцев разобьют, что именно Ленинград – стойкость его жителей и защитников – решит судьбу войны”. Разговор происходил за несколько дней до ареста Хармса – то есть в середине августа. “Мы пили с ним в тот вечер дешевое красное вино, закусывали белым хлебом (да, был еще белый хлеб)”. Друскин тоже подтверждает, что Хармс верил в победу СССР, но со своеобразной мотивировкой – “немцы увязнут в этом болоте”[375]. Значит ли это, что Пантелеев процитировал слова Хармса неточно (может быть, намеренно неточно – для печати 1960-х годов, с целью помочь реабилитации писателя)? Вполне возможно. И даже более чем вероятно. Но…

Дело в том, что настроения ленинградских интеллигентов (да и вообще ленинградцев) в тот момент менялись очень часто. Достаточно привести цитату из дневника Ольги Берггольц (после краткой отсидки в 1937–1939 годах полностью избавившейся от коммунистического фанатизма своей юности). Речь идет об Ахматовой:

> Она сидит в кромешной тьме, даже читать не может, сидит, как в камере смертников… и так хорошо сказала:

> “Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную…” О, верно, верно! Единственно правильная агитация была бы – “Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не надо ни родин, ни правительств – сами, сами будем жить”… Но закричать “братайтесь” – невозможно. Значит, что же? Надо отбиться от немцев. Надо уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и потом у себя все изменить. Как? [376]

Всего несколько недель спустя обе собеседницы будут писать патриотические стихи об обороне города, и Берггольц именно эти стихи прославят.

Другой, еще более выразительный пример.

Искусствовед и литературовед Лев Раков, по устным воспоминаниям Н.Я. Рыковой (зафиксированным А.А. Тимофеевским), мечтательным голосом говорил ей: “…Немцы долго не задержатся. Потом придут американцы (видимо, было сказано “англичане” – США еще не вступили в войну. – *В. Ш.*). И мы все будем читать Диккенса. А кто не захочет, не будет читать”. Через месяц Раков, видимо, осознав, что на приход англичан надежды мало, вступил в ополчение, прошел всю войну, а после победы был директором Музея обороны Ленинграда.

Люди разрывались между противоположными чувствами. То, что еще вчера казалось позорной схваткой одинаково отвратительных режимов (дающей некоторую надежду на избавление от обоих), сегодня превращалось в войну с врагом, угрожающим существованию России и русской культуры. Одних вдохновлял внеидеологический патриотизм, других – отвращение к расовым теориям нацизма, третьи просто проникались естественной ненавистью к врагу, под чьими пулями и бомбами они оказались.

Разумеется, не все. Были интеллигенты, видевшие в нацистах желанных освободителей и готовые на сотрудничество с ними. Настроения этих людей хорошо документированы, более того – они оставили след в русской литературе.

Вот, например, стихотворение Бориса Садовского:

> Ты вязнешь в трясине, и страшно сознаться,
> Что скоро поглотит тебя глубина.
> На что опереться и как приподняться,

Когда под ногой ни опоры, ни дна?

Мелькают вдали чьи-то белые крылья:
Быть может, твой друг тебе руку подаст?
Напрасны мечты, безнадежны усилья:
Друг первый изменит и первый предаст.

Крепись! Тебя враг благородный спасает.
С далекого берега сильной рукой
Он верную петлю в болото бросает
И криками будит предсмертный покой[377].

60-летний парализованный Садовской входил в организацию “Престол”, которая ожидала немцев в Москве, чтобы с их помощью реставрировать монархию. На самом деле организация была в провокационных целях создана НКВД, о чем Садовской, разумеется, не знал.

Есть и примечательные “человеческие документы” – например, дневник Лидии Осиповой (Олимпиады Поляковой), жительницы города Пушкин, частично опубликованный в 1954 году в журнале “Грани”, в 2002 году в сборнике “Неизвестная блокада”, а недавно изданный полностью[378].

Между Осиповой и Садовским немало общего. Это люди старой культуры (хотя и разных поколений – Поляковой в начале войны было под сорок, Садовскому – шестьдесят), воспринимающие всю послереволюционную жизнь как чуждую и враждебную, практически никогда не вступавшие с “новыми людьми” в сущностный, неформальный контакт. В дневнике Осиповой есть примечательный эпизод. Уже во время оккупации она общается с бывшими коммунистами-пропагандистами, перешедшими на службу к немцам. Вместо естественного омерзения по отношению к этим приспособленцам и двурушникам, служившим сперва одной деспотии, потом другой (а что представляют собой гитлеровские оккупанты, Осипова поняла очень быстро – что, впрочем, не помешало ей сотрудничать с ними почти до конца войны), она испытывает приятное удивление. Дело в том, что прежде ей вообще не приходилось по душам разговаривать ни с какими “большевиками”.

> Очень странно принимать у себя за столом партийцев… И вот я пою чаем своих злейших врагов. Так мы смотрели на всех партийцев в СССР. А среди них, оказывается, много порядочных людей… Не работать на

партию, состоя в ней, они, конечно, не могли. Ну, а уйти из партии – это лучше и легче кончить жизнь самоубийством…[379]

Был и иной тип интеллигента, жаждавшего германской оккупации и приветствовавшего ее: “политически мыслящий”, честолюбивый и деятельный человек, в СССР оказавшийся в положении изгоя или маргинала и ищущий социального реванша. Таким, видимо, был Борис Филистинский (Филиппов) – востоковед, инженер и поэт, видный коллаборационист из Новгорода, потом товарищ Поляковой по рижской коллаборационистской газете с парадоксальным названием “За Родину!”, впоследствии – заслуженный исследователь русской литературы из США.

Как проецируется все это на Хармса?

Ордер на арест и обыск Даниила Хармса, 23 августа 1941 г.:

С. С. С. Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ НКВД по ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОРДЕР № 550

Августа „23“ дня 1941 г.

Выдан сотруднику Государственной Безопасности тов. .....

Производство: ареста и обыска

Ювачева-Хармс

Даниила Ивановича

ул. Маяковского 11/1, кв. 8.-

Место для печати

Начальник Управления НКВД по ЛО

Начальник третьего спецотдела УНКВД по ЛО

СПРАВКА: арест санкционирован зам. прокурора гор. Ленинграда тов. Арцибашевым.

...или род занятий до ареста

в) звание .....

г) если не работает—когда и откуда уволен .....

На следующих страницах: анкета арестованного, 23 августа 1941 г., протокол допроса Даниила Хармса, 25 августа 1941 г.:

Передавать анкету для заполнения арестованному— запрещается. Заполняется со слов арестованного и проверяется по документам.

АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
Фамилия	Ювачев-Хармс
Имя и отчество	Даниил Иванович
Год и место рождения	Родился в 1905 году, село / город Ленинград область / край
Постоянное место жительства до ареста (подробный адрес)	Село / город Ленинград ул. Маяковского дом 11 кв 5 область / край
Профессия и специальность	писатель
Последнее место работы или род занятий до ареста	а) Учреждение / предприятие Союз писателей б) должность писатель. в) звание г) если не работает—когда и откуда уволен

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
7. Национальность	Русский
8. Гражданство (при отсутствии паспорта, удостоверяет гражданство или записано со слов)	а) гражд. (подд.) СССР. б) паспорт серии ..... №..... кем и когда выдан .....
9. Партийная принадлежность	а) в прошлом Не состоял б) в настоящее время б/п. билет № .....
10. Образование общее и специальное (подчеркнуть и указать что закончил)	высшее, среднее, низшее Физикомате[illegible]ческий инт. специальное Нет
11. Социальное происхождение (кем были отец и мать)	Отец и мать служащие
12. Судимость (состоял под судом и следствием, где, когда, за что, приговор)	был подследствием в 193[illegible] освобожден без пред"явлен[illegible] обвинения.
13. Приводы (каким органом, когда, по подозрению в каких преступлениях и по каким фамилиям)	Приводов Нимал.

14. СОСТАВ СЕМЬИ

Степень родства	ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО	Год рождения	Место рождения	Место жительства, работы и должность
Отец	Умер в 1940.			
Мать	Умерла в 1928.			
Жена (~~муж~~)	Малич Мария	1912.	г. П-д.	ул. Молоковского дом. 11 кв. 8
Дети				
Братья, сестры	Ковачева-Придина Елизавета Ивановна	1910.	Эвакуирована	

Место для фотокарточки

Отпечаток **указательного пальца** правой руки

(при отсутствии его последующего пальца—с соответствующей пометкой). Пальцевый узор должен быть ясным и полностью прокатанным (от одной кромки ногтя до другой)

Личная подпись (арестованного) Дан. Харис

С. С. С. Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Управление НКВД—СССР по гор. Ленинграду

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

К ДЕЛУ № 2196

41 г. августа мес. 25 дня. Я, Зам Нач След. отделения
(должн., наимен. органа, фамилия)
СПО УНКВД ЛО Артемов допросил в качестве обвиняемого

1. Фамилия Ювачев - Хармс
2. Имя и отчество Даниил Иванович
3. Дата рождения 1905
4. Место рождения гор. Ленинград
5. Местожительство ул. Маяковского, 11, кв 8
6. Нац. и гражд. (подданство) русский, гр. СССР
7. Паспорт из'ят при обыске
(когда и каким органом выдан, номер, категор. и место приписки)
8. Род занятий Союз писателей писатель
(место службы и должность)
9. Социальное происхождение из служащих
(род занятий родителей и их имущественное положение)
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)
а) до революции на иждивении родителей
б) после революции служащий
11. Состав семьи жена Малич Марина Владимировна
(близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятий)
домашняя хозяйка проживает совместно

Дан. Хармс

Тип. им. Урицкого,

12. Образование (общее, специальное) незаконченное высшее

13. Партийность (в прошлом и настоящем) б/п

14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким органо
и за что)

а) до революции не подвергался

б) после революции в 1931 г. арестовывался органами НКВД по обвинени
в контрреволюционной деятельности, через 4 месяца был освобожден за прекращение
дела. В 1935 г. арестовывался органами НКВД по обвинению в незаконной ком
мерческой деятельности, через несколько дней был освобожден за прекращением дел

15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов. власти
не имею

16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете
не состоял по болезни

17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах), когда и в к
честве кого не служил

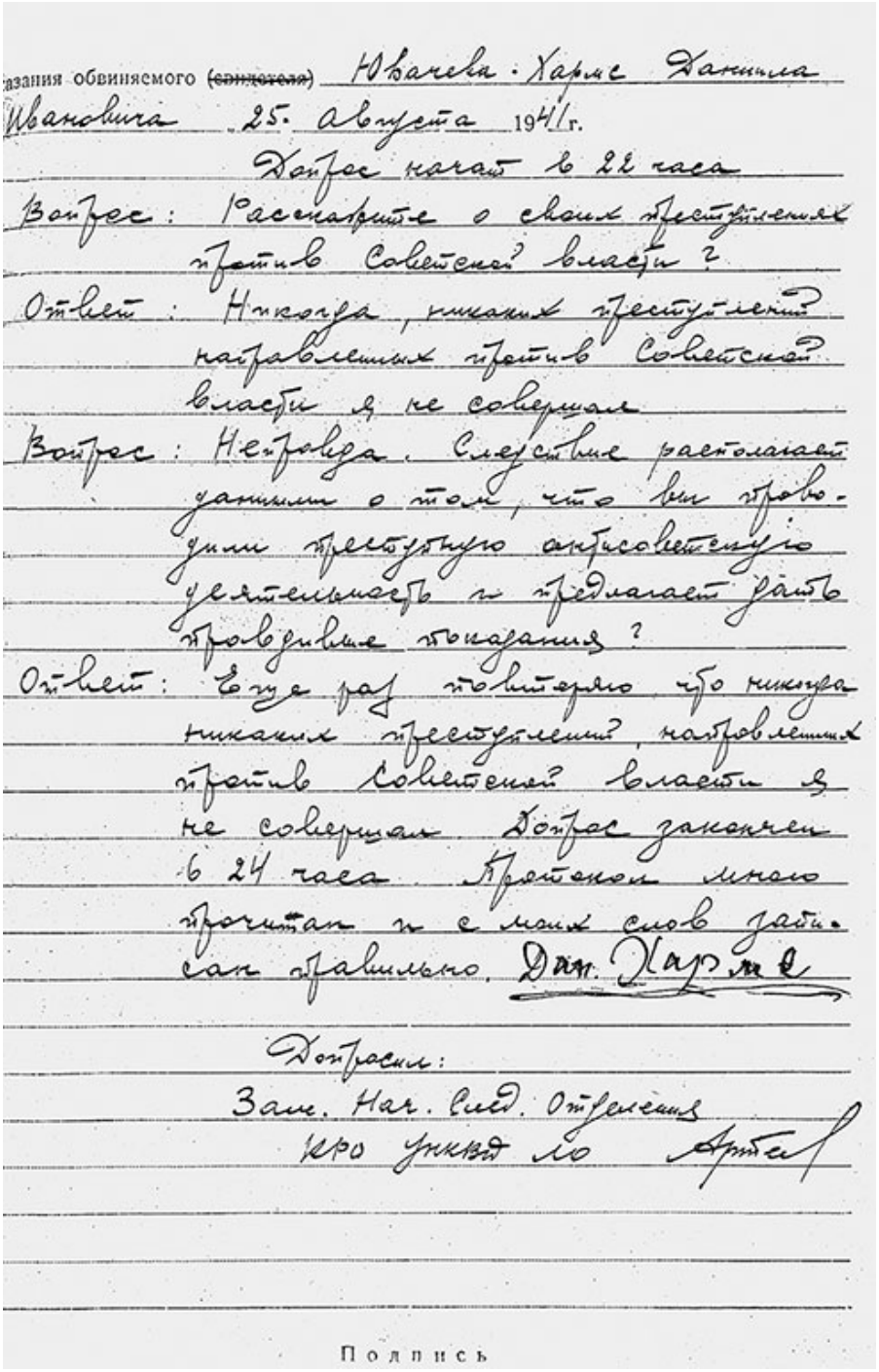
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях (когда, в качестве кого) не служил

19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях не участвовал

20. Сведения об общественно-политической деятельности нет

Дан. Харлис

Примечание. Каждая страница протокола должна быть заверена подписью допрашиваемого а после
и допрашивающего.



азания обвиняемого (~~свидетеля~~) Ювачева-Хармс Даниила Ивановича 25. августа 1941 г.

Допрос начат в 22 часа

Вопрос: Расскажите о своих преступлениях против Советской власти?

Ответ: Никогда, никаких преступлений направленных против Советской власти я не совершал

Вопрос: Неправда. Следствие располагает данными о том, что вы проводили преступную антисоветскую деятельность и предлагает дать правдивые показания?

Ответ: Еще раз повторяю что никогда никаких преступлений, направленных против Советской власти я не совершал. Допрос закончен в 24 часа. Протокол мною прочитан и с моих слов записан правильно. Дан. Хармс

Допросил:

Зам. Нач. След. Отделения

КРО УНКВД ЛО Артем

Подпись

С одной стороны, ему (в отличие от Ахматовой) был чужд державный пафос во всех его проявлениях. “Из всех народов я больше всего ненавижу русских и японцев. Пусть их пропадают.

Мой патриотизм всего-навсего петербургский”[380] – эти слова из “Разговоров”, конечно, не стоит понимать буквально, это – типичное проявление российской импульсивной самоненависти, но любования государственным величием России у Хармса нигде не встретишь. Очевидно, что симпатий к советскому общественному строю у него тоже не было. Во второй половине тридцатых годов такого рода симпатии были имплицированы самым неожиданным людям. Но Даниила Ивановича – это очевидно из всего написанного нами выше – “перековка” совершенно не затронула.

С другой стороны, Хармс не был похож на таких людей, как Садовской и Полякова. Он не испытывал ностальгии по дореволюционной России и скорее иронически к такой ностальгии относился. Чуждый советскому социуму по духу, он был формально до известной степени в него инкорпорирован. Круг его знакомств был очень разнообразен: от “внутреннего эмигранта” Петра Калашникова (которого как раз вполне естественно представить в компании Садовского и Поляковой) до пламенного троцкиста Николая Баскакова. В его ближайшем окружении было много евреев – в данном случае это весьма существенно. Хармс и Введенский были единственными (наряду с их учителем Туфановым) российскими представителями “левого искусства”, не разделявшими левых политических взглядов, но сама принадлежность к миру авангарда (по крайней мере изначальная) до известной степени предопределяла их человеческие симпатии. Наконец, Хармс гораздо лучше, чем затворники вроде Поляковой, должен был знать о порядках в гитлеровской Германии, прежде всего о ситуации со свободой художественного творчества (единственным, что его на самом деле интересовало в общественной жизни). Но и нереализованного социального честолюбия у него не было: представить себе его служащим оккупационной “русской управы” так же невозможно, как и работником советского горисполкома.

Похоже, что главным его чувством в те месяцы был страх – за свою жизнь и жизнь немногочисленных близких, прежде всего жены. Страх без всякого героического пафоса и без всякой надежды на избавление. Именно такое впечатление создается на основе аутентичных свидетельств близких ему людей.

В самом начале войны (а может быть, еще до войны?) Хармс предлагал Марине бежать из города.

> Он хотел, чтобы мы совсем пропали, вместе ушли пешком, в лес и там бы жили.
>
> Взяли бы с собой только Библию и русские сказки.

Днем передвигались бы так, чтобы нас не видели. А когда стемнеет, заходили бы в избы и просили, чтобы нам дали поесть, если у хозяев что-то найдется. А в благодарность за еду и приют он будет рассказывать сказки…[381]

Это были какие-то инфантильные фантазии. Но была ли реальная возможность выехать из Ленинграда?

В июле – августе город покинуло около трехсот восьмидесяти тысяч человек. Вывозили прежде всего рабочих тех предприятий, которые решено было перевезти в тыл, детей, больных. Но уезжали и многие “случайные” люди. Эвакуация шла довольно беспорядочно. Можно было попытаться вырваться… Но Даниил и Марина не попытались. Это было просто не в их характере.

Хармсу призыв уже не грозил. Но Марину попытались мобилизовать на рытье окопов.

Даня сказал:

– Нет, ты не пойдешь. С твоими силенками – только окопы рыть!

Я говорю:

– Я не могу не пойти, – меня вытащат из дому. Все равно меня заставят идти.

Он сказал:

– Подожди, – я тебе скажу что-то такое, что тебя рыть окопы не возьмут…

<…>

Он поехал на трамвае на кладбище и провел на могиле отца несколько часов. И видно было, что он там плакал.

Вернулся страшно возбужденный, нервный и сказал:

– Нет, я пока еще не могу, не могу сказать. Не выходит. Я потом скажу тебе…

Прошло несколько дней, и он снова поехал на кладбище.

Он не раз еще ездил на могилу отца, молился там и, возвращаясь домой, повторял мне:

– Подожди еще. Я тебе скажу. Только не сразу. Это спасет тебе жизнь.

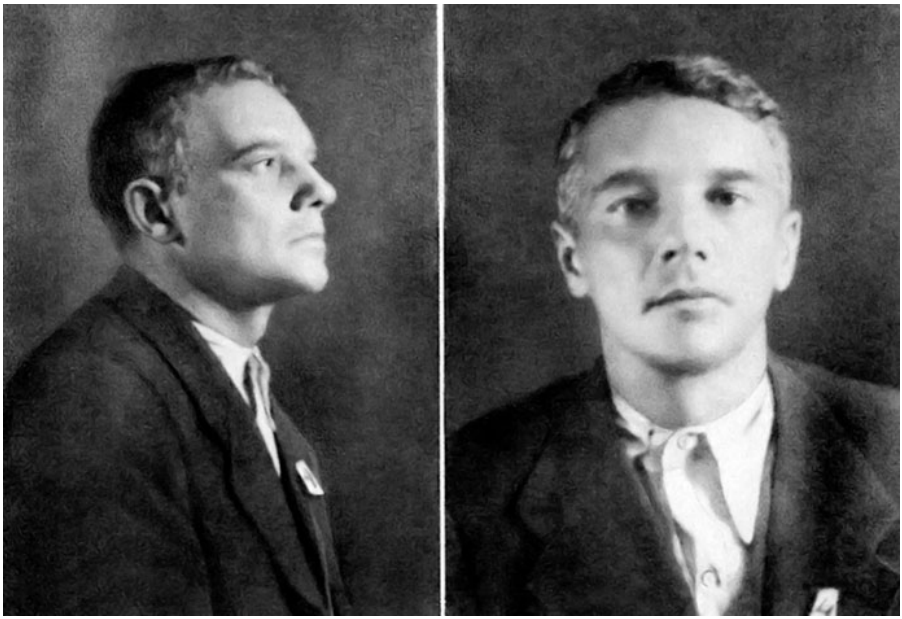
Наконец однажды он вернулся с кладбища и сказал:

– Я очень много плакал. Просил у папы помощи. И я скажу тебе. Только ты не должна говорить об этом никому на свете. Поклянись.

Я сказала:

– Клянусь.

– Для тебя, – он сказал, – эти слова не имеют никакого смысла. Но ты их запомни. Завтра ты пойдешь туда, где назначают рыть окопы. Иди спокойно. Я тебе скажу эти два слова, они идут от папы, и он произнес эти два слова: “красный платок”.



Александр Введенский. Харьков, 1941 г. Фотографии из следственного дела.

Марина повторяла про себя эти слова, и действительно произошло чудо – ее освободили:

…Там рев, крики: “Помогите, у меня грудной ребенок, я не могу!..”, “Мне не с кем оставить детей…”

А эти двое, что выдавали повестки, кричали:

– Да замолчите вы все! Невозможно работать!..

Я подошла к столу в тот момент, когда они кричали:

– Всё! всё! Кончено! Кончено! Никаких разговоров!

Я говорю:

– У меня больной муж, я должна находиться дома…

Один другому:

– Дай мне карандаш. У нее больной муж.

А ко всем:

– Всё, всё! Говорю вам: кончено!.. – И мне: – Вот вам, – вам не надо являться, – и подписал мне освобождение.

Я даже не удивилась. Так спокойно это было

сказано.

А вокруг неслись мольбы:

– У меня ребенок! Ради бога!

А эти двое:

– Никакого бога! Все, все расходитесь! Разговор окончен! Никаких освобождений![382]

Советское общество было, вопреки своей идеологии, достаточно кастовым, и писатели составляли одну из высших каст – известные, преуспевающие писатели. Никого из них не могли послать рядовым в пехоту; для них существовали сравнительно вольготные и безопасные должности военных корреспондентов. О мобилизации их жен на рытье окопов не могло быть и речи. Но Хармс (несмотря на членство в Союзе писателей) принадлежал к бесправному большинству населения СССР. Как любые представители этого большинства, он и его спутница могли рассчитывать лишь на мелкие хитрости, на удачу – и на чудо.

И вот, можно сказать, что первое из чудес, в ожидании которых жил Хармс годами, случилось. Но это было маленькое чудо. И самого “чудотворца” спасти оно не могло.

Двадцать третьего августа Хармс был арестован. На свободу он уже не вышел.

2

Уже в первые дни войны хармсовская манера одеваться и вести себя привлекала внимание бдительных граждан. По воспоминаниям Малич, “раз-другой бдительные мальчишки принимали его за шпиона и приводили в милицию. Или просто показывали на него милиционеру. Его забирали, но потом отпускали. Он же всегда носил с собой книжку члена Союза писателей, и всё тогда оканчивалось благополучно”[383].

Но тучи вокруг Хармса уже сгущались.

Двадцатого августа оперуполномоченный УНКВД сержант госбезопасности Бурмистров направил по начальству проект постановления на арест “гражданина Ювачева-Хармс, 1905 г. р., проживающего в городе Ленинграде по адресу Надеждинская, д. 11/1 кв. 8, русского, беспартийного”.

На основании имеющихся у него агентурных материалов товарищ Бурмистров пришел к выводу, “что Ювачев-Хармс Д. И. к-р. настроен, распространяет в своем окружении к.-р. клеветнические и пораженческие настроения”[384].

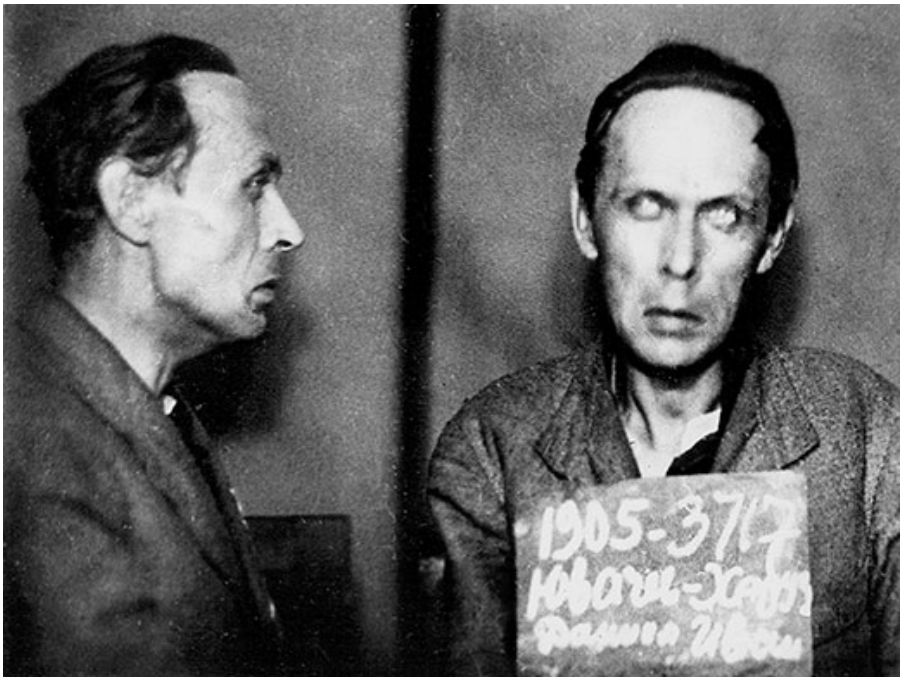
Фотографии Даниила Хармса из следственного дела, 1931 г.

Что же именно говорил Хармс, по показаниям агентов, изложенным Бурмистровым?

> Советский Союз проиграл войну в первый же день. Ленинград теперь либо будет осажден или умрет голодной смертью, либо разбомбят, не оставив камень на камне. Тогда же сдастся и Балтфлот, а Москву уже сдадут после этого без боя.
>
> Если же мне дадут мобилизационный листок, я дам в морду командиру, пусть меня расстреляют; но форму я не одену и в советских войсках служить не буду, не желаю быть таким дерьмом. Если меня заставят стрелять из пулемета с чердаков во время уличных боев с немцами, то я буду стрелять не в немцев, а в их из этого же пулемета.
>
> Для меня приятней находиться у немцев в концлагерях, чем жить при советской власти.

Можно ли безоговорочно верить этому документу? Разумеется, нет.

Может ли он служить для нас источником информации? Конечно же да.



Фотографии Даниила Хармса из следственного дела, 1941 г.

В 1941 году дела не фальсифицировались на ровном месте, как в 1937–1938-х. Каждая из фраз, приписанных Хармсу, вероятно, восходит к каким-то действительно сказанным им словам. Но кто и как эти слова передает! Перед нами даже не “агентурные материалы” как таковые, а текст, составленный на их основе следователем. Слова Хармса доходят до нас через третьи уста, и уста пристрастные. Даже если доносчик целенаправленно не лжет (а уверенности в этом, конечно, быть не может), его цель – не передать адекватно смысл чужих слов, со всеми оттенками, в контексте разговора, а вычленить крамолу. Сержант госбезопасности Бурмистров, естественно, стремится донесенные до него крамольные речи упростить и стандартизировать, а может быть, попросту переписывает донос в сокращении и с ошибками, отражающими его образовательный уровень. Если в 1931–1932 годах следователи Коган и Бузников, сами не чуждые литературе люди, допрашивали именно писателя Хармса, интересовались его личностью, взглядами, творчеством, то Бурмистров конечно же вообще не понимал, с кем имеет дело.

Единственный способ верифицировать творение Бурмистрова – подвергнуть сам текст логическому анализу.

Что из приписанного Хармсу мог он сказать и с какой вероятностью?

Первый абзац вопросов не вызывает. Интересно, что именно

событиям вокруг Ленинграда Хармс приписывает решающую роль. Это совпадает со свидетельством Пантелеева. При этом прогноз прямо противоположен – но это объяснимо, настроения у людей менялись стремительно. Потрясают слова о том, что Ленинград “умрет голодной смертью” – в августе именно такой ход событий трудно было предвидеть. Может быть, это проявление присущей писателю мистической интуиции – что подтверждает аутентичность передачи хармсовских слов в этой части бурмистровского текста.

Со вторым – гораздо сложнее. Хармсу призыв в армию не грозил, и он это знал. В то же время с июля – августа “в советских войсках” находились его друзья – Липавский, Петров… Насколько в этой ситуации достоверно звучат приписанные ему доносчиком и следователем слова, особенно сакраментальное “не хочу быть таким дерьмом”? Насколько это вообще хармсовский язык? Предположить, что город будут брать штурмом и что жителям раздадут пулеметы, Хармс, конечно, мог. Мог в ярости сказать: “Самих бы их из этого пулемета!” Возникает вопрос: кого “их”? Думается, что все-таки власти, начальство, по чьей вине горожане оказались перед лицом смерти, а не отступающих из города солдат.

Третий абзац – видимо, более или менее искаженная передача реальных хармсовских слов. Понятно, что человек, предполагающий, что ему придется “сидеть у немцев в концлагерях” (заметим, однако, что представления о немецких лагерях в 1941 году у многих были очень далеки от реальности), едва ли видит в них избавителей. Но с чем сравнивает он эти лагеря? Чему он их предпочитает? Ужасам предстоящей осады? Советским лагерям? Или довоенной советской мирной жизни?

Постановление на арест Хармса подписали начальник 1-го управления КРО (“контрреволюционного отдела” – то есть отдела по борьбе с контрреволюцией) УНКВД Ленинградской области Кожемякин и его начальник, начальник КРО УНКВД ЛО Занин.

В тот же день, 20 августа 1941 года, состоялось заседание Военного совета обороны Ленинграда, на котором рассматривались вопросы строительства фортификационных сооружений. Подписано обращение к воинам фронта и тыла: “Бейтесь до последней капли крови, товарищи, удерживайте каждую пядь земли…”

Двадцать второго августа Марина Малич пишет письмо эвакуировавшейся в Пермь Н.Б. Шанько:

> Дорогая Наталия Борисовна,
> Вы совершенно справедливо меня ругаете, что я не

ответила на обе Ваши открытки, но были обстоятельства, которые помешали мне это сделать.

Я около 2-х недель работала на трудработах, но в городе. Уставала отчаянно. У нас все так же, как и при Вас, с той только разницей, что почти все знакомые разъехались, а Даня получил II группу инвалидности. Живем почти впроголодь; меня обещали устроить на завод, но боюсь, что это не удастся.

Вчера уехала Данина сестра, и в квартире пусто и тихо, кроме старухи, кот. наперекор всем продолжает жить.

У меня лично неважно на душе, но все это не напишешь, страшно не хватает Вас. Очень нравится мне Нина Ник., и я часто у нее бываю, вспоминаем Вас.

Видела 2 раза Mme, она выглядит не очень хорошо, думаю, что тоже покинет милый Ленинград. Даня просит поцеловать Вас обоих, я крепко, крепко целую Вас, и передайте больш. привет Антону Ис<ааковичу>[385].

Это письмо, между прочим, проясняет некоторые важные подробности. Например, то, что Малич все же была мобилизована на оборонные работы. Более того, она пыталась устроиться на завод, чтобы получить “рабочие” карточки.

Что в это время делал Хармс? Писатели и художники, сотрудничавшие в Детиздате, находили себе применение и в блокадные дни – они рисовали плакаты, делали к ним подписи и, естественно, получали дополнительный паек, без которого выжить в городе было нельзя. Но Хармс в любом случае не успел бы воспользоваться этими возможностями…

Двадцать третьего августа вокруг Ленинграда сомкнулось очередное звено рокового кольца: части финской армии подошли к Выборгу. Обком и горком издали постановление “О дальнейшем укреплении революционного порядка в Ленинграде и пригородах”. Арест Хармса был предрешен несколькими днями раньше, но так получилось, что арестовали его именно в этот день – в соответствии с этим “революционным порядком” и в порядке укрепления этого порядка.

Как все произошло? Пантелеев пересказывает слухи, которые ходили среди литераторов: “Пришел к нему дворник, попросил выйти за чем-то во двор. А там уже стоял “черный ворон”. Взяли его полуодетого, в одних тапочках на босу ногу…”[386] Малич опровергает это свидетельство – по ее словам, Хармса арестовали дома:

Это была суббота. Часов в десять или одиннадцать

утра раздался звонок в квартиру. Мы вздрогнули, потому что мы знали, что это ГПУ, и заранее предчувствовали, что сейчас произойдет что-то ужасное.

И Даня сказал мне:

– Я знаю, что это за мной…

Я говорю:

– Господи! Почему ты так решил?

Он сказал:

– Я знаю.

Мы были в этой нашей комнатушке как в тюрьме, ничего не могли сделать.

Я пошла открывать дверь.

На лестнице стояли три маленьких странных типа.

Они искали его.

Я сказала, кажется:

– Он пошел за хлебом.

Они сказали:

– Хорошо. Мы его подождем.

Я вернулась в комнату, говорю:

– Я не знаю, что делать…

Мы выглянули в окно. Внизу стоял автомобиль. И у нас не было сомнений, что это за ним.

Пришлось открыть дверь. Они сейчас же грубо, страшно грубо ворвались и схватили его. И стали уводить.

Я говорю:

– Берите меня, меня! Меня тоже берите.

Они сказали:

– Ну пусть, пусть она идет.

Он дрожал. Это было совершенно ужасно.

Под конвоем мы спустились по лестнице.

Они пихнули его в машину. Потом затолкнули меня.

Мы оба тряслись. Это был кошмар.

Мы доехали до Большого Дома. Они оставили автомобиль не у самого подъезда, а поодаль от него, чтобы люди не видели, что его ведут. И надо было пройти еще сколько-то шагов. Они крепко-крепко держали Даню, но в то же время делали вид, что он идет сам.

Мы вошли в какую-то приемную. Тут двое его рванули, и я осталась одна…[387]

Потом (если верить Малич) машина вернулась на Надеждинскую, и в отсутствие арестованного был проведен

обыск. За подписью сотрудников Янюка и Беспашнина, Малич и понятого – дворника (“домработника”) Кильдеева Ибрагима Шакиржановича[388] засвидетельствовано изъятие следующих вещей:

1) Писем в разорванных конвертах 22 шт.
2) Записных книжек с разными записями 5 штук
3) Религиозных разных книг 4 штук.
4) Одна книга на иностранном языке
5) Разная переписка на 3-х листах.
6) Одна фотокарточка[389].

Оригинал протокола находится в деле Хармса в архиве ФСБ; копия была выдана Малич и каким-то невероятным образом (если верить книге Глоцера) была сохранена ею в скитаниях.

Тем временем в НКВД Хармса подвергли личному обыску, в ходе которого было изъято двадцать четыре предмета, среди которых – практически все документы Д.И. Ювачева-Хармса (паспорт, свидетельство об освобождении от воинской обязанности, свидетельство о браке, членский билет Союза писателей и даже анализ из тубдиспансера), некое “заявление на имя Ленсовета”, рукопись “Элегии” Введенского, записная книжка, шесть фотокарточек, пять листов бумаги с разными рисунками, два использованных железнодорожных билета, а также “бумажник старый коленкоровый”, в котором, скорее всего, и находилось все вышеперечисленное. Кроме того, у Хармса при себе обнаружились:

Новый Завет издания 1912 г. с пометками и записями на полях.
Лупа в медной квадратной оправе…
Часы белого металла, открытые, карманные…
Кольцо белого металла…
Кольцо желт. металла…
Три стопки и одна рюмка белого металла…
Порстсигар белого металла…
Мундштук янтарн. с оправой желт. металла…
Две медные и одна дер. иконка…
Брошка формы восьмиугольника с разноцветными камнями и надписью “Святой Иерусалим” (Апок. XXI гл.) 22 апр. 1907 г. СПб. желтого металла, одна.
Два коробка спичек с надписью “Д. Х”…
Иконка (брелок нашейный желтого металла с надписью “Благослови. Даниилу Ювачеву от митрополита Антония 22 августа 1906 г. …

Крестик нашейный.

Анализируя этот список, В.Н. Сажин в рецензии на книгу “Мой муж Даниил Хармс” замечает:

> Ворвавшиеся сотрудники НКВД, конечно, не стали бы спокойно наблюдать, как арестуемый методично складывает в сумку, чтоб забрать с собой в тюрьму, все эти стопки, рюмки и прочие драгоценности “белого и желтого металла”, а… Хармс не стал бы все это вместе еще с кучей вещей и бумаг, вплоть до автографа стихотворения своего друга, тащить в тюрьму…[390]

А значит, подразумевает исследователь, свидетельство, приписанное Глоцером Малич, не соответствует действительности: Хармс был арестован не дома. И вероятно, не во дворе, как утверждает Пантелеев…

Где же? Куда шел Хармс с таким странным набором предметов? В какое вообще место можно было его нести? Рюмки, кольца, портсигар – допустим, на черный рынок. А Библию? А лупу? А справку из тубдиспансера?

Не надо забывать о том, что перед нами человек не вполне обычный, с очень нетривиальной моделью поведения. И о том, что (если верить Глоцеру и Малич) дверь комнаты перед сотрудниками НКВД открыли не сразу. У Хармса было время, чтобы положить в карман бумажник (в котором кроме необходимых документов находились и другие бумаги, в том числе автограф “Элегии”) и побросать в мешок несколько совершенно случайных вещиц… Зачем? Да для того, чтобы успешнее реализовать план поведения, заранее продуманный на случай ареста. То есть – симулировать сумасшествие. Если в сумке или мешке, который арестованный берет с собой в тюрьму, вместо кальсон и мыла обнаруживается лупа и серебряные рюмки, у следствия сразу возникает подозрение, что с этим арестантом что-то не так.

Тем не менее в воспоминаниях Малич об аресте Хармса действительно могут быть неточности. Обращает на себя, например, вот какое обстоятельство: обыск Даниила Ивановича на Шпалерной начался, если верить протоколу, в 13.20, а обыск в квартире на Маяковского – в 13.00. Одно из двух: либо Хармс ждал в НКВД обыска минут 40–45 (что возможно, но сомнительно), либо никуда Марину Владимировну вместе с мужем не возили (да и с чего бы ей позволили его сопровождать?), а обыск в комнате начался немедленно после того, как машина с арестованным Хармсом отъехала. Впрочем,

большого значения это не имеет.

Первый допрос состоялся 25 августа и длился с 22 до 24 часов. Хармса для порядка спросили о его “преступлениях против советской власти”, Даниил Иванович ответил, что никаких преступлений не совершал. Это то, что вошло в протокол. Но, видимо, беседа была содержательной, если через два дня зам. начальника следственного отдела КРО НКВД Артемов подписал следующее распоряжение:

> …Будучи вызван на допрос, Ювачев-Хармс проявил признаки психического расстройства, а поэтому, руководствуясь ст. ст. 202 и 203 УПК РСФСР… Ювачева-Хармса Даниила Ивановича для определения его психического состояния направить в психиатрическое отделение тюремной больницы для следственных заключенных…

Второго сентября Хармса перевели со Шпалерной на Арсенальную улицу, дом 9, где в здании тюрьмы № 2 находилось психиатрическое отделение тюремной больницы.

В истории блокадного города это был роковой день. Именно 2 сентября впервые ввели хлебные нормы: рабочим – 600 граммов, служащим – 400, иждивенцам и детям – 300. Вероятно, заключенных и пациентов тюремной больницы кормили по “иждивенческой” норме. В течение осени нормы снижались: 1 октября – в полтора раза, с 20 ноября – до знаменитых 125 граммов.

3

На сей раз на Арсенальной Хармс провел два или три месяца, хотя медицинское заключение по его делу было дано уже 10 сентября.

Место, в котором оказался Хармс, позднее приобрело некоторую известность. В 1955 году на основе психиатрического отделения тюремной больницы была создана Психиатрическая больница со строгим наблюдением, в которую направляют по решению суда. В разные годы там содержались поэт Василий Филиппов, покушавшийся на жизнь Горбачева Александр Шмонов и т. д.

Психиатры грамотно взялись за дело, начав с родословной героя. Хармс не забыл упомянуть, что его отец в Шлиссельбурге психически болел (напомним, что товарищи-народовольцы так интерпретировали религиозные увлечения Ивана Ювачева).

Почему-то он дважды без всякой практической цели солгал: отца назвал археологом по профессии, а про себя утверждал, что учился на физико-математическом отделении университета.

> С 20-ти лет стал зарабатывать в качестве детского писателя, в последующем также занимался литературным трудом, однако года два как писать стало труднее, стал увлекаться своими идеями изобретательства (устранение небольшой погрешности). В текущем году прошел комиссию на предмет определения инвалидности по второй группе…
>
> Психическое состояние и поведение: сознание ясное, правильно ориентирован во времени, месте и окружающем. Высказывает обширные бредовые идеи изобретательства. Считает, что изобрел способ исправлять “погрешности”, так называемый пекатум парвум. Считает себя особенным человеком с тонкой и более совершенной нервной системой, способный устранять “нарушенное равновесие” созданием своих способов. Бред носит характер нелепости, лишен последовательности и логики, так, например, объясняет причину ношения головных уборов, это желание скрыть мысли, без этого мысли делаются открытыми, “наружными”. Для сокрытия своих мыслей обвязывает голову тесемкой или тряпочкой. Всем своим “изобретениям” дает особое название или термин.

Интересно, что “бред” Хармса представляет собой упрощенное или доведенное до абсурда изложение идей, действительно важных для него и его друзей, действительно их занимавших. Понимали ли психиатры, что перед ними симулянт? Понимали ли, что перед ними в самом деле “особенный” человек? Может быть, они сознательно подыгрывали ему, желая уберечь от заключения?

Так или иначе, диагноз консилиума с участием профессора Н.И. Озерецкого ясен: шизофрения, “заболевание давнее, предсказание неблагоприятное”, гражданин Ювачев-Хармс “в инкриминируемом ему деянии является неответственным, то есть невменяемым…”.

Тем временем за сотни километров от Ленинграда, в Харькове, арестовали когда-то ближайшего друга, спутника, литературного двойника Хармса. Видимо, судьбе угодно было, чтобы и гибель настигла двух писателей одновременно и при сходных обстоятельствах.

Двадцатого сентября Александр Введенский с семьей явился

на вокзал для эвакуации вместе с местной организацией Союза писателей. Вагон был переполнен, и Галина Борисовна Викторова, страдавшая эпилептическими припадками, побоялась ехать. В это время Введенский встретил на перроне директора издательства “Мистецтво” Каликину, которая пообещала ему, что он сможет работать в этом издательстве и эвакуироваться вместе с ним. Введенские решили остаться в Харькове. Следующие несколько дней Александр Иванович советовался со знакомыми, надо ли в случае прихода немцев эвакуироваться только ему (в начале войны он сотрудничал под собственным именем в пропагандистских антинемецких “агитокнах”, так что оставаться на оккупированной территории заведомо не мог), или его семье тоже, угрожает ли жене и детям опасность. Некто Курбатов, майор-связист, утверждал, что сообщения печати о немецких зверствах “преувеличены”, что немцы расправляются только с евреями и коммунистами, а простых русских женщин и детей не трогают. Введенский, видимо, кому-то повторил его слова. Этого оказалось достаточно для ареста, последовавшего 26 сентября.

Девятнадцатого декабря 1941 года Александр Введенский умер в тюремном вагоне по пути из Харькова в Казань, согласно свидетельству о смерти – “вследствие заболевания плеврит эксудативный”[391] (очевидцы, с которыми общался М.Б. Мейлах, рассказывают иное: Александр Иванович не то умер от дизентерии, не то, больной, был пристрелен охранником; напротив, Б.А. Викторов, пасынок и приемный сын Введенского, считает диагноз достоверным: поэт, арестованный теплым сентябрьским днем, легкомысленно не взял в тюрьму теплой одежды).

Хармс пережил его на 36 дней.

Но это – несколькими месяцами позже. А в сентябре – октябре, когда в прифронтовом Харькове допрашивали Введенского, про Хармса в блокадном Ленинграде просто забыли. Он сидел в тюремной “психушке” на Арсенальной месяц за месяцем и ждал решения своей судьбы. Лишь в ноябре следствие по его делу возобновилось, а самого Хармса опять отправили на Шпалерную. К этому времени относится страшная фотография из его дела, являющая все признаки блокадной дистрофии.

Близкие Даниила Ивановича не имели ни малейшего понятия о том, что с ним происходит. Точнее, находились в крайнем заблуждении относительно места его пребывания. Свидетельство тому – письма Малич к Шанько:

1/IX <1941>
Дорогая Наталия Борисовна,

Двадцать третьего августа Даня уехал к Никол<аю> Макаровичу, я осталась одна, без работы, без денег, с бабушкой на руках. Что будет со мной, я не знаю, но знаю только то, что жизнь для меня кончена с его отъездом.

Дорогая моя, если бы у меня осталась хотя бы надежда, но она исчезает с каждым днем.

Я даже ничего больше не могу Вам писать, если получите эту открытку, ответьте, все-таки как-то теплее, когда знаешь, что есть друзья. Я никогда не ожидала, что он может бросить меня именно теперь.

Целую Вас крепко.

Ваша Марина.

30/XI-41

Милая, дорогая моя Наталия Борисовна! Пользуюсь оказией, чтобы послать Вам это письмо. Очень, очень давно не имею от Вас вестей, но хотя и очень хотелось бы что-нибудь получить – все же не беспокоюсь, т. к. уверена, что Вы хорошо живете.

Я всеми силами души стремлюсь отсюда выехать, но для меня, к сожалению, это не представляется возможным. Боюсь, что мне уж не придется Вас увидеть, и не могу сказать, как это все грустно. Бабушка моя совсем уж не встает, да и я не многим лучше себя чувствую. Одна моя мечта это уехать отсюда и хоть немножко приблизиться к Дане. Я по-прежнему не работаю, и в материальном отношении очень тяжело, но это все ерунда.

Я почти не выхожу из дома и никого не вижу, да и нет охоты выходить, т. к. вид города стал довольно противным.

Изредка вижу Яшку, а так больше никого. Леонид Савельевич пропал без вести – вот уже три месяца мы о нем ничего не знаем. Александра Ивановича постигла Данина участь, в общем я осталась здесь совсем сиротой.

Я Вам уже писала, если Вы получили мое письмо, что я переехала в писательскую надстройку, т. к. моя квартира непригодна временно для жилья. Все вещи свои я бросила и живу здесь среди всего чужого и далекого моему сердцу, но сейчас жизнь так все изменила, что ничего не жаль, кроме собственной жизни и людей. Ах, как мне Вас не хватает, как хотелось бы с Вами поделиться и возле Вас хоть немножко отдохнуть и

отогреться. <…>

Из Ленинграда очень многим удается вылететь, но для этого нужны, конечно, данные, которых у меня нет, если получите это письмо, пожалуйста, дайте телеграмму о своем здоровьи, уж очень давно от Вас ничего нет.

Я на всякий случай написала Вам Данин адрес, т. к. боюсь, чтобы он не остался в конце концов совсем один. Город Новосибирск, учреждение Вы знаете, Ювачеву-Хармс. Если будет возможность, пошлите ему хоть рубл. 50 или 40. Если он уже доехал, это будет для него поддержкой. Простите меня, что и здесь я докучаю Вас просьбами, но что делать, другого выхода нет. Тоскую я о нем смертельно, и это главная причина моего тяжелого душевного состояния. Я так верю, что все скоро кончится хорошо и что мы прогоним этих мерзавцев, что это единственная причина, из-за которой хочется жить и всеми силами бороться за эту возможность. Мечтаю о Ваших вкусных ужинах и таких приятных вечерах, которые мы проводили у Вас после концертов Антона Исааковича! Это теперь кажется далеким сном…

Дорогая Наталия Борисовна, простите за бессвязное письмо, но только что подтвердилось известие, что Дан. Ив. в Новосибирске. Если у Вас есть какая-нибудь материальная возможность, помогите ему, от Вас это ближе и вернее дойдет. Я со своей стороны делаю все возможное, но мое <положение> сложнее из-за дальности расстояния. Делать это надо как можно скорее.

Адрес: Новосибирск НКВД, {тюрьма}, заключенному Дан<иилу> Ив<ановичу> от моего имени. Буду Вам бесконечно благодарна, обращаюсь именно к Вам, т. к. знаю Ваше к себе отношение, а Вы лучше чем кто-либо представляете мою жизнь сейчас и всю тяжесть, которую мне приходится на себе нести. Если от Вас есть возможность узнать относительно посылки теплых вещей и в каком положении его дело, ведь он душевно больной, и эта мысль сводит меня с ума[392].

Это последнее письмо (в котором Марина Владимировна забывает об осторожности и эвфемизмах) написано уже в начале декабря 1941 года – самого страшного месяца за все девятьсот дней блокады. Как, почему, зачем Марине Владимировне

сообщили, что ее муж в Новосибирске? Впрочем, знай она правду, что бы это изменило?

В писательскую надстройку, в одну из квартир, которые вызывали у Хармса в 1935 году такую зависть, Марина Владимировна переселилась после того, как в начале сентября дом на Надеждинской был частично разрушен бомбой.

Через несколько дней в опустевшей квартире появился десятилетний племянник Даниила Ивановича Кирилл. Он эвакуировался с матерью и братом примерно 20 августа, но на одной из станций отстал от поезда и на попутных машинах вернулся в Ленинград. Прошло не больше десяти дней, но в квартире на Надеждинской уже не было никого из родни и соседей, да и сам дом был наполовину разрушен. К счастью, мальчику удалось отыскать отца, работавшего главным инженером на одном из военных заводов. При нем Кирилл – без карточек! – прожил в городе всю блокаду.

Человеческие судьбы в осажденном городе складывались непредсказуемо и парадоксально. Это относится и к самому Хармсу. М.Б. Мейлах считает, что симуляция, которая должна была, по мысли Даниила Ивановича, спасти его, на самом деле, может быть, его и погубила: часть заключенных из блокадного города действительно эвакуировали, и Хармса в принципе могли вывезти, не находись он на психиатрическом освидетельствовании. Не исключено, что служащие НКВД, отвечавшие на запросы, в самом деле полагали, что арестованный Ювачев-Хармс вместе с другими отправлен по ту сторону кольца.

Узнав, что Хармс арестован и что Малич переехала в писательскую надстройку, Друскин совершил поступок, который, с учетом обстоятельств времени и места, можно считать настоящим подвигом: пришел (вместе с Мариной Владимировной, разумеется) на Надеждинскую (пешком – трамваи не ходили!) и на своих плечах перенес в квартиру брата на Гатчинской улице большую часть хармсовского архива. Ходу от Надеждинской до Гатчинской здоровому человеку без ноши – минут сорок пять, если не час. Друскин и так-то был не слишком крепок физически, а к октябрю (когда все это происходило) еще и порядочно истощен. Но он каким-то невероятным напряжением сил смог совершить то, что считал своим дружеским долгом. И даже если бы сам он ничего не написал, если бы его идеи и беседы с ним не были так важны для Хармса, если бы он не сыграл впоследствии решающей роли в изучении и интерпретации наследия своих друзей – уже одно спасение архива дало бы ему право на нашу вечную благодарность.

Для Хармса, таким образом, уже началось посмертье. Но он

был еще жив.

Двадцать шестого ноября следователь Бурмистров допросил единственного имевшегося в наличии свидетеля – Антонину Михайловну Оранжирееву (в деле – Оранжереева), 44-летнюю переводчицу Военно-медицинской академии, познакомившуюся с Хармсом у Сно в ноябре 1940 года. Сам Евгений Эдуардович был арестован в начале войны и, вероятно, вскоре умер. Была ли Оранжиреева тем агентом, от которого и поступил изначальный "сигнал"? Возможно. Но скорее нет. Не в обычае ОГПУ-НКВД-КГБ было так "засвечивать" свою агентуру. Требовалось дополнительное показание к изначальному доносу. В деле Введенского таким показанием стало свидетельство директора Художественного фонда Дворчика о том, что Александр Иванович якобы советовал бухгалтеру фонда Соколовской запастись документами о своем "буржуазном происхождении" – в этом случае немцы к ней хорошо отнесутся. Но Дворчик сексотом, судя по всему, не был. А Оранжиреева – совершенно точно была. Впоследствии, после войны.

Антонина Михайловна Оранжиреева (урожд. Розен) – личность примечательная. Археолог по образованию, участница и летописец экспедиций Ферсмана на Кольском полуострове, сотрудница Шилейко по Институту материальной культуры, она после 1946 года была "внедрена" в окружение Ахматовой – и Анна Андреевна так ее и не "разоблачила". После смерти Оранжиреевой, "Анты", она написала короткое стихотворение ее памяти. Существует версия, что завербована Оранжиреева была именно в связи с делом Хармса, к которому была привлечена как свидетель.

Странное совпадение: оба раза, и в 1931-м, и в 1941 году, аресту Хармса способствовали люди, с которыми познакомил его ни в чем, конечно, лично не повинный старик Сно. Но если в первом "сигнале" разговоры Хармса передавались пусть, по всей вероятности, искаженно, но более или менее внятно и с достоверными деталями, то после трех месяцев голода Оранжиреева смогла выдать лишь следующее:

> Ювачев-Хармс в кругу своих знакомых доказывал, что поражение СССР в войне с Германией якобы неизбежно и неминуемо. Хармс-Ювачев говорил, что без частного капитала не может быть порядка в стране. Характеризуя положение на фронте, Ювачев-Хармс утверждал, что Ленинград весь минирован, посылают защищать Ленинград невооруженных бойцов. Скоро от Ленинграда останутся одни камни, и если будут в городе

> уличные бои, то Хармс перейдет на сторону немцев и будет бить большевиков. Хармс-Ювачев говорил, что для того, чтоб в стране хорошо жилось, необходимо уничтожить весь пролетариат или сделать их рабами. Ювачев-Хармс высказывал сожаление врагам народа Тухачевскому, Егорову и др., говоря, что, если бы они были, они спасли бы Россию от большевиков. Других конкретных высказываний в антисоветском духе Ювачева-Хармса я теперь не помню.

Теоретически возможно, конечно, что Хармс обсуждал со Сно или с другими своими знакомыми слухи о том, что на фронт посылают невооруженных бойцов, или жалел, что армия в годы репрессий потеряла кадровых военачальников. Но скорее всего, слова Хармса в условиях голода и стресса перемешались в голове Оранжиреевой с чьими-то еще словами или с собственными затаенными мыслями, и заодно – с какими-то бредовыми стереотипами агитпропа. “Уничтожить весь пролетариат или сделать их рабами”. Трудно представить себе интеллектуально полноценного человека, выдающего такую формулу, но вообразить себе Хармса, рассуждающего о Тухачевском или частной собственности, – еще труднее. Как-то это не вписывается в круг его интересов и ценностей.

В сущности, сам этот допрос, с учетом места и времени действия, с трудом поддается воображению. Ленинград в конце ноября 1941 года был адом – и не первым его кругом. Голодали даже обладатели привилегированных пайков. Но машина репрессий продолжала работать. И вот голодный следователь допрашивает дистрофичку-свидетельницу о пораженческих разговорах, которые три месяца назад вел умирающий от истощения арестант, – а затем дело установленным порядком проходит через несколько инстанций: заместитель начальника 9-го отделения КРО УНКВД ЛО младший лейтенант госбезопасности Артемов, его шеф, старший лейтенант госбезопасности Подчасов, прокурор Грибанов – и, наконец, 5 декабря военный трибунал в составе бригвоенюриста Марчука и членов трибунала Орлова и Герасимова при секретаре Ковригиной выносит решение.

Хармс был признан виновным в том, что “проводил среди своего окружения контрреволюционную пораженческую агитацию, направленную к подрыву военной мощи Советского Союза, к разложению и деморализации Красной Армии”, однако в то же время невменяемым по причине шизофрении.

> Ввиду того… что… по характеру совершенного им

преступления он является опасным для общества, руководствуясь ст. II УК РСФСР, Ювачева-Хармс направить в психиатрическую лечебницу для принудительного лечения до его выздоровления, и дело возвратить в I Спецотдел УНКВД ЛО.

Седьмого декабря приказ о направлении Хармса в психиатрическую лечебницу поступил во Внутреннюю тюрьму. Куда именно он мог быть направлен? В осажденном городе действовало две психиатрические больницы – на Арсенальной, 9, и на Пряжке. Очевидно, что первая была предпочтительнее и по своему тюремному статусу, и территориально.

На сегодня нет доказательств, что Хармс умер именно на Арсенальной, 9.

Но в начале 1990-х они, видимо, существовали. По словам врача-психиатра А.И. Колуканова, в это время старые врачи Психиатрической больницы со строгим наблюдением со ссылкой на очевидцев рассказывали, что Хармс умер “на шестом отделении”. Сам Колуканов видел тогда анкету и “фототаблицу” Хармса в архиве больницы. К сожалению, когда в 2006 году по нашему запросу администрацией больницы были просмотрены архивные материалы, этой карточки на месте не оказалось. Одно обстоятельство как будто противоречит этой версии: извещение о смерти Хармса исходило не из тюрьмы № 2, к которой относилось психиатрическое отделение тюремной больницы, а из тюрьмы № 1 (то есть Крестов). Однако сомнительно, что заключенного, направленного на принудительное лечение, просто перевели из одной тюрьмы в другую.

Двадцать шестого ноября, в день возобновления следствия по делу Хармса, состоялось собрание ленинградской организации Союза писателей. Участвовали Рахманов, Саянов, Николай Чуковский, Меттер, Гор, Лесючевский. Обсуждался вопрос о составе редколлегии журналов “Звезда” и “Ленинград” и о проблемах комплектации их материалом. В это время на улицах города уже валялись неубранные, примерзшие к земле трупы. Через два с небольшим месяца, 2 февраля, Ленгорисполком будет осуждать связанную с этим обстоятельством эпидемиологическую угрозу, а также то, что “отсутствие водопроводов и канализации привело к резкому падению санитарной дисциплины”. Ужасной зимой почти никто в городе не мылся и не менял белье. Весны ждали не без страха. Но Хармс до весны не дожил: именно в этот день, 2 февраля, он скончался. Датам смерти граждан ГУЛАГа, указанным в документах о реабилитации, верить можно с очень большой оглядкой. Но тут, похоже, все точно или почти точно,

как и в случае с датой смерти Мандельштама. Однако если в случае Мандельштама последние дни прошли на глазах многих его товарищей по лагерю на Второй Речке и некоторые из них вышли на свободу и смогли рассказать об увиденном и услышанном, то о последних неделях Хармса мы не знаем и, видимо, никогда не узнаем ничего.

Девятого февраля Марина Владимировна, вероятно уже знавшая, что ее мужа никто ни в какой Новосибирск не отправил, пошла к тюремному окошку с передачей – кусочком хлеба. Пайки уже чуть-чуть повысили…

> Всем знакомым я сказала, что иду туда, чтобы все знали, потому что я могла и не дойти, у меня могло не хватить сил, а туда надо было идти пешком.
>
> Я шла. Солнце светило. Сверкал снег. Красота сказочная.
>
> А навстречу мне шли два мальчика. В шинельках, в каких ходили гимназисты при царе. И один поддерживал другого. Этот уже волочил ноги, и второй почти тащил его. И тот, который тащил, умолял: “Помогите! Помогите! Помогите! Помогите!”
>
> Я сжимала этот крошечный пакетик и, конечно, не могла отдать его.
>
> Один из мальчиков начинал уже падать. Я с ужасом увидела, как он умирает. И второй тоже начинал клониться.
>
> Все вокруг блистало. Красота была нечеловеческая – и вот эти мальчики…
>
> Я шла уже несколько часов. Очень устала.
>
> Наконец поднялась на берег и добралась до тюрьмы[393].

Сравнительно недавно (в 2002 году) не стало Марины Владимировны, и уже не спросить ее, к какой именно тюрьме она шла. На Шпалерную? Судя по тому, что надо было “подниматься на берег” (со льда?) и, следовательно, пересекать Неву, – нет. Значит, либо в Кресты, либо на Арсенальную, 9. Только куда именно?

> Там, где в окошко принимают передачи, кажется, никого не было или было совсем мало народу.
>
> Я постучала в окошко, оно открылось. Я назвала фамилию – Ювачев-Хармс – и подала свой пакетик с едой.
>
> Мужчина в окошке сказал:

– Ждите, гражданка, отойдите от окна, – и захлопнул окошко. Прошло минуты две или минут пять. Окошко снова открылось, и тот же мужчина со словами:

– Скончался второго февраля, – выбросил мой пакетик в окошко. И я пошла обратно. Совершенно без чувств. Внутри была пустота.

У меня мелькнуло: “Лучше бы я отдала это мальчикам”. Но все равно спасти их было уже нельзя[394].

Марина Владимировна пошла к Друскину – на Петроградскую.

Яша Друскин жил вместе со своей мамой, немного сгорбленной.

Она поставила перед ним тарелку супу и сказала:

– Это тебе. Это последняя тарелка супа.

Он сказал:

– Нет, мама. Дай суп Марине, пусть она ест.

Мать поколебалась, и он повторил:

– Мама, я говорю тебе, что я это не трону, если ты не дашь его Марине.

Она пожала плечами и подала тарелку мне.

Я думаю, что этот суп был из собачины[395].

На следующий день Друскин записал в дневнике:

3 или 4 умер Д. И. Так мне сказали вчера, и если это правда, то ушла часть жизни, часть мира. Ночью несколько раз снилось. Сны ищут оправдания смерти, и этой ночью смерть Д. И. была как-то объяснена, но не помню как, помню только переломанный пучок прутьев.

В последнее время Д. И. говорил о жертве. Если его смерть – жертва, то слишком большая. Сейчас она обязывает[396].

В декабре в Ленинграде умерли П. Филонов и Д. Михайлов, участник кружка Липавского, а в тюремном вагоне по пути из Харькова в Казань – Введенский. Уже несколько месяцев не было в живых Липавского, 17 декабря погиб Левин. В 1942 году не стало Вигилянского, в 1943-м – Туфанова, в 1944-м – Соллертинского. Большинство людей, так или иначе связанных с Хармсом, ушли из жизни почти одновременно с ним.

Слава Богу, судьба пощадила Марину Малич и Якова Друскина.

Жене Хармса предложил выехать с последним эшелоном (последним следующим по льду в зимнем сезоне) какой-то известный писатель, знакомый Даниила Ивановича. Малич не помнила фамилии этого своего благодетеля, но подчеркнула, что он был евреем. Не так много оставалось в Ленинграде той зимой писателей, которые хотели бы и могли бы ей помочь. Думаю, с высокой вероятностью можно утверждать, что нежданным благодетелем был Геннадий Гор, который и сам был эвакуирован в апреле 1942-го.

Об этом человеке в нашей книге до сих пор почти не упоминалось. А между тем он постоянно присутствует где-то на заднем плане жизни Хармса. Геннадий Самойлович Гор, уроженец Сибири, в конце двадцатых – начале тридцатых входил в группу “Смена”, филиал РАППа – с Чумандриным, Корниловым, Берггольц. При этом как писатель Гор был мало похож на большинство “сменовцев”. Несколько лучших рассказов из его первой книги “Живопись” (1933) – образцы метафорической и конструктивно четкой прозы раннесоветской поры, перекликающиеся с тогдашними вещами Каверина или Олеши. Однако другие рассказы из “Живописи” и в особенности роман о коллективизации “Корова”, написанный в 1930 году и до 1990-х годов остававшийся в рукописи, производят странное впечатление: блестящие абсурдистские диалоги и великолепные по пластике описания перемежаются такими примитивными идеологическими клише, какими даже в то время пользовались далеко не все “официальные” писатели.

Яков Друскин, 1940-е.

В одном из рассказов (“Вмешательство живописи”) содержится явный выпад против Хармса. Герой рассказа, букинист Петр Иванович Каплин, эксцентричный индивидуалист, втайне ненавидящий советскую власть, наделен многими хармсовскими чертами.

> Петр Иванович размышлял так.
>
> Он записывал случайные слова на маленьких бумажках, смешивал их в колпаке и, вытаскивая наугад, создавал из них фразы. Фразы заменяли ему мысли. Короче говоря, он заставлял думать за себя случай. А иногда он выбегал из-под стола, прыгал на одной ноге, заедая огурцом, чертил на полу мелом круг и плевал в него через плечо, ложился в воду и читал стихи:
>
> Я смотрю из бороды,
> Как из светлой из воды
> На себя смотрю вокруг,

Мимо крыши и наук
Я ученый или маг,
Я аршин или дурак,
Или просто я забор…[397]

Каплин изобретает универсальную “мыслительную машину”, внешне несколько напоминающую хармсовские бессмысленные “аппараты”, а по сути представляющую собой примитивный компьютер:

> Вырезав несколько кругов разнообразной величины, Петр Иванович приделал их к одному центру. Затем он испытал их вращение; они вращались не хуже любого колеса. Оставалось только взять перо и чернила. И Петр Иванович взял перо и чернила. Тут он изменил себе. Он сначала мысленно разметил и только после того обозначил все известные ему разряды мысли, все родовые и видовые понятия во всех возможных комбинациях. Посредством вращения кругов разнообразные подлежащие и определения передвигаются одно к другому, образуя предложения и сплетаясь в умозаключения[398].

Машина поражает воображение соседа Каплина, профессора Тулумбасова. Однако посещение выставки молодых художников (в которых угадываются филоновцы) помогает ученому осознать враждебность Каплина, а заодно и классовую ограниченность собственной научной работы.

Рассказ выглядит очень двусмысленно: чувствуется, что в глубине души отрицательный Каплин, его идеи и изобретения очень автору любопытны и едва ли не симпатичны. С Хармсом Геннадий Самойлович в самом деле был хорошо знаком, бывал у него дома; в архиве Гора сохранились копии хармсовских рукописей, в том числе исчезнувших. Во многих людях этого поколения была внутренняя раздвоенность – но, может быть, ни в ком она не была такой глубокой и отчетливой, как в Горе.

Марина Малич после депортации в Германию, 1943–1945 гг.

В середине и второй половине тридцатых Гор писал для печати рассказы о Гражданской войне в Сибири, а для души – “кафкианские” (как сказали бы позднее) новеллы, предвещающие многое в ленинградской прозе 1960-х. Сам Геннадий Самойлович ко времени “оттепели” нашел себе удобную и респектабельную экологическую нишу в советских литературных джунглях, став научным фантастом. В 1968 году он опубликовал мемуарный очерк, в котором с ностальгией вспоминал давно ушедших писателей, причем именно тех, которых яростнее всего травили его товарищи по “Смене”, – Хармса, Добычина… Воспоминаниями о прошлом он охотно делился и с приходившей к нему в гости литературной молодежью.

Но в промежутке между довольно странной молодостью и довольно тривиальной зрелостью писателя Гора был еще один совершенно загадочный и не имеющий аналогов творческий взрыв. В июне, июле, августе 1942 года и потом опять – после двухлетнего перерыва – в 1944 году он написал в общей

сложности около сотни стихотворений, которые были найдены в его бумагах после смерти… и которые навсегда заслонили собой все остальное наследие неплохого писателя и достойного человека. Эта безумная, страшная, прекрасная “постобэриутская” (и одновременно “постмандельштамовская”) поэзия могла быть порождена, извлечена из сознания автора только блокадой. То, что одних ломало, другим придавало силу и свободу.

Если мы правы и именно Гор спас спутницу Хармса – можно сказать, что взлет дарования стал ему экзистенциальной наградой. Хотя о какой награде тут говорить: просто строки искали, через кого явиться в мир, и сделали вот такой выбор.

Марину Малич эвакуация, видимо, в самом деле спасла от гибели. В ноябре – январе в Ленинграде умирали в основном мужчины: на сто женщин – триста четырнадцать мужчин. С марта увеличилась смертность среди женщин, в 1943 году их гибло уже в два с половиной раза больше, чем мужчин. Слава Богу, Марина Владимировна покинула город прежде, чем началась “женская” волна смертности. На Северном Кавказе она летом того же года оказалась на оккупированной территории и оттуда в числе остарбайтеров была депортирована в Германию. Друскин эвакуировался уже в мае. Перед отъездом он еще раз приходил на Надеждинскую – постоял на лестнице перед заколоченной квартирой Ювачевых. Но рукописи Хармса, остававшиеся в квартире, почти все уцелели; по возвращении в Ленинград в 1944 году Друскин получил их от Е.И. Грицыной. Так сложился архив, которому (наряду с хранившимися у Друскина произведениями Введенского) суждено было впоследствии перевернуть историю мировой литературы…

Посмертная жизнь Хармса была впереди.

Заключение

Хармса-человека помнили в сороковые – пятидесятые годы многие, помнили и его стихи для детей. Маршак, переводя “Балладу о большом королевском бутерброде” Милна, отмечал ее сходство со стихами “нашего Даниила Ивановича”. Не забывали о нем, конечно, и многие другие бывшие коллеги и товарищи по Детиздату.

Но “взрослый” Хармс был забыт, как почти все обэриуты. А те из них, кто был жив, жили жизнью совсем иной. Бахтерев и Разумовский в соавторстве писали военно-патриотические пьесы, одна из которых, “Полководец Суворов”, шла во многих театрах СССР. После войны он встретился с Заболоцким, они поговорили о текущих литературных делах, но ни об общих воспоминаниях юности, ни о покойных друзьях, ни о тех стихах, которые Игорь Владимирович продолжал писать “в стол”, речи так и не зашло.

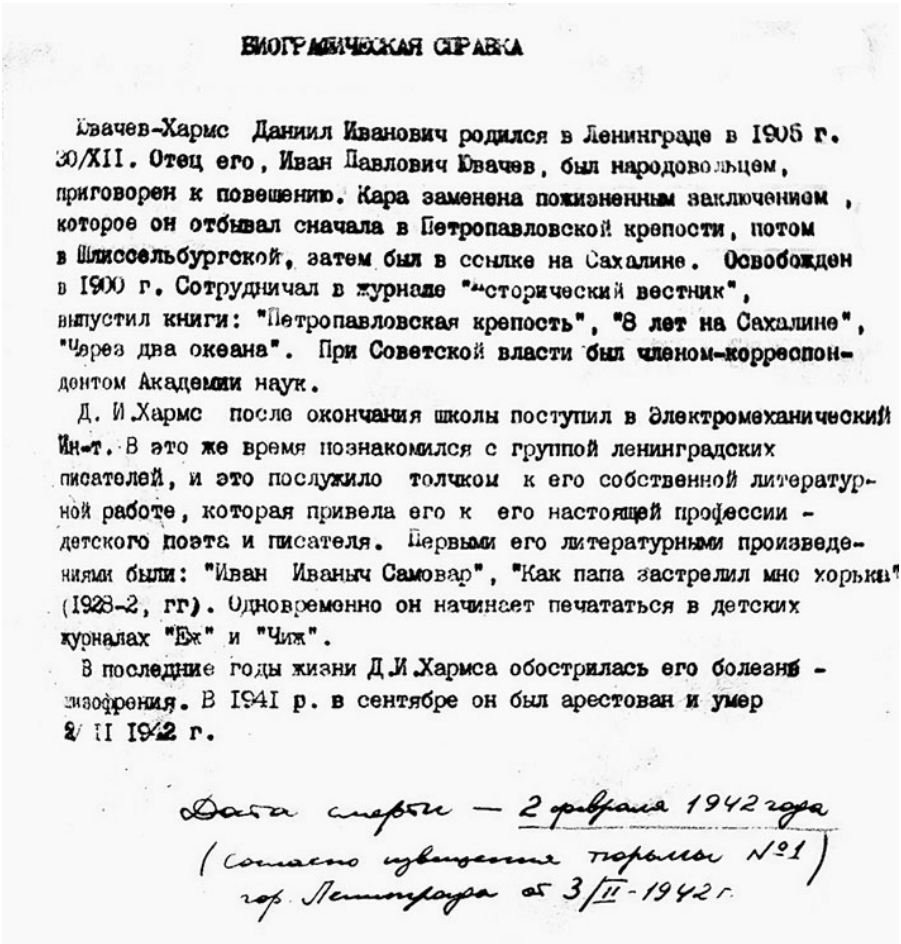
Заболоцкий 28 ноября 1943 года писал жене из лагеря: “Коля (Н.Л. Степанов. – *В. Ш.*) пишет, что Даниил Иванович и Александр Иванович умерли. При каких обстоятельствах – не пишет”[399]. О собственных чувствах при известии о смерти двух человек, которые были когда-то его ближайшими соратниками, поэт молчит. Но девять лет спустя, через шесть лет после возвращения к вольной жизни и творчеству, с его пера сошло стихотворение “Прощание с друзьями”; те, кто помнил молодость Заболоцкого, понимали, о каких друзьях-поэтах идет речь:

…Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И всё ли вы забыли?
Теперь вам братья – корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.
Теперь вам сестры – цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, цыплята…
И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там наверху оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, легкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений.

Заболоцкий писал теперь совсем по-другому, и далеко не всегда в полную силу, но в этих строках, в которых он присягает

былому обэриутскому братству, слышен его прежний голос. Николай Чуковский, часто общавшийся с Заболоцким в 1950-е годы, вспоминает, что с особой нежностью вспоминал Николай Алексеевич из своих ушедших друзей именно Хармса. Более того, по свидетельству Н.Л. Степанова, незадолго до смерти Заболоцкий “хотел приехать в Ленинград и заняться розысками стихов Хармса”[400].



БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ювачев-Хармс Даниил Иванович родился в Ленинграде в 1905 г. 30/XII. Отец его, Иван Павлович Ювачев, был народовольцем, приговорен к повешению. Кара заменена пожизненным заключением, которое он отбывал сначала в Петропавловской крепости, потом в Шлиссельбургской, затем был в ссылке на Сахалине. Освобожден в 1900 г. Сотрудничал в журнале "Исторический вестник", выпустил книги: "Петропавловская крепость", "8 лет на Сахалине", "Через два океана". При Советской власти был членом-корреспондентом Академии наук.

Д. И. Хармс после окончания школы поступил в Электромеханический Ин-т. В это же время познакомился с группой ленинградских писателей, и это послужило толчком к его собственной литературной работе, которая привела его к его настоящей профессии - детского поэта и писателя. Первыми его литературными произведениями были: "Иван Иваныч Самовар", "Как папа застрелил мне хорька" (1928-2, гг). Одновременно он начинает печататься в детских журналах "Еж" и "Чиж".

В последние годы жизни Д.И.Хармса обострилась его болезнь - шизофрения. В 1941 г. в сентябре он был арестован и умер 2/II 1942 г.

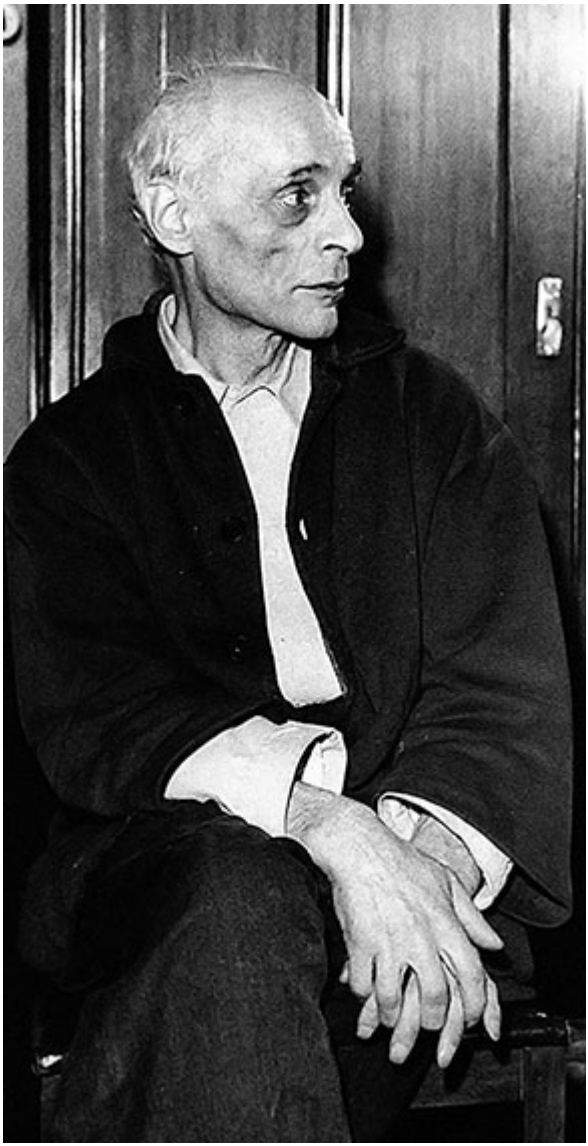
Дата смерти — 2 февраля 1942 года
(Согласно извещения тюрьмы №1
гор. Ленинграда от 3/II-1942 г.

Биографическая справка о Д. Хармсе, составленная его сестрой Е. Грицыной и приложенная к ходатайству о прекращении уголовного дела, 1960 г.

После 1953 года наступили новые, менее страшные, чуть более свободные времена. Ранние стихи Заболоцкого (те из них, что были в свое время напечатаны) привлекали все больше интереса и у молодых поэтов в СССР, и у исследователей за границей. Но Хармса и Введенского пока не вспомнили. Точнее,

вспомнили, но лишь как детских писателей: после реабилитации их книги стали переиздавать. (Хармс был реабилитирован по заявлению сестры в 1960-м, Введенский – лишь в 1964 году.)

Тем временем Друскин, до середины 1950-х питавший безумную, ни на чем не основанную надежду на то, что Хармс и Введенский живы, и не прикасавшийся к их рукописям, начал понемногу разбирать архив. Но прошло еще почти десять лет, прежде чем он почувствовал, что настало время открыть эти материалы для молодых исследователей.



Яков Друскин. Фотография М. Шемякина, 1960-е.

Одним из них был Михаил Мейлах. Вот фрагмент его воспоминаний:

> Сорок лет назад, осенью 1963 года, я встал перед некоей жизненной проблемой, разрешить которую я был не в состоянии. Моя сестра и ее муж, музыковед Генрих Орлов, посоветовали мне встретиться с человеком, имевшим репутацию мудреца, – это был Яков Семенович Друскин, брат Михаила Семеновича, историка музыки, учителя моего зятя. Яков Семенович, философ и богослов, жил затворником в коммунальной квартире в унылом районе на Песках, куда я пришел к нему в назначенный час. Дверь открыл человек небольшого роста с удивительно впалыми щеками, казавшийся глубоким стариком, хотя ему было немногим больше шестидесяти лет. Он провел меня в комнату, где стоял массивный буфет, скрывавший, как я потом узнал, вовсе не чайные и столовые сервизы, а его сочинения, которые занимали в нем несколько длинных полок (“Я написал три метра”, – говорил Яков Семенович) <…> В углу помещался небольшой книжный шкаф, содержимое которого скрывала выставленная за стеклом – как я потом узнал – каллиграмма Хармса:
>
> Ноты вижу
> вижу мрак
> вижу лилию дурак
> сердце кокус
> впрочем нет
> мир не фокус
> впрочем да
>
> (в слове “сердце” забавным образом не хватало буквы “д”).
>
> “Проблемы” мои не показались Якову Семеновичу достаточно серьезными, и в конце нашего разговора, сказав, что он хочет мне что-то прочесть, он достал из этого шкафа (как я, опять-таки, узнал только потом, в нем хранился обэриутский архив) ветхую папку и бесстрастным, ровным голосом прочел по рукописи “Элегию” Введенского, затем, видя, насколько это стихотворение меня заинтересовало, прочел еще его “Потец”. Вещи эти произвели на меня ошеломляющее впечатление – я не знал, смеяться или плакать. Я стал

приходить к Якову Семеновичу, который начал знакомить меня не только с произведениями своих друзей-обэриутов, но и с собственными сочинениями – философско-теологическими работами, сменившими его эзотерические трактаты, писавшиеся на протяжении двадцатых – сороковых, отчасти пятидесятых годов…[401]

Автограф стихотворения Д. Хармса “Ноты вижу…”, июль 1933 г.

Наряду с Мейлахом, творчеством обэриутов в 1960-е годы заинтересовались аспирант Пушкинского Дома А.А. Александров, московский исследователь В.И. Глоцер, чуть позже – поэт и историк литературы Владимир Эрль. По условиям того времени первые публикации “взрослого” Хармса и Введенского состоялись в Эстонии (в изданиях Тартуского университета) и в

Чехословакии, а первые их книги появились в 1974 году в Вюрцбурге и Мюнхене. В 1978–1988 годах в Бремене вышел четырехтомник Хармса под редакцией Мейлаха и Эрля. С началом перестройки их наследие стало широко издаваться и в СССР. Ряды исследователей пополнились учеными нового поколения. Среди них В.Н. Сажин, А.Г. Герасимова, А.А. Кобринский, А.Б. Устинов, А.Л. Дмитренко, швейцарский филолог Ж.-Ф. Жаккар, американец Т. Эпстайн и многие другие.

Но если Введенский долго оставался и отчасти еще остается писателем “для немногих” (в том числе и из-за внешних обстоятельств, о которых чуть ниже), то творчество и личность Хармса уже в конце 1970-х годов были окружены легендами и стали предметом своеобразного культа. “Случаи”, “Старуха” и другие произведения писателя (главным образом прозаические) распространялись в самиздате в тысячах копий; более того, появились апокрифические, поддельные тексты Хармса или стилизации: так, в 1970–1980-е годы в самиздате в качестве хармсовского произведения имели хождение “Веселые ребята” Н. Доброхотовой-Майковой и В. Пятницкого. В 1990-е дни рождения писателя отмечались в Петербурге не только научными конференциями, но и фестивалями с участием музыкальных и театральных коллективов.

К сожалению, есть один фактор, наносящий вред изучению, а порою и публикациям обэриутов. Это – соперничество и даже вражда исследователей, иногда толкающая их на странные поступки. Так, В. И. Глоцер, получив от Б.А. Викторова (после смерти матери и брата единственного оставшегося в живых наследника Введенского) юридическое право на представление его интересов, по непонятной причине ставил издателям заведомо невыполнимые финансовые условия. В результате произведения одного из крупнейших русских поэтов XX века пятнадцать лет (до смерти Глоцера в 2009 году) не выходили отдельными книгами и почти не включались в антологии. К счастью, попытка так же распорядиться наследием Хармса не удалась. Но даже когда вражда сводится к взаимным оскорбительным выпадам (подменяющим научную дискуссию), это огорчительно.

И все-таки наследие Хармса преодолело те препятствия, которые отделяли его от читателя. Ныне оно – важнейшая страница не только отечественной, но и мировой культуры. Между тем то, что произведения Хармса попросту уцелели, не были развеяны ветрами времени, как произведения многих и многих других замечательных писателей, в каком-то смысле – чудо.

Может быть, это и было то главное чудо, которого он ждал всю жизнь?

Автопортрет Д. Хармса, середина 30-х.

Библиография

Настоящая библиография не претендует на исчерпывающую полноту. В нее включены только основные публикации, которые использовал автор при написании настоящей книги.

Азадовский К. М. *Жизнь Николая Клюева*: Документальное повествование. СПб., 2002.

Александр Введенский и русский авангард: Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А. Введенского / Под ред. А. Кобринского. СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2004

Александров А. А. *Место смерти Данила Хармса* -? // Литературная газета. 1990. 21 февраля. № 8. С. 5.

Александров А. А. *О первых литературных опытах Даниила Хармса* // Русская литература. 1992. № 3. С. 155–158.

Александров А. А., Мейлах М. Б. *Творчество Данила Хармса* // Материалы XXII научной студенческой конференции: Поэтика. История литературы. Лингвистика. Тарту, 1967.

Александров А. *Неоконченные произведения Данила Хармса* // Театр. 1991. № 11. С. 10–12.

Александров А. А. *Материалы Д. И. Хармса в рукописном отделе Пушкинского Дома* // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 64–79.

Альтман М. С. *Разговоры с Вячеславом Ивановым*: [Сборник / Ст. и коммент. К. Ю. Лаппо-Данилевского]. СПб., [1995].

Анна Семеновна Ивантер вспоминает / Лит. запись А. Герасимовой // Театр. 1991. № 11. С. 116–119.

Асеев Н. Н. *Сегодняшний день советской поэзии* // Красная новь. 1932. № 2. С. 159–172.

Афиши Дома печати: Трибуна живой критики. Л., 1928.

Ашенбреннер М. Ю. *Военная организация Народной воли и другие воспоминания*: (1860–1904 гг.) М., 1924.

Берггольц О. Ф. *Книга, которую не разоблачили* // Наступление: Ленинградская литературная газета. 1932. 16 марта (№ 2). С. 2; 22 марта (№ 3). С. 3.

Благотворительные учреждения Российской империи. СПб., 1898.

Богомолов Н. А., Малмстад Дж. *Михаил Кузмин: Искусство, жизнь, эпоха.* СПб., 2007.

Бубер М. *Хасидские истории* = Die Erzahlungen der Chassidim: Первые учителя / [Перевод с английского и немецкого]. М., 2006.

Бузников А. *К вопросу о детской литературе* // Красная

газета. 1928.28 марта (№ 86). С. 5. (Веч. вып.)

Буров А. В. *Блокада день за днем, 22 июня 1941 г. – 27 янв. 1944 г. /* [Предисл. М. А. Дудина] Л., 1979.

Буш В. *Веселые рассказы про шутки и проказы /* [Соч.] В. Буша; Текст К. Н. Льдова. СПб.; М., 1890.

В тисках голода. Ленинградская блокада в документах германских спецслужб и НКВД. СПб., 2001.

Вагинов К. *Полное собрание сочинений в прозе /* Сост. А. И. Вагиновой, Т. Л. Никольской и В. И. Эрля. Подготовка текста В. И. Эрля. Вступ. статья Т. Л. Никольской. Примеч. Т. Л. Никольской и В. И. Эрля. СПб., 1999.

Вагинов К. *Песня слов /* Подгот. текстов, сост., вступ. ст., примеч. А Герасимовой. М., 2012.

Ванна Архимеда: [Сб. произведений участников группы обэриутов / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. А. А. Александрова]. Л., 1991.

Введенский А. И. *Всё.* М., 2010.

Введенский А. *Гость на коне /* Ил. И. Улангина. – СПб., 2010.

Введенский А. И. *На дрожзаводе бригадному хозрасчету – ноль внимания. Когда же треугольник научится работать и руководить по-новому? //* Курская правда. 1932. 22 июня. С. 2.

Введенский А. И. *Полное собрание произведений*: В 2 т. / [Сост. и подгот. текста М. Мейлаха, В. Эрля; вступ. статьи и примеч. М. Мейлаха]. М., 1993.

Введенский А. *Кругом возможно Бог /* Подгот. текста А. Герасимовой и Д. Склянченко; Примеч. А. Герасимовой // Театр. 1991. № 11. С. 102–113.

Введенский А. И. *Разговор о сумасшедшем доме.* Стихи. СПб., 2002. Ил. и оформление Г.А.В. Траугот.

Введенский А., Владимиров Ю., Олейников Н., Хармс Д. *Часы в коробочке*: Стихи, рассказы, сказки. СПб., 2005.

А. Введенский и Д. Хармс в их переписке // Вступит. статья, публ. и коммент. В. Сажина. Париж, 2004.

Викторов Б. А. *Александр Введенский и мир, или "Плечо надо связывать с четыре".* Харьков, 2009.

Вишневецкий И. *О "Комедии города Петербурга" //* Театр. 1991. № 11. С. 58–60.

Воспоминания о Н. Заболоцком / [Сост. Е. В. Заболоцкая и др.]. М., 1984.

Вспоминая Даниила Хармса // Вперед (Пушкин). 1973. 13 января.

Гаген-Торн Н. А. *Лев Яковлевич Штернберг: Жизнь в науке.* М., 2007.

Гейзер М. М. *Маршак.* М., 2006. (Жизнь замечательных людей:

серия биографий.)

Герасимов А., Никитаев А. *Хармс и "Голем": Quasi una fantasia* // Театр. 1991. № 11. С. 36–50.

Гернет Н. *О Хармсе*: (Заметки к вечеру памяти Д. И. Хармса, Москва, 1976 г.) // Нева. 1988. № 2. С. 202–204.

Герштейн Э. Г. *Мемуары.* М., 2002.

Гинзбург Л. Я. *Записные книжки; Воспоминания; Эссе* / [Вступ. ст. А. С. Кушнера]. СПб., 2002.

Гирба Ю. *Элементы драматического в раннем творчестве Д. Хармса* // Театр. 1991. № 11. С. 51–52.

Глоцер В. И. *Вот какой Хармс!:* Взгляд современников // Новый мир. 2006. № 2. С. 117–144.

Глоцер В. И. *К истории последнего ареста и гибели Даниила Хармса*: (Письма М. В. Малич к Н. Б. Шанько) // Русская литература. 1991. № 1. С. 204–209.

Глоцер В. И. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* М., 2000.

Горький М. *Письмо в редакцию* // Правда. 1928. 14 марта. С. 5.

Детская литература: Критический сборник / Под ред. А. В. Луначарского. М.; Л., 1931.

Дневниковые записи Даниила Хармса / Публ. А. Устинова, А. Кобринского // Минувшее. М.; СПб., 1992. Вып. 11. С. 417–583.

Добренко Е. Realästhetic, или Народ в буквальном смысле: (Оратория в пяти частях с прологом и эпилогом) // Новое литературное обозрение. 2006. № 82. С. 183–242.

Друскин Л. С. *Спасенная книга*: [Воспоминания поэта] / [Предисл. О. Малевича]. СПб., 2001.

Друскин Я. *Коммуникативность в творчестве Александра Введенского* / Публ. и примеч. Л. С. Друскиной // Театр. 1991. № 11. С. 80–94.

Друскин Я. С. *Вестники и их разговоры. Это и то. Классификация точек. Движение* / Публ., предисл. и коммент. М. Б. Мейлаха // Логос. 1993. № 4. С. 91–101.

Друскин Я. С. *Дневники* / [Сост., подгот. текста, примеч. Л. С. Друскиной]. СПб., 1999.

Друскин Я. С. *Лестница Иакова*: эссе, трактаты, письма. СПб., 2004.

Друскин Я. С. *Перед принадлежностями чего-либо: Дневники* 1963–1979 / [Примеч., заключ. ст. Л. С. Друскиной]. СПб., 2001.

Елагин И. В. *Собрание сочинений*: В 2 т. / Ред. В. П. Кочетов. М., 1998.

Елизавета Ивановна Грицына вспоминает / Лит. запись М. Вишневецкой и А. Герасимовой // Театр. 1991. № 11. С. 38–44.

Елизавета Сергеевна Коваленкова вспоминает / Лит. запись А.

Герасимовой // Театр. 1991. № 11. С. 96–99.

Ёж: ежемесячный журн. для детей младшего школьного возраста. Л., 1928–1935.

Жаккар Ж.-Ф. *Даниил Хармс и конец русского авангарда*: [Пер. с фр.]. СПб., 1995.

Жаккар Ж.-Ф. *Даниил Хармс: театр абсурда – реальный театр: Прочтение пьесы "Елизавета Бам"* // Театр. 1991. № 11. С. 18–22.

Жаккар Ж.-Ф., Устинов А. Б. *Заумник Даниил Хармс: Начало пути* // Wiener slavistischer almanach. 1991. Bd. 27.

Жукова Л. *Обэриуты* // Театр. 1991. № 11. С. 8–9.

За пролетарскую детскую книгу // Литературная газета. 1931. 26 августа (№ 46). С. 4.

Заболоцкий Н. А. *Вторая книга*: Стихи. Л., 1937.

Заболоцкий Н. А. *Огонь, мерцающий в сосуде…*: [Произведения Н. А. Заболоцкого, анализ творчества, воспоминания современников / Сост. Н. Заболоцкого]. М., 1995.

Заболоцкий Н. А. *Полное собрание стихотворений и поэм* / [Вступ. ст. Е. Степанян]. СПб., 2002. (Новая библиотека поэта.)

Заболоцкий Н. А. *Предатели* // Правда. 1937. 27 января.

Заболоцкий Н. А. *Собрание сочинений*: В 3 т. / [Примеч. Е. Заболоцкой, Л. Шубина]. М., 1983.

Заболоцкий Н. А. *Столбцы*: [Стихи]. Л., 1929.

Заболоцкий Н. Н. *Жизнь Н. А. Заболоцкого.* М., 1998.

Заболоцкий Н. Н. *Н. А. Заболоцкий после создания "Столбцов", конец* 20*-х – начало* 30*-х годов* // Театр. 1991. № 11. С. 153–160.

Задушевное слово: Чтение для младшего возраста. СПб.; М., 1910.

Из истории эгофутуризма: Материалы к литературной биографии Константина Олимпова / Публ. А. Л. Дмитренко // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 22. СПб., 1997. С. 206–247.

Из литературного и эпистолярного наследия И.П. Ювачева // Известия Института наследия Бронислава Пилсудского. Вып. 17. Южно-Сахалинск, 2013. С. 227–294.

Иоффе Н., Железнов Л. *Дела литературные* // Смена. 1927. 30 марта.

Кавин Н. *Путь духовного писателя Ивана Ювачева* // Православный летописец СанктПетербурга. 2008. № 32. С. 95–111.

Как издательства реализуют постановление ЦК ВКП(б) по докладу ОГИЗ // Литературная газета. 1931. 15 сентября. (№ 50). С. 1.

Кобринский А. А. *Даниил Хармс и Николай Олейников на*

дискуссии о формализме 1936 *года* // Russian studies. 1996. Т. II (4).

Кобринский А. А. *Поэтика ОБЭРИУ в контексте русского литературного авангарда XX века*: В 2 кн. М., 1999–2000.

Кобринский А. *Система организации пространства в поэме Александра Введенского "Кругом возможно Бог"* // Театр. 1991. № 11. С. 94–101.

Кобринский А. *"Без грамматической ошибки…"?: Орфографический "сдвиг" в текстах Даниила Хармса* // Новое литературное обозрение. 1998. № 33. С. 186–204.

Кобринский А. А. *Даниил Хармс: К проблеме обэриутского текста* // Вопросы литературы. 1990. № 6. С. 251–258.

Кобринский А. А. *Хармс.* М., 2008. (Серия ЖЗЛ.)

Краткое известие о находящемся в Санкт-Петербурге при немецкой евангелической церкви Святаго апостола Петра и ея императорскаго величества всемилостивейшею жалованною грамотою утвержденном училище, об учении в оном иностранных языков, наук и художеств и о соединенном с оным учреждении для содержания и воспитания пенсионеров. [СПб.], 1764.

Крупская Н. К. *О "Крокодиле" К. И. Чуковского* // Правда. 1928. 1 февраля. С. 5.

Крусанов А. А. *В. Туфанов – архангельский период (*1918–1919*)* // Новое литературное обозрение. 1998. № 30 (2). С. 92–109.

Крученых А. Е. *Кукиш пошлякам*: [Сб. / Вступ. ст. Г. Н. Айги; примеч. А. Т. Никитаева. Репринт. изд.]. Таллинн, 1992.

Ленинград в осаде: Сб. документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941–1944. СПб., 1995.

Ленинградский мартиролог: Книга памяти жертв политических репрессий. Т. 1–4. СПб., 1995–1999.

Лесная Л. *Ытуербо* // Красная газета. 1928. 25 января (№ 24). С. 2. (Веч. вып.)

Липавский Л. С. *Исследование ужаса*. М., 2005.

Лихачев Д. С. *Воспоминания*. СПб., 1995.

Ломагин Н. А. *Неизвестная блокада*. М., 2002.

Лукницкая В. К. *Перед тобой земля*. Л., 1988.

Лукьянова И. В. *Корней Чуковский*. [Изд. 2-е, испр. и доп.]. М., 2007. (Жизнь замечательных людей.)

Любарская А. И. *За тюремной стеной* // Нева. 1998. № 5.

Маковицкий Д. П. *У Толстого* // Литературное наследство. М., 1979. Т. 90.

Малевич К. С. *Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика.* Витебск, 1922.

Малевич К. С. *Собрание сочинений*: В 5 т. / Общ. ред., вступ. ст., сост., подгот. текстов и коммент. А. С. Шатских. М., 1995. Т. 1.

Мандельштам Н. Я. *Вторая книга* / [Предисл. и примеч. А. Морозова]. М., 1999.

Март В. *Черный дом.* Владивосток, [1918].

Март В. *Песенцы.* Владивосток, 1917.

Маршак С. Я. *Собрание сочинений*: В 8 т. / Под ред. В. М. Жирмунского и др. М., 1968–1972.

Материалы о Даниле Хармсе и стихи его в фонде В. Н. Петрова / Публ. А. А. Александрова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. СПб., 1993. С. 184–213.

Мейлах М. Б. *Введение в историю обэриутоведения* // Тыняновский сборник. М., 2006.

Мейлах М. Б. *Даниил Хармс: Anecdota posthuma*: (Посмертные анекдоты Даниила Хармса) // Русская мысль. 1989. 23 июня. С. X–XI. (Лит. прил.; № 8).

Мейлах М. Б. *Девять посмертных анекдотов Даниила Хармса* // Театр. 1991. № 11.

С. 76–79.

Мейлах М. *Заметки о театре обэриутов* // Театр. 1991. № 11. С. 173–179.

Минц К. *Обэриуты* / Публ. А. Минц // Вопросы литературы. 2000. № 1. С. 277–294.

Михаил Кузмин и русская культура XX века: Тез. и материалы конф., 15–17 мая 1990 г. Л., 1990.

“Мне кажется, я люблю ее и любил искренно…”: Эпистолярный дневник Ивана Ювачева / Вступ. ст. Е. Н. Строгановой; подгот. текста и примеч. Е. Н. Строгановой, А. И. Новиковой // Новый мир. 2001. № 6. С. 128–158.

Мы призываем к борьбе с “чуковщиной”: Резолюция собрания родителей Кремлевского детсада // Дошкольное воспитание. 1929. № 4. С. 74.

Началась чистка ЛенГИХЛа // Литературная газета. 1931. 10 августа. № 43.

Не-Топорышкин И. Топор для детей // Бегемот. 1928. № 11.

Никитаев А. *Обэриуты и футуристическая традиция* // Театр. 1991. № 11. С. 4–7.

Нильвич Л. *Реакционное жонглерство* // Смена. 1931. 9 апреля (№ 81).

Новый Робинзон: Двухнедельный детский журнал. Л., 1923–1925.

ОБЭРИУТы: [Адреса обэриутов в Ленинграде] / Сост. В. Шубинский; схема И. Быховских // Искусство Ленинграда. 1990. № 7. С. 82–84.

Олейников Н. М. *Боевые дни*: Рассказы, очерки и приключения. Л., 1991.

Олейников Н. М. *Пучина страстей*: [Стихотворения и поэма]. Л., 1990.

Олейников Н. М. *Стихотворения и поэмы* / Биогр. очерк, сост., подгот. текста и примеч. А. Н. Олейникова]. СПб., 2000. (Новая библиотека поэта.)

Олимпов К. [Фофанов К. К.] *Декларация Константина Олимпова.* СПб., 1912.

Олимпов К. [Фофанов К. К.] *Исход Родителя Мироздания: Прохвостам и прощелыгам.* Пг., [1917].

Олимпов К. [Фофанов К. К.] *Проэмний Родителя Мироздания: Идиотам и кретинам.* Пг., 1916.

Олимпов К. [Фофанов К. К.]. *Глагол Родителя Мироздания: Негодяям и мерзавцам.* Пг., 1916.

Олимпов К. [Фофанов К. К.]. *Третье Рождество Великого Мирового Поэта Титанизма Социальной Революции Константина Олимпова, Родителя Мироздания.* Пг., [1922].

Пантелеев Л. *Воспоминания о Маршаке* // Новый мир. 1966. № 5.

Пантелеев Л. *Из ленинградских записей* // Новый мир. 1965. № 5.

Петербургское училище Св. Петра. Правила приема в подготовительный класс. СПб., 1898.

Петров В. Н. *Даниил Хармс* / Публ., предисл. и коммент. В. И. Глоцера // Панорама искусств. М., 1990. Сб. 13. С. 235–248.

Петров В. Н. *Из "Книги воспоминаний"* // Панорама искусств. М., 1980. Сб. 3. С. 128–161.

Петров Вс. *Турдейская Манон Леско* / Публ. М. В. Петровой; подгот. текста В. Эрля; вступ. ст. В. Эрля и Н. Николаева // Новый мир. 2006. № 11. С. 6–43.

Пирютко Ю. М. *Ювачев, отец Хармса* // Санкт-Петербургские ведомости. 2007. 26 января. С. 6.

Порет А. *Воспоминания о Д. И. Хармсе* / Предисл. В. Глоцера // Панорама искусств. М., 1980. Сб. 3. С. 345–359.

Поэт Александр Введенский: Сборник материалов / [Конференция "Александр Введенский в контексте мирового авангарда", 23–25 сент. 2004 г.; сост. и общ. ред. К. Ичин и С. Кудрявцев]. М., 2006.

Поэты группы "ОБЭРИУ": [Сб. стихов / Биогр. справки, сост., подгот. текста и примеч. М. Б. Мейлаха и др.; вступ. ст. М. Б. Мейлаха]. СПб., 1994. (Библиотека поэта: Большая серия.)

Разгром ОБЭРИУ: Материалы следственного дела / Вступ. ст., публ. и коммент. И. Мальского // Октябрь. 1992. № 11. С. 166–191.

Рест Б. *Какая книжка нужна детям* // Литературная газета.

1931. 15 октября. (№ 58).

Рубашкин А. И. *В доме Зингера и вокруг него*: Воспоминания. Портреты. Письма. СПб., 2003.

Русский авангард в кругу европейской культуры: Междунар. конф. [4–7 янв. 1993 г.]: Тез. и материалы. М., 1993.

Савельев Л. С. *Ленин идет в Смольный.* Л., 1967.

Савельев Л. С. *Немые свидетели*: [Из революционного прошлого Петрограда]. 2-е изд., перераб. М.; Л., 1930.

"…Сборище друзей, оставленных судьбою": Л. Липавский. А. Введенский. Я. Друскин. Д. Хармс, Н. Олейников: "Чинари" в текстах, док. и исслед.: В 2 т. М., 2000.

Свердлова К. *О "чуковщине"* // Красная печать. 1928. № 9/10. С. 92–94.

"Свершилось. Пришли немцы!" Идейный коллаборационизм в СССР в годы Великой Отечественной войны. Отв. ред. О.В. Будницкий. СПб., 2014.

Сергей Владимирович Михалков вспоминает / Записала Ю. Гирба // Театр. 1991. № 11. С. 101.

Серебрянников А. *Золотые зайчики на полях детской литературы* // Смена. 1931. 15 ноября (№ 270). С. 3.

Серж В. *От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера* / [Пер. с фр. Ю. В. Гусевой, В. А. Бабинцева]. Оренбург; М., 2001.

Серж В. *Полночь века. Дело Тулаева*: Романы: [Пер. с фр.] / [Вступ. ст. В. Бабинцева, В. Лукьянина]. Челябинск, 1991.

Серж В. *Французская литература после войны* / Пер. с фр. А. Н. Горлина. Л., 1929.

Серый Г. *Монастырь на госснабжении*: (Отчетная выставка Государственного института художественной культуры) // Ленинградская правда. 1926. 10 июня. С. 5.

Слепнев Н. *На переломе* // Ленинград. 1931. № 1. С. 1–4.

Смирнов В. *B. St. Petrischule. Школа, что на Невском проспекте за кирхой: старейшая школа Санкт-Петербурга.* 1709–2005 *гг.* СПб., 2006.

Столетие Даниила Хармса: материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Даниила Хармса, [24–26 июня, Санкт-Петербург] / Науч. ред. А. Кобринский. СПб., 2005.

Строганова Е. Н. *Из ранних лет Даниила Хармса* // Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 67–80.

Строганова Е. Н. *К биографии Даниила Хармса: Предыстория семьи в письмах родителей* // Фольклор, постфольклор, быт, литература: Сб. статей к 60-летию Александра Федоровича Белоусова. СПб., 2006.

Сумбур вместо музыки: Об опере "Леди Макбет Мценского уезда" // Правда. 1936. 28 января. С. 3.

Терентьев И. Г. *Собрание сочинений* / Сост., подгот. текста, биогр. справка, вступ. статьи и комментарии М. Марцадури и Т. Никольской. Bologna, 1988.

Терентьевский сборник / Под общ. ред. С. Кудрявцева. М., 1996. Сб. 1.

Толмачев Д. *Дадаисты в Ленинграде* // Жизнь искусства. 1927. № 44. С. 14.

Туфанов А. В. *К зауми: Фонич. лирика и функции согласных фонем.* Пг., 1924.

Туфанов А. В. *Ушкуйники* / Сост. Ж.-Ф. Жаккар и Т. Никольская. Berkeley, 1991. (Modern Russian literature and culture; Vol. 27. Studies and texts.)

Туфанов А. В. *Эолова арфа*: Стихи, проза: книга первая: с предисл. и портр. СПб., 1917.

Убежище для женщин, вышедших из тюрем Санкт-Петербурга. СПб., 1872.

Устинов А. 1929 *год в биографии Мандельштама* // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 123–126.

Уэллс Г. *Россия во мгле*: Сборник: Пер. с англ. / Предисл. И. М. Майского; сост. и авт. послесл. Ю. И. Кагарлицкий; примеч. С. С. Хромова. М., 1970.

Фигнер В. Н. *Узники Шлиссельбурга* 1884–1905 *гг*: Пять биографий. М., 1917.

Харджиев Н. И. *О Хармсе* / Публ. Михаила Мейлаха // Studi e scritti in memoria di Marzio Marzaduri a cura di Giovanni PaganiCesa e Ol'ga Obuchova. Padova, 2002. (Eurasiatica: Quaderni del Dipartimento di Studi Eurasiatici Universita degli Studi Ca'Foscari di Venezia. 66).

Хармс Д. *Анкета, заполненная Даниилом Хармсом* 9 *октября* 1925 *года при подаче заявления во Всероссийский Союз поэтов* / Публ. Н. М. Кавина // Театр. 1991. № 11. С. 52–53.

Хармс Д. И. *Дней катыбр*: Избр. стихотворения. Поэмы. Драм. произведения. М.; Кайенна, 1999.

Хармс Д. И. *Записные книжки. Дневник*: [В 2 кн.]. СПб., 2002. (Полное собрание сочинений.)

Хармс Д. И. *Неизданный Хармс*: Полн. собр. сочинений: Трактаты и статьи. Письма. Доп. к т. 1–3. СПб., 2001.

Хармс Д. И. *Полет в небеса*: Стихи. Проза. Драмы. Письма / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. А. А. Александрова. Л., 1988.

Хармс Д. И. *Полное собрание сочинений*: В 4 т. / Сост., подгот. текста и примеч. В. Н. Сажина. СПб., 1997.

Хармс Д. И. *Случаи и вещи* / [Сост. и примеч. А. Дмитренко и В. Эрля]. 2-е изд. СПб., 2007. (Рукописи.)

Хармс Д. И. *Собрание произведений*: В 4 т. / Под редакцией М. Мейлаха и В. Эрля. Bremen, 1978–1988.

Хармс Д. *Из подборки стихов, представленных для вступления в Союз поэтов* / Публ. и подгот. текста Н. М. Кавина // Театр. 1991. № 11. С. 54–57.

Хармс Д. *Комедия города Петербурга*: (Фрагмент) // Театр. 1991. № 11. С. 63–67.

Хармс Д. *Лапа* / Вступ. ст. А. Герасимовой и А. Никитаева; подгот. текста А. Герасимовой и Ю. Гирба // Театр. 1991. № 11. С. 26–36.

Хармс Д. *Неоконченные драматические произведения* // Театр. 1991. № 11. С. 12–17.

Хармсиздат представляет "Советский эрос 30-х годов": Сб. материалов. СПб.: М. К.: Хармсиздат, 1997. 140, [3] с. ил.

Хармсиздат представляет: сб. материалов. СПб., 1995.

Чиж: Ежемесячный журнал для детей младшего возраста. Л., 1930–1941.

Чуковская Л. К. *Записки об Анне Ахматовой*: В 3 т. [5-е изд., испр. и доп.]. М., 1997.

Чуковский К. И. *Маленькие дети. Детский язык. Экикики: лепые нелепости.* Л., 1928.

Чуковский К. И. *Маленькие дети: Детские слова и разговоры. Экикики: лепые нелепицы. Читатели о детях.* 2-е изд., испр. и доп. Л., 1929.

Чуковский К. И. *Матерям о детских журналах.* СПб., 1911.

Чуковский К. И. *От двух до пяти.* 3-е *изд. "Маленьких детей".* Л., 1933.

Чуковский К. И. *Стихотворения* / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. М. С. Петровского (при участии О. Л. Канунниковой и Е. Б. Ефимова). СПб., 2002. (Новая библиотека поэта.)

Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 2006.

Шварц Е. Л. *Живу беспокойно…*: Из дневников / [Сост., подгот. текста и примеч. К. Н. Кириленко]. Л., 1990.

Шишман С. С. *Несколько веселых и грустных историй о Даниле Хармсе и его друзьях.* Л., 1991.

Шолем Г. *Основные течения в еврейской мистике* = Major trends in Jewish mysticism. М.; Иерусалим, 2004.

Шубинский В. И. *Абсолютный дворник.* http:// www.newkamera.de/lenchr/harms.html (размещено 25.04.2007)

Шубинский В. И. *Зодчий: Жизнь Николая Гумилева.* М., 2014.

Шубинский В. И. *Карлуша Миллер* // Октябрь. 2005. № 6. С.

179–187.

Шубинский В. И. *“Прекрасная махровая глупость”*: (Лидия Гинзбург, обэриуты и Бенедиктов) // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 406–416.

Шубинский В. И. *Пять жизней Ивана Павловича* // Вокруг света. 2010. № 11.

Шубинский В. И. *Ходасевич.* М., 2011. (ЖЗЛ.)

Шубинский В. И., Морев Г. А. *“Пусть меня расстреляют, но формы я не надену…”* Colta, 04.02.2014 http://www.colta.ru/articles/literature/1918

Ювачев И. П. *Война и вера: Очерки всемирной войны.* Пг., 1915.

Ювачев И. П. *Восемь лет на Сахалине* / [Соч.] И. П. Миролюбова. СПб., 1901.

Ювачев И. П. *Из воспоминаний старого моряка* // Морской сборник. Л., 1927. № 10.

Ювачев И. П. *Обзор погоды на* 1894 *в селении Рыковское, на о. Сахалин.* О. Сахалин, 1895.

Ювачев И. П. *Паломничество в Палестину к Гробу Господню: очерки путешествия в Константинополь, Малую Азию, Палестину, Египет и Грецию.* СПб., 1904.

Ювачев И. П. *Революция*: [Рассказ]. СПб., 1906.

Ювачев И. П. *Свод метеорологических наблюдений в селе Рыковское, на о. Сахалин.* Хабаровск, 1896.

Ювачев И. П. *Сыны века сего мудрее сынов царствия: (по поводу открытых писем и граммофонных пластинок).* СПб., 1912.

Ювачев И. П. *Тайны царства небесного.* СПб., 1910. Ч. 1.

Ювачев И. П. *Шестая труба.* СПб., 1905.

Ювачев И. П. *Шлиссельбургская крепость.* М., 1907.

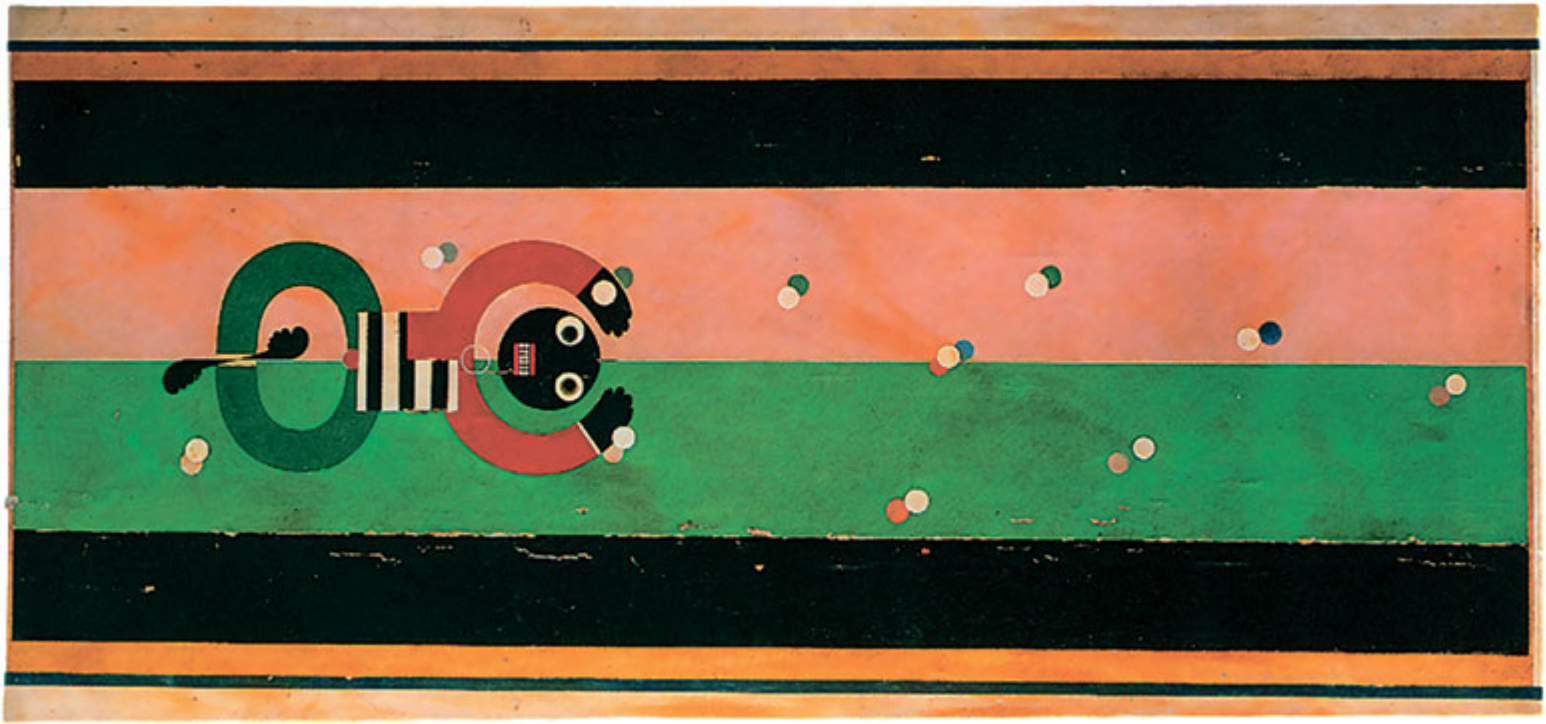
Ювачев И. П. *Между миром и монастырем*: Очерки и рассказы. М., 1998.

Ямпольский М. Б. *Беспамятство как исток*: (Читая Хармса). М., 1998. (Новое литературное обозрение, вып. 11. Научное приложение.)

Вкладка

Поэт (Даниил Хармс). Портрет работы А. Порет. 1939 г.

Буддийский храм (1909–1915, архитектор Г. В. Барановский) в Санкт-Петербурге на Приморском проспекте (до 1947 г. – Стародеревенская улица). Район Буддийского храма – одно из любимых мест прогулок Даниила Хармса. Фото А. Куликова, 2008 г.



Житель Америки. Картина П. Мансурова, 1928 г. Принадлежала Д. Хармсу.

в ленинградский институт художественной культуры

ЗАЯВЛЕНИЕ

организовавшаяся театральная группа «Радикс» экспе=
рементирующая в области внеэмоционального и бессюжет=
ного искусства ставящая своей целью создания произве=
дения чистого театра в неподчинении его литературе —
— все моменты входящие в композицию представления
РАВНОЦЕННЫ

просит дать ей помещение в белом
зале И. Х. К. для лабораторно —
— репетиционных работ на утреннее
время

ОРГАНИЗАТОРЫ «РАДИКС»

движение Режиссер Георгий Кох-Бор

звук Режиссёр Сергей Цимбал

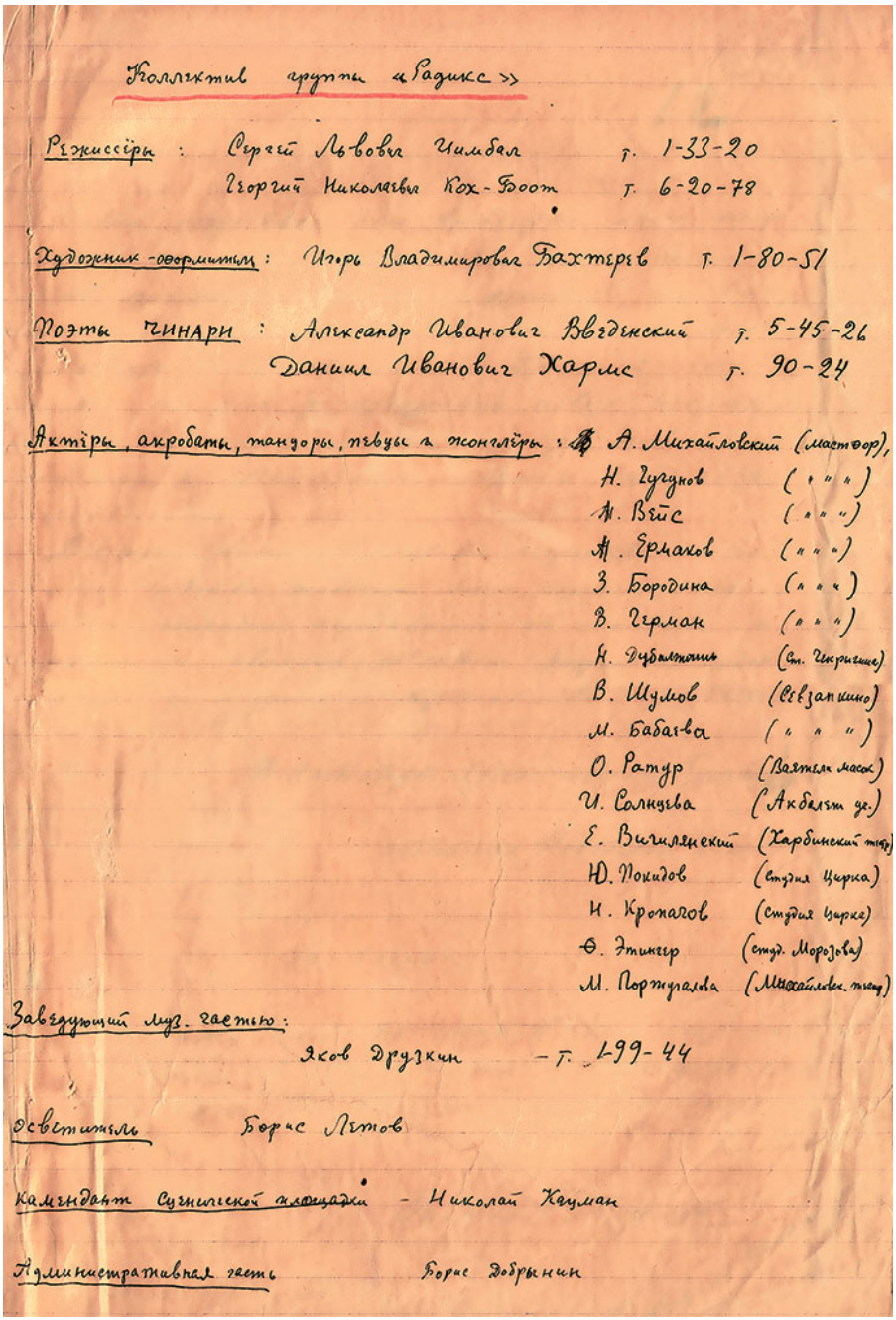
пластика Художник И. Бахтер

слово Авто-ритет бессмыслицы Чинав Александр

слово поэт-чинарь Даниил Хармс

Ленинград
1926 12 октября

Заявление участников театральной группы “Радикс” (Г. Кох-Боот (Кацман), С. Цимбал, И. Бехтерев, А. Введенский, Д. Хармс) в Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК) с просьбой о предоставлении помещения для репетиций и приложенный к нему список участников “Радикса”. Заявление было передано К. Малевичу 12 октября 1926 г.



Коллектив группы «Радикс»

Режиссёры: Сергей Львович Цимбал т. 1-33-20
Георгий Николаевич Кох-Боот т. 6-20-78

Художник-оформитель: Игорь Владимирович Бахтерев т. 1-80-51

Поэты ЧИНАРИ: Александр Иванович Введенский т. 5-45-26
Даниил Иванович Хармс т. 90-24

Актёры, акробаты, танцоры, певцы и жонглёры: А. Михайловский (мастфор),
Н. Гугунов (" " ")
Н. Вейс (" " ")
А. Ермаков (" " ")
З. Бородина (" " ")
В. Герман (" " ")
Н. Дубалтович (Ст. Чекрыгина)
В. Шумов (Севзапкино)
М. Бабаева (" " ")
О. Ратур (Ваятели масок)
И. Солнцева (Акбалет уч.)
Е. Вичилянский (Харбинский театр)
Ю. Покидов (Студия Цирка)
Н. Кропачов (Студия Цирка)
Ѳ. Этингер (студ. Морозова)
М. Португалова (Михайловск. театр)

Заведующий муз. частью:
Яков Друзкин – т. 1-99-44

Осветитель Борис Летов

Комендант Сценической площадки – Николай Кацман

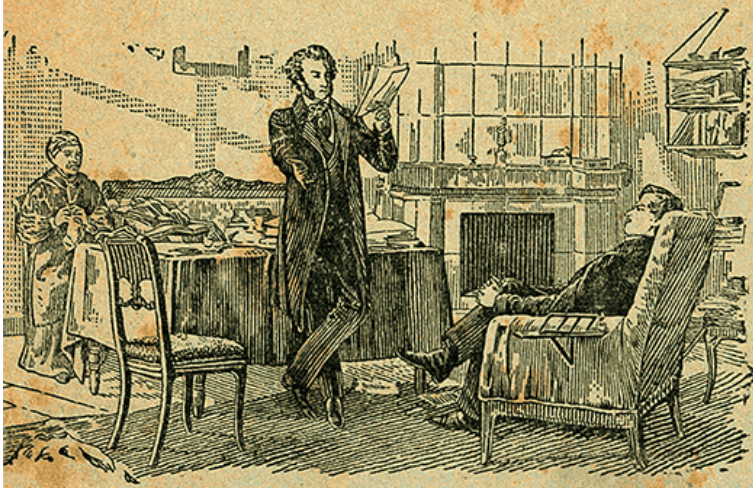
Административная часть Борис Добрынин

Импровизации на темы произведений Даниила Хармса (?). Рисунки А. Порет, 1930-е гг.

100 ЛЕТ

СО ДНЯ СМЕРТИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА А. С. ПУШКИНА

10 февраля (29 января) 1837 г. —— 10 февраля 1937 г.



А. С. Пушкин в селе Михайловском (С картины Н. Н. Ге)

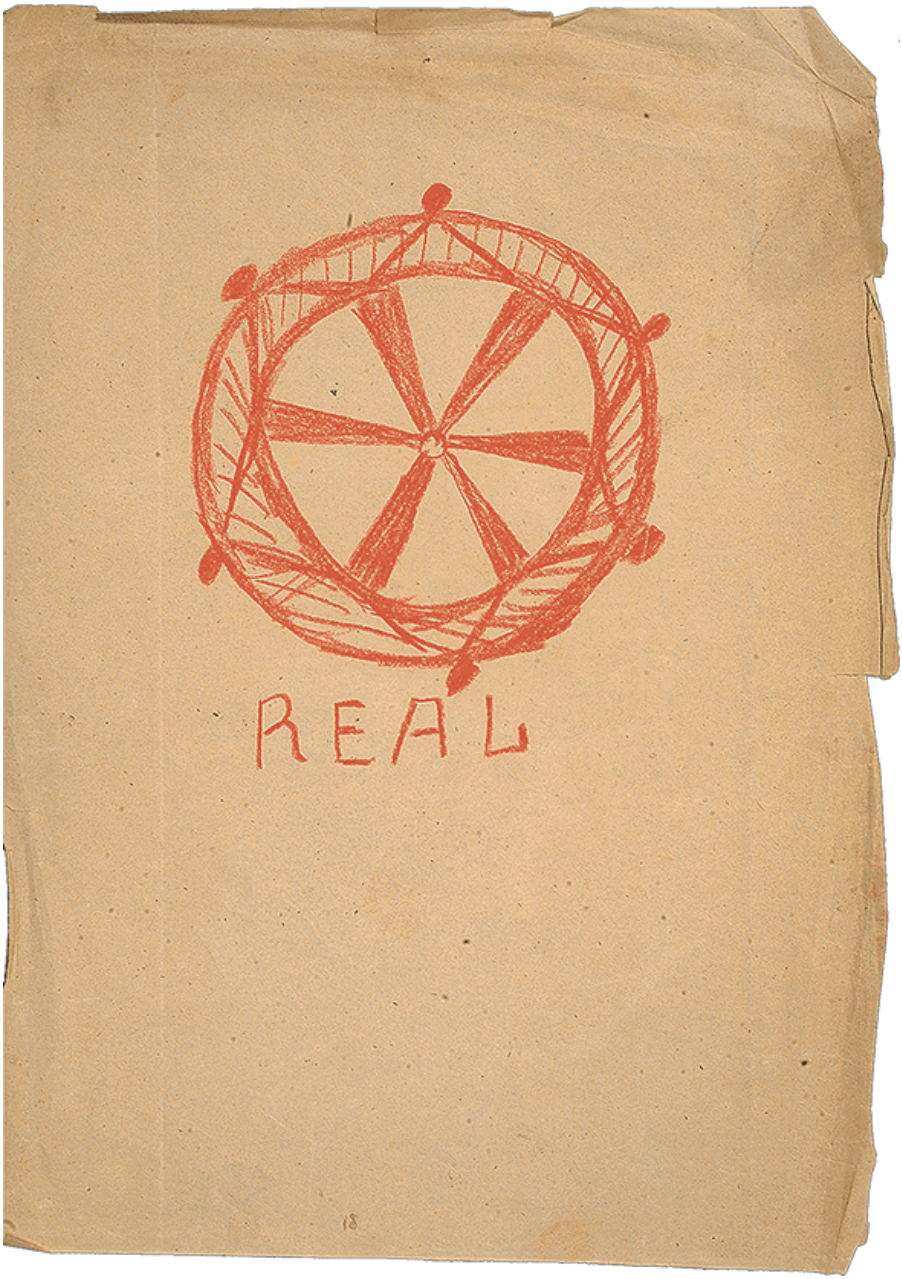
Гармониус

ТЕТРАДЬ

по_____ учен____ класса

_____ школы____

Тетрадь “Гармониус”, содержащая автографы произведений Д. Хармса 1937–1938 гг… Обложка.



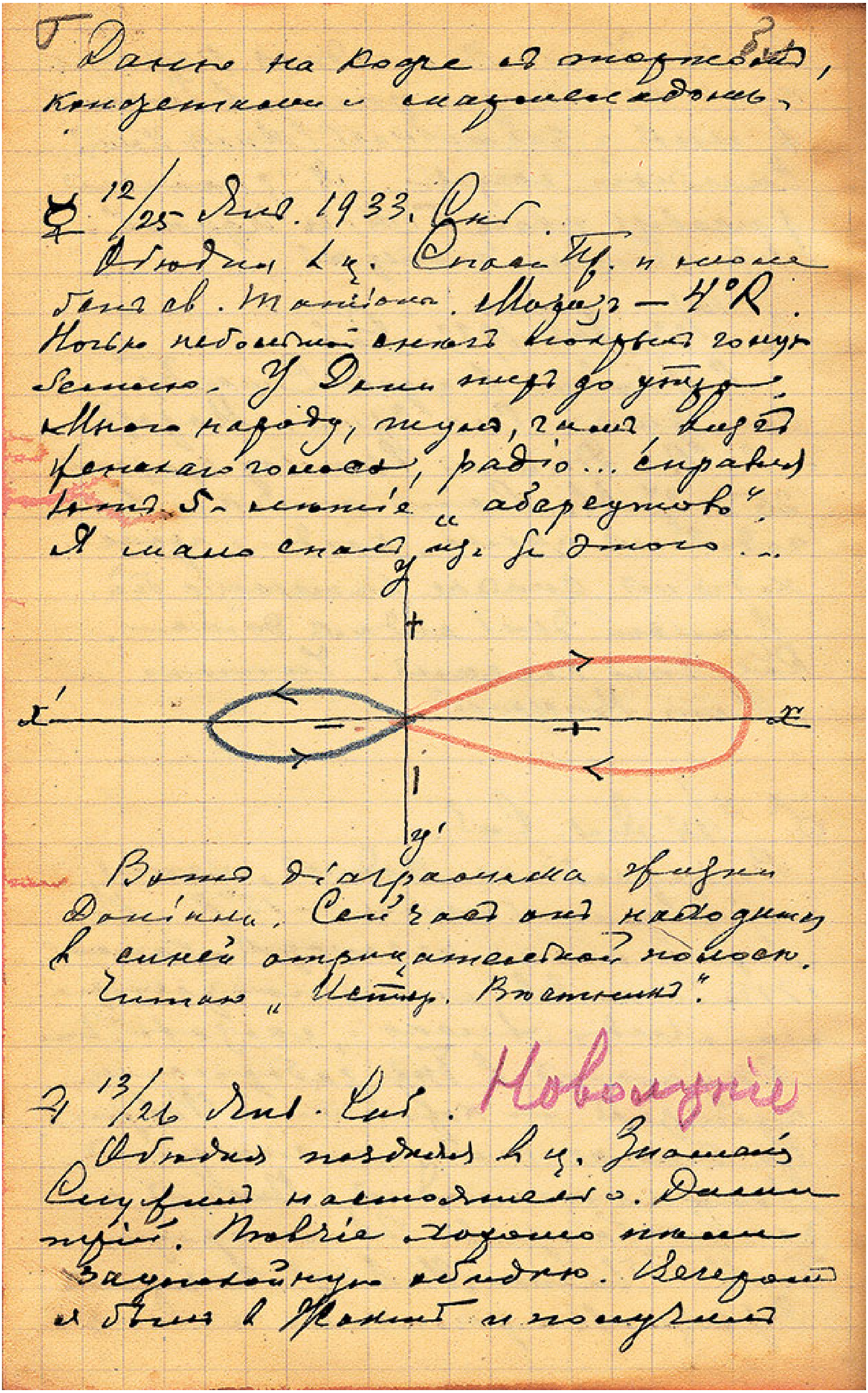
“Real”. Рисунок Д. Хармса, 1930-е гг.

Египетский крест и другие знаки. Рисунок Д. Хармса, 1930-е гг.

Портретные зарисовки (в овале слева – шарж на Алексея Толстого). Рисунок Д. Хармса, 1930-е гг.

Д. Хармс, Т. Липавская и Л. Липавский. Рисунок Д. Хармса, 1930-е гг.

Т. Липавская и Л. Липавский. Рисунок Д. Хармса, 1930-е гг.


[illegible]
[illegible]

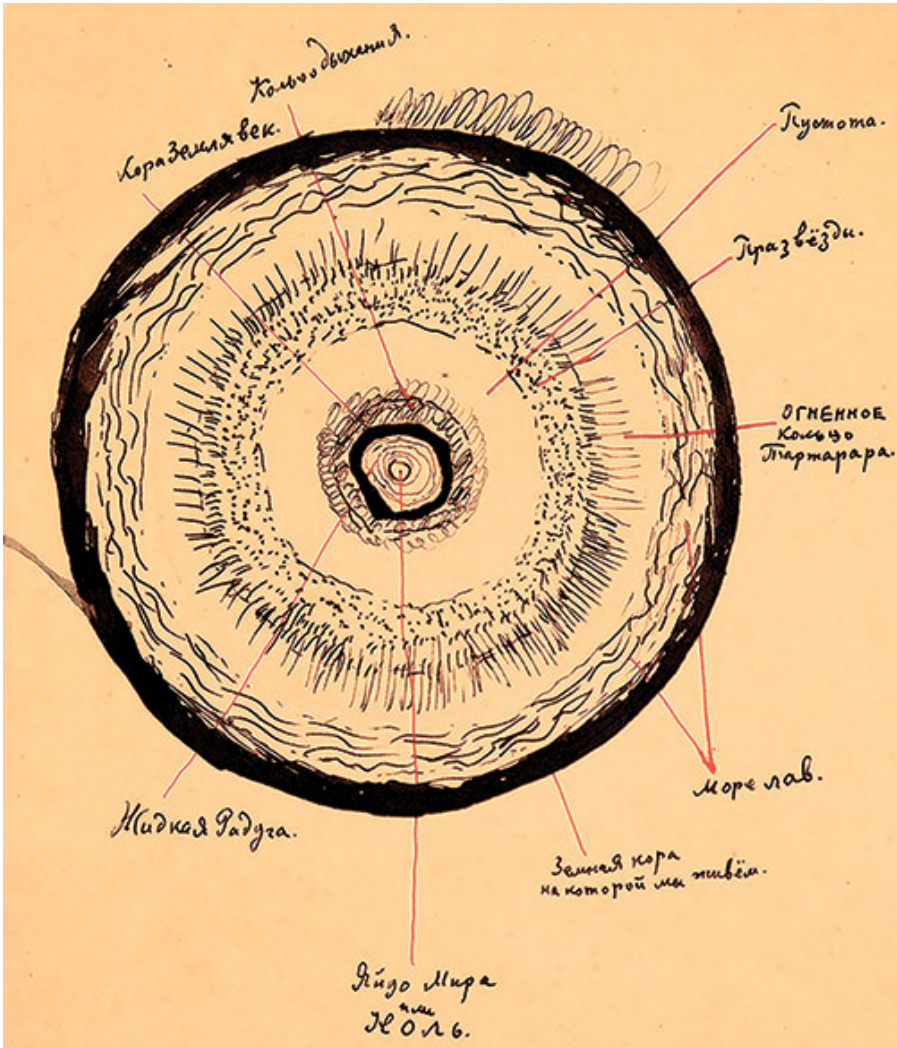
☿ 12/25 Янв. 1933. Спб.
Обѣдня въ ц. Спас. Пр. и молебенъ св. Мартиніана. Морозъ — 4°R. Ночью небольшой снѣгъ покрылъ голую землю. У Дани пиръ до утра. Много народу, шума, гамъ, визгъ женскаго голоса, радіо... справляли 5-лѣтіе „абереутовъ“. Я мало спалъ изъ-за этого...

Вотъ діаграмма жизни Даніила. Сейчасъ онъ находится въ синей отрицательной полосѣ. Читаю „Истор. Вѣстникъ“.

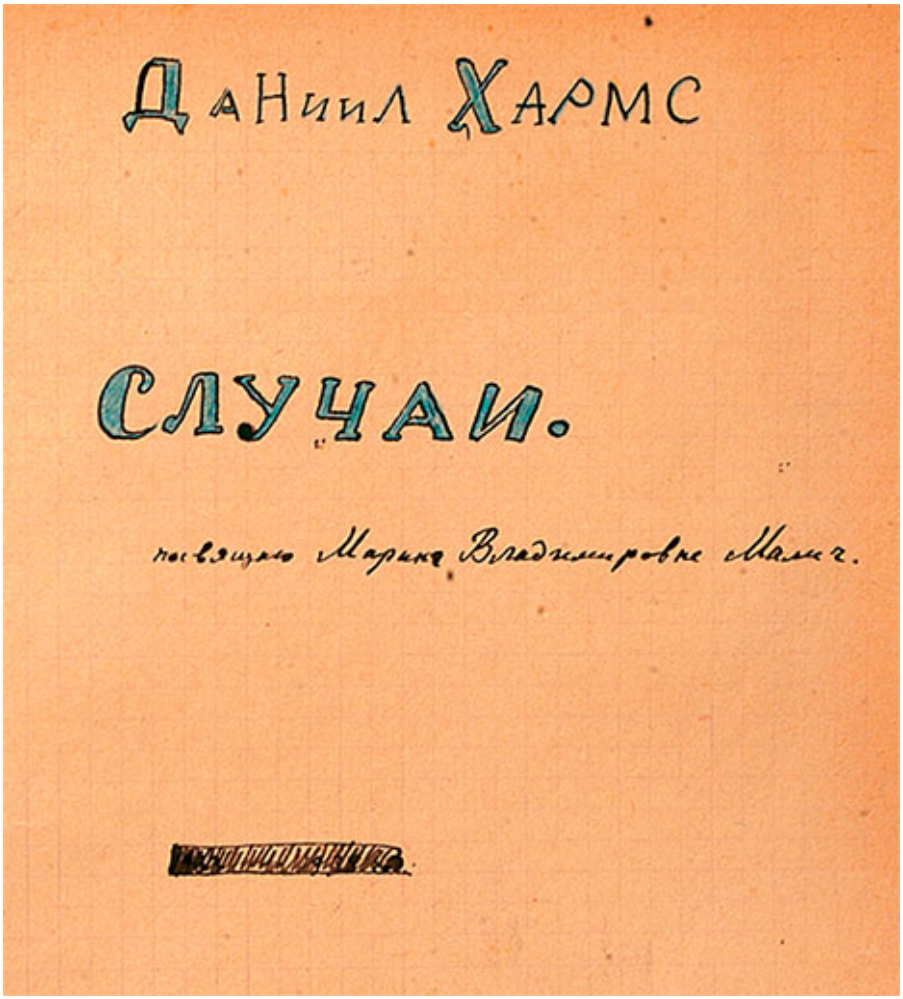
♃ 13/26 Янв. Спб. Новолуніе
Обѣдня поздняя въ ц. Знаменія. Служилъ настоятель о. Димитрій. Пѣвчіе хорошо пѣли Заупокойную обѣдню. Вечеромъ я былъ въ Жактѣ и получилъ

Страница дневника И. П. Ювачева с “диаграммой жизни Даниила” и записью о праздновании пятилетия “абереутова”, 25

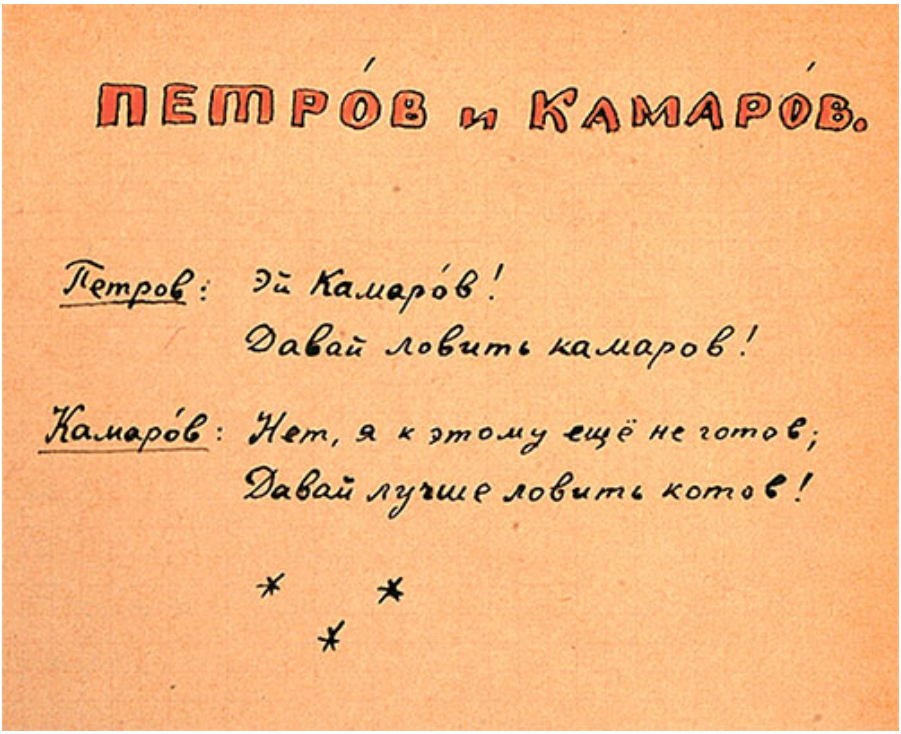
января 1933 г.



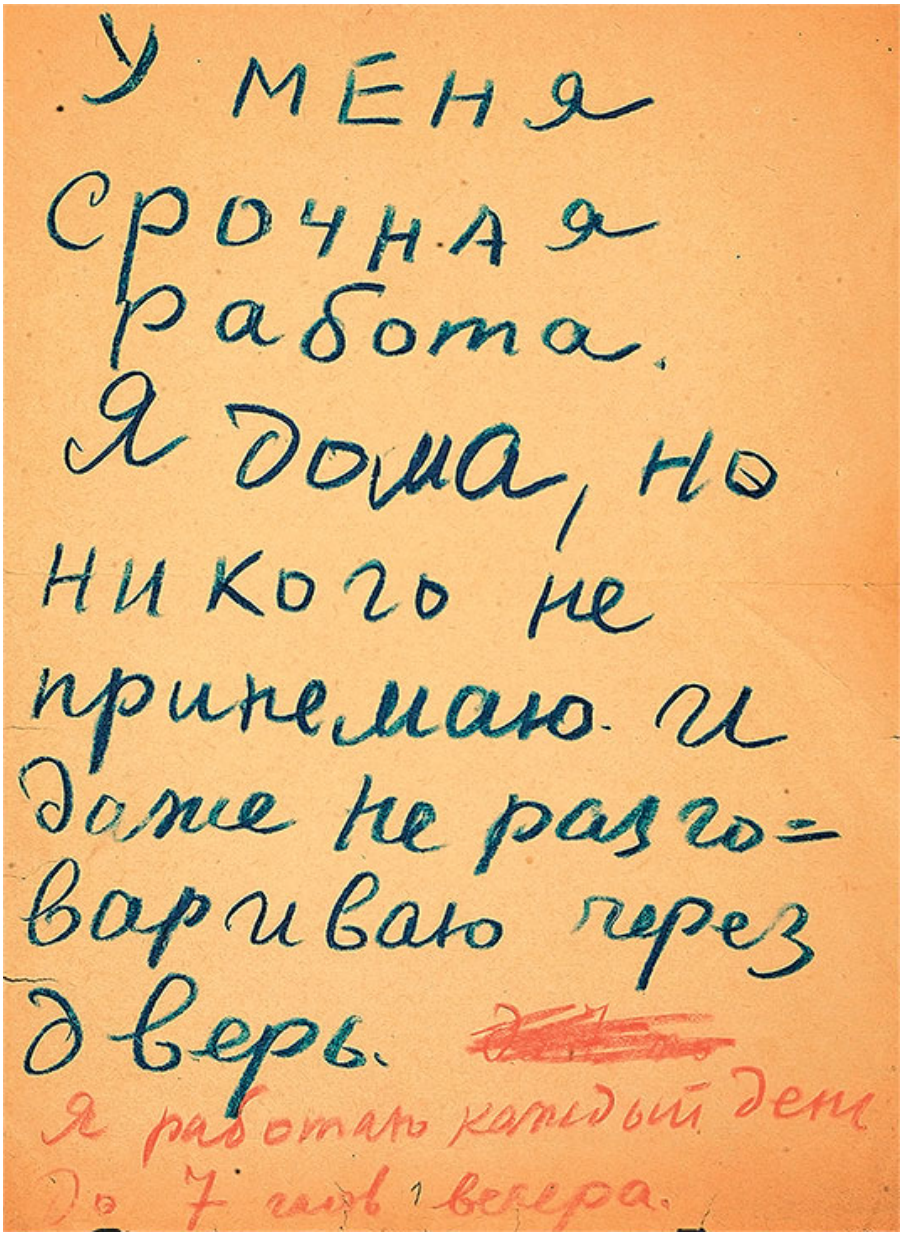
“Яйцо Мира, или Ноль”. Рисунок Д. Хармса, 1930-е гг.



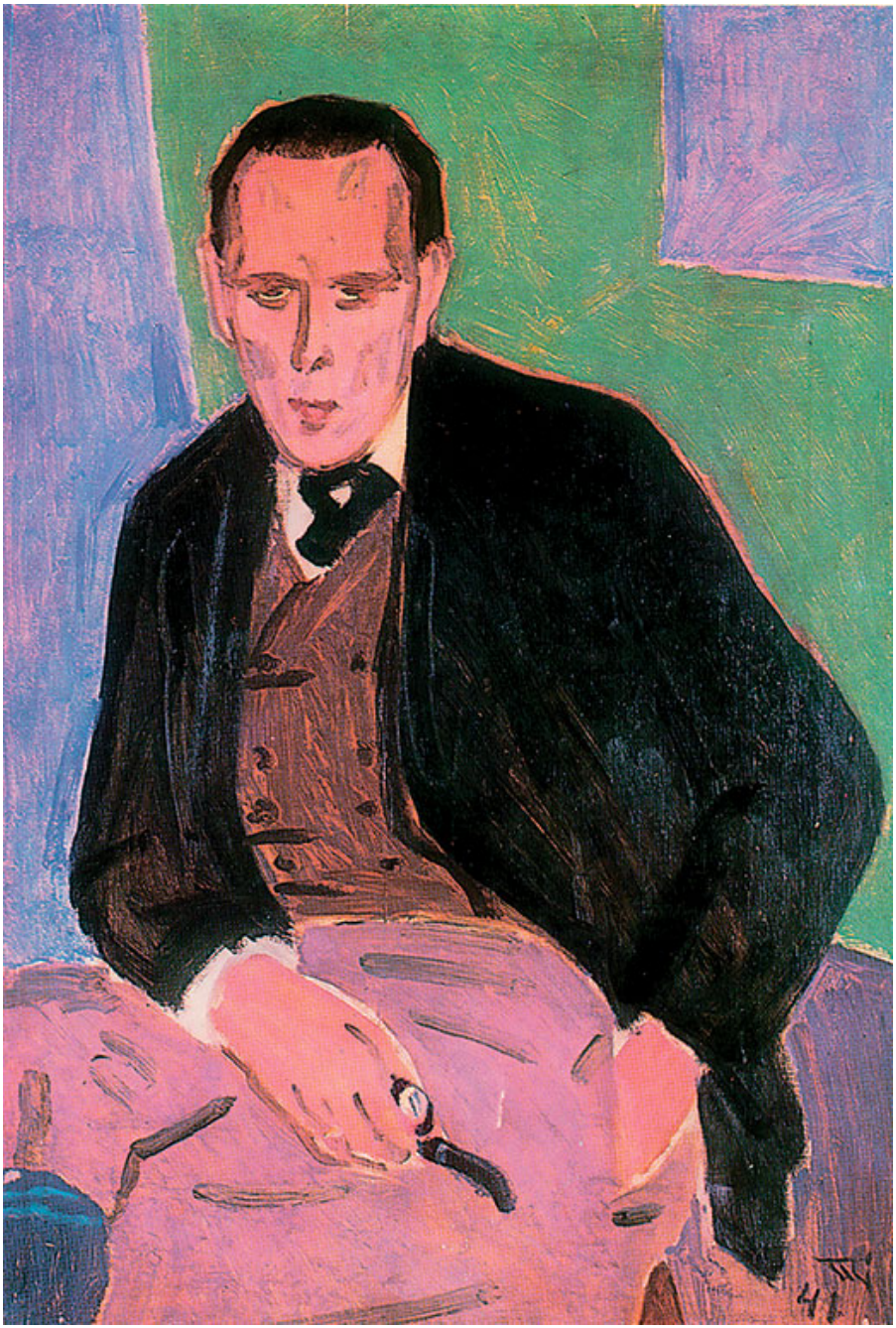
Рукописный сборник “Случаи”, содержащий автографы произведений Д. Хармса 1933–1939 гг. Титульный лист.



Рукописный сборник “Случаи”. Разворот с автографом рассказа “Петров и Камаров”.

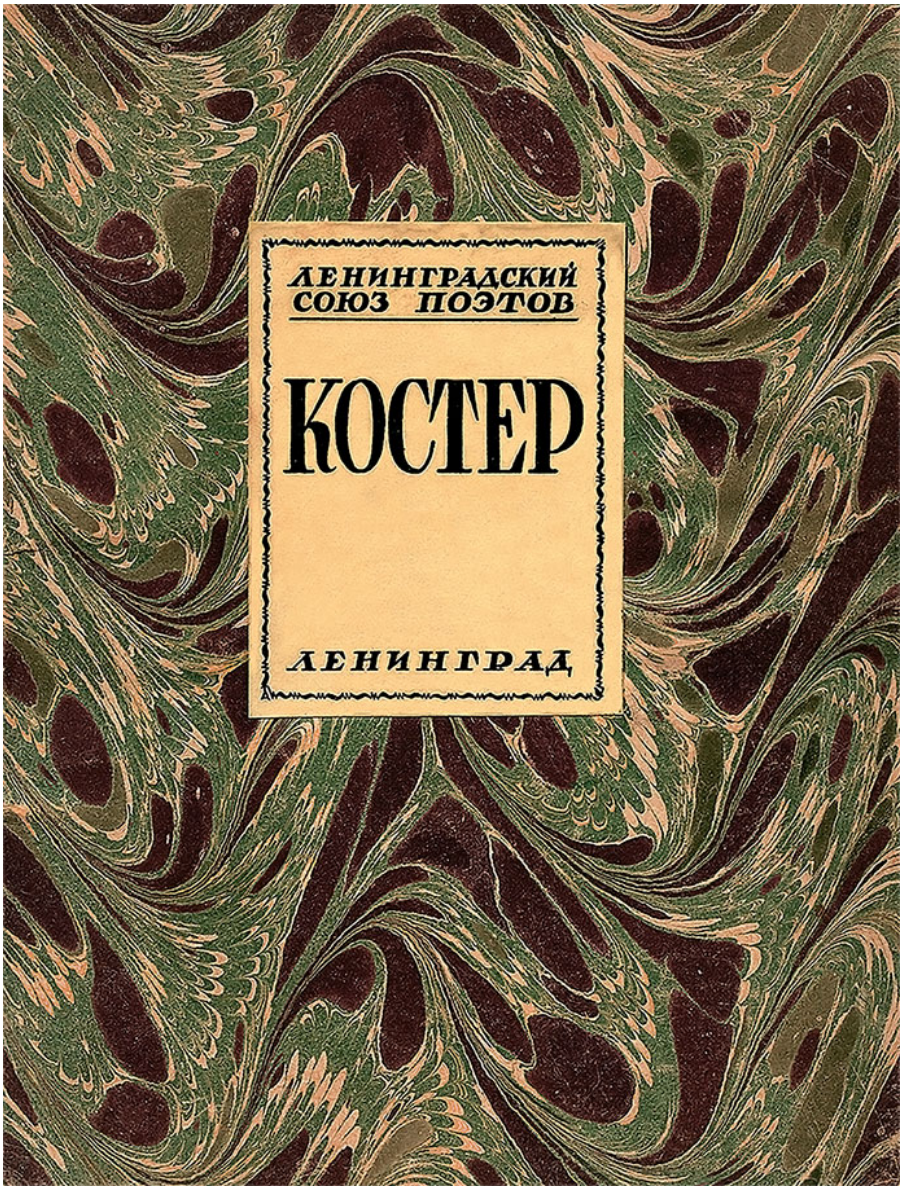


Записка Даниила Хармса для гостей, 1933–1934 (?) гг.



Даниил Хармс. Портрет работы В. Гринберга, 1941 г.

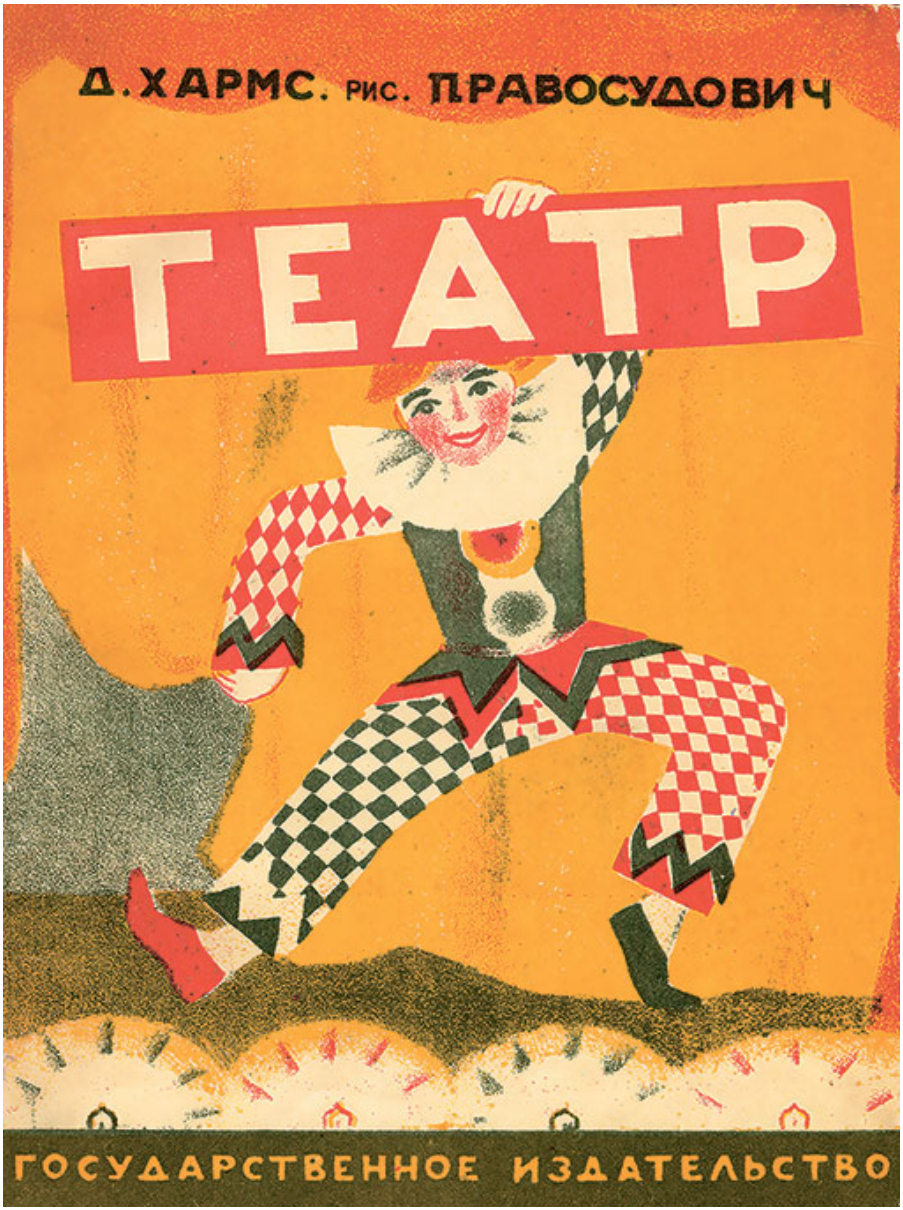
Коллективный сборник “Собрание стихотворений” (Л., 1926), выпущенный Ленинградским отделением Всероссийского союза поэтов. В этом сборнике напечатано стихотворение “Случай на железной дороге” – это первая публикация Д. Хармса.



Коллективный сборник “Костер” (Л., 1927), выпущенный Ленинградским отделением Всероссийского союза поэтов. В этом сборнике напечатано стихотворение Д. Хармса “Стих Петра-Яшкина <-Коммуниста>” (слово “Коммунист”, по-видимому, было изъято по цензурным соображениям).

Книга Д. Хармса “О том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил” (Л., 1928). Рисунки Е. Эвенбах. Первая и последняя страницы обложки.

Книга Д. Хармса “О том, как папа застрелил мне хорька” (Л., 1930). Рисунки Ю. Васнецова. Первая страница обложки.



Книга Д. Хармса “Театр” (Л., 1928). Рисунки Т. Правосудович. Первая страница обложки.

“Ёж в 1929 году”. Рекламный буклет. Первая и последняя страницы обложки и разворот:

БЕСПЛАТНО.

Я испек себе пирог
И уселся на порог.
Запустил под корку нож,
А оттуда вылез ЕЖ.

Я купил себе журнал
И пошел на сеновал.
Стал читать его — и что ж?
Из журнала вылез ЕЖ.

ЁЖ

в 1929 году

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ „ЕЖ“ в 1929 г.

1. Примет шефство над ребятами „Красного Путиловца“.
2. Заключит договор о дружбе и взаимной помощи с одним из пионерских журналов за границей.
3. Один раз в месяц будет говорить со своими читателями по радио через Ленинградскую и Московскую радио-станции.
4. Выпустит специальный „школьный“ номер.
5. Пошлет корреспондентов за границу: известного писателя Юрия Тынянова в Германию, художницу Е. Морозову в Мексику, журналиста Николая Крылова в Японию, доктора Домбровского в Англию и т. д.

6. Командирует корреспондентов-пешеходов, писателей Евгения Шварца и Георгия Куклина по СССР.
7. Устроит конкурс с присуждением премии лучшей группе октябрят и лучшему ШУСу.
8. Организует праздник „ЕЖА“ во всех пунктах СССР, где проживают не менее 300 подписчиков „Ежа“.
9. Организует переписку читателей „ЕЖА“ между собой и с заграничными товарищами.
10. Возьмет на себя комплектование библиотечек для школ, отрядов и отдельных лиц с предоставлением льготных условий подписчикам.

ОТДЕЛЫ „ЕЖА“

Романы, повести, рассказы, сказки, стихи, песни.

ТОВАРИЩ ЕЖ Новости в школе и в отряде. Как живут ребята у нас и в других странах. Рассказы о старой и новой школе. Школьные истории. Война скаутов с пионерами. Дети — революционеры.

ЗОРКИЙ ГЛАЗ Развитие внимания и наблюдательности. Упражнения и задачи: как узнать породу птицы по одному перу; как определить качество стали и перочинных ножиков; как отличить прямую ткань от непрочной; как узнать, из какого дерева сделана мебель в комнате; как отличить советский самолет от иностранного и т. п.

КАРТА С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ Письма со всего света о путешествиях, приключениях, открытиях. Подлинные рассказы путешественников.

ГОВОРИТ ЕЖ Самое интересное в общих и детских газетах, книгах и журналах. Важнейшие события. Политические новости. Перепечатка лучших карикатур и карикатур. Полемика „Ежа“ с газетой „Таймс“. Лучшие книги за месяц и т. д.

ЛЕСНОЙ КЛУБ Записи и дневники юных охотников, рыболовов, собирателей трав и цветов. Биостанция „Ежа“.

МУЗЕЙ ЕЖА История вещей. Самые большие и самые маленькие предметы. Знаменитые вещи. Как пользоваться вещами. Вещи, которые появились сегодня и которые появятся завтра. (Что старше: нож или вилка; какие щипцы были 500 лет тому назад; самолет-великан и самолет-кузнечик, новейший планетарий, поезд-ракета.)

ВЕСЕЛЫЙ ОТДЕЛ Смешные рассказы, анекдоты, веселые истории в рисунках, картинки без слов и т. п.

МОЛОДОЙ МАСТЕР Клуб самодельщиков. Практические советы и указания. Переписка молодых мастеров между собой. Как сделать полезную вещь при помощи простейших инструментов.

ЦИРК, КИНО, ТЕАТР Новые фильмы у нас и за границей. Любимые артисты. Дети в цирке и кино. Революционный театр. Борьба старого и нового в кино и театре. Техника цирковой работы и кино-работы. Шутки. Интересные случаи.

ФОКУСЫ, ЗАГАДКИ

“Ёж в 1930 году”. Рекламный буклет. Первая и последняя страницы обложки и разворот с первой публикацией стихотворения С. Маршака и Д. Хармса “Веселые чижи”.

Книга Д. Хармса “Озорная пробка” (Л., 1928). Рисунки Е. Сафоновой. Первая страница обложки.

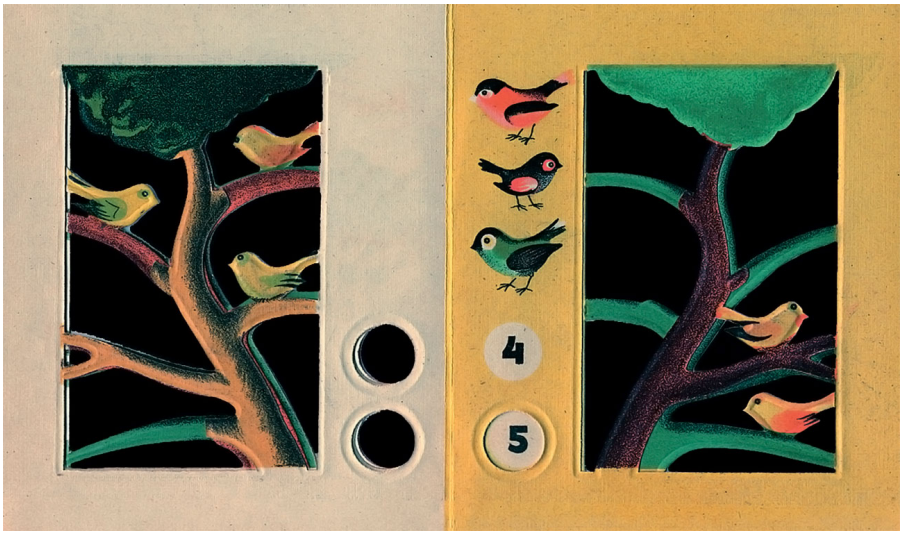
Книга Д. Хармса “О том, как старушка чернила покупала” (Л., 1929). Рисунки Э. Криммера. Первая страница обложки.

Книга Д. Хармса “Во-первых и во-вторых” (Л., 1929). Рисунки В. Татлина. Первая страница обложки.

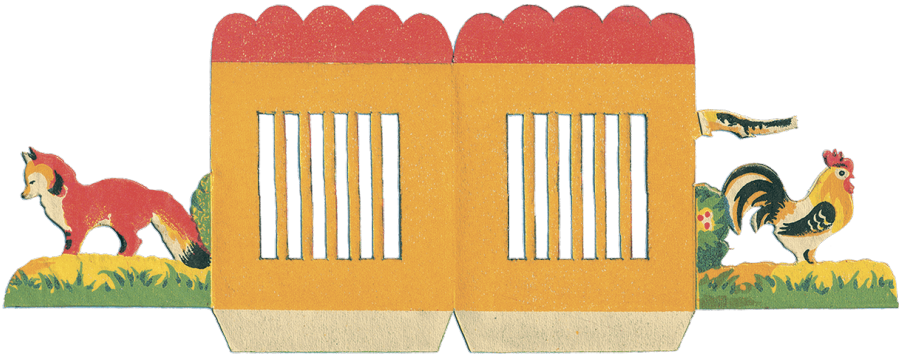
СЧИТАЛОЧКА

Прилетели
Свиристели,
На мою рябину
Сели.
Раз, два, три, четыре, пять!
Всех успею сосчитать.

Пели,
Пели,
Пели,
Пели,
А потом
И улетели!
Раз, два, три, четыре, пять!
Больше некого считать!



Книжка-игрушка “Считалочка” (Л., 1938) со стихотворением Д. Хармса. Оформление Л. Юдина.



ПЕТУХ и ЛИСА

И.К.М.П.—Р.С.Ф.С.Р.—ЛОУИП
ФАБРИКА ПЕЧАТНЫХ ИГР
ЛЕНИНГРАД 1941 г.

ПЕТУХ и ЛИСА

Лиса поймала петуха
И посадила в клетку.
„Я откормлю вас, ха-ха-ха!
И съем вас, как конфетку!"

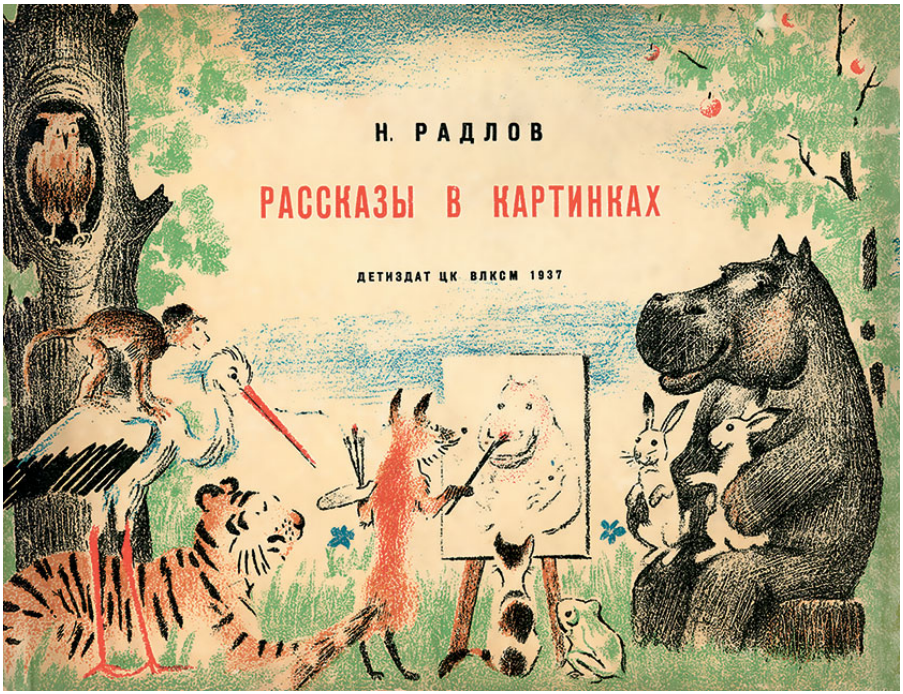
Ушла лисица, но в замок
Забыла сунуть ветку.
Петух скорей из клетки скок
И спрятался за клетку.

Не видя в клетке петуха,
Лисица влезла в клетку.
Петух же крикнул: „ха-ха-ха!"
И запер дверь на ветку.

Даниил Хармс

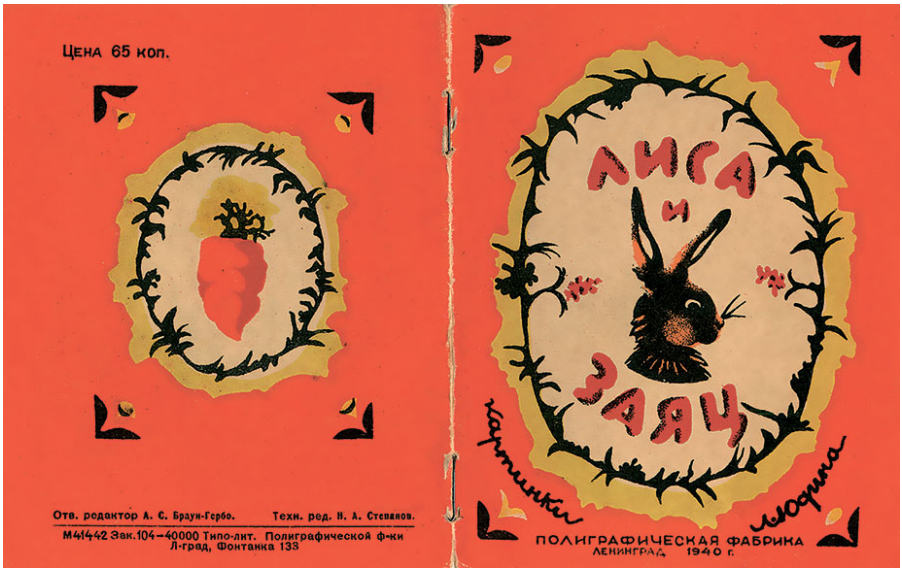
Отв. ред. А. Браун-Гербо.
М 28585 з. 105—50000. Типо-лит. ф-ки Печатных игр

Книжка-игрушка “Петух и лиса” (Л., 1941) со стихотворением Д. Хармса во вкладыше. Оформление Л. Юдина.

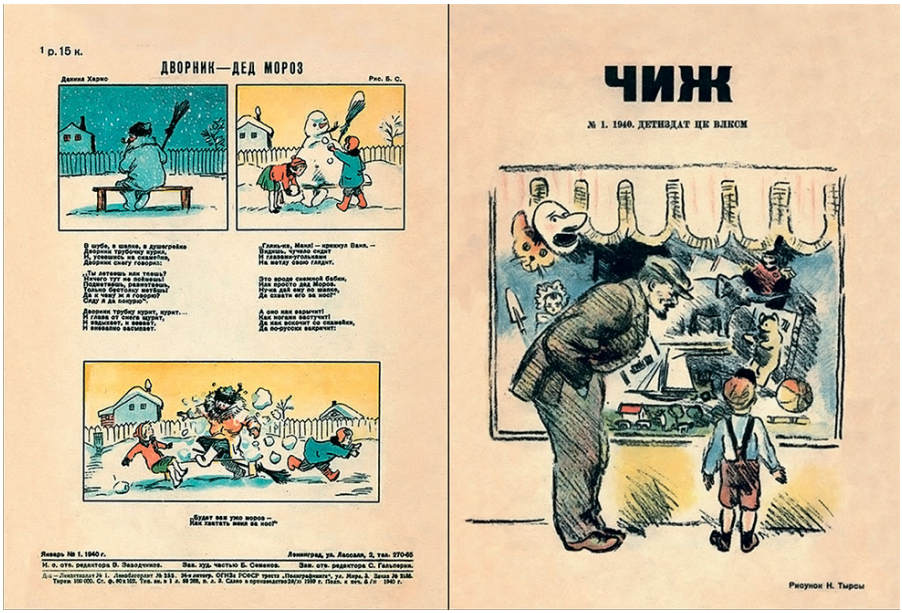


Книга Николая Радлова “Рассказы в картинках” (Л., 1937) с текстами Даниила Хармса, Нины Гернет и Наталии Дилакторской. Первая страница обложки.

Первая публикация стихотворения Д. Хармса “Из дома вышел человек” (Чиж. 1937. № 3). Художественное оформление И. Шабанова.



Книга Д. Хармса “Лиса и заяц” (Л., 1940). Рисунки Л. Юдина. Первая и последняя страницы обложки и разворот.



Журнал “Чиж” (1940. № 1). Первая страница обложки с рисунком Н. Тырсы. На последней странице обложки стихотворение Д. Хармса “Дворник – Дед Мороз” с рисунком Б. Семенова.

Журнал “Чиж” (1941. № 6). На первой странице обложки рисунок Н. Тырсы. На последней странице обложки стихотворение Д. Хармса с рисунком Л. Юдина.

К иллюстрациям

В настоящем издании непосредственно с подлинников воспроизведен ряд архивных материалов, хранящихся в следующих собраниях:

Отдел рукописей и редких книг Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)

Рукописный отдел и Музей Института русской литературы (Пушкинского Дома) (Санкт-Петербург)

Государственный архив Тверской области (Тверь)

Центральный государственный архив литературы и искусства (Санкт-Петербург)

Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Архив Государственного музея городской скульптуры (Санкт-Петербург)

Рукописный отдел Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга

В подборке иллюстраций также использованы обширные архивы фотокопий, любезно предоставленные для публикации Н.М. Кавиным и В.И. Эрлем. Отдельные материалы воспроизведены по изданиям, указанным в разделе “Избранная библиография”.

Осуществлена идея собрать максимально полную иконографию Даниила Хармса.

Об авторе этой книги

Валерий Игоревич Шубинский родился 16 января 1965 года в Киеве. В Ленинграде живет с 1972 года. Закончил Финансово-экономический институт, короткое время работал по распределению, затем – экскурсоводом, редактором, газетным корреспондентом. С 1998 года – член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Начиная с 1984 года печатал стихи, прозу, переводы, критические и историко-литературные статьи в российских и зарубежных журналах (“Континент”, “Новый мир”, “Знамя”, “Октябрь”, “Звезда”, “Вестник новой литературы”, “Новое литературное обозрение”, “Новая русская книга” и др.). Выпустил пять книг стихотворений: “Балтийский сон” (1989; в составе коллективного сборника “Камера хранения”), “Сто стихотворений” (1994), “Имена немых” (1998), “Золотой век” (2007) и “Вверх по теченью” (2012), книгу рассказов “Ученые собратья” (2011). Опубликовал несколько десятков исследовательских и критических статей о современной поэзии, культуре Серебряного века, о Петербурге как феномене истории и культуры. С 2002 года – один из кураторов интернет-сайта “Новая камера хранения” (www.newkamera.de). Член жюри премии “Дебют” (2012).

Автор биографий Н.С. Гумилева, М.В. Ломоносова, В.Ф. Ходасевича, Г.А. Гапона. Книга “Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру” впервые была опубликована в издательстве “Вита Нова” в 2008 году.

notes

Сноски

1

Произведения Даниила Хармса цитируются по следующим изданиям: Хармс Д.И. *Полное собрание сочинений*: В 4 т. / Сост., подгот. текста и примеч. В.Н. Сажина. СПб.: Акад. проект, 1997; Хармс Д.И. *Неизданный Хармс: Полн. собр. сочинений: Трактаты и статьи. Письма.* Доп. к т. 1–3. СПб.: Акад. проект, 2001; Хармс Д.И. *Записные книжки. Дневник*: В 2 кн. СПб.: Акад. проект, 2002. (Полное собрание сочинений); Хармс Д.И. *Дней катыбр: избр. стихотворения. Поэмы. Драм. произведения* / Сост., вступ. статья и примеч. М. Мейлаха. Подгот. текста М. Мейлаха и В. Эрля. М.; Кайенна: Гилея, 1999; Хармс Д.И. *Случаи и вещи* / Сост. и примеч. А. Дмитренко и В. Эрля. СПб.: Вита Нова, 2004. В большинстве случаев орфография и пунктуация приведены в соответствие с новейшими нормами.

2

“Убежище для женщин, выходящих из тюрем Санкт-Петербурга”. СПб., 1872. С. 1–2.

3

“Благотворительные учреждения Российской Империи”. СПб., 1898. С. 671, 708.

4

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (с 1898 г.) Антоний, в миру А.В. Вадковский (1846–1912), принимал участие в судьбах работниц, живших в Убежище для женщин, чем и объясняется близкое знакомство с ним Н.И. Колюбакиной. Упоминается в переписке Ювачева с Колюбакиной этого времени.

5

Цит. по: Строганова Е. Н. *К биографии Даниила Хармса: Предыстория семьи в письмах родителей //* Фольклор, постфольклор, быт, литература: Сб. статей к 60-летию Александра Федоровича Белоусова. СПб., 2006. С. 313–314.

6

Ювачев И.П. *Из воспоминаний старого моряка* // Морской сборник. Л., 1927. № 10. С. 10.

7

Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. 911. Оп. 1. Д. 13.

8

Ювачев И.П. *Из воспоминаний старого моряка.* С. 81.

9

См.: Ашенбреннер М.Ю. *Военная организация Народной воли и другие воспоминания.* М., 1924. С. 24, 106–114, 170–173.

10

Ювачев И.П. *Из воспоминаний старого моряка.* С. 81.

11

Есть и другая точка зрения, согласно которой Судейкина, честного борца с революцией, оклеветали. К судьбе Ивана Ювачева это, впрочем, прямого отношения не имеет.

12

Ювачев И.П. (Миролюбов И.П.). *Шлиссельбургская крепость.* М., 1907. С. 5.

13

Центральный государственный архив Дальнего Востока (Томск). Ф. 702. Оп. 4. Ед. хр. 93. Л. 36–37.

14

См.: *“Мне кажется, я люблю ее и любил искренно…”: Эпистолярный дневник Ивана Ювачева* / Вступ. статья Е.Н. Строгановой, подгот. текста и примеч. Е.Н. Строгановой, А.И. Новиковой // Новый мир. 2001. № 6. С. 128–158.

15

См.: Гаген-Торн Н. *Л.Я. Штернберг. Жизнь в науке.* М., 1975.

16

Чехов А.П. *Полное собрание сочинений*: В 30 т. Т. 14–15. М., 1987. С. 160.

17

Маковецкий Д.П. *У Толстого* // Литературное наследство. Т. 90. М., 1979. С. 474–476.

Ювачев И.П. *Восемь лет на Сахалине.* СПб., 1903.

19

На самом деле Николай II был ниже среднего роста.

20

ГАТО. Ф. 911. Оп. 1. Д. 4. Ч. 2.

21

ГАТО. Ф. 911. Оп. 1. Д. 13.

22

Там же.

23

ГАТО. Ф. 911. Оп. 1. Д. 4. Ч. 1.

Чин, соответствовавший подполковнику.

25

“Мне кажется, я люблю ее и любил искренно…”. С. 149.

Ювачев И.П. *Между миром и монастырем.* М., 1998. С. 234.

Маковецкий Д.П. *У Толстого* // Литературное наследство. М., 1979. Т. 90. С. 474.

28

ГАТО. Ф. 911. Оп. 1. Д. 4. Ч. 3.

29

Маковецкий Д.П. *У Толстого.* С. 474.

30

Ювачев И.П. *Революция.* СПб., 1906. С. 6–7. (Отдельный оттиск из журнала “Доброе слово”.)

31

В оригинале описка: “дней”.

Крусанов А. *Хроника жизни и творчества Даниила Хармса* // Хармс Д.И. *Случаи и вещи.* СПб., 2004. С. 413.

33

ГАТО. Ф. 911. Оп. 1. Д. 2.

34

Там же.

35

ГАТО. Ф. 911. Оп. 1. Д. 1.

36

Еще одна девочка, Мария, умерла в 1907 году, прожив всего несколько часов.

37

Вероятно, имеются в виду деньги, выдаваемые на руки после вычетов в пенсионную кассу, которые были почти обязательными для служащих. Оклад Ивана Павловича составлял в 1911 году 150 рублей в месяц. К 1915 году он вырос до 250 рублей.

Строганова Е.Н. *Из ранних лет Даниила Хармса //* Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 77.

39

Там же. С. 68–70.

Так, с прописной буквы, употреблялось порою это слово в переписке Ювачевых.

41

Строганова Е.Н. *Из ранних лет Данишла Хармса.* С. 68–70.

42

Елизавета Ивановна Грицына вспоминает // Театр. 1994. № 11. С. 39.

43

Строганова Е.Н. *Из ранних лет Данишла Хармса.* С. 71–72.

Там же.

45

Там же.

Строганова Е.Н. *Из ранних лет Данишла Хармса.* С. 71–72.

Чуковский К.И. *Матерям о детских журналах.* СПб., 1911. С. 16.

Городецкий С. *Ия.* СПб., 1911.

Задушевное слово для маленьких. 1910. № 1. С. 30.

50

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее – ЦГИА СПб.). Ф. 272. Оп. 1. Д. 917.

Напр.: Ювачев И.П. *Война и вера: Очерки всемирной войны.* 1915–1916 *гг.* Пг., 1917.

Строганова Е.Н. *Из раннего Хармса.* С. 77.

Там же. С. 72–73.

Там же. С. 74.

ЦГИА СПб. Ф. 272. Оп. 1. Д. 927.

ЦГИА СПб. Ф. 272. Оп. 1. Д. 917.

Не считая церковнославянского.

Цитируется по машинописи, предоставленной издательством “Лик”.

59

Там же.

ЦГИА СПб. Ф. 272. Оп. 1. Д. 927.

61

Александров А. *Чудодей* // Хармс Д. *Полет в небеса.* Л., 1988. С. 12.

Однако в этот год в Петершуле числится некто Павел Ювачев, старшеклассник. Ни до 1918 года, ни после 1919-го в числе учеников Училища св. Петра его нет.

63

Уэллс Г. *Россия во мгле.* М., 1970. С. 81–84. Перевод В. Хинкиса.

Там же.

65

Цитируется по машинописи, предоставленной издательством “Лик”.

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (далее – ЦГА СПб.). Ф. 2925. Оп. 1. Д. 3670. Л. 235.

67

В единых советских трудовых школах было пять классов I ступени, которые обозначались буквами “A” – “D”, и четыре класса II ступени, обозначавшиеся цифрами.

ЦГА СПб. Ф. 2925. Оп. 1. Д. 3670. Л. 266.

Там же. Д. 3675. Л. 369.

Почему-то и оценки по английскому ставились по-немецки.

Е.И. Грицына связывает плохую учебу своего брата с увлечением Эстер Русаковой, которая якобы училась с ним вместе в Петершуле, а у А.А. Александрова были сведения об их романе во время пребывания Даниила в Детском Селе. Но, судя по всему, это не соответствует действительности. В Петершуле Эстер не училась, и в 1922 году ей было всего тринадцать лет. Видимо, знакомство Хармса с будущей женой произошло лишь по его возвращении в Петроград.

См.: Дмитренко А., Сажин В. *Краткая история чинарей // “… Сборище друзей, оставленных судьбою”: “Чинари” в текстах, документах и исследованиях*: В 2 т. 2-е изд. М., 2000. Т. 1. С. 34.

73

Вспоминая Даниила Хармса // Вперед. 1973. 13 января. № 134. С. 3.

На самом деле, судя по списку преподавателей, – Гармсен.

См.: Дмитренко А.Л. *Мнимый Хармс // Русский авангард и идеология*: Сборник. Белград, 2008. С. 488–491.

С той разницей, что у Козьмы Пруткова этот эффект создается намеренно.

Александров А.А. *Краткая хроника жизни и творчества Даниила Хармса* // Хармс Д. *Полет в небеса.* С. 538.

78

См. процитированное выше письмо к отцу от 6 февраля 1917 года (наст. изд., с. 296).

См. об этом также в главе 5, с. 54.

См. подробнее в главе 7, с. 476.

81

Цит. по: Дмитренко А., Сажин В. *Краткая история “чинарей”*. С. 35.

Там же.

83

Уместно вспомнить, что Гумилев одно время (накануне Первой мировой войны) носился с идеей Литературного политехникума.

84

До революции – здание Патриотического института благородных девиц; дом, в котором некогда жил В.К. Тредиаковский, перестроен в 1820-е годы архитектором А.А. Михайловым.

85

Интересно, что Хармс временами скрывал свою настоящую фамилию. Так, Николаю Чуковскому он говорил, “что настоящая его фамилия – Кармс; в другой раз он назвал какую-то двойную польскую фамилию, звучавшую очень изысканно, и утверждал, что род его происходит от крестоносцев, завоевавших Иерусалим. На галстуке он носил странного вида заколку, изображавшую замок с башнями; разумеется, он уверял, что это родовой замок его предков” (Чуковский Н. *Литературные воспоминания.* М., 1989. С. 258–259).

Глоцер В. *Вот какой Хармс!* // Новый мир. 2006. № 2. С. 119.

В эти годы Хармс время от времени устраивал такого рода публичные “хеппенинги”, пробуя различные формы нестандартного поведения и изучая реакцию на них публики. Так, по свидетельству Г.Н. Матвеева, Хармс гулял по улицам с разрисованным лицом и с перевернутой ножкой от стола в руках. При этом Матвеев должен был записывать в блокнот реплики прохожих (Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга, далее – ЦГАЛИ СПб. Ф. 678. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 1).

То есть сразу же по приезде из Детского Села, еще до поступления в техникум.

Александров А.А. *О первых литературных опытах Даниила Хармса* // Русская литература. 1992. № 3. С. 156.

Глоцер В. *Вот какой Хармс!* С. 120.

91

Суть игры в том, что каждый участник дописывает две предложенные стихотворные строки и предлагает две новые следующему игроку.

Александров А.А. *О первых литературных опытах…* С. 157.

В. Сажин отождествляет этого “Михаила” с Михаилом Черновым, чье имя упоминается в записных книжках; он же указывает на то, что появление одного из юношеских “заумных” произведений Хармса, “Михаилы”, могло быть связано с этим любовным треугольником.

Цит. по: *“…Сборище друзей, оставленных судьбою”*. Т. 2. С. 658.

95

Цит. по: Гриман Р. *Виктор Серж и русская революция.* М., 1994. С. 20.

“Дорогая девочка, я еще люблю тебя, если ты хочешь снова быть со мной, то приходи ко мне и дай отдых своему жениху <… > кто был прав, я или ты? Я говорил тебе, что ты раньше бросишь меня, чем я тебя. Так и произошло. Будем ли мы опять вместе, как мы были чисты и молоды. Но теперь, когда ты так саркастична ко мне, я не разговариваю с тобой, ты теперь стала грубой. Но попробуй (если ты меня еще любишь) снова быть со мною. И очевидно, мы снова станем друзьями” (*нем.*).

См. об этом: *Хроника жизни и творчества Даниила Хармса* / Сост. А. Курсанов // Хармс Д. *Случаи и вещи.* 2-е изд. СПб., 2007. С. 421.

Цит. по: Хармс Д. *Горло бредит бритвою*: Случаи, рассказы, дневниковые записи. М., 1991. С. 151.

99

Вагинов К. *Полное собрание сочинений в прозе.* СПб., 1999. С. 42.

Там же. С. 43.

101

Витковский Е. *Против энтропии* // www.lib.ru/newproza/witkowskij

102

Он публиковал детские книги про жизнь китайских трудящихся, а в годы первой пятилетки написал брошюру “Ударники финансового фронта”.

103

После ареста отца и сумасшествия матери “зайченыш” стал беспризорником, но был опознан на улице и отправлен в Саратов, где находился в ссылке его отец.

Сологуб был также председателем Ленинградского союза писателей, интегральной частью которого был Союз поэтов.

105

Лукницкая В.К. *Перед тобой земля.* Л., 1988. С. 150.

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми // Воспоминания о Николае Заболоцком.* 2-е изд., доп. М., 1984. С. 66.

Родник. Рига. 1987. № 12. С. 52.

Туфанов А. *Ушкуйники.* Berkeley, 1991. С. 169.

109

Там же. С. 170. Далее в этом абзаце цитируется та же автобиография.

Туфанов А. *Эолова арфа.* Пг., 1917. С. 5–6.

111

Туфанов А. *Ушкуйники.* С. 171.

112

См.: Крусанов А. *А.В. Туфанов – архангельский период (*1918–1919*)* // Новое литературное обозрение. 1998. № 30 (2). С. 92–109.

113

Туфанов А. *Ушкуйники.* С. 172–173.

114

Там же.

115

Там же.

Там же. С. 176.

117

Перевод привожу по кн.: Хармс Д. *Горло бредит бритвою.* С. 149–150.

118

Цит. по публикации: *Круговая чаша. Русская поэзия “серебряного века”. Конец XIX – первая треть XX в.*: Антология: В 4 т. Т. 4 / Сост. В.В. Кудрявцев. 4-е изд., доп. и исп. Рудня; Смоленск, 2005. С. 131.

119

Группа “левых имажинистов”, включавшая Шмерельсона, Полоцкого, Владимира Ричиотти, Вольфа Эрлиха, существовала в Ленинграде в первой половине 1920-х годов. Позднее ее участники отошли от поэзии – кроме Эрлиха, ныне более знаменитого своей дружбой с Есениным, чем собственными стихами. Подробнее см.: Кобринский А.А. *Поэтика ОБЭРИУ*: В 2 т. Т. 2. СПб., 2000. С. 40–67.

120

Намек на тифлисского поэта Юрия Дегена (1896–1923).

121

Крученых А. *Игорь, помнишь?* / Вступит. заметка, публ. и коммент. С. Кудрявцева // Терентьевский сборник. М., 1996. С. 306–307.

122

Терентьев И. *Собрание сочинений.* Bologna. 1988. С. 150.

123

См.: Альтман М.С. *Разговоры с Вячеславом Ивановым.* СПб., 1995.

Суть работы заключалась в поисках соответствий между звуками и зрительными образами. Позднее такого же рода штудии в ГИНХУКе вел Туфанов.

125

Друскин Я. *“Чинари”* / Публ. Л. Друскиной // Аврора. 1989. № 6. С. 105.

Друскин Я. *Дневники.* СПб., 1999. С. 187.

Лихачев Д.С. *Воспоминания.* СПб., 1995. С. 101.

Там же. С. 103.

129

Друскин Я. *“Чинари”*. С. 105.

Лихачев Д.С. *Воспоминания.* С. 107.

131

См.: Дмитренко А., Сажин В. *Краткая история “чинарей”*. С. 11.

132

Дмитренко А., Сажин В. *Краткая история “чинарей”*. С. 21.

133

Друскин Я. *Дневники.* С. 525.

Следует, впрочем, отличать аутентичные суждения и свидетельства самого Друскина от их упрощенного изложения в текстах и комментариях 1990-х годов, принадлежащих перу его сестры Л.С. Друскиной.

135

Друскин Я. *Дневники.* С. 186–187. Упоминаются похороны некой Мары или Мирры (фамилия неизвестна), возлюбленной Липавского. В 1965 году А.А. Александров так записал рассказ Я.С. Друскина об этом: “Друскин стал часто встречаться с ним (с Введенским. – *В. Ш.*) после разговора с Введенским об ощущениях. Разговор был на похоронах Мирры… – женщины, которую очень любил Липавский. Эта молодая девушка была зарублена топором ее род<ственником>, приехавшим из деревни. Случилось в 1922 году” (ЦГАЛИ СПб. Ф. 678. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 3).

Друскин Я. *Дневники.* С. 11.

137

“Эфир – это курица наоборот”, – в своей парадоксальной манере записывает Хармс в дневнике.

138

Адрес Боткинских бараков.

139

Обе анкеты опубликованы в статье Ж.-Ф. Жаккара и А.Б. Устинова “Заумник Даниил Хармс: Начало пути” (Wiener Slavistischen Almanach. Bd. 27. 1991. S. 166–168, 219–221).

Друскин Я. *“Чинари”*. С. 105.

141

Родник (Рига). 1987. № 12. С. 52.

Друскин Я. *“Чинари”*. С. 103.

143

См.: Stoune-Nakhimovski A. Laughter in the Void // Wiener Slavistischer Almanach. Bd. 5. 1982. S. 10.

Цит. по: Олейников Н. *Пучина страстей.* Л., 1990. С. 5.

145

Шварц. Е. *Живу беспокойно…*: Из дневников. Л., 1990. С. 239.

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 69–70.

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 69–70.

Родник (Рига). 1987. № 12. С. 52.

149

В статье “Выпад” (Россия. 1924. № 3). См.: Мандельштам О. *Сочинения*: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 211.

Достаточно вспомнить такие стихотворения начала 1920-х, как “Сынам Невы не свергнуть ига власти…”, “Иду в ночи всемирного потопа…”.

Елагин И.В. *Память* // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 720.

152

Петров В.Н. *Из книги воспоминаний* // Панорама искусств. Вып. 2. 1980. С. 143.

153

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее – РНБ). Ф. 1232. Оп. 1. Ед. хр. 434.

154

ЦГАЛИ СПб. Ф. 678. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 3.

155

Клюев был в самом деле весьма начитанным человеком, владел французским и немецким языками, но в университете никогда не учился и тем более не кончал его. Незаконченное университетское образование было у другого “новокрестьянского” поэта, Сергея Клычкова.

156

Клюеву в 1928 году было 44 года.

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 81–82.

158

Анна Семеновна Ивантер вспоминает / Лит. запись А. Герасимовой // Театр. 1991. № 11. С. 117.

159

ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Ед. хр. 470.

160

Цит. по: Введенский А. *Полное собрание произведений*: В 2 т. М., 1994. Т. 2 С. 128.

161

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 68.

Там же. С. 127.

163

Там же. С. 131.

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 78.

165

Олимпов К. *Глагол Родителя Мироздания: Негодяям и мерзавцам.* Пг., 1916. [Листовка.]

166

Цит. по: *Из истории эгофутуризма*: Материалы к литературной биографии Константина Олимпова / Публ. А.Л. Дмитренко // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 22. СПб., 1997. С. 212.

167

Олимпов К. *Анафема Родителя Мироздания: (Проститутам и проституткам)*. Пг., 1922. [Листовка.]

Цит. по: *Из истории эгофутуризма.* С. 233.

169

РНБ. Ф. 1324. Ед. хр. 325.

Цит. по: *Из истории эгофутуризма.* С. 222.

171

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 81.

172

“Многоуважаемый Константин Константинович, я был у Вас с одним товарищем и очень сожалею, что не застал дома. Буду очень рад, если Вы позвоните по телефону 90–24 и зайдете ко мне. Даниил Иванович Хармс”. На обороте: “К.К. Олимпову” и приписка неизвестной рукой: “вторник, 6 час. веч.” (РГАЛИ. Ф. 1718. Оп. 1. Ед. хр. 64).

173

Малевич К. *Бог не скинут: Искусство, церковь, фабрика.* Витебск, 1922. С. 32.

Малевич К. *Бог не скинут: Искусство, церковь, фабрика.* С. 40.

175

Там же проходил службу Вигилянский.

Ее муж Владимир Ивантер был братом Анны Ивантер, впоследствии жены Введенского.

177

Глоцер В.И. *Вот какой Хармс!* С. 120.

178

Заболоцкий Н.А. *Огонь, мерцающий в сосуде…* [Произведения Н.А. Заболоцкого, анализ творчества, воспоминания современников / Сост. Н. Заболоцкого]. М., 1995. С. 182.

Серж В. *От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера.* М., 2001. С. 153.

Серж В. *От революции к тоталитаризму*. С. 153.

181

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 87.

182

[Б. п.] ОБЭРИУ // Афиши Дома печати. 1928. № 2. Стр. 11–12. Далее цитируется по этому же источнику.

183

В черновиках, впрочем, – образец хармсовского абсурдистского юмора: “А ныне пять обэриутов: Хармс и Соколов и Хармс”.

184

См.: *Хроника жизни и творчества Даниила Хармса.* С. 460.

185

На картине изображено нападение мышей или крыс (во время наводнения) на юную пленницу. По телу Елизаветы Бам тоже будут бегать “глухие мыши”.

186

Каплан Л.А. *Из воспоминаний* // Творчество. 1990. № 12. С. 10.

187

Заметим, что имена этих писателей содержатся в составленном Хармсом в 1936–1937 годах списке книг рядом с прочими классиками мировой литературы.

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 93.

189

Там же.

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 89–90.

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 90.

192

В 1920-е годы было две писательницы, подписывавшиеся именем Лидия Лесная; первая, Лидия Валентиновна (1889–1952), – второстепенная поэтесса; вторая, Лидия Владимировна (настоящая фамилия – Гештовт, 1907 -?), в 1928 году была студенткой Ленинградского института сценических искусств, а впоследствии работала режиссером детского театра в разных городах, публиковала книги для детей, составила сборник “Сказки народов СССР”. Какая именно из этих дам написала знаменитую статью, неизвестно.

193

Вагинов К. *Полное собрание сочинений в прозе.* СПб., 1999. С. 160–161.

Так у Бахтерева; он называет Падво “редактором театрального журнала”.

195

Афиши Дома печати. 1928. № 2. С. 11–12.

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 97.

197

Архив ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дело Н.П. Баскакова.

198

Там же.

Шварц Е. *Живу беспокойно…* С. 512.

200

Один раз он в театре переложил трубку в рот Георгия Матвеева… и выдал того за англичанина (см. воспоминания Г. Матвеева: ЦГАЛИ СПб. Ф. 678. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 1).

То есть Липавскому.

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 63–64.

203

Порет А. *Воспоминания о Д.И. Хармсе* / Предисл. В. Глоцера // Панорама искусств. 1980. Сб. 3. С. 353.

Антокольский П. *“Сколько зим и лет”* // Воспоминания о Н. Заболоцком. С. 199.

205

Синельников И. *Молодой Заболоцкий* // Воспоминания о Н. Заболоцком. С. 118.

Там же. С. 119.

Красная новь. 1932. Кн. 2. С. 163–164.

Бахтерев И. *Когда мы были молодыми.* С. 99.

209

Во всех источниках рождение Владимирова датируют 1909 или даже 1908 годом. Но в конце 1909-го его мать еще не была замужем (см., напр., воспоминания И. Гюнтера).

210

Архив ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дело Л. В. и Д. В. Владимировых.

Рахтанов И. *Рассказы по памяти.* Л., 1971. С. 114.

212

Цит. по публикации И. Левина (Slavica Hierosolymitana. 1981. Vol. 4. P. 357–359).

213

Рахтанов И. *Рассказы по памяти.* С. 117.

214

Фисунов П. *“Обереуты”* // Студенческая правда. 1930, 1 мая. № 10. С. 3. Републиковано: De Visu. 1993. № 11 (12). С. 23–24.

215

Гор Г. *Замедление времени* // Звезда. 1968. № 4. С. 403. См. также описание романа Левина в статье “Реакционное жонглерство” (процитировано в нашей книге на с. 240).

216

В 1936 году арестован, в Сибири “вырос” до главного диспетчера Игаркинского торгового порта. После реабилитации публиковался, как и Толмачев, в качестве юмориста, писал критические статьи и мемуарные заметки.

Устинов А. 1929 *год в жизни Мандельштама* // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 123–126.

218

См.: Бахтерев И. *Горькие строки* / Подготовка текста И.С. Мальского. Вступительная статья и примеч. А.В. Крусанова и И.С. Мальского // *“…Сборище друзей, оставленных судьбою”: “Чинари” в текстах, документах и исследованиях*: В 2 т. М., <2000>. Т. 2. С. 581.

219

Бахтерев И. *Горькие строки.* С. 580. Семья Сно фигурирует в истории литературы не только в связи с Хармсом. Жена Евгения Эдуардовича и мать его сына-чекиста была беллетристкой и подписывалась Ольга Снегина (перевод фамилии ее мужа, чей дед был англичанином, на русский). Есенин, литературный знакомый госпожи Сно, воспользовался ее псевдонимом, давая имя героине своей поэмы.

Там же. С. 581.

221

Там же.

222

Из письма О.В. Рисса к А.А. Александрову от 16 апреля 1981 года (ЦГАЛИ СПб. Ф. 678. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 3).

223

Нильвич Л. *Реакционное жонглерство: (Об одной вылазке литературных хулиганов)* // Смена. 1930. 9 апреля. Цит. по републикации: Введенский А. *Полное собрание сочинений*: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 152.

224

РНБ. Ф. 1254. Ед. хр. 22.

Мандельштам Н.Я. *Вторая книга.* М., 1999. С. 498.

Миснагиды – направление в ортодоксальном иудаизме, противоположное хасидизму. В отличие от мистиков-хасидов (чьим наследием, как мы уже отмечали, интересовался Хармс), миснагиды придают основное значение “правильному” изучению Торы и ее рациональному толкованию.

Шварц Е. *Живу беспокойно…* С. 234.

228

Чуковский К. *От двух до пяти*: 3-е изд. “Маленьких детей”. Л., 1933. С. 168.

Хармсиздат представляет “Советский эрос 20–30-*х годов”*: Сб. материалов. СПб., 1997. С. 15.

Шварц Е. *Живу беспокойно…* С. 231–249.

231

Цит. по: Чуковский К.И. *Стихотворения.* СПб., 2002. (Новая библиотека поэта.) С. 443.

См.: Чуковский К.И. *Маленькие дети.* 2-е изд. Л., 1920. С. 178–203. Здесь и далее цитируется по этому источнику.

233

Цит. по: Лукьянова И.И. *Корней Чуковский.* [Изд. 2-е, испр. и доп.]. М., 2007. (Жизнь замечательных людей.) С. 531–532.

Сафонова была, видимо, только иллюстратором. В детских изданиях 1930-х художник часто указывался в качестве “соавтора”.

Позднее в “Еже” (1929. № 3) был напечатан “Айболит”.

Более официальное именование – детский сектор Госиздата.

Рахтанов И. *Рассказы по памяти.* С. 138.

238

Пантелеев А. *Полное собрание сочинений*: В 4 т. М., 1984. Т. 3. С. 120.

239

Шварц Е. *Живу беспокойно…* С. 241.

Порет А.И. *Воспоминания о Д.И. Хармсе.* С. 348.

Шишман С. *Несколько веселых и грустных историй о Даниле Хармсе и его друзьях.* Л., 1991. С. 44.

Чуковский К.И. *Маленькие дети.* С. 202.

243

Чуковский К.И. *Маленькие дети.*

Возможно, это своеобразный отклик на знаменитое стихотворение Заболоцкого “Меркнут знаки Зодиака…”, написанное годом раньше; точно так же Заболоцкий в свое время ответил своим “Восстанием” на “Комедию города Петербурга”.

Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 2006. С. 492–494.

Последние новости (Париж). 1929. 1 августа.

247

См. на вклейке в наст. издании.

См. об этом, например, в статье П. Фисунова “Обереуты” (факсимильно воспроизведена на с. 240 наст изд.).

249

Из письма О.Э. Мандельштама к отцу, Э.В. Мандельштаму. Цит по: Мандельштам О. *Собрание сочинений*: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 141.

Кобринский А.А. *О Хармсе и не только.* СПб., 2007. С. 263–290.

Здесь и далее произведения А. Введенского цитируются по изданию: Введенский А.И. *Полное собрание сочинений*: В 2 т. М., 1993.

Друскин Я. *Дневники.* СПб., 1999. С. 187.

253

Дневники И.П. Ювачева 1930 и 1931 годов здесь и далее цитируются по публикации: *Материалы о Даниле Хармсе и стихи его в фонде В.Н. Петрова. Записные книжки И.П. Ювачева* / Публ. А.А. Александрова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. СПб., 1993. С. 208–213.

Елизавета Ивановна Грицына вспоминает. С. 42.

Там же. С. 40.

Порет А.И. *Воспоминания о Д.И. Хармсе.* С. 351.

Петров В.Н. *Данилл Хармс* // Панорама искусств. М., 1990. Сб. 13. С. 243.

Петров В.Н. *Данилл Хармс.* С. 243.

259

Там же.

Порет А.И. *Воспоминания о Д.И. Хармсе.* С. 351–352.

261

Там же.

262

Здесь и далее материалы следственного дела 1931–1932 годов цит. по публикации: *Следственное дело №* 4246–31 *г.* 1931–1932 *годы* / Публ. Н. Кавина. Подготовка текстов и примеч. В. Сажина // *“…Сборище друзей, оставленных судьбою”: “Чинари” в текстах, документах и исследованиях*: В 2 т. 2-е изд. М., 2000. Т. 2. С. 519–573.

263

Детская литература: *Критический сборник* / Под ред. А.В. Луначарского. М.; Л., 1931. С. 6.

Там же. С. 17.

265

Там же. С. 42.

Детская литература. С. 72.

Там же. С. 109.

268

Аллюзия на название книги Вагинова, вышедшей в том же году?

269

Детская литература. С. 74.

Там же. С. 109.

271

Литературная газета. 1931. 27 октября. С. 1. Далее до конца главы материалы дискуссии цитируются по этому источнику.

Чуковский Н. *Литературные воспоминания.* С. 257–258.

Красная газета (Вечерний выпуск). 28 марта. № 86.

Бахтерев И. *Горькие строки.* С. 584–585.

Глоцер В. *Вот какой Хармс!* С. 133.

А.-с, а/с – антисоветский.

Такая же формулировка в случае Введенского, Калашникова и Воронича; Туфанов именуется не “монархистом”, а “великодержавным националистом”, а Бахтерев – просто “врагом советской власти” без уточнений.

Вл. П. Гартман – по-видимому, юрист, знакомый И.П. Ювачева.

279

Цит. по: *Материалы о Даниле Хармсе и стихи его в фонде В. Н. Петрова.* С. 213.

Там же.

281

Цит. по: *А. Введенский и Д. Хармс в их переписке* // Вступительная статья., публ. и коммент. В. Сажина. Париж, 2004. С. 54. Сохранена пунктуация оригинала.

Там же. С. 55–56.

Глоцер. В. *Вот какой Хармс!* С. 121–123.

284

Дневник И.П. Ювачева 1932–1933 годов далее цитируется по: *Бытие на фоне быта* / Публ. А.Л. Дмитриенко и Н.М. Кавина // Ежедневник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2012 год. СПб., 2013. С. 740–828.

285

Слово пропущено.

286

С 1918 по 1937 год Царское Село называлось Детским Селом, впоследствии – город Пушкин. И.П. Ювачев везде использует старое название, так же как – в большинстве случаев – Санкт-Петербург вместо Ленинграда.

Н.И. Колюбакина. В следующей цитируемой записи она же названа Натой.

Е.И. Грицына.

289

Лидия Алексеевна Смирницкая – бывшая экономка Ювачевых, с 1925 года проживавшая в одной квартире с ними на улице Маяковского. Т.А. Мейер вспоминала: “кажется (точно не помню), бывшая гувернантка, а может быть, учительница английского языка Д. Хармса” (см.: Хармс Д. *Случаи и вещи.* С. 264, 401).

Шварц. Е. *Живу беспокойно*… С. 278.

291

Шварц. Е. *Живу беспокойно*… С. 240.

292

Гернет Н. В. *О Хармсе* (Заметки к вечеру памяти Д.И. Хармса, Москва, 1976) // Нева. 1988. № 2. Культ “бессмысленных изобретений” вообще в высшей степени характерен для Хармса. Кроме рассказа “Друг за другом” можно сослаться на воспоминания В. Лифшица о “машине”, одно время украшавшей комнату писателя. Это был “странный предмет, причудливо громоздящийся в углу и состоящий из железок, досок, пустых папиросных коробок, пружин, велосипедных колес, веревок и консервных банок” (Лифшиц. *Воспоминания* // Вопросы литературы. 1969. № 1. С. 242–243).

Порет А.И. *Воспоминания о Д.И. Хармсе.* С. 350.

Здесь: “вольности” (*фр.*).

295

Из письма Житкова В.И. Арнольд от 27 декабря 1932 года, цит. по: *Хармсиздат представляет “Советский эрос* 20–30-*х годов”*. С. 18.

Порет А. *Записки. Рисунки. Воспоминания.* М., 2012. С. 92.

Порет А. *Воспоминания о Д.И. Хармсе.* С. 354–355.

Порет А. *Воспоминания о Д.И. Хармсе.* С. 357.

299

Там же.

Харджиев Н.И. *О Хармсе* / Публикация М. Мейлаха // *Studi e scritti in memoria di Marzio Marzaduri.* Padova, 2002. P. 50.

301

Гинзбург Л. *Николай Олейников* // Олейников Н. *Пучина страстей.* Л., 1990. С. 6.

302

Гинзбург Л. *Из старых записей* // Гинзбург Л.Я. *О старом и новом.* Л., 1882. С. 412–413.

303

Липавский Л. *Разговоры.* С. 320.

Липавский Л. *Разговоры.* С. 307–310.

Липавский Л. *Разговоры.* С. 420.

Там же. С. 354.

Там же. С. 364.

Там же. С. 366.

309

Там же. С. 371.

Липавский Л. *Разговоры.* С. 329–330.

Друскин Я. *Разговоры вестников // “…Сборище друзей, оставленных судьбою”*. Т. 1. С. 773–774.

312

То есть Бахтерев, Левин, Соллертинский, литератор Л. Вайсенберг и поэт Никандр Тювелев – подражатель Хармса и адресат одного из самых смешных его писем. Геннадий Гор вспоминает об одном из хармсовских хеппенингов, разыгранном вместе с Тювелевым в кондитерской Лора: “Тювелев упал на колени перед элегантным, похожим на иностранца Хармсом и на тарабарском, тут же созданном языке стал клянчить, умолять, чтобы Хармс купил ему лоровское пирожное” (Гор Г. *Замедление времени* // Звезда. 1968. № 4. С. 182).

313

Порет А.И. *Воспоминания о Д.И. Хармсе.* С. 151.

Разумеется, где Еж и Чиж, там непременно и Уж. Введенский, когда девушка, рыдая, собщила о сделанном ей предупреждении, подарил ей сказки братьев Гримм в своем переложении со следующей подписью:

Я погибаю от разврата –
Всему виной проклятый уж.
Я третьим Гриммов стал собратом,
И, право, Гриммов я не хуж.
Хоть негодяй я, хоть злодей.
Но, если хочешь, мной владей.

315

Липавский Л. *Разговоры.* С. 380–381.

Там же. С. 361.

Липавский Л. *Разговоры.* С. 420–421.

Вслед за Глоцером в 1996 году с Малич встречался и Михаил Мейлах.

319

Дата рождения Малич – в одних источниках 1909-й, в других 1912 год. Первая дата более вероятна: Марина Владимировна хорошо помнила события, происходившие до 1917 года, а в школу пошла во время революции. Ольга Верховская была старше полутора годами.

Блок М. *Хармс 30-х годов // Хармсиздат представляет.* С. 86.

321

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* М., 2000. С. 35–36.

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 43.

323

Там же. С. 68.

Там же. С. 57.

325

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 64.

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 76–84.

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 50.

Там же. С. 51.

329

Альтернативная дарвинизму теория эволюции, известная как “номогенез”. Поныне сохраняет научную актуальность.

Елагин И. *Память* // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 720.

В 1960-е годы эта “позднеобэриутская” линия получила новый импульс в поэзии Леонида Аронзона.

Липавский Л. *Разговоры.* С. 342

333

Из письма Житкова В.И. Арнольд от 27 декабря 1932, цит. по: *Хармсиздат представляет*. С. 17.

334

Впервые напечатана в сборнике “Мастерская человеков: Сатирическая проза 20–30-х годов” (Пермь, 1991. С. 331–401).

См.: *Распятые. Писатели – жертвы политических репрессий.* СПб., 1998.

336

Слово “паровоз”, не нуждавшееся в комментариях для человека советской эпохи, малопонятно современному молодому читателю. “Паровозами” назывались стихи или рассказы на идеологически правильные темы, которые печатались вместе с “настоящими” произведениями.

См.: Блок М. *Хармс* 30-*х годов.* С. 86.

338

Друскин Л.С. *Спасенная книга.* Хайфа, 1984. С. 27. Подобная игра в “человека в футляре” вообще была для Хармса характерна. Николай Чуковский, в частности, вспоминает, как застал Даниила Ивановича на пляже в пиджаке и при галстуке. “Видя, как он обливается потом, я посоветовал ему снять пиджак, но он сказал, что боится простудиться. Немного погодя я предложил ему вместе выкупаться, но он сказал, что боится утонуть. Меня удивило, что здоровенный двадцатипятилетний мужчина, вдвое шире меня в плечах и на полголовы выше, боится утонуть в мелкой луже, даже на середине которой вода не доходила купающимся до пояса. Но он мрачно объяснил мне, что боится утонуть даже в ванне, и потому всегда моется в ванне только стоя” (Чуковский Н. *Литературные воспоминания.* С. 259).

339

Из письма Житкова В.М. Арнольд от 27 декабря 1932 года, цит. по: *Хармсиздат представляет…* С. 17.

340

Из письма Житкова В.И. Арнольд от 27 декабря 1932 года, цит. по: *Хармсиздат представляет…* С. 18.

341

Николай Андреевич Тимофеев (1906–1978) – композитор, с которым Хармс на некоторое время сблизился в середине 1930-х годов; познакомил их Житков. Автор музыки к фильмам (“Депутат Балтики”, “Член правительства”), оперы “Катерина” и пр.

Харджиев Н.И. *О Хармсе*. С. 51.

Липавский Л. *Разговоры.* С. 383.

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 68–69.

345

Цит. по статье Е. Добренко “Realaestetic, или Народ в буквальном смысле” (Новое литературное обозрение. 2006. № 82. С. 207).

Кобринский А.А. *Даниил Хармс и Николай Олейников на дискуссии о формализме* 1936 *года* // Russian studies. 1996 Т. II. № 4. С. 328–352.

347

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 86.

Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой*: В 3 т. М., 1997. Т. 1. С. 110.

Олейников Н.М. *Пучина страстей.* С. 47.

“…Сборище друзей, оставленных судьбою”. Т. 2. С. 579.

351

“…Сборище друзей, оставленных судьбою”. Т. 2. С. 575–576.

352

Любарская А.И. *За тюремной стеной* // Нева. 1998. № 5. С. 154.

353

Там же. С. 162.

Там же. С. 156.

355

Заболоцкий Н. *История моего заключения* // Заболоцкий Н.А. *Огонь, мерцающий в сосуде…* С. 390.

Чуковский К. *Заметки читателя* // Литературная газета. 1940. 17 ноября. № 57.

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 81–83.

Пирютко Ю. *Ювачев, отец Хармса* // Санкт-Петербургские ведомости, 2007. 26 января. № 14.

359

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 78–79.

Петров В. *Даниил Хармс.* С. 246.

361

“Английские и шотландские застольные, поморские, охотничьи, старые солдатские и рекрутские, портовые одесские, еврейские шуточные, сибирские женские, немецкие студенческие, хасидские” (Петров В. *Даниил Хармс.* С. 247).

Там же. С. 240.

363

Там же.

Гинзбург Л.Я. *Записные книжки, воспоминания, эссе.* СПб., 2002. С. 315.

365

Чуковская Л.К. *Записки об Анне Ахматовой.* Т. 1. С. 108.

Роман этот переиздавался в 1928 году.

Петров В. *Даниил Хармс.* С. 245.

Там же.

369

Петров В. *Даниил Хармс.* С. 242.

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 77.

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 95–98.

Цит. по: *“…Сборище друзей, оставленных судьбою”*. Т. 1. С. 615.

Зальцман П. *А дальше началась страшная блокадная зима…* // Знамя. 2012. № 5. С. 138.

Пантелеев А. *Из ленинградских записей* // Новый мир. 1965. № 5. С. 149.

См.: Мейлах М. *Oberiutiana Historica, или “История обэриутоведения. Краткий курс”, или Краткое “Введение в историческое обэриутоведение”* // Тыняновский сборник. Вып. 12: Десятые – Одиннадцатые – Двенадцатые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М., 2006.

Берггольц О. *Встреча.* М., 2000. С. 161.

377

Садовской Б. *Стихотворения, рассказы в стихах, пьесы и монологи.* СПб., 2001. С. 168–169.

Осипова Л. *Записки коллаборантки* // Сб. “Свершилось. Пришли немцы!” Идейный коллаборационизм в СССР в годы Великой Отечественной войны. СПб., 2014. С. 65–226.

Там же. С. 161.

Липавский Л. *Разговоры.* С. 379.

381

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 93.

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 99–103.

383

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 99.

Здесь и далее материалы следственного дела 1941–1942 годов цит. по публикации: Следственное дело № 2196–41 г. 1941–1942 годы / Публ. Н. Кавина. Подготовка текстов и примеч. В. Сажина // *“…Сборище друзей, оставленных судьбою”*. Т. 2. С. 609–621.

385

Письма жены Хармса к ее подруге были напечатаны в 1991 году в № 1 журнала “Русская литература”; в книге Глоцера 90-летняя Малич достает и читает вслух “сохранившиеся у нее” *собственные* письма шестидесятилетней давности, причем тексты их слово в слово совпадают с публикацией в “Русской литературе”. Довольно трудно представить себе, как Марина Владимировна увозит с собой в эвакуацию из осажденного Ленинграда, потом – на принудительные работы в Германию, а оттуда – во Францию и Венесуэлу свой архив, включая черновики писем, чтобы на старости лет предъявить их литературоведу из России. Именно подобные нелепые вставки вызывают сомнения в подлинности устных мемуаров вдовы Хармса, записанных Глоцером, – сомнения в целом все же, видимо, необоснованные.

Пантелеев А. *Из ленинградских записей.* С. 149.

387

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 107–108.

388

Фигурирующий в одном из рассказов Хармса “дворник Ибрагим” (“с черными усами”).

Там же. С. 110.

Новая русская книга. 2001. № 1. С. 49.

391

Цит. по: *А. Введенский и Д. Хармс в их переписке.* С. 28.

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 114–118.

393

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 120–121.

Там же. С. 121–122.

395

Глоцер В. *Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс.* С. 122–123.

Друскин С. *Дневники.* С. 132.

397

Гор Г. *Вмешательство живописи* // Гор Г. *Живопись.* Л., 1933. С. 143–144.

Там же. С. 148–149.

Заболоцкий Н.А. *Огонь, мерцающий в сосуде…* С. 435.

400

Из письма Н.Л. Степанова к А.А. Александрову от 29 декабря 1965 года (ЦГАЛИ СПб. Ф. 678. Ед. хр. 187. Л. 2).

Мейлах М. *Oberiutiana Historica…* С. 356.